Н. Гоголь, А. Чехов, Н. Лесков
А. Куприн, В. Набоков, А. Грин
Ч. Диккенс, А. Франс, М. Рид
и другие

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ



Антология

МОЯ БОЛЬШАЯ КНИГА

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ

Николай Гоголь, Федор Достоевский, Антон Чехов, Павел Засодимский, Николай Лесков, Николай Телешов, Леонид Андреев, Александр Куприн, Клавдия Лукашевич, Лазарь Кармен, Николай Вагнер, Евгений Поселянин, Александр Федоров-Давыдов, Василий Никифоров-Волгин, Лев Кассиль, Владимир Набоков, Иван Ильин, Иван Шмелев, Борис Ширяев, Александр Солженицын, Николай Агафонов, Александр Грин, Валерий Брюсов, Чарльз Диккенс, Братья Гримм, Эрнст Гофман, Майн Рид, Анатоль Франс, Ги де Мопассан, Джордж Макдональд, Морис Метерлинк, Гилберт Честертон

Аннотация

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ. (Антология)

НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ
Ночь перед Рождеством
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ
Мальчик у Христа на елке
Часть I
Часть II
АНТОН ЧЕХОВ
Елка
Сон. (Святочный рассказ)
Мальчики
Сапожник и нечистая сила
ПАВЕЛ ЗАСОДИМСКИЙ
В метель и вьюгу. (Святочный рассказ)
Часть I
Часть II
Часть III
Часть IV
Часть V
НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ
Христос в гостях у мужика. (Рождественский рассказ)
Под Рождество обидели. (Житейские случаи)
Запечатленный ангел
Глава 1
Глава 2
Глава 3

Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
СВЯТОЧНЫЕ РАССКАЗЫ
Жемчужное ожерелье
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Неразменный рубль
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5

Глава 6
Глава 7
Зверь
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Привидение в Инженерном замке. (Из кадетских воспоминаний)
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5

Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Отборное зерно. (Краткая трилогия в про-
сонке)
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Обман
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Штопальщик

Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Дух госпожи Жанлис. (Спиритический случай)
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9

Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Старый гений
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Путешествие с нигилистом
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Маленькая ошибка. (Секрет одной московской фамилии)
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5

Глава 6
Глава 7
Глава 8
Пугало
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Фигура

Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
НИКОЛАЙ ТЕЛЕШОВ
Елка Митрича. (Из цикла «Переселенцы»)
Часть I
Часть II
Часть III
Часть IV
Часть V
ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
Ангелочек
Часть I
Часть II

Часть III
АЛЕКСАНДР КУПРИН
Чудесный доктор
Тапер
Бедный принц
Часть I
Часть II
Часть III
Часть IV
КЛАВДИЯ ЛУКАШЕВИЧ
Рождественский праздник
Заветное окно. (Рождественский рассказ)
Часть I
Часть II
Часть III
ЛАЗАРЬ КАРМЕН
Под Рождество
НИКОЛАЙ ВАГНЕР
Телепень
Часть I
Часть II
Часть III
Часть IV
Часть V
Часть VI
Новый год

Часть I
Часть II
Часть III
Часть IV
ЕВГЕНИЙ ПОСЕЛЯНИН
Николка
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ
Хаврошина елка. (Святочный рассказ)
Часть I
Часть II
Часть III
Часть IV
ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВ-ВОЛГИН
Заутреня святителей под Новый год
Серебряная метель
ЛЕВ КАССИЛЬ
Кондуит и Швамбрания. (Отрывок)
Серый в яблоках
«Тпру» по-немецки?
Лошадиное слово
С новым счастьем!
ВЛАДИМИР НАБОКОВ
Рождество
Часть I
Часть II
Часть III

Часть IV
ИВАН ИЛЬИН
Рождественское письмо
ИВАН ШМЕЛЕВ
Рождество в Москве. (Рассказ делового человека)
БОРИС ШИРЯЕВ
Неугасимая лампада. (Отрывок)
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН
В круге первом. (Отрывок)
НИКОЛАЙ АГАФОНОВ
Молитва алтарника. (Святочный рассказ)
АЛЕКСАНДР ГРИН
Новогодний праздник отца и маленькой дочери
Часть I
Часть II
Часть III
Часть IV
ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
Дитя и безумец
ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС
Рождественская песнь в прозе
Строфа первая
Строфа вторая
Строфа третья

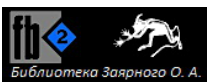
Строфа четвертая
Строфа пятая
БРАТЬЯ ГРИММ. (Якоб и Вильгельм)
Дитя Марии
ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ ГОФМАН
Щелкунчик и мышиный король
Елка
Подарки
Любимец
Чудеса
Битва
Болезнь
Сказка о твердом орехе
Продолжение сказки о твердом орехе
Конец сказки о твердом орехе
Дядя и племянник
Победа
Кукольное царство
Столица
Заключение
ТОМАС МАЙН РИД
Рождество в охотничьем домике
АНАТОЛЬ ФРАНС
Валтасар
Часть I
Часть II

Часть III
Часть IV
Новогодний подарок мадемуазель де Дусин
ГИ ДЕ МОПАССАН
Рождественское чудо
ДЖОРДЖ МАКДОНАЛЬД
Портвейн в бурю
МОРИС МЕТЕРЛИНК
Избиение младенцев
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Бог в пещере

Аннотация

Нет ни одного более радостного праздника, чем Рождество, когда любой человек ожидает, что в его жизни тоже произойдет чудо, сбудутся самые невероятные мечты! Праздника, подарившего людям надежду и спасение!

Тема Рождества не осталась без внимания в русской и зарубежной литературе. Сложилась целая традиция рождественских и святочных историй. В этой книге собраны самые трогательные рождественские истории знаменитых и не очень писателей.



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ
(Антология)



НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ

Ночь перед Рождеством

Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа.[1] Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.

---

[1] Примечания: 1

Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома, колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за Бога, и что будто от того пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж, если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про Рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому.
Замечание пасичника.

Если бы в это время проезжал Сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенною плетью, которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, приметил ее, потому что от Сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг, с другой стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с Комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди

совершенно немец:[2] узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.

Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил

---

[2] Примечания: 2

Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед — всё немец.

своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.

В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка, в синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и еще кое-кто; где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда

здравствовавший сотник Л…ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых: и теперь еще можно найти в Т… церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на нее, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И

для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и не легок на подъем, к дьяку же от избы не так близко; дорога шла по-за селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить Чуба. Но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.

Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавши мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные. Теперь же и заседатель, и подкоморий отсмалили

себе новые шубы из решетиловских смушек с суконною покрышкою. Канцелярист и волостной писарь третьего году взяли синей китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал себе на лето нанковые шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди! Когда эти люди не будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он, верно, воображает себя красавцем, между тем как фигура — взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры! Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними.

— Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате? — говорил козак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому, в коротком тулупе, мужику с обросшею бородою, показывавшею, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы.

— Там теперь будет добрая попойка! — продолжал Чуб, осклабив при этом свое лицо. — Как бы только нам не опоздать.

При сем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут — страх и грозу докучливых собак, но, взглянув вверх, остановился…

— Что за дьявол! Смотри! смотри, Панас!..

— Что? — произнес кум и поднял свою голову также вверх.

— Как что? месяца нет!

— Что за пропасть? В самом деле нет месяца.

— То-то, что нет, — выговорил Чуб с некоторою досадою на неизменное равнодушие кума. — Тебе, небось, и нужды нет.

— А что мне делать?

— Надобно же было, — продолжал Чуб, утирая рукавом усы, — какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить, вмешаться!.. Право, как будто на смех… Нарочно, сидевши в хате, глядел в окно: ночь — чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь — и вот, хоть глаз выколи!

Чуб долго еще ворчал и бранился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где, без всякого сомнения, сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездив-

ший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем козакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги, на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы, без всякого сомнения, решился на последнее, если бы был один, но теперь обоим не так скучно и страшно идти темною ночью, да и не хотелось-таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму:

— Так нет, кум, месяца?

— Нет.

— Чудно, право? А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?

— Кой черт, славный! — отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. — Старая курица не чихнет!

— Я помню, — продолжал все так же Чуб, — мне покойный шинкарь Зузуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! Добрый табак был! Так

что же, кум, как нам быть? ведь темно на дворе.

— Так, пожалуй, останемся дома, — произнес кум, ухватясь за ручку двери.

Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился остаться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор.

— Нет, кум, пойдем! нельзя, нужно идти!

Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал-таки не так, как ему советовали.

Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно, сидеть ли дома, или тащиться из дому, обсмотрелся; почесал палочкой батога свои плечи, и два кума отправились в дорогу.

Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица дочка. Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не

в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими.

По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? — говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы об чем-нибудь поболтать с собою. — Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве черные брови и очи мои, — продолжала красавица, не выпуская зеркала, — так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в губах? Будто хороши мои черные косы? Ух! их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевились и обвились вокруг моей голо-

вы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! — И, отдвигая несколько подалее от себя зеркало, вскрикнула: — Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня насмерть».

— Чудная девка! — прошептал вошедший тихо кузнец, — и хвастовства у нее мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух!

«Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите на меня, — продолжала хорошенькая кокетка: — как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче галуна! Все это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!» — И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца…

Вскрикнула и сурово остановилась перед ним.

Кузнец и руки опустил.

Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки: и суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это так

смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот все, что можно было сделать тогда наилучшего.

— Зачем ты пришел сюда? — так начала говорить Оксана. — Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?

— Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя!

— Кто ж тебе запрещает, говори и гляди!

Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось

в очах.

— Позволь и мне сесть возле тебя! — сказал кузнец.

— Садись, — проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.

— Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя! — произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе, в намерении схватить поцелуй. Но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его.

— Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю обмарал сажею.

Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться.

«Не любит она меня, — думал про себя, повеся голову, кузнец. — Ей все игрушки; а я стою перед нею как дурак и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей! Чудная девка! чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит! Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любуется сама собою; мучит меня бедного; а я за грустью не вижу света; а я ее так люблю, как ни один человек на свете не

любил и не будет никогда любить».

— Правда ли, что твоя мать ведьма? — произнесла Оксана и засмеялась; и кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувших жилах, и за всем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.

— Что мне до матери? ты у меня мать, и отец, и все, что ни есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами». — «Не хочу, — сказал бы я царю, — ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства. Дай мне лучше мою Оксану!»

— Видишь, какой ты! только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери, — проговорила, лукаво усмехнувшись, Оксана. — Однако ж дивчата не приходят… Что б это значило? Давно уже пора колядовать. Мне становится скучно.

— Бог с ними, моя красавица!

— Как бы не так! с ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят

смешных историй!

— Так тебе весело с ними?

— Да уж веселее, чем с тобою. А! кто-то стукнул; верно, дивчата с парубками.

«Чего мне больше ждать? — говорил сам с собою кузнец. — Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется по крайней мере другому посмеяться надо мною. Пусть только я наверное замечу, кто ей нравится более моего; я отучу…»

Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос: «Отвори!» — прервал его размышления.

— Постой, я сам отворю, — сказал кузнец и вышел в сени, в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.

Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Немудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество

колбасу.

Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу.

Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то немудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посереди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле.

Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею в такие года. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных Козаков (которым, не мешает между прочим

заметить, мало было нужды до красоты), что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович (конечно, если дьячихи не было дома), и козак Корний Чуб, и козак Касьян Свербыгуз. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик, или дворянин, как называют себя козаки, одетый в кобеняк с видлогою, в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, — как не зайти к Солохе, не поесть жирных с сметаною варенников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это — заходить по дороге. А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза; голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба! Черт-баба!»

Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник ме-

шаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с козаком Чубом. Чуб был вдов. Восемь скирд хлеба всегда стояли перед его хатою. Две пары дюжих волов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую куму — корову, или дядю — толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших по двору индеек и оборачиваясь задом, когда завидывал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удвоивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы наверно не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех сорокалетних кумушек:

ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма; что парубок Кизяколупенко видел у нее сзади хвост величиною не более бабьего веретена; что она еще в позапрошлый четверг черною кошкою перебежала дорогу; что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад.

Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровий пастух Тымиш Коростявый. Он не преминул рассказать, как летом, перед самою Петровкою, когда он лег спать в хлеву, подмостивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма, с распущенною косою, в одной рубашке, начала доить коров, а он не мог пошевельнуться, так был околдован; подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые козаки махали руками, когда слышали такие речи. «Брешут сучи бабы!»

— бывал обыкновенный ответ их.

Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту; но мешков не тронула: «Это Вакула принес, пусть же сам и вынесет!» Черт между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег мотался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу, в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпотчует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.

* * *

В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал по-бранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось в восемь раз больше того рассто-

яния, которое они прошли. Путешественники поворотили назад. Ветер дул в затылок; но сквозь метущий снег ничего не было видно.

— Стой, кум! мы, кажется, не туда идем, — сказал, немного отошедши, Чуб, — я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги; а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге! Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эк, какую кучу снега напустил в очи сатана!

Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедши в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, стряхнувши с себя снег, пошел в сени, нимало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу; остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решился идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.

— Чего тебе тут нужно? — сурово закричал

вышедший кузнец.

Чуб, узнавши голос кузнеца, отступил несколько назад. «Э, нет, это не моя хата, — говорил он про себя, — в мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы была это хата? Вот на! не распознал! это хромого Левченка, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю; зачем же кузнец?.. Э-ге-ге! он ходит к его молодой жене. Вот как! хорошо!., теперь я все понял».

— Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями? — произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.

«Нет, не скажу ему, кто я, — подумал Чуб, — чего доброго, еще приколотит, проклятый выродок!» — и, переменив голос, отвечал:

— Это я, человек добрый! пришел вам на забаву по-колядовать немного под окнами.

— Убирайся к черту с своими колядками! — сердито закричал Вакула. — Что ж ты стоишь? слышишь, убирайся сей же час вон!

Чуб сам уже имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден

слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор.

— Что ж ты, в самом деле, так раскричался? — произнес он тем же голосом, — я хочу колядовать, да и полно.

— Эге! да ты от слов не уймешься!.. — Вслед за сими словами Чуб почувствовал пребольной удар в плечо.

— Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться! — произнес он, немного отступая.

— Пошел, пошел! — кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.

— Что ж ты! — произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость. — Ты, вижу, не в шутку дерешься, и еще больно дерешься!

— Пошел, пошел! — закричал кузнец и захлопнул дверь.

— Смотри, как расхрабрился! — говорил Чуб, оставшись один на улице. — Попробуй, подойди! вишь какой! вот большая цаца! Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи: я думаю, синие

пятна есть. Должно быть, больно поколотил вражий сын! Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха! Постой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеник! Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Гм… оно ведь недалеко отсюда; пойти бы! Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того, будет можно… Вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!

Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину, произносил: «Больно поколотил проклятый кузнец!» И снова отправлялся в путь.

В то время, когда проворный франт с хвостом

и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие.

Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.

Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно

за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другой и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.

— Э, Одарка! — сказала веселая красавица, оборотившись к одной из девушек, — у тебя новые черевики! Ах, какие хорошие! и с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевики.

— Не тужи, моя ненаглядная Оксана! — подхватил кузнец, — я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит.

— Ты? — сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. — Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица.

— Видишь, каких захотела! — закричала со смехом девичья толпа.

— Да, — продолжала гордо красавица, — будьте все вы свидетельницы: если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него

замуж.

Девушки увели с собою капризную красавицу.

— Смейся, смейся! — говорил кузнец, выходя вслед за ними. — Я сам смеюсь над собою! Думаю, и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, — ну, Бог с ней! будто только на всем свете одна Оксана. Слава Богу, дивчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? с нее никогда не будет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться.

Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж!» Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане.

Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех.

Черт между тем не на шутку разнежился у Сол охи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить,

то он готов на все: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, притом же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывала без компании. Этот вечер, однако ж, думала провесть одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе: черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок.

Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель; а увидевши свет в ее хате, завернул к ней, в намерении провесть вечер с нею.

Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.

— Спрячь меня куда-нибудь, — шептал голова. — Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.

Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый большой мешок с углем; уголь высыпала в кадку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами

в мешок.

Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто и что он сердечно рад этому случаю *погулять* немного у нее и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:

— А что это у вас, великолепная Солоха? — И, сказавши это, отскочил он несколько назад.

— Как что? Рука, Осип Никифорович! — отвечала Солоха.

— Гм! рука! хе! хе! хе! — произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате. — А это что у вас, дражайшая Солоха? — произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею и таким же порядком отскочив назад.

— Будто не видите, Осип Никифорович! — отвечала Солоха. — Шея, а на шее монисто.

— Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! — и дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки. — А это что у вас, несравненная Солоха?.. — Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и

голос козака Чуба.

— Ах, Боже мой, стороннее лицо! — закричал в испуге дьяк. — Что теперь, если застанут особу моего звания?.. Дойдет до отца Кондрата!..

Но опасения дьяка были другого рода: он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую.

— Ради Бога, добродетельная Солоха, — говорил он, дрожа всем телом. — Ваша доброта, как говорит писание Луки глава трина… трин… Стучатся, ей-богу стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь.

Солоха высыпала уголь в кадку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.

— Здравствуй, Солоха! — сказал, входя в хату, Чуб. — Ты, может быть, не ожидала меня, а? правда, не ожидала? может быть, я помешал?.. — продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. — Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь?., может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? — И, восхищенный таким

своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. — Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством! Как схватилась, слышишь, Солоха, как схватилась… Эк окостенели руки: не расстегну кожуха! Как схватилась вьюга…

— Отвори! — раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.

— Стучит кто-то, — сказал остановившийся Чуб.

— Отвори! — закричали сильнее прежнего.

— Это кузнец! — произнес, схватясь за капелюхи, Чуб. — Слышишь, Солоха: куда хочешь девай меня; я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною!

Солоха, испугавшись сама, металась как угорелая и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтеньем боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои замерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков.

Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно было, что он весьма не в духе.

В то самое время, когда Солоха затворяла за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был козак Свербыгуз. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить.

Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни колядующих; наконец остановил глаза на мешках: «Зачем тут лежат эти мешки? их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!»

Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли Бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка и дюжий голова начал было икать довольно явственно.

— Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? — говорил кузнец, — не хочу думать о ней, а все думается; и, как нарочно, о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Кой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего! Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я! я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову, а теперь мешков с углем не подыму.

Скоро буду от ветра валиться. Нет, — вскричал он, помолчав и ободрившись, — что я за баба! Не дам никому смеяться над собою! Хоть десять таких мешков, все подыму. — И бодро взвалил себе на плечи мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. — Взять и этот, — продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал, свернувшись, черт. — Тут, кажется, я положил струмент свой. — Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню:

Мені с жінкой не возиться.

Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних

деревень. Парубки шалили и бесились вволю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых Козаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во все горло:

Щедрик, ведрик!
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски!

Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были провеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! И еще белее казался свет месяца от блеска снега.

Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули; бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которою ему послышался голос Оксаны.

«Так, это она! стоит, как царица, и блестит черными очами! Ей рассказывает что-то видный парубок; верно, забавное, потому что она смеется. Но она всегда смеется». Как будто невольно, сам не понимая как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее.

— А, Вакула, ты тут! здравствуй! — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Ваку-лу с ума. — Ну, много наколядовал? Э, какой маленький мешок! а черевики, которые носит царица, достал? достань черевики, выйду замуж! — И, засмеявшись, убежала с толпою.

Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу; нет сил больше… — произнес он наконец. — Но Боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд, и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет… Нет, невмочь уже пересi-

лить себя! Пора положить конец всему: пропадай душа, пойду утоплюсь в пролубе, и поминай как звали!»

Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твердым голосом:

— Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этом свете.

Красавица казалась удивленною, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал.

— Куда, Вакула? — кричали парубки, видя бегущего кузнеца.

— Прощайте, братцы! — кричал в ответ кузнец. — Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам Чудотворца и Божией Матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! Прощайте!

Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине.

— Он повредился! — говорили парубки.

— Пропадшая душа! — набожно пробормотала

проходившая мимо старуха. — Пойти рассказать, как кузнец повесился!

Вакула между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевесть дух. «Куда я в самом деле бегу? — подумал он, — как будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать!»

При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости; но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к Пузатому Пацюку.

Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем; но выгнали его или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может и пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру; впрочем, было где и поместиться: потому что Пацюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он,

были так широки, что, какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно не заметно, и казалось — винокуренная кадь двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его Пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду.

Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами

галушки.

«Нет, этот, — подумал Вакула про себя, — еще ленивее Чуба: тот по крайней мере ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять!»

Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему пренизкий поклон.

— Я к твоей милости пришел, Пацюк! — сказал Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки.

— Ты, говорят, не во гнев будь сказано… — сказал, собираясь с духом, кузнец, — я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанесть какую обиду, — приходишься немного сродни черту.

Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик и мало смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Пацюк, схвативши кадушку вместе с миской, пошлет ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица.

Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать:

— К тебе пришел, Пацюк, дай Боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции! — Кузнец иногда умел ввернуть модное слово; в том он понаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. — Пропадать приходится мне, грешному! ничто не помогает на свете! Что будет, то будет, приходится просить помощи у самого черта. Что ж, Пацюк? — произнес кузнец, видя неизменное его молчание, — как мне быть?

— Когда нужно черта, то и ступай к черту! — отвечал Пацюк, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки.

— Для того-то я и пришел к тебе, — отвечал кузнец, отвешивая поклон, — кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги.

Пацюк ни слова и доедал остальные галушки.

— Сделай милость, человек добрый, не откажи! — наступал кузнец, — свинины ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего, в случае потребности… как обыкновенно между добрыми людьми водится… не поскупимся. Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу?

— Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, — произнес равнодушно Пацюк, не

изменяя своего положения.

Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» — безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал.

Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски; одна была наполнена варениками, другая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим, — говорил он сам себе, — как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва обмакнуть в сметану».

Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнулся в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» — подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что

вареник лезет и к нему в рот и уже вымазал губы сметаною. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя притом, что один только Пацюк может помочь ему. «Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько… Однако что за черт! ведь сегодня *голодная кутья,* а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак, стою тут и греха набираюсь! Назад!» — И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты.

Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею.

Мороз подрал по коже кузнеца; испугавшись и побледнев, не знал он, что делать; уже хотел перекреститься… Но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал:

— Это я — твой друг, все сделаю для товарища и друга! Денег дам сколько хочешь, — пискнул он ему в левое ухо. — Оксана будет сегодня же наша, — шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо.

Кузнец стоял, размышляя.

— Изволь, — сказал он наконец, — за такую цену готов быть твоим!

Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался кузнец! — думал он про себя, — теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малеванья и небылицы, взводимые на чертей. Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аде все хвостатое племя, как будет беситься хромой черт, считавшийся между ними первым на выдумки.

— Ну, Вакула! — пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал, — ты знаешь, что без контракта ничего не делают.

— Я готов! — сказал кузнец. — У вас, я слышал, расписываются кровью; постой же, я достану в кармане гвоздь! — Тут он заложил назад руку — и хвать черта за хвост.

— Вишь, какой шутник! — закричал, смеясь, черт. — Ну, полно, довольно уже шалить!

— Постой, голубчик! — закричал кузнец, — а вот это как тебе покажется? — При сем слове

он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. — Постой же, — сказал он, стаскивая его за хвост на землю, — будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан! — Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.

— Помилуй, Вакула! — жалобно простонал черт, — все, что для тебя нужно, все сделаю, отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста!

— А, вот каким голосом запел, немец проклятый! теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе! слышишь, неси, как птица!

— Куда? — произнес печальный черт.

— В Петембург, прямо к царице!

И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? «Чего доброго! может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первою красавицею на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша! он меня ни

за что не променяет; он шалит, прикидывается. Не пройдет минут десять, как он, верно, придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется!» И ветреная красавица уже шутила с своими подругами.

— Постойте, — сказала одна из них, — кузнец позабыл мешки свои; смотрите, какие страшные мешки! Он не по-нашему наколядовал: я думаю, сюда по целой четверти барана кидали; а колбасам и хлебам, верно, счету нет. Роскошь! целые праздники можно объедаться.

— Это Кузнецовы мешки? — подхватила Оксана. — Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал.

Все со смехом одобрили такое предложение.

— Но мы не поднимем их! — закричала вся толпа вдруг, силясь сдвинуть мешки.

— Постойте, — сказала Оксана, — побежим скорее за санками и отвезем на санках!

И толпа побежала за санками.

Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то, что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть; но вылезть из мешка при всех, показать

себя на смех… это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти по крайней мере шагов с сотню, а может быть, и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс — сколько работы! да и капелюхи остались у Сол охи. Пусть же лучше дивчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда дивчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг; он хотел было дожидаться, авось-либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчует его; но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении.

— Вишь, какие мешки кто-то бросил на доро-

ге! — сказал он, осматриваясь по сторонам, — должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастие наколядовать столько всякой всячины! Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то *добре.* Хотя бы были тут одни паляницы, и то *в шмак:* жидовка за каждую паляницу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел. — Тут взвалил он себе на плечи мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. — Нет, одному будет тяжело несть, — проговорил он, — а вот, как нарочно, идет ткач Шапуваленко. Здравствуй, Остап!

— Здравствуй, — сказал, остановившись, ткач.

— Куда идешь?

— А так. Иду, куда ноги идут.

— Помоги, человек добрый, мешки снесть! кто-то колядовал, да и кинул посереди дороги. Добром разделимся пополам.

— Мешки? а с чем мешки, с кнышами или паляницами?

— Да, думаю, всего есть.

Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.

— Куда ж мы понесем его? в шинок? — спросил дорогою ткач.

— Оно бы и я так думал, чтобы в шинок; но ведь проклятая жидовка не поверит, подумает еще, что где-нибудь украли; к тому же я только что из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает: жинки нет дома.

— Да точно ли нет дома? — спросил осторожный ткач.

— Слава Богу, мы не совсем еще без ума, — сказал кум, — черт ли бы принес меня туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света.

— Кто там? — закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь.

Кум остолбенел.

— Вот тебе на! — произнес ткач, опустя руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, каких немало на белом свете. Так же как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день пресмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам с своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старее шаровар волостного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий выходивший из дому никогда не брал

палки для собак, в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подалее от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях.

Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила.

— Вот это хорошо! — сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. — Это хорошо, что наколядовали столько! Вот так всегда делают добрые люди; только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сей час! слышите, покажите сей же час мешок ваш!

— Лысый черт тебе покажет, а не мы, — сказал,

приосанясь, кум.

— Тебе какое дело? — сказал ткач, — мы наколядовали, а не ты.

— Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница! — вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку.

Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.

— Что мы допустили ее? — сказал ткач, очнувшись.

— Э, что мы допустили! а отчего ты допустил? — сказал хладнокровно кум.

— У вас кочерга, видно, железная! — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. — Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы, — та ничего… не больно…

Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.

— Э, да тут лежит целый кабан! — вскрикнула

она, всплеснув от радости в ладоши.

— Кабан! слышишь, целый кабан! — толкал ткач кума. — А все ты виноват!

— Что ж делать! — произнес, пожимая плечами, кум.

— Как что? чего мы стоим? отнимем мешок! ну, приступай!

— Пошла прочь! пошла! это наш кабан! — кричал, выступая, ткач.

— Ступай, ступай, чертова баба! это не твое добро! — говорил, приближаясь, кум.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты.

— Что ж она, дура, говорит: кабан! Это не кабан! — сказал кум, выпуча глаза.

— Вишь, какого человека кинуло в мешок! — сказал ткач, пятясь от испугу. — Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко.

— Это кум! — вскрикнул, вглядевшись, кум.

— А ты думал кто? — сказал Чуб, усмехаясь. — Что, славную я выкинул над вами штуку? А вы,

небось, хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую: в мешке лежит еще что-то, — если не кабан, то, наверно, поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось.

Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка.

Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.

— Вот и другой еще! — вскрикнул со страхом ткач, — черт знает как стало на свете… голова идет кругом… не колбас и не паляниц, а людей кидают в мешки!

— Это дьяк! — произнес изумившийся более всех Чуб. — Вот тебе на! Ай да Солоха! посадить в мешок… То-то, я гляжу, у нее полная хата мешков… Теперь я все знаю: у нее в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному… Вот тебе и Солоха!

Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого», — лепетала Оксана. Все принялись за мешок и

взвалили его на санки.

Голова решился молчать, рассуждая: если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, — глупые дивчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра.

Девушки между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихорь, с санками по скрипучему снегу. Множество, шаля, садилось на санки; другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Наконец приехали, отворили настежь двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок.

— Посмотрим, что-то лежит тут, — закричали все, бросившись развязывать.

Тут икотка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло.

— Ах, тут сидит кто-то! — закричали все и в испуге бросились вон из дверей.

— Что за черт! куда вы мечетесь как угорелые? — сказал, входя в дверь, Чуб.

— Ах, батько! — произнесла Оксана, — в мешке сидит кто-то!

— В мешке? где вы взяли этот мешок?

— Кузнец бросил его посереди дороги, — сказали все вдруг.

«Ну, так, не говорил ли я?..» — подумал про себя Чуб.

— Чего ж вы испугались? посмотрим. А ну-ка, чоловиче, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству, вылезай из мешка!

Голова вылез.

— Ах! — вскрикнули девушки.

— И голова влез туда ж, — говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног. — Вишь как!.. Э!.. — более он ничего не мог сказать.

Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать.

— Должно быть, на дворе холодно? — сказал он, обращаясь к Чубу.

— Морозец есть, — отвечал Чуб. — А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?

Он хотел не то сказать, он хотел спросить: «Как ты, голова, залез в этот мешок?», но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.

— Дегтем лучше! — сказал голова. — Ну, прощай, Чуб! — И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.

— Для чего спросил я сдуру, чем он мажет са-

поги! — произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. — Ай да Солоха! эдакого человека засадить в мешок!.. Вишь, чертова баба! А я дурак… Да где же тот проклятый мешок?

— Я кинула его в угол, там больше ничего нет, — сказала Оксана.

— Знаю я эти штуки, ничего нет! подайте его сюда: там еще один сидит! встряхните его хорошенько… Что, нет?.. Вишь, проклятая баба! а поглядеть на нее: как святая, как будто и скоромного никогда не брала в рот.

Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый.

Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух

в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно; и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила, куда нужно, ведьма… много еще дряни встречали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него и потом снова неслось далее и продолжало свое; кузнец все летел; и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. (Тогда была по какому-то случаю иллюминация.) Черт, перелетев через шлагбаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне середи улицы.

Боже мой! стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; домы росли и будто подымались из земли на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, форейторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами, унизанными плошками, и огромные

тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все домы устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства! — подумал кузнец. — Я думаю, каждый, кто ни пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель! а те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те когда не городничие, то, верно, комиссары, а может, еще и больше». Его слова прерваны были вопросом черта: «Прямо ли ехать к царице?» «Нет, страшно, — подумал кузнец. — Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью чрез Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице; все бы таки посоветоваться с ними».

— Эй, сатана, полезай ко мне в карман да веди к запорожцам!

Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату, но немного

ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги, и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками.

— Здравствуйте, Панове! помогай Бог вам! вот где увиделись! — сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли.

— Что там за человек? — спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее.

— А вы не познали? — сказал кузнец, — это я, Вакула, кузнец! Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки!

— А! — сказал тот же запорожец, — это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя Бог принес?

— А так, захотелось поглядеть, говорят…

— Что ж, земляк, — сказал, приосанясь, запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски, — што балшой город?

Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.

— Губерния знатная! — отвечал он равнодушно. — Нечего сказать: домы балшущие, картины висят скрозь важные. Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!

Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное.

— После потолкуем с тобою, земляк, побольше; теперь же мы едем сейчас к царице.

— К царице? а будьте ласковы, Панове, возьмите и меня с собою!

— Тебя? — произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. — Что ты будешь там делать? Нет, не можно. — При этом на лице его выразилась значительная мина. — Мы, брат, будем с царицею толковать про свое.

— Возьмите! — настаивал кузнец. — Проси! — шепнул он тихо черту, ударив кулаком по карману.

Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил:

— Возьмем его, в самом деле, братцы!

— Пожалуй, возьмем! — произнесли другие.

— Надевай же платье такое, как и мы.

Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать.

Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные домы и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.

«Боже ты мой, какой свет! — думал про себя кузнец. — У нас днем не бывает так светло».

Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подыматься на блистательно освещенную лестницу.

— Что за лестница! — шептал про себя кузнец, — жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! кой черт лгут! Боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!

Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене

картине. Это была Пречистая Дева с младенцем на руках. «Что за картина! что за чудная живопись! — рассуждал он, — вот, кажется, говорит! кажется, живая! А дитя святое! и ручки прижало! и усмехается, бедное! А краски! Боже ты мой, какие краски! тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло, все ярь да бакан; а голубая так и горит! Важная работа! должно быть, грунт наведен был блейва-сом. Сколь, однако ж, ни удивительны сии малевания, но эта медная ручка, — продолжал он, подходя к двери и щупая замок, — еще большего достойна удивления. Эк какая чистая выделка! Это все, я думаю, немецкие кузнецы, за самые дорогие цены делали…»

Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу.

Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного росту, довольно плотный человек в гетьманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один

глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость, во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетьман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам.

Запорожцы отвесили все поклон в ноги.

— Все ли вы здесь? — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.

— *Та еси, батько!* — отвечали запорожцы, кланяясь снова.

— Не забудете говорить так, как я вас учил?

— Нет, батько, не позабудем.

— Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев.

— Куда тебе царь! это сам Потемкин, — отвечал тот.

В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных в шитых золотом кафтанах и с пучками назади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все

пали на землю и закричали в один голос:

— Помилуй, мамо! помилуй!

Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.

— Встаньте! — прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.

— Не встанем, мамо! не встанем! умрем, а не встанем! — кричали запорожцы.

Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись.

Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого росту женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами, и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине.

— Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала, — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. — Хорошо ли вас здесь содержат? — продолжала она, подходя ближе.

— *Та спасиби, мамо!* Провиянт дают хороший,

хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожьи, — почему ж не жить как-нибудь?..

Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил…

Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед:

— Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чем-либо с турчином; разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость? Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас; после слышали, что хочешь *поворотить в карабинеры;* теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию чрез Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..

Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.

— Чего же хотите вы? — заботливо спросила Екатерина.

Запорожцы значительно взглянули друг на друга.

«Теперь пора! царица спрашивает, чего хотите!» — сказал сам себе кузнец и вдруг повалился

на землю.

— Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевики!

Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.

— Встань! — сказала ласково государыня. — Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом! Право, мне очень нравится это простодушие! Вот вам, — продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, — предмет, достойный остроумного пера вашего!

— Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно по крайней мере

Лафонтена! — отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.

— По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однако ж, — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, — я слышала, что на Сече у вас никогда не женятся.

— *Як же, мамо!* ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить, — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом; и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ! — подумал он сам в себе, — верно, недаром он делает».

— Мы не чернецы, — продолжал запорожец, — а люди грешные. Падки, как и все честное христианство, до скоромного. Есть у нас немало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на Сече. Есть такие, что имеют жен в Польше; есть такие, что имеют жен в Украине; есть такие, что имеют жен и в Турецине.

В это время кузнецу принесли башмаки.

— Боже ты мой, что за украшение! — вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. — Ваше царское

величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах и в них, чаятельно, ваше благородие, ходите и на лед *ковзаться,* какие ж должны быть самые ножки? думаю, по малой мере из чистого сахара.

Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем: правда ли, что цари едят один только мед да сало, и тому подобное; но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать. И когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на Сече, какие обычаи водятся, — он, отошедши назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» — и вдруг очутился за шлагбаумом.

— Утонул! ей-богу, утонул! вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул! — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских баб посереди улицы.

— Что ж, разве я лгунья какая? разве я у кого-ни-

будь корову украла? разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры? — кричала баба в козацкой свитке, с фиолетовым носом, размахивая руками. — Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая Переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!

— Кузнец повесился? вот тебе на! — сказал голова, выходивший от Чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.

— Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница! — отвечала ткачиха, — нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул! утонул в пролубе! Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки.

— Срамница! вишь, чем стала попрекать! — гневно возразила баба с фиолетовым носом. — Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?

Ткачиха вспыхнула.

— Что дьяк? к кому дьяк? что ты врешь?

— Дьяк? — пропела, теснясь к спорившим, дьячиха, в тулупе из заячьего меха, крытом синею китайкою. — Я дам знать дьяка! кто это говорит — дьяк?

— А вот к кому ходит дьяк! — сказала баба с

фиолетовым носом, указывая на ткачиху.

— Так это ты, сука, — сказала дьячиха, подступая к ткачихе, — так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе?

— Отвяжись от меня, сатана! — говорила, пятясь, ткачиха.

— Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная! тьфу!.. — Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе.

Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим.

— А, скверная баба! — закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтиться с ругательствами в разные стороны. — Экая мерзость! — повторял он, продолжая обтираться. — Так кузнец утонул! Боже ты мой! а какой важный живописец был! какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! что за сила была! Да, — продолжал он, задумавшись, — таких людей мало у нас на селе. То-то я, еще сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец! был, а теперь и нет! а я собирался было

подковать свою рябую кобылу!..

И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату.

Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам Переперчихи и толкам баб, она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он, в самом деле, ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте где найдется такой молодец, как кузнец! Он же так любил ее! он долее всех выносил ее капризы! Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый — и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя; то, приутихнув, решалась ни о чем не думать — и все думала. И вся горела, и к утру влюбилась по уши в кузнеца.

Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были одним: он никак не мог позабыть вероломства Солохи и сонный не переставал бранить ее.

Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно

крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Дивчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу.

Но впереди всех стояли дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большею частию в кобеняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою; дивчата помышляли о том, как они будут *ковзатъся* с хлопцами на льду; старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как козак Свербыгуз клал поклоны. Одна только Оксана стояла как будто не своя; молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение; слезы дрожали на глазах. Дивчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана

была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник как будто не праздник; что как будто все чего-то недостает. Как на беду, дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом; правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда, бывало, как только пели «Отче наш» или «Иже херувимы», всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара. Уже отошла заутреня; после заутрени отошла обедня… куда ж это, в самом деле, запропастился кузнец?

Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда? — закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта, — постой, приятель, еще не все: я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел,

что солнце уже высоко: «Я проспал заутреню и обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, Бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату: но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи; умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку решетиловских смушек с синим верхом, которой не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве; вынул также новый всех цветов пояс; положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.

Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и

запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним новехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:

— Помилуй, батько! не гневись! вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает. Отдаюсь сам, во всем каюсь; бей, да не гневись только! ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили.

Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его. Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине.

— Ну, будет с тебя, вставай! старых людей всегда слушай! Забудем все, что было меж нами! ну, теперь говори, чего тебе хочется?

— Отдай, батько, за меня Оксану!

Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс: шапка была чудная, пояс также не уступал ей; вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:

— *Добре!* присылай сватов!

— Ай! — вскрикнула Оксана, переступив через

порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.

— Погляди, какие я тебе принес черевики! — сказал Вакула, — те самые, которые носит царица.

— Нет! нет! мне не нужно черевиков! — говорила она, махая руками и не сводя с него очей, — я и без черевиков… — Далее она не договорила и покраснела.

Кузнец подошел ближе, взял ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою.

— А чья это такая размалеванная хата? — спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.

— Кузнеца Вакулы! — сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

— Славно! славная работа! — сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою; на две-

рях же везде были козаки на лошадях, с трубками в зубах.

Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цветами. Это, однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: *«Он бань, яка кака намалевана!»* И дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.

1832

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Мальчик у Христа на елке
Часть I

МАЛЬЧИК С РУЧКОЙ

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, — значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит — просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, — стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмущая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрав копеек,

мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол,

…и в рот мне водку скверную
Безжалостно вливал…

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника

в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все — голод, холод, побои, — только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли Бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однако же, всё факты.

Часть II

МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЕЛКЕ

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик

и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», — подумал

он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — Господи, кабы покушать! и какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, Господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, — ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! а это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие — миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на

улицу. Как он испугался! а копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, Господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, — только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! и плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он,

вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, — и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху, и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, — подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, — совсем как живые!..» и вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

— Пойдем ко мне на елку, мальчик, — прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и… И вдруг, — о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом всё куколки, — но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит,

и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! — кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? — спрашивает он, смеясь и любя их.

— Это «Христова елка», — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки… — И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и Он Сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не пла-

кать, потому что им здесь так хорошо…

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та умерла еще прежде его; оба свиделись у Господа Бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? а еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? на то я и романист, чтоб выдумывать.

1876

АНТОН ЧЕХОВ

Елка

Высокая, вечнозеленая елка судьбы увешана благами жизни… От низу до верху висят карьеры, счастливые случаи, подходящие партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки по носу и проч. Вокруг елки толпятся взрослые дети. Судьба раздает им подарки…

— Дети, кто из вас желает богатую купчиху? — спрашивает она, снимая с ветки краснощекую купчиху, от головы до пяток усыпанную жемчугом и бриллиантами… — Два дома на Плющихе, три железные лавки, одна портерная и двести тысяч деньгами! Кто хочет?

— Мне! Мне! — протягиваются за купчихой сотни рук. — Мне купчиху!

— Не толпитесь, дети, и не волнуйтесь… Все будете удовлетворены… Купчиху пусть возьмет себе молодой эскулап. Человек, посвятивший себя науке и записавшийся в благодетели человечества, не может обойтись без пары лошадей, хорошей мебели и проч. Бери, милый доктор! не за что… Ну-с, теперь следующий сюрприз! Место на Чухломо-Пошехонской железной дороге! Десять тысяч жалованья, столько же наградных, работы

три часа в месяц, квартира в тринадцать комнат и проч… Кто хочет? Ты, Коля? Бери, милый! Далее… Место экономки у одинокого барона Шмаус! Ах, не рвите так, mesdames! Имейте терпение!.. Следующий! Молодая, хорошенькая девушка, дочь бедных, но благородных родителей! Приданого ни гроша, но зато натура честная, чувствующая, поэтическая! Кто хочет? (Пауза.) Никто?

— Я бы взял, да кормить нечем! — слышится из угла голос поэта.

— Так никто не хочет?

— Пожалуй, давайте я возьму… Так и быть уж… — говорит маленький, подагрический старикашка, служащий в духовной консистории. — Пожалуй…

— Носовой платок Зориной! Кто хочет?

— Ах!.. Мне! Мне!.. Ах! Ногу отдавили! Мне!

— Следующий сюрприз! Роскошная библиотека, содержащая в себе все сочинения Канта, Шопенгауэра, Гёте, всех русских и иностранных авторов, массу старинных фолиантов и проч… Кто хочет?

— Я-с! — говорит букинист Свинопасов. — Пажалте-с!

Свинопасов берет библиотеку, отбирает себе «Оракул», «Сонник», «Письмовник», «Настольную

книгу для холостяков»… остальное же бросает на пол…

— Следующий! Портрет Окрейца!

Слышен громкий смех…

— Давайте мне… — говорит содержатель музея Винклер. — Пригодится…

— Далее! Роскошная рамка от премии «Нови» (пауза). Никто не хочет? в таком случае далее… Порванные сапоги!

Сапоги достаются художнику… в конце концов елка обирается и публика расходится… Около елки остается один только сотрудник юмористических журналов…

— Мне же что? — спрашивает он судьбу. — Все получили по подарку, а мне хоть бы что. Это свинство с твоей стороны!

— Все разобрали, ничего не осталось… Остался, впрочем, один кукиш с маслом… Хочешь?

— Не нужно… Мне и так уж надоели эти кукиши с маслом… Кассы некоторых московских редакций полнехоньки этого добра. Нет ли чего посущественнее?

— Возьми эти рамки…

— У меня они уже есть…

— Вот уздечка, вожжи… Вот красный крест, если хочешь… Зубная боль… Ежовые рукавицы…

Месяц тюрьмы за диффамации…

— Все это у меня уже есть…

— Оловянный солдатик, ежели хочешь… Карта Севера…

Юморист машет рукой и уходит восвояси с надеждой на елку будущего года…

1884

Сон

(Святочный рассказ)

Бывают погоды, когда зима, словно озлившись на человеческую немощь, призывает к себе на помощь суровую осень и работает с нею сообща. В беспросветном, туманном воздухе кружатся снег и дождь. Ветер, сырой, холодный, пронизывающий, с неистовой злобой стучит в окна и в кровли. Он воет в трубах и плачет в вентиляциях. В темном, как сажа, воздухе висит тоска… Природу мутит… Сыро, холодно и жутко…

Точно такая погода была в ночь под Рождество тысяча восемьсот восемьдесят второго года, когда я еще не был в арестантских ротах, а служил оценщиком в ссудной кассе отставного штабс-капитана Тупаева.

Было двенадцать часов. Кладовая, в которой я по воле хозяина имел свое ночное местопребывание и изображал из себя сторожевую собаку, слабо освещалась синим лампадным огоньком. Это была большая квадратная комната, заваленная узлами, сундуками, этажерками… на серых деревянных стенах, из щелей которых

глядела растрепанная пакля, висели заячьи шубки, поддевки, ружья, картины, бра, гитара… я, обязанный по ночам сторожить это добро, лежал на большом красном сундуке за витриной с драгоценными вещами и задумчиво глядел на лампадный огонек…

Почему-то я чувствовал страх. Вещи, хранящиеся в кладовых ссудных касс, страшны… в ночную пору при тусклом свете лампадки они кажутся живыми… Теперь же, когда за окном роптал дождь, а в печи и над потолком жалобно выл ветер, мне казалось, что они издавали воющие звуки. Все они, прежде чем попасть сюда, должны были пройти через руки оценщика, то есть через мои, а потому я знал о каждой из них всё… Знал, например, что за деньги, вырученные за эту гитару, куплены порошки от чахоточного кашля… Знал, что этим револьвером застрелился один пьяница; жена скрыла револьвер от полиции, заложила его у нас и купила гроб.

Браслет, глядящий на меня из витрины, заложен человеком, укравшим его… Две кружевные сорочки, помеченные 178 №, заложены девушкой, которой нужен был рубль для входа в Salon, где она собиралась заработать… Короче говоря, на каждой вещи читал я безвыходное горе, болезнь,

преступление, продажный разврат…

В ночь под Рождество эти вещи были как-то особенно красноречивы.

— Пусти нас домой!.. — плакали они, казалось мне, вместе с ветром. — Пусти!

Но не одни вещи возбуждали во мне чувство страха. Когда я высовывал голову из-за витрины и бросал робкий взгляд на темное, вспотевшее окно, мне казалось, что в кладовую с улицы глядели человеческие лица.

«Что за чушь! — бодрил я себя. — Какие глупые нежности!»

Дело в том, что человека, наделенного от природы нервами оценщика, в ночь под Рождество мучила совесть — событие невероятное и даже фантастическое. Совесть в ссудных кассах имеется только под закладом. Здесь она понимается как предмет продажи и купли, других же функций за ней не признается… Удивительно, откуда она могла у меня взяться? я ворочался с боку на бок на своем жестком сундуке и, щуря глаза от мелькавшей лампадки, всеми силами старался заглушить в себе новое, непрошеное чувство. Но старания мои оставались тщетны…

Конечно, тут отчасти было виновато физическое и нравственное утомление после тяжкого,

целодневного труда. В канун Рождества бедняки ломились в ссудную кассу толпами. В большой праздник и вдобавок еще в злую погоду бедность не порок, но страшное несчастье! в это время утопающий бедняк ищет в ссудной кассе соломинку и получает вместо нее камень… за весь сочельник у нас перебывало столько народу, что три четверти закладов, за неимением места в кладовой, мы принуждены были снести в сарай. От раннего утра до позднего вечера, не переставая ни на минуту, я торговался с оборвышами, выжимал из них гроши и копейки, глядел слезы, выслушивал напрасные мольбы… к концу дня я еле стоял на ногах: изнемогли душа и тело. Немудрено, что я теперь не спал, ворочался с боку на бок и чувствовал себя жутко…

Кто-то осторожно постучался в мою дверь… Вслед за стуком я услышал голос хозяина:

— Вы спите, Петр Демьяныч?

— Нет еще, а что?

— Я, знаете ли, думаю, не отворить ли нам завтра рано утречком дверь? Праздник большой, а погода злющая. Беднота нахлынет, как муха на мед. Так вы уж завтра не идите к обедне, а посидите в кассе… Спокойной ночи!

«Мне оттого так жутко, — решил я по уходе

хозяина, — что лампадка мелькает… Надо ее потушить…»

Я встал с постели и пошел к углу, где висела лампадка. Синий огонек, слабо вспыхивая и мелькая, видимо боролся со смертью. Каждое мельканье на мгновение освещало образ, стены, узлы, темное окно… а в окне две бледные физиономии, припав к стеклам, глядели в кладовую.

«Никого там нет… — рассудил я. — Это мне представляется».

И когда я, потушив лампадку, пробирался ощупью к своей постели, произошел маленький казус, имевший немалое влияние на мое дальнейшее настроение… Над моей головой вдруг, неожиданно раздался громкий, неистово визжащий треск, продолжавшийся не долее секунды. Что-то треснуло и, словно почувствовав страшную боль, громко взвизгнуло.

То лопнула на гитаре квинта, я же, охваченный паническим страхом, заткнул уши и, как сумасшедший, спотыкаясь о сундуки и узлы, побежал к постели… я уткнул голову под подушку и, еле дыша, замирая от страха, стал прислушиваться.

— Отпусти нас! — выл ветер вместе с вещами. — Ради праздника отпусти! Ведь ты сам бедняк, понимаешь! Сам испытал голод и холод!

Отпусти!

Да, я сам был бедняк и знал, что значит голод и холод. Бедность толкнула меня на это проклятое место оценщика, бедность заставила меня ради куска хлеба презирать горе и слезы. Если бы не бедность, разве у меня хватило бы храбрости оценивать в гроши то, что стоит здоровья, тепла, праздничных радостей? за что же винит меня ветер, за что терзает меня моя совесть?

Но как ни билось мое сердце, как ни терзали меня страх и угрызения совести, утомление взяло свое. Я уснул. Сон был чуткий… я слышал, как ко мне еще раз стучался хозяин, как ударили к заутрене… я слышал, как выл ветер и стучал по кровле дождь. Глаза мои были закрыты, но я видел вещи, витрину, темное окно, образ. Вещи толпились вокруг меня и, мигая, просили отпустить их домой. На гитаре с визгом одна за другой лопались струны, лопались без конца… в окно глядели нищие, старухи, проститутки, ожидая, пока я отопру ссуду и возвращу им их вещи.

Слышал я сквозь сон, как что-то заскребло, как мышь. Скребло долго, монотонно. Я заворочался и съежился, потому что на меня сильно подуло холодом и сыростью. Натягивая на себя одеяло, я слышал шорох и человеческий шепот.

«Какой нехороший сон! — думал я. — Как жутко! Проснуться бы».

Что-то стеклянное упало и разбилось. За витриной мелькнул огонек, и на потолке заиграл свет.

— Не стучи! — послышался шепот. — Разбудишь того Ирода… Сними сапоги!

Кто-то подошел к витрине, взглянул на меня и потрогал висячий замочек. Это был бородатый старик с бледной, испитой физиономией, в порванном солдатском сюртучишке и в опорках. К нему подошел высокий худой парень с ужасно длинными руками, в рубахе навыпуск и в короткой, рваной жакетке. Оба они что-то пошептали и завозились около витрины.

«Грабят!» — мелькнуло у меня в голове.

Хотя я спал, но помнил, что под моей подушкой всегда лежал револьвер. Я тихо нащупал его и сжал в руке. В витрине звякнуло стекло.

— Тише, разбудишь. Тогда уколошматить придется.

Далее мне снилось, что я вскрикнул грудным, диким голосом и, испугавшись своего голоса, вскочил. Старик и молодой парень, растопырив руки, набросились на меня, но, увидев револьвер, попятились назад. Помнится, что через минуту они стояли передо мной бледные и, слезливо

мигая глазами, умоляли меня отпустить их. В поломанное окно с силою ломил ветер и играл пламенем свечки, которую зажгли воры.

— Ваше благородие! — заговорил кто-то под окном плачущим голосом. — Благодетели вы наши! Милостивцы!

Я взглянул на окно и увидел старушечью физиономию, бледную, исхудалую, вымокшую на дожде.

— Не трожь их! Отпусти! — плакала она, глядя на меня умоляющими глазами. — Бедность ведь!

— Бедность! — подтвердил старик.

— Бедность! — пропел ветер.

У меня сжалось от боли сердце, и я, чтобы проснуться, защипал себя… Но вместо того, чтобы проснуться, я стоял у витрины, вынимал из нее вещи и судорожно пихал их в карманы старика и парня.

— Берите, скорей! — задыхался я. — Завтра праздник, а вы нищие! Берите!

Набив нищенские карманы, я завязал остальные драгоценности в узел и швырнул их старухе. Подал я в окно старухе шубу, узел с черной парой, кружевные сорочки и кстати уж и гитару. Бывают же такие странные сны! Засим, помню, затрещала дверь. Точно из земли выросши, предстали

предо мной хозяин, околоточный, городовые. Хозяин стоит около меня, а я словно не вижу и продолжаю вязать узлы.

— Что ты, негодяй, делаешь?

— Завтра праздник, — отвечаю я. — Надо им есть.

Тут занавес опускается, вновь поднимается, и я вижу новые декорации. Я уже не в кладовой, а где-то в другом месте. Около меня ходит городовой, ставит мне на ночь кружку воды и бормочет: «Ишь ты! Ишь ты! Что под праздник задумал!» Когда я проснулся, было уже светло. Дождь уже не стучал в окно, ветер не выл. На стене весело играло праздничное солнышко. Первый, кто поздравил меня с праздником, был старший городовой.

— И с новосельем… — добавил он.

Через месяц меня судили. За что? я уверял судей, что то был сон, что несправедливо судить человека за кошмар. Судите сами, мог ли я отдать ни с того ни с сего чужие вещи ворам и негодяям? Да и где это видано, чтоб отдавать вещи, не получив выкупа? Но суд принял сон за действительность и осудил меня. В арестантских ротах, как видите. Не можете ли вы, ваше благородие, замолвить за меня где-нибудь словечко? Ей-богу,

не виноват.

1884

Мальчики

— Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе.

— Володичка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую. — Ах, Боже мой!

Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «Бррр!» Мать и тетка бросились обнимать и целовать его, Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно:

— А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи Боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что, я не отец, что ли?

— Гав! Гав! — ревел басом Милорд, огромный

черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели.

Всё смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королевы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большою лисьей шубой.

— Володичка, а это же кто? — спросила шепотом мать.

— Ах! — спохватился Володя. — Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса… Я привез его с собой погостить у нас.

— Очень приятно, милости просим! — сказал радостно отец. — Извините, я по-домашнему, без сюртука… Пожалуйте! Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться! Господи Боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!

Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои

чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.

— Ну, вот скоро и Рождество! — говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. — А давно ли было лето и мать плакала, тебя провожаючи? Ан ты и приехал… Время, брат, идет быстро! Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь! у нас попросту.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша — самой старшей из них было одиннадцать лет, — сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень некрасив, и если б на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-ни-

будь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос.

Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал:

— А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.

Он тоже был занят какими-то мыслями и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.

После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:

— Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаич, взял мои ножницы?

— Господи Боже мой, даже ножниц не дают! — отвечал плачущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался.

В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться; потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.

— Сначала в Пермь… — тихо говорил Чечевицын… — оттуда в Тюмень… потом Томск… потом… потом… в Камчатку… Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив… Вот тебе и Америка… Тут много пушных зверей.

— А Калифорния? — спросил Володя.

— Калифорния ниже… Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.

Чечевицын весь день сторонился девочек и

глядел на них исподлобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:

— Вы читали Майн Рида?

— Нет, не читала… Послушайте, вы умеете на коньках кататься?

Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:

— Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:

— А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.

— А что это такое?

— Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?

— Господин Чечевицын.

— Нет. Я Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.

Маша, самая маленькая девочка, поглядела на

него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:

— А у нас чечевицу вчера готовили.

Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, — все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги было уже все готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю — «бледнолицый брат мой».

— Ты смотри же, не говори маме, — сказала

Катя Соне, отправляясь с ней спать. — Володя привезет нам из Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят.

Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:

— Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!

К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:

— Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.

Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.

— Такты не поедешь? — сердито спрашивал Чечевицын. — Говори: не поедешь?

— Господи! — тихо плакал Володя. — Как же я

поеду? Мне маму жалко.

— Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.

— Я… Я не струсил, а мне… мне маму жалко.

— Ты говори: поедешь или нет?

— Я поеду, только… только погоди. Мне хочется дома пожить.

— В таком случае я сам поеду! — решил Чечевицын. — И без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!

Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

— Так ты не поедешь? — еще раз спросил Чечевицын.

— По… поеду.

— Так одевайся!

И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.

И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был ге-

рой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.

Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:

— Ах, мне так страшно!

До двух часов, когда сели обедать, все было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику — там их не было. Послали в деревню — и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!

На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.

Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.

— Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе.

— Володичка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую.

И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и все спрашивали, где про-

дается порох). Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.

— Разве это так можно? — убеждал папаша. — Не дай Бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Не-хорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно! Вы где ночевали?

— На вокзале! — гордо ответил Чечевицын.

Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.

Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти: «Монтигомо Ястребиный Коготь».

1887

Сапожник и нечистая сила

Был канун Рождества. Марья давно уже храпела на печи, в лампочке выгорел весь керосин, а Федор Нилов все сидел и работал. Он давно бы бросил работу и вышел на улицу, но заказчик из Колокольного переулка, заказавший ему головки две недели назад, был вчера, бранился и приказал кончить сапоги непременно теперь, до утрени.

— Жизнь каторжная! — ворчал Федор, работая. — Одни люди спят давно, другие гуляют, а ты вот, как Каин какой, сиди и шей черт знает на кого…

Чтоб не уснуть как-нибудь нечаянно, он то и дело доставал из-под стола бутылку и пил из горлышка и после каждого глотка крутил головой и говорил громко:

— С какой такой стати, скажите на милость, заказчики гуляют, а я обязан шить на них? Оттого, что у них деньги есть, а я нищий?

Он ненавидел всех заказчиков, особенно того, который жил в Колокольном переулке. Это был господин мрачного вида, длинноволосый, желтолицый, в больших синих очках и с сиплым голосом. Фамилия у него была немецкая, такая,

что не выговоришь. Какого он был звания и чем занимался, понять было невозможно. Когда две недели назад Федор пришел к нему снимать мерку, он, заказчик, сидел на полу и толок что-то в ступке. Не успел Федор поздороваться, как содержимое ступки вдруг вспыхнуло и загорелось ярким, красным пламенем, завоняло серой и жженными перьями, и комната наполнилась густым розовым дымом, так что Федор раз пять чихнул; и возвращаясь после этого домой, он думал: «Кто бога боится, тот не станет заниматься такими делами».

Когда в бутылке ничего не осталось, Федор положил сапоги на стол и задумался. Он подпер тяжелую голову кулаком и стал думать о своей бедности, о тяжелой беспросветной жизни, потом о богачах, об их больших домах, каретах, о сотенных бумажках… Как было бы хорошо, если бы у этих, черт их подери, богачей потрескались дома, подохли лошади, полиняли их шубы и собольи шапки! Как бы хорошо, если бы богачи мало-помалу превратились в нищих, которым есть нечего, а бедный сапожник стал бы богачом и сам бы куражился над бедняком-сапожником накануне Рождества.

Мечтая так, Федор вдруг вспомнил о своей ра-

боте и открыл глаза.

«Вот так история! — подумал он, оглядывая сапоги. — Головки у меня давно уж готовы, а я все сижу. Надо нести к заказчику!»

Он завернул работу в красный платок, оделся и вышел на улицу. Шел мелкий, жесткий снег, коловший лицо, как иголками. Было холодно, склизко, темно, газовые фонари горели тускло, и почему-то на улице пахло керосином так, что Федор стал перхать и кашлять. По мостовой взад и вперед ездили богачи, и у каждого богача в руках был окорок и четверть водки. Из карет и саней глядели на Федора богатые барышни, показывали ему языки и кричали со смехом:

— Нищий! Нищий!

Сзади Федора шли студенты, офицеры, купцы и генералы и дразнили его:

— Пьяница! Пьяница! Сапожник-безбожник, душа голенища! Нищий!

Все это было обидно, но Федор молчал и только отплевывался. Когда же встретился ему сапожных дел мастер Кузьма Лебедкин из Варшавы и сказал: «Я женился на богатой, у меня работают подмастерья, а ты нищий, тебе есть нечего», — Федор не выдержал и погнался за ним. Гнался он до тех пор, пока не очутился в Колокольном пере-

улке. Его заказчик жил в четвертом доме от угла, в квартире в самом верхнем этаже. К нему нужно было идти длинным темным двором и потом взбираться вверх по очень высокой скользкой лестнице, которая шаталась под ногами. Когда Федор вошел к нему, он, как и тогда, две недели назад, сидел на полу и толок что-то в ступке.

— Ваше высокоблагородие, сапожки принес! — сказал угрюмо Федор.

Заказчик поднялся и молча стал примерять сапоги. Желая помочь ему, Федор опустился на одно колено и стащил с него старый сапог, но тотчас же вскочил и в ужасе попятился к двери. У заказчика была не нога, а лошадиное копыто.

«Эге! — подумал Федор. — Вот она какая история!»

Первым делом следовало бы перекреститься, потом бросить все и бежать вниз; но тотчас же он сообразил, что нечистая сила встретилась ему в первый и, вероятно, в последний раз в жизни и не воспользоваться ее услугами было бы глупо. Он пересилил себя и решил попытать счастья. Заложив назад руки, чтоб не креститься, он почтительно кашлянул и начал:

— Говорят, что нет поганей и хуже на свете, как нечистая сила, а я так понимаю, ваше высокобла-

городие, что нечистая сила самая образованная. У черта, извините, копыта и хвост сзади, да зато у него в голове больше ума, чем у иного студента.

— Люблю за такие слова, — сказал польщенный заказчик. — Спасибо, сапожник! Что же ты хочешь?

И сапожник, не теряя времени, стал жаловаться на свою судьбу. Он начал с того, что с самого детства он завидовал богатым. Ему всегда было обидно, что не все люди одинаково живут в больших домах и ездят на хороших лошадях. Почему, спрашивается, он беден? Чем он хуже Кузьмы Лебедкина из Варшавы, у которого собственный дом и жена ходит в шляпке? У него такой же нос, такие же руки, ноги, голова, спина, как у богачей, так почему же он обязан работать, когда другие гуляют? Почему он женат на Марье, а не на даме, от которой пахнет духами? В домах богатых заказчиков ему часто приходится видеть красивых барышень, но они не обращают на него никакого внимания и только иногда смеются и шепчут друг другу: «Какой у этого сапожника красный нос!» Правда, Марья хорошая, добрая, работящая баба, но ведь она необразованная, рука у нее тяжелая и бьется больно, а когда приходится говорить при ней о политике или о чем-нибудь умном, то она

вмешивается и несет ужасную чепуху.

— Что же ты хочешь? — перебил его заказчик.

— А я прошу, ваше высокоблагородие, Черт Иваныч, коли ваша милость, сделайте меня богатым человеком!

— Изволь. Только ведь за это ты должен отдать мне свою душу! Пока петухи еще не запели, иди и подпиши вот на этой бумажке, что отдаешь мне свою душу.

— Ваше высокоблагородие! — сказал Федор вежливо. — Когда вы мне головки заказывали, я не брал с вас денег вперед. Надо сначала заказ исполнить, а потом уж деньги требовать.

— Ну, ладно! — согласился заказчик.

В ступке вдруг вспыхнуло яркое пламя, повалил густой розовый дым и завоняло жженными перьями и серой. Когда дым рассеялся, Федор протер глаза и увидел, что он уже не Федор и не сапожник, а какой-то другой человек, в жилетке и с цепочкой, в новых брюках, и что сидит он в кресле за большим столом. Два лакея подавали ему кушанья, низко кланялись и говорили:

— Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие!

Какое богатство! Подали лакеи большой кусок жареной баранины и миску с огурцами, потом

принесли на сковороде жареного гуся, немного погодя — вареной свинины с хреном. И как все это благородно, политично! Федор ел и перед каждым блюдом выпивал по большому стакану отличной водки, точно генерал какой-нибудь или граф. После свинины подали ему каши с гусиным салом, потом яичницу со свиным салом и жареную печенку, и он все ел и восхищался. Но что еще? Еще подали пирог с луком и пареную репу с квасом. «И как это господа не полопаются от такой еды!» — думал он. В заключение подали большой горшок с медом. После обеда явился черт в синих очках и спросил, низко кланяясь:

— Довольны ли вы обедом, Федор Пантелеич?

Но Федор не мог выговорить ни одного слова, так его распирало после обеда. Сытость была неприятная, тяжелая, и, чтобы развлечь себя, он стал осматривать сапог на своей левой ноге.

— За такие сапоги я меньше не брал, как семь с полтиной. Какой это сапожник шил? — спросил он.

— Кузьма Лебедкин, — ответил лакей.

— Позвать его, дурака!

Скоро явился Кузьма Лебедкин из Варшавы. Он остановился в почтительной позе у двери и спросил:

— Что прикажете, ваше высокоблагородие?

— Молчать! — крикнул Федор и топнул ногой. — Не смей рассуждать и помни свое сапожницкое звание, какой ты человек есть! Болван! Ты не умеешь сапогов шить! Я тебе всю харю побью! Ты зачем пришел?

— За деньгами-с.

— Какие тебе деньги? Вон! В субботу приходи! Человек, дай ему в шею!

Но тотчас же он вспомнил, как над ним самим мудрили заказчики, и у него стало тяжело на душе, и чтобы развлечь себя, он вынул из кармана толстый бумажник и стал считать свои деньги. Денег было много, но Федору хотелось еще больше. Бес в синих очках принес ему другой бумажник, потолще, но ему захотелось еще больше, и чем дольше он считал, тем недовольнее становился.

Вечером нечистый привел к нему высокую, грудастую барыню в красном платье и сказал, что это его новая жена. До самой ночи он все целовался с ней и ел пряники. А ночью лежал он на мягкой, пуховой перине, ворочался с боку на бок и никак не мог уснуть. Ему было жутко.

— Денег много, — говорил он жене, — того гляди, воры заберутся. Ты бы пошла со свечкой

поглядела!

Всю ночь не спал он и то и дело вставал, чтобы взглянуть, цел ли сундук. Под утро надо было идти в церковь к утрени. В церкви одинаковая честь всем, богатым и бедным. Когда Федор был беден, то молился в церкви так: «Господи, прости меня грешного!» То же самое говорил он и теперь, ставши богатым. Какая же разница? А после смерти богатого Федора закопают не в золото, не в алмазы, а в такую же черную землю, как и последнего бедняка. Гореть Федор будет в том же огне, где и сапожники. Обидно все это казалось Федору, а тут еще во всем теле тяжесть от обеда и вместо молитвы в голову лезут разные мысли о сундуке с деньгами, о ворах, о своей проданной, загубленной душе.

Вышел он из церкви сердитый. Чтоб прогнать нехорошие мысли, он, как часто это бывало раньше, затянул во все горло песню. Но только что он начал, как к нему подбежал городовой и сказал, делая под козырек:

— Барин, нельзя господам петь на улице! Вы не сапожник!

Федор прислонился спиной к забору и стал думать: чем бы развлечься?

— Барин! — крикнул ему дворник. — Не очень-

то на забор напирай, шубу запачкаешь!

Федор пошел в лавку и купил себе самую лучшую гармонию, потом шел по улице и играл. Все прохожие указывали на него пальцами и смеялись.

— А еще тоже барин! — дразнили его извозчики. — Словно сапожник какой…

— Нешто господам можно безобразить? — сказал ему городовой. — Вы бы еще в кабак пошли!

— Барин, подайте милостыньки Христа ради! — вопили нищие, обступая Федора со всех сторон. — Подайте!

Раньше, когда он был сапожником, нищие не обращали на него никакого внимания, теперь же они не давали ему проходу.

А дома встретила его новая жена, барыня, одетая в зеленую кофту и красную юбку. Он хотел приласкать ее и уже размахнулся, чтобы дать ей раза в спину, но она сказала сердито:

— Мужик! Невежа! Не умеешь обращаться с барынями! Коли любишь, то ручку поцелуй, а драться не дозволю.

«Ну, жизнь анафемская! — подумал Федор. — Живут люди! Ни тебе песню запеть, ни тебе на гармонии, ни тебе с бабой поиграть. Тьфу!»

Только что он сел с барыней пить чай, как явил-

ся нечистый в синих очках и сказал:

— Ну, Федор Пантелеич, я свое соблюл в точности. Теперь вы подпишите бумажку и пожалуйте за мной. Теперь вы знаете, что значит богато жить, будет с вас!

И потащил Федора в ад, прямо в пекло, и черти слетались со всех сторон и кричали:

— Дурак! Болван! Осел!

В аду страшно воняло керосином, так что можно было задохнуться.

И вдруг все исчезло. Федор открыл глаза и увидел свой стол, сапоги и жестяную лампочку. Ламповое стекло было черно и от маленького огонька на фитиле валил вонючий дым, как из трубы. Около стоял заказчик в синих очках и кричал сердито:

— Дурак! Болван! Осел! Я тебя проучу, мошенника! Взял заказ две недели тому назад, а сапоги до сих пор не готовы! Ты думаешь, у меня есть время шляться к тебе за сапогами по пяти раз на день? Мерзавец! Скотина!

Федор встряхнул головой и принялся за сапоги. Заказчик еще долго бранился и грозил. Когда он наконец успокоился, Федор спросил угрюмо:

— А чем вы, барин, занимаетесь?

— Я приготовляю бенгальские огни и ракеты.

Я пиротехник.

Зазвонили к утрени. Федор сдал сапоги, получил деньги и пошел в церковь.

По улице взад и вперед сновали кареты и сани с медвежьими полостями. По тротуару вместе с простым народом шли купцы, барыни, офицеры… Но Федор уж не завидовал и не роптал на свою судьбу. Теперь ему казалось, что богатым и бедным одинаково дурно. Одни имеют возможность ездить в карете, а другие — петь во все горло песни и играть на гармонике, а в общем всех ждет одно и то же, одна могила, и в жизни нет ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души.

1888

ПАВЕЛ ЗАСОДИМСКИЙ

В метель и вьюгу

(Святочный рассказ)

Часть I

День 25 декабря был сумрачный. Над городом низко нависли серые облака; шел снег. Смеркалось раньше обыкновенного; в три часа в домах зажгли огни. В сумерки весь город уже казался занесенным снегом. Все было в снегу: мостовые, крыши, заборы, деревья в садах… на улицах не видно было ни души. Только по красноватым огонькам, мерцавшим в окнах, можно было догадываться, что в этом белом, снегом занесенном городе жили-были люди.

Вечером разыгралась метель. Снег крупными хлопьями повалил с затянутого тучами неба. Холодный северо-восточный ветер бушевал… Как бешеный, как лютый зверь, с цепи спущенный, носился он по городским улицам и площадям, рвал и метал, дико завывая в трубах, и с ревом и стоном уносился за город — в поля, в леса, вздымая облака снежной пыли. Под напорами ветра деревья гнулись и скрипели жалобно. Флюгера на крышах как будто совсем растерялись и в

недоумении, с визгом, вертелись туда и сюда, точь-в-точь как люди, застигнутые внезапно налетевшей бедой.

— Вот так погодку Бог дал для праздника! Свету Божьего не видать, — говорили они, сидя в теплых комнатах и посматривая в окна.

— Да! Хорошо теперь тому, кто под крышей, — замечали другие, с великим удовольствием думая о том, что им самим тепло и хорошо и никуда им не надо идти в такую снежную бурю.

На улицах по-прежнему было не видать ни проезжего, ни прохожего.

— Господи, спаси и помилуй, ежели теперь кто-нибудь в дороге, в степи! — со вздохом говорили сидевшие в тепле.

— В такую погоду добрый хозяин собаку на двор не выгонит, — рассуждали жалостливые люди.

Действительно, даже собак было не видно и не слышно. Все они попрятались в сени, в сараи, забрались на вышки… Правду говорили добрые люди: свету Божьего было не видать, и хозяин собаку на двор не выгонял… но человек выгнал человека из дома, даже в такую непогодь!..

На конце пустынной, широкой улицы в снежном вихре вдруг показалась какая-то девочка. Она тихо, с трудом брела по сугробам. Она была

мала, худа, бедно одета. На ней было серое пальтишко с узкими, короткими рукавами, а на голове платок, какая-то рвань, вроде грязной тряпки. Платок прикрывал ей лоб, щеки, подбородок; из-под платка только блестели темные глаза да виден был кончик носа, покрасневший от холода. На ногах ее были большие черные валенки, и они, видимо, ей приходились не по ноге. Она медленно подвигалась вперед; валенки хлябали и мешали ей идти… Левой рукой она поминутно запахивала раздувавшиеся полы своего серого пальтишка, кулак же правой руки она крепко сжимала и держала у груди.

А снег все шел и шел, и вьюга бушевала. Ветер с яростью налетал на девочку, обдувая всю ее холодом и снегом. Он бесновался и крутился вокруг этой малютки, словно желая подхватить ее с земли, закружить в снежном вихре, вместе с ее черными валенками, и невесть куда умчать на своих холодных крыльях. А девочка все брела, пошатываясь и спотыкаясь…

Вдруг ветер с такой силой ударил ее, что девочка невольно протянула руки вперед, чтобы не упасть, и кулак ее правой руки разжался на мгновение. Девочка остановилась и, наклонившись, начала что-то искать у себя под ногами. Наконец,

она опустилась на колени и своими худенькими посиневшими ручонками стала шарить по сугробу. Через минуту пушистый снег уже покрывал ей голову, плечи и грудь, и девочка стала похожа на снежную статую с живым человеческим лицом. Она долго искала чего-то, долго рылась в снегу…

— Господи! Что же мне теперь делать? — растерянно прошептала она.

Глаза ее были полны слез и смотрели жалобно… Она подняла голову и взглянула вверх… Белые хлопья падали и падали на нее с темного мглистого неба.

— Как же я теперь?.. — шептала девочка, беспомощно оглядываясь по сторонам.

Сквозь метель и вьюгу в окнах были видны брезжущие огоньки… «Счастливые! — подумала девочка. — Хорошо им теперь под крышей, в тепле, у огонька». Слезы катились по ее щекам и застывали на ресницах. Девочка вся дрожала от холода, от пронизывающего ветра. Она опять стала смотреть вверх. А вверху — все то же… Ночное небо — темно и мглисто.

Девочка уже не пыталась идти и, закрыв глаза, только тяжело вздыхала. Шум и завывание ветра уже смутно доносились до нее. Ее начинало клонить ко сну… Она чувствовала, что замерзает,

собрала последние силы и приподнялась.

— Эй! Помогите!.. Добренькие… — с отчаянием, дрогнувшим голосом крикнула она сквозь слезы, но звуки едва успевали слетать с ее губ, как ветер подхватывал их, рвал и заглушал, разнося на все четыре стороны.

Ни души живой не было вокруг; никто не слыхал ее слезного призыва.

Девочка снова опустилась на снег. Еще несколько минут — и она заснет беспробудным, смертным сном…

А снег все шел и шел — и заносил несчастную малютку.

Часть II

В это время с противоположного конца пустынной улицы шел какой-то высокий, рослый человек с палкой в руке, одетый не очень красиво, но зато тепло. Ветер изо всей мочи бесновался над ним, вьюга слепила ему глаза, но он твердой поступью шел вперед, опираясь на палку; видно, человек был здоровый, сильный и крепкий на ногах.

— Дуй, дуй, — весело говорил он налетевшему на него ветру, сыпавшему ему снегом прямо в

лицо. — Дуй!.. Небось не сдунешь! Ведь наш брат, рабочий, тяжел на подъем… Видали мы и не такие метели, да…

И вдруг он остановился, прервав на полуслове свой разговор с метелью. С изумлением увидал он перед собою полузанесённое снегом живое человеческое существо.

— Кто тут? — спросил он, наклоняясь.

— Это я! — послышался слабый детский голосок.

— Гм! Что же ты тут делаешь? — спрашивал рабочий.

— Денежку ищу…

Девочка, стоя на коленях, вся в снегу, смотрела, как спросонок, на стоявшего перед нею великана.

— Какую денежку? — переспросил тот.

— Денежку — трешник!.. — вяло, как со сна, бормотала девочка, еле ворочая языком. — Хозяйка послала за свечкой… в лавку… дала два трешника… а я выронила!.. Один трешник — вот, а другого не нашла…

Девочка разжала кулак и показала на ладони темную медную монетку.

— Отчего же домой не идешь? — сказал рабочий.

— Боюсь!..Хозяйка опять станет бить… — пролепетала малютка.

— Ну, будет толковать! Тут и я с тобой, пожалуй, замерзну… Вставай-ка! Живо! Пойдем ко мне! — заговорил великан, поднимая девочку на ноги и отряхивая с нее снег. — Идти-то можешь? — спросил он, посмотрев на нее.

— Ноги не слушаются… — отвечала девочка, пошатываясь.

— Эх, девка, девка!.. Ну, да ладно, как-нибудь до дому доберемся! — сказал рабочий и поднял ее, как перышко.

И пошел он, одной рукой крепко прижимая ее к груди, чтобы ей было теплее, а другой опираясь на палку. Ветер с бешенством обрушился на него, словно злясь за то, что у него отняли добычу. Он налетал на рабочего то справа, то слева, то хлестал в спину снежным вихрем, то ударял в лицо и заслеплял глаза.

— Тьфу ты, провал тебя возьми! — не выдержал рабочий, шатнувшись в сторону со своей маленькой живой ношей. — Ведь с ног же, однако, не сшибешь. Шалишь, брат!..

Девочка широко раскрыла глаза и прислушалась.

— Вишь, сегодня сердит больно, разбушевался

на беду, — ворчал рабочий. — Не нашел другого-то дня! В самое Рождество этакую кутерьму затеял. Да добро! Нашего брата не проберешь… Мы и в жару не горим, и в стуже не мерзнем…

— Ты, дяденька, с кем же разговариваешь? — спросила девочка, высовывая из-под рваного платка кончик своего красного носа.

— С Ветром Ветровичем говорю! — отвечал великан. — Не все же ему одному зверем реветь, надо и человеческому голосу свою речь повести…

Миновали они широкую пустынную улицу, прошли один переулок, завернули в другой и вскоре очутились на берегу речки, почти за городом. Тут рабочий вдруг заметил, что к нему пристала какая-то рыжая, жалкая, лохматая собачонка. Она шла за ним, запорошенная снегом, вся как-то сгорбившись, поджав хвост и низко понурив голову. Так ходят люди, забитые бедностью и горем… Собака шла за человеком, и человек не отгонял ее.

На берегу стояло несколько хат, теперь почти совсем занесенных снегом. В одну из этих хат вошел рабочий, — рыжая, всклокоченная собачонка шмыгнула за ним. Под конец дороги девочка дремала, и теперь, вдруг очутившись

в тепле, она с изумлением раскрыла глаза и увидала себя в чистенькой, светлой комнате. На белом деревянном столе горела жестяная керосиновая лампа. Новые бревенчатые стены были не оклеены и пахли еще сосновой смолой. Лавки и два-три желтых стула стояли в комнате. На стене висели календарь, небольшие часы и какая-то дешевенькая раскрашенная картинка, а в переднем углу — образ. Маленькая дверь вела за перегородку в кухню. В кухне стояла большая русская печь и одной стеной выходила в комнату, и тут несколько приступочков вели на печь. Кухня оставалась впотьмах; свет из комнаты смутно проникал в нее через дверь и поверх перегородки, на четверть аршина не доходившей до пола. Рабочий спустил девочку с рук, снял с нее платок и пальто.

— А теперь садись, вон, на приступочек у печки, и разувайся! — командовал он. — Валенки-то, поди, мокрехонькие…

Девочка села и лишь только шевельнула ножонками, как валенки моментально сползли на пол. Хозяин сходил на кухню и принес оттуда рюмку. В рюмку было налито немного водки.

— Пей! — сказал он, подавая девочке рюмку.

Та выпила и поморщилась.

— Горько небось? — спросил хозяин.

— Горько, дяденька, страсть! — отозвалась девочка.

— Ничего! Горько, да с морозу полезно! — заметил великан, наливая и себе водки. — Будь здорова! — сказал он, кивнув девочке головой и осушая рюмку.

— Кушай на здоровье! — степенно промолвила гостья.

Теперь она сидела на приступочке, сложа руки, и пристально, не сводя глаз, смотрела на хозяина. Это был дюжий, широкоплечий мужчина, головой выше обыкновенного высокого роста. Пол дрожал под ним, когда он проходил по комнате.

«Вот такого и Ветер Ветрович не свалит с ног, — подумала девочка и мысленно же добавила: — И хозяйкину братцу не тягаться с ним!..»

Лицо этого великана было чрезвычайно добродушное; по его голубым глазам и по светлой улыбке можно было догадаться, что в этом большом, мощном теле жила чистая, детская душа... Его белокурые короткие волосы вились кудрями и падали на лоб; густая борода его свешивалась на грудь. Ему, казалось, было лет под сорок. Теперь он был в праздничной серой блузе, подпоясанной красным поясом, и в длинных сапогах.

Поставив рюмку в шкаф, он подошел к девочке и, упершись в бока своими громадными кулачищами, с веселой улыбкой посмотрел на нее… Девочка была в ситцевом полинявшем платьице с розовыми цветочками. Ноги были босы. Ее темные волосы, мягкие как шелк, без всякой прически падали ей на глаза. Ее большие карие глаза, оттененные густыми и длинными ресницами, смотрели теперь совершенно спокойно, беззаботно, как будто не над нею несколько минут тому назад бушевала вьюга-непогода и не она была на шаг от смерти.

— Встань-ка да походи, а еще лучше побегай!.. — сказал ей хозяин. — Согреешься отлично… Бежи! я догонять тебя стану…

Девочка вскочила и побежала по комнате. Конечно, великану трудно было бы не догнать ее: не сходя с места, только протянув руку, он мог всюду ее достать. Он сделал вид, что бежит, гонится за нею, а сам вместо того топтался на месте и топтался так ужасно, что в комнате и в кухне все ходило ходуном.

— Ну, что? Ноги согрелись? Вот и ладно!.. — сказал хозяин. — Садись же опять на свой приступочек, у печки-то тепленько…

Он вытащил из кармана маленькую коротень-

кую трубочку, набил ее и закурил.

— А теперь, девчурка, мы станем с тобой разговаривать! — промолвил он, садясь перед нею на скамью и потягивая свою трубочку-носогрейку.

За стенами хаты метелица мела, вьюга бушевала. В хате было тихо, тепло и светло. Временами было слышно, как за печкой сверчок трещал.

Рыжая косматая собачонка смиренно свернулась у порога и, подремывая, одним глазом посматривала порой на собеседников.

Часть III

Девочка уже совсем согрелась, ожила. На щеках ее яркий румянец горел, глаза блестели… Теперь, несмотря на свои распущенные волосы, на босые ножонки и на полинявшее платьице, она оказалась очень хорошенькой девочкой… Откинув назад свои растрепавшиеся волосы, она приготовилась со вниманием слушать «дяденьку».

Великан выпустил из-под усов седой клуб табачного дыма и начал:

— Прежде всего, моя красавица, как тебя зовут?

— Зовут Машей! — бойко ответила девочка. — А меня — Иваном!.. — Вот и будем мы «Иван-да-

Марья»… Скажи же мне, Маша, теперь: где ты живешь?

— Живу в людях…

— У чужих людей, значит?

— Да. У Аграфены Матвеевны… Знаешь?.. У нее дом в Собачьем переулке! — пояснила девочка.

— Собачий переулок знаю очень хорошо, а Аграфену Матвеевну не знаю… Но где же твои отец и мать?

— Умерли. Отца я совсем не знала, а маму чуть-чуть помню…

— Как же ты очутилась у чужих людей? Почему они тебя взяли к себе? — спрашивал хозяин.

— Не знаю! — отвечала Маша.

— С каких же пор, давно ли ты живешь в людях?

— Не помню!

— Гм! Вот так штука!.. — проговорил великан, смотря на свою гостью и в недоумении почесывая затылок. — Ну, кроме хозяйки, кто же еще жил с тобой?

— А жил еще хозяйкин муж и ее брат.

— Что ж, тебе плохо было у них?

— Хозяин-то ничего, смирный такой, тихий… ни одной колотушки я не видала от него… — рассказывала девочка. — А сама хозяйка… ну, рука

у нее тяжелая! Повесила она на стене, над моей постелью, ремень — и этим ремнем все била меня… а уж особенно хозяйкин брат… и-и-и, беда! Колотил меня — страсть! Вот и вчера еще он все руки мне исщипал… вон, видишь как!

Девочка засучила рукав, и действительно, повыше локтя, на белой коже были явственно видны сине-багровые пятна.

— Господи, Боже Ты мой! и поднимается рука на малого ребенка! — сказал великан как бы про себя. — Гм! Уродятся же такие люди… Диво!

Он удивлялся, потому что сам никогда не мог поднять руки на ребенка. Сильные люди обыкновенно бывают смирны и не драчливы.

— Ты жила у них в работницах, что ли? — спросил хозяин, немного погодя.

— Да, в работницах!

— Что же ты работала?

— Да все, — говорила девочка. — За водой ходила, в горнице убирала, шила, вязала, в лавочку бегала, туда и сюда… Летом работала в огороде, поливала, полола.

— Такты умеешь шить и вязать? — спросил хозяин.

— Умею… Да что ж за мудрость! — серьезным тоном промолвила Маша, разглаживая на коле-

нях платье.

— Ох ты, работница-горе! — сказал великан, с грустной улыбкой посмотрев на девочку.

— А что жтакое? — отозвалась та. — Я только кажусь такая маленькая, а лет-то мне уж много…

— А как много?

— Семь лет, восьмой пошел.

— И вправду много!.. — с усмешкой промолвил великан. — Ну, теперь слушай!..

Девочка уселась поудобнее и, притаив дыхание, собралась слушать «дяденьку», вообразив, кажется, что он долго станет о чем-то говорить ей.

— Оставайся у меня! Будем жить вместе… Вот и весь сказ! — проговорил великан, стукнув трубкой по колену.

Он быстро решался и быстро задуманное им приводил в исполнение. «Эта девочка — сирота, родныху нее никого нет, — рассуждал он, — значит, я имею такое же право, как хозяйка ее, Аграфена Матвеевна, взять к себе девочку. И я возьму ее, потому что у Аграфены Матвеевны ей жить худо, а у меня ей будет хорошо». И великан, в знак решимости, еще раз стукнул трубкой по колену.

— Видишь… — продолжал он, — был у меня братишка немного поменьше тебя… Он помер!

а ты вместо него оставайся у меня и зови меня братом! Слышишь?.. Ну! Остаешься у меня?

Девочка с изумлением смотрела на него.

— А как же хозяйка? — возразила она. — Ведь она меня за свечкой послала…

— Ну, свечку она сама себе купит! — сказал рабочий. — А два ее трешника я завтра отнесу ей.

«Если за прокорм девочки запросит денег, дам ей денег… Немного деньжонок-то у меня есть!» — подумал он.

— А есть у тебя какое-нибудь имение — платья, тряпки там, что ли?

— Ничего, братец, у меня нет! — отвечала Маша. — Есть две старые рубашки, да и те уж совсем развалились.

— Тем лучше, девчурка, — промолвил хозяин. — Это дело, значит, мы живо покончим. А если твоя Аграфена Матвеевна заартачится, так мы синяки покажем. А теперь, Маша, давай-ка ужинать!

Он вынул из печи теплых щей горшок, кусок баранины с гречневой кашей и пирог с яйцами. Девочка с удовольствием ела и щи, и баранину, и вкусный пшеничный пирог. Рыжая собачонка той порой также подошла к столу и с живейшим интересом смотрела на Машу и хозяина.

— Как тебя звать? — обратился к ней хозяин.

Собака взглянула на него, хотела как будто встать, но вместо того только несколько раз хлопнула хвостом по полу.

— Гм! Сказать-то не можешь! Экое горе!.. А все-таки как-нибудь звать тебя надо, — говорил хозяин. — Ну, будь ты с сегодняшнего дня Каштанкой! Каштанка! — крикнул он.

Собака сорвалась с места и подбежала к нему.

— Ну, вот и отлично! Будем жить втроем, как-нибудь промаячим. А ты, Каштанка, береги без меня мою сестрицу, хорошенько сторожи ее! Слышишь?

Девочка весело засмеялась. Собака, посматривая на хозяина, самым решительным образом помахивала хвостом. Хозяин накрошил в крынку хлеба, облил его молоком и дал Каштанке.

В комнате несколько минут только и слышно было над крынкой: «хлеп-хлеп-хлеп»… Поужинав, Маша сказала братцу «спасибо» и опять села на приступочек у печки: она уже привыкла к этому местечку, оно нравилось ей.

— Сегодня ты у меня еще гостья, а завтра принимайся за хозяйство, помогай мне! — сказал ей хозяин.

— Хорошо, братец! — промолвила Маша.

Убрав со стола и повозившись над чем-то в полуосвещенной кухне, хозяин вышел в комнату и увидал, что его сестренка сидит, пригорюнившись.

— О чем, Маша, задумалась? — спросил он ее.

— А думаю я, братец, если я останусь жить у тебя, кого будет бить моя плетка? Не возьмет ли хозяйка опять какую-нибудь девочку?.. Как бы, братец, сделать так, чтобы все хозяева были добрые, чтобы они не дрались?.. Тогда у них хорошо было бы жить!

— Гм? Мудрено это сделать, — в недоумении проговорил великан, приглаживая бороду.

— И все мне не верится, что я совсем ушла от Аграфены Матвеевны и буду жить с тобой и с Каштанкой. А ну как хозяйка придет сюда за мной?

— Приде-е-ет?! — угрожающим тоном проворчал великан, выпрямляясь во весь рост и с непреклонной решимостью смотря на дверь, как бы ожидая прихода сердитой злой хозяйки. — Приди-ка! я ей пальцем погрожу, таку нее только пятки замелькают… Ха! Вздумала малое дите бить…

— А если она пожалуется будочнику? Тут что? — спросила Маша.

— Будочнику?.. Ну, что ж… Тогда мы синяки

представим! Ведь за синяки нынче хозяев по головке не гладят, — успокоил ее великан.

— А все мне как-то боязно, братец! — призналась девочка, робко, с тревожным видом поглядывая на своего защитника. — Ведь тебе, братец, не сговориться с ней, с Аграфеной Матвеевной. Ты слово скажешь, а она — десять! Право, не сговорить!

— Да я и говорить-то с ней не стану. Дуну — и улетит! — сказал хозяин.

— Ты не знаешь ее. Ведь она у-у-у какая бедовая!

— Вижу, напугали они тебя… А-ах! Сиротинка ты горемычная!.. — промолвил он, легко положив девочке на голову свою ручищу, и тихо, ласково погладил ее по волосам.

Вдруг губы у Маши задрожали, и, закрыв лицо руками, она горько-горько зарыдала. Горячие слезы текли по ее щекам, по пальцам и падали на ее полинявшее старенькое платье.

— Ты что? Чего заревела? Маша! А, Маша? — спрашивал скороговоркой великан, наклоняясь к ней и заботливо, с участием заглядывая ей в лицо. — О чем ты?.. Что ты, Бог с тобой!.. Ну, скажи, скажи же мне!

— Давно… давно… — всхлипывая, дрожащим

прерывающимся голосом шептала девочка… — Давно… с той поры, как мама… умерла… Никто… не гладил меня так по голове… а все только били… били…

Последнее слово Маша выкрикнула как бы с болью, словно все горе, за несколько лет накопившееся в ее маленьком сердечке, вырвалось в этом скорбном крике.

В хате было тихо. Только слышалось всхлипывание, да за печкой сверчок трещал… а за стеной хатки по-прежнему вьюга бушевала, с воем и стоном носясь по снежным равнинам.

— Ну, ну! Полно же, уймись! — уговаривал плачущую девочку хозяин. — То все уж прошло… а теперь развеселись, голубка! Посмотри-ка, что у нас тут будет!..

Часть IV

Иван Пичугин был рабочий на одном пригородном заводе. За его громадный рост товарищи звали его «Коломенской верстой». Пичугин был добрый, смирный человек и хороший рабочий, дельный, трезвый и притом грамотный, получал порядочную плату, выстроил себе домик на краю города и жил безбедно со своим маленьким бра-

тишкой Митей. Митя был славный мальчик, лет шести. Ровно год тому назад, перед Рождеством, он заболел, и через три дня дифтерит задушил его. Пичугин сильно горевал.

В сочельник, когда Митя был еще жив, он купил маленькую елку и украсил ее разноцветными восковыми свечками и всякими сластями; он не воображал, что его Митя болен опасно. Он собирался вечером в первый день Рождества зажечь елку, потешить братишку, но в тот самый день вечером Митя умер… «Ну! — со вздохом подумал он, обрядив покойника и положив его. — Если ты живой не успел порадоваться на мою елочку, так пусть же теперь она стоит над тобой!..» Он поставил елочку у изголовья Мити… Елочка склоняла над ним свои темно-зеленые пахучие ветви, а Митя — холодный и неподвижный — лежал со сложенными на груди ручонками, и его мертвое бледное личико было невозмутимо спокойно. Точно он заснул под зелеными ветвями этой ели… Иван сидел в ногах у маленького покойника и, упершись локтями в колени и опустив голову на руки, горько плакал… Опустела его новая хатка; не слышно в ней ни детского простодушного говора, ни детского доброго смеха.

Прошел год. И опять наступило Рождество;

опять крестьяне повезли в город на продажу зеленые елочки. И задумал Иван Пичугин в память брата купить елочку, украсить ее по-своему, попросту, вечером в первый день Рождества пойти в город и зазвать к себе на елку первого встречного бедняка. Жутко и тоскливо ему было бы одному сидеть в тот вечер… Конечно, Иван не мог знать, что именно в этот рождественский вечер заметет метелица и забушует вьюга.

«Взрослого, может быть, еще встречу сегодня, а ребят уж, конечно, нет на улице в такую непогодь!» — подумал он, выходя из дома и направляясь в город сквозь снежный вихрь и мглу. А в душе ему очень хотелось повстречать и привести к себе на елку именно какое-нибудь маленькое дитя.

И вдруг он находит в снегу полузамерзшую девочку… Сама судьба дарила ему гостью. Конечно, сначала у него не было и в помышлении оставлять у себя девочку, но, разговорившись с ней и узнав о ее горемычном житье, он сразу решился. И теперь ему было очень весело.

— Смотри-ка, что у нас будет! — повторил он, уходя в кухню, и через минуту вынес оттуда зажженную елку и поставил ее посредине комнаты на табурет.

Маша как взглянула, так и ахнула. Она еще утирала рукой слезы, а на полураскрытых губах ее уже играла радостная, сияющая улыбка. Так иногда, тотчас после бури, из-за темной грозовой тучи блеснет яркий солнечный луч.

Елочка была не большая и совсем не напоминала собой те великолепные елки с цветами, с блестками и мишурой, какие, например, продаются в Петербурге у Гостиного двора. На этой елке горела дюжина разноцветных восковых свечей да висели грецкие орехи, пряники и леденцы; были, впрочем, между ними и две или три конфеты с раскрашенными картинками. Эта скромная елочка показалась Маше восхитительной. Такой радости на Святках у нее еще никогда отроду не бывало, по крайней мере, она не помнит. Маша забыла и хозяйку, и жестокого хозяйкиного брата, и метель, и вьюгу, бушевавшие за окном, забыла свое горе и слезы и бегала вокруг елки, хлопая в ладоши и наклоняя к себе то одну, то другую зеленую веточку. Восковые свечи ярко горели, но Машины глаза горели ярче их. Щеки ее пылали от изумления и восторга.

— Ах, как хорошо! Вот-то прелесть! — кричала девочка, всплескивала руками. — Господи! Свечей-то, свечей-то!.. Точно в церкви перед обра-

зами… а орешки-то качаются… Видишь, братец?.. Вон, качаются!..

— Да, да! — говорил великан, тоже ходя вокруг елки. Добрая простая душа его радовалась детской радости…

Прежде, до появления Маши, при взгляде на елку он невольно вспоминал своего милого братишку, и его бледное личико с застывшими глазами не раз мерещилось ему под зелеными ветвями ели. Теперь же, при виде разогревшейся веселой девочки, это печальное воспоминание оставило его. Иван был не один со своими думами в этот рождественский вечер: с ним был живой человек.

— Теперь я поставлю елку на пол, а ты рви с нее все, что хочешь! — сказал он Маше.

— Можно взять и конфетку? — недоверчиво спросила его девочка.

— И конфетку можно — и все!.. Валяй!..

Маша осторожно сняла с елки конфету, орех и два пряника.

— Бери больше! Бери! Вот так!..

И он сам начал обрывать сласти и бросать их Маше. Маша довольна, Маша счастлива… Хозяин загасил свечи и унес елку в кухню. Завтра они опять зажгут ее.

Великан сел на скамью и закурил трубку.

Тут девочка в первый раз решилась сама подойти к нему. Подходила она к нему не вдруг, исподволь… но наконец-таки подошла, обеими ручонками взяла его за руку и молча припала своей горячей нежной щекой к этой мозолистой грубой руке. Так Маша без слов благодарила великана, да и словами она не высказала бы больше того, что сказало ее ласковое, робкое пожатие руки… и великан отлично понял ее, взял ее за голову и по-братски, крепко поцеловал ее в лоб. После того девочка стала уже смелее. Она села с ним рядом на скамейку и прижалась головой к его плечу. А он легко и осторожно обнял маленькую девочку своей ручищей.

Рыжий всклокоченный Каштанка той порой также стал смелее и преспокойно улегся у Маши в ногах.

— Что это такое? — спросила девочка, притягивая к себе трубку и с любопытством разглядывая ее.

Трубка вместе с крышкой изображала сидящего медведя; когда Иван курил, то из ноздрей и изо рта медведя валил дым. Хозяин объяснил Маше, кого изображала его трубка.

— А где медведи живут? — спросила его Ма-

ша. — В лесу?

— Да! В темных, дремучих лесах они живут, — отвечал Иван.

— Расскажи мне что-нибудь о них! — попросила его девочка, ежась при мысли о диких медвежьих дебрях, теперь занесенных снегом и погруженных в ночную мглу. — Ах! я думаю, теперь страшно в лесу! — говорила она, крепче прижимаясь к великану, посматривая в тусклое оконце, разрисованное морозом, и прислушиваясь к завыванию ветра.

Иван рассказал ей кое-что о медведях… Девочка с удовольствием слушала его.

— Не пора ли спать? — спросил он, посмотрев на свои стенные часы. — Уж одиннадцать часов.

— Посидим еще! — стала упрашивать его Маша. — Расскажи мне еще что-нибудь! я люблю слушать.

— Что ж тебе рассказать? Сказочку?

— Нет! — подумав, промолвила девочка. — Расскажи мне лучше, как Христос родился… я один раз спрашивала об этом Аграфену Матвеевну, да она сердилась… «А тебе, — говорит, — что за дело? Он, говорит, родился не для таких дрянных девчонок, как ты!..» Разве это правда, братец?

— Конечно неправда! — отвечал рабочий. — Он

родился для всех — для дрянных и для хороших.

— Ну, так расскажи же!..

Хозяин достал с полки книгу Священной истории — Новый Завет, с картинками и, показывая Маше картинки, начал свой рассказ, как водится, с появления волхвов. Девочка внимательно слушала его; простой рассказ простого человека, очевидно, произвел на нее сильное впечатление. По окончании рассказа, Маша пересмотрела снова все картинки, относившиеся к Рождеству Христову, задала Ивану еще несколько вопросов и затем замолкла… Скоро она закрыла глаза и приникла головой к ласкавшей ее руке великана. Она устала, бедняжка, измучилась, иззябла, натерпелась сегодня немало страхов и волнений, и теперь, пригретая, успокоенная, она невольно задремала и тихо заснула… Иван посмотрел на спящую девочку и подумал: «Ну, выращу тебя, выкормлю, поучу как-нибудь, а там — даст Бог — будет видно…» И в ту минуту он окончательно, бесповоротно решился не расставаться с Машей…

Иван постлал ей на печи постель; осторожно, бережно взял он девочку на руки и уложил на печь. Маша не проснулась…

Каштанка уже давно спала у дверей, свернув-

шись в рыжий комок.

— Ну, спите! — как бы про себя сказал хозяин и, потушив лампу, сам отправился на покой.

В хате было тихо, даже и сверчок замолк. За окном вьюга бушевала.

Часть V

Маше тепло на печи; спокойно, крепко спится ей… И вот стены хаты мало-помалу раздвигаются, — и Маша видит перед собой громадную, великолепную залу, с высокими окнами, с колоннами, и в глубине той залы, на позолоченном троне, в сияющей короне сидит царь. Брови его мрачно нахмурены, и лицо покраснело от гнева. Какие-то старцы с седыми бородами, в темных одеждах, почтительно стоят перед ним и говорят: «Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться ему!» Царь, видимо, сильно встревожен. Он хватается за свою блестящую корону, задумывается на мгновенье, потом подзывает к себе своих советников-вельмож и шепотом о чем-то разговаривает с ними. Наконец, царь понемногу успокаивается и ласково, приветливо обращается к старцам: «Идите, — говорит он, — и разведайте о Младенце; когда найдете, известите

меня, и я пойду поклониться Ему!» Старцы уходят… пышный дворец исчезает…

Перед Машей расстилается обширное, ровное поле… Над землей еще лежат ночные тени. Небо ясно и все искрится звездами, но одна звезда горит всех ярче… Необыкновенно ярким, серебристым светом горит она в синих небесах. Вдали темнеет город, и яркая звезда горит прямо над ним… Маша видит: пастухи пасут овец. И вдруг они встают, берут свои длинные, крючковатые посохи и идут к городу, — и Маша с ними…

Они идут по городским улицам и переулкам и приходят в какой-то жалкий, убогий сарай; тут навалены груды соломы, сена и стоят ясли… В яслях Младенец покоится, и Мать с любовью склоняется над Ним. Тут же в тени, около яслей стоит, опираясь на посох, какой-то пожилой мужчина почтенного вида, с большой бородой и в темной одежде. Та яркая звезда, которую уже видела Маша, светит теперь через дырявую крышу сарая, озаряя своим небесным светом чудный лик Младенца… Маша смотрит на него и не может глаз отвести. И вдруг так радостно, так светло и весело стало у нее на душе…

Вдруг все пропадает — и сарай, и ясли, и пастухи…

Опять перед Машей царский пышный дворец, и на троне опять царь в короне сидит. Суров он и грозен, как темная туча. Глаза его злобой пылают. Он облокачивается на ручку трона и говорит: «Волхвы осмеяли, обманули меня! я сказал им, чтобы они разведали о Младенце и известили меня… А они не зашли ко мне и иным путем возвратились в страну свою…» Вдруг он порывисто поднимается с трона; корона ярко блещет на голове… «Воины! Сюда! Ко мне!» — зовет он громким голосом. И отовсюду бегут к нему воины в железных шапках, в железных латах, с копьями, с секирами, с мечами, с бердышами; клики воинов, стук и бряцанье оружия сливаются в один неясный гул. Маша дрожит, замирает со страху… Царь говорит своим воинам: «Идите и избивайте в Вифлееме и в окрестностях его всех младенцев до двух лет! в числе их вы, наверное, убьете и того Младенца, Которому ходили поклоняться волхвы… Идите!..» И видит Маша, как железные люди с железными мечами в руках пускаются исполнять повеление царя. И с ужасом Маша слышит бряцанье оружия, отчаянные, жалобные детские крики, стоны и плач матерей… «Господи! Что ж это будет?.. Они младенцев избивают!..» — говорит она себе, и ее маленькое сердце кровью

обливается… Ей жаль этих несчастных, ни в чем не повинных детей…

В это время, откуда ни возьмись, является ее хозяин — великан. При нем грозный царь кажется Маше совсем маленьким человеком. И Иван великан говорит царю: «Не перебить тебе, Ирод, всех младенцев! Да и напрасно ты избиваешь их… Христос жив!..» Едва он проговорил эти слова, как черные тучи заклубились над землей, грянул гром, поднялся страшный вихрь, и в том вихре все исчезло — и пышный дворец, и железные воины, и царь Ирод с троном и с сияющей короной… Стало тихо, тихо… И слышит Маша чудесное пение… Словно музыка, доносится до нее это пение откуда-то издалека, как будто с облаков. Не ангелы ли то поют? Маша открывает глаза.

Ясное зимнее утро уже заглядывало в окна хаты. Ветер стих; вьюга умчалась. Снег ослепительно блистал в золотисто-розовых лучах восходящего солнца. Яркое, голубое небо раскидывалось над землей. Метель прошла, как сон; ее как не бывало…

В душе Маши так же, как и за окном, было спокойно, ясно и светло… А в ушах ее все еще отдавалось тихое, дальнее пение, лившееся, словно с заоблачных высот:

«Слава в вышних Богу, и на земле мир…»
1888

НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ

Христос в гостях у мужика
(Рождественский рассказ)

Настоящий рассказ о том, как сам Христос приходил на Рождество к мужику в гости и чему его выучил, я сам слышал от одного старого сибиряка, которому это событие было близко известно. Что он мне рассказывал, то я и вам передам его же словами.

* * *

Наше место поселенное, но хорошее, торговое место. Отец мой в эти места прибыл за крепостное время в России, а я тут и родился. Имели достатки по своему положению довольные и теперь не бедствуем. Веру держим простую, русскую.[3] Отец был начитан и меня к чтению приохотил. Который человек науку любил, тот был мне первый друг, и я готов был за него в огонь и в воду. И вот послал мне один раз Господь в утешение приятеля Тимофея Осиповича, про которого я и хочу вам рассказать, как с ним чудо было. Тимо-

---

[3] Примечания: 3
Старообрядческая вера.

фей Осипов прибыл к нам в молодых годах. Мне было тогда восемнадцать лет, а ему, может быть, с чем-нибудь за двадцать. Поведения Тимоша был самого непостыдного. За что он прибыл по суду на поселение — об этом по нашему положению, щадя человека, не расспрашивают, но слышно было, что его дядя обидел. Опекуном был в его сиротство да и растратил, или взял, почти все наследство. А Тимофей Осипов за то время был по молодым годам нетерпеливый, вышла у них с дядей ссора, и ударил он дядю оружием. По милосердию Создателя, грех сего безумия не до конца совершился — Тимофей только ранил дядю в руку насквозь. По молодости Тимофея большого наказания ему не было, как из первогильдийных купцов сослан он к нам на поселение.

Именье Тимошино хотя девять частей было разграблено, но, однако, и с десятою частью еще жить было можно. Он у нас построил дом и стал жить, но в душе у него обида кипела, и долго он от всех сторонился. Сидел всегда дома, и батрак да батрачка только его и видели, а дома он все книги читал, и самые Божественные. Наконец мы с ним познакомились, именно из-за книг, и я начал к нему ходить, а он меня принимал с охотою. Пришли мы друг другу по сердцу.

Родители мои попервоначалу не очень меня к нему пускали. Он им мудрен казался. Говорили: «Неизвестно, какой он такой и зачем ото всех прячется. Как бы чему худому не научил». Но я, быв родительской воле покорен, правду им говорил, отцу и матери, что ничего худого от Тимофея не слышу, а занимаемся тем, что вместе книжки читаем и о вере говорим. Как по святой воле Божией жить надо, чтобы образ Создателя в себе не уронить и не обесславить. Меня стали пускать к Тимофею сидеть сколько угодно, и отец мой сам к нему сходил, а потом и Тимофей Осипов к нам пришел. Увидали мои старики, что он человек хороший, и полюбили его, и очень стали жалеть, что он часто сумрачный. Вспомнит свою обиду, или особенно если ему хоть одно слово про дядю его сказать, — весь побледнеет и после ходит смутный и руки опустит. Тогда и читать не хочет, да и в глазах вместо всегдашней ласки — гнев горит. Честности он был примерной и умница, но к делам за тоскою своею не брался. Но скуке его Господь скоро помог: пришла ему по сердцу моя сестра, он на ней женился и перестал скучать, а начал жить да поживать и добра наживать, и в десять лет стал у всех в виду как самый капитальный человек. Дом вывел, как хоромы хорошие;

всем полон, всего вдоволь и от всех в уважении, и жена добрая, а дети здоровые. Чего еще надо? Кажется, все прошлое горе позабыть можно, но он, однако, все-таки помнил свою обиду, и один раз, когда мы с ним вдвоем в тележке ехали и говорили во всяком благодушии, — я его спросил:

— Как, брат Тимоша, всем ли ты теперь доволен?

— В каком, — спрашивает, — это смысле?

— Имеешь ли все то, чего в своем месте лишился?

А он сейчас весь побледнел и ни слова не ответил, только молча лошадью правил.

Тогда я извинился.

— Ты, — говорю, — брат, меня прости, что я так спросил… Я думал, что лихое давно… минуло и позабылось.

— Нужды нет, — отвечает, — что оно давно… минуло, — все помнится…

Мне его жаль стало, только не с той стороны, что он когда-нибудь больше имел, а что он в таком омрачении: Святое Писание знает и хорошо говорить умеет, а к обиде такую память хранит. Значит, его святое слово не пользует.

Я и задумался, так как во всем его умнее себя почитал и от него думал добрым рассуждением

пользоваться, а он зло помнит… Он это заметил и говорит:

— Что думаешь?

— А так, — говорю, — думаю что попало.

— Нет: ты это обо мне.

— Но тебе думаю.

— Что же ты обо мне, как понимаешь?

— Ты, мол, не сердись, я вот что про тебя подумал. Писание ты знаешь, а сердце твое гневно и Богу не покоряется. Есть ли тебе через это какая польза в Писании?

Тимофей не осерчал, но только грустно омрачился и лице и отвечает:

— Ты святое слово проводить не сведущ.

— Это, — говорю, — твоя правда, я не сведущ.

— Не сведущ, — говорит, — ты и в том, какие на свете обиды есть.

Я и в этом на его сдание[4] согласился, а он стал говорить, что есть таковые оскорбления, коих стерпеть нельзя, — и рассказал мне, что он не за деньги на дядю своего столь гневен, а за другое, чего забыть нельзя.

— Век бы про это молчать хотел, но ныне тебе, — говорит, — как другу моему откроюсь.

---

[4] Примечания: 4

Сдание — ответ, возражение.

Я говорю:

— Если это тебе может стать на пользу — откройся.

И он открыл мне, что дядя смертно огорчил его отца, свел горем в могилу его мать, оклеветал его самого и при старости своих лет улестил и угрозами понудил одних людей выдать за него, за старика, молодую девушку, которую Тимоша с детства любил и всегда себе в жену взять располагал.

— Разве, — говорит, — все это можно простить? я его в жизнь не прощу.

— Ну да, — отвечаю, — обида твоя велика, это правда, а что Святое Писание тебя не пользует, и то не ложь.

А он мне опять напоминает, что я слабже его в Писании, и начинает доводить, как в Ветхом Завете святые мужи сами беззаконников не щадили[5] и даже своими руками заклали. Хотел он, бедняк, этим совесть свою передо мной оправдать.

А я по простоте своей ответил ему просто.

— Тимоша, — говорю, — ты умник, ты начитан и все знаешь, и я против тебя по Писанию отвечать не могу. Я что и читал, откроюсь тебе, не

---

[5] Примечания: 5
См.: Деян. 2: 23.

все разумею, поелику я человек грешный и ум имею тесный. Однако скажу тебе: в Ветхом Завете все ветхое и как-то рябит в уме двойственно, а в Новом — яснее стоит. Там надо всем блистает «Возлюби, да прости»,[6] и это всего дороже, как злат ключ, который всякий замок открывает. А в чем же прощать, неужели в некоей малой провинности, а не в самой большой вине?

Он молчит.

Тогда я положил в уме: «Господи! не угодно ли воле Твоей через меня сказать слово душе брата моего?» — и говорю, как Христа били, обижали, заплевали и так учредили, что одному Ему нигде места не было, а Он всех простил.

— Последуй, — говорю, — лучше сему, а не отомстительному обычаю.

А он пошел приводить большие толкования, как кто писал, что иное простить яко бы все равно что зло приумножить.

Я на это опровергать не мог, но сказал только:

— Я-то опасаюсь, что «многие книги безумным тя творят».[7] Ты, — говорю, — ополчись на себя. Пока ты зло помнишь — зло живо, — а пусть оно

---

[6] Примечания: 6
См.: Мф. 5: 44.

[7] Примечания: 7
Екк. 12: 12.

умрет, тогда и душа твоя в покос жить станет.

Тимофей выслушал меня и сильно сжал мне руку, но обширно говорить не стал, а сказал кратко:

— Не могу, оставь — мне тяжело.

Я оставил. Знал, что у него болит, и молчал, а время шло, и убыло еще шесть лет, и во все это время я за ним наблюдал и видел, что все он страдает и что если пустить его на всю свободу да если он достигнет где-нибудь своего дядю, — забудет он все Писание и поработает сатане мстительному. Но в сердце своем я был покоен, потому что виделся мне тут перст Божий. Стал уже он помалу показываться, ну так, верно, и всю руку увидим. Спасет Господь моего друга от греха гнева. Но произошло это весьма удивительно.

* * *

Теперь Тимофей был у нас в ссылке шестнадцатый год, и прошло уже пятнадцать лет, как он женат. Было ему, стало быть, лет тридцать семь или восемь, и имел он трех детей и жил прекрасно. Любил он особенно цветы розаны и имел их у себя много и на окнах, и в палисаднике. Все место перед домом было розанами покрыто, и через их запах был весь дом в благовонии.

И была у Тимофея такая привычка, что, как близится солнце к закату, он непременно выходил в свой садик и сам охорашивал свои розаны и читал на скамеечке книгу. Больше, сколь мне известно, и то было, что он тут часто молился.

Таким точно порядком пришел он раз сюда и взял с собою Евангелие. Поогляделся розаны, а потом присел, раскрыл книгу и стал читать. Читает, как Христос пришел в гости к фарисею[8] и Ему не подали даже воды, чтобы омыть ноги. И стало Тимофею нестерпимо обидно за Господа и жаль Его. Так жаль, что он заплакал о том, как этот богатый хозяин обошелся со святым гостем. Вот тут в эту самую минуту и случилося чуду начало, о котором Тимоша мне так говорил:

— Гляжу, — говорит, — вокруг себя и думаю: какое у меня всего изобилие и довольство, а Господь мой ходил в такой ценности и унижении… И наполнились все глаза мои слезами и никак их сморгнуть не могу; и все вокруг меня стало розовое, даже самые мои слезы. Так, вроде забытья или обморока, и воскликнул я: «Господи! Если б ты ко мне пришел — я бы тебе и себя самого отдал».

---

[8] Примечания: 8
См.: Лк. 7: 36, 44.

А ему вдруг в ответ откуда-то, как в ветерке в розовом, дохнуло:

— Приду!

* * *

Тимофей с трепетом прибежал ко мне и спрашивает:

— Как ты об этом понимаешь: неужели Господь ко мне может в гости прийти?

Я отвечаю:

— Это, брат, сверх моего понимания. Как об этом, можно ли что усмотреть в Писании?

А Тимофей говорит:

В Писании есть: «Все тот же Христос ныне и вовеки»,[9] — я не смею не верить.

— Что же, — говорю, — и верь.

— Я велю что день на столе ему прибор ставить. Я плечами пожал и отвечаю:

— Ты меня не спрашивай, смотри сам лучшее, что к его воле быть может угодное, а впрочем, я и в приборе ему обиды не считаю, но только не гордо ли это?

— Сказано, — говорит, — «сей грешники при-

---

[9] Примечания: 9

См.: Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же (Евр. 13: 8).

емлет и с мытарями ест».[10]

— А и то, — отвечаю, — сказано: «Господи! я не достоин, чтобы ты взошел в дом мой».[11] Мне и это нравится.

Тимофей говорит:

— Ты не знаешь.

— Хорошо, будь по-твоему.

* * *

Тимофей велел жене с другого же дня ставить за столом лишнее место. Как садятся они за стол пять человек — он, да жена, да трое ребятишек, — всегда у них шестое место и конце стола почетное, и перед ним большое кресло.

Жена любопытствовала: что это, к чему и для кого? Но Тимофей ей не все открывал. Жене и другим он говорил только, что так надо по его душевному обещанию «для первого гостя», а настоящего, кроме его да меня, никто не знал.

Ждал Тимофей Спасителя на другой день после слова в розовом садике, ждал в третий день, потом в первое воскресенье — но ожидания эти

---

[10] Примечания: 10
См.:Мф. 9: 11,Мк. 2: 16, Лк. 5:30.

[11] Примечания: 11
См.: Мф. 8: 8.

были без исполнения. Долгодневны и еще были его ожидания: на всякий праздник Тимофей все ждал Христа в гости и истомился тревогою, но не ослабевал в уповании, что Господь свое обещание сдержит — придет. Открыл мне Тимофей так, что «всякий день, говорит, я молю: «Ей, гряди, Господи!» — и ожидаю, но не слышу желанного ответа: «Ей, гряду скоро!»[12]

Разум мой недоумевал, что отвечать Тимофею, и часто я думал, что друг мой загордел и теперь за то путается в напрасном обольщении. Однако Божие смотрение о том было иначе.

* * *

Наступило Христово Рождество. Стояла лютая зима. Тимофей приходит ко мне на сочельник и говорит:

— Брат любезный, завтра я дождусь Господа.

Я к этим речам давно был безответен и тут только спросил:

— Какое же ты имеешь в этом уверение?

— Ныне, — отвечает, — только я помолил: «Ей, гряди, Господи!» — как вся душа во мне всколыхнулася и в ней словно трубой вострубило: «Ей,

---

[12] Примечания: 12
См.: Откр. 22: 20.

гряду скоро!» Завтра его святое Рождество — и не в сей ли день он пожалует? Приди ко мне со всеми родными, а то душа моя страхом трепещет.

Я говорю:

— Тимоша! Знаешь ты, что я ни о чем этом судить не умею и Господа видеть не ожидаю, потому что я муж грешник, но ты нам свой человек — мы к тебе придем. А ты если уповательно ждешь столь великого гостя, зови не своих друзей, а сделай ему угодное товарищество.

— Понимаю, — отвечает, — и сейчас пошлю услужающих у меня и сына моего обойти села и звать всех ссыльных — кто в нужде и в бедствии. Явит Господь дивную милость — пожалует, так встретит все по заповеди.

Мне и это слово его тоже не нравилось.

— Тимофей, — говорю, — кто может учредить все по заповеди? Одно не разумеешь, другое забудешь, а третье исполнить не можешь. Однако если все это столь сильно «трубит» в душе твоей, то да будет так, как тебе открывается. Если Господь придет, он все, чего недостанет, пополнит, и если ты кого ему надо забудешь, он недостающего и сам приведет.

Пришли мы в Рождество к Тимофею всей семьей, попозже, как ходят на званый стол. Так он

звал, чтобы всех дождаться. Застали большие хоромы его полны людей всякого нашенского, сибирского, засыльного роду. Мужчины и женщины и детское поколение, всякого звания и из разных мест — и российские, и поляки, и чухонской веры. Тимофей собрал всех бедных поселенцев, которые еще с прибытия не оправились на своем хозяйстве. Столы большие, крыты скатертями и всем, чем надобно. Батрачки бегают, квасы и чаши с пирогами расставляют. А на дворе уже смеркалося, да и ждать больше было некого: все послы домой возвратилися и гостям неоткуда больше быть, потому что на дворе поднялась метель и вьюга, как светопреставление.

Одного только гостя нет и нет — который всех дороже.

Надо было уже и огни зажигать да и за стол садиться, потому что совсем темно понадвинуло, и все мы ждем в сумраке при одном малом свете от лампад перед иконами.

Тимофей ходил и сидел, и был, видно, в тяжкой тревоге. Все упование его поколебалось: теперь уже видное дело, что не бывать «великому гостю».

Прошла еще минута, и Тимофей вздохнул, взглянул на меня с унылостью и говорит:

— Ну, брат милый, вижу я, что либо угодно Господу оставить меня в посмеянии, либо прав ты: не умел я собрать всех, кого надо, чтоб его встретить. Будь о всем воля Божия: помолимся и сядем за стол.

Я отвечаю:

— Читай молитву.

Он стал перед иконою и вслух зачитал: «Отче наш, иже еси на небеси», а потом: «Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите,[13] Христос на земли…»

И только он это слово вымолвил, как внезапно что-то так страшно ударило со двора в стену, что даже все зашаталось, а потом сразу же прошумел шум по широким сеням, и вдруг двери в горницу сами вскрылися настежь.

* * *

Все люди, сколько тут было, в неописанном страхе шарахнулись в один угол, а многие упали, и только кои всех смелее на двери смотрели. А в двери на пороге стоял старый-престарый старик, весь в худом рубище, дрожит и, чтобы не упасть, обеими руками за притолки держится; а из-за

---

[13] Примечания: 13

Срящите — встречайте.

него из сеней, где темно было, — неописанный розовый свет светит, и через плечо старика вперед в хоромину выходит белая, как из снега, рука, и в ней длинная глиняная плошка с огнем — такая, как на беседе Никодима пишется… Ветер с вьюгой с надворья рвет, а огня не колышет… И светит этот огонь старику в лицо и на руку, а на руке в глаза бросается заросший старый шрам, весь побелел от стужи.

Тимофей как увидал это, вскричал:

— Господи! Вижду и приму его во имя Твое, а Ты Сам не входи ко мне: я человек злой и грешный. — Да с этим и поклонился лицом до земли. А с ним и я упал на землю от радости, что его настоящей христианской покорностью тронуло; и воскликнул всем вслух:

— Вонмем:[14] Христос среди нас!

А все отвечали:

— Аминь, — то есть истинно.

* * *

Тут внесли огонь; я и Тимофей восклонились от полу, а белой руки уже не видать — только один старик остался.

---

[14] Примечания: 14

Вонмем — слушайте (буквально: восслушаем).

Тимофей встал, взял его за обе руки и посадил на первое место. А кто он был, этот старик, может быть, вы и сами догадаетесь: это был враг Тимофея — дядя, который всего его разорил. В кратких словах он сказал, что все у него прошло прахом: и семьи, и богатства он лишился, и ходил давно, чтобы отыскать племянника и просить у него прощения. И жаждал он этого, и боялся Тимофеева гнева, а в эту метель сбился с пути и, замерзая, чаял смерти единой.

— Но вдруг, — говорит, — кто-то неведомый осиял меня и сказал: «Иди, согрейся на Моем месте и поешь из Моей чаши», взял меня за обе руки, и я стал здесь, сам не знаю отколе.

А Тимофей при всех отвечал:

— Я, дядя, твоего провожатого ведаю: это Господь, который сказал: «Аще алчет враг твой — ухлеби его, аще жаждет — напой его».[15] Сядь у меня на первом месте — ешь и пей во славу Его, и будь в дому моем во всей воле до конца жизни.

С той поры старик так и остался у Тимофея и, умирая, благословил его, а Тимофей стал навсегда мирен в сердце своем.

---

[15] Примечания: 15
Рим. 12:20.

* * *

Так научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце может быть такими яслями, если оно исполнило заповедь: «Любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас».[16] Христос придет в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит Себе там обитель.

Ей, гряди, Господи; ей, гряди скоро!

1881

---

[16] Примечания: 16
См.:Мф. 5:44, Лк. 6:27.

Под Рождество обидели
(Житейские случаи)

На этом месте я хотел рассказать вам, читатели, не о том, о чем будет беседа. Я хотел говорить на Рождество про один из общественных грехов, которые мы долгие веки делаем сообща всем миром и воздержаться от него не хотим. Но вдруг подвернулся неожиданный случай, что одного моего знакомого, — человека, которого знает множество людей в Петербурге, — под праздник обидели, а он так странно и необыкновенно отнесся к этой обиде, что это заслуживает внимания вдумчивого человека. Я про это и буду рассказывать, а вы прослушайте, потому что это такое дело, которое каждого может касаться, а меж тем оно не всеми сходно понимается.

Есть у меня давний и хороший приятель. Он занимается одним со мною делом. Настоящее его имя я называть вам не стану, потому что это будет ему неудобно, а для вас, как его ни зовут, — это все равно: дело в том, каков он человек, как его обидели и как он отнесся к обидчикам и к обиде.

Человек, про которого я говорю, не богатый и

не бедный, одинок, холост и хотя мог бы держать для себя двух прислуг, но не держит ни одной. И это делалось так не по скупости, а он стеснялся — какого нрава или характера поступит к нему служащий человек, да и что этому человеку делать при одиноком? Исскучается слуга от нечего делать и начнет придираться и ссориться и выйдет от него не угодье, а только одни досаждения. А сам приятель мой нрава спокойного и уступчивого, пошутить не прочь, а от спора и ссор удаляется.

Для своего удобства он устроил так, что нанял себе небольшую квартирку в надворном флигеле, в большом и знатном доме на набережной, и прожил много лет благополучно. Хозяйства он никакого дома не держит, а необходимые послуги ему делал дворник. Когда же нужно уйти со двора, приятель запрет квартирную дверь, возьмет ключ в карман и уходит.

Квартира небольшая, однако в три комнатки и помещается во втором этаже, — посреди жилья, и лестница как раз против дворницкой. Такое расположение, что, кажется, совсем нечего опасаться и, как я говорю, — много лет прошло совершенно благополучно, а вдруг теперь под Рождество случилась большая обида.

Здесь, однако, я возьму на минуточку в сторону и скажу, что мы с этим приятелем видимся почти всякий день, и на днях говорили о том, что случилось раз в нашем родном городе. А случилась там такая вещь, что один наш тамошний купец ни за что не согласился быть судьею над ворами и вот что об этом рассказывают.

Давно в этом городе жили-были три вора. Город наш издавна своим воровством славится и в пословицах поминается. И задумали эти воры обокрасть кладовую в богатом купеческом доме. А кладовая была каменная и окон внизу в ней не было, а было только одно очень маленькое оконце вверху, под самою крышей. До этого оконца никак нельзя было долезть без лестницы, да если и долезешь, то нельзя было в него просунуться, потому что никак взрослому человеку в крохотное окно не протиснуться.

А воры, как наметили этого купца обокрасть, — так уж от своей затеи не отстают, потому что тут им было из-за чего потрудиться: в кладовой было множество всякого добра — и летней одежды, и меховых шапок, и шуб, и подушек пуховых, и холста и сукон — всего набито от потолка до самого до полу… Как смелому вору такое дело бросить?

Вот воры и придумали смелую штуку.

Один вор, бессемейный, говорит другому, семейному:

— Я хорошее средство придумал: у тебя есть сынишка пяти годов — он еще маленький, и тельцем мягок, — он в это окно может протиснуться. Если мы его с собой возьмем — мы с ним можем все это дело обдействовать. Уведи ты мальчишку от матери и приведи с собою под самое Рождество — скажи, что пойдешь помолиться к заутрене, да и пойдем все вместе действовать. А как придем, то один из нас станет внизу, а другой влезет на плечи, а третий этому второму на плеча станет, и такой столб сделаем, что без лестницы до окна достанем, а твоего мальчонку опояшем крепко веревкою, и дадим ему скрытный фонарь с огнем да и спустим его через окно в середину кладовой. Пусть он там оглядится и распояшется, и пусть отбирает все самое лучшее и в петлю на веревку завязывает, а мы станем таскать, да все и повытаскаем, а потом опять дитя само подпояшется, — мы и его назад вытащим и поделим все на три доли с половиною: нам двоим поровну, а тебе с младенцем против нас полторы доли, и от нас ему сладких закусочек, — пускай отрок радуется и к ремеслу заохотится.

Отец-то вор — хорош, видно, был — не отка-

зался от этого, а согласился; и как пришел вечер сочельника, он и говорит жене:

— Я ноне пообещался сходить в монастырь ко всенощной, — там благолепное пение, собери со мной паренька. Я его с собой возьму — пусть хорошее пение послушает.

Жена согласилась и отпустила парня с отцом. А тогда все три вора в монастырь не пошли, а сошлись в кабаке за Московскою заставою и начали пить водку и пиво умеренно; а дитя положили в уголке на полу, чтобы немножечко выспалось; а как ночь загустела и целовальник стал на засов кабак запирать, — они все встали, зажгли фонарь и ушли, и ребенка с собой повели, да все, что затевали, то все сделали. И вышло это у них сначала так ловко, что лучше не надо требовать: мальчонка оказался такой смышленый и ловкий, что вдруг в кладовой осмотрелся и быстро цепляет им в петлю самые подходящие вещи, а они все вытаскивают, и наконец столько всякого добра натаскали, что видят — им втроем уж больше и унесть нельзя. Значит, и воровать больше не для чего.

Тогда нижний и говорит среднему, а средний тому, который наверху стоит:

— Довольно, братцы, — нам на себе больше

не снесть. — Скажи парню, чтобы он опоясался веревкою, и потянем его вон наружу.

Верхний вор, который у двух на плечах стоял, и шепчет в окно мальчику:

— Довольно брать, больше не надобно… Теперь сам себя крепче подпояшь да и руками за канат держись, а мы тебя вверх потянем.

Мальчик опоясался, а они стали его тащить и уже до самого до верха почти вытащили, как вдруг, — чего они впотьмах не заметили, — веревка-то от многих подач о края кирпичной кладки общипалася и вдруг лопнула, так что мальчишка назад в обворованную кладовую упал, а воры, от этой неожиданности потерявши равновесие, и сами попадали… Сразу сделался шум, и на дворе у купца заметались цепные собаки и подняли страшный лай… Сейчас все люди проснутся и выскочат, и тогда, разумеется, ворам гибель. К тому же как раз сближалося время, что люди станут скоро вставать и пойдут к заутрене и тогда непременно воров изловят с поликою.

Воры схватили кто что успел зацепить и бросились наутек, а в купеческом доме все вскочили, и пошли бегать с фонарями, и явились в кладовую. И как вошли сюда, так и видят, что в кладовой беспорядок и что очень много покрадено, а на

полу мальчик сидит, сильно расшибленный, и плачет.

Разумеется, купеческие молодцы догадались, в чем дело, и бросились под окно на улицу, и нашли там почти все вытащенное хозяйское добро в целости, — потому что испуганные воры могли только малую часть унести с собой…

И стали все суетиться и кричать, что теперь делать: давать ли знать о том, что случилося, в полицию или самим гнаться за ворами? А гнаться впотьмах-то не знать в какую сторону, да и страшно, потому что воры ведь небось на всякий случай с оружием и впотьмах убьют человека как курицу. У нас в городе воры ученые, — шапки по вечерам выходили снимать и то не с пустыми руками, а с такой инструментиной вроде щипцов с петелькою, — называлась «кобылкою». (Об ней в шуйских памятях писано.) А купец, у которого покражу сделали, отличный человек был — умный, добрый, и рассудительный, и христианин; он и говорит своим молодцам:

— Оставьте, не надобно. Чего еще! Все мое добро почти в целости, а из-за пустяка и гнаться не стоит.

А молодцы говорят:

— То и есть правда: нам Господь дитя на уличе-

нье злодеев оставил. Это перст видимый: по нем все укажется, каких он родителей, — тогда все и объявится.

А купец говорит:

— Нет, не так: дитя — молодая душа неповинная, он недобром в соблазн введен — его выдавать не надобно, а прибрать его надобно; не обижайте дитя и не трогайте: дитя — Божий посол, его надо согреть и принять как для Господа. Видите, вон он какой… познобившись весь, да и трясется, испуганный. Не надо его ни о чем расспрашивать. Это не христианское дело совсем, чтобы дитя ставить против отца за доказчика… Бог с ним совсем, что у меня пропало, они меня совсем еще не обидели, а это дитя ко мне Бог привел, вы и молчите, может быть, оно у меня и останется.

И так все стали молчать, а спрашивать этого мальчика никто не приходил, и он у купца и остался, и купец его начал держать как свое дитя и приучать к делу А как он имел добрую и справедливую душу, то и дитя воспитал в добром духе, и вышел из мальчика прекрасный, умный молодец, и все его в доме любили.

А у купца была одна только дочь, а сыновей не было, и дочь эта, как вместе росла с воровским сыном, то с ним и слюбилася. И стало это всем

видимо. Тогда купец сказал своей жене:

— Слушай, пожалуйста, дочь наша доспела таких лет, что пора ей с кем-нибудь венец принять, а для чего мы ей станем на стороне жениха искать. Это ведь дело сурьезное, особливо как мы люди с достатками и все будут думать, чтобы взять за нашей дочерью большое приданое, и тогда пойдет со всех сторон столько вранья и притворства, что и слушать противно будет.

Жена отвечает:

— Это правда, так всегда уже водится.

— То-то и есть, — говорит купец, — еще навернется какой-нибудь криводушник да и прикинется добрым, а в душе совсем не такой выйдет. В человека не влезешь ведь: загубим ведь мы девку, как ясочку, и будем потом и себя корить, и ее жалеть, да без помощи. Нет, давай-ка устроим степеннее.

— Как же так? — говорит жена.

— А вот мы как дело-то сделаем: обвенчаем-ка дочку с нашим приемышем. Он у нас доморощенный, парень ведомый, да и дочь — что греха таить — вся она к нему пала по всем мыслям. Повенчаем их и не скаемся.

Согласились так и повенчали молодых; а старики дожили свой век и умерли, а молодые все

жили, и тоже детей нажили, и сами тоже состарились. А жили все в почете и в счастии, а тут и новые суды пришли, и довелось этому приемышу — тогда уже старику — сесть с присяжными, и начали при нем в самый первый случай судить вора. Он и затрепетал и сидит слушает, а сам то бледнеет, то краснеет и вдруг глаза закрыл, но из-под веку него побежали по щекам слезы, а из старой груди на весь зал раздалися рыдания.

Председатель суда спрашивает:

— Скажите, что с вами?

А он отвечает:

— Отпустите меня, я не могу людей судить.

— Почему? — говорят, — это круговой закон: правым должно судить виноватого.

А он отвечает:

— А вот то-то и есть, что я сам не прав, а я сам несудимый вор и умоляю, дозвольте мне перед всеми вину сознать.

Тут его сочли в возбуждении и каяться ему не дозволили, а он после сам рассказал достойным людям эту историю, как в детстве на веревке в кладовую спускался, и пойман был, и помилован, и остался как сын у своего благодетеля, и всех это его покаяние тронуло, и никого во всем городе не нашлось, кто бы решился укорить его прошлою

неосужденною виною, — все к нему относились с почтеньем по-прежнему, как он своею доброю жизнью заслуживал.

Поговорили мы об этом с приятелем и порадовались: какие у нас иногда встречаются нежные и добрые души.

— Утешаться надо, — говорю, — что такое добро в людях есть.

— Да, — отвечает приятель, — хорошо утешаться, а еще лучше того — надо самому наготове быть, чтобы при случае знать, как с собой управиться.

Так мы говорили (это на сих днях было), а назавтра такое случилося, что разве как только в театральных представлениях все кстати случается.

Приходит ко мне мой приятель и говорит:

— Дело сделано.

— Какое?

— У меня неприятности.

Думаю: верно, что-нибудь маловажное, потому что он мужик мнительный.

— Нет, — говорит, — неприятность огромная: кто-то обидно покой мой нарушил. Вышел я всего на один час, а как вернулся и стал ключ в дверь вкладывать, а дверь сама отворилась… Смотрю,

на полу ящик из моего письменного стола лежит и все высыпано… золотая цепочка валяется и еще кое-что ценное брошено, а взяты заветные вещи и золотые часы, которые покойный отец подарил, да древних монеток штук шестьсот, да конверт, в котором лежало пятьсот рублей на мои похороны и билет на могилу рядом с матерью…

Я и слова не нахожу, что ему сказать от удивления.

Что это? Вчера говорили про историю, а сегодня над одним из нас готово уже в таком самом роде повторение.

Точно на экзамен его вызвали.

Ну-ка, мол, вот ты вчера чужой душой утешался, — так покажи-ка, мол, теперь сам, какой в тебе живет дух довлеющий?

Присел я молча и спрашиваю:

— Что же вы сделали?

— Да ничего, — отвечает, — покуда еще не сделал, да не знаю, и делать ли? Говорят, надо явку подавать…

И спрашивает меня по-приятельски: каков мой совет? А что тут советовать? Про явки ему уже сказано, а в другом роде — как советовать? Пропало не мое, а его добро — чужую обиду легко прощать…

— Нет, — говорю, — я советовать не могу, а если хотите, я могу вам сказать, как со мною раз было подобное и что дальше случилося.

Он говорит: пожалуйста, расскажите.

Я и рассказал, что раз со мною и с вором случилося.

Сделал я раз себе шубу, и стала она мне триста рублей, а была претяжелая. Так, бывало, плечи отсадит, что мочи нет. Я и взял с нею дурную привычку — идучи, все ее с плеч спускать и оттого скоро обил в ней подол. Утром в Рождественский сочельник служанка говорит мне:

— Шуба подбилася: я по-портновски мех подшить не умею, посажу на игле, весь подол станет морщиться; дворник говорит, что рядом в доме у него знакомый портнишка есть — очень хорошо починку делает; не послать ли к нему шубу с дворником? Он к вечеру ее назад принесет.

Я отвечаю: «Хорошо». Девушка и отдала мою шубу дворнику, а дворник отнес ее рядом в дом, своему знакомому портнишке.

А сочельник пришел с оттепелью, капели капали: вечером мне шуба не понадобилась — в пальто было впору.

Я про шубу забыл и не спросил ее, а на Рождество слышу, в кухне какой-то спор и смущение:

дворник, бледный и испуганный, не с праздником поздравляет, а рассказывает, что моей шубы нет и сам портнишка пропал… Просит меня дворник, чтобы я подал явку. Я не стал подавать, а он от себя подал.

Он подал явку, а шубы моей, разумеется, все нет как нет, и говорят, что и портного нет… Жена у него осталась с двумя детьми, — один лет трех, а другой грудной… Бедность, говорят, ужасающая: и женщина и дети страшные, испитые, — жили в угле, да и за угол не заплочено, и еды у них никакой нет. А про мою шубу жена говорит, будто муж шубу починил и понес ее, чтобы отдать, да с тех пор и сам не возвращается… Искали его во всех местах, где он мог быть, и не нашли… Пропал портнишка, как в воду канул… Я подосадовал и другую шубу себе сделал, а про пропажу забывать стал, как вдруг неожиданно на первой неделе Великого поста прибегает ко мне дворник… весь впопыхах и лепечет скороговоркою:

— Пожалуйте к мировому, я портнишку подсмотрел… подсмотрел его, подлеца, как он к жене тайно приходил, и сейчас его поймал и к судье свел. Он там у сторожа… Сейчас разбор дела будет… скорее, пожалуйста… подтвердить надо… ваша шуба пропала.

Я поехал… Смотрю, действительно сторож бережет какого-то человека, худого, тощего, волосы как войлочек, ноги портновские — колесом изогнуты, и весь сам в отрепочках, — починить некому и общий вид какой-то полумертвый.

Судья спрашивает меня: пропала ли у меня шуба, какая она была и сколько стоила?

Я отвечаю по правде: была шуба такая-то, заплочена была триста рублей, а потом ношена и сколько стоила во время пропажи — определить не могу; может быть, на рынке за нее и ста рублей не дали бы.

Судья стал допрашивать портного — тот сразу же во всем повинился: «Я, — говорит, — ее подшил и к дворнику понес, чтобы отдать и деньги за работу получить… На грех дворника дома не было и дверь была заперта, а господина я не знал по фамилии, ни где живут, а у нас в сочельник в семье не было ни копеечки. Я и пошел со двора, да и заложил закладчику шубу, а на взятые под залог деньги купил чайку-сахарцу, пивка-водочки, а потом утром испугался и убежал, и последние деньги пропил, и с тех пор все путался». А теперь он и не знает, где и квиток потерял, и закладчика указать не может.

— Виноват, пропала шуба.

— А сколько, по-вашему, шуба стоила?

Портной не стал вилять и говорит:

— Шуба была хорошая.

— Да сколько же именно она могла стоить?

— Шуба ценная…

— Сто рублей она могла, например, стоить?

Портной себя превосходит в великодушии.

— Больше, — говорит, — могла стоить.

— И полтораста стоила?

— Стоила.

Словом — молодец портной: ни себя, ни меня не конфузит.

Судья и зачитал: «по указу», и определил портного на три месяца в тюрьму посадить, а потом чтобы он мне за шубу деньги заплатил.

Вышло, значит, мне удовлетворение самое полное, и больше от судьи ожидать нечего.

Я пошел домой, портнишку повели в острог, а его жена с детьми завыли в три голоса.

Чего еще надобно?

Дал Бог мне, что я вскоре же заболел ревматизмом, который по-старинному, по-русски называли «комчугою». Верно ей дано это название! Днем эта болезнь еще и так и сяк — терпеть можно, а как ночь придет, так она начинает «комчить», и нет возможности ни на минуту уснуть.

А как лежишь без сна, то невесть что припоминается и представляется, и вот у меня из головы не идет мой портнишка и его жена с детьми… Он теперь за мою шубу в остроге сидит, а с бабой и детьми-то что делается?.. И при нем-то им было худо, а теперь небось беде уж и меры нет… А мне от всего этого суда и от розыска что в пользу прибыло? Ничего он мне никогда этот портнишка заплатить-то не может, да если бы я и захотел что-нибудь с него донимать по мелочи, так от всего от этого будет только «сумой пахнуть»…

Никогда я этого донимать не стану…

А зачем же была эта явка-то подана?

И это стало меня до того ужасно беспокоить, что я послал узнать: жива ли портнишкина жена и что с нею и с детьми ее делается?

Дворник узнал и говорит: «Ее присуждено выселить и как раз их сегодня выгоняют: за ними за угол набралось уже шесть рублей».

— Вот те мне, и ахти мне!

А «комчуга» ночью спать не дает и в лица перекидается: задремешь отусталости, а портнишка вдруг является и начинает холодным утюгом по больным местам как по болвашке водить… И все водит, все разглаживает, да на суставах острым углом налегает…

И так он меня прогладил, что я поскорее дал шесть рублей, не полегчает ли если уж не на теле, то хоть на совести, — потому, так я уверен, что в бедствиях портновской семьи это моя жестокость виновата.

Жена портного оказалась дама чуткого сердца и пришла, чтобы меня благодарить за шесть рублей… А сама вся в лохмотьях, и дети голые…

Дал им еще три рубля…

А как ночь, так портнишка опять идет с холодным утюгом… И зачем это я только наделал?..

Рассердишься и начинаешь думать: а как же мне иначе было сделать? Ведь нельзя же всякому плуту подачку давать? Так все и сомневаются. А тут Пасха пришла… Портному еще полтора месяца в тюрьме сидеть. Я уж давал его жене и по рублю, и по два много раз, а к Пасхе надо что-нибудь увеличить им пенсию… Ну, по силам своим и увеличил, да жена его о себе иначе понимать стала, и на меня недовольна и сердится:

— Кормильца нашего, — говорит, — оковал: что я с детьми теперь сделаю. Ты нас убил — тебя Бог убьет.

И смешно, и досадно, и жалко, и совестно: несравненно бы лучше было, если бы моя шуба с портным вместе пропала с глаз моих. Было бы

это тогда и милосерднее, да и выгоднее: а теперь если хочешь затворить уста матери голодных и холодных детей — корми воровскую семью, а то где твоя совесть-то явится? Заморить-то ведь это и палач может, а ты небось за один стол не хочешь сесть ни с палачом, ни с доносчиком…

Кормлю я кое-как семью портнишкину, а на душе все противное… Чувствую, что будто я сделал что-то такое, хуже чем чужую шубу снес… И никак от этого не избавиться…

И вот под самую Пасху все пошли к утрене, а я, больной, остался один дома и только чуть-чуть задремал, как вдруг ко мне жалует орловский купец Иван Иванович Андросов… Старичок был небольшой, очень полный, с совершенно белой головой и лет сорок тому назад умер и схоронен в Орле. Последние годы перед своею кончиною он находился в чрезвычайной бедности, а имел очень богатого зятя, который какими-то неправдами завладел его состоянием. Отец мой этого старика уважал и называл «праведником», а я только помню, что он ходил в садах яблони прививать и у нас, бывало, если сядет в кресло, то уж никак из него не вылезет: он встает и кресло на нем висит, как раковина на улитке. Никогда он ни о чем не тужил и про все всегда говорил весе-

ло, а когда люди ему напоминали про обиды от дочери и от зятя, то он, бывало, всегда одинаково отнекивался:

— Ну, так что ж!

— А вы бы, Иван Иванович, жаловались.

А он отвечает:

— Вот тебе еще что ж!

— А помрешь с голоду?

— Ну, так что ж!

— И схоронить будет некому.

— Вот тебе еще что ж!

Говорили: он глуп.

А он не был глуп: он пришел к нам на Рождество и все ел вареники и похваливал.

— Точно, — говорит, — будто я тепленькими хлопочками напихался, и вставать не хочется.

И так и не встал с кресла, а взял да и умер, и мы его схоронили.

Ведь такой человек, очевидно, знал, что делал! «В бесстрашной душе ведь Бог живет».

Так-то бы, мол, кажись, и мне следовало сделать: пропала! — «Ну, так что ж»... А жаловаться? — «Вот тебе еще что ж!» И куда сколько было бы всем нам лучше, и самому бы мне было спокойнее.

Тут как я это рассказал, мой обокраденный

приятель и взял меня на слове.

— Вот, — говорит, — и я думал, так и я все так и сделаю. Ничего я никому не подам: и не хочу, чтобы начали тормошить людей и отравлять всем Христово Рождество. Пропало, и кончено: «Ну так что ж, да и вот тебе еще что ж?»

На этом он дело и кончил, и я ему ничего возражать не смел, но потом досталось мне мучение: в один день довелось мне говорить об этом со многими и ото всех пришлось слышать против себя и против его все несхожее. Все говорили мне:

— Это вы глупо обдумали!.. Так только потачка всем… Вы забыли закон!.. Всякий один другого исправлять должен и наказывать. В этом первое правило.

Читатель! будь ласков: вмешайся и ты в нашу историю, вспомяни, чему тебя учил сегодняшний Новорожденный: наказать или помиловать?

Если ты хочешь когда-нибудь «со Христом быть» — то ты это должен прямо решить и как решить — тому и должен следовать… Может быть, и тебя «под Рождество обидели» и ты это затаил на душе и собираешься отплатить?.. Пожалуй, боишься, что если спустишь, так тебе стыдно будет… Это очень возможно, потому что мы плохо помним, в чем есть настоящее «первое

правило»… Но ты разберись, пожалуйста, сегодня с этим хорошенечко: обдумай — с кем ты выбираешь быть: с законниками ли разноглагольного закона или с Тем, Который дал тебе «глаголы вечной жизни»… Подумай! Это очень стоит твоего раздумья, и выбор тебе не труден… Не бойся показаться смешным и глупым, если ты поступишь по правилу Того, Который сказал тебе: «Прости обидчику и приобрети себе в нем брата своего».

Я тебе рассказал пустяки, а ты будь умен, — и выбери себе и в пустяках-то полезное, чтобы было тебе с чем перейти в вечность.

1890

Запечатленный ангел
Глава 1

Дело было о Святках, накануне Васильева вечера. Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном Заволжье, загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылем среди гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские, и мордва, и чуваши. Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно: куда ни повернись, везде теснота, одни сушатся, другие греются, третьи ищут хотя маленького местечка, где бы приютиться; по темной, низкой, переполненной народом избе стоит духота и густой пар от мокрого платья. Свободного места нигде не видно: на полатях, на печке, на лавках и даже на грязном земляном полу — везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. Сердито захлопнув ворота за последними добившимися на двор санями, на которых приехали два купца, он запер двор на замок и, повесив ключ под божницею, твердо

молвил:

— Ну, теперь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю.

Но едва он успел это выговорить и, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился древним большим крестом и приготовился лезть на жаркую печку, как кто-то робкою рукой застучал в стекло.

— Кто там? — окликнул громким и недовольным голосом хозяин.

— Мы, — ответили глухо из-за окна.

— Ну-у, а чего еще надо?

— Пусти, Христа ради, сбились… обмерзли.

— А много ли вас?

— Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро, — говорил за окном, заикаясь и щелкая зубами, очевидно, совсем перезябший человек.

— Некуда мне вас пустить, вся изба и так народом укладена.

— Пусти хоть малость обогреться!

— А кто же вы такие?

— Извозчики.

— Порожнем или с возами?

— С возами, родной, шкурье везем.

— Шкурье! шкурье везете, да в избу ночевать

проситесь. Ну, люди на Руси настают! Пошли прочь!

— А что же им делать? — спросил проезжий, лежавший под медвежьей шубой на верхней лавке.

— Валить шкурье да спать под ним, вот что им делать, — отвечал хозяин и, ругнув еще хорошенько извозчиков, лег недвижимо на печь.

Проезжий из-под медвежьей шубы в тоне весьма энергичного протеста выговаривал хозяину на жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо него откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек с острою, клином, бородкой.

— Не осуждайте, милостивый государь, хозяина, — заговорил он, — он это с практики берет и внушает правильно — со шкурьем безопасно.

— Да? — отозвался вопросительно проезжий из-под медвежьей шубы.

— Совершенно безопасно-с, и для них это лучше, что он их не пускает.

— Это почему?

— А потому, что они теперь из этого полезную практику для себя получили, а между тем, если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечко будет.

— А кого теперь еще понесет черт? — молвила шуба.

— А ты слушай, — отозвался хозяин, — ты не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где этакая святыня? Разве ты не видишь, что тут и Спасова икона, и Богородичный лик.

— Это верно, — поддержал рыженький человек. — Всякого спасенного человека не ефиоп ведет, а ангел руководствует.

— А вот я этого не видал, и как мне здесь очень скверно, то и не хочу верить, что меня сюда завел мой ангел, — отвечала словоохотливая шуба.

Хозяин только сердито сплюнул, а рыжачок добродушно молвил, что ангельский путь не всякому зрим и об этом только настоящий практик может получить понятие.

— Вы об этом говорите так, как будто сами вы имели такую практику, — проговорила шуба.

— Да-с, ее и имел.

— Что же это: вы видели, что ли, ангела, и он вас водил?

— Да-с, я его и видел, и он меня руководствовал.

— Что вы, шутите или смеетесь?

— Боже меня сохрани таким делом шутить!

— Так что же вы такое именно видели; как вам ангел являлся?

— Это, милостивый государь, целая большая история.

— А знаете ли, что тут уснуть решительно невозможно, и вы бы отлично сделали, если бы теперь рассказали нам эту историю.

— Извольте-с.

— Так рассказывайте, пожалуйста: мы вас слушаем. Но только что же вам там на коленях стоять, вы идите сюда к нам, авось как-нибудь потеснимся и усядемся вместе.

— Нет-с, на этом благодарю-с! Зачем вас стеснять, да и к тому же повесть, которую я пред вами поведу, пристойнее на коленях стоя сказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное.

— Ну как хотите, только скорее сказывайте, как вы могли видеть ангела и что он вам сделал?

— Извольте-с, я начинаю.

Глава 2

— Я, как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный, я более ничего, как мужик, и воспитание свое получил по

состоянию, самое деревенское. Я не здешний, а дальний, рукомеслом я каменщик, а рожден в старой русской вере. По сиротству моему я сызмальства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кирилова. Этот Лука Кирилов жив по сии дни: он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено, и он его не расточил, а приумножил и создал себе житницу велику и обильну, но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили? Кажется, всю Россию изошли, и нигде я лучше и степеннее его хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик, и по промыслу и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем, даже скинию свою при себе имели и никогда с нею не расставались: то есть имели при себе свое «Божие благословение». Лука Кирилов страстно любил иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы все самые пречудные, письма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских изографов. Икона

против иконы лучше сияли не столько окладами, как остротою и плавностью предивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел!

И что были за во имя разные и Деисусы, и нерукотворенный Спас с омоченными власы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнее многоличные иконы с деяниями, каковые, например: Индикт, Праздники, Страшный суд, Святцы, Соборы, Отечество, Шестоднев, Целебник, Седмица с предстоящими; Троица с Авраамлиим поклонением у дуба Мамврийского, и, одним словом, всего этого благолепия не изрещи, и таких икон нынче уже нигде не напишут, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове; а о Греции и говорить нечего, так как там эта наука давно затеряна. Любили мы все эту свою святыню страстною любовью, и сообща пред нею святой елей теплили, и на артельный счет лошадь содержали и особую повозку, на которой везли это Божие благословение в двух больших коробьях всюду, куда сами шли. Особенно же были при нас две иконы, одна с греческих переводов старых московских царских мастеров: Пресвятая Владычица в саду молится, а пред ней все древеса кипарисы и олинфы до земли прекло-

няются; а другая ангел-хранитель, Строгановы дела. Изрещи нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях! Глянешь на Владычицу, как пред ее чистотою бездушные древеса преклонились, сердце тает и трепещет; глянешь на ангела… радость! Сей ангел воистину был что-то неописуемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светло-божественный и этакий скоропомощный; взор умилен; ушки с тороцами, в знак повсеместного отовсюду слышания; одеянье горит, рясны златыми преиспещрено; доспех пернат, рамена препоясаны; на персях младенческий лик Эмануилев; в правой руке крест, в левой огнепалящий меч. Дивно! дивно!..

Власы на головке кудреваты и русы, с ушей повились и проведены волосок к волоску иголочкой. Крылья же пространны и белы как снег, а испод лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородке пера усик к усику. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется: молишься «осени», и сейчас весь стишаешь, и в душе станет мир. Вот это была какая икона! И были-с эти два образа для нас все равно что для жидов их святая святых, чудным Веселиила художеством изукрашенная. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой коробье на коне возили, а эти

две даже и на воз не поставляли, носили: Владычицу завсегда при себе Луки Кирилова хозяйка Михайлица, а ангелово изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчевой кошель из темной пестряди и с пуговицей, а на передней стороне алый крест из настоящего штофу, а вверху пришит толстый зеленый шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвесть. И так икона в сем содержании у Луки на груди всюду, куда мы шли, впереди нас предходила, точно сам ангел нам предшествовал. Идем, бывало, с места на место, на новую работу степями, Лука Кирилов впереди всех нарезным сажнем вместо палочки помахивает, за ним на возу Михайлица с богородичною иконой, а за ними мы всей артелью выступаем, а тут в поле травы, цветы по лугам, инде стада пасутся, и свирец на свирели играет… то есть просто сердцу и уму восхищение! Все шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача: работы всегда находились хорошие; промежду собою у нас было согласие; от домашних приходили все вести спокойные; и за все это благословляли мы предходящего нам ангела, и с пречудною его иконою, кажется, труднее бы чем с жизнию своею не могли расстаться.

Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь, по какому ни есть случаю, сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем такое горе нас ожидало, и устроялось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого оного путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам истинный путь, пред которым все, до сего часа исхоженные нами пути были что дебрь темная и бесследная. Но позвольте узнать, занятна ли моя повесть и не напрасно ли я ею ваше внимание утруждаю?

— Нет, как же, как же: сделайте милость, продолжайте! — воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом.

— Извольте-с, послушествую вам и, как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные дивеса от ангела.

Глава 3

Пришли мы для больших работ под большой город, на большой текучей воде, на Днепре-реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом,

крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложистом, и объявился пред нами весь чудный пеозаж: древние храмы, монастыри святые со многими святыми мощами; сады густые и деревa таковые, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть островерхие тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце словно кто щипать станет, так прекрасно! Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество богозданной природы все же ощущаем.

И вот-с это место нам так жестоко полюбилось, что мы в тот же самый в первый день начали тут постройку себе временного жилища, сначала забили высокенькие сваечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды, потом на тех сваях стали собирать горницу, и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо, по отеческому закону: в протяженность одной стены складной иконостас раскинули в три пояса, первый поклонный для больших икон, а выше два тябла для меньшеньких, и так возвели, как должно, лестницу до самого распятия, а ангела на аналогии положили, на котором Лука Кирилов Писание читал. Сам же Лука Кирилов с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе рядом казаромку огородили. На нас глядючи, то

же самое стали себе строить и другие, которые пришли надолго работать, и вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо! деньги за расчет у англичан в конторе верные; здоровье Бог посылал такое, что во все это лето ни одного больного не было, а Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам была льгота: нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа; никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует… Вволю молились: отработаем свои часы и соберемся в горницу, а тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кирилов положит Благословящий начал; а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. И никому наша вера не мешала, а даже как будто еще многим по обычаю приходила и нравилась не только одним простым людям, которые к богочтительству по русскому образцу склонны, но и иноверам. Много из церковных,

которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало, станут у нас под окнами и слушают и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли: всех отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наше пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот, бывало, даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше гласование замечать, и потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудет: «Бо-Господь и явися нам», но только все это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам, новою западною нотою в совершенстве уловить невозможно. Англичане, чести им приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом, привел нас Господень ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пеозаж природы.

И сему-то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко три года. Спорилося нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфеева рога, как вдруг узрели мы,

что есть посреди нас два сосуда избрания Божия к нашему наказанию. Один из таковых был ковач Марой, а другой счетчик Пимен Иванов. Марой был совсем простец, даже неграмотный, что по старообрядческому даже редкость, но он был человек особенный: видом неуклюж, наподобие вельблуда, и не-дрист как кабан — одна пазуха в полтора обхвата, а лоб весь заросший крутою космой и точно мраволев старый, а середь головы на маковке гуменцо простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только все, бывало, одно какое-нибудь слово твердисловит, но был на предбудущее прозорлив, и имел дар вещевать, и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щаповатый: любил держать себя очень форсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи; но зато характер имел легкий и увлекательный. Марой был пожилой человек, за семьдесят лет, а Пимен средовек и изящен: имел волосы курчавые, посредине пробор; брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом, велиар. Вот в сих двух сосудах и забродила вдруг оцетность терпкого

пития, которое надлежало нам испить.

Глава 4

Мост, который мы строили на восьми гранитных быках, уже высоко над водой возрос, и в лето четвертого года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут было вышла маленькая задержка: стали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам к каждой лунке стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинны и отсекать их надо, а каждый тот болт — по-аглицки штанга стальная, и деланы они все в Англии — отлит из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал: но на все на это наш Марой ковач изымел вдруг такое средство, что облепит это место, где надо отсечь, густою колоникой из тележного колеса с песковым вжиром, да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпет, и вертит и крутит; а потом оттуда ее сразу выхватит, да на горячее ковало, и как треснет балдой, так, как восковую свечу, будто ножницами и отстрижет. Англичане все и немцы приходили на это хитрое

Мароево умудренье смотрели, и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут:

— Так, русс! Твой молодец; твой карош физик понимай!

А какой там «физик» мог понимать Марой: он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто как его Господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе стороны худо: одни все причитали к науке, о которой тот наш Марой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами-де видимая Божия благодать творит дивеса, каких мы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первыя. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосластец, а теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали; он у нас ездил в город за провизией, закупал какие надо покупки; мы его посылали на почту паспорты и деньги ко дворам отправлять, и назад новые паспорты он отбирал. Вообще, вот всю этакую справу чинил, и, по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный. Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается и от общения с чиновниками бе-

жит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели, но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство: и торговцы, и господа, до которых ему по артельным делам бывали касательства; все его знали и почитали его за первого у нас человека. Мы этому случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть как был охоч с господами чай пить да велеречить: те его нашим старшиною величают, а он только улыбается да по нутру свою бороду расстилает. Одним словом сказать, пустоша! И занесло этого нашего Пимена к одному немаловажному лицу, у которого была жена из наших мест родом, такая была тоже словесница, и начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас писано, и вдруг, не знаю с чего-то, ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело: к чему она избралась сосудом! Ну любит нас и любит, и всегда, как наш Пимен за чем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад, и разовьет пред ней свои свитки.

Та своим бабьим языком суеречит, что вы-де староверы и такие-то и вот этакие-то, святые, праведные, приснoблаженные, а наш велиар очи разоце раскосит, головушку набок, бороду

маслит, а голосом сластит:

— Как же, государыня. Мы-де отеческий закон блюдем, мы и такие-то, мы и вот этакие-то правила содержим и друг друга за чистотою обычая смотрим, — и, словом, говорит ей все такое, что совсем к разговору с мирскою женщиной не принадлежащее. А меж тем та, представьте, интересуется.

— Я слыхала, — говорит, — что к вам Божие благословение видимо, — говорит, — проявляется.

А тот сейчас и подхватывает.

— Как же, — отвечает, — матушка, проявляется; весьма зримо проявляется.

— Видимо?

— Видимо, — говорит, — государыня, видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь как паутину щипал.

Барынька так и всплеснула ручонками.

— Ах, — говорит, — как интересно! ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них! Знаете, — говорит, — прикажите вы, пожалуйста, своим староверам, чтоб они помолились, чтобы мне Бог дочь дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется одну дочь. Можно это?

— Можно-с, — отвечал Пимен, — отчего же-с, очень можно! Только, — говорит, — в таковых

случаях надо всегда, чтоб от вас жертвенный елей теплился.

Та с великим своим удовольствием дает ему на масло десять рублей, а он деньги в карман и говорит:

— Хорошо-с, будьте благонадежны, я повелю.

Нам об этом Пимен, разумеется, ничего не сказывает, а у барыни родится дочь.

Фу! та так и зашумела, еще после родов обмогнуться не успела, как зовет нашего пустошу и чествует его, словно бы он сам был тот чудотворец, а он и это приемлет. Вот ведь до чего осуетится человек, и омрачнеет ум его, и оледенеют чувства. Через год у госпожи опять до нашего Бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял, — и опять все ей по ее желанию делается, а Пимену все на свещи да на елей жертвы, а он эти жертвы куда надо, на наш бок не переплавляя, пристраивает. И дивеса действительно деялись непонятные: был у этой госпожи старший сын в училище, и был он первый потаскун, и ленивый нетяг, и ничему не учился, но как пришло дело к экзамену, она шлет за Пименом и дает ему заказ помолиться, чтоб ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит:

— Дело трудное; надо будет мне всех своих на

всю ночь на молитву согнать и до утра со свещами вопиять.

А та ни за что не стоит; тридцать рублей ему вручила, только молитесь! И что же вы думаете? Выходит такое счастие этому ее блудяге-сыну, что переводят его в высший класс. Барыня мало от радости с ума не сошла, что за ласки такие наш Бог ей делает! Заказ за заказом стала давать Пимену, и он ей уже выхлопотал у Бога и здоровья, и наследство, и мужу чин большой, и орденов столько, что все на груди не вмещались, так один он в кармане, говорят, носил. Диво, да и только, а мы все ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и перемениться одним дивесам на другие.

Глава 5

Замутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам наверное, деньги ли они неправильные имели или какой беспошлинный торг производили, но только надо было это начальству раскрыть, а тут награда предвиделась велемощная. Вот барынька и шлет за нашим Пименом и говорит:

— Пимен Иванович, вот вам двадцать рублей

на свечи и на масло; велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали.

Тому какое горе! Он уже разохотился эту елейную подать-то собирать и отвечает:

— Хорошо, государыня, я повелю.

— Да чтоб они хорошенько, — говорит, — молились, потому мне это очень нужно!

— Смеют ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю, — заспокоил ее Пимен, — я их голодом запощу, пока не вымолят, — взял деньги да и был таков, а барину в ту же ночь желанное его супругою назначение сделано.

Ну уже тут ей так от этой благодати в лоб вступило, что она недовольна сделалась нашей молитвой, а возжелала непременно сама нашей святыне пославословить.

Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наши ее до своей святыни не допустят; но барыня не отстает.

— Я, — говорит, — как вы хотите, сегодня же пред вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду.

Пимен ее уговаривал, что лучше, говорит, мы сами помолитвим; у нас есть такой ангел-хра-

нитель, вы ему на елей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и доверим сохранять.

— Ах, прекрасно, — отвечает, — прекрасно; я очень рада, что есть такой ангел; вот ему на масло, и зажгите пред ним непременно три лампады, а я приеду посмотреть.

Пимену плохо пристигло, он и пришел, да и ну нам виноватиться, что так-де и так, я, говорит, ей, еллинке гадостной, не перечил, когда она желала, потому как муж ее нам человек нужный, и насказал нам с три короба, а всего, что он делал, все-таки не высловил. Ну, сколь нам было это ни неприятно, но делать было нечего; мы поскорее свои иконы со стен поснимали да попрятали в коробьи, а из коробей кое-какие заменные заставки, что содержали страха ради чиновничьего нашествия, в тяблы поставили и ждем гостейку. Она и приехала; такая-то расфуфыренная, что страх; широкими да долгими своими ометами так и метет и все на те наши заменные образа в лорнетку смотрит и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный ангел?» Мы уже не знаем, как ее и отбить от такого разговора.

— У нас, — говорим, — такового ангела нет.

И как она ни добивалась и Пимену выговаривала, но мы ей ангела не показали и скорее ее

чаем повели поить и какими имели закусками угощать.

Страшно она нам не понравилась, и бог знает почему: вид у нее был какой-то оттолкновенный, даром что она будто красивою почиталась. Высокая, знаете, этакая цыбастая, тоненькая, как сойга, и бровеносная.

— Вам этакая красота не нравится? — перебила рассказчика медвежья шуба.

— Помилуйте, да что же в змиевидности может нравиться? — отвечал он.

— У вас, что же, почитается красотою, чтобы женщина на кочку была похожа?

— Кочку! — повторил, улыбнувшись и не обижаясь, рассказчик. — Для чего же вы так полагаете? У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтоб она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется. Змиевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с па-

зушкой, потому оно хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается, лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе хоть потельнее, по-мясистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. То же и насчет носика: у наших носики не горбылем, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнее, дужкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого, к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Однако позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили. Я лучше продолжать буду.

Наш Пимен, как суетившийся человек, видит, что мы, проводив гостью, стали на нее критику произносить, и говорит:

— Чего вы? она добрая.

А мы отвечаем: какая, мол, она добрая, когда у нее добра в обличье нет, но бог там с нею: какая

она есть, такая и будь, мы уже рады были, что ее выпроводили, и взялись скорей ладаном курить, чтоб ее и духом у нас не пахло.

После сего мы вымели от гостюшкиных следков горенку; заменные образа опять на их место за перегородку в коробья уклали, а оттуда достали свои настоящие иконы; разместили их по тяблам, как было по-старому, покропили их святою водой; положили начал и пошли каждый куда ему следовало на ночной покой, но только бог весть отчего и зачем всем что-то в ту ночь не спалось и было как будто жутко и неспокойно.

Глава 6

Утром пошли мы все на работу и делаем свое дело, а Луки Кирилова нет. Это, судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнее мне показалось, что приходит он часу в восьмом весь бледный и расстроенный.

Зная, что он человек с обладанием и пустым скорбям не любил поддаваться, я и обратил на это внимание и спрашиваю: «Что такое с тобою, Лука Кирилов?» А он говорит: «После скажу».

Но я тогда, по молодости моей, страсть как был любопытен, и к тому же у меня вдруг откуда-то

взялось предчувствие, что это что-нибудь недоброе по вере; а я веру чтил и неверием никогда не был.

А потому не мог я этого долго терпеть и под каким ни есть предлогом покинул работу и побежал домой; думаю: пока никого дома нет, распытаю я что-нибудь у Михайлицы. Хоша ей Лука Кирилов и не открывался, но она его, при всей своей простоте, все-таки как-то проницала, а таиться от меня она не станет, потому что я был с детства сиротою и у них вместо сына возрос, и она мне была все равно как второродительница.

Вот-с ударяюсь к ней, а она, гляжу, сидит на крылечке в старом шушуне наопашку, а сама вся как больная, печальная и этакая зеленоватая.

— Что вы, — говорю, — второродительница, на таком месте усевшись?

А она отвечает:

— А где же мне, Марочка, притулиться?

Меня зовут Марк Александров; но она, по своим материнским чувствам ко мне, Марочкой меня звала.

«Что это, думаю себе, она за пустяки такие мне говорит, что ей негде притулиться?»

— А зачем же, — говорю, — вы в чуланчике у себя не ляжете?

— Нельзя, — говорит, — Марочка, там в большой горнице дед Марой молится.

«Ага! вот, — думаю, — так и есть, что что-нибудь по вере сталось», а тетка Михайлица и начинает:

— Ты ведь, Марочка, небось ничего, дитя, не знаешь, что у нас тут в ночи сталось?

— Нет, мол, второродительница, не знаю.

— Ах, страсти!

— Расскажите же скорее, второродительница.

— Ах, не знаю как, можно ли это рассказывать?

— Отчего же, — говорю, — не скажете: разве я вам какой чужой, а не вместо сына?

— Знаю, родной мой, — отвечает, — что ты мне вместо сына, ну только я на себя не надеюсь, чтоб я могла тебе это как надо высловить, потому что глупа я и бесталанна, а вот погоди — дядя после шабаша придет, он тебе небось все расскажет.

Но я никак не мог, чтобы дождаться, и пристал к ней: скажи да скажи мне сейчас, в чем все происшествие.

А она, гляжу, все моргает, моргает глазами, и все у нее глаза делаются полны слез, и она их вдруг грудным платком обмахнула и тихо мне шепчет:

— У нас, дитя, сею ночью ангел-хранитель сошел.

Меня от всего этого открытия в трепет бро-

сило.

— Говорите, — прошу, — скорее: как это диво сталося и кто были оного дивозрители?

А она отвечает:

— Дивеса, дитя, были непостижные, а дивозрителей никого, кроме меня, не было, потому что случилось все это в самый глухой полунощный час, и одна я не спала.

И рассказала она мне, милостивые государи, такую повесть:

— Уснув, — говорит, — помолившись, не помню я, сколько спала, но только вдруг вижу во сне пожар, большой пожар: будто у нас все погорело, и река золу несет да в завертах около быков крутит и вглубь глотает, сосет. — А самой насчет себя Михайлице кажется, будто она, выскочив в одной ветхой срачице, вся в дырьях, и стоит у самой воды, а против нее, на том берегу стремит высокий красный столб, а на том столбе небольшой белый петух и все крыльями машет. Михайлица будто и говорит: «Кто ты такой?» — потому что чувствиями ей далося знать, что эта птица что-то предвозвещает. А петелок этот вдруг будто человеческим голосом возгласил: «Аминь», и сник, и его уже нет, а стала вокруг Михайлицы тишь и такое в воздухе тощение,

что Михайлице страшно сделалось и продохнуть нечем, и она проснулась и лежит, а сама слышит, что под дверями у них барашек заблеял. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашек, с которого еще родимое руно не тронуто. Прозвенел он чистым серебряным голосочком «бя-я-я», и вдруг уже чует Михайлица, что он по молебной горнице ходит, копытками-то этак по половицам чок-чок-чок частенько перебирает и все будто кого-то ищет. Михайлица и рассуждает: «Господи Исусе Христе! что это такое: овец у нас по всей нашей пришлой слободе нет и ягниться нечему, а откуда же это молозиво к нам забежало?» И в эту пору стренулася: «Да и как, мол, он в избу попал? Ведь это, значит, мы во вчерашней суете забыли со двора двери запереть: слава Богу, — думает, — что это еще агнец вскочил, а не пес со двора ко святыне забрался». Да и ну с этим Луку будить: «Кирилыч, — кличет, — Кирилыч! Прокинься, голубчик, скорее, у нас дверь отворена, и какое-с молозиво в избу вскочило», а Лука Кирилов, как на сей грех, мертвым сном объят спит. Как его Михайлица ни будит, никак не добудится: мычит он, а ничего не высловит. Что Михайлица еще жестче трясет и двизает, то он только громче мычит. Михайлица его и стала просить, что «ты,

мол, имя-то Исусово вспомяни», но только что она сама это имя выговорила, как в горнице кто-то завизжит, а Лука в ту же минуту сорвался с кроватки и бросился было вперед, но его вдруг посреди горницы как будто медяна стена отшибла. «Дуй, баба, огонь! Дуй скорее огонь!» — кричит он Михайлице, а сам ни с места. Та запалила свечечку и выбегает, а он бледнолиц, как осужденный насмертник, и дрожит так, что не только гаплик на шее ходит, а даже остегны на ногах трясутся. Баба опять до него: «Кормилец, — говорит, — что это с тобой?» А он ей только показывает перстом, что там, где ангел был, пустое место, а сам ангел у Луки вскрай ног на полу лежит.

Лука Кирилов сейчас к деду Марою и говорит: так и так, вот что моя баба видела и что у нас сделалось, поди посмотри. Марой пришел и стал на коленях перед лежащим на полу ангелом и долго стоял над ним недвижимо, как измрамран нагробник, а потом, подняв руку, почесал остриженное гуменцо на маковке и тихо молвил:

— Принесите сюда двенадцать чистых плинф нового обожженного кирпича.

Лука Кирилов сейчас это принес, а Марой осмотрел плинфы и видит, что все они чисты, прямо из огненного горна, и велел Луке класть их

одна на другую, и возвели они таким способом столб, накрыли его чистою ширинкой, вознесли на него икону, и потом Марой, положив земной поклон, возгласил:

— Ангел Господень, да пролиются стопы твоя аможе хощеши!

И только что он эти слова проговорил, как вдруг в двери стук-стук-стук, и незнакомый голос зовет:

— Эй вы, раскольники: кто у вас тут наибольший?

Лука Кирилов отворяет дверь и видит, стоит солдат с медалью.

Лука спрашивает: какого ему надо наибольшего?

А он отвечает:

— Того самого, — говорит, — что к барыне ходил, которого Пименом звать.

Ну, Лука сейчас бабу за Пименом послал, а сам спрашивает: что такое за дело? на что его в ночи по Пимена послали? Солдат говорит:

— Доподлинно не знаю, а слышно, что-то там с барином жиды неловкое дело устроили.

А что такое именно, рассказать не может.

— Слыхал-де, — говорит, — как будто барин их запечатал, а они его запечатлели.

Но как это они друг друга запечатали, ничего вразумительно рассказать не может.

Тем временем подошел и Пимен, и сам, как жид, то туда, то сюда вертит глазами: видно, сам не знает, что сказать, а Лука говорит:

— Что же ты, шпилман ты этакий, стал, ступай теперь производи свое шпилманство в окончание!

Они вдвоем с солдатом сели в лодку и поехали. Через час ворочается наш Пимен и ботвит будто бодр, а видно, что ему жестоце не по себе.

Лука его и допрашивает:

— Говори, — говорит, — говори лучше, ветрогон, все по откровенности, что ты там такое наделал?

А он говорит:

— Ничего.

Ну так и осталось будто ничего, а совсем было не ничего.

Глава 7

С барином, за которого наш Пимен молитвовал, преудивительная штука совершилась. Он, как я вам докладывал, поехал в жидовский город и приехал туда поздно ночью, когда никто о нем не

думал, да прямо все до одной лавки и опечатал, и дал знать полиции, что завтра утром с ревизией пойдет. Жиды это, разумеется, сейчас узнали и сейчас же ночью к нему, просить его, чтобы на сделку, знать, того незаконного товара у них пропасть было. Пришли они и суют этому барину сразу десять тысяч рублей. Он говорит: «Я не могу, я большой чиновник, доверием облечен и взяток не беру»; а жиды промеж себя гыр-гыр-гыр, да ему пятнадцать. Он опять: «Не могу»; они двадцать. Он: «Что же вы, — говорит, — не понимаете, что ли, что *я не могу*, я уже полиции дал знать, чтобы завтра вместе идти ревизовать». А они опять гыр-гыр, да и говорят:

— Ази-язи, ваше сиятельство, то зи ничего зи, что вы дали знать в полицию, мы вам вот даем зи двадцать пять тысяч, а вы зи только дайте нам до утра вашу печатку и лозитесь себе спокойно поцивать: нам ничего больше не нужно.

Барин подумал, подумал: хотя он и большим лицом себя почитал, а, видно, и у больших лиц сердце не камень, взял двадцать пять тысяч, а им дал свою печать, которою печатовал, и сам лег спать. Жидки, разумеется, ночью все, что надо было, из своих склепов повытаскали и опять их тою же самою печатью запечатали, и барин еще

спит, а они уже у него в передней горгочат. Ну, он их впустил; они благодарят и говорят:

— А зи теперь зи, васе высокоблагородие, пожалуйте с ревизией.

Ну, а он этого как будто не слышит, а говорит:

— Давайте же скорее мою печать.

А жиды говорят:

— А давайте зи наши деньги.

Барин: «Что? как?»

А те на своем стали:

— Мы зи, — говорят, — деньги под залог оставляли.

Тот опять:

— Как под залог?

— А как зи, — говорят, — мы под залог.

— Врете, — говорит, — вы подлецы этакие, христопродавцы, вы мне совсем те деньги отдали.

А они друг друга поталкивают и смеются.

— Гершту, — говорят, — слышь, мы будто совсем дали… Гм, гм! Ай-вай: рази мы мозем быть такие глупые и совсем как мужики без политику, чтобы такому большому лицу хабара давать? («Хабар» по-ихнему взятка.)

Ну-с, чего лучше этой истории можете себе вообразить? Господину бы этому, разумеется, отдать деньги, да и дело с концом, а он еще

покапризничал, потому что жаль расстаться. Наступило утро; вся торговля в городе заперта; люди ходят, дивуются; полиция требует печати, а жидки орут: «Ай-вай, ну что это такое за государственное правление! Это высокое начальство нас разорить желают». Гвалт ужасный! Барин запершись сидит и до обеда чуть ума не решился, а к вечеру зовет тех хитрых жидков и говорит: «Ну берите, проклятые, свои деньги, только отдайте мне мою печать!» А те уже не хотят, говорят: «А зи как же это можно! Мы весь город целый день не торговали: теперь нам с вашего благородия надо пятьдесят тысяч». Видите, что пошло! А жидки грозят: «Если нынче, — говорят, — пятьдесят тысяч не дадите, завтра еще двадцатью пятью тысячами больше будет стоить!» Барин всю ночь не спал, а к утру опять шлет за жидами, и все им деньги, которые с них взял, назад им отдал, и еще на двадцать пять тысяч вексель написал, и прошел кое-как с ревизией; ничего, разумеется, не нашел, да поскорее назад, да к жене, и пред нею и рвет и мечет: где двадцать пять тысяч взять, чтоб у жидов вексель выкупить? «Нужно, — говорит, — твою приданую деревнишку продать», а та говорит: «Ни за что на свете: я к ней привязана». Он говорит: «Это ты виновата, ты мне эту

посылку с какими-то раскольниками вымолила и уверяла, что их ангел мне поможет, а он между тем вот как мне славно помог».

А она отвечает: «Что ты, — говорит, — сам виноват, зачем был глуп и тех жидов не арестовал да не объявил, что они у тебя печать украли, а между прочим, — говорит, — это ничего: ты только покоряйся мне, а уж я дело поправлю, и за твою нерассудительность другие заплатят». И вдруг, на кого так случилось, крикнула-гаркнула: «Сейчас, живо, — говорит, — съездить за Днепр и привезть мне раскольницкого старосту». Ну, посол, разумеется, пошел и привез нашего Пимена, а барыня ему прямо без обинячки: «Послушайте, — говорит, — я знаю, что вы умный человек и поймете, что мне нужно: с моим мужем случилась маленькая неприятность, его одни мерзавцы ограбили… Жиды… понимаете, и нам теперь непременно на сих же днях надо иметь двадцать пять тысяч, и мне их так скоро достать ровно бы негде; но я пригласила вас и спокойна, потому что староверы люди умные и богатые и вам, как я сама уверилась, во всем сам Бог помогает, то вы мне, пожалуйста, дайте двадцать пять тысяч, а я, с своей стороны, за то всем дамам буду говорить о ваших чудотворных

иконах, и вы увидите, сколько вы станете получать на воск и на масло». Без труда, чай, можете себе, милостивые государи, представить, что наш шпилман при этаком обороте восчувствовал? Не знаю уж какими словами, но только, верю я ему, он начал горячо ротитися и клятися, заверяя наше против такой суммы убожество, но она, эта обновленная Иродиада, и знать того не захотела. «Нет, да мне, — говорит, — хорошо известно, что раскольники богачи, и для вас двадцать пять тысяч вздор. Моему отцу, когда он в Москве служил, староверы не один раз и не такие одолжения делали; а двадцать пять тысяч — это пустяки». Пимен, разумеется, и тут попытался ей разъяснить, что то, мол, московские староверы, люди капитальные, а мы простые нивари чернорабочие, где же нам против москвичей отмогуществовать. Но она имела в себе, верно, хорошее московское научение и вдруг его осаждила: «Что вы, что вы, — говорит, — мне это рассказываете! Разве я не знаю, сколько у вас чудотворных икон, и вы же мне сами ведь говорили, сколько вам со всей России на воск и на масло присылают? Нет, я и слышать не хочу; чтобы сейчас мне были деньги, а то мой муж нынче же к губернатору поедет и все расскажет, как вы молитесь и со-

блазняете, и вам скверно будет». Бедный Пимен как с крыльца не свалился; пришел домой, как я вам докладывал, и только одно слово твердит: «ничего», а сам весь красный, точно из бани, и все по углам ходил нос сморкал. Ну, Лука Кирилов его, наконец, малое дело немножечко допросился, только, разумеется, не все он ему открыл, а самую лишь ничтожность сущности обнаружил, как-то говорит: «С меня эта барыня требует, чтоб я у вас ей пять тысяч взаймы достал». Ну, Лука, разумеется, и за это на него расходился: «Ах ты, шпилман этакий, — говорит, — шпилман; нужно было тебе с ними знаться да еще сюда их водить! Что мы, богачи, что ли, какие, чтоб у нас такие деньги могли в сборе быть? Да и за что мы должны их дать? Да и где они?.. Как это заделывал, так и разделывайся, а нам пяти тысяч взять негде». С этим Лука Кирилов пошел в свою сторону на работу. И пришел, как я вам доложил, бледный, вроде осужденного насмертника, потому что он, ночным событием искушенный, предвкушал, что это повлияет на нас неприятностью; а Пимен себе пошел в другую сторону. Все видели, как он из камышей в лодочке выплыл и на ту сторону в город переправился, и теперь, когда Михайлица все это мне по порядку рассказала, как он

о пяти тысячах кучился, я и домекнул так, что, верно, он ударился ту барыню умилостивлять. В таком размышлении я стою возле Михайлицы да думаю, не может ли для нас из этого чего вредного воспоследовать и не надо ли против сего могущего произойти зла какие-либо меры принять, как вдруг вижу, что все это предприятие уже поздно, потому что к берегу привалила большая ладья, и я за самыми плечами у себя услыхал шум многих голосов и, обернувшись, увидал несколько человек разных чиновников, примундиренных всяким подобием, и с ними немалое число жандармов и солдат. И не успели мы с Михайлицей, милостивые государи, глазом моргнуть, как все они мимо нас прямо в Лукину горницу повалили, а у двери двух часовых поставили с обнагощенными саблями. Михайлица стала на тех часовых метаться, не столько для того, чтоб ее пропустили, а чтобы постраждовать; они ее, разумеется, стали отталкивать, а она еще ярее кидается, и дошло у них сражение до того, что один жандарм ее, наконец, больно зашиб, так что она с крыльца кубарем скатилась. А я ударился было за Лукою на мост, но гляжу, сам Лука уже навстречу мне бежит, а за ним вся наша артель, все вскрамолились, и кто с чем на работе

был, кто с ломом, кто с мотыгою, все бегут свою святыню оберегать… Кои не все в лодку попали и не на чем им до бережка достигнуть, во всем платье, как стояли на работе, прямо с мосту в воду побросались и друг за дружкой в холодной волне плывут. Даже не поверите, ужасно стало, чем это кончится. Стражбы той приехало двадцать человек, и хотя все они в разных храбрых уборах, но наших более полусот, и все выспреннею горячею верой одушевленные, и все они плывут по воде как тюленьки, и хоть их колотушкою по башкам бей, а они на берег к своей святыне достигают, и вдруг, как были все мокренькие, и пошли вперед, что твое камение живо и несокрушимое.

Глава 8

Теперь же вы извольте вспомнить, что, когда мы с Михайлицей на крыльце разговаривали, в горнице находился на молитве дед Марой, и господа чиновники со сбирою своей там его застали. Он после и рассказывал, что как они вошли, сейчас дверь на захлопку и прямо кинулись к образам. Одни лампады гасят, а другие со стен рвут иконы да на полу накладывают, а на него кричат: «Ты поп?» Он говорит: «Нет, не поп». Они:

«Кто же у вас поп?»

А он отвечает: «У нас нет попа». А они: «Как нет попа! Как ты смеешь это говорить, что нет попа!» Тут Марой стал им было объяснять, что мы попа не имеем, да как он говорил-то скверно, шавкавил, так они, не разобравши, в чем дело, да «связать, — говорят, — его, под арест!». Марой дался себя связать: хоша то ему ничего не стоило, что десятский солдат ему обрывочком руки опутал, но он стоит и, все это за веру приемля, смотрит, что далее будет. А чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконы печатать: один печати накладывает, другие в описи пишут, а третьи буравами дыры сверлят, да на железный прут иконы как котелки нанизывают. Марой на все это святотатственное бесчиние смотрит и плещами не тряхнет, потому что рассуждает, что так, вероятно, это Богу изволися попустить такую дикость. Но в это-то время слышит дядя Марой, один жандарм вскрикнул, и за ним другой: дверь разлетелася, и тюленьки-то наши как вылезли из воды мокрые, так и прут в горницу. Да по счастию их, впереди их очутился Лука Кирилов. Он сразу крикнул:

— Стой, Христов народушко, не дерзничайте! — а сам к чиновникам и, указывая на эти пронзен-

ные прутом иконы, молвит: — Для чего же это вы, господа начальство, так святыню повреждаете? Если вы право имеете ее у нас отобрать, то мы власти не сопротивники — отбирайте; но для чего же редкое отеческое художество повреждать?

А этой Пименовой знакомой барыньки муж, он тут главнее всех был, как крикнет на дядю Луку:

— Цыть, мерзавец! еще рассуждать смеешь!

А Лука хоть и гордый был мужик, но смирил себя и тихо отвечает:

— Позвольте, ваше высокоблагородие, мы этот порядок знаем, у нас здесь в горнице есть полтораста икон, извольте вам по три рубля от иконы, и берите их, только предковского художества не повреждайте.

Барин оком сверкнул и громко крикнул:

— Прочь! — а шепотом шепнул: — Давай по сту рублей со штуки, иначе все выпеку.

Лука этакой силы денег дать и сообразить не мог и говорит:

— Бог с вами, если так: губите все как хотите, а у нас таких денег нет.

А барин как завопиет излиха:

— Ах ты, козел бородатый, да как ты смел при нас о деньгах говорить? — и тут вдруг заметался, и все, что видел из божественных изображений, в

скибы собрал, и на концы прутьев гайки наверну-ли и припечатывали, чтобы, значит, ни снять, ни обменить было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсем выходить: сол-даты взяли набранные на болты скибы икон на плечи и понесли к лодкам, а Михайлица, которая тоже за народом в горницу пробралась, тем часом тихонько скрала с аналогия ангельскую икону и тащит ее под платком в чулан, да как руки-то у нее дрожат, она ее и выронила. Батюшки мои, как барин расходился, и звал нас и ворами-то и мошенниками, и говорит:

— Ага! вы, мошенники, хотели ее скрасть, чтоб она на болт не попала; ну так она же на него не попадет, а я ее вот так! — да, накоптивши сургуч-ную палку, прямо как ткнет кипящею смолой с огнем в самый ангельский лик!

Милостивые государи, вы на меня не посетуй-те, что я и пробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смоляную струю на лик ангела и еще, жестокий человек, поднял икону, чтобы похвастать, как нашел досадить нам. Помню только, что пре-светлый лик этот божественный был красен и запечатлен, а из-под печати олифа, которая под огневою смолой самую малость сверху растаяла,

струила вниз двумя потеками, как кровь, в слезе растворенная…

Все мы ахнули и, закрыв руками глаза свои, пали ниц и застонали, как на пытке. И так мы развопились, что и темная ночь застала нас воющих и голосящих по своем запечатленном ангеле, и тут-то, в сей тьме и тишине, на разрушенной отчей святыне, пришла нам мысль: уследить, куда нашего хранителя денут, и поклялись мы скрасть его, хотя бы с опасностью жизни, и распечатлеть, а к исполнению сей решимости избрали меня да молодого паренька Левонтия. Этот Левонтий годами был еще сущий отрок, не более как семнадцати лет, но великотелесен, добр сердцем, богочтитель с детства своего и послушлив и благонравен, что твой ретив бел конь среброузден.

Лучшего сомудренника и содеятеля и желать нельзя было на такое опасное дело, как проследить и исхитить запечатленного ангела, ослепленное видение которого нам до немощи было непереносно.

Глава 9

Не стану утруждать вас подробностями, как мы с моим сомудренником и содействителем,

сквозь иглины уши лазучи, во все вникали, а буду прямо рассказывать о горести, которая овладела нами, когда мы узнали, что пробуравленные чиновниками иконы наши, как они были скибами на болты нанизаны, так их в консисторию в подвал и свалили, это уже дело пропащее и как в гроб погребенное, о них и думать было нечего. Приятно, однако, было то, что говорили, будто сам архиерей такой дикости сообразования не одобрил, а, напротив, сказал: «К чему это?» и даже за старое художество заступился и сказал: «Это древнее, это надо беречь!» Но вот что худо было, что не прошла беда от непочтения, как новая, еще большая, от сего почитателя возросла: сам этот архиерей, надо полагать, с нехудым, а именно с добрым вниманием взял нашего запечатленного ангела и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит: «Смятенный вид! Как ужасно его изнеявствили! Не кладите, — говорит, — сей иконы в подвал, а поставьте ее у меня в алтаре на окне за жертвенником». Так слуги архиереевы по его приказанию и исполнили, и я должен вам сказать, что такое внимание со стороны церковного иерарха нам было, с одной стороны, очень приятно, но с другой — мы видели, что всякое намерение наше выкрасть своего

ангела стало невозможно. Оставалось другое средство: подкупить слуг архиереевых и с их помощью подменить икону иным в соответствие сей хитро написанным подобием. В этом тоже наши староверы не раз успевали, но для сего прежде всего нужен искусный и опытной руки изограф, который бы мог сделать на подмен икону в точности, а такого изографа мы в тех местах не предвидели. И напала на нас на всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас как водный труд по закожью: в горнице, где одни славословия слышались, стали раздаваться одни вопления; и в недолгом же времени все мы развоплились даже до немощи и земли под собой от полных слезами очей не видим, а чрез то или не через это, только пошла у нас болезнь глаз, и стала она весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сделалось: нет меры что больных! Во всем рабочем народе пошел толк, что все это неспроста, а за староверского ангела: «его, — бают, — запечатлением ослепили, а теперь все мы слепнем», и таким толкованием не мы одни, а все и церковные люди вскрамолились, и сколько хозяева-англичане ни привозили докторов, никто к ним не идет и лекарства не берет, а вопят одно:

— Принесите нам сюда запечатленного анге-

ла, мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит.

Англичанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит:

— Так и так, ваше преосвященство, вера дело великое, и кто как верит, тому так по вере дается: отпустите к нам на тот берег запечатленного ангела.

Но владыка сего не послушал и сказал:

— Сему не должно потворствовать.

Тогда нам это слово казалось быть жестокое, и мы архипастыря много суесловно осуждали, но впоследствии открылось нам, что все это велося не жестокостью, а Божиим смотрением.

Между тем знамения как бы не прекращались, и перст наказующий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пимена, который после этой напасти от нас сбежал и вцерковился. Встречаю я его там один раз в городе, он мне и кланяется, ну и я ему поклонился. А он и говорит:

— Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разнобытие по вере.

А я отвечаю:

— Кому в какой вере быть, — это дело Божие, а что ты бедного за сапоги продал, это, разумеется,

нехорошо, и прости меня, а я тебя в том, как Аммос-пророк велит, братски обличаю.

Он при имени пророка так и задрожал.

— Не говори, — говорит, — мне про пророков: я сам помню Писание и чувствую, что «пророки мучат живущих на земле», и даже в том знамение имею, — и жалуется мне, что на днях он выкупался в реке и у него после того по всему телу пегота пошла, и расстегнул грудь да показывает, а на нем, и точно, пежинные пятна, как на пегом коне, с груди вверх на шею лезут.

Грешный человек, было у меня на уме сказать ему, что «Бог шельму метит», но только сдавил я это слово в устах и молвил:

— Что ж, молись, — говорю, — и радуйся, что еще на сей земле так отитлован, авось на другом предстоятии чист будешь.

Он мне стал плакаться, сколь этим несчастен и чего лишается, если пегота на лицо пойдет, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его к церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказал городскому голове, чтобы когда будут через город важные особы проезжать, то чтобы Пимена непременно вперед всех с серебряным блюдом выставлять. Ну, а пегого уж куда же выставить? Но, однако, что мне было

эту его велиарскую суету и пустошество слушать, я завернулся, да и ушел.

И с тем мы с ним расстались. На нем его титла все яснее обозначались, а у нас не умолкали другие знамения, в заключение коих, по осени, только что стал лед, как вдруг сделалась оттепель, весь этот лед разметало и пошло наши постройки коверкать, и до того шли вреда за вредами, что вдруг один гранитный бык подмыло, и пучина поглотила все возведение многих лет, стоившее многих тысяч…

Поразило это самих наших хозяев англичан, и было тут к их старшему Якову Яковлевичу от кого-то слово, что дабы ото всего этого избавиться, надо нас, староверов, прогнать, но как он был человек благой души, то он этого слова не послушал, а, напротив, призвал меня и Луку Кирилова и говорит:

— Дайте мне, ребята, сами совет: не могу ли я чем-нибудь вам помочь и вас утешить?

Но мы отвечали, что, доколе священный для нас лик ангела, везде нам предходившего, находится в огнесмольном запечатлении, мы ничем не можем утешиться и истаиваем от жалости.

— Что же, — говорит, — вы думаете делать?

— Думаем, мол, его со временем подменить и

распечатлеть его чистый лик, безбожною чиновническою рукой опаленный.

— Да чем, — говорит, — он вам так дорог, и неужели другого такого же нельзя достать?

— Дорог он, — отвечаем, — нам потому, что он нас хранил, а другого достать нельзя, потому что он писан в твердые времена благочестивою рукой и освящен древним иереем по полному требнику Петра Могилы, а ныне у нас ни иереев, ни того требника нет.

— А как, — говорит, — вы его распечатлеете, когда у него все лицо сургучом выжжено?

— Ну, уж на этот счет, — отвечаем, — ваша милость, не беспокойтесь: нам только бы его в свои руки достичь, а то он, наш хранитель, за себя постоит: он не торговых мастеров, а настоящего Строганова дела, а что строгановская, что костромская олифа так варены, что и огневого клейма не боятся и до нежных вап смолы не допустят.

— Вы в этом уверены?

— Уверены-с: эта олифа крепка, как сама старая русская вера.

Он тут ругнул кого знал, что этакого художества беречь не умеют, и руки нам подал, и еще раз сказал:

— Ну так не горюйте же: я вам помощник, и мы вашего ангела достанем. Надолго ли он вам нужен?

— Нет, — говорим, — на небольшое время.

— Ну так я скажу, что хочу на вашего запечатленного ангела богатую золотую ризу сделать, и, как мне его дадут, мы его тут и подменим. Я завтра же за это возьмусь.

Мы благодарим, но говорим:

— Только ни завтра, ни послезавтра за это, сударь, не беритесь.

Он говорит:

— Это почему так?

А мы отвечаем:

— Потому, мол, сударь, что нам прежде всего надо иметь на подмен икону такую, чтоб она как две капли воды на настоящую походила, а таковых мастеров здесь нет, да и нигде вблизи не отыщется.

— Пустяки, — говорит, — я сам из города художника привезу; он не только копии, а и портреты великолепно пишет.

— Нет-с, — отвечаем, — вы этого не извольте делать, потому что, во-первых, через этого светского художника может ненадлежащая молва пойти, а во-вторых, живописец такого дела исполнить

не сможет.

Англичанин не верит, а я выступил и разъясняю ему всю разницу: что ноне, мол, у светских художников не то искусство: у них краски масляные, а там вапы на яйце растворенные и нежные, в живописи письмо мазаное, чтобы только на даль натурально показывало, а тут письмо плавкое и на самую близь явственно; да и светскому художнику, говорю, и в переводе самого рисунка не потрафить, потому что они изучены представлять то, что в теле земного, животолюбивого человека содержится, а в священной русской иконописи изображается тип лица небожительный, насчет коего материальный человек даже истового воображения иметь не может.

Он этим заинтересовался и спрашивает:

— А где же, — говорит, — есть такие мастера, что еще этот особенный тип понимают?

— Очень, — докладываю, — они нынче редки (да и в то время они совсем жили под строгим сокрытием). Есть, — говорю, — в слободе Мстере один мастер Хохлов, да уже он человек очень древних лет, его в дальний путь везти нельзя; а в Палихове есть два человека, так те тоже вряд ли поедут, да и к тому же, — говорю, — нам ни мстерские, ни палиховские мастера и не годятся.

— Это опять почему? — пытает.

— А потому, — ответствую, — что у них пошиб не тот: у мстерских рисуночек головастенек и письмо мутно, а у палиховских тон бирюзист, все голубинкой отдает.

— Так как же, — говорит, — быть?

— Сам, — говорю, — не знаю. Наслышан я, что есть еще в Москве хороший мастер Силачев: и он по всей России между нашими именит, но он больше к новгородским и к царским московским письмам потрафляет, а наша икона строгановского рисунка, самых светлых и рясных вал, так нам потрафить может один мастер Севастьян с понизовья, но он страстный странствователь: по всей России ходит, староверам починку работает, и где его искать — неизвестно.

Англичанин с удовольствием все эти мои доклады выслушал и улыбнулся, а потом отвечает:

— Довольно дивные, — говорит, — вы люди, и как послушаешь вас, так даже приятно делается, как вы это все, что до вашей части касается, хорошо знаете и даже искусства можете постигать.

— Отчего же, — говорю, — сударь, искусства не постигать: это дело художество божественное, и у нас есть таковые любители из самых простых мужичков, что не только все школы, в чем, на-

пример, одна от другой отличаются в письмах: устюжские или новгородские, московские или вологодские, сибирские либо строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских рукомесло одно от другого без ошибки отличают.

— Может ли, — говорит, — это быть?

— Все равно, — отвечаю, — как вы одного человека от другого письменный почерк пера распознаете, так и они: сейчас взглянут и видят, кто изображал: Кузьма, Андрей или Прокофий.

— По каким приметам?

— А есть, — говорю, — разница в приеме как перевода рисунка, так и в плави, в пробелах, лицевых движках и в оживке.

Он все слушает; а я ему рассказываю, что знал про ушаковское писание, и про рублевское, и про древнейшего русского художника Парамшина, коего рукомесла иконы наши благочестивые цари и князья в благословение детям дарствовали и в духовных своих наказывали им те иконы блюсти паче зеницы ока.

Англичанин сейчас выхватил свою записную книжку и спрашивает: повторить, как художника имя и где его работы можно видеть?

А я отвечаю:

— Напрасно, сударь, станете отыскивать: нигде их памяти не осталось.

— Где же они делись?

— А не знаю, — говорю, — на чубуки ли повертели или немцам на табак променяли.

— Это, — говорит, — быть не может.

— Напротив, — отвечаю, — вполне статочно и примеры тому есть: в Риме у Папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы, Андрей, Сергей да Никита, в тринадцатом веке писали. Многоличная миниатюра сия, мол, столь удивительна, что даже, говорят, величайшие иностранные художники, глядя на нее, в восторг приходили от чудного дела.

— А как она в Рим попала?

— Петр Первый иностранному монаху подарил, а тот продал.

Англичанин улыбнулся и задумался, и потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем сама явствует, кто от какого родословия происходит.

— Ну, а у нас, — говорю, — верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленное, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела.

— А если таковая, — говорит, — ваша образованная невежественность, так отчего же, в которых любовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природного художества?

— Некем, — отвечаю, — нам его, милостивый государь, поддерживать, потому что в новых школах художества повсеместное растление чувства развито и суете ум повинуется. Высокого вдохновения тип утрачен, а все с земного вземлется и земною страстию дышит. Наши новейшие художники начали с того, что архистратига Михаила с князя Потемкина Таврического стали изображать, а теперь уже того достигают, что Христа Спаса жидовином пишут. Чего же еще от таких людей ожидать? Их необрезанные сердца, может быть, еще и не то изобразят и велят за божество почитать: в Египте же и быка и лук красноперый богом чтили; но только уже мы богам чуждым не поклонимся и жидово лицо за Спасов лик не примем, а даже изображения эти, сколь бы они ни были искусны, за студодейное невежество почитаем и отвращением от него, поелику есть отчее предание, «что развлечение очес разоряет чистоту разума, яко водомет поврежденный погубляет воду».

Я сим кончил и замолчал, а англичанин го-

ворит:

— Продолжай: мне нравится, как ты рассуждаешь.

Я отвечаю:

— Я уже все кончил, — а он говорит:

— Нет, ты расскажи мне еще, что вы по своему понятию за вдохновенное изображение понимаете?

Вопрос, милостивые государи, для простого человека довольно затруднительный, но я, нечего делать, начал и рассказал, как писано в Новгороде звездное небо, а потом стал излагать про киевское изображение в Софийском храме, где по сторонам Бога Саваофа стоят седмь крылатых архистратигов, на Потемкина, разумеется, не похожих; а на порогах сени пророки и праотцы; ниже ступенью Моисей со скрижалию; еще ниже Аарон в митре и с жезлом прозябшим; на других ступенях царь Давид в венце, Исаия-пророк с хартией, Иезекииль с затворенными вратами, Даниил с камнем, и вокруг сих предстоятелей, указующих путь на небо, изображены дарования, коими сего славного пути человек достигать может, как-то: книга с семью печатями — дар премудрости; седмисвещный подсвечник — дар разума; седмь очес — дар совета; седмь трубных

рогов — дар крепости; десная рука посреди седми звезд — дар видения; седмь курильниц — дар благочестия; седмь молоний — дар страха Божия. «Вот, — говорю, — таковое изображение гореносно!»

А англичанин отвечает:

— Прости меня, любезный: я тебя не понимаю, почему ты это почитаешь гореносным?

— А потому, мол, что таковое изображение явственно душе говорит, что христианину надлежит молить и жаждать, дабы от земли к неизреченной славе Бога вознестись.

— Да ведь это же, — говорит, — всякий из Писания и из молитв может уразуметь.

— Ну, никак нет, — ответствую, — Писание не всякому дано разуметь, а неразумевающему и в молитве бывает затмение: иной слышит глашение о «великия и богатыя милости» и сейчас полагает, что это о деньгах, и с алчностью кланяется. А когда он зрит пред собою изображенную небесную славу, то он помышляет вышний проспект жизненности и понимает, как надо этой цели достигать, потому что тут оно все просто и вразумительно: вымоли человек первее всего душе своей дар страха Божия, она сейчас и пойдет облегченная со ступени на ступень, с каждым

шагом усвояя себе преизбытки вышних даров, и в те поры человеку и деньги и вся слава земная при молитве кажутся не иначе как мерзость пред Господом.

Тут англичанин встает с места и весело говорит:

— А вы же, чудаки, чего себе молите?

— Мы, — отвечаю, — молим христианския кончины, живота и доброго ответа на Страшном судилище.

Он улыбнулся и вдруг дернул за золотистый шнурок зеленую занавесь, а за тою занавесью у него сидит в кресле его жена англичанка и пред свечою на длинных спицах вязанье делает. Она была прекрасная барыня, благоуветливая, и хотя не много по-нашему говорила, но все понимала, и, верно, хотелось ей наш разговор с ее мужем о религии слышать.

И что же вы думаете? Как отдернулась эта занавеса, что ее скрывала, она сейчас встает, будто содрогаясь, и идет, милушка, ко мне с Лукою, обе ручки нам, мужикам, протягивает, а в глазах у нее блещут слезки, и жмет нам руки, а сама говорит:

— Добри люди, добри русски люди!

Мы с Лукою за это ее доброе слово у нее обе ручки поцеловали, а она к нашим мужичьим

головам свои губки приложила.

Рассказчик остановился и, закрыв рукавом глаза, тихонько отер их и молвил шепотом: «Трогательная женщина!» и затем, оправясь, продолжал снова:

— По таким своим ласковым поступкам и начала она, эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу по-ихнему, нам непонятно, но только слышно по голосу, что, верно, за нас просит. И англичанин — знать, приятна ему эта доброта в жене — глядит на нее, ажно весь гордостию сияет, и все жену по головке гладит, да этак, как голубь, гурчит по-своему: «гут, гут», или как там по-ихнему иначе говорится, но только видно, что он ее хвалит и в чем-то утверждает, и потом подошел к бюру, вынул две сотенных бумажки и говорит:

— Вот тебе, Лука, деньги: ступай ищи, где знаешь, какого вам нужно по вашей части искусного изографа, пусть он и вам что нужно сделает и жене моей в вашем доме напишет — она хочет такую икону сыну дать, а на все хлопоты и расходы вот это вам моя жена деньги дает.

А она сквозь слезы улыбается и частит:

— Ни-ни-ни: это он, а я особая, — да с этим словом порх за дверь и несет оттуда в руках третью сотенную.

— Муж, — говорит, — мне на платье дарил, а я платья не хочу, а вам жертвую.

Мы, разумеется, стали отказываться, но она о том и слышать не хочет и сама убежала, а он говорит:

— Нет, — говорит, — не смейте ей отказывать и берите, что она дает, — и сам отвернулся и говорит: — И ступайте, чудаки, вон!

Но мы этим изгнанием, разумеется, нимало не обиделись, потому что хоть он, этот англичанин, от нас отвернулся, но видели мы, что он это сделал ради того, дабы скрыть, что он сам растрогался.

Так-то нас, милостивые государи, свои притоманные люди обессудили, а аглицкая национальность утешила и дала в душу рвение, как бы точно мы баню пакибытия восприяли!

Теперь далее отсюда, милостивые государи, зачинается преполовение моей повести, и я вам вкратце изложу: как я, взяв своего среброуздого Левонтия, пошел по изографа, и какие мы места исходили, каких людей видели, какие новые дивеса нам объявились, и что наконец мы нашли, и что потеряли, и с чем возвратилися.

Глава 10

В путь шествующему человеку первое дело сопутник; с умным и добрым товарищем и холод и голод легче, а мне это благо было даровано в том чудном отроке Левонтии. Мы с ним отправились пешком, имея при себе котомочки и достаточную сумму, а для охраны оной и своей жизни имели при себе старую короткую саблю с широким обушком, коя у нас всегда береглась для опасного случая. Совершали мы путь свой вроде торговых людей, где как попало вымышляя надобности, для коих будто бы следуем, а сами все, разумеется, высматривали свое дело. С самого первоначала мы побывали в Клинцах и в Злынке, потом наведались кое к кому из своих в Орле, но полезного результата себе никакого не получили: нигде хороших изографов не находили, и так достигли Москвы. Но что скажу: оле тебе, Москва! оле тебе, древлего русского общества преславная царица! не были мы, старые верители, и тобою утешены.

Неохота бы говорить, а нельзя перемолчать, не тот мы дух на Москве встретили, которого жаждали. Обрели мы, что старина тут стоит уже не на добротолюбии и благочестии, а на едином

упрямстве, и, с каждым днем в сем все более и более убеждаясь, начали мы с Левонтием друг друга стыдиться, ибо видели оба то, что мирному последователю веры видеть оскорбительно: но, однако, сами себя стыдяся, мы о всем том друг другу молчали.

Изографы, разумеется, в Москве отыскались, и весьма искусные, но что в том пользы, когда все это люди не того духа, о каковом отеческие предания повествуют? Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились и производили одинаково, что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует. А эти каждый одному пишет рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не в долготу дней; грунта кладут меловые, слабые, а не лебастровые, и плавь леностно сразу наводят, не как встарь наводили до четырех и даже до пяти плавей жидкой, как вода, краскою, отчего получалась та дивная нежность, ныне недостижимая. И помимо неаккуратности в художестве, все они сами расслабевши, все друг пред другом величаются, а другого чтоб унизить ни во что вменяют; или еще того хуже, шайками совокупись, сообща хитрейшие обманы делают, собираются по трактирам и тут вино пьют и свое

художество хвалят с кичливою надменностию, а другого рукомесло богохульно называют «адописным», а вокруг их всегда, как воробьи за совами, старьевщики, что разную иконописную старину из рук в руки перепущают, меняют, подменивают, подделывают доски, в трубах коптят, утлизну в них делают и червоточину; из меди разные створы по старому чеканному образцу отливают; амаль в ветхозаветном роде наводят; купели из тазов куют и на них старинные щипаные орлы, какие за Грозного времена были, выставляют и продают неопытным верителям за настоящую грозновскую купель, хотя тех купелей не счесть сколько по Руси ходит, и все это обман и ложь бессовестные. Словом сказать, все эти люди, как черные цыгане лошадьми друг друга обманывают, так и они святынею, и все это при таком с оною обращении, что становится за них стыдно и видишь во всем этом один грех да соблазн и вере поношение. Кто привычку к сему бесстыдству усвоил, тому еще ничего, и из московских охотников многие этою нечестною меною даже интересуются и хвалятся: что-де тот-то того-то так вот Деисусом надул, а этот этого вон как Николою огрел, или каким подлым манером поддельную Владычицу еще подсунул: и все это им заростно,

и друг пред другом один против другого лучше нарохтятся, как Божьим благословением неопытных верителей морочить, но нам с Левой, как мы были простые деревенские богочтители, все это в той степени непереносно показалось, что мы оба даже заскучали и напал на нас страх.

«Неужто же, — думаем, — такова она к этому времени стала, наша злосчастная старая вера?» Но и я это думаю, и он, вижу, то же самое в скорбном сердце содержит, а друг другу того не открываем, а только замечаю я, что мой отрок все ищет уединенного места.

Вот я раз гляжу на него, а сам думаю: «Как бы он в смущении чего недолжного не надумал?» — да и говорю:

— Что ты, Левонтий, будто чем закручинился?

А он отвечает:

— Нет, — говорит, — дядя, ничего: это я так.

— Пойдем же, мол, на Боженинову улицу в Эриванский трактир изографов подговаривать. Ноне туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменял, хочу ноне еще одну достать.

А Левонтий отвечает:

— Нет, сходи ты, дядюшка, один, а я не пойду.

— Отчего же, — говорю, — ты не пойдешь?

— А так, — отвечает, — мне ноне что-то не по себе.

Ну, я его раз не нужу и два не нужу, а на третий опять зову:

— Пойдем, Левонтьюшка, пойдем, молодчик.

А он умильно кланяется и просит:

— Нету, дядюшка, голубчик белый: позволь мне дома остаться.

— Да что же, мол, Лева, пошел ты мне в содеятели, а все дома да дома сидишь. Этак не велика мне, голубчик, от тебя помощь.

А он:

— Ну родненький, ну батечка, ну Марк Александрыч, государь, не зови меня туда, где едят да пьют и нескладные речи о святыне говорят, а то меня соблазн обдержать может.

Это его было первое сознательное слово о своих чувствах, и оно меня в самое сердце поразило, но я с ним не стал спорить, а пошел один, и имел я в этот вечер большой разговор с двумя изографами и получил от них ужасное огорчение. Сказать страшно, что они со мною сделали! Один мне икону променял за сорок рублей и ушел, а другой говорит:

— Ты гляди, человече, этой иконе не поклоняйся.

Я говорю:

— Почему?

А он отвечает:

— Потому что она адописная, — да с этим колупнул ногтем, а с уголка слой письма так и отскочил, и под ним на грунту чертик с хвостом нарисован! Он в другом месте сковырнул письмо, а там под низом опять чертик.

— Господи! — заплакал я, — да что же это такое?

— А то, — говорит, — что ты не ему, а мне закажи.

И увидал уже я тут ясно, что они одна шайка и норовят со мною нехорошо поступить, не по чести, и, покинув им икону, ушел от них с полными слез глазами, славя Бога, что не видал того мой Левонтий, вера которого находилась в борении. Но только подхожу домой и вижу, в окнах нашей горенки, которую мы нанимали, свету нет, а между тем оттуда тонкое, нежное пение льется. Я сейчас узнал, что поет приятный Левонтиев голос, и поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает. Вошел тихонько, чтоб он не слыхал, стал у дверей и слушаю, как он Иосифов плач выводит:

Кому повем печаль мою,

Кого призову ко рыданию.

Стих этот, если его изволите знать, и без того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно, а Левонтий его поет да сам плачет и рыдает, что

Продаша мя мои братия!

И плачет, и плачет он, воспевая, как видит гроб своей матери, и зовет землю к воплению за братский грех!..

Слова эти всегда могут человека взволновать, а особенно меня в ту пору, как я только бежал от братогрызцев, они меня так растрогали, что я и сам захлипкал, а Левонтий, услыхав это, смолк и зовет меня:

— Дядя! а дядя!

— Что, — говорю, — добрый молодец?

— А знаешь ли ты, — говорит, — кто это наша мать, про которую тут поется?

— Рахиль, — отвечаю.

— Нет, — говорит, — это в древности была Рахиль, а теперь это таинственно надо понимать.

— Как же, — спрашиваю, — таинственно?

— А так, — отвечает, — что это слово с преобразованием сказано.

— Ты, — говорю, — смотри, дитя: не опасно ли

ты умствуешь?

— Нет, — отвечает, — я это в сердце моем чувствую, что крестует бо ся Спас ради того, что мы его едиными усты и единым сердцем не ищем.

Я еще пуще испугался, к чему он стремится, и говорю:

— Знаешь что, Левонтьюшко: пойдем-ка мы отсюда скорее из Москвы в нижегородские земли, изографа Севастьяна поищем, он ноне, я слышал, там ходит.

— Что же: пойдем, — отвечает, — здесь, на Москве, меня какой-то нужный дух больно нудит, а там леса, поветрие чище, и там, — говорит, — я слыхал, есть старец Памва, анахорит совсем беззавистный и безгневный, я бы его узреть хотел.

— Старец Памва, — отвечаю со строгостию, — господствующей церкви слуга, что нам на него смотреть?

— А что же, — говорит, — за беда, я для того и хотел бы его видеть, дабы внять, какова господствующей церкви благодать.

Я его пощунял, «какая там, говорю, благодать», а сам чувствую, что он меня правее, потому что он жаждет испытывать, а я чего не ведаю, то отвергаю, но упорствую на своем противлении и говорю ему самые пустяки.

— Церковные, — говорю, — и на небо смотрят не с верою, а в Аристотелевы врата глядят и путь в море по звезде языческого бога Ремфана определяют; а ты с ними в одну точку смотреть захотел?

А Левонтий отвечает:

— Ты, дядя, баснишь: никакого бога Ремфана не было и нет, а вся единою премудростию создано.

Я от этого словно еще глупее стал и говорю:

— Церковные кофий пьют!

— А что за беда, — отвечает Левонтий, — кофий боб, он был Давиду-царю в дарах принесен.

— Откуда, — говорю, — ты это все знаешь?

— В книгах, — говорит, — читал.

— Ну так знай же, что в книгах не все писано.

— А что, — говорит, — там еще не написано?

— Что? что не написано? — А сам вовсе уже не знаю, что сказать, да брякнул ему:

— Церковные, — говорю, — зайцев едят, а заяц поганый.

— Не погань, — говорит, — Богом созданного, это не грех.

— Как, — говорю, — не поганить зайца, когда он поганый, когда у него ослий склад и мужеженское естество и он рождает в человеке густую и меланхолическую кровь?

Но Левонтий засмеялся и говорит:

— Спи, дядя, ты невегласы глаголешь!

Я, признаюсь вам, тогда еще ясно не разгадал, что такое в душе сего благодатного юноши делалось, но сам очень обрадовался, что он больше говорить не хочет, ибо я и сам понимал, что я в сердцах невесть что говорю, и умолк я и лежу да только думаю:

«Нет; это в нем такое сомнение от тоски стало, а вот завтра поднимемся и пойдем, так оно все в нем рассеется»; но про всякий же случай я себе на уме положил, что буду с ним некое время идти молча, дабы показать ему, что я как будто очень на него сержусь.

Но только в волевращном характере моем нет совсем этой крепости, чтобы притворяться сердитым, и мы скоро же опять начали с Левонтием говорить, но только не о божестве, потому что он был сильно против меня начитавшись, а об окрестности, к чему ежечасный предлог подавали виды огромных темных лесов, которыми шел путь наш. Обо всем этом своем московском разговоре с Левонтием я старался позабыть и решил наблюдать только одну осторожность, чтобы нам с ним как-нибудь не набежать на этого старца Памву анахорита, которым Левонтий прельщал-

ся и о котором я сам слыхал от церковных людей непостижимые чудеса про его высокую жизнь.

«Но, — думаю себе, — чего тут много печалиться, уж если я от него бежать стану, так он же сам нас не обретет!»

И идем мы опять мирно и благополучно и, наконец, достигши известных пределов, добыли слух, что изограф Севастьян, точно, в здешних местах ходит, и пошли его искать из города в город, из села в село, вот-вот совсем по его свежему следу идем, совсем его достигаем, а никак не достигнем. Просто как сворные псы бежим, по двадцати, по тридцати верст переходы без отдыха делаем, а придем, говорят:

— Был он здесь, был, да вот-вот всего с час назад ушел!

Бросимся вслед, не настигаем!

И вот вдруг на одном таком переходе мы с Левонтием и заспорили: я говорю: «нам надо идти направо», а он спорит: «налево», и наконец чуть было меня не переспорил, но я на своем пути настоял. Но только шли мы, шли, и наконец вижу, не знаю куда зашли, и нет дальше ни тропы, ни следу.

Я говорю отроку:

— Пойдем, Лева, назад!

А он отвечает:

— Нет, не могу я, дядя, больше идти — сил моих нет.

Я всхлопотался и говорю:

— Что тебе, дитятко?

А он отвечает:

— Разве, — говорит, — ты не видишь, меня отрясовица бьет?

И вижу, точно, весь он трясется, и глаза блуждают. И как все это, милостивые государи, случилось вдруг! Ни на что не жаловался, шел бодро и вдруг сел в леску на траву, а головку положил на избутелый пень и говорит:

— Ой, голова моя, голова! ай, горит моя голова огнем-пламенем! Не могу я идти; не могу больше шагу ступить! — а сам, бедняга, даже к земле клонится, падает.

А дело шло под вечер.

Ужасно я испугался, а пока мы тут подождали, не облегчит ли ему недуг, стала ночь; время осеннее, темное, место незнакомое, вокруг одни сосны и ели могучие, как аркефовы древеса, а отрок просто помирает. Что тут делать! Я ему со слезами говорю:

— Левушка, батюшка, поневольсь, авось до ночлежка дойдем.

А он клонит головушку, как скошенный цветок, и словно во сне бредит:

— Не тронь меня, дядя Марко; не тронь и сам не бойся.

Я говорю:

— Помилуй, Лева, как не бояться в такой глуши непробудной.

А он говорит:

— Не сияй и бдяй сохранит.

Я думаю: «Господи! что это с ним такое?» А сам в страхе все-таки стал прислушиваться, и слышу, по лесу вдалеке что-то словно потрескивает… «Владыко многомилостиве! — думаю, — это, верно, зверь, и сейчас он нас растерзает!» И уже Левонтия не зову, потому что вижу, что он точно сам из себя куда-то излетел и витает, а только молюсь: «Ангел Христов, соблюди нас в сей страшный час!» А треск-то все ближе и ближе слышится, и вот-вот уже совсем подходит… Здесь я должен вам, господа, признаться в великой своей низости: так я оробел, что покинул больного Левонтия на том месте, где он лежал, да сам белки проворнее на дерево вскочил, вынул сабельку и сижу на суку да гляжу, что будет, а зубами, как пуганый волк, так и ляскаю… И вдруг-с замечаю я во тьме, к которой глаз мой пригляделся, что

из лесу выходит что-то поначалу совсем безвидное, — не разобрать, зверь или разбойник, но стал приглядываться и различаю, что и не зверь и не разбойник, а очень небольшой старичок в колпачке, и видно мне даже, что в поясу у него топор заткнут, а на спине большая вязанка дров, и вышел он на поляночку; подышал, подышал часто воздухом, точно со всех сторон поветрие собирал, и вдруг сбросил на землю вязанку и, точно почуяв человека, идет прямо к моему товарищу. Подошел, нагнулся, посмотрел в лицо и взял его за руку, да и говорит:

— Встань, брате!

И что же вы изволите думать? вижу я, поднял он Левонтия, и ведет прямо к своей вязаночке, и взвалил ее ему на плечи, и говорит:

— Понеси-ка за мною!

А Левонтий и понес.

Глава 11

Можете себе, милостивые государи, представить, как я такого дива должен был испугаться! Откуда этот повелительный тихий старичок взялся, и как это мой Лева сейчас точно смерти был привержен и головы не мог поднять, и опять

сейчас уже вязанку дров несет!

Я скорее соскочил с дерева, сабельку на бечеве за спину забросил, а сломал про всякий случай здоровую леторосль понадежнее, да за ними, и скоро их настиг и вижу: старичок впереди грядет, и как раз он точно такой же, как мне с первого взгляда показался: маленький и горбатенький; а бородка по сторонам клочочками, как мыльная пена белая, а за ним мой Левонтий идет, следом в след его ноги бодро попадает и на меня смотрит. Сколько я к нему ни заговаривал и рукою его ни трогал, он и внимания на меня не обратил, а все будто во сне идет.

Тогда я подбежал сбоку к старичку и говорю:

— Доброчестный человек!

А он отзывается:

— Что тебе?

— Куда ты нас ведешь?

— Я, — говорит, — никого никуда не веду, всех Господь ведет!

И с этим словом вдруг остановился: и я вижу, что пред нами низенькая стенка и ворота, а в воротах проделана малая дверка, и в эту дверку старичок начал стучаться и зовет: — Брате Мирон! а брате Мирон!

А оттуда дерзый голос грубо отвечает:

— Опять ночью притащился. Ночуй в лесу! Не пущу! Но старичок опять давай проситься, молить ласково: — Впусти, брате!

Тот дерзый вдруг отчинил дверь, и вижу я это человек тоже в таком же колпаке, как и старичок, но только суровый-пресуровый грубитель, и не успел старичок ноги перенести через порог, как он его так толкнул, что тот мало не обрушился и говорит:

— Спаси тебя Бог, брате мой, за твою услугу. «Господи! — помышляю, — куда это мы попали», и вдруг как молония меня осветила и поразила.

«Спасе премилосердный! — взгадал я, — да уж это не Памва ли безгневный! Так лучше же бы, — думаю, — я в дебри лесной погиб, или к зверю, или к разбойнику в берлогу зашел, чем к нему под кров».

И чуть он ввел нас в маленькую какую-то хибарочку и зажег воску желтого свечу, я сейчас догадался, что мы действительно в лесном ските, и, не стерпев дальше, говорю:

— Прости, благочестивый человек, спрошу я тебя: гоже ли нам с товарищем оставаться здесь, куда ты привел нас?

А он отвечает:

— Вся Господня земля и благословенны все

живущие, — ложись, спи!

— Нет, позволь, — говорю, — тебе объявиться, ведь мы по старой вере.

— Все, — говорит, — уды единого тела Христова! Он всех соберет!

И с этим подвел нас к уголку, где у него на полу сделана скудная Рогозина постелька, а в возглавии древесный кругляк соломкой прикрыт, и опять уже обоим нам молвит:

— Спите!

И что же? Левонтий мой, как послушенствующий отрок, сейчас и повалился, а я, свое спасение наблюдая, говорю:

— Прости, Божий человек, еще одно вопрошение…

Он отвечает:

— Что вопрошать: Бог все знает.

— Нет, скажи, — говорю, — мне: как твое имя?

А он, как совсем бы ему не соответствовало, бабственною погудкою говорит:

— Зовут меня зовуткою, а величают уткою, — и с этими пустыми словами пополз было со свечечкою в какой-то малый чулан, тесный, как дощатый гробик, но из-за стены на него тот дерзый вдруг опять закричал:

— Не смей огня жечь: келью сожжешь, по книж-

ке днем намолишься, а теперь впотьмах молись!

— Не буду, — отвечает, — брате Мирон, не буду. Спаси тебя Бог!

И задул свечку.

Я шепчу:

— Отче! кто это на тебя так губительно грозится?

А он отвечает:

— Это служка мой Мирон… добрый человек, он блюдет меня.

«Ну, шабаш! — думаю, — это анахорит Памва! Никто это другой, как он, и беззавистный и безгневный. Вот когда беда! обрящел он нас и теперь петлит нас, как гагрена жир; одно только оставалось, чтобы завтра рано на заре восхитить отсюда Левонтия и бежать отсюда так, чтоб он не знал, где мы были». Держа этот план, я положил не спать и блюсти первый просвет, чтобы возбудить отрока и бежать.

А чтобы не заснуть и не проспать, лежу да твержу «Верую», как должно по-старому, и как протвержу раз, сейчас причитаю: «Сия вера апостольская, сия вера кафолическая, сия вера вселенную утверди», и опять начинаю. Не знаю, сколько раз я эту «Верую» прочел, чтобы не заснуть, но только много; а старичок все в своем

гробе молится, и мне оттуда сквозь пазы тесин точно свет кажет, и видно, как он кланяется, а потом вдруг будто начал слышаться разговор, и какой… самый необъяснимый: будто вошел к старцу Левонтий, и они говорят о вере, но без слов, а так, смотрят друг на друга и понимают. И это долго мне так представлялось, я уже «Верую» позабыл твердить, а слушаю, как будто старец говорит отроку: «Поди очистись», а тот отвечает: «И очищусь». И теперь вам не скажу, все это было во сне или не во сне, но только я потом еще долго спал и наконец просыпаюсь и вижу: утро, совсем светло, и оный старец, хозяин наш, анахорит, сидит и свайкою лыковый лапоток на коленях ковыряет. Я стал в него всматриваться.

Ах, сколь хорош! ах, сколь духовен! Точно ангел предо мною сидит и лапотки плетет, для простого себя миру явления.

Гляжу я на него и вижу, что и он на меня смотрит и улыбается, и говорит:

— Полно, Марк, спать, пора дело делать.

Я отзываюсь:

— Какое же, боготечный муж, мое дело? Или ты все знаешь?

— Знаю, — говорит, — знаю. Когда же человек далекий путь без дела творит? Все, брате, все

пути Господнего ищут. Помогай Господь твоему смирению, помогай!

— Какое же, — говорю, — святой человек, мое смирение? — ты смирен, а мое что за смирение в суете!

А он отвечает:

— Ах нет, брате, нет, я не смирен: я великий дерзостник, я себе в небесном царстве части желаю.

И вдруг, сознав сие преступление, сложил ручки и как малое дитя заплакал.

— Господи! — молится, — не прогневайся на меня за сию волевращность: пошли меня в преисподнейший ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин!

«Ну, — думаю, — нет: слава Богу, это не Памва прозорливый анахорит, а это просто какой-то умоповрежденный старец». Рассудил я так потому, что кто же в здравом уме небесного царства может отрицаться и молить, дабы послал его Господь на мучение демонам? Я этакого хотения во всю жизнь ни от кого не слыхал и, сочтя оное за безумие, отвратился от старцева плача, считая оный за скорбь демоно-говейную. Но, наконец, рассуждаю: что же это я лежу, пора вставать, но только вдруг гляжу, отворяется дверь, и входит мой Левонтий, про которого я точно совсем по-

забыл. И как он вошел, сейчас старцу в ноги и говорит:

— Я, отче, все совершил: теперь благослови!

А старец посмотрел на него и отвечает:

— Мир ти: почий!

И мой отрок, гляжу, опять ему в землю поклонился и вышел, а анахорит опять стал свой лапоток плесть.

Тут я сразу вскочил и думаю: «Нет; пойду скорее возьму Леву, и утечем отсюда без оглядки!» и с тем выхожу в малые сенички и вижу, что мой отрок лежит тут на дощаной скамье без возглавия навзничь и ручки на груди сложил.

Я, чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю:

— Не знаешь ли ты, где я зачерпну себе воды, чтобы лицо умыть? — а шепотом шепчу ему: — Богом живым тебя заклинаю, скорее отсюда пойдем!

Но всматриваюсь в него и вижу, что Лева не дышит… Отошел!.. Умер!..

Взвыл я не своим голосом:

— Памва! отец Памва, ты убил моего отрока!

А Памва вышел потихоньку на порог и говорит с рад остию:

— Улетел наш Лева!

Меня даже зло взяло.

— Да, — отвечаю сквозь слезы, — он улетел. Ты из него душу, как голубя из клетки, выпустил! — и, повергшись к ногам усопшего, стенал я и плакал над ним даже до вечера, когда пришли из монастырька иноки, опрятали его мощи, положили в гроб и понесли, так как он сим утром, пока я, нетяг, спал, к церкви присоединился.

Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что бы я мог ему сказать: согруби ему — он благословит, прибей его — он в землю поклонится, неодолим сей человек с таким смирением! Чего он устрашится, когда даже в ад сам просится? Нет: недаром я его трепетал и опасался, что петлит он нас, как гагрена жир. Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит или к Богу обратит! Они его станут мучить, а он будет просить: «жестче терзайте, ибо я того достоин». Нет, нет! Этого смирения и сатане не выдержать! он все руки об него обколотит, все когти обдерет и сам свое бессилие постигнет пред Со-детелем, такую любовь создавшим, и устыдится его.

Так я себе и порешил, что сей старец с лапотком аду на погибель создан! и, всю ночь по лесу бродючи, не знаю отчего вдаль не иду, а все думаю:

«Как же он молится, каким образом и по каким

книгам?»

И вспоминаю, что я не видал у него ни одного образа, окроме креста из палочек, лычком связанного, да не видал и толстых книг…

«Господи! — дерзаю рассуждать, — если только в церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлен».

И все я о нем думал и думал и вдруг перед утром начал жаждать хоть на минуту его пред отходом отсюда видения.

И только что я это помыслил, вдруг опять слышу, опять такой самый троскот, и отец Памва опять выходит с топором и с вязанкою дров и говорит:

— Что долго медлили? Поспешай Вавилон строить!

Мне это слово показалось очень горько, и я сказал:

— За что же ты меня, старче, таким словом упрекаешь: я никакого Вавилона не строю и от вавилонской мерзости особлюсь.

А он отвечает:

— Что есть Вавилон? столп кичения; не кичись правдою, а то ангел отступится.

Я говорю:

— Отче, знаешь ли, зачем я хожу?

И рассказал ему все наше горе. А он все слушал, слушал и отвечает:

— Ангел тих, ангел кроток, во что ему повелит Господь, он в то и одеется; что ему укажет, то он сотворит.

Вот ангел! Он в душе человечьей живет, суемудрием запечатлен, но любовь сокрушит печать…

И с тем, вижу, он удаляется от меня, а я отвратить глаз от него не могу и, преодолеть себя будучи не в состоянии, пал и вслед ему в землю поклонился, а поднимаю лицо и вижу, его уже нет, или за древа зашел, или… Господь знает куда делся.

Тут я стал перебирать в уме его слова, что такое: «ангел в душе живет, но запечатлен, а любовь освободит его», да вдруг думаю: «А что, если он сам ангел, и Бог повелит ему в ином виде явиться мне: я умру, как Левонтий!» Взгадав это, я, сам не помню, на каком-то пеньке переплыл через речечку и ударился бежать: шестьдесят верст без остановки ушел, все в страхе, думая, не ангела ли я это видел, и вдруг захожу в одно село и нахожу здесь изографа Севастьяна. Сразу мы с ним обо всем переговорили и положили, чтобы завтра же ехать, но поладили мы холодно и ехали еще холоднее. А почему? Раз, потому, что изограф

Севастьян был человек задумчивый, а еще того более потому, что сам я не тот стал, витал в душе моей анахорит Памва, и уста шептали слова пророка Исаии, что «дух Божий в ноздрех человека сего».

Глава 12

Обратное подорожие мы с изографом Севастьяном отбыли скоро и, прибыв к себе на постройку ночью, застали здесь все благополучно. Повидавшись с своими, мы сейчас же появились к англичанину Якову Яковлевичу. Тот, любопытный этакой, сейчас же поинтересовался изографа видеть и все ему на руки его смотрел да плещми пожимал, потому что руки у Севастьяна были большущие, как грабли, и черные, поелику и сам он был видом как цыган черен. Яков Яковлевич и говорит:

— Удивляюсь я, братец, как ты такими ручищами можешь рисовать?

А Севастьян отвечает:

— Отчего же? Чем мои руки несоответственны?

— Да тебе, — говорит, — что-нибудь мелкое ими не вывесть.

Тот спрашивает:

— Почему?

— А потому что гибкость состава перстов не позволит.

А Севастьян говорит:

— Это пустяки! Разве персты мои могут мне на что-нибудь позволять или не позволять? Я им господин, а они мне слуги и мне повинуются.

Англичанин улыбается.

— Значит, ты, — говорит, — нам запечатленного ангела подведешь?

— Отчего же, — отвечает, — я не из тех мастеров, которые дела боятся, а меня самого дело боится; так подведу, что и не отличите от настоящей.

— Хорошо, — молвил Яков Яковлевич, — мы немедля же станем стараться настоящую икону достать, а ты тем часом, чтоб уверить меня, докажи мне свое искусство: напиши ты моей жене икону в древнерусском роде, и такую, чтоб ей нравилась.

— Какое же во имя?

— А уж этого я, — говорит, — не знаю; что знаешь, то и напиши, это ей все равно, только чтобы нравилась.

Севастьян подумал и вопрошает:

— А о чем ваша супруга более Богу молится?

— Не знаю, — говорит, — друг мой; не знаю о чем, но я думаю, вернее всего о детях, чтоб из детей честные люди вышли.

Севастьян опять подумал и отвечает:

— Хорошо-с, я и под этот вкус потрафлю.

— Как же ты потрафишь?

— Так изображу, что будет созерцательно и усугублению молитвенного духа супруги вашей благоприятно.

Англичанин велел ему дать все удобства у себя на вышке, но только Севастьян не стал там работать, а сел у окошечка на чердачке над Луки Кирилова горенкой и начал свою акцию.

И что же он, государи мои, сделал, чего мы и вообразить не могли. Как шло дело о детях, то мы думали, что он изобразит Романа-чудотворца, коему молятся от неплодия, или избиение младенцев в Иерусалиме, что всегда матерям, потерявшим чад, бывает приятно, ибо там Рахиль с ними плачет о детях и не хочет утешиться; но сей мудрый изограф, сообразив, что у англичанки дети есть и она льет молитву не о даровании их, а об оправдании их нравственности, взял и совсем иное написал, к целям ее еще более соответственное. Избрал он для сего старенькую самую небольшую досточку пядницу, то

есть в одну ручную пядь величины, и начал на ней таланствовать. Прежде всего он ее, разумеется, добре вылевкасил крепким казанским алебастром, так что стал этот левкас гладок и крепок, как слоновья кость, а потом разбил на ней четыре ровные места и в каждом месте обозначил особливую малую икону, да еще их стеснил тем, что промежду них на олифе золотом каймы положил, и стал писать: в первом месте написал рождество Иоанна Предтечи, восемь фигур и новорожденное дитя, и палаты; во втором — рождество Пресвятыя Владычицы Богородицы, шесть фигур и новорожденное дитя, и палаты; в третьем — Спасово пречистое рождество, и хлев, и ясли, и предстоящие Владычица и Иосиф, и припадшие боготечные волхвы, и Соломия-баба, и скот всяким подобием: волы, овцы, козы и осли, и сухолапль-птица, жидам запрещенная, коя пишется в означение, что идет сие не от жидовства, а от Божества, все создавшего. А в четвертом отделении рождение Николая Угодника, и опять тут и святой угодник в младенчестве, и палаты, и многие предстоящие. И что тут был за смысл, чтобы видеть пред собою воспитателей столь добрых чад, и что за художество, все фигурки ростом в булавочку, а вся их одушевленность

видна и движение. В богородичном рождестве, например, святая Анна, как по греческому подлиннику назначено, на одре лежит, пред нею девицы тимпанницы стоят, и одни держат дары, а иные солнечник, иные же свещи. Едина жена держит святую Анну под плещи; Иоаким зрит в верхние палаты; баба святую Богородицу омывает в купели до пояса; посторонь девица льет из сосуда воду в купель. Палаты все разведены по циркулю, верхняя призелень, а нижняя бокан, и в этой нижней палате сидят Иоаким и Анна на престоле, и Анна держит Пресвятую Богородицу, а вокруг между палат столбы каменные, запоны червленые, а ограда бела и вохряна… Дивно, дивно все это Севастьян изобразил, и в премельчайшем каждом личике все богозрительство выразил, и надписал образ «Доброчадие», и принес англичанам. Те глянули, стали разбирать, да и руки врозь: никогда, говорят, такой фантазии не ожидали и такой тонкости мелкоскопического письма не слыхивали, даже в мелкоскоп смотрят, и то никакой ошибки не находят, и дали они Севастьяну за икону двести рублей и говорят:

— Можешь ли ты еще мельче выразить?

Севастьян отвечает:

— Могу.

— Так скопируй мне, — говорит, — в перстень женин портрет.

Но Севастьян говорит:

— Нет, вот уж этого я не могу.

— А почему?

— А потому, — говорит, — что, во-первых, я этого искусства не пробовал, а повторительно, я не могу для него своего художества унизить, дабы отеческому осуждению не подпасть.

— Что за вздор такой!

— Никак нет, — отвечает, — это не вздор, а у нас есть отеческое постановление от благих времен, и в патриаршей грамоте подтверждается: «аще убо кто на таковое святое дело, еже есть иконное воображение, сподобится, то тому изрядного жительства изографу ничего, кроме святых икон, не писать!»

Яков Яковлевич говорит:

— А если я тебе пятьсот рублей дам за это?

— Хоть и пятьсот тысяч обещайте, все равно при вас они останутся.

Англичанин просиял и шутя говорит жене:

— Как это тебе нравится, что он твое лицо писать считает для себя за унижение?

А сам ей по-аглицки прибавляет: «Ох, мол, гут карах-тер». Но только молвил в конце:

— Смотрите же, братцы, теперь мы беремся все дело шабашить, а у вас, я вижу, на все свои правила, так чтобы не было упущено или позабыто чего-нибудь такого, что всему помешать может.

Мы отвечаем, что ничего такого не предвидим.

— Ну так смотрите, — говорит, — я начинаю, — и он поехал ко владыке с просьбою, что хочет-де он поусердствовать, на запечатленном ангеле ризу позолотить и венец украсить. Владыко на это ему ни то ни се: ни отказывает, ни приказывает; а Яков Яковлевич не отстает и домотает; а мы уже ждем, что порох огня.

Глава 13

При сем позвольте вам, господа, напомнить, что с тех пор, как это дело началось, время прошло немало и на дворе стояло Спасово рождество. Но вы не числите тамошнее Рождество наравне со здешним: там время бывает с капризцем, и один раз справляет этот праздник по-зимнему, а в другой раз невесть по какому: дождит, мокнет; один день слегка морозцем постянет, а на другой опять растворит; реку то ледком засалит, то вспучит и несет крыги, как будто в весеннюю половодь… Одним словом, самое непостоянное

время, и как по тамошнему месту зовется уже не погода, а просто *халепа*, так оно ей и пристало халепой быть.

В тот год, к коему рассказ мой клонит, непостоянство это было самое досадительное. Пока я вернулся с изографом, я не могу вам и перечислить, какое число раз наши то на зимнем, то на летнем положении себя поставляли. А время было, по работе глядя, самое горячее, потому что уже у нас все семь быков были готовы и с одного берега на другой цепи переносились. Хозяевам, разумеется, как можно скорее хотелось эти цепи соединить, чтобы на них к половодью хоть какой-нибудь временный мостик подвесить для доставки материала, но это не удалось: только цепи перетянули, жамкнул такой морозище, что мостить нельзя. Так и осталось; цепи одни висят, а моста нет. Зато создал Бог другой мост: река стала, и наш англичанин поехал по льду за Днепр хлопотать о нашей иконе, и оттуда возвращается и говорит мне с Лукою:

— Завтра, — говорит, — ребята, ждите, я вам ваше сокровище привезу.

Господи, что только мы в эту пору почувствовали! Хотели было сначала таинствовать и одному изографу сказать, но утерпеть ли сердцу челове-

чу! Вместо соблюдения тайности обеган мы всех своих, во все окна постучали и все друг к другу шепчем, да не знать чего бегаем от избы к избе, благо ночь светлая, превосходная, мороз по снегу самоцветным камнем сыпет, а в чистом небе Еспер-звезда горит.

Проведя в такой радостной беготне ночь, день мы встретили в том же восхищенном ожидании и с утра уже от своего изографа не отходим и не знаем, куда за ним его сапоги понести, потому что пришел час, когда все зависит от его художества. Что только он скажет подать или принести, мы во всякий след вдесятером летим и так усердствуем, что один другого с ног валим. Даже дед Марой до той поры бегал, что, зацепившись, каблук оторвал. Один только сам изограф спокоен, потому что ему эти дела было уже не впервые делать, и потому он несуетно себе все приготовлял: яйцо кваском развел, олифу осмотрел, приготовил левкасный холстик, старенькие досточки, какие подхожие к величине иконы, разложил, настроил острую пилку, как струну, в излучине из крепкого обода и сидит под окошечком, да какие предвидит нужными вапы пальцами в долони перетирает. А мы все вымылись в печи, понадевали чистые рубашки и стоим на бережку,

смотрим на град убежища, откуда должен к нам светоносный гость пожаловать; а сердца так то затрепещут, то падают…

Ах, какие были мгновения, и длились они с ранней зари даже до вечера, и вдруг видим мы, что по льду от города англичаниновы сани несутся, и прямо к нам… По всем трепет прошел, шапку все под ноги бросили и молимся:

— Боже отец духовом и ангелом: пощади рабы твои!

И с этим моленьем упали ниц на снег и вперед жадно руки простираем, и вдруг слышим над собою англичанинов голос:

— Эй, вы! Староверы! Вот вам привез! — и подает узелок в белом платочке.

Лука принял узелок и замер: чувствует, что это что-то малое и легковесное! Раскрыл уголок платочка и видит: это одна басма с нашего ангела сорвана, а самой иконы нет.

Кинулись мы к англичанину и говорим ему с плачем:

— Обманули вашу милость, тут иконы нет, а одна басма серебряная с нее прислана.

Но англичанин уже не тот, что был к нам до сего времени: верно, досадило ему это долгое дело, и он крикнул на нас:

— Да что же вы все путаете! Вы же сами мне говорили, что надо ризу выпросить, я ее и выпросил; а вы, верно, просто не знаете, что вам нужно!

Мы ему, видя, что он восклокотал, с осторожностью было начали объяснять, что нам икона нужна, чтобы подделок сделать, но он не стал нас более слушать, выгнал вон и одну милость показал, что велел изографа к нему послать. Пошел к нему изограф Севастьян, а он точно таким же манером и на него с клокотанием.

— Твои, — говорит, — мужики сами не знают, чего хотят: то просили ризу, говорили, что тебе только надо размеры да абрис снять, а теперь ревут, что это им ни к чему не нужно; но я более вам ничего сделать не могу, потому что архиерей образа не дает. Подделывай скорее образ, обложим его ризой и отдадим, а старый мне секретарь выкрадет.

Но Севастьян-изограф, как человек рассудительный, обаял его мягкою речью и ответствует:

— Нет, — говорит, — ваша милость; наши мужички свое дело знают, и нам действительно подлинная икона вперед нужна. Это, — говорит, — только в обиду вам выдумано, что мы будто по переводам точно по трафаретам пишем.

А у нас в подлиннике постановлен закон, но исполнение его дано свободному художеству. По подлиннику, например, повелено писать святого Зосиму или Герасима со львом, а не стеснена фантазия изографа, как при них того льва изобразить? Святого Неофита указано с птицею-голубем писать; Конона Градаря с цветком, Тимофея с ковчежцем, Георгия и Савву Стратилата с копьями, Фотия с корнавкой, а Кондрата с облаками, ибо он облака воспитывал, но всякий изограф волен это изобразить как ему фантазия его художества позволит, и потому опять не могу я знать, как тот ангел писан, которого надо подменить.

Англичанин все это выслушал и выгнал Севастьяна, как и нас, и нет от него никакого дальше решения, и сидим мы, милостивые государи, над рекою, яко враны на нырище, и не знаем, вполне ли отчаиваться или еще чего ожидать, но идти к англичанину уже не смеем, а к тому же и погода стала опять единохарактерна нам: спустилась ужасная оттепель, и засеял дождь, небо среди дня все яко дым коптильный, а ночи темнеющие, даже Еспер-звезда, которая в декабре с тверди небесной не сходит, и та скрылась и ни разу не выглянет… Тюрьма душевная, да и только! И таково наступило Спасово рождество, а в самый

сочельник ударил гром, полил ливень, и льет, и льет без уставу два дни и три дни: снег весь смыло и в реку снесло, а на реке лед начал синеть да пучиться, и вдруг его в предпоследний день года всперло и понесло… Мчит его сверху и швыряет крыта на крыгу по мутной волне, у наших построек всю реку затерло: горой содит льдина на льдину, и прядают они и сами звенят, прости, Господи, точно демоны… Как стоят постройки и этакое несподиванное теснение терпят, даже удивительно. Страшные миллионы могло разрушить, но нам не до того; потому что у нас изограф Севастьян, видя, что дела ему никакого нет, вскромолился — складывает пожитки и хочет в иные страны идти, и никак удержать его не можем.

Да не до того было и англичанину, потому что с ним за эту непогодь что-то такое поделалось, что мало с ума не сошел: все, говорят, ходил да у всех спрашивал: «Куда деться? Куда деваться?» И потом вдруг преодолел себя как-то, призывает Луку и говорит:

— Знаешь что, мужик: пойдем вашего ангела красть?

Лука отвечает:

— Согласен.

По Луки замечанию было так, что англичанин

точно будто жаждал испытать опасных деяний и положил так, что поедет он завтра в монастырь к епископу, возьмет с собою изографа под видом злотаря и попросит ему икону ангела показать, дабы он мог с нее обстоятельный перевод снять будто для ризы; а между тем как можно лучше в нее вглядится и дома напишет с нее подделок. Затем, когда у настоящего злотаря риза будет готова, ее привезут к нам за реку, а Яков Яковлевич поедет опять в монастырь и скажет, что хочет архиерейское праздничное служение видеть, и войдет в алтарь, и станет в шинели в темном алтаре у жертвенника, где наша икона на окне бережется, и скрадет ее под полу, и, отдав человеку шинель, якобы от жары, велит ее вынесть. А на дворе за церковью наш человек чтобы сейчас из той шинели икону взял и летел с нею сюда, на сей бок, и здесь изограф должен в продолжение времени, пока идет всенощная, старую икону со старой доски снять, а подделок вставить, ризой одеть и назад прислать, таким манером, чтобы Яков Яковлевич мог ее опять на окно поставить, как будто ничего не бывало.

— Что же-с? Мы, — говорим, — на все согласны!

— Только смотрите же, — говорит, — помните,

что я стану на месте вора и хочу вам верить, что вы меня не выдадите.

Лука Кирилов отвечает:

— Мы, Яков Яковлевич, не того духа люди, чтоб обманывать благодетелей. Я возьму икону и вам обе назад принесу, и настоящую и подделок.

— Ну а если тебе что-нибудь помешает?

— Что же такое мне может помешать?

— Ну, а вдруг ты умрешь или утонешь.

Лука думает: отчего бы, кажется, быть такому препятствию, а, впрочем, соображает, что действительно трафляется иногда и кладязь копающему обретать сокровище, а идущему на торг встречать пса беснуема, и отвечает:

— На такой случай я, сударь, при вас такого своего человека оставлю, который, в случае моей неустойки, всю вину на себя примет и смерть претерпит, а не выдаст вас.

— А кто это такой человек, на которого ты так полагаешься?

— Ковач Марой, — отвечает Лука.

— Это старик?

— Да, он не молод.

— Но он, кажется, глуп?

— Нам, мол, его ум не надобен, но зато сей человек достойный дух имеет.

— Какой же, — говорит, — может быть дух у глупого человека?

— Дух, сударь, — ответствует Лука, — бывает не по разуму: дух иде же хощет дышит, и все равно что волос растет у одного долгий и роскошный, а у другого скудный.

Англичанин подумал и говорит:

— Хорошо, хорошо; это все интересные ощущения. Ну, а как он меня выручит, если я попадусь?

— А вот как, — отвечает Лука, — вы будете в церкви у окна стоять, а Марой станет под окном снаружи, и если я к концу службы с иконами не явлюсь, то он стекло разобьет, и в окно полезет и всю вину на себя примет.

Это англичанину очень понравилось.

— Любопытно, — говорит, — любопытно! А почему я должен этому вашему глупому человеку с духом верить, что он сам не убежит?

— Ну уж это, мол, дело взаймоверия.

— Взаймоверия, — повторяет. — Гм, гм, взаймоверия! Я за глупого мужика в каторгу, или он за меня под кнут? Гм, гм! Если он сдержит слово… под кнут… Это интересно.

Послали за Мароем и объяснили ему, в чем дело, а он говорит:

— Ну так что же?

— А ты не убежишь? — говорит англичанин.

А Марой отвечает:

— Зачем?

— А чтобы тебя плетьми не били да в Сибирь не сослали.

А Марой говорит:

— Экося! — да больше и разговаривать не стал.

Англичанин так и радуется; весь ожил.

— Прелесть, — говорит, — как интересно.

Глава 14

Сейчас же за этим переговором началась и акция. Навеслили мы наутро большой хозяйский баркас и перевезли англичанина на городской берег; он там сел с изографом Севастьяном в коляску и покатил в монастырь, а через час с небольшим, смотрим, бежит наш изограф, и в руках у него листок с переводом иконы.

Спрашиваем:

— Видел ли, родной наш, и можешь ли теперь подделок потрафить?

— Видел, — отвечает, — и потрафлю, только разве как бы малость чем живее не сделал, но это не беда, когда икона сюда придет, я тогда в одну минуту яркость цвета усмирю.

— Батюшка, — молим его, — порадей!

— Ничего, — отвечает, — порадею!

И как мы его привезли, он сейчас сел за работу, и к сумеркам у него на холстике поспел ангел, две капли воды как наш запечатленный, только красками как будто немножко свежее.

К вечеру и злотарь новый оклад прислал, потому он еще прежде был по басме заказан.

Наступал самый опасный час нашего воровства.

Мы, разумеется, во всем изготовились и пред вечером помолились и ждем должного мгновения, и только что на том берегу в монастыре в первый колокол ко всенощной ударили, мы сели три человека в небольшую ладью: я, дед Марой да дядя Лука. Дед Марой захватил с собою топор, долото, лом и веревку, чтобы больше на вора походить, и поплыли прямо под монастырскую ограду.

А сумерки в эту пору, разумеется, ранние, и ночь, несмотря на вселуние, стояла претемная, настоящая воровская.

Переехавши, Марой и Лука оставили меня под бережком в лодке, а сами покрались в монастырь. Я же весла в лодку забрал, а сам концом веревки зацепился и нетерпеливо жду, чтобы чуть Лука

ногой в лодку ступит, сейчас плыть. Время мне ужасно долго казалось от томления, как все это выйдет и успеем ли мы все свое воровство покрыть, пока вечерняя и всенощна пройдет? И кажется мне, что уже времени и невесть сколь много ушло; а темень страшная, ветер рвет, и вместо дождя мокрый снег повалил, и лодку ветром стало поколыхивать, и я, лукавый раб, все мало-помалу угреваясь в свитенке, начал дремать. Только вдруг в лодку толк, и закачало. Я встрепенулся и вижу, в ней стоит дядя Лука и не своим, передавленным голосом говорит:

— Греби!

Я беру весла, да никак со страха в уключины не попаду. Насилу справился и отвалил от берега, да и спрашиваю:

— Добыли, дядя, ангела?

— Со мной он, греби мощней!

— Расскажи же, — пытаю, — как вы его достали?

— Непорушно достали, как было сказано.

— А успеем ли назад взворотить?

— Должны успеть: еще только великий прокимен вскричали. Греби! Куда ты гребешь?

Я оглянулся: ах ты господи! и точно, я не туда гребу: все, кажись, как надлежит, впоперек тече-

ния держу, а нашей слободы нет, — это потому, что снег и ветер такой, что страх, и в глаза лепит, и вокруг ревет и качает, а сверху реки точно как льдом дышит.

Ну, однако, милостью Божиею мы доставились; соскочили оба с лодки и бегом побежали. Изограф уже готов: действует хладнокровно, но твердо: взял прежде икону в руки, и как народ пред нею упал и поклонился, то он подпустил всех познаменоваться с запечатленным ликом, а сам смотрит и на нее и на свою подделку, и говорит:

— Хороша! только надо ее маленько грязцой с шафраном усмирить! — А потом взял икону с ребер в тиски и налячил свою пилку, что приправил в крутой обруч, и… пошла эта пилка порхать. Мы все стоим и того и смотрим, что повредит! Страсть-с! Можете себе вообразить, что ведь спиливал он ее этими своими махинными ручищами с доски тониною не толще как листок самой тонкой писчей бумаги… Долго ли тут до греха: то есть вот на волос покриви пила, так лик и раздерет и насквозь выскочит! Но изограф Севастьян всю эту акцию совершал с такою холодностью и искусством, что, глядя на него, с каждой минутой делалось мирней на душе. И точно, спилил он изображение на тончайшем

самом слое, потом в одну минуту этот спилок из краев вырезал, а края опять на ту же доску наклеил, а сам взял свою подделку скомкал, скомкал ее в кулаке и ну ее трепать об край стола и терхать в долонях, как будто рвал и погубить ее хотел, и наконец глянул сквозь холст на свет, а весь этот новенький списочек как сито сделался в трещинах… Тут Севастьян сейчас взял его и вклеил на старую доску в средину краев, а на долонь набрал какой знал темной красочной грязи, замесил ее пальцами со старою олифою и шафраном вроде замазки и ну все это долонью в тот потерханный списочек крепко-накрепко втирать… Живо он все это свершал, и вновь писанная иконка стала совсем старая и как раз такая, как настоящая. Тут этот подделок в минуту проолифили и другие наши люди стали окладом ее одевать, а изограф вправил в приготовленную досточку настоящий выпилок и требует себе скорее лохмот старой поярковой шляпы.

Это начиналась самая трудная акция распечатления.

Подали изографу шляпу, а он ее сейчас перервал пополам на колене и, покрыв ею запечатленную икону, кричит:

— Давай каленый утюг!

В печи, по его приказу, лежал в жару раскален тяжелый портняжий утюг.

Михайлица зацепила его и подает на ухвате, а Севастьян обернул ручку тряпкою, поплевал на утюг, да как дернет им по шляпному обрывку!.. От разу с этого войлока злой смрад повалил, а изограф еще раз, да еще им трет и враз отхватывает. Рука у него просто как молонья летает, и дым от поярка уже столбом валит, а Севастьян знай печет: одной рукой поярочек помалу поворачивает, а другою — утюгом действует, и все раз от разу неспешнее да сильнее налегает, и вдруг отбросил и утюг и поярок и поднял к свету икону, а печати как не бывало: крепкая строгановская олифа выдержала, и сургуч весь свелся, только чуть как будто красноогненная роса осталась на лике, но зато светлобожественный лик весь виден…

Тут кто молится, кто плачет, кто руки изографу лезет целовать, а Лука Кирилов своего дела не забывает и, минутою дорожа, подает изографу его поддельную икону и говорит:

— Ну, кончай же скорей!

А тот отвечает:

— Моя акция кончена, я все сделал, за что брался.

— А печать наложить.

— Куда?

— А вот сюда этому новому ангелу на лик, как у того было.

А Севастьян покачал головою и отвечает:

— Ну нет, я не чиновник, чтоб этакое дело дерзнул сделать.

— Так как же нам теперь быть?

— А уже я, — говорит, — этого не знаю. Надо было вам на это чиновника или немца припасти, а упустили сих деятелей получить, так теперь сами делайте.

Лука говорит:

— Что ты это! да мы ни за что не дерзнем!

А изограф отвечает:

— И я не дерзну.

И идет у нас в эти краткие минуты такая сумятица, как вдруг влетает в избу Якова Яковлевича жена, вся бледная как смерть, и говорит:

— Неужели вы еще не готовы?

Говорим: и готовы и не готовы: важнейшее сделали, но ничтожного не можем.

А она немует по-своему.

— Что же вы ждете? Разве вы не слышите, что на дворе?

Мы прислушались и сами еще хуже ее побледнели: в своих заботах мы на погоду внимания не

обращали, а теперь слышим гул: лед идет!

Выскочил я и вижу, он уже сплошной во всю реку прет, как зверье какое бешеное, крыта на крыгу скачет, друг на дружку так и прядают, и шумят, и ломаются.

Я, себя не помня, кинулся к лодкам, их ни одной нет: все унесло… У меня во рту язык осметком стал, так что никак его не сомну, и ребро за ребро опустилось, точно я в землю ухожу… Стою, и не двигаюсь, и голоса не даю.

А пока мы тут во тьме мечемся, англичанка, оставшись там в избе одна с Михайлицей и узнав, в чем задержка, схватила икону и… выскакивает с нею через минуту на крыльцо с фонарем и кричит:

— Нате, готово!

Мы глянули: у нового ангела на лике печать!

Лука сейчас обе иконы за пазуху и кричит:

— Лодку!

Я открываюсь, что нет лодок, унесло.

А лед, я вам говорю, так табуном и валит, ломится об ледорезы и трясет мост так, что индо слышно, как эти цепи, на что толсты, в добрую половицу, а и то погромыхивают.

Англичанка, как поняла это, всплеснула руками, да как взвизгнет нечеловеческим голосом:

«Джемс!» и пала неживая.

А мы стоим и одно чувствуем:

— Где же наше слово? что теперь будет с англичанином? что будет с дедом Мароем?

А в это время в монастыре на колокольне зазвонили третий звон.

Дядя Лука вдруг встрепенулся и воскликнул к англичанке:

— Очнись, государыня, муж твой цел будет, а разве только старого деда нашего Мароя ветхую кожу станет палач терзать и доброчестное лицо его клеймом обесчестит, но быть тому только разве после моей смерти! — и с этим словом перекрестился, выступил и пошел.

Я вскрикнул:

— Дядя Лука, куда ты? Левонтий погиб, и ты погибнешь! — да и кинулся за ним, чтоб удержать, но он поднял из-под ног весло, которое я, приехавши, наземь бросил, и, замахнувшись на меня, крикнул:

— Прочь! или насмерть ушибу!

Господа, довольно я пред вами в своем рассказе открыто себя малодушником признавал, как в то время, когда покойного отрока Левонтия на земле бросил, а сам на древо вскочил, но ей-право, говорю вам, что я бы тут не испугался весла и от дяди

Луки бы не отступил, но… угодно вам — верьте, не угодно — нет, а только в это мгновение не успел я имя Левонтия вспомнить, как промежду им и мною во тьме обрисовался отрок Левонтий и рукой погрозил. Этого страха я не выдержал и возринулся назад, а Лука стоит уже на конце цепи и вдруг, утвердившись на ней ногою, молвит сквозь бурю:

— Заводи катавасию!

Головщик наш Арефа тут же стоял и сразу его послушал и ударил: «Отверзу уста», а другие подхватили, и мы катавасию кричим, бури вою сопротивляясь, а Лука смертного страха не боится и по мостовой цепи идет. В одну минуту он один первый пролет перешел и на другой спущается… А далее? далее объяла его тьма, и не видно: идет он или уже упал и крыгами проклятыми его в пучину забуровило, и не знаем мы: молить ли о его спасении или рыдать за упокой его твердой и любоче-стивой души?

Глава 15

Теперь что же-с происходило на том берегу? Преосвященный владыко архиерей своим правилом в главной церкви всенощную совершал,

ничего не зная, что у него в это время в приделе крали; наш англичанин Яков Яковлевич с его соизволения стоял в соседнем приделе в алтаре и, скрав нашего ангела, выслал его, как намеревался, из церкви в шинели, и Лука с ним помчался; а дед же Марой, свое слово наблюдая, остался под тем самым окном на дворе и ждет последней минуты, чтобы, как Лука не возвратится, сейчас англичанин отступит, а Марой разобьет окно и полезет в церковь с ломом и с долотом, как настоящий злодей. Англичанин глаз с него не спускает и видит, что дед Марой исправен стоит на своем послушании, и чуть заметит, что англичанин лицом к окну прилегает, чтобы его видеть, он сейчас кивает, что здесь, мол, я — ответный вор, здесь!

И оба таким образом друг другу свое благородство являют и не позволяют один другому себя во взаимоверии превозвысить, а к этим двум верам третия, еще сильнейшая двизает, но только не знают они, что та, третья, вера творит. Но вот как ударили в последний звон всенощной, англичанин и приотворил тихонько оконную форточку, чтобы Марой лез, а сам уже готов отступать, но вдруг видит, что дед Марой от него отворотился и не смотрит, а напряженно за реку глядит и твердисловит:

— Перенеси Бог! перенеси Бог, перенеси Бог! — а потом вдруг как вспрыгнет и сам словно пьяный пляшет, а сам кричит:

— Перенес Бог, перенес Бог!

Яков Яковлевич в величайшее отчаяние пришел, думает:

«Ну, конец: глупый старик помешался, и я погиб», — ан смотрит, Марой с Лукою уже обнимаются.

Дед Марой шавчит:

— Я тебя назирал, как ты с фонарями по цепи шел.

А дядя Лука говорит:

— Со мною не было фонарей.

— Откуда же светение?

Лука отвечает:

— Я не знаю, я не видал светения, я только бегом бежал и не знаю, как перебег и не упал… точно меня кто под обе руки нес.

Марой говорит:

— Это ангелы, — я их видел, и зато я теперь не преполовлю дня и умру сегодня.

А Луке как некогда было много говорить, то деду он не отвечает, а скорее англичанину в форточку обе иконы подает. Но тот взял и кажет их назад.

— Что же, — говорит, — печати нет?

Лука говорит:

— Как нет?

— Да нет.

Ну, тут Лука перекрестился и говорит:

— Ну, кончено! Теперь некогда поправлять. Это чудо церковный ангел совершил, и я знаю, к чему оно.

И сразу бросился Лука в церковь, протеснился в алтарь, где владыку разоблачали, и, пав ему в ноги, говорит:

— Так и так, я святотатец, и вот что сейчас совершил: велите меня оковать и в тюрьму посадить.

А владыка в меру чести своея все то выслушал и ответствует:

— Это тебе должно быть внушительно теперь, где вера действеннее: вы, — говорит, — плутовством с своего ангела печать свели, а наш сам с себя ее снял и тебя сюда привел.

Дядя говорит:

— Вижу, владыко, и трепещу. Повели же отдать меня скорее на казнь.

А архиерей ответствует разрешительным словом:

— Властию, мне данною от Бога, прощаю и разрешаю тебя, чадо. Приготовься заутро принять пречистое тело Христово.

Ну, а дальше, господа, я думаю, нечего вам и рассказывать: Лука Кирилов и дед Марой утром ворочаются и говорят:

— Отцы и братие, мы видели славу ангела господствующей церкви и все божественное о ней смотрение в добротолюбии ее иерарха и сами к оной освященным елеем примазались и тела и крови Спаса сегодня за обеднею приобщались.

А я как давно, еще с гостинок у старца Памвы, имел влечение воедино одушевиться со всею Русью, воскликнул за всех:

— И мы за тобой, дядя Лука! — да так все в одно стадо, под одного пастыря, как ягнятки, и подобрались, и едва лишь тут только поняли, к чему и куда всех нас наш запечатленный ангел вел, пролия сначала свои стопы и потом распечатлевшись ради любви людей к людям, явленной в сию страшную ночь.

Глава 16

Рассказчик кончил. Слушатели еще молчали, но наконец один из них откашлянулся и заметил, что в истории этой все объяснимо, и сны Михайлицы, и видение, которое ей примерещилось впросонье, и падение ангела, которого забеглая

кошка или собака на пол столкнула, и смерть Левонтия, который болел еще ранее встречи с Памвою, объяснимы и все случайные совпадения слов говорящего какими-то загадками Памвы.

— Понятно и то, — добавил слушатель, — что Лука по цепи перешел с веслом: каменщики известные мастера где угодно ходить и лазить, а весло тот же балансир; понятно, пожалуй, и то, что Марой мог видеть около Луки светение, которое принял за ангелов. От большой напряженности сильно перезябшему человеку мало ли что могло зарябить в глазах? Я нашел бы понятным даже и то, если бы, например, Марой, по своему предсказанию, не преполовя дня умер…

— Да он и умер-с, — отозвался Марк.

— Прекрасно! И здесь ничего нет удивительного восьмидесятилетнему старику умереть после таких волнений и простуды; но вот что для меня действительно совершенно необъяснимо: как могла исчезнуть печать с нового ангела, которого англичанка запечатала?

— Ну, а это уже самое простое-с, — весело отозвался Марк и рассказал, что они после этого вскоре же нашли эту печать между образом и ризою.

— Как же это могло случиться?

— А так: англичанка тоже не дерзнула ангельский лик портить, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края оклада… Оно это было очень умно и искусно ею устроено, но Лука как нес иконы, так они у него за пазухой шевелились, и оттого печать и спала.

— Ну, теперь, значит, и все дело просто и естественно.

— Да, так и многие располагают, что все это случилось самым обыкновенным манером, и даже не только образованные господа, которым об этом известно, но и наша братия, в раздоре остающиеся, над нами смеются, что будто нас англичанка на бумажке под церковь подсунула. Но мы против таковых доводов не спорим: всяк как верит, так и да судит, а для нас все равно, какими путями Господь человека взыщет и из какого сосуда напоит, лишь бы взыскал и жажду единодушия его с отечеством утолил. А вон мужички-вахлачки уже вылезают из-под снегу. Отдохнули, видно, сердечные, и сейчас поедут. Авось они и меня подвезут. Васильева ночка прошла. Утрудил я вас и много кое-где с собою выводил. С Новым годом зато имею честь поздравить, и простите, Христа ради, меня, невежу!

1873

СВЯТОЧНЫЕ РАССКАЗЫ
Жемчужное ожерелье
Глава 1

В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе — о вымысле, о фабуле. Сожалели, отчего все это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны.

«Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, — говорил Писемский, — и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, — все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому «на долгих», в общем тарантасе или «на сдаточных», — да и ямщик-то тебе попадет подлец, да и соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а «куфарка» у него неопрятище, — так ведь сколько разнообразия

насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, — изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту «куфарку» обругаешь, а она тебя на ответ — вдесятеро иссрамит, так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет, — ну, разумеется, густо и в сочинении выходило; а нынче все это по железнодорожному — бери тарелку, не спрашивай; ешь — пожевать некогда; динь-динь-динь и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда».

Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, но неправ, и привел в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако же видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостию содержания.

— Исключение составляют разве только одни его святочные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них есть однообразие; однако в этом винить автора нельзя, потому что это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера — от Рождества до

Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец — чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и потому автор неволит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе. А через это в святочных рассказах и замечается большая деланность и однообразие.

— Ну, я не совсем с вами согласен, — отвечал третий гость, почтенный человек, который часто умел сказать слово кстати. Потому нам всем и захотелось его слушать.

— Я думаю, — продолжал он, — что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время и нравы.

— Но чем же вы можете доказать ваше мнение? Чтобы оно было убедительно, надо, чтобы вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и век и современный человек, и между тем все бы это отвечало форме и программе святочного рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и

имело бы не грустное, а веселое окончание.

— А что же? — я могу вам представить такой рассказ, если хотите.

— Сделайте одолжение! Но только помните, что он должен быть истинное происшествие!

— О, будьте уверены, — я расскажу вам происшествие самое истиннейшее, и притом о лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженною доброю репутациею.

Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно достойный и прекрасный человек.

— Да, — отвечал тот, — вот я и поведу речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке.

Глава 2

Назад тому три года брат приехал ко мне на Святки из провинции, где он тогда служил, и точно его какая муха укусила — приступил ко мне и к моей жене с неотступною просьбою: «Жените меня».

Мы сначала думали, что он шутит, но он серьезно и не с коротким пристает: «Жените, сделайте

милость! Спасите меня от невыносимой скуки одиночества! Опостылела холостая жизнь, надоели сплетни и вздоры провинции, — хочу иметь свой очаг, хочу сидеть вечером с дорогою женою у своей лампы. Жените!»

— Ну да постой же, — говорим, — все это прекрасно и пусть будет по-твоему, — Господь тебя благослови, — женись, но ведь надобно же время, надо иметь в виду хорошую девушку, которая бы пришлась тебе по сердцу и чтобы ты тоже нашел у нее к себе расположение. На все это надо время.

А он отвечает:

— Что же — времени довольно: две недели Святок венчаться нельзя, — вы меня в это время сосватайте, а на Крещенье вечерком мы обвенчаемся и уедем.

— Э, — говорю, — да ты, любезный мой, должно быть, немножко с ума сошел от скуки. (Слова «психопат» тогда еще не было у нас в употреблении.) Мне, — говорю, — с тобой дурачиться некогда, я сейчас в суд на службу иду, а ты вот тут оставайся с моей женою и фантазируй.

Думал, что все это, разумеется, пустяки или, по крайней мере, что это затея очень далекая от исполнения, а между тем возвращаюсь к обеду

домой и вижу, что у них уже дело созрело. Жена говорит мне:

— У нас была Машенька Васильева, просила меня съездить с нею выбрать ей платье, и пока я одевалась, они (то есть брат мой и эта девица) посидели за чаем, и брат говорит: «Вот прекрасная девушка! Что там еще много выбирать — женитe меня на ней!»

Я отвечаю жене:

— Теперь я вижу, что брат в самом деле одурел.

— Нет, позволь, — отвечает жена, — отчего же это непременно «одурел»? Зачем же отрицать то, что ты сам всегда уважал?

— Что это такое я уважал?

— Безотчетные симпатии, влечения сердца.

— Ну, — говорю, — матушка, меня на это не подденешь. Все это хорошо вовремя и кстати, хорошо, когда эти влечения вытекают из чего-нибудь ясно сознанного, из признания видимых превосходств души и сердца, а это — что такое… в одну минуту увидел и готов обрешетиться на всю жизнь.

— Да, а ты что же имеешь против Машеньки? — она именно такая и есть, как ты говоришь, — девушка ясного ума, благородного характера и прекрасного и верного сердца. Притом и он ей

очень понравился.

— Как! — воскликнул я, — так это ты уж и с ее стороны успела заручиться признанием?

— Признание, — отвечает, — не признание, а разве это не видно? Любовь ведь — это по нашему женскому ведомству, — мы ее замечаем и видим в самом зародыше.

— Вы, — говорю, — все очень противные свахи: вам бы только кого-нибудь женить, а там что из этого выйдет — это до вас не касается. Побойся последствий твоего легкомыслия.

— А я ничего, — говорит, — не боюсь, потому что я их обоих знаю, и знаю, что брат твой — прекрасный человек и Маша — премилая девушка, и они как дали слово заботиться о счастье друг друга, так это и исполнят.

— Как! — закричал я, себя не помня, — они уже и слово друг другу дали?

— Да, — отвечает жена, — это было пока иносказательно, но понятно. Их вкусы и стремления сходятся, и я вечером поеду с твоим братом к ним, — он, наверно, понравится старикам, и потом…

— Что же, что потом?

— Потом — пускай как знают; ты только не мешайся.

— Хорошо, — говорю, — хорошо, — очень рад в подобную глупость не мешаться.

— Глупости никакой не будет.

— Прекрасно.

— А будет все очень хорошо: они будут счастливы!

— Очень рад! Только не мешает, — говорю, — моему братцу и тебе знать и помнить, что отец Машеньки всем известный богатый сквалыжник.

— Что же из этого? Я этого, к сожалению, и не могу оспаривать, но это нимало не мешает Машеньке быть прекрасною девушкой, из которой выйдет прекрасная жена. Ты, верно, забыл то, над чем мы с тобою не раз останавливались: вспомни, что у Тургенева — все его лучшие женщины, как на подбор, имели очень непочтенных родителей.

— Я совсем не о том говорю. Машенька действительно превосходная девушка, а отец ее, выдавая замуж двух старших ее сестер, обоих зятьев обманул и ничего не дал, — и Маше ничего не даст.

— Почем это знать? Он ее больше всех любит.

— Ну, матушка, держи карман шире: знаем мы, что такое их «особенная» любовь к девушке, которая на выходе. Всех обманет! Да ему и не об-

мануть нельзя — он на том стоит, и состоянию-то своему, говорят, тем начало положил, что деньги в большой рост под залоги давал. У такого-то человека вы захотели любви и великодушия доискаться. А я вам то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды, и если он их надул и они теперь все во вражде с ним, то уж моего братца, который с детства страдал самою утрированною деликатностию, он и подавно оставит на бобах.

— То есть как это, — говорит, — на бобах?

— Ну, матушка, это ты дурачишься.

— Нет, не дурачусь.

— Да разве ты не знаешь, что такое значит «оставить на бобах»? Ничего не даст Машеньке, — вот и вся недолга.

— Ах, вот это-то!

— Ну, конечно.

— Конечно, конечно! Это быть может, но только я, — говорит, — никогда не думала, что по-твоему — получить путную жену, хотя бы и без приданого, — это называется «остаться на бобах».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчас — в чужой огород, а вам по соседству шпильку в бок…

— Я говорю вовсе не о себе…

— Нет, отчего же?..

— Ну, это странно, та chere!

— Да отчего же странно?

— Оттого странно, что я этого на свой счет не говорил.

— Ну, думал.

— Нет — совсем и не думал.

— Ну, воображал.

— Да нет же, черт возьми, ничего я не воображал!

— Да чего же ты кричишь?!

— Я не кричу.

— И «черти»... «черт»... Что это такое?

— Да потому, что ты меня из терпения выводишь.

— Ну вот то-то и есть! А если бы я была богата и принесла с собою тебе приданое...

— Э-ге-ге!..

Этого уже я не выдержал и, по выражению покойного поэта Толстого, «начав — как бог, окончил — как свинья». Я принял обиженный вид, — потому, что и в самом деле чувствовал себя несправедливо обиженным, — и, покачав головою, повернулся и пошел к себе в кабинет. Но, затворяя за собою дверь, почувствовал неодолимую жажду отмщения — снова отворил дверь и сказал:

— Это свинство!
А она отвечает:
— Mersi, мой милый муж.

Глава 3

Черт знает, что за сцена! И не забудьте — это после четырех лет самой счастливой и ничем ни на минуту не возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, обидно — и непереносно! Что за вздор такой! И из-за чего!.. Все это набаламутил брат. И что мне такое, что я так кипячусь и волнуюсь! Ведь он в самом деле взрослый, и не вправе ли он сам обсудить, какая особа ему нравится и на ком ему жениться?.. Господи — в этом сыну родному нынче не укажешь, а то, чтобы еще брат брата должен был слушаться… Да и по какому, наконец, праву?.. И могу ли я, в самом деле, быть таким провидцем, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чем кончится?.. Машенька действительно превосходная девушка, а моя жена разве не прелестная женщина?.. Да и меня, слава богу, никто негодяем не называл, а между тем вот мы с него, после четырех лет счастливой, ни на минуту ничем не смущенной жизни, теперь разбранились, как портной с портнихой… И все из-за

пустяков, из-за чужой шутовской прихоти…

Мне стало ужасно совестно перед собою и ужасно ее жалко, потому что я ее слова уже считал ни во что, а за все винил себя, и в таком грустном и недовольном настроении уснул у себя в кабинете на диване, закутавшись в мягкий ватный халат, выстеганный мне собственными руками моей милой жены…

Подкупающая это вещь — носильное удобное платье, сработанное мужу женинымиручками! Так оно хорошо, так мило и так вовремя и не вовремя напоминает и наши вины и те драгоценные ручки, которые вдруг захочется расцеловать и просить в чем-то прощения.

— Прости меня, мой ангел, что ты меня, наконец, вывела из терпения. Я вперед не буду.

И мне, признаться, до того захотелось поскорее идти с этой просьбой, что я проснулся, встал и вышел из кабинета.

Смотрю — в доме везде темно и тихо.

Спрашиваю горничную:

— Где же барыня?

— А они, — отвечает, — уехали с вашим братцем к Марьи Николаевны отцу. Я вам сейчас чай приготовлю.

«Какова! — думаю, — значит, она своего упор-

ства не оставляет, — она таки хочет женить брата на Машеньке… Ну пусть их делают, как знают, и пусть их Машенькин отец надует, как он надул своих старших зятьев. Да даже еще и более, потому что те сами жохи, а мой брат — воплощенная честность и деликатность. Тем лучше, — пусть он их надует — и брата и мою жену. Пусть она обожжется на первом уроке, как людей сватать!»

Я получил из рук горничной стакан чаю и уселся читать дело, которое завтра начиналось у нас в суде и представляло для меня немало трудностей.

Занятие это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя с братом возвратились в два часа и оба превеселые. Жена говорит мне:

— Не хочешь ли холодного ростбифа и стакан воды с вином? а мы у Васильевых ужинали.

— Нет, — говорю, — покорно благодарю.

— Николай Иванович расщедрился и отлично нас покормил.

— Вот как!

— Да — мы превесело провели время и шампанское пили.

— Счастливцы! — говорю, а сам думаю: «Значит, эта бестия, Николай Иванович, сразу раскусил, что за теленок мой брат, и дал ему пойла недаром.

Теперь он его будет ласкать, пока там женихов-ский рученец кончится, а потом — быть бычку на обрывочку».

А чувства мои против жены снова озлобились, и я не стал просить у нее прощенья в своей невин-ности. И даже если бы я был свободен и имел досуг вникать во все перипетии затеянной ими любовной игры, то не удивительно было б, что я снова не вытерпел бы — во что-нибудь вмешался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы; но, по счастию, мне было некогда. Дело, о котором я вам говорил, заняло нас на суде так, что мы с ним не чаяли освободиться и к празднику, а потому я домой являлся только поесть да выспаться, а все дни и часть ночей проводил пред алтарем Фемиды.

А дома у меня дела не ждали, и когда я под самый сочельник явился под свой кров, довольный тем, что освободился от судебных занятий, меня встретили тем, что пригласили осмотреть роскошную корзину с дорогими подарками, под-носимыми Машеньке моим братом.

— Это что же такое?

— А это дары жениха невесте, — объяснила мне моя жена.

— Ага! так вот уже как! Поздравляю.

— Как же! Твой брат не хотел делать формального предложения, не переговорив еще раз с тобою, но он спешит со своей свадьбой, а ты, как назло, сидел все в своем противном суде. Ждать было невозможно, и они помолвлены.

— Да и прекрасно, — говорю, — незачем было меня и ждать.

— Ты, кажется, остришь?

— Нисколько я не острю.

— Или иронизируешь?

— И не иронизирую.

— Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на все твое карканье, они будут пресчастливы.

— Конечно, — говорю, — уж если ты ручаешься, то будут… Есть такая пословица: «Кто думает три дни, тот выберет злыдни». Не выбирать — вернее.

— А что же, — отвечает моя жена, закрывая корзинку с дарами, — ведь это вы думаете, будто вы нас выбираете, а в существе ведь все это вздор.

— Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбирают женихов, а женихи к девушкам сватаются.

— Да, сватаются — это правда, но выбора, как осмотрительного или рассудительного дела, ни-

когда не бывает.

Я покачал головою и говорю:

— Ты бы подумала о том, что ты такое говоришь. Я вот тебя, например, выбрал — именно из уважения к тебе и сознавая твои достоинства.

— И врешь.

— Как вру?!

— Врешь — потому что ты выбрал меня совсем не за достоинства.

— А за что же?

— За то, что я тебе понравилась.

— Как, ты даже отрицаешь в себе достоинства?

— Нимало — достоинства во мне есть, а ты все-таки на мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась.

Я чувствовал, что она говорит правду.

— Однако же, — говорю, — я целый год ждал и ходил к вам в дом. Для чего же я это делал?

— Чтобы смотреть на меня.

— Неправда — я изучал твой характер.

Жена расхохоталась.

— Что за пустой смех!

— Нисколько не пустой. Ты ничего, мой друг, во мне не изучал, и изучать не мог.

— Это почему?

— Сказать?

— Сделай милость, скажи!

— Потому, что ты был в меня влюблен.

— Пусть так, но это мне не мешало видеть твои душевные свойства.

— Мешало.

— Нет, не мешало.

— Мешало, и всегда всякому будет мешать, а потому это долгое изучение и бесполезно. Вы думаете, что, влюбившись в женщину, вы на нее смотрите с рассуждением, а на самом деле вы только глазеете с воображением.

— Ну… однако, — говорю, — ты уж это как-то… очень реально.

А сам думаю: «Ведь это правда!»

А жена говорит:

— Полно думать, — худа не вышло, а теперь переодевайся скорее и поедем к Машеньке: мы сегодня у них встречаем Рождество, и ты должен принести ей и брату свое поздравление.

— Очень рад, — говорю. И поехали.

Глава 4

Там было подношение даров и принесение поздравлений, и все мы порядочно упились веселым нектаром Шампани.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддерживать во всех веру в счастье, ожидающее обрученных, и пить шампанское. В этом и проходили дни и ночи то у нас, то у родителей невесты.

В этаком настроении долго ли время тянется?

Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Нового года. Ожидания радостей усиливаются. Свет целый желает радостей, — и мы от людей не отстали. Встретили мы Новый год опять у Машенькиных родных с таким, как деды наши говорили, «мочимордием», что оправдали дедовское речение: «Руси есть веселие пити». Одно было не в порядке. Машенькин отец о приданом молчал, но зато сделал дочери престранный и, как потом я понял, совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье… Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо.

«Ого-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных давних, благих дней, когда богатые люди из знати еще в ломбарды вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам вроде Машенькиного

отца».

Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой. Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, ряснами, — назади начато небольшим, но самым скатным кафимским зерном, а потом все крупней и крупнее бурмицкое, и, наконец, что далее книзу, то пошли как бобы, и в самой середине три черные перла поражающей величины и самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата. Словом сказать — мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным, и нам понравилось также и слово, произнесенное стариком при подаче ожерелья. Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал: «Вот тебе, доченька, штучка с наговором: ее никогда ни тля не петлит, ни вор не украдет, а если и украдет, то не обрадуется. Это — вечное».

Но у женщин ведь на все свои точки зрения, и Машенька, получив ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивановичу у окна выговор, который он по праву родства выслушал. Выговор ему за подарок жемчуга следовал потому, что жемчуг знаменует и предвещает слезы. А потому

жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется.

Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился.

— Это, — говорит, — во-первых, пустые предрассудки, и если кто-нибудь может подарить мне жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сейчас возьму. Я, сударыня, тоже в свое время эти тонкости проходил, и знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть кости людей, умерших от любви, а замужним дамам нельзя дарить аметиста avec fleches d'Amour, но тем не менее я пробовал дарить такие аметисты, и дамы брали…

Моя жена улыбнулась. А он говорит:

— Я и вам попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчуг жемчугу рознь. Не всякий жемчуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из Красного моря, а есть перлы из тихих вод — d'eau douce, тот без слезы берут. Сентиментальная Мария Стюарт только такой и носила perle d'eau douce, из шотландских рек, но он ей не принес счастья. Я знаю, что надо дарить, — то я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете. За это я вам не подарю ничего avec

fleches d'Amour, а подарю вам хладнокровный «лунный камень». Но ты, мое дитя, не плачь и выбрось из головы, что мой жемчуг приносит слезы. Это не такой. Я тебе на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебе никаких предрассудков бояться нечего…

Так это и успокоилось, и брата с Машенькой после Крещенья перевенчали, а на следующий день мы с женою поехали навестить молодых.

Глава 5

Мы застали их вставшими и в необыкновенно веселом расположении духа. Брат сам открыл нам двери помещения, взятого им для себя, ко дню свадьбы, в гостинице, встретил нас весь сияя и покатываясь со смеху.

Мне это напомнило один старый роман, где новобрачный сошел с ума от счастья, и я это брату заметил, а он отвечает:

— А что ты думаешь, ведь со мною в самом деле произошел такой случай, что возможно своему уму не верить. Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшним днем, принесла мне не только ожиданные радости от моей милой жены, но также неожиданное благополучие от тестя.

— Что же такое еще с тобою случилось?

— А вот входите, я вам расскажу.

Жена мне шепчет:

— Верно, старый негодяй их надул.

Я отвечаю:

— Это не мое дело.

Входим, а брат подает нам открытое письмо, полученное на их имя рано по городской почте, и в письме читаем следующее:

«Предрассудок насчет жемчуга ничем вам угрожать не может: этот жемчуг фальшивый».

Жена моя так и села.

— Вот, — говорит, — негодяй!

Но брат ей показал головою в ту сторону, где Машенька делала в спальне свой туалет, и говорит:

— Ты неправа: старик поступил очень честно. Я получил это письмо, прочел его и рассмеялся… Что же мне тут печального? я ведь приданого не искал и не просил, я искал одну жену, стало быть, мне никакого огорчения в том нет, что жемчуг в ожерелье не настоящий, а фальшивый. Пусть это ожерелье стоит не тридцать тысяч, а просто триста рублей, — не все ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива… Одно только меня озабочивало, как это сообщить Маше? Над этим я задумался и сел, оборотясь лицом к окну, а то-

го не заметил, что дверь забыл запереть. Через несколько минут оборачиваюсь и вдруг вижу, что у меня за спиною стоит тесть и держит что-то в руке в платочке.

«Здравствуй, — говорит, — зятюшка!»

Я вскочил, обнял его и говорю:

«Вот это мило! мы должны были к вам через час ехать, а вы сами… Это против всех обычаев… мило и дорого».

«Ну что, — отвечает, — за счеты! Мы свои. Я был у обедни, — помолился за вас и вот просвиру вам привез».

Я его опять обнял и поцеловал.

«А ты письмо мое получил?» — спрашивает.

«Как же, — говорю, — получил».

И я сам рассмеялся.

Он смотрит.

«Чего же, — говорит, — ты смеешься?»

«А что же мне делать? Это очень забавно».

«Забавно?»

«Да как же».

«А ты подай-ка мне жемчуг».

Ожерелье лежало тут же на столе в футляре, — я его и подал.

«Есть у тебя увеличительное стекло?»

Я говорю: «Нет».

«Если так, то у меня есть. Я по старой привычке всегда его при себе имею. Изволь смотреть на замок под собачку».

«Для чего мне смотреть?»

«Нет, ты посмотри. Ты, может быть, думаешь, что я тебя обманул».

«Вовсе не думаю».

«Нет — смотри, смотри!»

Я взял стекло и вижу — на замке, на самом скрытном месте микроскопическая надпись французскими буквами: «Бургильон».

«Убедился, — говорит, — что это действительно жемчуг фальшивый?»

«Вижу».

«И что же ты мне теперь скажешь?»

«То же самое, что и прежде. То есть: это до меня не касается, и вас только буду об одном просить…»

«Проси, проси!»

«Позвольте не говорить об этом Маше».

«Это для чего?»

«Так…»

«Нет, в каких именно целях? Ты не хочешь ее огорчить?»

«Да — это между прочим».

«А еще что?»

«А еще то, что я не хочу, чтобы в ее сердце хоть что-нибудь шевельнулось против отца».

«Против отца?»

«Да».

«Ну, для отца она теперь уже отрезанный ломоть, который к караваю не пристанет, а ей главное — муж...»

«Никогда, — говорю, — сердце не заезжий двор: в нем тесно не бывает. К отцу одна любовь, а к мужу — другая, и кроме того... муж, который желает быть счастлив, обязан заботиться, чтобы он мог уважать свою жену, а для этого он должен беречь ее любовь и почтение к родителям».

«Ага! Вот ты какой практик!»

И стал молча пальцами по табуретке барабанить, а потом встал и говорит:

«И, любезный зять, наживал состояние своими трудами, но очень разными средствами. С высокой точки зрения они, может быть, не все очень похвальны, но такое мое время было, да я и не умел наживать иначе. В людей я не очень верю, и про любовь только в романах слыхал, как читают, а на деле я все видел, что все денег хотят. Двум зятьям я денег не дал, и вышло верно: они на меня злы и жен своих ко мне не пускают. Не знаю, кто из нас благороднее — они или я? Я

денег им не даю, а они живые сердца портят. А я им денег не дам, а вот тебе возьму да и дам! Да! И вот, даже сейчас дам!»

И вот извольте смотреть!

Брат показал нам три билета по пятидесяти тысяч рублей.

— Неужели, — говорю, — все это твоей жене?

— Нет, — отвечает, — он Маше дал пятьдесят тысяч, а я ему говорю:

«Знаете, Николай Иванович, — это будет щекотливо… Маше будет неловко, что она получит от вас приданое, а сестры ее — нет… Это непременно вызовет у сестер к ней зависть и неприязнь… Нет, бог с ними, — оставьте у себя эти деньги и… когда-нибудь, когда благоприятный случай примирит вас с другими дочерьми, тогда вы дадите всем поровну. И вот тогда это принесет всем нам радость… А одним нам… не надо!»

Он опять встал, опять прошелся по комнате и, остановись против двери спальни, крикнул:

«Марья!»

Маша уже была в пеньюаре и вышла.

«Поздравляю, — говорит, — тебя».

Она поцеловала его руку.

«А счастлива быть хочешь?»

«Конечно, хочу, папа, и… надеюсь».

«Хорошо… Ты себе, брат, хорошего мужа выбрала!»

«Я, папа, не выбирала. Мне его бог дал».

«Хорошо, хорошо. Бог дал, а я придам: я тебе хочу прибавить счастья. — Вот три билета, все равные. Один тебе, а два твоим сестрам. Раздай им сама — скажи, что ты даришь…»

«Папа!»

Маша бросилась ему сначала на шею, а потом вдруг опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колена. Смотрю — и он заплакал.

«Встань, встань! — говорит. — Ты нынче, по народному слову, «княгиня» — тебе неприлично в землю мне кланяться».

«Но я так счастлива… за сестер!..»

«То-то и есть… И я счастлив!.. Теперь можешь видеть, что нечего тебе было бояться жемчужного ожерелья.

Я пришел тебе тайну открыть: подаренный мною тебе жемчуг — фальшивый, меня им давно сердечный приятель надул, да ведь какой, — не простой, а слитый из Рюриковичей и Гедиминовичей. А вот у тебя муж простой души, да истинной: такого надуть невозможно — душа не стерпит!»

— Вот вам весь мой рассказ, — заключил со-

беседник, — и я, право, думаю, что, несмотря на его современное происхождение и на его невымышленность, он отвечает и программе и форме традиционного святочного рассказа.

1885

Неразменный рубль
Глава 1

Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, т. е. такой рубль, который, сколько раз его ни выдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную без единой отметины кошку и нести ее продавать рождественскою ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу.

Здесь надо стать, пожать кошку посильнее, так, чтобы она замяукала, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но

продавец должен требовать непременно только рубль, — ни больше, ни меньше как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль, и когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный, — то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, — он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, сто рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль.

Конечно, это поверье пустое и недостаточное; но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил.

Глава 2

Раз, во времена моего детства, няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе «неразменный рубль». Она рас-

пространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку; но зато их ждут и самые большие радости… Сколько можно накупить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль! Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я знал, что на свете бывают пряники желтые, с патокою, и белые пряники — с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется «резь», или лапша, или еще проще — «шмотья», бывают орехи простые и каленые; а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видал картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог купить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки и она решила

подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что он имеет одно волшебное, очень капризное свойство.

— Какое? — спросил я.

— А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться.

Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно.

Глава 3

Няня не обманула: ночь пролетела как краткое мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткою в своем большом чепце с рюшевыми мармотками и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре.

— Ну, вот тебе беспереводный рубль, — сказала она. — Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию, пить чай, а ты один, — совершенно

один, — можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоем же кармане.

— Да, — говорю, — я уже все знаю.

А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает:

— Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство, — его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не переведется в твоем кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные, но раз, что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность — твой рубль в то же мгновение исчезнет.

— О, — говорю, — бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали; но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается; но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении.

— Прекрасно, — сказала бабушка, — но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала.

— Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане.

— Очень рада, — посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян: помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь.

— В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом.

— О, моя милая бабушка, — отвечал я, — вам и не будет надобности давать мне советы, — я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно.

— В таком разе идем, — и бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему попозже, а пока мы отправились с нею на ярмарку.

Погода была хорошая, — умеренный моро-

зец, с маленькой влажностью; в воздухе пахло крестьянской белой онучею, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что у кого есть лучшего. Мальчики из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали, стояли под плетнем и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душою в общей гармонии, и… я посмотрел на бабушку…

Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение: я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек, да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целехонек и уже опять лежит там, как

было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала:

— Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своею возможностию. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман попробуй, где твой неразменный рубль?

Я опустил руку, и… мой неразменный рубль был в моем кармане.

— Ага, — подумал я, — теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее.

Глава 4

Я подошел к лавочке, где были ситцы и платки, и накупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по малиновому головному платку; и каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, — мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной

дочки, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, сробел; но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки благополучно оказался в моем кармане.

— Невесте идет принарядиться, — сказала бабушка, — это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать, — от радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту.

Потом я купил и себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтирь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастие прийтись по вкусу племенному теленку, который жил в одной избе со скотницею. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени, и занялся тем, что в счастливый час досуга отжевал углы у всех листов «Псалтиря». Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об этом скорбела.

Я был уверен, что купить для нее новую книгу

вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было: когда я опустил руку в карман, рубль был снова на своем месте.

Я стал покупать шире и больше, — я брал все, что, по моим соображениям, было нужно, и накупил даже вещи слишком рискованные, — так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке — гармонию. Рубль, однако, все был дома, а на лицо бабушки я уж не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр всего, — на меня все смотрели, за мною все шли, обо мне говорили.

— Смотрите, каков наш барчук Миколаша! Он один может скупить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль.

И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходили и все обо мне говорили — как я умен, богат и добр.

Мне стало беспокойно и скучно.

Глава 5

А в это самое время, — откуда ни возьмись, — ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных

торговцев и, сняв картуз, стал говорить:

— Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С ним не штука удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить.

— Да, если это будет вещь ненужная, — так я ее, разумеется, не куплю.

— Как это «ненужная»? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других, но вон как эти другие помнят ваши благодеяния: вас уж теперь все позабыли.

Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим, действительно, только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного, сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он

поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое, тусклое блистание.

Это было все, что длинный, сухой человек имел в себе привлекательного, и, однако, за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы.

— Я ничего не вижу в этом хорошего, — сказал я моему новому спутнику.

— Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, — за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новою книжкою. А о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего.

Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу.

Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось все это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками.

— И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?

— Да, я это думаю, — отвечал пузан.

— Ну, так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь! — воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал: — Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?

Глава 6

Человек со стекляшками повернулся перед солнцем так, что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:

— Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.

— Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет.

Он очень лукаво улыбнулся и молвил:

— Однако вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте, — вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я его отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блестеть на минутку, и это всем очень нравится.

— Прекрасно, — отвечал я, — я даю вам по руб-

лю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорей ваш жилет.

— Нет, прежде извольте отсчитать деньги.

— Хорошо.

Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом снова опустил руку во второй раз, но… карман мой был пуст… Мой неразменный рубль уже не возвратился… он пропал… он исчез… его не было, и на меня все смотрели и смеялись.

Я горько заплакал и… проснулся…

Глава 7

Было утро; у моей кроватки стояла бабушка, в ее большом белом чепце с рюшевыми мармотками, и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила.

Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал.

— Что же, — сказала бабушка, — сон твой хорош, — особенно если ты захочешь понять его, как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаенный смысл. Неразменный рубль — по-моему, это талант, который Прови-

дение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутий четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль — это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастия своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив — чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверх теплого полушубка — есть суета, потому что жилет сверх полушубка не нужен, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавши кое-что — очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоем сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что не нужные стеклышки, и — рубль твой растаял. Этому и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень

бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоем сновидении.

— Кроме одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

— Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета со стекловидными пуговицами.

— Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

— Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но… если ты желаешь за это получить гораздо большее счастие, то… я тебя понимаю.

И вдруг мы с нею оба обнялись и, ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это мною было сделано, то сердце исполнилось такою радостию, какой я не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом — полное счастие, при котором ничего больше не хочешь.

Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду.

1883

Зверь

И звери внимаху святое слово.
Житие старца Серафима

Глава 1

Отец мой был известный в свое время следователь. Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставались мать, я и прислуга.

Матушка моя тогда была еще очень молода, а я — маленький мальчик.

При том случае, о котором я теперь хочу рассказать, мне было всего только пять лет.

Была зима, и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченелые. Отец мой находился об эту пору по

служебным обязанностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собою в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, у моей тетки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об этом нимало не сожалел, а, напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной твердости духа.

Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник.

Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел «развить мужество», и один раз, когда мне было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы.

Понятно, что я в доме такого хозяина гостил

неохотно и с немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было пять лет, и мои желания не принимались в расчет при соображении обстоятельств, которым приходилось подчиняться.

Глава 2

В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным; но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть была устроена так называемая «Эолова арфа». Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм, пораженных страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит

что-то такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе… Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов.

В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери.

Глава 3

Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он ездил с борзыми и травил волков,

зайцев и лисиц. Кроме того, в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей. Этих собак называли «пьявками». Они впивались в зверя так, что их нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь, в которого впивалась зубами пиявка, убивал ее ударом своей ужасной лапы или разрывал ее пополам, но никогда не бывало, чтобы пьявка отпала от зверя живая.

Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или с рогатиной, порода собак-пьявок, кажется, совсем уже перевелась в России; но в то время, о котором я рассказываю, они были почти при всякой хорошо собранной, большой охоте. Медведей в нашей местности тогда тоже было очень много, и охота за ними составляла большое удовольствие.

Когда случалось овладевать целым медвежьим гнездом, то из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обыкновенно держали в большом каменном сарае с маленькими окнами, проделанными под самой крышей. Окна эти были без стекол, с одними толстыми, железными решетками. Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг по дружке и висели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами. Только таким образом они и могли выглядывать

из своего заключения на вольный свет божий.

Когда нас выводили гулять перед обедом, мы больше всего любили ходить к этому сараю и смотреть на выставлявшиеся из-за решеток смешные мордочки медвежат. Немецкий гувернер Кольберг умел подавать им на конце палки кусочки хлеба, которые мы припасали для этой цели за своим завтраком.

За медведями смотрел и кормил их молодой доезжачий, по имени Ферапонт; но, как это имя было трудно для простонародного выговора, то его произносили «Храпон», или еще чаще «Храпошка». Я его очень хорошо помню: Храпошка был среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый парень лет двадцати пяти. Храпон считался красавцем — он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же большими глазами навыкате. К тому же он был необычайно смел. У него была сестра Аннушка, которая состояла в поднянях, и она рассказывала нам презанимательные вещи про смелость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу с медведями, с которыми он зимою и летом спал вместе в их сарае, так что они окружали его со всех сторон и клали на него свои головы, как на подушку.

Перед домом дяди, за широким круглым цвет-

ником, окруженным расписною решеткою, были широкие ворота, а против ворот посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, «беседочка».

Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного «умного», который представлялся наиболее смышленым и благонадежным по характеру. Такого отделяли от прочих собратий, и он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главным образом он должен был содержать караульный пост у столба перед воротами. Тут он и проводил большую часть своего времени, или лежа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх до «беседки» и здесь сидел или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки.

Жить такою привольною жизнью могли не все медведи, а только некоторые, особенно умные и кроткие, и то не во всю их жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своих зверских, неудобных в общежитии наклонностей, то есть пока они вели себя смирно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека.

Медведь, который нарушал спокойствие жите-

лей, немедленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его ничто не могло избавить.

Глава 4

Отбирать «смышленого медведя» должен был Храпон. Так как он больше всех обращался с медвежатами и почитался большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог это делать. Храпон же и отвечал за то, если сделает неудачный выбор, — но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя: медведей в России вообще зовут «мишками», а этот носил испанскую кличку «Сганарель». Он уже пять лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной «шалости». Когда о медведе говорили, что «он шалит», это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением.

Тогда «шалуна» сажали на некоторое время в «яму», которая была устроена на широкой поляне между гумном и лесом, а через некоторое время его выпускали (он сам вылезал по бревну) на поляну и тут его травили «молодыми пьявками» (то есть подрослыми щенками медвежьих собак).

Если же щенки не умели его взять и была опасность, что зверь уйдет в лес, то тогда стоявшие в запасном «секрете» два лучших охотника бросались на него с отборными опытными сворами, и тут делу наставал конец.

Если же эти собаки были так неловки, что медведь мог прорваться «к острову» (то есть к лесу), который соединялся с обширным брянским полесьем, то выдвигался особый стрелок с длинным и тяжелым кухенрейтеровским штуцером и, прицелясь «с сошки», посылал медведю смертельную пулю.

Чтобы медведь когда-либо ушел от всех этих опасностей, такого случая еще никогда не было, да страшно было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всех в том виноватых ждали бы смертоносные наказания.

Глава 5

Ум и солидность Сганареля сделали то, что описанной потехи или медвежьей казни не было уж целые пять лет. В это время Сганарель успел вырасти и сделался большим, матерым медведем, необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он отличался круглою, короткою мордою и доволь-

но стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона или пуделя, чем медведя. Зад у него был суховат и покрыт невысокою лоснящеюся шерстью, но плечи и загорбок были сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою растительностью. Умен Сганарель был тоже как пудель и знал некоторые замечательные для зверя его породы приемы: он, например, отлично и легко ходил на двух задних лапах, подвигаясь вперед передом и задом, умел бить в барабан, маршировал с большою палкою, раскрашенною в виде ружья, а также охотно и даже с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжелые кули на мельницу и с своеобразным шиком пресмешно надевал себе на голову высокую мужичью островерхую шляпу с павлиным пером или с соломенным пучком вроде султана.

Но пришла роковая пора — звериная натура взяла свое и над Сганарелем. Незадолго перед моим прибытием в дом дяди тихий Сганарель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяжче.

Программа преступных действий у Сганареля была та же самая, как и у всех прочих: для первоученки он взял и оторвал крыло гусю; потом

положил лапу на спину бежавшему за маткою жеребенку и переломил ему спину; а наконец: ему не понравились слепой старик и его поводырь, и Сганарель принялся катать их по снегу, причем пооттоптал им руки и ноги.

Слепца с его поводырем взяли в больницу, а Сганареля велели Храпону отвести и посадить в яму, откуда был только один выход — на казнь…

Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе Сганареля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу Сганареля «больнички», или кольца, и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал:

— Пойдем, зверь, со мною.

Медведь встал и пошел, да еще что было смешно — взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел с Храпоном обнявшись, точно два друга.

Они таки и были друзья.

Глава 6

Храпону было очень жаль Сганареля, но он ему ничем пособить не мог. Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометировавший себя Сганарель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью.

Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на Рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же самое время, когда Храпону было велено отвести виновного Сганареля и посадить его в яму.

Глава 7

В яму медведей сажали довольно просто. Люк, или творило ямы, обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным на хрупкие жерди, и посыпали эту покрышку снегом. Это было маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной ему предательской ловушки. Покорного зверя подводили к этому месту и заставляли

идти вперед. Он делал шаг или два и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не было никакой возможности выйти. Медведь сидел здесь до тех пор, пока наступало время его травить. Тогда в яму опускали в наклонном положении длинное, аршин семи, бревно, и медведь вылезал по этому бревну наружу. Затем начиналась травля. Если же случалось, что сметливый зверь, предчувствуя беду, не хотел выходить, то его понуждали выходить, беспокоя длинными шестами, на конце которых были острые железные наконечники, бросали зажженную солому или стреляли в него холостыми зарядами из ружей и пистолетов.

Храпон отвел Сганареля и заключил его под арест по этому же самому способу, но сам вернулся домой очень расстроенный и опечаленный. На свое несчастие, он рассказал своей сестре, как зверь шел с ним «ласково» и как он, провалившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал.

Храпон открыл Анне, что он бежал от этой ямы бегом, чтобы не слыхать жалостных стонов Сганареля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.

— Слава богу, — добавил он, — что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие муки принял, но в него ни за что бы не выстрелил.

Глава 8

Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец Храпошка», а потом хлопнул три раза в ладоши.

Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера Устина Петровича, старичка из пленных французов двенадцатого года.

Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистеньком лиловом франке с серебряными пуговицами, и дядя отдал ему приказание, чтобы к завтрашней «садке», или охоте на Сганареля, стрелками в секретах были посажены Флегонт — известнейший стрелок, который всегда бил без промаха, а другой Храпошка. Дядя, очевидно, хотел позабавиться над затруднительною борьбою чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в Сганареля или нарочно промахнется, то ему,

конечно, тяжело достанется, а Сганареля убьет вторым выстрелом Флегонт, который никогда не дает промаха.

Устин поклонился и ушел передавать приказание, а мы, дети, сообразили, что мы наделали беды и что во всем этом есть что-то ужасно тяжелое, так что бог знает, как это и кончится. После этого нас не занимали по достоинству ни вкусный рождественский ужин, который справлялся «при звезде», за один раз с обедом, ни приехавшие на ночь гости, из коих с некоторыми дети.

Нам было жаль Сганареля, жаль и Ферапонта, и мы даже не могли себе решить, кого из них двух мы больше жалеем.

Оба мы, то есть я и мой ровесник — двоюродный брат, долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим представлялся медведь. А когда няня нас успокоила, что медведя бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а завтра его убьют, то мною овладевала еще большая тревога.

Я даже просил у няни вразумления: нельзя ли молиться за Сганареля? Но такой вопрос был выше религиозных соображений старушки, и она, позевывая и крестя рот рукою, отвечала, что

наверно она об этом ничего не знает, так как ни разу о том у священника не спрашивала, но что, однако, медведь — тоже божие создание, и он плавал с Ноем в ковчеге.

Мне показалось, что напоминание о плаванье в ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие Божие может быть распространено не на одних людей, а также и на прочие божьи создания, и я с детской верою стал в моей кроватке на колени и, припав к подушке, просил величие божие не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.

Глава 9

Наступил день Рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и боннами к чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство: священник, дьякон и два дьячка.

Когда вошел дядя, причт запел «Христос рождается». Потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в два часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить Сганареля. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темно-

те травля невозможна и медведь может легко скрыться из вида.

Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надели наши заячьи шубки и лохматые, с круглыми подошвами, сапоги, вязанные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами, и тут же два стременных держали под уздцы дядину верховую английскую рыжую лошадь, по имени Щеголиха.

Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и как только он сел в седло, покрытое черною медвежьею шкурою с пахвами и паперсями, убранными бирюзой и «змеиными головками», весь наш огромный поезд тронулся, а через десять или пятнадцать минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю, которое было окружено цепью верховых охотников и вдали замыкалось лесом.

У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться

Флегонт и Храпошка.

Тайников этих не было видно, и некоторые указывали только на едва заметные «сошки», с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить в Сганареля.

Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали красивых вершников, у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение: были шведские Штраубсы, немецкие Моргенраты, английские Мортимеры и варшавские Колеты.

Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору от двух сомкнутых злейших «пьявок», а перед ним положили у орчака на вальтрап белый платок.

Молодые собаки, для практики которых осужден был умереть провинившийся Сганарель, были в огромном числе и все вели себя крайне самонадеянно, обнаруживая пылкое нетерпение и недостаток выдержки. Они визжали, лаяли, прыгали и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели доезжачие, а те беспрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодых, не помнивших себя от нетерпения псов к повиновению. Все это кипело желанием броситься на зверя, близкое присутствие которого собаки,

конечно, открыли своим острым природным чутьем.

Настало время вынуть Сганареля из ямы и пустить его на растерзание!

Дядя махнул положенным на его вальтрап белым платком и сказал: «Делай!»

Глава 10

Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделилось человек десять и пошли вперед через поле.

Отойдя шагов двести, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры нам издалека нельзя было видеть.

Это происходило как раз у самой ямы, где сидел Сганарель, но она тоже с нашей далекой позиции была незаметна.

Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в яму. Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нем, как по лестнице.

Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из нее на аршин.

Все глаза были устремлены на эту предва-

рительную операцию, которая приближала к самому любопытному моменту. Ожидали, что Сганарель сейчас же должен был показаться наружу; но он, очевидно, понимал, в чем дело и ни за что не шел.

Началось гонянье его в яме снежными комьями и шестами с острыми наконечниками, послышался рев, но зверь не шел из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму, но Сганарель только сердитее зарычал, а все-таки по-прежнему не показывался.

Тогда откуда-то из-за цепи вскачь подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржавой соломы.

Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли на ворке для подвоза корма с гуменника, но, несмотря на свою старость и худобу, она летела, поднявши хвост и натопорщив гриву. Трудно, однако, было определить: была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удали, или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя? По-видимому, последнее имело более вероятия, потому что лошадь была хорошо взнуздана, кроме железных удил, еще

острою бечевкою, которою и были уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и неслась и металась в стороны так отчаянно, что управлявший ею конюх в одно и то же время драл ей кверху голову бечевой, а другою рукою немилосердно стегал ее толстою нагайкою.

Но, как бы там ни было, солома была разделена на три кучи, разом зажжена и разом же с трех сторон скинута, зажженная, в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно.

Раздался оглушительный, бешеный рев, как бы смешанный вместе со стоном, но… медведь опять-таки не показывался…

До нашей цепи долетел слух, что Сганарель весь «опалился» и что он закрыл глаза лапами и лег вплотную в угол к земле, так что «его не стронуть».

Ворковая лошадь с разрезанными губами понеслась опять вскачь назад… Все думали, что это была посылка за новым привозом соломы. Между зрителями послышался укоризненный говор: зачем распорядители охоты не подумали ранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком. Дядя сердился и кричал что-то такое, чего я не мог разобрать за всею поднявшеюся в

это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников.

Но во всем этом виднелось нестроение и был, однако, свой лад, и ворковая лошадь уже опять, метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залег Сганарель, но не с соломою: на дровнях теперь сидел Ферапонт.

Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы Храпошку спустили в яму и чтобы он сам вывел оттуда своего друга на травлю…

Глава 11

И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твердо и решительно. Ни мало не сопротивляясь барскому приказу, он взял с дровней веревку, которою была прихвачена привезенная минуту тому назад солома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонт взял в руки и, держась за нее, стал спускаться по бревну, на ногах, в яму…

Страшный рев Сганареля утих и заменился глухим ворчанием.

Зверь как бы жаловался своему другу на жестокое обхождение с ним со стороны людей; но вот и

это ворчание сменилось совершенной тишиной.

— Обнимает и лижет Храпошку, — крикнул один из людей, стоявших над ямой.

Из публики, размещавшейся в санях, несколько человек вздохнули, другие поморщились.

Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевидно, не обещала им большого удовольствия. Но описанные мимолетные впечатления внезапно были прерваны новым событием, которое было еще неожиданнее и заключало в себе новую трогательность.

Из творила ямы, как бы из преисподней, показалась курчавая голова Храпошки в охотничьей круглой шапке. Он взбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, то есть Ферапонт шел на ногах по бревну, притягивая себя к верху крепко завязанной концом снаружи веревки. Но Ферапонт выходил не один: рядом с ним, крепко с ним обнявшись и положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил и Сганарель… Медведь был не в духе и не в авантажном виде. Пострадавший и изнуренный, по-видимому не столько от телесного страдания, сколько от тяжкого морального потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он сверкал исподлобья налитыми кровью и полными гнева и негодова-

ния глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен, и местами опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец, Сганарель, по удивительному случаю, сберег себе и нечто вроде венца.

Может быть, любя Ферапонта, а может быть, случайно, он зажал у себя под мышкой шляпу, которою Храпошка его снабдил и с которою он же поневоле столкнул Сганареля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар, и… теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он, как только стал на землю, сейчас же вынул из-под мышки жестоко измятую шляпу и положил ее себе на макушку…

Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было ее видеть. Иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина.

Глава 12

Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пьявки, увидя Сганареля, поднялись на задние

лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках; а в это же самое время Храпошка уже опять мчался на ворковом одре к своему секрету под лесом. Сганарель опять остался один и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная Храпошкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хоть и очень смышленого, ловкость все-таки была медвежья, и Сганарель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе.

Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, Сганарель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя в яме. Он на это оглянулся; а в то самое мгновение две пущенных из стаи со своры пьявки достигли его, и одна из них со всего налета впилась ему острыми зубами в загорбок.

Сганарель был так занят с веревкой, что не ожидал этого и в первое мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости; но потом, через полсекунды, когда пьявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, он рванул ее лапою и бросил от

себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой… Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда Сганарель сделал усиленное движение лапою, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пьявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом в воздухе. Натянув веревку, оно закружило вокруг Сганареля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте размозжило и положило на месте не двух и не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие как кувырнулись, так и вытянулись.

Глава 13

Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала, но он только взревел и, сразу перехватив веревку в самую лапу, еще так наподдал бревно, что оно поднялось и вытянулось

в одну горизонтальную линию с направлением лапы, державшей веревку, и загудело, как мог гудеть сильно пущенный колоссальный волчок. Все, что могло попасть под него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка где-нибудь, в каком-нибудь пункте своего протяжения оказалась бы недостаточно прочною и лопнула, то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль, бог весть до каких далеких пределов, и на этом полете непременно сокрушит все живое, что оно может встретить.

Все мы, люди, все лошади и собаки, на всей линии и цепи, были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы для сохранения его жизни веревка, на которой вертел свою колоссальную пращу Сганарель, была крепка. Но какой, однако, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных в секретных ямах у самого леса. Вся остальная публика, то есть все гости и семейные дяди, приехавшие на эту потеху в качестве зрителей, не находили более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге велели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного ме-

ста и в страшном беспорядке, тесня и перегоняя друг друга, помчались к дому.

В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было несколько столкновений, несколько падений, немного смеха и немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от веревки и свистит, пролетая над их головами, а за ними гонится рассвирепевший зверь.

Но гости, достигши дома, могли прийти в покой и оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное.

Глава 14

Никаких собак нельзя было пускать на Сганареля. Ясно было, что при его страшном вооружении бревном он мог победить все великое множество псов без малейшего для себя вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачиваясь, прямо подавался к лесу, и смерть его ожидала только здесь, у секрета, в котором сидели Ферапонт и без промаха стрелявший Флегонт.

Меткая пуля все могла кончить смело и верно.

Но рок удивительно покровительствовал Сганарелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто

хотел спасти его во что бы то ни стало.

В ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся с привалами, из-за которых торчали на сошках наведенные на него дула кухенрейтеровских штуцеров Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и… как пущенная из лука стрела, стрекнуло в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую.

Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась новая живая и страшная картина: бревно сшибло сошки и весь замет, за которым скрывался в секрете Флегонт, а потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в дальнем сугробе; Сганарель тоже не терял времени. Перекувыркнувшись три или четыре раза, он прямо попал за снежный валик Храпошки…

Сганарель его моментально узнал, дохнул на него своей горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой стороны, от Флегонта, крякнул выстрел, и… медведь убежал в лес, а Храпошка… упал без чувств.

Его подняли и осмотрели: он был ранен пулею в руку навылет, но в ране его было также несколько медвежьей шерсти.

Флегонт не потерял звания первого стрелка, но

он стрелял впопыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог бы прицелиться. Притом же на дворе уже было серо, и медведь с Храпошкою были слишком тесно скучены…

При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным.

Тем не менее — Сганарель ушел. Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна; а до следующего утра в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное настроение.

Глава 15

Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более, чем обыкновенно. Перед тем как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ — завтра чем свет искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться.

Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты.

Затем ждали распоряжения о раненом Храпошке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он по меньшей мере был вино-

ват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь Сганареля, когда тот очутился с ним вместе, и оставил его нимало не поврежденным в его объятиях. Но, кроме того, были сильные и, кажется, вполне основательные подозрения, что Храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять своей руки на своего косматого друга и пустил его на волю.

Всем известная взаимная дружба Храпошки с Сганарелем давала этому предположению много вероятности.

Так думали не только все участвовавшие в охоте, но так же точно толковали теперь и все гости.

Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажигали богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения и общий страх пред тем, что может ждать Ферапонта.

На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе «на половину», до залы достиг слух, что о Храпошке не было никакого приказания.

— К лучшему это, однако, или нет? — прошептал кто-то, и шепот этот среди общей тяжелой унылости толкнулся в каждое сердце.

Его услыхал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом двенадцатого года. Старик тоже вздохнул и таким же шепотом сказал:

— Молитесь рожденному Христу.

С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бар и холопей, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери и вошел, с палочкой в руке, дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жюстин. Последний нес за ним на серебряной тарелке его белый фуляр и круглую табакерку с портретом Павла Первого.

Глава 16

Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкою, посреди комнаты. Он молча сел и молча же взял у Жюстина свой футляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули свои длинные морды обе собаки.

Дядя был в синем шелковом архалуке с вышитыми гладью застежками, богато украшенными белыми филограневыми пряжками с крупной би-

рюзой. В руках у него была его тонкая, но крепкая палка из натуральной кавказской черешни.

Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садке, отменно выезжанная щеголиха тоже не сохранила бесстрашия — она метнулась в сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника.

Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немножко похрамывал.

Это новое обстоятельство, разумеется, тоже не могло прибавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце. Притом было дурно и то, что при появлении дяди мы все замолчали. Как большинство подозрительных людей, он терпеть не мог этого; и хорошо его знавший отец Алексей поторопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину.

Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам вопрос: понимаем ли мы смысл песни «Христос рождается»? Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разумели. Священник стал нам разъяснять слова: «славите», «рящите» и «возноситеся», и, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо «вознесся» и умом и сердцем. Он заговорил о даре, который и нынче, как и «во время оно», всякий бедняк может поднесть к

яслям «рожденного отроча», смелее и достойнее, чем поднесли злато, смирну и ливан волхвы древности. Дар наш — наше сердце, исправленное по его учению. Старик говорил о любви, о прощенье, о долге каждого утешить друга и недруга «во имя Христово»… И думается мне, что слово его в тот час было убедительно… Все мы понимали, к чему оно клонит, все его слушали с особенным чувством, как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слезы…

Вдруг что-то упало… Это была дядина палка… Ее ему подали, но он до нее не коснулся: он сидел, склонясь набок, с опущенною с кресла рукою, в которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застежки… Но вот он уронил и ее, и… ее никто не спешил поднимать.

Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: он плакал!

Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча благословил его рукою.

Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал ее перед всеми и тихо молвил:

— Спасибо.

В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать сюда Ферапонта.

Тот предстал бледный, с подвязанной рукою.

— Стань здесь! — велел ему дядя и показал рукою на ковер.

Храпошка подошел и упал на колени.

— Встань… поднимись! — сказал дядя. — Я тебя прощаю.

Храпошка опять бросился ему в ноги. Дядя заговорил нервным, взволнованным голосом:

— Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превзошел меня в великодушии. Объявляю тебе от меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди куда хочешь.

— Благодарю и никуда не пойду, — воскликнул Храпошка.

— Что?

— Никуда не пойду, — повторил Ферапонт.

— Чего же ты хочешь?

— За вашу милость я хочу вам вольной волей служить честней, чем за страх поневоле.

Дядя моргнул глазами, приложил к ним одною рукою свой белый фуляр, а другою, нагнувшись, обнял Ферапонта, и… все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза… Довольно было чувствовать, что здесь совершилась слава вышнему Богу и заблагоухал мир во имя

Христово, на месте сурового страха.

Это отразилось и на деревне, куда были посланы котлы браги. Зажглись веселые костры, и было веселье во всех, и шутя говорили друг другу:

— У нас ноне так сталось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить.

Сганареля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано было, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом до самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где и по сю пору цел его памятник. Там же, в ногах у него, лежит и Ферапонт.

Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел поспевать туда вовремя сам или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу.

Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, были — мой дядя и его Ферапонт, которого старик в шутку называл: «укротитель зверя».

1883

Привидение в Инженерном замке

(Из кадетских воспоминаний)

Глава 1

У домов, как у людей, есть своя репутация. Есть дома, где, по общему мнению, нечисто, то есть, где замечают те или другие проявления какой-то нечистой или по крайней мере непонятной силы. Спириты старались много сделать для разъяснения этого рода явлений, но так как теории их не пользуются большим доверием, то дело с страшными домами остается в прежнем положении.

В Петербурге во мнении многих подобною худою славою долго пользовалось характерное здание бывшего Павловского дворца, известное нынче под названием Инженерного замка. Таинственные явления, приписываемые духам и привидениям, замечали здесь почти с самого основания замка. Еще при жизни императора Павла тут, говорят, слышали голос Петра Великого, и, наконец, даже сам император Павел видел тень своего прадеда. Последнее, без всяких опровержений, записано в заграничных сборниках, где нашли себе место описания внезапной кон-

чины Павла Петровича, и в новейшей русской книге г. Кобеко. Прадед будто бы покидал могилу, чтобы предупредить своего правнука, что дни его малы и конец их близок. Предсказание сбылось.

Впрочем, тень Петрова была видима в стенах замка не одним императором Павлом, но и людьми к нему приближенными. Словом, дом был страшен потому, что там жили или по крайней мере являлись тени и привидения и говорили что-то такое страшное, и вдобавок еще сбывающееся. Неожиданная внезапность кончины императора Павла, по случаю которой в обществе тотчас вспомнили и заговорили о предвещательных тенях, встречавших покойного императора в замке, еще более увеличила мрачную и таинственную репутацию этого угрюмого дома. С тех пор дом утратил свое прежнее значение жилого дворца, а по народному выражению — «пошел под кадетов».

Нынче в этом упраздненном дворце помещаются юнкера инженерного ведомства, но начали его «обживать» прежнее инженерные кадеты. Это был народ еще более молодой и совсем еще не освободившийся от детского суеверия, и притом резвый и шаловливый, любопытный и отважный. Всем им, разумеется, более или менее были

известны страхи, которые рассказывали про их страшный замок. Дети очень интересовались подробностями страшных рассказов и напитывались этими страхами, а те, которые успели с ними достаточно освоиться, очень любили пугать других. Это было в большом ходу между инженерными кадетами, и начальство никак не могло вывести этого дурного обычая, пока не произошел случай, который сразу отбил у всех охоту к пуганьям и шалостям.

Об этом случае и будет наступающий рассказ.

Глава 2

Особенно было в моде пугать новичков или так называемых «малышей», которые, попадая в замок, вдруг узнавали такую массу страхов о замке, что становились суеверными и робкими до крайности. Более всего их пугало, что в одном конце коридоров замка есть комната, служившая спальней покойному императору Павлу, в которой он лег почивать здоровым, а утром его оттуда вынесли мертвым. «Старики» уверяли, что дух императора живет в этой комнате и каждую ночь выходит оттуда и осматривает свой любимый замок, — а «малыши» этому верили. Комната эта

была всегда крепко заперта, и притом не одним, а несколькими замками, но для духа, как известно, никакие замки и затворы не имеют значения. Да и, кроме того, говорили, будто в эту комнату можно было как-то проникать. Кажется, это так и было на самом деле. По крайней мере жило и до сих пор живет предание, будто это удавалось нескольким «старым кадетам» и продолжалось до тех пор, пока один из них не задумал отчаянную шалость, за которую ему пришлось жестоко поплатиться. Он открыл какой-то известный лаз в страшную спальню покойного императора, успел пронести туда простыню и там ее спрятал, а по вечерам забирался сюда, покрывался с ног до головы этой простынею и становился в темном окне, которое выходило на Садовую улицу и было хорошо видно всякому, кто, проходя или проезжая, поглядит в эту сторону.

Исполняя таким образом роль привидения, кадет действительно успел навести страх на многих суеверных людей, живших в замке, и на прохожих, которым случалось видеть его белую фигуру, всеми принимавшуюся за тень покойного императора.

Шалость эта продолжалась несколько месяцев и распространила упорный слух, что Павел

Петрович по ночам ходит вокруг своей спальни и смотрит из окна на Петербург. Многим до несомненности живо и ясно представлялось, что стоявшая в окне белая тень им не раз кивала головой и кланялась; кадет действительно проделывал такие штуки. Все это вызывало в замке обширные разговоры с предвозвещательными истолкованиями и закончилось тем, что наделавший описанную тревогу кадет был пойман на месте преступления и, получив «примерное наказание на теле», исчез навсегда из заведения. Ходил слух, будто злополучный кадет имел несчастие испугать своим появлением в окне одно случайно проезжавшее мимо замка высокое лицо, за что и был наказан не по-детски. Проще сказать, кадеты говорили, будто несчастный шалун «умер под розгами», и так как в тогдашнее время подобные вещи не представлялись невероятными, то и этому слуху поверили, а с этих пор сам этот кадет стал новым привидением. Товарищи начали его видеть «всего иссеченного» и с гробовым венчиком на лбу, а на венчике будто можно было читать надпись: «Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю».

Если вспомнить библейский рассказ, в котором эти слова находят себе место, то оно выходит

очень трогательно.

Вскоре за погибелью кадета спальная комната, из которой исходили главнейшие страхи Инженерного замка, была открыта и получила такое приспособление, которое изменило ее жуткий характер, но предания о привидении долго еще жили, несмотря на последовавшее разоблачение тайны. Кадеты продолжали верить, что в их замке живет, а иногда ночами является призрак. Это было общее убеждение, которое равномерно держалось у кадетов младших и старших, с тою, впрочем, разницею, что младшие просто слепо верили в привидение, а старшие иногда сами устраивали его появление. Одно другому, однако, не мешало, и сами подделыватели привидения его тоже побаивались. Так, иные «ложные сказатели чудес» сами их воспроизводят и сами им поклоняются и даже верят в их действительность.

Кадеты младшего возраста не знали «всей истории», разговор о которой, после происшествия с получившим жестокое наказание на теле, строго преследовался, но они верили, что старшим кадетам, между которыми находились еще товарищи высеченного или засеченного, была известна вся тайна призрака. Это давало старшим большой

престиж, и те им пользовались до 1859 или 1860 года, когда четверо из них сами подверглись очень страшному перепугу, о котором я расскажу со слов одного из участников неуместной шутки у гроба.

Глава 3

В том 1859 или 1860 году умер в Инженерном замке начальник этого заведения, генерал Ламновский. Он едва ли был любимым начальником у кадет и, как говорят, будто бы не пользовался лучшею репутациею у начальства. Причин к этому у них насчитывали много: находили, что генерал держал себя с детьми будто бы очень сурово и безучастливо; мало вникал в их нужды; не заботился об их содержании, — а главное, был докучлив, придирчив и мелочно суров. В корпусе же говорили, что сам по себе генерал был бы еще более зол, но что неодолимую его лютость укрощала тихая, как ангел, генеральша, которой ни один из кадет никогда не видал, потому что она была постоянно больна, но считали ее добрым гением, охраняющим всех от конечной лютости генерала.

Кроме такой славы по сердцу, генерал Лам-

новский имел очень неприятные манеры. В числе последних были и смешные, к которым дети придирались, и когда хотели «представить» нелюбимого начальника, то обыкновенно выдвигали одну из его смешных привычек на вид до карикатурного преувеличения.

Самою смешною привычкою Ламновского было то, что, произнося какую-нибудь речь или делая внушение, он всегда гладил всеми пятью пальцами правой руки свой нос. Это, по кадетским определениям, выходило так, как будто он «доил слова из носа». Покойник не отличался красноречием, и у него, что называется, часто недоставало слов на выражение начальственных внушений детям, а потому при всякой такой запинке «доение» носа усиливалось, а кадеты тотчас же теряли серьезность и начинали пересмеиваться. Замечая это нарушение субординации, генерал начинал еще более сердиться и наказывал их. Таким образом, отношения между генералом и воспитанниками становились все хуже и хуже, а во всем этом, по мнению кадет, всего более был виноват «нос».

Не любя Ламновского, кадеты не упускали случая делать ему досаждения и мстить, портя так или иначе его репутацию в глазах своих новых

товарищей. С этою целью они распускали в корпусе молву, что Ламновский знается с нечистою силою и заставляет демонов таскать для него мрамор, который Ламновский поставлял для какого-то здания, кажется для Исаакиевского собора. Но так как демонам эта работа надоела, то рассказывали, будто они нетерпеливо ждут кончины генерала, как события, которое возвратит им свободу. А чтобы это казалось еще достовернее, раз вечером, в день именин генерала, кадеты сделали ему большую неприятность, устроив «похороны». Устроено же это было так, что когда у Ламновского, в его квартире, пировали гости, то в коридорах кадетского помещения появилась печальная процессия: покрытые простынями кадеты, со свечами в руках, несли на одре чучело с длинноносой маской и тихо пели погребальные песни. Устроители этой церемонии были открыты и наказаны, но в следующие именины Ламновского непростительная шутка с похоронами опять повторилась. Так шло до 1859 года или 1860 года, когда генерал Ламновский в самом деле умер и когда пришлось справлять настоящие его похороны. По обычаям, которые тогда существовали, кадетам надо было посменно дежурить у гроба, и вот тут-то и произошла страшная исто-

рия, испугавшая тех самых героев, которые долго пугали других.

Глава 4

Генерал Ламновский умер позднею осенью, в ноябре месяце, когда Петербург имеет самый человеконенавистный вид: холод, пронизывающая сырость и грязь; особенно мутное туманное освещение тяжело действует на нервы, а через них на мозг и фантазию. Все это производит болезненное душевное беспокойство и волнение. Молешотт для своих научных выводов о влиянии света на жизнь мог бы получить у нас в это время самые любопытные данные.

Дни, когда умер Ламновский, были особенно гадки. Покойника не вносили в церковь замка, потому что он был лютеранин: тело стояло в большой траурной зале генеральской квартиры, и здесь было учреждено кадетское дежурство, а в церкви служились, по православному установлению, панихиды. Одну панихиду служили днем, а другую вечером. Все чины замка, равно как кадеты и служители, должны были появляться на каждой панихиде, и это соблюдалось в точности. Следовательно, когда в православной

церкви шли панихиды, — все население замка собиралось в эту церковь, а остальные обширные помещения и длиннейшие переходы совершенно пустели. В самой квартире усопшего не оставалось никого, кроме дежурной смены, состоявшей из четырех кадет, которые с ружьями и с касками на локте стояли вокруг гроба.

Тут и пошла заматываться какая-то беспокойная жуть: все начали чувствовать что-то беспокойное и стали чего-то побаиваться; а потом вдруг где-то проговорили, что опять кто-то «встает» и опять кто-то «ходит». Стало так неприятно, что все начали останавливать других, говоря: «Полно, довольно, оставьте это; ну вас к черту с такими рассказами! Вы только себе и людям нервы портите!» А потом и сами говорили то же самое, от чего унимали других, и к ночи уже становилось всем страшно. Особенно это обострилось, когда кадет пощунял «батя», то есть какой тогда был здесь священник.

Он постыдил их за радость по случаю кончины генерала и как-то коротко, но хорошо умел их тронуть и насторожить их чувства.

— «Ходит», — сказал он им, повторяя их же слова. — И разумеется, что ходит некто такой, кого вы не видите и видеть не можете, а в нем и

есть сила, с которою не сладишь. Это серый человек, — он не в полночь встает, а в сумерки, когда серо делается, и каждому хочет сказать о том, что в мыслях есть нехорошего. Этот серый человек — совесть; советую вам не тревожить его дрянной радостью о чужой смерти. Всякого человека кто-нибудь любит, кто-нибудь жалеет, — смотрите, чтобы серый человек им не скинулся да не дал бы вам тяжелого урока!

Кадеты это как-то взяли глубоко к сердцу и, чуть только начало в тот день смеркаться, они так и оглядываются: нет ли серого человека и в каком он виде? Известно, что в сумерках в душах обнаруживается какая-то особенная чувствительность — возникает новый мир, затмевающий тот, который был при свете: хорошо знакомые предметы обычных форм становятся чем-то прихотливым, непонятным и, наконец, даже страшным. Этой порою всякое чувство почему-то как будто ищет для себя какого-то неопределенного, но усиленного выражения: настроение чувств и мыслей постоянно колеблется, и в этой стремительной и густой дисгармонии всего внутреннего мира человека начинает свою работу фантазия: мир обращается в сон, а сон — в мир… Это заманчиво и страшно, и чем более страшно, тем более за-

манчиво и завлекательно…

В таком состоянии было большинство кадет, особенно перед ночными дежурствами у гроба. В последний вечер перед днем погребения к панихиде в церковь ожидалось посещение самых важных лиц, а потому, кроме людей, живших в замке, был большой съезд из города. Даже из самой квартиры Ламновского все ушли в русскую церковь, чтобы видеть собрание высоких особ; покойник оставался окруженный одним детским караулом. В карауле на этот раз стояли четыре кадета: Г-тон, В-нов, З-ский и К-дин, все до сих пор благополучно здравствующие и занимающие теперь солидные положения по службе и в обществе.

Глава 5

Из четырех молодцов, составлявших караул, — один, именно К-дин, был самый отчаянный шалун, который докучал покойному Ламновскому более всех и потому, в свою очередь, чаще прочих подвергался со стороны умершего усиленным взысканиям. Покойник особенно не любил К-дина за то, что этот шалун умел его прекрасно передразнивать «по части доения носа» и при-

нимал самое деятельное участие в устройстве погребальных процессий, которые делались в генеральские именины.

Когда такая процессия была совершена в последнее тезоименитство Ламновского, К-дин сам изображал покойника и даже произносил речь из гроба, с такими ужимками и таким голосом, что пересмешил всех, не исключая офицера, посланного разогнать кощунствующую процессию.

Было известно, что это происшествие привело покойного Ламновского в крайнюю гневность, и между кадетами прошел слух, будто рассерженный генерал «поклялся наказать К-дина на всю жизнь». Кадеты этому верили и, принимая в соображение известные им черты характера своего начальника, нимало не сомневались, что он свою клятву над К-диным исполнит. К-дин в течение всего последнего года считался «висящим на волоске», а так как, по живости характера, этому кадету было очень трудно воздерживаться от резвых и рискованных шалостей, то положение его представлялось очень опасным, и в заведении того только и ожидали, что вот-вот К-дин в чем-нибудь попадется, и тогда Ламновский с ним не поцеремонится и все его дроби приведет к одному знаменателю, «даст себя помнить на

всю жизнь».

Страх начальственной угрозы так сильно чувствовался К-диным, что он делал над собою отчаянные усилия и, как запойный пьяница от вина, он бежал от всяких проказ, покуда ему пришел случай проверить на себе поговорку, что «мужик год не пьет, а как черт прорвет, так он все пропьет».

Черт прорвал К-дина именно у гроба генерала, который опочил, не приведя в исполнение своей угрозы. Теперь генерал был кадету не страшен, и долго сдержанная резвость мальчика нашла случай отпрянуть, как долго скрученная пружина. Он просто обезумел.

Глава 6

Последняя панихида, собравшая всех жителей замка в православную церковь, была назначена в восемь часов, но так как к ней ожидались высшие лица, после которых неделикатно было входить в церковь, то все отправились туда гораздо ранее. В зале у покойника осталась одна кадетская смена: Г-тон, В-нов, 3-ский и К-дин. Ни в одной из прилегавших огромных комнат не было ни души…

В половине восьмого дверь на мгновение при-

отворилась, и в ней на минуту показался плац-адъютант, с которым в эту же минуту случилось пустое происшествие, усилившее жуткое настроение: офицер, подходя к двери, или испугался своих собственных шагов, или ему казалось, что его кто-то обгоняет: он сначала приостановился, чтобы дать дорогу, а потом вдруг воскликнул: «Кто это! кто!» — и, торопливо просунув голову в дверь, другою половинкою этой же двери придавил самого себя и снова вскрикнул, как будто его кто-то схватил сзади.

Разумеется, вслед же за этим он оправился и, торопливо окинув беспокойным взглядом траурный зал, догадался по здешнему безлюдию, что все ушли уже в церковь; тогда он опять притворил двери и, сильно звеня саблею, бросился ускоренным шагом по коридорам, ведущим к замковому храму.

Стоявшие у гроба кадеты ясно замечали, что и большие чего-то пугались, а страх на всех действует заразительно.

Глава 7

Дежурные кадеты проводили слухом шаги удалявшегося офицера и замечали, как за каждым

шагом их положение здесь становилось сиротливее — точно их привели сюда и замуровали с мертвецом за какое-то оскорбление, которого мертвый не позабыл и не простил, а, напротив, встанет и непременно отмстит за него. И отмстит страшно, по-мертвецки… К этому нужен только свой час — удобный час полночи,

…когда поет петух

И нежить мечется в потемках…

Но они же не достоят здесь до полуночи, — их сменят, да и притом им ведь страшна не «нежить», а серый человек, которого пора — в сумерках.

Теперь и были самые густые сумерки: мертвец в гробу, и вокруг самое жуткое безмолвие… На дворе с свирепым неистовством выл ветер, обдавая огромные окна целыми потоками мутного осеннего ливня, и гремел листами кровельных загибов; печные трубы гудели с перерывами — точно они вздыхали или как будто в них что-то врывалось, задерживалось и снова еще сильнее напирало. Все это не располагало ни к трезвости чувств, ни к спокойствию рассудка. Тяжесть всего этого впечатления еще более усиливалась для ребят, которые должны были стоять, храня мертвое

молчание: все как-то путается; кровь, приливая к голове, ударялась им в виски, и слышалось что-то вроде однообразной мельничной стукотни. Кто переживал подобные ощущения, тот знает эту странную и совершенно особенную стукотню крови — точно мельница мелет, но мелет не зерно, а перемалывает самое себя. Это скоро приводит человека в тягостное и раздражающее состояние, похожее на то, которое непривычные люди ощущают, опускаясь в темную шахту к рудокопам, где обычный для нас дневной свет вдруг заменяется дымящейся плошкой… Выдерживать молчание становится невозможно, — хочется слышать хоть свой собственный голос, хочется куда-то сунуться — что-то сделать самое безрассудное.

Глава 8

Один из четырех стоявших у гроба генерала кадетов, именно К-дин, переживая все эти ощущения, забыл дисциплину и, стоя под ружьем, прошептал:

— Духи лезут к нам за папкиным носом.

Ламновского в шутку называли иногда «папкою», но шутка на этот раз не смешила това-

рищей, а, напротив, увеличила жуть, и двое из дежурных, заметив это, отвечали К-дину:

— Молчи… и без того страшно, — и все тревожно воззрились в укутанное кисеею лицо покойника.

— Я оттого и говорю, что вам страшно, — отвечал К-дин, — а мне, напротив, не страшно, потому что мне он теперь уже ничего не сделает. Да: надо быть выше предрассудков и пустяков не бояться, а всякий мертвец — это уже настоящий пустяк, и я это вам сейчас докажу.

— Пожалуйста, ничего не доказывай.

— Нет, докажу. Я вам докажу, что папка теперь ничего не может мне сделать даже в том случае, если я его сейчас, сию минуту, возьму за нос.

И с этим, неожиданно для всех остальных, К-дин в ту же минуту, перехватив ружье на локоть, быстро взбежал по ступеням катафалка и, взяв мертвеца за нос, громко и весело вскрикнул:

— Ага, папка, ты умер, а я жив и трясу тебя за нос, и ты мне ничего не сделаешь!

Товарищи оторопели от этой шалости и не успели проронить слова, как вдруг всем им враз ясно и внятно послышался глубокий болезненный вздох — вздох, очень похожий на то, как бы кто сел на надутую воздухом резиновую подуш-

ку с неплотно завернутым клапаном… И этот вздох, — всем показалось, — по-видимому, шел прямо из гроба…

К-дин быстро отхватил руку и, споткнувшись, с громом полетел с своим ружьем со всех ступеней катафалка, трое же остальных, не отдавая себе отчета, что они делают, в страхе взяли свои ружья наперевес, чтобы защищаться от поднимавшегося мертвеца.

Но этого было мало: покойник не только вздохнул, а действительно гнался за оскорбившим его шалуном или придерживал его за руку: за К-диным ползла целая волна гробовой кисеи, от которой он не мог отбиться, — и, страшно вскрикнув, он упал на пол… Эта ползущая волна кисеи в самом деле представлялась явлением совершенно необъяснимым и, разумеется, страшным, тем более что закрытый ею мертвец теперь совсем открывался с его сложенными руками на впалой груди.

Шалун лежал, уронив свое ружье, и, закрыв от ужаса лицо руками, издавал ужасные стоны. Очевидно, он был в памяти и ждал, что покойник сейчас за него примется по-свойски.

Между тем вздох повторился, и, вдобавок к нему, послышался тихий шелест. Это был такой

звук, который мог произойти как бы от движения одного суконного рукава по другому. Очевидно, покойник раздвигал руки, — и вдруг тихий шум; затем поток иной температуры пробежал струею по свечам, и в то же самое мгновение в шевелившихся портьерах, которыми были закрыты двери внутренних покоев, показалось привидение. Серый человек! Да, испуганным глазам детей предстало виол-не ясно сформированное привидение в виде человека… Явилась ли это сама душа покойника в новой оболочке, полученной ею в другом мире, из которого она вернулась на мгновение, чтобы наказать оскорбительную дерзость, или, быть может, это был еще более страшный гость, — сам дух замка, вышедший сквозь пол соседней комнаты из подземелья!..

Глава 9

Привидение не было мечтою воображения — оно не исчезало и напоминало своим видом описание, сделанное поэтом Гейне для виденной им «таинственной женщины»: как то, так и это представляло «труп, в котором заключена душа». Перед испуганными детьми была в крайней степени изможденная фигура, вся в белом, но в тени

она казалась серою. У нее было страшно худое, до синевы бледное и совсем угасшее лицо; на голове всклокоченные в беспорядке густые и длинные волосы. От сильной проседи они тоже казались серыми и, разбегавшись в беспорядке, закрывали грудь и плечи привидения!.. Глаза виделись яркие, воспаленные и блестевшие болезненным огнем… Сверканье их из темных, глубоко впалых орбит было подобно сверканью горящих углей. У видения были тонкие худые руки, похожие на руки скелета, и обеими этими руками оно держалось за полы тяжелой дверной драпировки.

Судорожно сжимая материю в слабых пальцах, эти руки и производили тот сухой суконный шелест, который слышали кадеты.

Уста привидения были совершенно черны и открыты, и из них-то после коротких промежутков со свистом и хрипением вырывался тот напряженный полустон-полувздох, который впервые послышался, когда К-дин взял покойника за нос.

Глава 10

Увидав это грозное привидение, три оставшиеся на ногах стража окаменели и замерли в своих оборонительных позициях крепче К-дина,

который лежал пластом с прицепленным к нему гробовым покровом.

Привидение не обращало никакого внимания на всю эту группу: его глаза были устремлены на один гроб, в котором теперь лежал совсем раскрытый покойник. Оно тихо покачивалось и, по-видимому, хотело двигаться. Наконец это ему удалось. Держась руками за стену, привидение медленно тронулось и прерывистыми шагами стало переступать ближе ко гробу. Движение это было ужасно. Судорожно вздрагивая при каждом шаге и с мучением ловя раскрытыми устами воздух, оно исторгало из своей пустой груди те ужасные вздохи, которые кадеты приняли за вздохи из гроба. И вот еще шаг, и еще шаг, и, наконец, оно близко, оно подошло к гробу, но прежде, чем подняться на ступени катафалка, оно остановилось, взяло К-дина за ту руку, у которой, отвечая лихорадочной дрожи его тела, трепетал край волновавшейся гробовой кисеи, и своими тонкими, сухими пальцами отцепило эту кисею от обшлажной пуговицы шалуна; потом посмотрело на него с неизъяснимой грустью, тихо ему погрозило и… перекрестило его…

Затем оно, едва держась на трясущихся ногах, поднялось по ступеням катафалка, ухватилось за

край гроба и, обвив своими скелетными руками плечи покойника, зарыдало…

Казалось, в гробу целовались две смерти; но скоро это кончилось. С другого конца замка донесся слух жизни: панихида кончилась, и из церкви в квартиру мертвеца спешили передовые, которым надо было быть здесь, на случай посещения высоких особ.

Глава 11

До слуха кадет долетели приближавшиеся по коридорам гулкие шаги и вырвавшиеся вслед за ними из отворенной церковной двери последние отзвуки заупокойной песни.

Оживительная перемена впечатлений заставила кадет ободриться, а долг привычной дисциплины поставил их в надлежащей позиции на надлежащее место.

Тот адъютант, который был последним лицом, заглянувшим сюда перед панихидою, и теперь торопливо вбежал первый в траурную залу и воскликнул:

— Боже мой, как она сюда пришла!

Труп в белом, с распущенными седыми волосами, лежал, обнимая покойника, и, кажется, сам

не дышал уже. Дело пришло к разъяснению.

Напугавшее кадет привидение была вдова покойного генерала, которая сама была при смерти и, однако, имела несчастие пережить своего мужа. По крайней слабости, она уже давно не могла оставлять постель, но, когда все ушли к парадной панихиде в церковь, она сползла с своего смертного ложа и, опираясь руками об стены, явилась к гробу покойника. Сухой шелест, который кадеты приняли за шелест рукавов покойника, были ее прикосновения к стенам. Теперь она была в глубоком обмороке, в котором кадеты, по распоряжению адъютанта, и вынесли ее в кресле за драпировку.

Это был последний страх в Инженерном замке, который, по словам рассказчика, оставил в них навсегда глубокое впечатление.

— С этого случая, — говорил он, — всем нам стало возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти. Мы всегда помнили нашу непростительную шалость и благословляющую руку последнего привидения Инженерного замка, которое одно имело власть простить нас по святому праву любви. С этих же пор прекратились в корпусе и страхи от привидений. То, которое мы видели, было последнее.

1882

Отборное зерно
(Краткая трилогия в просонке)

Спящим человеком прииде враг
и всея плевелы посреди пшеницы.

Мф. XII, 25

Желание видеть дорогих друзей заставляло меня спешить к ним, а недосуг дозволял сделать нужный для этого переезд на самых праздниках. Благодаря таким условиям я встречал Новый год в вагоне. Настроение внутри себя я чувствовал невеселое и тяжелое. Учители благочестия внушают поверять свою совесть каждый вечер. Этого я не делаю, но при окончании прожитого года благочестивый совет наставников приходит на память, и я начинаю себя проверять. Делаю я это сразу за целый год, но зато аккуратно всякий раз остаюсь собою всесторонне недоволен. В нынешний раз мое обычное неудовольствие осложнилось еще и досадами на других — особенно на князя Бисмарка за его неуважительные отзывы о моих соотечественниках и за его недоб-

рые на наш счет предсказания. Его железная грубость позволила ему прямо и без застенчивости сказать, что России, по его мнению, только и остается «погибнуть». Как, за что «погибнуть»?! И пошло думаться и выходить: будто как и есть за что, — будто как и не за что? А кругом меня все спит. Пять-шесть пассажиров, которых случай послал мне в попутчики, все друг от друга сторонились и все храпят в каком-то озлоблении.

И стало мне стыдно от моей унылости и моего пустомыслия. И зачем я не сплю, когда всем спится? И какое мне дело до того, что сказал о нас Бисмарк, и для чего я обязан верить его предсказаниям? Лучше ничего этого «внятием не тешить», а приспособиться да заснуть, яко же и прочие человецы, и пойдет дело веселее и занимательнее.

Так я и сделал: отвернулся от всех, ранее оборотившихся ко мне спинами, и начал усиленно звать сон, но мне плохо спалось с беспрестанными перерывами, пока судьба не послала мне неожиданного развлечения, которое разогнало на время мою дремоту и в то же время ободрило меня против невыгодных заключений о нашей дисгармонии.

С платформы у одного маленького городка вошли два человека — один легкий на ногу, должно

быть молодой, а другой — грузнее и постарше. Я, впрочем, не мог их рассмотреть, потому что фонари в вагоне были затянуты темно-синей тафтою и не пропускали столько света, чтобы можно было хорошо рассмотреть незнакомые лица. Однако я сразу же расположен был думать, что новые пассажиры принадлежат не только к достаточному, но и к образованному классу. Они, входя, не шумели, не говорили очень громко и вообще старались, сколько можно, никого не обеспокоить своим приходом, а расположились тихо и снисходительно там, где нашлось для них свободное сиденье. По случаю это пришлось очень близко от того места, где я дремал, забившись в темный угол дивана. Волей-неволей я должен был слышать всякое их слово, если бы оно было сказано даже полушепотом. Это так и вышло, и я на то нимало не жалуюсь, потому что разговор, который повели тихо вполголоса мои новые соседи, показался мне настолько интересным, что я его тогда же, по приезде домой, записал, а теперь решаюсь даже представить вниманию читателей.

По первым же словам, с которых здесь начали новые пассажиры, видно было, что они уже прежде, сидя в ожидании поезда на станции,

беседовали на одну какую-то любопытную тему, а здесь они только продолжали иллюстрации к положениям, до которых раньше договорились.

Говорил из двух пассажиров один, у которого был старый подержанный баритон — голос, приличный, так сказать, большому акционеру или не меньше как тайному советнику, явно разрабатывающему какие-нибудь естественные богатства страны. Другой только слушал и лишь изредка вставлял какое-нибудь слово или спрашивал каких-нибудь пояснений. Этот говорил немного звонким фальцетом, какой наичаще случается у прогрессирующих чиновников особых поручений, чувствующих тяготение к литературе.

Начинал баритон, и речь его была следующая:

— Я вам сейчас же представлю всю эту нашу социабельность в лицах, и притом как она выразилась зараз в одном самом недавнем и, на мой взгляд, прелюбопытном деле. Случай этот может вам показать, что наш самобытный русский гений, который вы отрицаете, — вовсе не вздор. Пускай там говорят, что мы и Рассея, и что у нас везде разлад да разлад, но на самом-то деле, кто умеет наблюдать явления беспристрастно, тот и в этом разладе должен усмотреть нечто чрезвычайно круговое, или, так сказать, по-ва-

шему, «социабельное». Бисмарк где-то сказал раз, что России будто «остается только погибнуть», а газетные звонари это подхватили, и звонят, и звонят… А вы не слушайте этого звона, а вникайте в дела, как они на самом деле делаются, так вы и увидите, что мы умеем спасаться от бед, как никто другой не умеет, и что нам действительно не страшны многие такие положения, которые и самому господину Бисмарку в голову, может быть, не приходили, а других людей, не имеющих нашего крепкого закала, просто раздавили бы.

— Прелюбопытно ставите вопрос, и я охотно вас слушаю, — заметил фальцет.

Баритон продолжал:

— Если бы я готовил к печати те три маленькие историйки, которые хочу рассказать вам о нашей социабельности, то я, вероятно, назвал бы это как-нибудь трилогиею о том, как вор у вора дубинку украл и какое от того вышло для всех благополучие жизни. Впрочем, как нынче уже, можно сказать, всякий даже шиш литератора из себя корчит, то и я попробую излагать вам мою повесть литературно… Именно, разделю вам мой рассказ по рубрикам, вроде трилогии, и в первую стать пущу интеллигента, то есть барина, который, по мнению некоторых, будто бы более

других «оторван от почвы». А вот вы сейчас же увидите, какие это пустяки и как у нас по родной пословице «всякая сосна своему бору шумит».

Глава 1

БАРИН

Поехал я летом странствовать и приехал на выставку. Обошел и осмотрел все отделы, попробовал было чем-нибудь отечественным полюбоваться, но, как и следовало ожидать, вижу, что это не выходит: полюбоваться нечем. Одно, что мне было приглянулось и даже, признаться сказать, показалось удивительно — это чья-то пшеница в одной витрине.

В жизнь мою я никогда еще такого крупного, чистого, полного зерна не видывал. Точно это и не пшеница, а отборный миндаль, как, бывало, в детстве видал у себя дома, когда матушка к Пасхе таким миндалем куличи украшала.

Посмотрел я на подпись и еще больше удивился: подписано, что это удивительное, роскошное зерно собрано с полей моей родной местности, из имения, принадлежащего соседу моих родственников, именитому барину, которого называть

вам не стану. Скажу только, что он известный славянский деятель, и в Красном кресте ходил, и прочее, и прочее.

Я знал этого господина еще в гимназии, но, признаться, не питал к нему приязни. Впрочем, это еще по детским воспоминаниям — потому что он сначала в классе все ножички крал и продавал, а потом начал себе брови сурмить и еще чем-то худшим заниматься.

Думаю себе: пожалуй, и здесь тоже обман! Небось где-нибудь купил у немецких колонистов куль хорошей пшеницы и выставил будто с своих полей.

Рассуждал я таким образом, потому что наши поля ржаные, и если родят пшеничку, то очень неавантажную. Но чтобы не осуждать долго своего ближнего, пойду-ка, думаю, лучше в буфет, выпью глоток нашего доброго русского вина и кусок кулебяки съем. За сытостью критика исчезает.

Но только я занял в ресторане место, как замечаю, что совсем возле меня сидит господин, с виду мне как будто когда-то известный. Я на него взглянул и отвел глаза в сторону, но чувствую, что и он в меня всматривается, и вдруг наклонился ко мне и говорит:

— Извините меня, если я не ошибаюсь — вы такой-то?

Я отвечаю:

— Вы не ошиблись, — я действительно тот, кем вы меня назвали.

— А я, — говорит, — такой-то, — и отрекомендовался.

Надеюсь, вы можете догадаться, что это был как раз тот самый мой давний товарищ, который в гимназии ножички крал и брови сурмил, а теперь уже разводит и выставляет самую удивительную пшеницу.

Что же, и прекрасно: гора с горою не сходится, а человеку с человеком — очень возможно сойтись. Мы перекинулись несколькими вопросами: кто, откуда и зачем? Я говорю, что так, просто, как Чичиков, езжу для собственного удовольствия. А он шутливо подсказывает: «Верно, обозреваете».

— Не обозреваю, — говорю, — а просто для своего удовольствия посмотреть хочу.

А он рекомендует себя экспонентом и объявляет, что пшеницу выставил.

Я ответил, что заметил уже его пшеничку, и полюбопытствовал, из каких это семян и на какой именно местности росло? Все объясняет речисто, — так режет со всеми подробностями. Я снова

подивился, когда узнал, что и семена из нашего края, и поля, зародившие такое удивительное зерно, — смежны с полями моего брата.

Дивился, повторяю вам, потому, что край наш никогда прежде не родил очень хорошей пшеницы. А он отвечает:

— Ну, да то было прежде, а теперь и у нас совсем не то. Особенно у меня в хозяйстве. С старым этого равнять нельзя. Большая разница, большая, батюшка, во всем произошла перемена с тех пор, как вы отбыли из нашей губернии достигать чинов и знатности да легких капиталов смелыми оборотами. А мы, батюшка, как муромцы, — сидим на земле, сидели и кое-что высидели и дождались. Теперь опять наше дворянское время начинается, а ваше, чиновничье, проходит. Люди вспомнили дедовскую поговорку, что «земляной рубль тонок да долог, а торговый широк да короток». Мы, дворяне, обернулись к сохе и по сторонам не зеваем, — мы знаем, что не столица, а соха нас спасет.

— Да, — говорю, — все это прекрасно, но, однако же, там, в вашей местности, живет мой брат, и я его навещал, но никогда не слыхал, чтобы там родилось такое удивительное зерно.

— Что же из этого? Навещаю — это еще не зна-

чит хозяйничаю. У меня в селе теперь молодой поп, так я в его отсутствие, например, жену его навещаю, а все-таки я не могу сказать, что я у него хозяйничаю, хозяин-то все-таки поп. А брат ваш, извините, — рутинер.

— Да, — говорю, — мой брат не рисклив.

— Куда ему! Нет! Таких, как я, покуда еще только несколько человек, но мы уже двинули свои хозяйства, и вот вам результаты: это моя пшеница. Вы не читали: я уже получил здесь за мое зерно золотую медаль. Мне это дорого, так же как упорядочение наших славянских княжеств, которое повредил берлинский трактат, — но в чем мы не виноваты, в том и не виноваты, а в нашем хозяйском деле нам никто не указ. Пройдемтесь еще раз к моей витринке.

Я был очень рад, чтобы только кончить про «княжества», потому что я в этом вопросе профан. Подошли к витрине. Он взял в руку серебряный совочек и начал с него у меня перед глазами зерно перепускать.

— Изумляюсь, — говорю, — вижу, но и глазам верить не могу, как этакое дивное, крупное зерно могло вырасти на нашей земельке!

— А вот читайте, — указывает на надпись на витрине. — Видите: мое имя. И притом, батюшка,

здесь подлог невозможен: там у них в выставочном правлении все документы — все эти свидетельства и разные удостоверения. Все доказательства есть, что это действительно зерно из моих урожаев. Да вот будете у своего двоюродного братца, так жалуйте, сделайте милость, и ко мне — вам и все наши крестьяне подтвердят, что это зерно с моих полей. Способ, батюшка, способ отделки, — вот в чем дело.

Думаю себе: не смею верить, а впрочем — боже, благослови.

— Какая же, — спрашиваю, — такому редкостному зерну цена?

— Да цена хорошая: червивые французишки и англичане не отходят, все осаждают и дают цену как раз в два раза больше самой высокой, но я им, подлецам, разумеется, не продам.

— Отчего?

— Как это — иностранцам-то?.. Э, нет, батюшка, нет, — не продам! Нет, батюшка, и так у нас уже много этого несчастного разлада слова с делом. Что в самом деле баловаться? Зачем нам иностранцы? Если мы люди истинно русские, то мы и должны поддержать своих, истинно русских торговцев, а не чужих. Пусть у меня купит наш истинно русский купец, — я ему продам, и охотно

продам. Даже своему, православному человеку уступлю против того, что предлагают иностранцы, — но пусть истинно русский наживает.

А в это самое время как мы разговариваем, смотрю, к нему действительно вдруг подлетают два иностранца.

...Мне показалось, что они как будто евреи, но, впрочем, оба прекрасно говорили по-французски и начали жарко убеждать его продать им пшеницу.

— Видите, как юлят, — сказал он мне по-русски, — а там вон, смотрите, рыжий черт смоленский лен рассматривает. Это только один отвод глаз. Ему лен ни на что не нужен, это англичанин, который тоже проходу мне не дает.

Что же, думаю, может быть, это все и правда. Тогда и иностранные агенты у нас приболтывались, а между своих именитых людей немало встречалось таковых, что гнилой запад под пятой задавить собирались. Вот, верно, и это один из таковых.

Прошло с этой встречи два или три дня, я было уже про этого господина и позабыл, но мне довелось опять его встретить и ближе с ним ознакомиться. Дело было в одной из лучших гостиниц за обедом; сел я обедать и вижу, непо-

далеку сидит мой образцовый хозяин с каким-то солидным человеком, несомненно русского и даже несомненно торгового телосложения. Оба едят хорошо, а еще лучше того запивают.

Заметил и он меня и сейчас же присылает с служившим им половым карточку и стакан шампанского на серебряном подносе.

Не принять было неловко — я взял бокал и издали послал ему воздушный поклон.

На карточке было начертано карандашом: «Поздравьте! продал зерно сему благополучному россиянину и тремтете пьем. Окончив обед, приближайтесь к нам».

«Ну, — думаю, — вот этого я уже не сделаю», а он точно проник мои мысли и сам подходит.

— Кончил, — говорит, — батюшка, расстался, продал, но своему, русскому. Вот этот купчина весь урожай закупил и сразу пять тысяч задатку дал за мою пшеничку. Дело не совсем пустое — всего вышло тысяч на сорок. Собственно говоря — и то продешевил, но по крайней мере пусть пойдет своему брату, русскому. Французы и англичанин из себя выходят — злятся, а я очень рад. Черт с ними, пусть не распускают вздоров, что у нас своего патриотизма нет. Пойдемте, я вас познакомлю с моим покупателем. Оригиналь-

ный в своем роде субъект: из настоящих простых, истинно русских людей в купцы вышел и теперь страшно богат и все на храмы жертвует, но при случае не прочь и покутить. Теперь он именно в таком ударе: не хотите ли отсюда вместе ударимся, «где оскорбленному есть чувству уголок»?

— Нет, — говорю, — куда же мне кутить?

— Отчего так? Здесь ведь чином и званием не стесняются, — мы люди простые и дурачимся все кто как может.

— То-то и горе, — говорю, — что я уже совсем не могу пить.

— Ну, нечего с вами делать, — будь по-вашему — оставайтесь. А пока вот пробежите наше условие — полюбуйтесь, как все обстоятельно. Я, батюшка, ведь иначе не иду, как нотариальным порядком. Да-а-с, с нашими русачками надо все крепко делать, и иначе нельзя, как хорошенько его «обовязать», а потом уж и тремтете с ним пить. Вот видите, у меня все обозначено: пять тысяч задатка, зерно принять у меня в имении — «весь урожай обмолоченный и хранимый в амбарах села Черитаева, и деньги по расчету уплатить немедленно, до погрузки кулей на барки». Как находите, нет ли недосмотра? По-моему, кажется, довольно аккуратно?

— И я, — говорю, — того же самого мнения.

— Да, — отвечает, — я его немножко знаю: он на славян жертвовал, а ему пальца в рот не клади.

Барин был неподдельно весел, и купец тоже.

Вечером я их видел в театре в ложе с слишком красивою и щегольски одетою женщиною, которая наверно не могла быть ни одному из них ни женою, ни родственницею и, по-видимому, даже еще не совсем давно образовала с ними знакомство.

В антрактах купец появлялся в буфете и требовал «тремтете».

Человек тотчас же уносил за ним персики и другие фрукты и бутылку creme de the.

При выходе из театра старый товарищ уловил меня и настоятельно звал ехать с ними вместе ужинать и притом сообщил, что их дама «субъект самой высшей школы».

— Настоящей haut l'école!

— Ну, тем вам лучше, — говорю, — а мне в мои лета, — и прочее, и прочее, — словом, отклонил от себя это соблазнительное предложение, которое для меня тем более неудобно, что я намеревался на другой день рано утром выехать из этого веселого города и продолжать мое путешествие. Земляк меня освободил, но зато взял с меня сло-

во, что когда я буду в деревне у моих родных, то непременно приеду к нему посмотреть его образцовое хозяйство и в особенности его удивительную пшеницу.

Я дал требуемое слово, хотя с неудовольствием. Не умею уж вам сказать: мешали ли мне школьные воспоминания о ножичке и чем-то худшем из области haut l'école или отталкивала меня от него настоящая ноздревщина, но только мне все так и казалось, что он мне дома у себя всучит либо борзую собаку, либо шарманку.

Месяца через два, послонявшись здесь и там и немножко полечившись, я как раз попал в родные Палестины и после малого отдыха спрашиваю у моего двоюродного брата:

— Скажи, пожалуйста, где у вас такой-то? и что это за человек? мне надо у него побывать.

А кузен на меня посмотрел и говорит:

— Как, ты его знаешь?

Я говорю, что мы с ним вместе в школе были, а потом на выставке опять возобновили знакомство.

— Не поздравляю с этим знакомством.

— А что такое?

— Да ведь это отсветнейший лгунище и патентованный негодяй.

— Я, — говорю, — признаться, так и думал. — Тут я и рассказал, как мы встретились на выставке, как вспомнили однокашничество и какие вещи он мне рассказывал про свое хозяйство и про свою деятельность в пользу славянских братий.

Кузен мой расхохотался.

— Что же тут смешного?

— Все смешно, кроме кой-чего гадкого. Впрочем, ты, надеюсь, в политические откровенности с ним не пускался.

— А что?

— Да у него есть одна престранная манера: он все наклоняет разговор по известному склону, а потом вдруг вспоминает, что он «дворянин», и начинает протестовать и угрожать. Его уже за это, случалось, били, а еще чаще шампанским отпаивали, пока пропьет память.

— Нет, — говорю, — я в политику не пускался, да хоть бы и пустился, ничего бы из того не вышло, потому что вся моя политика заключается в отвращении от политики.

— А это, — говорит, — ничего не значит.

— Однако же?

— Он соврет, наклевещет, что ты как-нибудь молчаливо пренебрегаешь…

— Ну, тогда, значит, от него все равно спасенья

нет.

— Да и нет, если только не иметь отваги выгнать его от себя вон.

Мне это показалось уже слишком.

— Удивляюсь, — говорю, — как же это все другие на его счет так ошибаются.

— А кто, например?

— Да ведь вот, — говорю, — он от вас же приезжал во время славянской войны, и у нас про него в газетах писали, и солидные люди его принимали.

Брат рассмеялся и говорит, что этого господина никто не посылал и в пользу славян действовать не уполномочивал, а что он сам усматривал в этом хорошее средство к поправлению своих плохих денежных обстоятельств и еще более дрянной репутации.

— А что его у вас в столице возили и принимали, так этому виновато ваше модничанье; у вас ведь все так: как затеете возню в каком-нибудь особливом роде, то и возитесь с кем попало, без всякого разбора.

— Ну, вот видишь ли, — говорю, — мы же и виноваты. На вас взаправду не угодишь: то вам Петербург казался холоден и чопорен, а теперь вы готовы уверять, что он какой-то простофиля,

которого каждый ваш нахал за усы проводить может.

— И вообрази себе, что ведь действительно может.

— Пожалуйста!

— Истинно тебя уверяю. Только всей и мудрости, что надо прислушаться, что у вас в данную минуту в голове бурчит и какая глупость на дежурство назначается. Открываете ли вы славянских братий, или пленяете умом заатлантических друзей, или собираетесь зазвонить вместо колокола в мужичьи лапти… Уловить это всегда нетрудно, чем вы бредите, а потом сейчас только пусти к вашей приме свою втору, и дело сделано. У вас так и заорут: «Вот она, наша провинция! вот она, наша свежая, непочатая сила! Она откликнулась не так, как мы, такие, сякие, ледащие, гадкие, скверные, безнатурные, заморенные на ингерманландских болотах». Вы себя черните да бьете при содействии какого-нибудь литературного лгунищи, а наши провинциалы читают да думают: «Эва мы, братцы, в гору пошли!» И вот, которые пошельмоватее, поначитавшись, как вы там сами собою тяготитесь и ждете от нас, провинциалов, обновления, — снаряжаются и едут в Петербург, чтобы уделить вам нечто от на-

шей деловитости, от наших «здравых и крепких национальных идей». Хорошие и смирные люди, разумеется, глядят на это да удивляются, а ловкачи меж тем дело делают. Везут вам эти лгунищи как раз то, что вам хочется получить из провинции: они и славянам братья, и заатлантичникам — друзья, и впереди они вызывались бежать и назад рады спятиться до обров и дулебов. Словом, чего хотите, — тем они вам и скинутся. А вы думаете: «Это земля! Это провинция». Но мы, домоседы, знаем, что это и не земля, и не провинция, а просто наши лгунищи. И тот, к которому ты теперь собираешься, именно и есть из этого сорта. У вас его величали, а по-нашему он имени человеческого не стоит, и у нас с ним бог весть с коей поры никто никакого дела иметь не хотел.

— Но, однако, по крайней мере — он хороший хозяин.

— Нимало.

— Но он при деньгах — это теперь редкость.

— Да, с того времени, как ездил в Петербург учить вас национальным идеям, у него в мошне кое-что стало позвякивать, но нам известно, что он там купил и кого продал.

— Ну, в этом случае, — говорю, — я сведущее вас всех: я сам видел, как он продал свою превос-

ходную пшеницу.

— Нет у него такой пшеницы.

— Как это — «нет»?

— Нет, да и только. Так нет, как и не было.

— Ну, уж это извини — я ее сам видел.

— В витрине?

— Да, в витрине.

— Ну, это не удивительно — это ему наши бабы руками отбирали.

— Полно, — говорю, — пожалуйста: разве это можно руками отбирать?

— Как! руками-то? А разумеется можно. Так — сидят, знаешь, бабы и девки весенним деньком в тени под амбарчиком, поют, как «Антон козу ведет», а сами на ладонях зернышко к зернышку отбирают. Это очень можно.

— Какие, — говорю, — пустяки!

— Совсем не пустяки. За пустяки такой скаред, как мой сосед, денег платить не станет, а он сорока бабам целый месяц по пятиалтынному в день платил. Время только хорошо выбрал: у нас ведь весной бабы нипочем.

— А как же, — спрашиваю, — у него на выставке было свидетельство, что это зерно с его полей!

— Что же, это и правда. Выбранные зернышки тоже ведь на его поле выросли.

— Да; но, однако, это значит — голое и очень наглое мошенничество.

— И не забудь — не первое и не последнее.

— Да, но как же… этот купец, которого он «обовязал» такими безвыходными условиями… Он начал, разумеется, против этого барина судебное дело, или он разорился?

— Да, пожалуй, — он начал дело, но только совсем в особой инстанции.

— Где же это?

— У мужика. Выше этого ведь теперь, по вашему вразумлению, ничего быть не может.

— Да полно, — говорю, — тебе эти крючки загинать да шутовствовать. — Расскажи лучше просто, как следует, — что такое происходит в вашей самодеятельности?

— Изволь, — отвечает приятель, — я тебе расскажу. — Да, батюшка, и рассказал такое, что в самом деле может и даже должно превышать всякие узкие, чужеземные понятия об оживлении дел в крае… Не знаю, как вам это покажется, но по-моему — оригинально и дух истинного, самобытного человека не может не радовать.

Тут фальцет перебил рассказчика и начал его упрашивать довести начатую трилогию до конца, то есть рассказать, как купец сделался с пройдо-

хою-барином, и как всех их помирил и выручил мужик, к которому теперь якобы идет какая-то апелляция во всех случаях жизни.

Баритон согласился продолжать и заметил:

— Это довольно любопытно. Представьте вы себе, что как ни смел и находчив был сейчас мною вам описанный дворянин, с которым никому не дай бог в делах встретиться, но купец, которого он так беспощадно надул и запутал, оказался еще его находчивее и смелее. Какой-нибудь вертопрах-чужеземец увидал бы тут всего два выхода: или обратиться к суду, или сделать из этого — черт возьми — вопрос крови. Но наш простой, ясный русский ум нашел еще одно измерение и такой выход, при котором и до суда не доходили, и не ссорились, и даже ничего не потеряли, а напротив — все свою невинность соблюли, и все себе капиталы приобрели.

— Прелюбопытно!

— Да как же-с! Из такой возмутительной, предательской и вообще гадкой истории, которая какого хотите, любого западника вконец бы разорила, — наш православный пузатый купчина вышел молодцом и даже нажил этим большие деньги и, что всего важнее, — он, сударь, общественное дело сделал: он многих истинно

несчастных людей поддержал, поправил и, так сказать, устроил для многих благоденствие.

— Прелюбопытно, — снова вставил фальцет.

— Ну уж одним словом — слушайте: купец, который сейчас перед вами является, уверяю вас, барина лучше.

Глава 2

КУПЕЦ

Купец, которому было продано отборное зерно, разумеется, был обманут беспощадно. Все эти французы жидовского типа и англичане, равно как и дама haut l'école, у помещика были подставные лица, так сказать, его агенты, которые действовали, как известный Утешительный в гоголевских «Игроках». Иностранцам такое отборное зерно нельзя было продавать, потому что, во-первых, они не нашли бы способа, как с покупкою справиться, и завели бы судебный скандал, а во-вторых, у них у всех водятся консулы и посольства, которые не соблюдают правила невмешательства наших дипломатов и готовы вступать за своего во всякие мелочи. С иностранцами могла бы выйти прескверная история, и

барин, стоя на почве, понимал, что русское изобретение только один русский же национальный гений и может преодолеть. Потому отборное зерно и было продано своему единоверцу.

Прислал этот купец к барину приказчика принимать пшеницу. Приказчик вошел в амбары, взглянул в закромы, ворохнул лопатою и видит, разумеется, что над его хозяином совершено страшное надувательство. А между тем купец уже запродал зерно по образцам за границу. Первая мысль у растерявшегося приказчика явилась такая, что лучше бы всего отказаться и получить назад задаток, но условие так написано, что спасенья нет: и урожай, и годы, и амбары — все обозначено, и задаток ни в каком случае не возвращается. У нас известно: «что взято, то свято». Сунулся приказчик туда-сюда, к законоведам, — те говорят, — ничего не поделаешь: надо принимать зерно, какое есть, и остальные деньги выплачивать. Спор, разумеется, завести можно, да неизвестно, чем он кончится, а десять тысяч задатку гулять будут, да и с заграничными покупателями шутить нельзя. Подавай им, что запродано.

Приказчик посылает хозяину телеграмму, чтобы тот скорее сам приехал. Купец приехал,

выслушал приказчика, посмотрел хлеб и говорит своему молодцу:

— Ты, братец, дурак и очень глупо дело повел. Зерно хорошее, и никакой тут ссоры и огласки не надо; коммерция любит тайность: товар надо принять, а деньги заплатить.

А с барином он повел объяснение в другом роде.

Приходит, — помолился на образ и говорит:

— Здравствуй, барин!

А тот отвечает:

— И ты здравствуй!

— А ты, барин, плут, — говорит купец, — ты ведь меня надул как нельзя лучше.

— Что делать, приятель! а вы сами ведь тоже никому спуску не даете и нашего брата тоже объегориваете? Дело обоюдное.

— Так-то оно так, — отвечает купец, — дело это действительно обоюдное; но надо ему свою развязку сделать.

Барин очень согласен, только говорит:

— Желаю знать: в каких смыслах развязаться?

— А в таких, мол, смыслах, что если ты меня в свое время надул, то ты же должен мне теперь по-христиански помогать, а я тебе все деньги отдам и еще, пожалуй, немножко накину.

Дворянин говорит, что он на этих условиях всякое добро очень рад сделать, только говори, мол, мне прямо; что вашей чести, какая новая механика требуется?

Купец вкратце отвечает:

— Мне немного от тебя нужно, только поступи ты со мною, как поступил благоразумный домоправитель, о котором в Евангелии повествуется.

Барин говорит:

— Я всегда после Евангелия в церковь хожу: не знаю, что там читается.

Купец ему довел на память: «Призвав коегожда от должников господина своего глаголаше: колицем должен еси? Приими писание твое и напиши другое. И похвали господь домоправителя неправедного».

Дворянин выслушал и говорит:

— Понимаю. Это ты, верно, хочешь еще у меня купить такой же редкой пшеницы.

— Да, — отвечал купец, — теперь уж надо продолжать, потому что никаким другим манером нам себя соблюсти невозможно. А к тому, нельзя все только о себе думать, — надо тоже дать и бедному народишку что-нибудь заработать.

Барин это о народушке пустил мимо ушей и спрашивает:

— А какое количество зерна ты у меня еще купить желаешь?

— Да я теперь много куплю… Мне так надо, чтобы целую барку одним этим добрым зерном нагрузить.

— Гм! Так, так! Ты, верно, хочешь ее особенно бережно везти?

— Вот это и есть.

— Ага! понимаю. Я очень рад, очень рад и могу служить.

— Документальное удостоверение нужно, что на целую барку зерна нагружаю.

— Само собою разумеется. Разве можно в нашем краю без документа?

— А какая цена? сколько возьмешь за эту добавочную покупку?

— Возьму не дороже, как за мертвые души.

Купец не понял, в чем дело, и перекрестился.

— Какие такие мертвые души? Что тебе про них вздумалось! Им гнить, а нам жить. Мы про живое говорим: сказывай, сколько возьмешь, чтобы несуществующее продать?

— В одно слово?

— В одно слово.

— По два рубля за куль.

— Вот те и раз!

— Это недорого.

— Нет, ты по-божьему — получи по полтине за куль.

Дворянин сделал удивленное лицо.

— Как это — по полтине за куль пшеницы-то!

А тот его обрезонивает:

— Ну какая, — говорит, — это пшеница!

— Да уж об этом не будем спорить — такая она или сякая, однако ты за нее с кого-нибудь настоящие деньги слупишь.

— Это еще как бог даст.

— Да уж тебе-то бог непременно даст. К вам, к купцам, я ведь и не знаю за что, — бог ужасно милостив. Даже, ей-богу, завидно.

— А ты не завидуй, — зависть грех.

— Нет, да зачем это все деньги должны к вам плыть? Вам с деньгами-то хорошо.

— Да, мы припадаем и молимся, — и ты молись: кто молится, тому бог дает хорошо.

— Конечно, так, но вам тоже и есть чем — вы много жертвуете на храмы.

— И это.

— Ну, вот то-то и есть. А ты мне дай цену подороже, так тогда и я от себя пожертвую.

Купец рассмеялся.

— Ты, — говорит, — плут.

А тот отвечает:

— Да и ты тут.

— Нет, взаправду, вот что: так как я вижу, что ты знаешь Писание и хочешь сам к вере придержаться, то я тебе дам по гривеннику на куль больше, чем располагал. Получай по шесть гривен, и о том, что мы сделали, никто знать не будет.

А барин отвечает:

— Хорошо, но еще лучше, ты мне дай по рублю за куль и потом, если хочешь, всем об этом рассказывай.

Купец посмотрел на него, и оба враз рассмеялись.

— Ну, — говорит купец, — скажу я тебе, барин, что плутее тебя даже в самом нижнем звании редко подыскать.

А тот, не смутясь, отвечает:

— Нельзя, братец, в нашем веке иначе: теперь у нас благородство есть, а нет крестьян, которые наше благородство оберегали, а во-вторых, нынче и мода такая, чтобы русской простонародности подражать.

Купец не стал больше торговаться.

— Нечего, видно, с тобою говорить — ты чищеный, — крестись перед образом и по рукам.

Барин согласен молиться, но только деньги

вперед требует и местечко на столе ударяет, где их перед ним положить желательно.

Купец о то самое место деньги и выклал.

— Ладно, мол, вели, только скорее, чем попало новое кулье набивать, — я хочу, чтобы при мне вся погрузка была готова и караван отплыл.

Нагрузили барку кулями, в которых черт знает какой дряни набили под видом драгоценной пшеницы; застраховал все это купец в самой дорогой цене, отслужили молебен с водосвятием, покормили православный народушко пирогами с легким и с сердцем и отправили судно в ход. Барки поплыли своим путем, а купец, время не тратя, с барином подвел окончательные счеты по-божьему, взял бумаги и полетел своим путем в Питер и прямо на Аглицкую набережную к толстому англичанину, которому раньше запродажу совершил по тому дивному образцу, который на выставке был.

«Зерно, — говорит, — отправлено в ход, и вот документы и страховка; прошу теперь мне отдать, что следует, на такое-то количество, вторую часть получения».

Англичанин посмотрел документы и сдал их в контору, а из несгораемого шкафа вынул деньги и заплатил.

Купец завязал их в платок и ушел.

Тут фальцет перебил рассказчика словами:

— Вы какие-то страсти говорите.

— Я говорю вам то, что в действительности было.

— Ну так значит, этот купец, взявши у англичанина деньги, бежал, что ли, с ними за границу?

— Вовсе не бежал. Чего истинный русский человек побежит за границу? Это не в его правилах, да он и никакого другого языка, кроме русского, не знает. Никуда он не бежал.

— Так как же он ни аглицкого консула, ни посла не боялся? Почему дворянин их боялся, а купец не стал бояться?

— Вероятно, потому, что купец опытнее был и лучше знал народные средства.

— Ну полноте, пожалуйста, какие могут быть народные средства против англичан!.. Эти всесветные торгаши сами кого угодно облупят.

— Да кто вам сказал, что он хотел англичан обманывать? Он знал, что с ними шутить не годится, и всему дальнейшему благополучному течению дела усмотрел иной проспект, а на том проспекте предвидел уже для себя полезного деятеля, в руках которого были все средства все это дело огранить и в рамку вставить. Тот и дал

всему такой оборот, что ни Ротшильд, ни Томсон Бойер и никакой другой коммерческий гений не выдумает.

— И кто же был этот великий делец: адвокат или маклер?

— Нет, мужик.

— Как мужик?

— Да все дело обделал он — наш простой, наш находчивый и умный мужик! Да я и не понимаю — отчего вас это удивляет? Ведь читали же вы небось у Щедрина, как мужик трех генералов прокормил?

— Конечно, читал.

— Ну так отчего же вам кажется странным, что мужик умел плутню распутать?

— Будь по-вашему: спрячу пока мои недоразумения.

— А я вам кончу про мужика, и притом про такого, который не трех генералов, а целую деревню один прокормил.

Глава 3

МУЖИК

Мужик, к помощи которого обратился купец,

был, как всякий русский мужик, «с вида сер, но ум у него не черт съел». Родился он при матушке широкой реке-кормилице, а звали его, скажем так, — Иваном Петровым. Был этот раб божий Иван в свое время молод, а теперь достигал почтенной старости, но хлеба даром, лежа на печи, не кушал, а служил лоцманом при Толмачевских порогах, на Куриной переправе. Лоцманская должность, как вам, вероятно, известно, состоит в том, чтобы провожать суда, идущие через опасные для прохода места. За это провожатому лоцману платят известную плату, и та плата идет в артель, а потом разделяется между всеми лоцманами данной местности.

Всякий хозяин может повести свое судно и на собственную ответственность, без лоцмана, но тогда уже, если с «посудкой» случится какое-нибудь несчастие, — лоцманская артель не отвечает. А потому, если судно идет с застрахованным грузом, то условиями страховки требуется, чтобы лоцман был непременно. Взято это, конечно, с иностранных примеров, без надлежащего внимания к нашей беспримерной оригинальности и непосредственности. Заводили у нас страховые операции господа иностранцы и думали, что их Рейн или Дунай — это все равно что наши Свирь

или Волга, и что их лоцман и наш — это опять одно и то же. Ну нет, брат, — извини!

Наши речные лоцманы — люди простые, не ученые, водят они суда, сами водимые единым богом. Есть какой-то навык и сноровка. Говорят, что будто они после половодья дно реки исследуют и проверяют, но, полагать надо, все это относится более к области успокоительных всероссийских иллюзий; но в своем роде лоцманы — очень большие дельцы и наживают порою кругленькие капитальцы. И все это в простоте и в смирении — бога почитаючи и не огорчая мир, то есть своих людей не позабывая.

Мужик Иван Петров был из зажиточных; ел не только щи с мясом, а еще, пожалуй, в жирную масляную кашу ложку сметаны клал, не столько уже «для скусу», сколько для степенства — чтобы по бороде текло, а ко всему этому выпивал для сварения желудка стакан-два нашего простого, доброго русского вина, от которого никогда подагры не бывает. По субботам он ходил в баню, а по воскресениям молился усердно и вежливо, то есть прямо от своего лица ни о чем просить не дерзал, а искал посредства просиявших угодников; но и тем не докучал с пустыми руками, а приносил во храм дары и жертвы: пелены, ризы,

свечи и курения. Словом, был христианин самого заправского московского письма.

Купцу, которого дворянин отборным зерном обидел, благочестивый мужик Иван Петров был знаем по верным слухам как раз с той стороны, с какой он ему нынче самому понадобился. Он-то и был тот, который мог все дело поправить, чтобы никому решительно убытка не было, а всем польза.

«Он выручал других — должен выручить и меня», — рассудил купец и позвал к себе в кабинет того приказчика, который один знал, с чем у них застрахованные кули на барки нагружены, и говорит:

— Ты веди караван, а я вас где надо встречу.

А сам поехал налегке простым, богомольным человеком прямо к Тихвинской, а заместо того попал к Толмачевым порогам на Куриный переход. «Где сокровище, там и сердце». Пристал наш купец здесь на постоялом дворе и пошел узнавать: где большой человек Иван Петров и как с ним свидеться.

Ходит купец по бережку и не знает: как за дело взяться. А просто взяться — невозможно: дело затеяно воровское.

К счастию своему, видит купец на бережке, на

обернутой кверху дном лодке сидит весь белый, матерой старик, в плисовом ватном картузе, борода празелень, и корсунский медный крест из-за пазухи касандрийской рубахи наружу висит.

Понравился старец купцу своим правильным видом. Прошел мимо этого старика купец раз и два, а тот его спрашивает:

— Чего ты здесь, хозяин, ищешь и что обрести желаешь: то ли, чего не имел, или то, что потерял?

Купец отвечает, что он так себе «прохаживается», но старик умный — улыбнулся и отвечает:

— Что это еще за прохаживание! В проходку ходить — это господское, а не христианское дело, а степенный человек за делом ходит и дела смотрит — дела пытает, а не от дела лытает. Неужели же ты в таких твоих годах даром время провождаешь?

Купец видит, что обрел человека большого ума и проницательности — сейчас перед ним и открылся, что он действительно дела пытает, а не от дела лытает.

— А к какому месту касающему?

— Касающее этого самого места.

— И в чем оно содержащее?

— Содержащее в том, что я обижен весьма

несправедливым человеком.

— Так; нынче, друг, мало уже кто по правде живет, а все по обиде. А кого ты на нашем берегу ищешь?

— Ищу себе человека помогательного.

— Так; а в какой силе?

— В самой большой силе — грех и обиду отнимающей.

— И-и, брат! Где весь грех омыть. В Писании у апостолов сказано: «Весь мир во грехе положен», — всего не омоешь, а разве хоть по малости.

— Ну хоть по малости.

— То-то и есть: господь грех потопом омыл, а он вновь настал.

— Научи меня, дедушка, — где для меня здесь полезный человек?

— А как ему имя от бога дано?

— Имя ему Иоанн.

— «Бысть человек послан от бога, имя ему Иоанн», — проговорил старик. — А как по изотчеству?

— Петрович.

— Ну, сам перед тобою я — Иван Петрович. Сказывай, какая твоя нужда?

Тот ему рассказал, впрочем только одну первую

половину, то есть о том, какой плут был барин, который ему отборное зерно продал, а о том, какое он сам плутовство сделал, — про то умолчал, да и надобности рассказывать не было, потому что старец все в молчании постиг и мягко оформил ответное слово:

— Товар, значит, страховой?

— Да.

— И подконтрачен?

— Да, подконтрачен.

— Иностранцам?

— Англичанам.

— Ух! Это жохи!

Старик зевнул, перекрестил рот, потом встал и добавил:

— Приходи-ко ты ко мне, кручинная голова, на двор: о таком деле надо говорить — подумавши.

Через некоторое время, как там было у них условлено, приходит купец, «кручинная голова», к Ивану Петрову, а тот его на огород, — сел с ним на банное крылечко и говорит:

— Я твое дело все обдумал. Пособить тебе от твоих обязательств — действительно надо, потому что своего русского человека грешно чужанам выдать, и как тебя избавить — это есть в наших руках, но только есть у нас одна своя мирская

причина, которая здесь к тому не позволяет.

Купец стал упрашивать.

— Сделай милость, — говорит, — я тысяч не пожалею и деньги сейчас вперед хоть Николе, хоть Спасу за образник положу.

— Знаю, да взять нельзя.

— Отчего?

— Очень опасно.

— С коих же пор ты так опаслив стал?

Старик на него поглядел и с солидным достоинством заметил, что он всегда был опаслив.

— Однако другим помогал.

— Разумеется, помогал, когда в своем правиле и весь мир за тебя стоять будет.

— А ныне разве мир против тебя стоит?

— Я так думаю.

— А почему?

— Потому что у нас, на Куриной переправе, в прошлом году страховое судно затонуло и наши сельские на том разгрузе вволю и заработали, а если нынче опять у нас этому статься, то на Поросячьем броде люди осерчают и в донос пойдут. Там ноне пожар был, почитай все село сгорело, и им строиться надо и храм поправить. Нельзя все одним нашим предоставить благостыню, а надо и тем. А поезжай-ко ты нынче ночью туда,

на Поросячий брод, да вызови из третьего двора в селе человека, Петра Иванова — вот той раб тебе все яже ко спасению твоему учредит. Да денег не пожалей — им строиться нужно.

— Не пожалею.

Купец в ту же ночь поехал, куда благословил дедушка Иоанн, нашел там без труда в третьем дворе указанного ему помогательного Петра и очень скоро с ним сделался. Дал, может быть, и дорого, но вышло так честно и аккуратно, что одно только утешение.

— То есть какое же это утешение? — спросил фальцет.

— А такое утешение, что как подоспел сюда купцов караван, где плыла и та барка с сором вместо дорогой пшеницы, то все пристали против часовенки на бережку, помолебствовали, а потом лоцман Петр Иванов стал на буксир и повел, и все вел благополучно, да вдруг самую малость рулевому оборот дал и так похибил, что все суда прошли, а эта барка зацепилась, повернулась, как лягушка, пузом вверх и потонула.

Народу стояло на обоих берегах множество, и все видели, и все восклицали: «ишь ты! поди ж ты!» Словом, «случилось несчастие» невесть отчего. Ребята во всю мочь веслами били, дядя Петр на

руле весь в поту, умаялся, а купец на берегу весь бледный, как смерть, стоял да молился, а все не помогло. Барка потонула, а хозяин только покорностью взял: перекрестился, вздохнул да молвил: «Бог дал, бог и взял — буди его святая воля».

Всех искреннее и оживленнее был народ: из народа к купцу уже сейчас же начали приставать люди с просьбами: «теперь нас не обессудь, — это на сиротскую долю бог дал». И после этого пошли веселые дела: с одной стороны, исполнялись формы и обряды законных удостоверений и выдача купцу страховой премии за погибший сор, как за драгоценную пшеницу; а с другой — закипело народное оживление и пошла поправка всей местности.

— Как это?

— Очень просто; немцы ведут все по правилам заграничного сочинения: приехал страховой агент и стал нанимать людей, чтобы затонувший груз из воды доставать. Заботились, чтобы не все пропало. Труд немалый и долгий. Погорелые мужички сумели воспользоваться обстоятельствами; на мужчину брали в день полтора рубля, а на бабенку рубль. А работали потихонечку — все лето так с божией помощью и проработали. Зато на берегу точно гулянье стало — погорелые слезы

высохли, все поют песни да приплясывают, а на горе у наемных плотников весело топоры стучат и домики, как грибки, растут на погорелом месте. И так, сударь мой, все село отстроилось, и вся беднота и голытьба поприкрылась и понаелась, и божий храм поправили. Всем хорошо стало, и все зажили, хваляще и благодаряще господа, и никто, ни один человек не остался в убытке — и никто не в огорчении. Никто не пострадал!

— Как никто?

— А кто же пострадал? Барин, купец, народ, то есть мужички, — все только нажились.

— А страховое общество?

— Страховое общество?

— Да.

— Батюшка мой, о чем вы заговорили!

— А что же — разве оно не заплатило?

— Ну, как же можно не заплатить — разумеется, заплатило.

— Так это по-вашему — не гадость, а социабельность?!

— Да разумеется же социабельность! Столько русских людей поправилось, и целое село год прокормилось, и великолепные постройки отстроились, и это, изволите видеть, по-вашему, называется «гадость».

— А страховое-то общество — это что уже, стало быть, не социабельное учреждение?

— Разумеется, нет.

— А что же это такое?

— Немецкая затея.

— Там есть акционеры и русские.

— Да, которые с немцами знаются да всему заграничному удивляются и Бисмарка хвалят.

— А вы его не хвалите.

— Боже меня сохрани! Он уже стал проповедовать, что мы, русские, будто «через меру своею глупостию злоупотреблять начали», — так пусть его и знает, как мы глупы — то; а я его и знать не хочу.

— Это черт знает что такое!

— А что именно?

— Вот то, что вы мне рассказывали.

Фальцет расхохотался и добавил:

— Нет, я вас решительно не понимаю.

— Представьте, а я вас тоже не понимаю.

— Да если бы нас слушал кто-нибудь сторонний человек, который бы нас не знал, то он бы непременно вправе был о нас подумать, что мы или плуты, или дураки.

— Очень может быть, но только он этим доказал бы свое собственное легкомыслие, потому что

мы и не плуты и не дураки.

— Да, если это так, то, пожалуй, мы и сами не знаем, кто мы такие.

— Ну отчего же не знать. Что до меня касается, то я отлично знаю, что мы просто благополучные россияне, возвращающиеся с ингерманландских болот к себе домой, — на теплые полати, ко щам, да к бабам… А кстати, вот и наша станция.

Поезд начал убавлять ход, послышался визг тормозов, звонок, — и собеседники вышли.

Я приподнялся было, чтобы их рассмотреть, но в густом полумраке мне это не удалось. Видел только, что оба люди окладистые и рослые.

1884

Обман

Смоковница отметает пупы
своя от ветра велика.

Анк. VI, 13

Глава 1

Под самое Рождество мы ехали на юг и, сидя в вагоне, рассуждали о тех современных вопросах,

которые дают много материала для разговора и в то же время требуют скорого решения. Говорили о слабости русских характеров, о недостатке твердости в некоторых органах власти, о классицизме и о евреях. Более всего прилагали забот к тому, чтобы усилить власть и вывести в расход евреев, если невозможно их исправить и довести, по крайней мере, хотя до известной высоты нашего собственного нравственного уровня. Дело, однако, выходило не радостно: никто из нас не видел никаких средств распорядиться властию, или достигнуть того, чтобы все, рожденные в еврействе, опять вошли в утробы и снова родились совсем с иными натурами.

— А в самой вещи, — как это сделать?

— Да никак не сделаешь.

И мы безотрадно поникли головами.

Компания у нас была хорошая, — люди скромные и несомненно основательные.

Самым замечательным лицом в числе пассажиров, по всей справедливости, надо было считать одного отставного военного. Это был старик атлетического сложения. Чин его был неизвестен, потому что из всей боевой амуниции у него уцелела одна фуражка, а все прочее было заменено вещами статского издания. Старик был

беловолос, как Нестор, и крепок мышцами, как Сампсон, которого еще не остригла Далила. В крупных чертах его смуглого лица преобладало твердое и определительное выражение и решимость. Без всякого сомнения, это был характер положительный и притом — убежденный практик. Такие люди не вздор в наше время, да и ни в какое иное время они не бывают вздором.

Старец все делал умно, отчетливо и с соображением; он вошел в вагон раньше всех других и потому выбрал себе наилучшее место, к которому искусно присоединил еще два соседние места и твердо удержал их за собою посредством мастерской, очевидно заранее обдуманной, раскладки своих дорожных вещей. Он имел при себе целые три подушки очень больших размеров. Эти подушки сами по себе уже составляли добрый багаж на одно лицо, но они были так хорошо гарнированы, как будто каждая из них принадлежала отдельному пассажиру: одна из подушек была в синем кубовом ситце с желтыми незабудками, — такие чаще всего бывают у путников из сельского духовенства; другая — в красном кумаче, что в большом употреблении по купечеству, а третья — в толстом полосатом тике — это уже настоящая штабс-капитанская.

Пассажир, очевидно, не искал ансамбля, а искал чего-то более существенного, — именно приспособительности к другим гораздо более серьезным и существенным целям.

Три разношерстные подушки могли кого угодно ввести в обман, что занятые ими места принадлежат трем разным лицам, а предусмотрительному путешественнику этого только и требовалось.

Кроме того, мастерски заделанные подушки имели не совсем одно то простое название, какое можно было придать им по первому на них взгляду. Подушка в полосатом была собственно чемодан и погребец и на этом основании она пользовалась преимущественным перед другими вниманием своего владельца. Он поместил ее vis-a-vis перед собою, и как только поезд отвалил от амбаркадера — тотчас же облегчил и поослабил ее, расстегнув для того у ее наволочки белые костяные пуговицы. Из пространного отверстия, которое теперь образовалось, он начал вынимать разнокалиберные, чисто и ловко завернутые сверточки, в которых оказались сыр, икра, колбаса, сайки, антоновские яблоки и ржевская пастила. Всего веселее выглянула на свет хрустальная фляжка, в которой находилась удивительно приятного фиолетового цвета жид-

кость с известною старинною надписью: «Ея же и монаси приемлят». Густой аметистовый цвет жидкости был превосходный, и вкус, вероятно, соответствовал чистоте и приятности цвета. Знатоки дела уверяют, будто это никогда одно с другим не расходится.

Во все время, пока прочие пассажиры спорили о жидах, об отечестве, об измельчании характеров и о том, как мы «во всем сами себе напортили», и, — вообще занимались «оздоровлением корней» — беловласый богатырь сохранял величавое спокойствие. Он держал себя, как человек, который знает, когда ему придет время сказать свое слово, а пока — он просто кушал разложенную им на полосатой подушке провизию и выпил три или четыре рюмки той аппетитной влаги «Ея же и монаси приемлят». Во все это время он не проронил ни одного звука. Но зато, когда у него все это важнейшее дело было окончено как следует и когда весь буфет был им снова тщательно убран, — он щелкнул складным ножом и закурил с собственной спички невероятно толстую, самодельную папиросу, потом вдруг заговорил и сразу завладел всеобщим вниманием.

Говорил он громко, внушительно и смело, так что никто не думал ему возражать или проти-

воречить, а, главное, он ввел в беседу живой общезанимательный любовный элемент, к которому политика и цензура нравов примешивалась только слегка, левою стороною, не докучая и не портя живых приключений мимо протекшей жизни.

Глава 2

Он начал речь свою очень деликатно, — каким-то чрезвычайно приятным и в своем роде даже красивым обращением к пребывающему здесь «обществу», а потом и перешел прямо к предмету давних и ныне столь обыденных суждений.

— Видите ли, — сказал он, — мне все это, о чем вы говорили, не только не чуждо, но даже, вернее сказать, очень знакомо. Мне, как видите, уже не мало лет, — я много жил и могу сказать — много видел. Все, что вы говорите про жидов и поляков, — это все правда, но все это идет от нашей собственной русской, глупой деликатности; все хотим всех деликатней быть. Чужим мирволим, а своих давим. Мне это, к сожалению, очень известно и даже больше того, чем известно: я это испытал на самом себе-с, но вы напрасно думаете, что это только теперь настало: это давно завелось

и напоминает мне одну роковую историю. Я, положим, не принадлежу к прекрасному полу, к которому принадлежала Шехеразада, однако я тоже очень бы мог позанять иного султана не пустыми рассказами. Жидов я очень знаю, потому что живу в этих краях и здесь постоянно их вижу, да и в прежнее время, когда еще в военной службе служил, и когда по роковому случаю городничим был, так не мало с ними повозился. Случалось у них и деньги занимать, случалось и за пейсы их трепать и в шею выталкивать, всего приводил бог, — особенно когда жид придет за процентами, а заплатить нечем. Но бывало, что я и хлеб-соль с ними водил, и на свадьбах у них бывал, и мацу, и гугель, и аманово ухо у них ел, а к чаю их булки с чернушкой и теперь предпочитаю непропеченной сайке, но того, что с ними теперь хотят сделать, — этого я не понимаю. Нынче о них везде говорят и даже в газетах пишут… Из-за чего это? У нас, бывало, просто хватишь его чубуком по спине, а если он очень дерзкий, то клюквой в него выстрелишь, — он и бежит. И жид большего не стоит, а выводить его совсем в расход не надо, потому что при случае жид бывает человек полезный.

Что же касается в рассуждении всех подлостей,

которые евреям приписывают, так я вам скажу, это ничего не значит перед молдаванами и еще валахами, и что я с своей стороны предложил бы, так это не вводить жидов в утробы, ибо это и невозможно, а помнить, что есть люди хуже жидов.

— Кто же, например?

— А, например, румыны-с!

— Да, про них тоже нехорошо говорят, — отозвался солидный пассажир с табакеркой в руках.

— О-о, батюшка мой, — воскликнул, весь оживившись, наш старец: — Поверьте мне, что это самые худшие люди на свете. Вы о них только слыхали, но по чужим словам, как по лестнице, можно черт знает куда залезть, а я все сам на себе испытал и, как православный христианин, свидетельствую, что хотя они и одной с нами православной веры, так что, может быть, нам за них когда-нибудь еще и воевать придется, но это такие подлецы, каких других еще и свет не видал.

И он нам рассказал несколько плутовских приемов, практикующихся или некогда практиковавшихся в тех местах Молдавии, которые он посещал в свое боевое время, но все это выходило не ново и мало эффектно, так что бывший средь прочих слушателей пожилой лысый купец даже

зевнул и сказал:

— Это и у нас музыка известная!

Такой отзыв оскорбил богатыря, и он, слегка сдвинув брови, молвил:

— Да, разумеется, русского торгового человека плутом не удивишь!

Но вот рассказчик оборотился к тем, которые ему казались просвещеннее, и сказал:

— Я вам, господа, если на то пошло, расскажу анекдотик из ихнего привилегированного-то класса; расскажу про их помещичьи нравы. Тут вам кстати будет и про эту нашу дымку очес, через которую мы на все смотрим, и про деликатность, которою только своим и себе вредим.

Его, разумеется, попросили, и он начал, пояснив, что это составляет и один из очень достопримечательных случаев его боевой жизни.

Глава 3

Рассказчик начал так.

Человек, знаете, всего лучше познается в деньгах, картах и в любви. Говорят, будто еще в опасности на море, но я этому не верю, — в опасности иной трус развоюется, а смельчак спасует. Карты и любовь… Любовь даже может

быть важней карт, потому что всегда и везде в моде: поэт это очень правильно говорит: «любовь царит во всех сердцах», без любви не живут даже у диких народов, — а мы, военные люди, ею «вси *движимой* и есьми». Положим, что это сказано в рассуждении другой любви, однако, что попы ни сочиняй, — всякая любовь есть «влечение к предмету». Это у Курганова сказано. А вот предмет предмету рознь, — это правда. Впрочем, в молодости, а для других даже еще и под старость, самый общеупотребительный предмет для любви все-таки составляет женщина. Никакие проповедники этого не могут отменить, потому что бог их всех старше и как он сказал: «не благо быть человеку единому», так и остается.

В наше время у женщин не было нынешних мечтаний о независимости, — чего я, впрочем, не осуждаю, потому что есть мужья совершенно невозможные, так что верность им даже можно в грех поставить. Не было тогда и этих гражданских браков, как нынче завелось. Тогда на этот счет холостежь была осторожнее и дорожила свободой. Браки были тогда только обыкновенные, настоящие, в церкви петые, при которых обычаем не возбранялась свободная любовь к военным. Этого греха, как и в романах Лермонтова, видно

было действительно очень много, но только происходило все это по-раскольницки, то есть «без доказательств». Особенно с военными: народ перехожий, нигде корней не пускали: нынче здесь, а завтра затрубим и на другом месте очутимся — следовательно, что шито, что вито, — все позабыто. Стесненья никакого. Зато нас и любили, и ждали. Куда, бывало, в какой городишко полк ни вступит, — как на званый пир, сейчас и закипели шуры-муры. Как только офицеры почистятся, поправятся и выйдут гулять, так уже в прелестных маленьких домиках окна у барышень открыты и оттуда летит звук фортепиано и пение. Любимый романс был:

Как хорош, — не правда ль, мама,
Постоялец наш удалый,
Мундир золотом весь шитый,
И как жар горят ланиты,
Боже мой,
Боже мой,
Ах, когда бы он был мой.

Ну уж, разумеется, из какого окна услыхал это пение — туда глазом и мечешь — и никогда не даром. В тот же день к вечеру, бывало, уже поле-

тят через денщиков и записочки, а потом пойдут порхать к господам офицерам горничные… Тоже не нынешние субретки, но крепостные, и это были самые бескорыстные создания. Да мы, разумеется, им часто и платить ничем иным не могли, кроме как поцелуями. Так и начинаются, бывало, любовные утехи с посланниц, а кончаются с пославшими. Это даже в водевиле у актера Григорьева на театрах в куплете пели:

Чтоб с барышней слюбиться,
За девкой волочись.

При крепостном звании горничною не называли, а просто — девка.

Ну, понятно, что при таком лестном внимании все мы военные люди были чертовски женщинами избалованы! Тронулись из Великой России в Малороссию — и там то же самое; пришли в Польшу — а тут этого добра еще больше. Только польки ловкие — скоро женить наших начали. Нам командир сказал: «Смотрите, господа, осторожно», и действительно у нас бог спасал — женитьбы не было. Один был влюблен таким образом, что побежал предложение делать, но застал свою будущую тещу наедине и, к счастию, ею самою так увлекся, что уже не сделал дочери

предложения. И удивляться нечему, что были успехи, — потому что народ молодой и везде ветречали пыл страсти. Нынешнего житья ведь тогда в образованных классах не было… Внизу там, конечно, пищали, но в образованных людях просто зуд любовный одолевал, и притом внешность много значила. Девицы и замужние признавались, что чувствуют этакое, можно сказать, какое-то безотчетное замирание при одной военной форме… Ну, а мы знали, что на то селезню дано в крылья зеркальце, чтобы утице в него поглядеться хотелось. Не мешали им собой любоваться…

Из военных не много было женатых, потому что бедность содержания, и скучно. Женившись: тащись сам на лошадке, жена на коровке, дети на телятках, а слуги на собачках. Да и к чему, когда и одинокие тоски жизни одинокой, по милости божией, никогда нимало не испытывали. А уж о тех, которые собой поавантажнее, или могли петь, или рисовать, или по-французски говорить, то эти часто даже не знали, куда им деваться от рога изобилия. Случалось даже, в придачу к ласкам и очень ценные безделушки получали, и то так, понимаете, что отбиться от них нельзя… Просто даже бывали случаи, что от одного случая

вся, бедняжка, вскроется, как клад от аминя, и тогда непременно забирай у нее что отдает, а то сначала на коленях просит, а потом обидится и заплачет. Вот у меня и посейчас одна такая заветная балаболка на руке застряла.

Рассказчик показал нам руку, на которой на одном толстом, одеревянелом пальце заплыл старинной работы золотой эмальированный перстень с довольно крупным алмазом. Затем он продолжил рассказ:

— Но такой нынешней гнусности, чтобы с мужчин чем-нибудь пользоваться, этого тогда даже и в намеках не было. Да и куда, и на что? Тогда ведь были достатки от имений, и притом еще и простота. Особенно в уездных городках ведь чрезвычайно просто жили. Ни этих нынешних клубов, ни букетов, за которые надо деньги заплатить и потом бросить, не было. Одевались со вкусом, — мило, но простенько: или этакий шелковый марсельинец, или цветная кисейка, а очень часто не пренебрегали и ситчиком или даже какою-нибудь дешевенькою цветною холстинкою. Многие барышни еще для экономии и фартучки и бретельки носили с разными этакими бахромочками и городками, и часто это очень красиво и нарядно было, и многим шло. А про-

гулки и все эти рандевушки совершались совсем не по-нынешнему. Никогда не приглашали дам куда-нибудь в загородные кабаки, где только за все дерут вдесятеро, да в щелки подсматривают. Боже сохрани! Тогда девушка или дама со стыда бы сгорела от такой мысли и ни за что бы не поехала в подобные места, где мимо одной лакузы-то пройти — все равно как сквозь строй! И вы сами ведете свою даму под руку, видите, как те подлецы за вашими плечами зубы скалят, потому что в их холопских глазах что честная девица, что женщина, увлекаемая любовною страстию, что какая-нибудь дама из Амстердама — это все равно. Даже если честная женщина скромнее себя держит, так они о ней еще ниже судят: «Тут, дескать, много поживы не будет: по барыньке и говядинка».

Нынче этим манкируют, но тогдашняя дама обиделась бы, если бы ей предложить хотя бы самое приятное уединение в таком месте.

Тогда был вкус и все искали, как все это облагородить, и облагородить не каким-нибудь фанфаронством, а именно изящной простотою, — чтобы даже ничто не подавало воспоминаний о презренном металле. Влюбленные всего чаще шли, например, гулять за город, рвать в цветущих

полях васильки или где-нибудь над речечкой под лозою рыбу удить или вообще, что-нибудь другое этакое невинное и простосердечное. Она выйдет с своею крепостною, а ты сидишь на рубежечке, поджидаешь. Девушку, разумеется, оставишь где-нибудь на меже, а с барышней углубишься в чистую зреющую рожь… Это колосья, небо, букашки разные по стебелькам и по земле ползают… А с вами молодое существо, часто еще со всей институтской невинностью, которое не знает, что говорить с военным, и точно у естественного учителя спрашивает у вас: «Как вы думаете: это букан или букашка?..» Ну, что тут думать: букашка это или букан, когда с вами наедине и на вашу руку опирается этакий живой, чистейший ангел! Закружатся головы, и, кажется, никто не виноват и никто ни за что отвечать не может, потому что не ноги тебя несут, а самое поле в лес уплывает, где этакие дубы и клены, и в их тени задумчивы дриады!.. Ни с чем, ни с чем в мире не сравнимое состояние блаженства! Святое и безмятежное счастие!..

Рассказчик так увлекся воспоминаниями высоких минут, что на минуту умолк. А в это время кто-то тихо заметил, что для дриад это начиналось хорошо, но кончалось не без хлопот.

— Ну да, — отозвался повествователь, — после, разумеется, ищи что на орле, на левом крыле. Но я о себе-то, о кавалерах только говорю: мы привыкли принимать себе такое женское внимание и сакрифисы в простоте, без рассуждений, как дар Венеры Марсу следующий, и ничего продолжительного ни для себя не требовали, ни сами не обещали, а пришли да взяли — и поминай как звали. Но вдруг крутой перелом! Вдруг прямо из Польши нам пришло неожиданное назначение в Молдавию. Поляки мужчины страсть как нам этот румынский край расхваливали: «Там, говорят, куконы, то есть эти молдаванские дамы, — такая краса природы, совершенство, как в целом мире нет. И любовь у них, будто, получить ничего не стоит, потому что они ужасно пламенные».

Что же, — мы очень рады такому кладу.

Наши ребята и расхорохорились. Из последнего тянуться, перед выходом всяких перчаток, помад и духов себе в Варшаве понакупили и идут с этим запасом, чтобы куконы сразу поняли, что мы на руку лапоть не обуваем.

Затрубили, в бубны застучали и вышли с веселою песнею:

Мы любовниц оставляем,

Оставляем и друзей.
В шумном виде представляем
Пулей свист и звук мечей.

Ждали себе невесть каких благодатей, а вышло дело с такой развязкою, какой никаким образом невозможно было представить.

Глава 4

Вступали мы к ним со всем русским радушием, потому что молдаване все православные, но страна их нам с первого же впечатления не понравилась: низменность, кукуруза, арбузы и земляные груши прекрасные, но климат нездоровый. Очень многие у нас еще на походе переболели, а к тому же ни приветливости, ни благодарности нигде не встречаем.

Что ни понадобится — за все давай деньги, а если что-нибудь, хоть пустяки, без денег у молдава возьмут, так он, чумазый, заголосит, будто у него дитя родное отняли. Воротишь ему — бери свои костыли, — только не голоси, так он спрячет и сам уйдет, так что его, черта лохматого, нигде и не отыщешь. Иной раз даже проводить или дорогу показать станет и некому — все разбегут-

ся. Трусишки единственные в мире, и в низшем классе у них мы ни одной красивой женщины не заметили. Одни девчонки чумазые, да пребезобразнейшие старухи.

Ну, думаем себе, может быть, у них это так только в хуторах придорожных: тут всегда народ бывает похуже; а вот придем в город, там изменится. Не могли же поляки совсем без основания нас уверять, что здесь хороши и купоны! Где они, эти куконы? Посмотрим.

Пришли в город, ан и здесь то же самое: за все решительно извольте платить.

В рассуждении женской красоты поляки сказали правду. Куконы и куконицы нам очень понравились — очень томны и так гибки, что даже полек превосходят, а ведь уж польки, знаете, славятся, хотя они на мой вкус немножко большероты, и притом в характере капризов у них много. Пока дойдет до того, что ей по Мицкевичу скажешь: «Коханка моя! на цо нам размова», — вволю ей накланяешься. Но в Молдавии совсем другое — тут во всем жид действует. Да-с, простой жид, и без него никакой поэзии нет. Жид является к вам в гостиницу и спрашивает: не тяготитесь ли вы одиночеством и не причуяли ли какую-нибудь купону?

Вы ему говорите, что его услуги вам не годятся, потому что сердце ваше уязвлено, например, такою-то или такою-то дамою, которую вы видели, например скажете, в таком-то или таком-то доме под шелковым шатром на балконе. А жид вам отвечает: «мозно».

Поневоле окрик дашь:

— Что такое «мозно»?!

Отвечает, что с этою дамою можно иметь компанию, и сейчас же предлагает, куда надо выехать за город, в какую кофейню, куда и она приедет туда с вами кофе пить. Сначала думали — это вранье, но нет-с, не вранье. Ну, с нашей мужской стороны, разумеется, препятствий нет, все мы уже что-нибудь присмотрели и причуяли и все готовы вместе с какою-нибудь куконою за город кофе пить.

Я тоже сказал про одну купону, которую видел на балконе. Очень красивая. Жид сказал, что она богатая и всего один год замужем.

Что-то уж, знаете, очень хорошо показалось, так что даже и плохо верится. Переспросил еще раз, и опять то же самое слышу: богатая, год замужем и кофе с нею пить можно.

— Не врешь ли ты? — говорю жиду.

— Зачем врать? — отвечает, — я все честно

сделаю: вы сидите сегодня вечером дома, а как только смеркнется, к вам придет ее няня.

— А мне на какой черт нужна ее няня?

— Иначе нельзя. Это здесь такой порядок.

— Ну, если такой порядок, то делать нечего, в чужой монастырь с своим уставом не ходят. Хорошо; скажи ее няне, что я буду сидеть дома и буду ее дожидаться.

— И огня, — говорит, — у себя не зажигайте.

— Это зачем?

— А чтобы думали, что вас дома нет.

Пожал плечами и на это согласился.

— Хорошо, — говорю, — не зажгу.

В заключение жид с меня за свои услуги червонец потребовал.

— Как, — говорю, — червонец! Ничего еще не видя, да уж и червонец! Это жирно будет.

Но он, шельма этакий, должно быть, травленый. Улыбается и говорит:

— Нет; уж после того как увидите — поздно будет получать. Военные, говорят, тогда не того…

— Ну, — говорю, — про военных ты не смей рассуждать, — это не твое дело, а то я разобью тебе морду и рыло и скажу, что оно так и было.

А впрочем, дал ему злата и проклял его и верного позвал раба своего.

Дал денщику двугривенный и говорю:

— Ступай куда знаешь и нарежься как сапожник, только чтобы вечером тебя дома не было.

Все, замечайте, прибавляется расход к расходу. Совсем не то, что васильки рвать. Да, может быть, еще и няньку надо позолотить.

Наступил вечер; товарищи все разошлись по кофейням. Там тоже девицы служат и есть довольно любопытные, — а я притворился, солгал товарищам, будто зубы болят и будто мне надо пойти в лазарет к фельдшеру каких-нибудь зубных капель взять, или совсем пускай зуб выдернет. Обежал поскорей квартал да к себе в квартиру, — нырнул незаметно; двери отпер и сел без огня при окошечке. Сижу как дурак, дожидаюсь: пульс колотится и в ушах стучит. А у самого уже и сомнение закралось, думаю: не обманул ли меня жид, не наговорил ли он мне про эту няньку, чтобы только червонец себе схватить… И теперь где-нибудь другим жидам хвалится, как он офицера надул, и все помирают, хохочут. И в самом деле, с какой стати тут няня и что ей у меня делать?.. Преглупое положение, так что я уже решил: еще подожду, пока сто сосчитаю, и уйду к товарищам.

Глава 5

Вдруг, я и полсотни не сосчитал, раздался тихонечко стук в двери и что-то такое вползает, — шуршит этаким чем-то твердым. Тогда у них шалоновые мантоны носили, длинные, а шалон шуршит.

Без свечи-то темно у меня так, что ничего ясно не рассмотришь, что это за кукуруза.

Только от уличного фонаря чуть-чуть видно, что гостья моя, должно быть, уже очень большая старушенция. И однако, и эта с предосторожностями, так что на лице у нее вуаль.

Вошла и шепчет:

— Где ты?

Я отвечаю:

— Не бойся, говори громко: никого нет, а я дожидаюсь, как сказано. Говори, когда же твоя кукона поедет кофе пить?

— Это, — говорит, — от тебя зависит.

И все шепотом.

— Да я, — говорю, — всегда готов.

— Хорошо. Что же ты мне велишь ей передать?

— Передай, мол, что я ею поражен, влюблен, страдаю, и когда ей угодно, я тогда и явлюсь, хотя,

например, завтра вечером.

— Хорошо, завтра она может приехать.

Кажется, ведь надо бы ей после этого уходить, — не так ли? Но она стоит-с!

— Чего-с!

Надо, видно, проститься еще с одним червонцем. Себе бы он очень пригодился, но уж нечего делать — хочу ей червонец подать, как она вдруг спрашивает:

— Согласен ли я сейчас с нею послать куконе триста червонцев?

— Что-о-о тако-о-ое?

Она преспокойно повторяет «триста червонцев», и начинает мне шептать, что муж ее куконы хотя и очень богат, но что он ей не верен и проживает деньги с итальянскою графинею, а кукона совсем им оставлена и даже должна на свой счет весь гардероб из Парижа выписывать, потому что не хочет хуже других быть…

То есть вы понимаете меня, — это черт знает что такое! Триста золотых червонцев — ни больше, ни меньше!.. А ведь это-с тысяча рублей! Полковницкое жалованье за целый год службы… Миллион картечей! Как это выговорить и предъявить такое требование к офицеру? Но, однако, я нашелся: червонцев у меня, думаю, столько нет,

но честь свою я поддержать должен.

— Деньги, — говорю, — для нас, русских, пустяки. — Мы о деньгах не говорим, но кто же мне поручится, что ты ей передашь, а не себе возьмешь мои триста червонцев?

— Разумеется, — отвечает, — я ей передам.

— Нет, — говорю, — деньги дело не важное, но я не желаю быть тобою одурачен. Пусть мы с нею увидимся, и я ей самой, может быть, еще больше дам.

А кукуруза вломилась в амбицию и начала наставление мне читать.

— Что ты это, — говорит, — разве можно, чтобы купона сама брала.

— А я не верю.

— Ну, так иначе, — говорит, — ничего не будет.

— И не надобно.

Такими она меня впечатлениями исполнила, что я даже физическую усталость почувствовал, и очень рад был, когда ее черт от меня унес.

Пошел в кофейню к товарищам, напился вина до чрезвычайности и проводил время, как и прочие, по-кавалерски; а на другой день пошел гулять мимо дома, где жила моя пригляженая купона, и вижу, она как святая сидит у окна в зеленом бархатном спенсере, на груди яркий

махровый розан, ворот низко вырезан, голая рука в широком распашном рукаве, шитом золотом, и тело… этакое удивительное розовое… из зеленого бархата, совершенно как арбуз из кожи, выглядывает.

Я не стерпел, подскочил к окну и заговорил:

— Вы меня так измучили, как женщина с сердцем не должна; я томился и ожидал минуты счастия, чтобы где-нибудь видеться, но вместо вас пришла какая-то жадная и для меня подозрительная старуха, насчет которой я, как честный человек, долгом считаю вас предупредить: она ваше имя марает.

Купона не сердится; я ей брякнул, что старуха деньги просила, — она и на это только улыбается. Ах ты черт возьми! зубки открыла — просто перлы средь кораллов, — все очаровательно, но как будто дурочкой от нее немножко пахнуло.

— Хорошо, — говорит, — я няню опять пришлю.

— Кого? эту же самую старуху?

— Да; она нынче вечером опять придет.

— Помилуйте, — говорю, — да вы, верно, не знаете, что эта алчная старуха какою не стоющею уважения особою вас представляет!

А кукона вдруг уронила за окно платок, и когда

я нагнулся его поднять, она тоже слегка перевесилась так, что вырез-то этот проклятый в ее лифе весь передо мною, как детский бумажный кораблик, вывернулся, а сама шепчет:

— Я ей скажу… она будет добрее. — И с этим окно тюк на крюк.

«Я ее вечером опять пришлю». «Я велю быть добрее». Ведь тут уже не все глупость, а есть и смелая деловитость… И это в такой молоденькой и в такой хорошенькой женщине!

Любопытно, и кого это не заинтересует? Ребенок, а несомненно, что она все знает и все сама ведет и сама эту чертовку ко мне присылала и опять ее пришлет.

Я взял терпение, думаю: делать нечего, буду опять дожидаться, чем это кончится.

Дождался сумерек и опять притаился, и жду в потемках. Входит опять тот же самый шалоновый сверток под вуалем.

— Что, — спрашиваю, — скажешь?

Она мне шепотом отвечает:

— Кукона в тебя влюблена и с своей груди розу тебе прислала.

— Очень, — говорю, — ее благодарю и ценю, — взял розу и поцеловал.

— Ей от тебя не надо трехсот червонцев, а толь-

ко полтораста.

Хорошо сожаление… Сбавка большая, а все-таки полтораста червонцев пожалуйте. Шутка сказать! Да у нас решительно ни у кого тогда таких денег не было, потому что мы, выходя из Польши, совсем не так были обнадежены и накупили себе что нужно и чего не нужно, — всякого платья себе нашили, чтобы здесь лучше себя показать, а о том, какие здесь порядки, даже и не думали.

— Поблагодари, — говорю, — твою кукону, а ехать с нею на свидание не хочу.

— Отчего?

— Ну вот еще: отчего? не хочу да и баста.

— Разве ты бедный? Ведь у вас все богатые. Или купона не красавица?

— И я, — говорю, — не бедный, у нас нет бедных, — и твоя купона большая красавица, а мы к такому обращению с нами не привыкли!

— А вы как же привыкли?

Я говорю: «Это не твое дело».

— Нет, — говорит, — ты мне скажи: как вы привыкли, может быть, и это можно.

А я тогда встал, приосанился и говорю:

— Мы вот как привыкли, что на то у селезня в крыльях зеркальце, чтобы уточка сама за ним

бежала глядеться.

Она вдруг расхохоталась.

— Тут, — говорю, — ничего нет смешного.

— Нет, нет, нет, — говорит, — это смешное!

И убежала так скоро, словно улетела.

Я опять расстроился, пошел в кофейню и опять напился.

Молдавское вино у них дешево. Кислит немножко, но пить очень можно.

Глава 6

На другое утро, государи мои, еще лежу я в постели, как приходит ко мне жид, который сам собственно и ввел меня во всю эту дурацкую историю, и вдруг пришел просить себе за что-то еще червонец.

Я говорю: «За что же это ты, мой любезный, стоишь еще червонца?»

— Вы, — говорит, — мне сами обещали.

Я припоминаю, что, действительно, я ему обещал другой червонец, но не иначе, как после того, как я буду уже иметь свидание с куконой.

Так ему и говорю. А он мне отвечает:

— А вы же с нею уже два раза виделись.

— Да, мол, — у окошка. Но это недостаточно.

— Нет, — отвечает, — она два раза у вас была.

— У меня какой-то черт старый был, а не кукона.

— Нет, — говорит, — у вас была кукона.

— Не ври, жид, — за это вашего брата бьют!

— Нет, я, — говорит, — не вру: это она сама у вас была, а не старуха.

Я свое достоинство сохранил, но это меня просто ошпарило. Так мне стало досадно и так горько, что я вцепился в жида и исколотил его ужасно, а сам пошел и нарезался молдавским вином до беспамятства. Но и в этом-то положении никак не забуду, что кукона у меня была и я ее не узнал и как ворона ее из рук выпустил. Недаром мне этот шалоновый сверток как-то был подозрителен… Словом, и больно, и досадно, но стыдно так, что хоть сквозь землю провалиться… Был в руках клад, да не умел брать, — теперь сиди дураком.

Но, к утешению моему, в то же самое время, в подобных же родах произошла история и с другими моими боевыми товарищами, и все мы с досады только пили да арбузы ели с кофейницами, а настоящих кукон уже порешили наказать презрением.

Васильковое наше время невинных успехов кончилось. Скучно было без женщин порядоч-

ного образованного круга в сообществе одних кофейниц, но старые отцы капитаны нас куражили.

— Неужели, — говорили, — если в одном саду яблоки не зародились, так и Спасова дня не будет? Кураж, братцы! Сбой поправкой красен.

Куражились мы тем, что нас скоро выведут из города и расквартируют по хуторам. Там помещичьи барышни и вообще все общество, должно быть, не такое, как городское, и подобной скаредности, как здесь, быть не может. Так мы думали и не воображали того, что там нас ожидало еще худшее и гораздо больше досадное. Впрочем, и предвидеть невозможно было, чем нас одолжат в их деревенской простоте. Пришел вожделенный день, мы затрубили, забубнили, «Черную галку» запели и вышли на вольный воздух. — Авось, мол, тут опять заголубеют для нас васильки.

Глава 7

Распределение, где кому стоять, нам вышло самое разнобивуачное, потому что в Молдавии на заграничный манер, — таких больших деревень, как у нас, нет, а все хутора или мызы. Офицеры бились все ближе к мызе Холуян, потому что

там жил сам бояр или бан, тоже по прозванью Холуян. Он был женатый, и жена, говорили, будто красавица, а о нем говорили, что он большой торгаш, — у него можно иметь все, только за деньги — и стол, и вино. Прежде нас там поблизости другие наши войска стояли, и мы встретили на дороге квартирмейстера, который у Холуяна квитанцию выправлял. Обратились к нему с расспросами: что и как? Но он был из полковых стихотворцев и все любил рифмами отвечать.

— Ничего, — говорит, — мыза хорошая, как придете, увидите:

Между гор, между ям
Сидит птица Холуян.

Предурацкая эта манера стихами о деле говорить. У таких людей ничего путного никогда не добьешься.

— А куконы, — спрашиваем, — есть?

— Как же, — отвечает, — есть и куконы, есть и препоны.

— Хороши? то есть красивые?

— Да, — говорит, — красивые и не очень спесивые.

Спрашиваем: находили ли там их офицеры благорасположение?

— Как же, там, — отвечает, — на тонце, на древце наши животы скончалися.

— Черт его знает, что за язык такой! — все загадки загадывает.

Однако все мы поняли, что этот шельма из хитрых и ничего нам открыть не хотел.

А только вот, хотите верьте, хотите вы не верьте в предчувствие… Нынче ведь неверие в моде, а я предчувствиям верю, потому что в бурной жизни моей имел много тому доказательств, но на душе у меня, когда мы к этой мызе шли, стало так уныло, так скверно, что просто как будто на свою казнь шел.

Ну, а пути и времени, разумеется, все убывает, и вот пока я иду на своем месте в раздумчивости, сапогами по грязи шлепаю, кто-то из передних увидал и крикнул:

— Холуян!

Прокатило это по рядам, а я отчего-то вдруг вздрогнул, но перекрестился и стал всматриваться, где этот чертовский Холуян.

Однако и крест не отогнал от меня тоски. В сердце такое томление, как описывается, что было на походе с молодым Ионафаном, когда он увидал сладкий мед на поле. Лучше бы его не было, — не пришлось бы тогда бедному юноше сказать: «Вку-

шая вкусих мало меду и се аз умираю».

А мыза Холуян действительно стояла совсем перед нами и взаправду была она между гор и между ям, то есть между этаких каких-то ледащих холмушков и плюгавеньких озерцов.

Первое впечатление она на меня произвела самое отвратительное.

Были уже и какие-то настоящие пустые ямы, как могилы. Черт их знает, когда и какими чертями и для кого они выкопаны, но преглубокие. Глину ли из них когда-нибудь доставали, или, как некоторые говорили, будто бы тут есть целебная грязь и будто ею еще римляне пачкались. Но вообще местность прегрустная и престранная.

Виднеются кой-где и перелесочки, но точно маленькие кладбища. Грунт, что называется, мочажинный и, надо полагать, пропитан нездоровою сыростью. Настоящее гнездо злой молдаванской лихорадки, от которой люди дохнут в молдавском поту.

Когда мы подходили вечерком, небо зарилось, этакое ражее, красное, а над зеленью сине, как будто синяя тюль раскинута — такой туман. Цветков и васильков нет, а торчат только какие-то точно пухом осыпанные будылья, на которых сидят тяжелые желтые кувшины вроде лилий,

но преядовитые: как чуть его понюхаешь, — сейчас нос распухнет. И что еще удивило нас, как тут много цапель, точно со всего света собраны, которая летит, которая в воде на одной ножке стоит. Терпеть не могу, где множится эта фараонская птаха: она имеет что-то такое, что о всех египетских казнях напоминает. Мыза Холуян довольно большая, но, черт ее знает, как ее следовало назвать, — дрянная она или хорошая. Очень много разных хозяйственных построек, но все как-то будто нарочно раскидано «между гор и между ям». Ничего почти одного от другого не разглядишь: это в ямке и то в ямке, а посреди бугорок. Точно как будто имели в виду делать здесь что-нибудь тайное под большим секретом. Всего вероятнее, пожалуй, наши русские деньги подделывали. Дом помещичий, низенький и очень некрасивый… Облупленный, труба высокая, и снаружи небольшой, но просторный, — говорили, — будто есть комнат шестнадцать. Снаружи совсем похоже на те наши станционные дома, что покойный Клейнмихель по московскому шоссе настроил. И буфеты, и конторы, и проезжающие, и смотритель с семьею, и все это черт знает куда влезало, и еще просторно. Строено прямо без всякого фасона, как фабрика, крыльцо посере-

дине, в передней буфет, прямо в зале бильярд, а жилые комнаты где-то так особенно спрятаны, как будто их и нет. Словом, все как на станции или в дорожном трактире. И в довершение этого сходства напоминаю вам, что в передней был учрежден буфет. Это, пожалуй, и хорошо было «для удобства господ офицеров», но вид-то все-таки странный, а устройство этого буфета сделано тоже с подлостью, — чтобы ничем нашего брата бесплатно не попотчевать, а вот как: все, что у нас есть, мы все предоставляем к вашим услугам, только не угодно ли получить «за чистые денежки». Кредит, положим, был открыт свободный, но все, что получали, водку ли, или их местное вино, все этакий особый хлап, в синем жупане с красным гарусом, — до самой мелочи писал в книгу живота. Даже и за еду деньги брали; мы сначала к этому долго никак не могли себя приучить, чтобы в помещичьем доме и деньги платить. И надо вам знать, как они это ловко подвели, чтобы деньги брать. Тоже прекурьезно. У нас в России или в Польше у хлебосольного помещика стыда бы одного не взяли завести такую коммерцию. С первого же дня является этот жупан, обходит офицеров и спрашивает: не угодно ли будет всем с помещиком кушать?

Наши ребята, разумеется, простые, добрые и очень благодарят:

— Очень хорошо, — говорят, — мы очень рады.

— А где, — продолжает жупан, — прикажете накрывать на стол: в зале или на веранде? У нас, — говорит, — есть и зала большая, и веранда большая.

— Нам, — говорим, — голубчик, это все равно, где хотите.

Нет-таки, добивается, говорит: «бояр велел вас спросить и накрывать стол непременно по вашему желанию».

«Вот, — думаем, — какая предупредительность! — Накрывай, брат, где лучше».

— Лучше, — отвечает, — на веранде.

— Пожалуй, там, должно быть, воздух свежее.

— Да, и там пол глиняный.

— В этом какое же удобство?

— А если красное вино прольется или что-нибудь другое, то удобнее вытереть и пятна не останется.

— Правда, правда!

Замышляется, видим, что-то вроде разливного моря.

Вино у них, положим, дешевое, правда, с привкусом, но ничего: есть сорта очень изрядные.

Настает время обеда. Являемся, садимся за стол — все честь честью, — и хозяева с нами: сам Холуян, мужчина, этакий худой, черный, с лицом выжженной глины, весь, можно сказать, жиляный да глиняный и говорит с передушинкой, как будто больной.

— Вот, — говорит, — господа, у меня вина такого-то года урожая хорошего; не хотите ли попробовать?

— Очень рады.

Он сейчас же кричит слуге:

— Подай господину поручику такого-то вина.

Тот подает и непременно непочатую бутылку, а пред последним блюдом вдруг является жупан с пустым блюдом и всех обходит.

— Это что, мол, такое?!

— Деньги за обед и за вино.

Мы переконфузились, — особенно те, с которыми и денег не случилось. Те под столом друг у друга потихоньку перехватывали.

Вот ведь какая черномазая рвань!

Но дело, которым до злого горя нас донял Холуян, разумеется, было не в этом, а в куконице, из-за которой на тонце, на древце все наши животы измотались, а я, можно сказать, навсегда потерял то, что мне было всего дороже и милее, — можно

сказать даже, священнее.

Глава 8

Семья у наших хозяев была такая: сам бан Холуян, которого я уж вам слегка изобразил: худой, жиляный, а ножки глиняные, еще не старый, а все палочкой подпирается и ни на минуту ее из рук не выпускает. Сядет, а палочка у него на коленях. Говорили, будто он когда-то был на дуэли ранен, а я думаю, что где-нибудь почту хотел остановить, да почтальон его подстрелил. После это объяснилось еще совсем иначе, и понятно стало, да поздно. А поначалу казалось, что он человек светский и образованный, — ногти длинные, белые и всегда батистовый платок в руках. Для дамы он, впрочем, кроме образования не мог обещать ни малейшего интереса, потому что вид у него был ужасно холодного человека. А у него куконица просто как сказочная царица: было ей лет не более как двадцать два, двадцать три, — вся в полном расцвете, бровь тонкая, черная, кость легкая, а на плечиках уже первый молодой жирок ямочками пупится и одета всегда чудо как к лицу, чаще в палевом или в белом, с расшивными узорами, и ножки в цветных баш-

маках с золотом.

Разумеется, началось смятение сердец. У нас был офицер, которого мы звали Фоблаз, потому что он удивительно как скоро умел обворожать женщин, — пройдет, бывало, мимо дома, где какая-нибудь мещаночка хорошенькая сидит, — скажет всего три слова: «милые глазки ангелочки», — смотришь, уже и знакомство завязывается.

Я сам был тоже предан красоте до сумасшествия. К концу обеда я вижу — у него уже все рыльце огнивцем, а глаза буравцом.

Я его даже остановил:

— Ты, — говорю, — неприличен.

— Не могу, — отвечает, — и не мешай, я ее раздеваю в моем воображении.

После обеда Холуян предложил метнуть банк.

Я ему говорю, — какая глупость! А сам вдруг о том же замечтал, и вдруг замечаю, что и у других у всех стало рыльце огнивцем, а глаза буравцом.

Вот она, мол, с какого симптома началась проклятая молдавская лихорадка! Все согласились, кроме одного Фоблаза. Он остался при куконе и до самого вечера с ней говорил.

Вечером спрашиваем:

— Что она, как — занимательна?

А он расхохотался.

— По-моему, — отвечает, — у нее, должно быть, матушка или отец с дуринкой были, а она по природе в них пошла. Решимости мало: никуда от дома не отходит. Надо сообразить — каков за нею здесь присмотр и кого она боится? Женщины часто бывают нерешительны да ненаходчивы. Надо за них думать.

А насчет досмотра в нас возбуждал подозрения не столько сам Холуян, как его брат, который назывался Антоний.

Он совсем был не похож на брата: такой мужиковатый, полного сложения, но на смешных тонких ножках.

Мы его так и прозвали «Антошка на тонкой ножке». Лицо тоже было совершенно не такое, как у брата. Простой этакой, — ни скоблен, ни тесан, а слеплен да брошен, но нам сдавалось, что, несмотря на его баранью простоту, в нем клок серой волчьей шерсти есть… Однако вышло такое удивление, что все наши подозрения были напрасны: за куконою совсем никакого присмотра не оказалось.

Образ жизни домашней у Холуянов был самый удивительный, — точно нарочно на нашу руку приспособлено.

Тонкого Холуяна Леонарда до самого обеда ни за что и нигде нельзя было увидеть. Черт его знает, где он скрывался! Говорили, будто безвыходно сидел в отдаленных, внутренних комнатах и что-то там делал — литературой будто какой-то занимался. А Антошка на тонких ножках, как вставал, так уходил куда-то в поле с маленькою бесчеревной собачкою, и его также целый день не видно. Все по хозяйству ходит. Лучших, то есть, условий даже и пожелать нельзя.

Оставалось только расположить к себе кукону разговором и другими приемами. Думалось, что это недолго и что Фоблаз это сделает, но неожиданно замечаем, что наш Фоблаз не в авантаже обретается. Все он имеет вид человека, который держит волка за уши, — ни к себе его ни оборотит, ни выпустит, а между тем уже видно, что руки набрякли и вот-вот сами отвалятся…

Видно, что малый ужасно сконфужен, потому что он к неуспехам не привык, и не только нам, а самому себе этого объяснить не может.

— В чем же дело?

— Пароль донер, — говорит, — ничего не понимаю, кроме того, что она очень странная.

— Ну, богатая женщина, избалованная, капризничает, — весьма естественно.

Порядок жизни у нашей куконы был такой, что она не могла не скучать. С утра до обеда ее почти постоянно можно было видеть, как она мотается, и всегда одна-одинешенька или возится с самой глупейшей в мире птицей — с курицей: странное занятие для молодой, изящной, богатой дамы, но что сделать, если такова фантазия? Делать ей, видно, было совершенно нечего: выйдет она вся в белом или в палевом неглиже, сядет на широких плитах края веранды под зеленым хмелем, — в черных волосах тюльпан или махровый мак, и гляди на нее хоть целый день. Все ее занятие в том состояло, что, бывало, какую-то любимую свою маленькую курочку с сережками у себя на коленях лущеной кукурузой кормит. Ясное дело, что образования должно быть немного, а досуга некуда деть. Если с курицей возится, то, стало быть, ей очень скучно, а где женщине скучно, там кавалерское дело даму развлекать. Но ничего не выходит, — даже и разговор с нею вести трудно, потому что все только слышишь: «шти, эшти, молдованешти, кернешти» — десятого слова и того понять нельзя. А к мимике страстей она была ужасно беспонятна. Фоблаз совсем руки опустил, только конфузился, когда ему смеялись, что он с курицею не может соперничать. Пошли

мы увиваться вокруг куконы все — кому больше счастье послужит, но ни одному из нас ничего не фортунило. Открываешься ей в любви, а она глядит на тебя своими черными волооками, или заговорит вроде: «шти, эшти, молдованешти», и ничего более.

Омерзело всем себя видеть в таком глупом положении, и даже ссоры пошли, друг к другу зависть и ревность, — придираемся, колкости говорим… Словом, все в беспокойнейшем состоянии, то о ней мечтаем, то друг за другом в секрете смотрим за нею. А она сидит себе с этой курочкой, и кончено. Так весь день глядим, всю ночь зеваем, а время мчится и строит нам еще другую беду. Я вам сказал, что с первого же дня, как обед кончился, Холуян предложил, что он нам банк заложит. С тех пор пошла ежедневно игра: с обеда режемся до полночи, и от того ли, что все мы стали рассеянные, или карты неверные, но многие из нас уже успели себя хорошо охолостить даже до последней копейки. А Холуян чистит да чистит нас ежедневно, как баранов стрижет.

Разорились, оскудели и умом, и спокойствием, и неведомо до чего бы мы дошли, если бы вдруг не появилось среди нас новое лицо, которое, может быть, еще худшие беспокойства наделало,

но, однако, дало толчок к развязке.

Приехал к нам с деньгами чиновник комиссариатский. Из поляков, и пожилой, но шельма ужасная: где взлает, где хвостом повиляет, — и ото всех все узнал, как мы не живем, а зеваем. Пошел он тоже с нами к Холуяну обедать, а потом остался в карты играть, — а на кукону, подлец, и не смотрит. Но на другой день-с вдруг говорит: «я заболел». Молдавская лихорадка, видите ли, схватила. И что же выдумал: не лекаря позвал, а попа, — молебен о здравии отслужить. Пришел поп — настоящий тараканный лоб: весь черный и запел ни на что похоже, — хуже армянского. У армянов хоть поймешь два слова: «Григориос Арменіос», а у этого ничего не разобрать, что он лопочет.

Поляк же, шельма, по-ихнему знал немножко и такую с попом конституцию развел, что приятелями сделались и оба друг другом довольны: поп рад, что комиссионер ему хорошо заплатил, а тот сразу же от его молебна выздоровел и такую штуку удрал, что мы и рты разинули.

Вечером, когда уже при свечах мы все в зале банк метали, — входит наш комиссионер и играть не стал, но говорит: «я болен еще», и прямо прошел на веранду, где в сумраке небес,

на плитах, сидела кукона — и вдруг оба с нею за густым хмелем скрылись и исчезли в темной тени. Фоблаз не утерпел, выскочил, а они уже преавантажно вдвоем на плотике через заливчик плывут к островку… На его же глазах переплыли и скрылись…

А Холуян хоть бы, подлец, глазом моргнул. Тасует карты и записи смотрит на тех, которые уже в долг промотались…

Глава 9

Но надо вам сказать, что это был за островок, куда они отплывали.

Когда я говорил про мызу, я забыл вам сказать, что там при усадьбе было самого лучшего, — это вот и есть маленький островок перед верандой. Перед верандой прямо был цветник, а за цветником сейчас заливчик, а за ним островок, небольшой, так сказать, величины с хороший двор помещичьего дома. Весь он зарос густою жимолостью и разными цветущими кустами, в которых было много соловьев. Соловей у них хороший, — не такой крепкий, как курский, но на манер бердичевского. Площадь острова была вся в бугорках или в холмиках, и на одном

холмике была устроена беседочка, а под нею в плитах грот, где было очень прохладно. Тут стоял старинный диван, на котором можно было отдохнуть, и большая золоченая арфа, на которой кукона играла и пела. По острову были расчищены дорожки и в одном месте по другую сторону дерновая скамья, откуда был широкий вид на луга. Сообщение через проливчик к островку было устроено посредством маленького прекрасного плотика. Перильца и все это на нем раскрашено в восточном вкусе, а посередине золоченое кресло. Садится кукона на это кресло, берет пестрое весло с двумя лопастями и переплывает. Другой человек мог стоять только сзади за ее креслом.

Остров этот и грот мы звали: «грот Калипсы», но сами там не бывали, потому что плотик у куконы был на цепочке заперт. Комиссионер нашел ключи к этой цепи…

Мы, по правде сказать, просто хотели его избить, но он смел был, каналья, и всех успокоил.

— Господа! — говорит, — из-за чего нам ссориться. Я вам весь путь покажу. Это мне поп сказал. Я его спросил: какая кукона? А он говорит: «очень хорошая — о бедных заботится». Я взял пятьдесят червонцев и ей подал молча, для ее бедных, а она, также молча, мне руку подала и повезла с собою

на остров. Головой вам отвечаю, — берите прямо в руки сверточек червонцев и, ни слова не разговаривая, тем же счастием можете пользоваться. Вид лунный прекрасен, арфа сладкозвучна, но я ничем этим более наслаждаться не могу, потому что долг службы моей меня призывает, и я завтра еду от вас, а вы остаетесь.

Вот так развязка!

Он уехал, а мы смотрим друг на друга: кто может жертвовать в пользу бедных здешнего прихода по пятидесяти червонцев? Некоторые храбрились, — «я вот-вот из дома жду», — и другой тоже из дома ждет, а дома-то, верно, и в своих приходах случились бедные. Что-то никому не присылают.

И вдруг среди этого — неожиданнейшее приключение: Фоблаз оторвал цепь, которою был прикован плотик, переплыл туда один и в гроте застрелился.

Черт знает, что за происшествие! И товарища жаль, и глупо это как-то… совсем глупо, а однако, печальный факт совершился, и одного из храбрых не стало.

Застрелился Фоблаз, конечно, от любви, а любовь разгорелась от раздражения самолюбия, так как он у всех женщин на своей родине был счаст-

лив. Похоронили его честь честью, — с музыкой, а за упокой его души все, у одного собравшись, выпили и заговорили, что это так невозможно оставить, — что мы тут с нашей всегдашней простотою совсем пропадаем. А батальонный майор, который у нас был женатый и человек обстоятельный, говорит:

— Да вы и не беспокойтесь, я уже донес по начальству, что не ручаюсь, будет ли в чем вас из этой мызы вывесть, и жду завтра же нового распоряжения. Пусть тут черт стоит у этого Холуяна! Проклятая мыза и проклятый хозяин!

И все мы то же самое чувствовали и радовались возможности уйти отсюда, но всем господам офицерам досадно было уйти отсюда так, — не наказавши подлецов.

Придумывали разные штуки устроить над Холуянами; думали его высечь или как-нибудь смешно обрить, но майор сказал:

— Боже спаси, господа: прошу вас, чтобы ничего похожего на малейшее насилие не было, и кто ему должен — извольте, где хотите, занять денег и с ним рассчитаться. А если что-нибудь невинненькое, для отыграния своей чести придумаете, — это можете.

Лиха беда, отыграния чести-то не было на что

этого произвести.

Майор сказал, наконец, что он от нас только скрывает, а что, собственно, у него уже есть в кармане предписание выступить и что завтра здесь последний день нашей красы, а послезавтра на заре и выступим в другие места.

Тут мне и взбрыкнула на ум какая-то кобылка:

— Если, — говорю, — мы послезавтра выходим, так что завтра здесь наш последний вечер, то, сделайте милость, Холуян будет хорошо проучен, и никому не похвалится, что ему довелось русских офицеров надуть.

Некоторые похвалили, говорили, — «молодец», а другие не верили и смеялись: «ну, где тебе! лучше не трогай».

А я говорю:

— Это, господа, мое дело: я все беру за свой пай.

— Но что же такое ты сделаешь?

— Это мой секрет.

— Но Холуян будет наказан?

— Ужасно!

— И честь наша будет отомщена?

— Непременно.

— Поклянись.

Я поклялся тенью несчастного друга нашего Фоблаза, которая сама себя осудила одиноко

блуждать в этом проклятом месте, и разбил свой стакан об пол.

Все товарищи меня подхватили, одобрили, расцеловали и запили нашу клятву, но только майор удержал, чтобы стаканов не бить.

— Это, — говорит, — один театральный фарс и больше ничего…

Разошлись прекрасно. Я был в себе крепко уверен, потому что план мой был очень хорош. Холуян в своих проделках должен быть совершенно одурачен.

Глава 10

Настало завтра и последний день нашей красы. Получили мы свое жалованье, отдали все сполна, кто сколько был должен Холуяну, и осталось у каждого столько денег, что и кошеля не надо. У меня было с чем-нибудь сто рублей, то есть на их-ние, по-тогдашнему, это составляло с небольшим десять червонцев. А для меня, по плану затеи моей, еще требовалось, по крайней мере, сорок червонцев. Где же их взять? У товарищей и не было, да я и не хотел, потому что у меня другой план имелся. Я его и привел в исполнение.

Приходим на последнюю вечерю к Холуяну

— он очень радушен и приглашает меня играть.

Я говорю:

— Рад бы играть, да игрушек нет.

Он просит не стесняться, — взять взаймы у него из банка.

— Хорошо, — говорю, — позвольте мне пятьдесят червонцев.

— Сделайте милость, — говорит, — и подвигает кучку.

Я взял и опустил их в карман.

Верил нам, шельма, будто мы все Шереметьевы.

Я говорю:

— Позвольте, я не буду пока ставить, а минуточку погуляю на воздухе, — и вышел на веранду.

За мною выбегают два товарища и говорят:

— Что ты это делаешь: чем отдать?

Я отвечаю:

— Не ваше дело, — не беспокойтесь.

— Ведь это нельзя, — пристают, — мы завтра выходим, — непременно надо отдать.

— И отдам.

— А если проиграешь?

— Во всяком случае отдам.

И соврал им, будто у меня есть на руках казенные.

Они отстали, а я прямо подлетаю к куконе, ногой шаркнул и подаю ей горсть червонцев.

— Прошу, — говорю, — вас принять от меня для бедных вашего прихода.

Не знаю, как она это поняла, но сейчас же встала, дала мне свою ручку; мы обошли клумбу, да на плотике и поплыли.

Глава 11

Об игре ее на арфе отменного сказать нечего: вошли в грот: она села и какой-то экосез заиграла. Тогда не было еще таких воспалительных романсов, как «мой тигренок», или «затигри меня до смерти», — а экосезки-с, все простые экосезки, под которые можно только одни па танцевать, а тогда, бывало, невесть что под это готов сделать. Так и в настоящий раз, — сначала экосез, а потом «гули, да люли пошли ходули, — эшти, да молдаванешти», — кок да и дело в мешок… И благополучным образом назад оба переплыли.

Глава 12

Откровенно признаться — я не утаю, что был

в очень мечтательном настроении, которое совсем не отвечало задуманному мною плану. Но, знаете, к тридцати годам уже подходило, а в это время всегда начинаются первые оглядки. Вспомнилось все — как это начиналась «жизнь сердца» — все эти скромные васильки во ржи на далекой родине, потом эти хохлушечки и польки в их скромных будиночках, и вдруг — черт возьми, — грот Калипсы… и сама эта богиня… Как хотите, есть о чем привести воспоминания… И вдруг сделалось мне так грустно, что я оставил кукону в уединении приковывать цепочкою ее плотик, а сам единолично вхожу в залу, которую оставил, как банк метали, а теперь вместо того застаю ссору, да еще какую! Холуян сидит, а наши офицеры все встали и некоторые даже нарочно фуражки надели, и все шумят, спорят о справедливости его игры. Он их опять всех обыграл.

Офицеры говорят:

— Мы вам заплатим, но, по справедливости говоря, мы вам ничего не должны.

Я как раз на эти слова вхожу и говорю:

— И я тоже не должен — пятьдесят червонцев, которые я у вас занял, — я вашей жене отдал.

Офицеры ужасно смутились, а он как полотно побледнел с досады, что я его перехитрил. Схва-

тил в руку карты, затрясся и закричал:

— Вы врете! вы плут!

И прямо, подлец, бросил в меня картами. Но я не потерялся и говорю:

— Ну, нет, брат, — я выше плута на два фута, — да бац ему пощечину… А он тряхнул свою палку, а из нее выскочила толедская шпага, и он с нею, каналья, на безоружного лезет!

Товарищи кинулись и не допустили. Одни его держали за руки, другие — меня. А он кричит:

— Вы подлец! никто из вас никогда моей жены не видал!

— Ну, мол, батюшка, — уж это ты оставь нам доказывать, — очень мы ее видали!

— Где? Какую?

Ему говорят:

— Оставьте, об этом-то уже нечего спорить. Разумеется, мы знаем вашу супругу.

А он, в ответ на это, как черт расхохотался, плюнул и ушел за двери, и ключом заперся.

Глава 13

И что же вы думаете? — ведь он был прав!

Вы себе даже и вообразить не можете, что тут такое над нами было проделано. Какая хит-

рость над хитростью и подлость над подлостью! Представьте, оказалось ведь, что мы его жены, действительно, никогда ни одного разу в глаза не видали! Он нас считал как бы недостойными, что ли, этой чести, чтобы познакомить нас с его настоящим семейством, и оно на все время нашей стоянки укрывалось в тех дальних комнатах, где мы не были. А эта кукона, по которой мы все с ума сходили и за счастие считали ручки да ножки ее целовать, а один даже умер за нее, — была черт знает что такое… просто арфистка из кофейни, которую за один червонец можно нанять танцевать в костюме Евы… Она была взята из профита к нашему приходу из кофейни, и он с нее доход имел… И сам этот Холуян-то, с которым мы играли, совсем был не Холуяном, а тоже наемный шулер, а настоящий Холуян только был Антошка на тонких ножках, который все с бесчеревной собакой на охоту ходил… Он и был всему этому делу антрепренер! Вот это плуты, так уж плуты! теперь посудите же, каково было нам, офицерам, чувствовать, в каком мы были дурацком положении, и по чьей милости? По милости такой, можно сказать, наипрезреннейшей дряни!

А узнал об этом прежде всех я, но только тоже уж слишком поздно, — когда вся моя военная

карьера через эту гадость была испорчена, благодаря глупости моих товарищей. Господа же офицеры наши еще и обиделись моим поступком, нашли, что я будто поступил нечестно, — выдал, изволите видеть, тайну дамы ее мужу… Вот ведь какая глупость! Однако потребовали, чтобы я из полка вышел. Нечего было делать — я вышел. Но при проезде через город жид мне все и открыл.

Я говорю:

— Да как же, их поп-то зачем же он про свою кукону говорил, что ей будто можно под предлогом на бедных давать?

— А это, — говорит, — справедливо, только поп это про настоящую кукону говорил, которая в комнатах сидела, а не про ту свинью, которую вы за бобра приняли.

Словом сказать — кругом одурачены. Я человек очень сильной комплекции, но был этим так потрясен, что у меня даже молдавская лихорадка сделалась. Насилу на родину дотащился к своим простым сердцам, и рад был, что городническое местишко себе в жидовском городке достал… Не хочу отрицать, — ссорился с ними немало и, признаться сказать, из своих рук учил, но… слава богу — жизнь прожита и кусок хлеба даже с маслом есть, а вот когда вспомнишь про эту молдавскую

лихорадку, так опять в озноб бросит.

И от такого неприятного ощущения рассказчик опять распаковал свою вместительную подушку, налил стакан аметистовой влаги с надписью «Ея же и монаси приемлят», и молвил:

— Выпьемте, господа, за жидов и на погибель злым плутам — румынам.

— Что же, это будет преоригинально.

— Да, — отозвался другой собеседник, — но не будет ли еще лучше, если мы в эту ночь, когда родился «Друг грешников», пожелаем «всем добра и никому зла».

— Прекрасно, прекрасно!

И воин согласился, сказал: «абгемахт», и выпил чарку.

1883

Штопальщик
Глава 1

Преглупое это пожелание сулить каждому в новом году новое счастие, а ведь иногда что-то подобное приходит. Позвольте мне рассказать вам на эту тему небольшое событьице, имеющее совсем святочный характер.

В одну из очень давних моих побывок в Москве

я задержался там долее, чем думал, и мне надоело жить в гостинице. Псаломщик одной из придворных церквей услышал, как я жаловался на претерпеваемые неудобства приятелю моему, той церкви священнику, и говорит:

— Вот бы им, батюшка, к куму моему, — у него нынче комната свободная на улицу.

— К какому куму? — спрашивает священник.

— К Василью Конычу.

— Ах, это «метр тальер Лепутан»!

— Так точно-с.

— Что же — это действительно очень хорошо. — И священник мне пояснил, что он и людей этих знает, и комната отличная, и псаломщик добавил еще про одну выгоду:

— Если, — говорит, — что прорвется или низки в брюках обобьются — все опять у вас будет исправно, так что глазом не заметить.

Я всякие дальнейшие осведомления почел излишними и даже комнаты не пошел смотреть, а дал псаломщику ключ от моего номера с доверительною надписью на карточке и поручил ему рассчитаться в гостинице, взять оттуда мои вещи и перевезти все к его куму. Потом я просил его зайти за мною сюда и проводить меня на мое новое жилище.

Глава 2

Псаломщик очень скоро обделал мое поручение и с небольшим через час зашел за мною к священнику.

— Пойдемте, — говорит, — все уже ваше там разложили и расставили, и окошечки вам открыли, и дверку в сад на балкончик отворили, и даже сами с кумом там же, на балкончике, чайку выпили. Хорошо там, — рассказывает, — цветки вокруг, в крыжовнике пташки гнездятся, и в клетке под окном соловей свищет. Лучше как на даче, потому — зелено, а меж тем все домашнее в порядке, и если какая пуговица ослабела или низки обились, — сейчас исправят.

Псаломщик был парень аккуратный и большой франт, а потому он очень напирал на эту сторону выгодности моей новой квартиры. Да и священник его поддерживал.

— Да, — говорит, — tailler Lepoutant такой артист по этой части, что другого ни в Москве, ни в Петербурге не найдете.

— Специалист, — серьезно подсказал, подавая мне пальто, псаломщик.

Кто это Lepoutant — я не разобрал, да притом

это до меня и не касалось.

Глава 3

Мы пошли пешком.

Псаломщик уверял, что извозчика брать не стоит, потому что это будто бы «два шага проминажи».

На самом деле это, однако, оказалось около получасу ходьбы, но псаломщику хотелось сделать «проминажу», может быть, не без умысла, чтобы показать бывшую у него в руках тросточку с лиловой шелковой кистью.

Местность, где находился дом Лепутана, была за Москвой-рекою к Яузе, где-то на бережку. Теперь я уже не припомню, в каком это приходе и как переулок называется. Впрочем, это, собственно, не был и переулок, а скорее какой-то непроезжий закоулочек, вроде старинного погоста. Стояла церковка, а вокруг нее угольничком объезд, и вот в этом-то объезде шесть или семь домиков, все очень небольшие, серенькие, деревянные, один на каменном полуэтаже. Этот был всех показнее и всех больше, и на нем во весь фронтон была прибита большая железная вывеска, на которой по черному полю золотыми буквами крупно и

четко выведено:

«Maitr tailler Lepoutant».

Очевидно, здесь и было мое жилье, но мне странно показалось: зачем же мой хозяин, по имени Василий Коныч, называется «Maitr tailler Lepoutant»? Когда его называл таким образом священник, я думал, что это не более как шутка, и не придал этому никакого значения, но теперь, видя вывеску, я должен был переменить свое заключение. Очевидно, что дело шло всерьез, и потому я спросил моего провожатого:

— Василий Коныч — русский или француз?

Псаломщик даже удивился и как будто не сразу понял вопрос, а потом отвечал:

— Что вы это? Как можно француз, — чистый русский! Он и платье делает на рынок только самое русское: поддевки и тому подобное, но больше он по всей Москве знаменит починкою: страсть сколько старого платья через его руки на рынке за новое идет.

— Но все-таки, — любопытствую я, — он, верно, от французов происходит?

Псаломщик опять удивился.

— Нет, — говорит, — зачем же от французов? Он самой правильной здешней природы, русской, и детей у меня воспринимает, а ведь мы, духовного

звания, все числимся православные. Да и почему вы так воображаете, что он приближен к французской нации?

— У него на вывеске написана французская фамилия.

— Ах, это, — говорит, — совершенные пустяки — одна лаферма. Да и то на главной вывеске по-французски, а вот у самых ворот, видите, есть другая, русская вывеска, эта вернее.

Смотрю, и точно, у ворот есть другая вывеска, на которой нарисованы армяк и поддевка и два черные жилета с серебряными пуговицами, сияющими, как звезды во мраке, а внизу подпись:

«Делают кустумы русского и духовного платья, со специальностью ворса, выверта и починки».

Под этою второю вывескою фамилия производителя «кустумов, выверта и починки» не обозначена, а стояли только два инициала «В. Л.».

Глава 4

Помещение и хозяин оказались в действительности выше всех сделанных им похвал и описаний, так что я сразу почувствовал себя здесь как дома и скоро полюбил моего доброго хозяина

Василья Коныча. Скоро мы с ним стали сходиться пить чай, начали благо беседовать о разнообразных предметах. Таким образом, раз, сидя за чаем на балкончике, мы завели речи на царственные темы Когелета о суете всего, что есть под солнцем, и о нашей неустанной склонности работать всякой суете. Тут и договорились до Лепутана.

Не помню, как именно это случилось, но только дошло до того, что Василий Коныч пожелал рассказать мне странную историю: как и по какой причине он явился «под французским заглавием».

Это имеет маленькое отношение к общественным нравам и к литературе, хотя писано на вывеске.

Коныч начал просто, но очень интересно.

— Моя фамилия, сударь, — сказал он, — вовсе не Лепутан, а иначе, — а под французское заглавие меня поместила сама судьба.

Глава 5

— Я природный, коренной москвич, из беднейшего звания. Дедушка наш у Рогожской заставы стелечки для древлестепенных староверов продавал. Отличный был старичок, как святой, — весь

седенький, будто подлинялый зайчик, а все до самой смерти своими трудами питался: купит, бывало, войлочек, нарежет его на кусочки по подошевке, смечет парочками на нитку и ходит «по христианам», а сам поет ласково: «Стелечки, стелечки, кому надо стелечки?» Так, бывало, по всей Москве ходит и на один грош у него всего товару, а кормится. Отец мой был портной по древнему фасону. Для самых законных староверов рабские кафташки шил с тремя оборочками и меня своему мастерству выучил. Но у меня с детства особенное дарование было — штопать. Крою не фасонисто, но штопать у меня первая охота. Так я к этому приспособился, что, бывало, где угодно на самом видном месте подштопаю и очень трудно заметить.

Старики отцу говорили:

— Это мальцу от Бога талан дан, а где талан, там и счастье будет.

Так и вышло; но до всякого счастья надо, знаете, покорное терпение, и мне тоже даны были два немалые испытания: во-первых, родители мои померли, оставив меня в очень молодых годах, а во-вторых, квартирка, где я жил, сгорела ночью на самое Рождество, когда я был в божьем храме у заутрени, — и там погорело все мое заведение, —

и утюг, и колодка, и чужие вещи, которые были взяты для штопки. Очутился я тогда в большом злострадании, но отсюда же и начался первый шаг к моему счастию.

Глава 6

Один давалец, у которого при моем разорении сгорела у меня крытая шуба, пришел и говорит:

— Потеря моя большая, и к самому празднику неприятно остаться без шубы, но я вижу, что взять с тебя нечего, а надо бы еще тебе помочь. Если ты путный парень, так я тебя на хороший путь выведу, с тем, однако, что ты мне со временем долг отдашь.

Я отвечаю:

— Если бы только Бог позволил, то с большим моим удовольствием — отдать долг почитаю за первую обязанность.

Он велел мне одеться и привел в гостиницу напротив главнокомандующего дома к подбуфетчику, и сказывает ему при мне:

— Вот, — говорит, — тот самый подмастерье, который, я вам говорил, что для вашей коммерции может быть очень способный.

Коммерция их была такая, чтобы разутюживать

приезжающим всякое платье, которое приедет в чемоданах замявшись, и всякую починку делать, где какая потребуется.

Подбуфетчик дал мне на пробу одну штуку сделать, увидал, что исполняю хорошо, и приказал оставаться.

— Теперь, — говорит, — Христов праздник и господ много наехало, и все пьют-гуляют, а впереди еще Новый год и Крещенье — безобразия будет еще больше, — оставайся.

Я отвечаю:

— Согласен.

А тот, что меня привел, говорит:

— Ну, смотри, действуй, — здесь нажить можно. А только его (то есть подбуфетчика) слушай, как пастыря. Бог пристанет и пастыря приставит.

Отвели мне в заднем коридоре маленький уголочек при окошечке, и пошел я действовать. Очень много, — пожалуй, и не счесть, сколько я господ перечинил, и грех жаловаться, сам хорошо починился, потому что работы было ужасно как много и плату давали хорошую. Люди простой масти там не останавливались, а приезжали одни козыри, которые любили, чтобы постоять с главнокомандующим на одном местоположении из окон в окна.

Особенно хорошо платили за штуковки да за штопку при тех случаях, если повреждение вдруг неожиданно окажется в таком платье, которое сейчас надеть надо. Иной раз, бывало, даже совестно, — дырка вся в гривенник, а зачинить ее незаметно — дают золотой.

Меньше червонца дырочку подштопать никогда не плачивали. Но, разумеется, требовалось уже и искусство настоящее, чтобы, как воды капля с другою слита и нельзя их различить, так чтобы и штука была вштукована.

Из денег мне, из каждой платы, давали третью часть, а первую брал подбуфетчик, другую — услужающие, которые в номерах господам чемоданы с приезда разбирают и платье чистят. В них все главное дело, потому они вещи и помнут, и потрут, и дырочку клюнут, и потому им две доли, а остальное мне. Но только и этого было на мою долю так достаточно, что я из коридорного угла ушел к себе: на том же дворе поспокойнее комнатку занял, а через год подбуфетчикова сестра из деревни приехала, я на ней и женился. Теперешняя моя супруга, как ее видите, — она и есть, дожила до старости с почтением, и, может быть, на ее долю все Бог и дал. А женился просто таким способом, что подбуфетчик сказал: «Она

сирота, и ты должен ее осчастливить, а потом через нее тебе большое счастье будет». И она тоже говорила: «Я, — говорит, — счастливая, — тебе за меня Бог даст»; и вдруг словно через это в самом деле случилась удивительная неожиданность.

Глава 7

Пришло опять Рождество, и опять канун на Новый год. Сижу я вечером у себя — что-то штопаю, и уже думаю работу кончить да спать ложиться, как прибегает лакей из номеров и говорит:

— Беги скорей, в первом номере страшный Козырь остановимшись, — почитай, всех перебил, и кого ударит — червонцем дарит, — сейчас он тебя к себе требует.

— Что ему от меня нужно? — спрашиваю.

— На бал, — говорит, — он стал одеваться и в самую последнюю минуту во фраке на видном месте прожженную дырку осмотрел, человека, который чистил, избил и три червонца дал. Беги как можно скорее, такой сердитый, что на всех зверей сразу похож.

Я только головой покачал, потому что знал, как они проезжающих вещи нарочно портят, чтобы профит с работы иметь, но, однако, оделся

и пошел смотреть Козыря, который один сразу на всех зверей похож.

Плата непременно предвиделась большая, потому что первый номер во всякой гостинице считается «козырной» и не роскошный человек там не останавливается; а в нашей гостинице цена за первый номер полагалась в сутки, по-нынешнему, пятнадцать рублей, а по-тогдашнему счету на ассигнации — пятьдесят два с полтиною, и кто тут стоял, звали его Козырем.

Этот, к которому меня теперь привели, на вид был ужасно какой страшный — ростом огромнейший и с лица смугл и дик и действительно на всех зверей похож.

— Ты, — спрашивает он меня злобным голосом, — можешь так хорошо дырку заштопать, чтобы заметить нельзя?

Отвечаю:

— Зависит от того, в какой вещи. Если вещь ворсистая, так можно очень хорошо сделать, а если блестящий атлас или шелковая мове-материя, с теми не берусь.

— Сам, — говорит, — ты мове, а мне какой-то подлец вчера, вероятно, сзади меня сидевши, цигаркою фрак прожег. Вот осмотри его и скажи.

Я осмотрел и говорю:

— Это хорошо можно сделать.

— А сколько времени?

— Да через час, — отвечаю, — будет готово.

— Делай, — говорит, — и если хорошо сделаешь, получишь денег полушку, а если нехорошо, то головой об кадушку. Поди расспроси, как я здешних молодцов избил, и знай, что тебя я в сто раз больнее изобью.

Глава 8

Пошел я чинить, а сам не очень и рад, потому что не всегда можно быть уверенным, как сделаешь: попроховее сукнецо лучше слипнет, а которое жестче, — трудно его подворсить так, чтобы не было заметно.

Сделал я, однако, хорошо, но сам не понес, потому что обращение его мне очень не нравилось. Работа этакая капризная, что как хорошо ни сделай, а все кто охоч придраться — легко можно неприятность получить.

Послал я фрак с женою к ее брату и наказал, чтобы отдала, а сама скорее домой ворочалась, и как она прибежала назад, так поскорее заперлись изнутри на крюк и легли спать.

Утром я встал и повел день своим порядком:

сижу за работою и жду, какое мне от козырного барина придут сказывать жалование — денег полушку или головой об кадушку.

И вдруг, так часу во втором, является лакей и говорит:

— Барин из первого номера тебя к себе требует.

Я говорю:

— Ни за что не пойду.

— Через что такое?

— А так — не пойду, да и только; пусть лучше работа моя даром пропадает, но я видеть его не желаю.

А лакей стал говорить:

— Напрасно ты только страшишься: он тобою очень доволен остался и в твоем фраке на бале Новый год встречал, и никто на нем дырки не заметил. А теперь у него собрались к завтраку гости его с Новым годом поздравлять и хорошо выпили и, ставши о твоей работе разговаривать, об заклад пошли: кто дырку найдет, да никто не нашел. Теперь они на радости, к этому случаю присыпавшись, за твое русское искусство пьют и самого тебя видеть желают. Иди скорей — через это тебя в Новый год новое счастье ждет.

И жена тоже на том настаивает — иди да иди:

— Мое сердце, — говорит, — чувствует, что с

этого наше новое счастье начинается.

Я их послушался и пошел.

Глава 9

Господ в первом номере я встретил человек десять, и все много выпивши, и как я пришел, то и мне сейчас подают покал с вином и говорят:

— Пей с нами вместе за твое русское искусство, в котором ты нашу нацию прославить можешь.

И разное такое под вином говорят, чего дело совсем и не стоит.

Я, разумеется, благодарю и кланяюсь, и два покала выпил за Россию и за их здоровье, а более, говорю, не могу сладкого вина пить через то, что я к нему не привычен, да и такой компании не заслуживаю.

А страшный барин из первого номера отвечает:

— Ты, братец, осел, и дурак, и скотина, — ты сам себе цены не знаешь, сколько ты по своим дарованиям заслуживаешь. Ты мне помог под Новый год весь предлог жизни исправить, через то, что я вчера на балу любимой невесте важного рода в любви открылся и согласие получил, в этот мясоед и свадьба моя будет.

— Желаю, — говорю, — вам и будущей супруге вашей принять закон в полном счастии.

— А ты за это выпей.

Я не мог отказаться и выпил, но дальше прошу отпустить.

— Хорошо, — говорит, — только скажи мне, где ты живешь и как тебя звать по имени, отчеству и прозванию: я хочу твоим благодетелем быть.

Я отвечаю:

— Звать меня Василий, по отцу Кононов сын, а прозванием Лапутин, и мастерство мое тут же рядом, тут и маленькая вывеска есть, обозначено: «Лапутин».

Рассказываю это и не замечаю, что все гости при моих словах чего-то порскнули и со смеху покатились; а барин, которому я фрак чинил, ни с того ни с сего хлясь меня в ухо, а потом хлясь в другое, так что я на ногах не устоял. А он подтолкнул меня выступком к двери да за порог и выбросил.

Ничего я понять не мог, и дай бог скорее ноги.

Прихожу, а жена спрашивает:

— Говори скорее, Васенька: как мое счастье тебе послужило?

Я говорю:

— Ты меня, Машенька, во всех частях подробно

не расспрашивай, но только если по этому началу в таком же роде дальше пойдет, то лучше бы для твоего счастья не жить. Избил меня, ангел мой, этот барин.

Жена встревожилась, — что, как и за какую провинность? — а я, разумеется, и сказать не могу, потому что сам ничего не знаю.

Но пока мы этот разговор ведем, вдруг у нас в сеничках что-то застучало, зашумело, загремело, и входит мой из первого номера благодетель.

Мы оба встали с мест и на него смотрим, а он, раскрасневшись от внутренних чувств или еще вина подбавивши, и держит в одной руке дворницкий топор на долгом топорище, а в другой поколотую в щепы дощечку, на которой была моя плохая вывесочка с обозначением моего бедного рукомесла и фамилии: «Старье чинит и выворачивает Лапутин».

Глава 10

Вошел барин с этими поколотыми досточками и прямо кинул их в печку, а мне говорит: «Одевайся, сейчас вместе со мною в коляске поедем, — я счастье жизни твоей устрою. Иначе и тебя, и жену, и все, что у вас есть, как эти доски поколю».

Я думаю: чем с таким дебоширом спорить, лучше его скорее из дома увести, чтобы жене какой обиды не сделал.

Торопливо оделся, — говорю жене: «Перекрести меня, Машенька!» — и поехали. Прикатили в Бронную, где жил известный покупной, сводчик Прохор Иваныч, и барин сейчас спросил у него:

— Какие есть в продажу дома и в какой местности, на цену от двадцати пяти до тридцати тысяч или немножко более. — Разумеется, по-тогдашнему, на ассигнации. — Только мне такой дом требуется, — объясняет, — чтобы его сию минуту взять и перейти туда можно.

Сводчик вынул из комода китрадь, вздел очки, посмотрел в один лист, в другой, и говорит:

— Есть дом на все виды вам подходящий, но только прибавить немножко придется.

— Могу прибавить.

— Так надо дать до тридцати пяти тысяч.

— Я согласен.

— Тогда, — говорит, — все дело в час кончим, и завтра въехать в него можно, потому что в этом доме дьякон на крестинах куриной костью подавился и помер, и через то там теперь никто не живет.

Вот это и есть тот самый домик, где мы с вами

теперь сидим. Говорили, будто здесь покойный дьякон ночами ходит и давится, но только все это совершенные пустяки, и никто его тут при нас ни разу не видывал. Мы с женою на другой же день сюда переехали, потому что барин нам этот дом по дарственной перевел; а на третий день он приходит с рабочими, которых больше как шесть или семь человек, и с ними лестница и вот эта самая вывеска, что я будто французский портной.

Пришли и приколотили и назад ушли, а барин мне наказал:

— Одно, — говорит, — тебе мое приказание: вывеску эту никогда не сметь переменять и на это название отзываться. — И вдруг вскрикнул:

— Лепутан!

— Чего изволите?

— Молодец, — говорит. — Вот тебе еще тысячу рублей на ложки и плошки, но смотри, Лепутан, — заповеди мои соблюди, и тогда сам соблюден будеши, а ежели что… да, спаси тебя господи, станешь в своем прежнем имени утверждаться, и я узнаю… то во первое предисловие я всего тебя изобью, а во-вторых, по закону «дар дарителю возвращается». А если в моем желании пребудешь, то объясни, что тебе еще надо, и все от меня получишь.

Я его благодарю и говорю, что никаких желаниев не имею и не придумаю, окромя одного — если его милость будет, сказать мне: что все это значит и за что я дом получил?

Но этого он не сказал.

— Это, — говорит, — тебе совсем не надо, но только помни, что с этих пор ты называешься — «Лепутан», и так в моей дарственной именован. Храни это имя: тебе это будет выгодно.

Глава 11

Остались мы в своем доме хозяйствовать, и пошло у нас все очень благополучно, и считали мы так, что все это жениным счастием, потому что настоящего объяснения долгое время ни от кого получить не могли, но один раз пробежали тут мимо нас два господина и вдруг остановились и входят.

Жена спрашивает:

— Что прикажете?

Они отвечают:

— Нам нужно самого мусье Лепутана.

Я выхожу, а они переглянулись, оба враз засмеялись и заговорили со мною по-французски.

Я извиняюсь, что по-французски не понимаю.

— А давно ли, — спрашивают, — вы стали под этой вывеской?

Я им сказал, сколько лет.

— Ну так и есть. Мы вас, — говорят, — помним и видели: вы одному господину под Новый год удивительно фрак к балу заштопали, и потом от него при нас неприятность в гостинице перенесли.

— Совершенно верно, — говорю, — был такой случай, но только я этому господину благодарен и через него жить пошел, но не знаю ни его имени, ни прозвания, потому все это от меня скрыто.

Они мне сказали его имя, а фамилия его, прибавили, — Лапутин.

— Как Лапутин?

— Да, разумеется, — говорят, — Лапутин. А вы разве не знали, через что он вам все это благодетельство оказал? Через то, чтобы его фамилии на вывеске не было.

— Представьте, — говорю, — а мы о ею пору ничего этого понять не могли; благодеянием пользовались, а словно как в потемках.

— Но, однако, — продолжают мои гости, — ему от этого ничего не помоглося, — вчера с ним новая история вышла.

И рассказали мне такую новость, что стало мне моего прежнего однофамильца очень жалко.

Глава 12

Жена Лапутина, которой они сделали предложение в заштопанном фраке, была еще щекотистее мужа и обожала важность. Сами они оба были не бог весть какой породы, а только отцы их по откупам разбогатели, но искали знакомства с одними знатными. А в ту пору у нас в Москве был главнокомандующим граф Закревский, который сам тоже, говорят, был из поляцких шляхтецов, и его настоящие господа, как князь Сергей Михайлович Голицын, не высоко числили; но прочие обольщались быть в его доме приняты. Моего прежнего однофамильца супруга тоже этой чести жаждали. Однако, бог их знает почему, им это долго не выходило, но, наконец, нашел господин Лапутин сделать графу какую-то приятность, и тот ему сказал:

— Заезжай, братец, ко мне, я велю тебя принять, скажи мне, чтобы я не забыл: как твоя фамилия?

Тот отвечал, что его фамилия — Лапутин.

— Лапутин? — заговорил граф, — Лапутин… Постой, постой, сделай милость, Лапутин… Я что-то помню, Лапутин… Это чья-то фамилия.

— Точно так, — говорит, — ваше сиятельство,

это моя фамилия.

— Да, да, братец, действительно это твоя фамилия, только я что-то помню… как будто был еще кто-то Лапутин. Может быть, это твой отец был Лапутин?

Барин отвечает, что его отец был Лапутин.

— То-то я помню, помню… Лапутин. Очень может быть, что это твой отец. У меня очень хорошая память; приезжай, Лапутин, завтра же приезжай; я тебя велю принять, Лапутин.

Тот от радости себя не помнит и на другой день едет.

Глава 13

Но граф Закревский память свою хотя и хвалил, однако на этот раз оплошал и ничего не сказал, чтобы принять господина Лапутина.

Тот разлетелся.

— Такой-то, — говорит, — и желаю видеть графа.

А швейцар его не пущает:

— Никого, — говорит, — не велено принимать.

Барин так-сяк его убеждать, — что «я, — говорит, — не сам, а по графскому зову приехал», — швейцар ко всему пребывает нечувствителен.

— Мне, — говорит, — никого не велено принимать, а если вы по делу, то идите в канцелярию.

— Не по делу я, — обижается барин, — а по личному знакомству; граф наверно тебе сказал мою фамилию — Лапутин, а ты, верно, напутал.

— Никакой фамилии мне вчера граф не говорил.

— Этого не может быть; ты просто позабыл фамилию — Лапутин.

— Никогда я ничего не позабываю, а этой фамилии я даже и не могу позабыть, потому что я сам Лапутин.

Барин так и вскипел.

— Как, — говорит, — ты сам Лапутин! Кто тебя научил так назваться?

А швейцар ему отвечает:

— Никто меня не научал, а это наша природа, и в Москве Лапутиных обширное множество, но только остальные незначительны, а в настоящие люди один я вышел.

А в это время, пока они спорили, граф с лестницы сходит и говорит:

— Действительно, это я его и помню, он и есть Лапутин, и он у меня тоже мерзавец. А ты в другой раз приди, мне теперь некогда. До свидания.

Ну, разумеется, после этого уже какое свида-

ние?

Глава 14

Рассказал мне это maitre tailleur Lepoutant с сожалительною скромностью и прибавил в виде финала, что на другой же день ему довелось, идучи с работою по бульвару, встретить самого анекдотического Лапутина, которого Василий Коныч имел основание считать своим благодетелем.

— Сидит, — говорит, — на лавочке очень грустный. Я хотел проюркнуть мимо, но он лишь заметил и говорит:

— Здравствуй, monsieur Lepoutant! Как живешь-можешь?

— По божьей и по вашей милости очень хорошо. Вы как, батюшка, изволите себя чувствовать?

— Как нельзя хуже; со мною прескверная история случилась.

— Слышал, — говорю, — сударь, и порадовался, что вы его по крайней мере не тронули.

— Тронуть его, — отвечает, — невозможно, потому что он не свободного трудолюбия, а при графе в мерзавцах служит; но я хочу знать: кто его подкупил, чтобы мне эту подлость сделать?

А Коныч, по своей простоте, стал барина утешать.

— Не ищите, — говорит, — сударь, подучения. Лапутиных, точно, много есть, и есть между них люди очень честные, как, например, мой покойный дедушка, — он по всей Москве стелечки продавал…

А он меня вдруг с этого слова враз через всю спину палкою… Я и убежал, и с тех пор его не видал, а только слышал, что они с супругой за границу во Францию уехали, и он там разорился и умер, а она над ним памятник поставила, да, говорят, по случаю, с такою надписью, как у меня на вывеске: «Лепутан». Так и вышли мы опять однофамильцы.

Глава 15

Василий Коныч закончил, а я его спросил: почему он теперь не хочет переменить вывески и выставить опять свою законную, русскую фамилию?

— Да зачем, — говорит, — сударь, ворошить то, с чего новое счастье стало, — через это можно вред всей окрестности сделать.

— Окрестности-то какой же вред?

— А как же-с, — моя французская вывеска, хотя, положим, все знают, что одна лаферма, однако через нее наша местность другой эффект получила, и дома у всех соседей совсем другой против прежнего профит имеют.

Так Коныч и остался французом для пользы обывателей своего замоскворецкого закоулка, а его знатный однофамилец без всякой пользы сгнил под псевдонимом у Пер-Лашеза.

1882

Дух госпожи Жанлис

(Спиритический случай)

Духа иногда гораздо легче вызвать,
чем от него избавиться.

А. Б. Калмет

Глава 1

Странное приключение, которое я намерен рассказать, имело место несколько лет тому назад, и теперь оно может быть свободно рассказано, тем более что я выговариваю себе право не называть

при этом ни одного собственного имени.

Зимою 186* года в Петербург прибыло на жительство одно очень зажиточное и именитое семейство, состоявшее из трех лиц: матери — пожилой дамы, княгини, слывшей женщиною тонкого образования и имевшей наилучшие светские связи в России и за границею; сына ее, молодого человека, начавшего в этот год служебную карьеру по дипломатическому корпусу, и дочери, молодой княжны, которой едва пошел семнадцатый год.

Новоприбывшее семейство до сей поры обыкновенно проживало за границею, где покойный муж старой княгини занимал место представителя России при одном из второстепенных европейских дворов. Молодой князь и княжна родились и выросли в чужих краях, получив там вполне иностранное, но очень тщательное образование.

Глава 2

Княгиня была женщина весьма строгих правил и заслуженно пользовалась в обществе самой безукоризненной репутацией. В своих мнениях и вкусах она придерживалась взглядов прослав-

ленных умом и талантами французских женщин времен процветания женского ума и талантов во Франции. Княгиню считали очень начитанною и говорили, что она читает с величайшим разбором. Самое любимое ее чтение составляли письма г-жи Савиньи, Лафает и Ментенон, а также Коклюс и Данго Куланж, но всех больше она уважала г-жу Жанлис, к которой она чувствовала слабость, доходившую до обожания. Маленькие томики прекрасно сделанного в Париже издания этой умной писательницы, скромно и изящно переплетенные в голубой сафьян, всегда помещались на красивой стенной этажерке, висевшей над большим креслом, которое было любимым местом княгини. Над перламутровой инкрустацией, завершавшей самую этажерку, свешиваясь с темной бархатной подушки, покоилась превосходно сформированная из terracota миниатюрная ручка, которую целовал в своем Фернее Вольтер, не ожидавший, что она уронит на него первую каплю тонкой, но едкой критики. Как часто перечитывала княгиня томики, начертанные этой маленькой ручкой, я не знаю, но они всегда были у ней под рукою и княгиня говорила, что они имеют для нее особенное, так сказать, таинственное значение, о котором она не всякому решилась

бы рассказывать, потому что этому не всякий может поверить. По ее словам выходило, что она не расстается с этими волюмами «с тех пор, как себя помнит» и что они лягут с нею в могилу.

— Мой сын, — говорила она, — имеет от меня поручение положить книжечки со мной в гроб, под мою гробовую подушку, и я уверена, что они пригодятся мне даже после смерти.

Я осторожно пожелал получить хотя бы самые отдаленные объяснения по поводу последних слов, — и получил их.

— Эти маленькие книги, — говорила княгиня, — напоены духом Фелиситы (так она называла m-me Genlis, вероятно в знак короткого с нею общения). Да, свято веря в бессмертие духа человеческого, я также верю и в его способность свободно сноситься из-за гроба с теми, кому такое сношение нужно и кто умеет это ценить. Я уверена, что тонкий флюид Фелиситы избрал себе приятное местечко под счастливым сафьяном, обнимающим листки, на которых опочили ее мысли, и если вы не совсем неверующий, то я надеюсь, что вам это должно быть понятно.

Я молча поклонился. Княгине, по-видимому, понравилось, что я ей не возражал, и она в награду мне прибавила, что все, ею мне сейчас сказанное,

есть не только вера, но настоящее и полное убеждение, которое имеет такое твердое основание, что его не могут поколебать никакие силы,

— И это именно потому, — заключила она, — что я имею множество доказательств, что дух Фелиситы живет, и живет именно здесь!

При последнем слове княгиня подняла над головою руку и указала изящным пальцем на этажерку, где стояли голубые волюмы.

Глава 3

Я от природы немножко суеверен и всегда с удовольствием слушаю рассказы, в которых есть хотя какое-нибудь место таинственному. За это, кажется, прозорливая критика, зачислявшая меня по разным дурным категориям, одно время говорила, будто я спирит.

Притом же, к слову сказать, все, о чем мы теперь говорим, происходило как раз в такое время, когда из-за границы к нам приходили в изобилии вести о спиритических явлениях. Они тогда возбуждали любопытство, и я не видал причины не интересоваться тем, во что начинают верить люди.

«Множество доказательств», о которых упо-

минала княгиня, можно было слышать от нее множество раз: доказательства эти заключались в том, что княгиня издавна образовала привычку в минуты самых разнообразных душевных настроений обращаться к сочинениям г-жи Жанлис как к оракулу, а голубые волюмы, в свою очередь, обнаруживали неизменную способность разумно отвечать на ее мысленные вопросы.

Это, по словам княгини, вошло в ее «абитюды», которым она никогда не изменяла, и «дух», обитающий в книгах, ни разу не сказал ей ничего неподходящего.

Я видел, что имею дело с очень убежденной последовательницей спиритизма, которая притом не обделена умом, опытностью и образованием, и потому чрезвычайно всем этим заинтересовался.

Мне было уже известно кое-что из природы духов, и в том, чему мне доводилось быть свидетелем, меня всегда поражала одна общая всем духам странность, что они, являясь из-за гроба, ведут себя гораздо легкомысленнее и, откровенно сказать, глупее, чем проявляли себя в земной жизни.

Я уже знал теорию Кардека о «шаловливых духах» и теперь крайне интересовался: как удостоит себя показать при мне дух остроумной

маркизы Сюльери, графини Брюсляр?

Случай к тому не замедлил, но, как и в коротком рассказе, так же как в маленьком хозяйстве, не нужно портить порядка, то я прошу еще минуту терпения, прежде чем довести дело до сверхъестественного момента, способного превзойти всяческие ожидания.

Глава 4

Люди, составлявшие небольшой, но очень избранный круг княгини, вероятно, знали ее причуды; но, как все это были люди воспитанные и учтивые, то они умели уважать чужие верования, даже в том случае, если эти верования резко расходились с их собственными и не выдерживали критики. А потому никто и никогда с княгиней об этом не спорил. Впрочем, может быть и то, что друзья княгини не были уверены в том, что она считает свои голубые волюмы обиталищем «духа» их автора в прямом и непосредственном смысле, а принимали эти слова как риторическую фигуру. Наконец, может быть и еще проще, то есть что они принимали все это за шутку.

Один, кто не мог смотреть на дело таким образом, к сожалению, был я; и я имел к тому свои

основания, причины которых, может быть, кроются в легковерии и впечатлительности моей натуры.

Глава 5

Вниманию этой великосветской дамы, которая открыла мне двери своего уважаемого дома, я был обязан трем причинам: во-первых, ей почему-то нравился мой рассказ «Запечатленный ангел», незадолго перед тем напечатанный в «Русском вестнике»; во-вторых, ее заинтересовало ожесточенное гонение, которому я ряды лет, без числа и меры, подвергался от моих добрых литературных собратий, желавших, конечно, поправить мои недоразумения и ошибки, и, в-третьих, княгине меня хорошо рекомендовал в Париже русский иезуит, очень добрый князь Гагарин — старик, с которым мы находили удовольствие много беседовать и который составил себе обо мне не наихудшее мнение.

Последнее было особенно важно, потому что княгине было дело до моего образа мыслей и настроения; она имела, или по крайней мере ей казалось, будто она может иметь, надобность в небольших с моей стороны услугах. Как это ни

странно для человека такого скромного значения, как я, это было так. Надобность эту княгине сочинила ее материнская заботливость о дочери, которая совсем почти не знала по-русски… Привозя прелестную девушку на родину, мать хотела найти человека, который мог бы сколько-нибудь ознакомить княжну с русскою литературою, — разумеется, исключительно хорошею, то есть настоящею, а не зараженною «злобою дня».

О последней княгиня имела представления самые смутные и притом до крайности преувеличенные. Довольно трудно было понять, чего именно она боялась со стороны современных титанов русской мысли, — их ли силы и отваги, или их слабости и жалкого самомнения; но, улавливая кое-как, с помощью наведения и догадок, «головки и хвостики» собственных мыслей княгини, я пришел к безошибочному, на мой взгляд, убеждению, что она всего определительнее боялась «нецеломудренных намеков», которыми, по ее понятиям, была вконец испорчена вся наша нескромная литература.

Разуверять в этом княгиню было бесполезно, так как она была в том возрасте, когда мнения уже сложились прочно и очень редко кто способен подвергать их новому пересмотру и поверке.

Она, несомненно, была не из этих, и чтобы ее переуверить в том, во что она уверовала, недостаточно было слова обыкновенного человека, а это могло быть по силам разве духу, который счел бы нужным прийти с этою целью из ада или из рая. Но могут ли подобные мелкие заботы занимать бесплотных духов безвестного мира; не мелки ли для них все, подобные настоящему, споры и заботы о литературе, которую и несравненно большая доля живых людей считает пустым занятием пустых голов?

Обстоятельства, однако, скоро показали, что, рассуждая таким образом, я очень грубо заблуждался. Привычка к литературным прегрешениям, как мы скоро увидим, не оставляет литературных духов и за гробом, а читателю будет предстоять задача решить: в какой мере эти духи действуют успешно и остаются верны своему литературному прошлому.

Глава 6

Благодаря тому, что княгиня имела на все строго сформированные взгляды, моя задача помочь ей в выборе литературных произведений для молодой княжны была очень определительна.

Надо было, чтобы княжна могла из этого чтения узнавать русскую жизнь, и притом не встретить ничего, что могло бы смутить девственный слух. Материнскою цензурой княгини целиком не допускался ни один автор, даже Державин и Жуковский. Все они ей представлялись не вполне надежными. О Гоголе, разумеется, нечего было и говорить, — он целиком изгонялся. Из Пушкина допускались: «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин», но последний с значительными урезками, которые собственноручно отмечала княгиня. Лермонтов не допускался, как и Гоголь. Из новейших одобрялся несомненно один Тургенев, но и то кроме тех мест, где говорят о любви, а Гончаров был изгнан, и хотя я за него довольно смело заступался, но это не помогло, княгиня отвечала:

— Я знаю, что он большой художник, но это тем хуже, — вы должны признать, что у него есть разжигающие предметы.

Глава 7

Я во что бы то ни стало хотел знать: что такое именно разумеет княгиня под разжигающими предметами, которые она нашла в сочинениях Гончарова. Чем он мог, при его мягкости отно-

шений к людям и обуревающим их страстям, оскорбить чье бы то ни было чувство?

Это было до такой степени любопытно, что я напустил на себя смелость и прямо спросил, какие у Гончарова есть разжигающие предметы?

На этот откровенный вопрос я получил откровенный же, острым шепотом произнесенный, односложный ответ: «локти».

Мне показалось, что я не вслушался или не понял.

— Локти, локти, — повторила княгиня и, видя мое недоразумение, как будто рассердилась. — Неужто вы не помните… как его этот… герой где-то… там засматривается на голые локти своей… очень простой какой-то дамы?

Теперь я, конечно, вспомнил известный эпизод из «Обломова» и не нашел ответить ни слова. Мне, собственно, тем удобнее было молчать, что я не имел ни нужды, ни охоты спорить с недоступною для переубеждений княгинею, которую я, по правде сказать, давно гораздо усерднее наблюдал, чем старался служить ей моими указаниями и советами. И какие указания я мог ей сделать после того, как она считала возмутительным неприличием «локти», а вся новейшая литература шагнула в этих откровениях несравненно далее?

Какую надо было иметь смелость, чтобы, зная все это, назвать хотя одно новейшее произведение, в которых покровы красоты приподняты гораздо решительнее!

Я чувствовал, что, при таком раскрытии обстоятельств, моя роль советчика должна быть кончена, — и решился не советовать, а противоречить.

— Княгиня, — сказал я, — мне кажется, что вы несправедливы: в ваших требованиях к художественной литературе есть преувеличение.

Я изложил ей все, что, по моему мнению, относилось к делу.

Глава 8

Увлекаясь, я произнес не только целую критику над ложным пуризмом, но и привел известный анекдот о французской даме, которая не могла ни написать, ни выговорить слова «culotte», но зато, когда ей однажды неизбежно пришлось выговорить это слово при королеве, она запнулась и тем заставила всех расхохотаться. Но я никак не мог вспомнить, у кого из французских писателей мне пришлось читать об ужасном придворном скандале, которого совсем бы не произошло, если

бы дама выговорила слово «culotte» так же просто, как выговаривала его своими августейшими губками сама королева.

Цель моя была показать, что излишняя щепетильность может служить во вред скромности и что поэтому чересчур строгий выбор чтения едва ли нужен.

Княгиня, к немалому моему изумлению, выслушала меня, не обнаруживая ни малейшего неудовольствия, и, не покидая своего места, подняла над головою свою руку и взяла один из голубых волюмов.

— У вас, — сказала она, — есть доводы, а у меня есть оракул.

— Я, — говорю, — интересуюсь его слышать.

— Это не замедлит: я призываю дух Genlis, и он будет отвечать вам. Откройте книгу и прочтите.

— Потрудитесь указать, где я должен читать? — спросил я, принимая волюмчик.

— Указать? Это не мое дело: дух сам вам укажет. Раскройте где попало.

Мне это становилось немножко смешно и даже как будто стыдно за мою собеседницу; однако я сделал так, как она хотела, и только что окинул глазом первый период раскрывшейся страницы, как почувствовал досадительное удивление.

— Вы смущены? — спросила княгиня.

— Да.

— Да; это бывало со многими. Я прошу вас читать.

Глава 9

«Чтение — занятие слишком серьезное и слишком важное по своим последствиям, чтобы при выборе его не руководить вкусами молодых людей. Есть чтение, которое нравится юности, но оно делает их беспечными и предполагает к ветрености, после чего трудно исправить характер. Все это я испытала на опыте». Вот что прочел я и остановился.

Княгиня с тихой улыбкой развела руками и, деликатно торжествуя надо мною свою победу, проговорила:

— По-латыни это, кажется, называется dixi?

— Совершенно верно.

С тех пор мы не спорили, но княгиня не могла отказать себе в удовольствии поговорить иногда при мне о невоспитанности русских писателей, которых, по ее мнению, «никак нельзя читать вслух без предварительного пересмотра»

О «духе» Genlis я, разумеется, серьезно не думал.

Мало ли что говорится в этом роде.

Но «дух» действительно жил и был в действии, и вдобавок, представьте, что он был на нашей стороне, то есть на стороне литературы. Литературная природа взяла в нем верх над сухим резонерством и, неуязвимый со стороны приличия, «дух» г-жи Жанлис, заговорив du fond du coeur, отколол (да, именно отколол) в строгом салоне такую школярскую штуку, что последствия этого были исполнены глубокой трагикомедии.

Глава 10

У княгини раз в неделю собирались вечером к чаю «три друга». Это были достойные люди, с отличным положением. Два из них были сенаторы, а третий — дипломат. В карты, разумеется, не играли, а беседовали.

Говорили обыкновенно старшие, то есть княгиня и «три друга», а я, молодой князь и княжна очень редко вставляли свое слово. Мы более поучались, и, к чести наших старших, надо сказать, что у них было чему поучиться, — особенно у дипломата, который удивлял нас своими тонкими замечаниями.

Я пользовался его расположением, хотя не знаю

за что. В сущности, я обязан думать, что он считал меня не лучше других, а в его глазах «литераторы» были все «одного корня». Шутя он говорил: «И лучшая из змей есть все-таки змея».

Это-то самое мнение и послужило поводом к наступающему ужасному случаю.

Глава 11

Будучи стоически верна своим друзьям, княгиня не хотела, чтобы такое общее определение распространялось и на г-жу Жанлис и на «женскую плеяду», которую эта писательница держала под своей защитою. И вот, когда мы собрались у этой почтенной особы встречать тихо Новый год, незадолго до часа полночи у нас зашел обычный разговор, в котором опять упомянуто было имя г-жи Жанлис, а дипломат припомнил свое замечание, что «и лучшая из змей есть все-таки змея».

— Правила без исключения не бывает, — сказала княгиня.

Дипломат догадался — кто должен быть исключением, и промолчал.

Княгиня не вытерпела и, взглянув по направлению к портрету Жанлис, сказала:

— Какая же она змея!

Но искушенный жизнью дипломат стоял на своем: он тихо помавал пальцем и тихо же улыбался, — он не верил ни плоти, ни духу.

Для решения несогласия, очевидно, нужны были доказательства, и тут-то способ обращения к духу вышел кстати.

Маленькое общество было прекрасно настроено для подобных опытов, а хозяйка сначала напомнила о том, что мы знаем насчет ее верований, а потом и предложила опыт.

— Я отвечаю, — сказала она, — что самый придирчивый человек не найдет у Жанлис ничего такого, чего бы не могла прочесть вслух самая невинная девушка, и мы это сейчас попробуем.

Она опять, как в первый раз, закинула руку к помещавшейся так же над ее этаблисманом этажерке, взяла без выбора волюм — и обратилась к дочери:

— Мое дитя! раскрой и прочти нам страницу.

Княжна повиновалась.

Мы все изображали собою серьезное ожидание.

Глава 12

Если писатель начинает обрисовывать внешность выведенных им лиц в конце своего рассказа, то он достоин порицания; но я писал эту безделку так, чтобы в ней никто не был узнан. Поэтому я не ставил никаких имен и не давал никаких портретов. Портрет же княжны и превышал бы мои силы, так как она была вполне, что называется, «ангел во плоти». Что же касается всесовершенной ее чистоты и невинности, — она была такова, что ей можно было даже доверить решить неодолимой трудности богословский вопрос, который вели у Гейне «Bernardiner und Rabiner». За эту не причастную ни к какому греху душу, конечно, должно было говорить нечто, стоящее превыше мира и страстей. И княжна, с этою именно невинностью, прелестно грассируя, прочитала интересные воспоминания Genlis о старости madame Dudeffand, когда она «слаба глазами стала». Запись говорила о толстом Джиббоне, которого французской писательнице рекомендовали как знаменитого автора. Жанлис, как известно, скоро его разгадала и едко осмеяла французов, увлеченных дутой репутацией этого

иностранца.

Далее я привожу по известному переводу с французского подлинника, который читала княжна, способная решить спор между «Bernardiner und Rabiner».

«Джиббон мал ростом, чрезвычайно толст, и у него преудивительное лицо. На этом лице невозможно различить ни одной черты. Ни носа, ни глаз, ни рта совсем не видно; две жирные, толстые щеки, похожие черт знает на что, поглощают все… Они так надулись, что совсем отошли от всякой соразмерности, которая была бы мало-мальски прилична для самых больших щек; каждый, увидав их, должен был бы удивляться: зачем это место помещено не на своем месте. Я бы характеризовала лицо Джиббона одним словом, если бы только возможно было сказать такое слово. Лозен, который был очень короток с Джиббоном, привел его однажды к Dudeffand. M-me Dudeffand тогда уже была слепа и имела обыкновение ощупывать руками лица вновь представляемых ей замечательных людей. Таким образом она усвояла себе довольно верное понятие о чертах нового знакомца. К Джиббону она приложила тот же осязательный способ, и это было ужасно. Англичанин подошел к креслу

и особенно добродушно подставил ей свое удивительное лицо. M-me Dudeffand приблизила к нему свои руки и повела пальцами по этому шаровидному лицу. Она старательно искала, на чем бы остановиться, но это было невозможно. Тогда лицо слепой дамы сначала выразило изумление, потом гнев, и, наконец, она, быстро отдернув с гадливостью свои руки, вскричала: «Какая гадкая шутка!»

Глава 13

Здесь был конец и чтению, и беседе друзей, и ожидаемой встрече наступающего года, потому что когда молодая княжна, закрыв книгу, спросила: «Что такое показалось m-me Dudeffand?», то лицо княгини было столь страшно, что девушка вскрикнула, закрыла руками глаза и опрометью бросилась в другую комнату, откуда сейчас же послышался ее плач, похожий на истерику.

Брат побежал к сестре, и в ту же минуту широким шагом поспешила туда княгиня.

Присутствие посторонних людей было теперь некстати, и потому все «три друга» и я сию же минуту потихоньку убрались, а приготовленная для встречи Нового года бутылка вдовы Клико

осталась завернутою в салфетку, но не раскупоренною.

Глава 14

Чувства, с которыми мы расходились, были томительны, но не делали чести нашим сердцам, ибо, содержа на лицах усиленную серьезность, мы едва могли хранить разрывавший нас смех и не в меру старательно наклонялись, отыскивая свои галоши, что было необходимо, так как прислуга тоже разбежалась, по случаю тревоги, поднятой внезапной болезнью барышни.

Сенаторы сели в свои экипажи, а дипломат прошелся со мною пешком. Он хотел освежиться и, кажется, интересовался узнать мое незначащее мнение о том, что могло представиться мысленным очам молодой княжны после прочтения известного нам места из сочинений m-me Жанлис?

Но я решительно не смел делать об этом никаких предположений.

Глава 15

С несчастного дня, когда случилось это происшествие, я не видал более ни княгини, ни ее дочери. Я не мог решиться идти поздравить ее с Новым годом, а только послал узнать о здоровье молодой княжны, но и то с большою нерешительностью, чтоб не приняли этого в другую сторону. Визиты же «кондолеансы» мне казались совершенно неуместными. Положение было преглупое: вдруг перестать посещать знакомый дом выходило грубостью, явиться туда — тоже казалось некстати.

Может быть, я был и неправ в своих заключениях, но мне они казались верными; и я не ошибся: удар, который перенесла княгиня под Новый год от «духа» г-жи Жанлис, был очень тяжел и имел серьезные последствия.

Глава 16

Около месяца спустя я встретился на Невском с дипломатом: он был очень приветлив, и мы разговорились.

— Давно не видал вас, — сказал он.

— Негде встречаться, — отвечал я.

— Да, мы потеряли милый дом почтенной княгини: она, бедняжка, должна была уехать.

— Как, — говорю, — уехать… Куда?

— Будто вы не знаете?

— Ничего не знаю.

— Они все уехали за границу, и я очень счастлив, что мог устроить там ее сына. Этого нельзя было не сделать после того, что тогда случилось… Какой ужас! Несчастная, вы знаете, она в ту же ночь сожгла все свои волюмы и разбила вдребезги терракотовую ручку, от которой, впрочем, кажется, уцелел на память один пальчик, или, лучше сказать, шиш. Вообще пренеприятное происшествие, но зато оно служит прекрасным доказательством одной великой истины.

— По-моему, даже двух и трех.

Дипломат улыбнулся и, смотря мне в упор, спросил:

— Каких-с?

— Во-первых, это доказывает, что книги, о которых решаемся говорить, нужно прежде прочесть.

— А во-вторых?

— А во-вторых, — что неблагоразумно держать

девушку в таком детском неведении, в каком была до этого случая молодая княжна; иначе она, конечно, гораздо раньше бы остановилась читать о Джиббоне.

— И в-третьих?

— В-третьих, что на духов так же нельзя полагаться, как и на живых людей.

— И все не то: дух подтверждает одно мое мнение, что и лучшая из змей есть все-таки змея, и притом, чем змея лучше, тем она опаснее, потому что держит свой яд в хвосте.

Если бы у нас была сатира, то это для нее превосходный сюжет.

К сожалению, не обладая никакими сатирическими способностями, я могу передать это только в простой форме рассказа.

1881

Старый гений

Гений лет не имеет — он преодолевает все, что останавливает обыкновенные умы.

Ларошфуко

Глава 1

Несколько лет назад в Петербург приехала маленькая старушка-помещица, у которой было, по ее словам, «вопиющее дело». Дело это заключалось в том, что она по своей сердечной доброте и простоте, чисто из одного участия, выручила из беды одного великосветского франта, — заложив для него свой домик, составлявший все достояние старушки и ее недвижимой, увечной дочери да внучки. Дом был заложен в пятнадцати тысячах, которые франт полностию взял, с обязательством уплатить в самый короткий срок.

Добрая старушка этому верила, да и немудрено было верить, потому что должник принадлежал к одной из лучших фамилий, имел перед собою блестящую карьеру и получал хорошие доходы с имений и хорошее жалованье по службе. Денежные затруднения, из которых старушка его выручила, были последствием какого-то мимолетного увлечения или неосторожности за картами в дворянском клубе, что поправить ему было, конечно, очень легко, — «лишь бы только доехать до Петербурга».

Старушка знавала когда-то мать этого госпо-

дина и, во имя старой приязни, помогла ему; он благополучно уехал в Питер, а затем, разумеется, началась довольно обыкновенная в подобных случаях игра в кошку и мышку. Приходят сроки, старушка напоминает о себе письмами — сначала самыми мягкими, потом немножко пожестче, а наконец, и бранится — намекает, что «это нечестно», но должник ее был зверь травленый и все равно ни на какие письма не отвечал. А между тем время уходит, приближается срок закладной — и перед бедной женщиной, которая уповала дожить свой век в своем домишке, вдруг разверзается страшная перспектива холода и голода с увечной дочерью и маленькою внучкою.

Старушка в отчаянии поручила свою больную и ребенка доброй соседке, а сама собрала кое-какие крохи и полетела в Петербург «хлопотать».

Глава 2

Хлопоты ее вначале были очень успешны: адвокат ей встретился участливый и милостивый, и в суде ей решение вышло скорое и благоприятное, но как дошло дело до исполнения — тут и пошла закорюка, да такая, что и ума к ней приложить было невозможно. Не то чтобы полиция или

иные какие пристава должнику мирволили — говорят, что тот им самим давно надоел и что они все старушку очень жалеют и рады ей помочь, да не смеют… Было у него какое-то такое могущественное родство или свойство, что нельзя было его приструнить, как всякого иного грешника.

О силе и значении этих связей достоверно не знаю, да думаю, что это и не важно. Все равно — какая бабушка ему ни ворожила и все на милость преложила.

Не умею тоже вам рассказать в точности, что над ним надо было учинить, но знаю, что нужно было «вручить должнику с распискою» какую-то бумагу, и вот этого-то никто — никакие лица никакого уряда — не могли сделать. К кому старушка ни обратится, все ей в одном роде советуют:

— Ах, сударыня, и охота же вам! Бросьте лучше! Нам очень вас жаль, да что делать, когда он никому не платит. Утешьтесь тем, что не вы первая, не вы и последняя.

— Батюшки мои, — отвечает старушка, — да какое же мне в этом утешение, что не мне одной худо будет? Я, голубчики, гораздо лучше желала, чтобы и мне и всем другим хорошо было.

— Ну, — отвечают, — чтоб всем-то хорошо — вы уж это оставьте, это специалисты выдумали, и

это невозможно.

А та, в простоте своей, пристает:

— Почему же невозможно? У него состояние во всяком случае больше, чем он всем нам должен, и пусть он должное отдаст, а ему еще много останется.

— Э, сударыня, у кого «много», тем никогда много не бывает, а им всегда недостаточно, но главное дело в том, что он платить не привык, и если очень докучать станете — может вам неприятность сделать.

— Какую неприятность?

— Ну, что вам расспрашивать: гуляйте лучше тихонько по Невскому проспекту, а то вдруг уедете.

— Ну, извините, — говорит старушка, — я вам не поверю — он замотался, но человек хороший.

— Да, — отвечают, — конечно, он барин хороший, но только дурной платить; а если кто этим занялся, тот и все дурное сделает.

— Ну, так тогда употребите меры.

— Да вот тут-то, — отвечают, — и точка с запятою: мы не можем против всех «употреблять меры». Зачем с такими знались.

— Какая же разница?

А вопрошаемые на нее только посмотрят да

отвернутся или даже предложат идти высшим жаловаться.

Глава 3

Ходила она и к высшим. Там и доступ труднее, и разговору меньше, да и отвлеченнее.

Говорят: «Да где он? о нем доносят, что его нет!»

— Помилуйте, — плачет старушка, — да я его всякий день на улице вижу — он в своем доме живет.

— Это вовсе и не его дом. У него нет дома: это дом его жены.

— Ведь это все равно: муж и жена — одна сатана.

— Это вы так судите, но закон судит иначе. Жена у него тоже счеты предъявляла и жаловалась суду, и он у нее не значится… Он, черт его знает, он всем нам надоел, — и зачем вы ему деньги давали! Когда он в Петербурге бывает — он прописывается где-то в меблированных комнатах, но там не живет. А если вы думаете, что мы его защищаем или нам его жалко, то вы очень ошибаетесь: ищите его, поймайте, — это ваше дело, — тогда ему «вручат».

Утешительнее этого старушка ни на каких высотах ничего не добилась, и, по провинциальной подозрительности, стала шептать, будто все это «оттого, что сухая ложка рот дерет».

— Что ты, — говорит, — мне ни уверяй, а я вижу, что все оно от того же самого движет, что надо смазать.

Пошла она «мазать» и пришла еще более огорченная. Говорит, что «прямо с целой тысячи начала», то есть обещала тысячу рублей из взысканных денег, но ее и слушать не хотели, а когда она, благоразумно прибавляя, насулила до трех тысяч, то ее даже попросили выйти.

— Трех тысяч не берут за то только, чтобы бумажку вручить! Ведь это что же такое?.. Нет, прежде лучше было.

— Ну, тоже, — напоминаю ей, — забыли вы, верно, как тогда хорошо шло: кто больше дал, тот и прав был.

— Это, — отвечает, — твоя совершенная правда, но только между старинными чиновниками бывали отчаянные доки. Бывало, его спросишь: «Можно ли?» — а он отвечает: «В России невозможности нет», и вдруг выдумку выдумает и сделает. Вот мне и теперь один такой объявился и пристает ко мне, да не знаю: верить или нет? Мы

с ним вместе в Мариинском пассаже у саечника Василья обедаем, потому что я ведь теперь экономлю и над каждым грошем трясусь — горячего уже давно не ем, все на дело берегу, а он, верно, тоже по бедности или питущий… но преубедительно говорит: «дайте мне пятьсот рублей — я вручу». Как ты об этом думаешь?

— Голубушка моя, — отвечаю ей, — уверяю вас, что вы меня своим горем очень трогаете, но я и своих-то дел вести не умею и решительно ничего не могу вам посоветовать. Расспросили бы вы по крайней мере о нем кого-нибудь: кто он такой и кто за него поручиться может?

— Да уж я саечника расспрашивала, только он ничего не знает. «Так, говорит, надо думать, или купец притишил торговлю, или подупавший из каких-нибудь своих благородий».

— Ну, самого его прямо спросите.

— Спрашивала — кто он такой и какой на нем чин? «Это, говорит, в нашем обществе рассказывать совсем лишнее и не принято; называйте меня Иван Иваныч, а чин на мне из четырнадцати овчин, — какую захочу, ту вверх шерстью и выворочу».

— Ну, вот видите, — это, выходит, совсем какая-то темная личность.

— Да, темная… «Чин из четырнадцати овчин» — это я понимаю, так как я сама за чиновником была. Это значит, что он четырнадцатого класса. А насчет имени и рекомендаций, прямо объявляет, что «насчет рекомендаций, говорит, я ими пренебрегаю и у меня их нет, а я гениальные мысли имею и знаю достойных людей, которые всякий мой план готовы привести за триста рублей в исполнение».

«Почему же, батюшка, непременно триста?»

«А так уж это у нас такой прификс, с которого мы уступать не желаем и больше не берем».

«Ничего, сударь, не понимаю».

«Да и не надо. Нынешние ведь много тысяч берут, а мы сотни. Мне двести за мысль и за руководство да триста исполнительному герою, в соразмере, что он может за исполнение три месяца в тюрьме сидеть, и конец дело венчает. Кто хочет — пусть нам верит, потому что я всегда берусь за дела только за невозможные; а кто веры не имеет, с тем делать нечего», — но что до меня касается, — прибавляет старушка, — то представь ты себе мое искушение: я ему почему-то верю…

— Решительно, — говорю, — не знаю, отчего вы ему верите?

— Вообрази — предчувствие у меня, что ли,

какое-то, и сны я вижу, и все это как-то так тепло убеждает довериться.

— Не подождать ли еще?

— Подожду, пока возможно.

Но скоро это сделалось невозможно.

Глава 4

— Приезжает ко мне старушка в состоянии самой трогательной и острой горести: во-первых, настает Рождество; во-вторых, из дому пишут, что дом на сих же днях поступает в продажу; и в-третьих, она встретила своего должника под руку с дамой и погналась за ними, и даже схватила его за рукав, и взывала к содействию публики, крича со слезами: «Боже мой, он мне должен!» Но это повело только к тому, что ее от должника с его дамою отвлекли, а привлекли к ответственности за нарушение тишины и порядка в людном месте. Ужаснее же этих трех обстоятельств было четвертое, которое заключалось в том, что должник старушки добыл себе заграничный отпуск и не позже как завтра уезжает с роскошною дамою своего сердца за границу — где наверно пробудет год или два, а может быть, и совсем не вернется, «потому что она очень богатая».

Сомнений, что все это именно так, как говорила старушка, не могло быть ни малейших. Она научилась зорко следить за каждым шагом своего неуловимого должника и знала все его тайности от подкупленных его слуг.

Завтра, стало быть, конец этой долгой и мучительной комедии: завтра он несомненно улизнет, и надолго, а может быть, и навсегда, потому что его компаньонка, все-конечно, не желала афишировать себя за миг иль краткое мгновенье.

Старушка все это во всех подробностях повергла уже обсуждению дельца, имеющего чин из четырнадцати овчин, и тот там же, сидя за ночвами у саечника в Мариинском пассаже, отвечал ей:

«Да, дело кратко, но помочь еще можно: сейчас пятьсот рублей на стол, и завтра же ваша душа на простор: а если не имеете ко мне веры — ваши пятнадцать тысяч пропали».

— Я, друг мой, — рассказывает мне старушка, — уже решилась ему довериться… Что же делать: все равно ведь никто не берется, а он берется и твердо говорит: «Я вручу». Не гляди, пожалуйста, на меня так, глаза испытуючи. Я нимало не сумасшедшая, — а и сама ничего не понимаю, но только имею к нему какое-то таинственное доверие в моем предчувствии, и сны такие снились,

что я решилась и увела его с собою.

— Куда?

— Да видишь ли, мы у саечника ведь только в одну пору, все в обед встречаемся. А тогда уже поздно будет, — так я его теперь при себе веду и не отпущу до завтрего. В мои годы, конечно, уже об этом никто ничего дурного подумать не может, а за ним надо смотреть, потому что я должна ему сейчас же все пятьсот рублей отдать, и без всякой расписки.

— И вы решаетесь?

— Конечно, решаюсь. Что же еще сделать можно? Я ему уже сто рублей задатку дала, и он теперь ждет меня в трактире, чай пьет, а я к тебе с просьбою: у меня еще двести пятьдесят рублей есть, а полутораста нет. Сделай милость, ссуди мне, — я тебе возвращу. Пусть хоть дом продадут — все-таки там полтораста рублей еще останется.

Знал я ее за женщину прекрасной честности, да и горе ее такое трогательное, — думаю: отдаст или не отдаст — господь с ней, от полутораста рублей не разбогатеешь и не обеднеешь, а между тем у нее мучения на душе не останется, что она не все средства испробовала, чтобы «вручить» бумажку, которая могла спасти ее дело.

Взяла она просимые деньги и поплыла в

трактир к своему отчаянному дельцу. А я с любопытством дожидал ее на следующее утро, чтобы узнать: на какое еще новое штукарство изловчаются плутовать в Петербурге?

Только то, о чем я узнал, превзошло мои ожидания: пассажный гений не постыдил ни веры, ни предчувствий доброй старушки.

Глава 5

На третий день праздника она влетает ко мне в дорожном платье и с саквояжем, и первое, что делает, — кладет мне на стол занятые у меня полтораста рублей, а потом показывает банковую, переводную расписку с лишком на пятнадцать тысяч…

— Глазам своим не верю! Что это значит?

— Ничего больше, как я получила все свои деньги с процентами.

— Каким образом? Неужто все это четырнадцатиовчинный Иван Иваныч устроил?

— Да, он. Впрочем, был еще и другой, которому он от себя триста рублей дал — потому что без помощи этого человека обойтись было невозможно.

— Это что же еще за деятель? Вы уж расскажите

все, как они вам помогали!

— Помогли очень честно. Я как пришла в трактир и отдала Ивану Иванычу деньги — он сосчитал, принял и говорит: «Теперь, госпожа, поедем. Я, говорит, гений по мысли моей, но мне нужен исполнитель моего плана, потому что я сам таинственный незнакомец и своим лицом юридических действий производить не могу». Ездили по многим низким местам и по баням — все искали какого-то «сербского сражателя», но долго его не могли найти. Наконец нашли. Вышел этот сражатель из какой-то ямки, в сербском военном костюме, весь оборванный, а в зубах пипочка из газетной бумаги, и говорит: «Я все могу, что кому нужно, но прежде всего надо выпить». Все мы трое в трактире сидели и торговались, и сербский сражатель требовал «по сту рублей на месяц, за три месяца». На этом решили. Я еще ничего не понимала, но видела, что Иван Иваныч ему деньги отдал, стало быть, он верит, и мне полегче стало. А потом я Ивана Иваныча к себе взяла, чтобы в моей квартире находился, а сербского сражателя в бани ночевать отпустили с тем, чтобы утром явился. Он утром пришел и говорит: «Я готов!» А Иван Иваныч мне шепчет: «Пошлите для него за водочкой: от него нужна смелость. Много я ему

пить не дам, а немножко необходимо для храбрости: настает самое главное его исполнение».

Выпил сербский сражатель, и они поехали на станцию железной дороги, с поездом которой старушкин должник и его дама должны были уехать. Старушка все еще ничего не понимала, что такое они замыслили и как исполнят, но сражатель ее успокоивал и говорил, что «все будет честно и благородно». Стала съезжаться к поезду публика, и должник явился тут, как лист перед травою, и с ним дама; лакей берет для них билеты, а он сидит с своей дамой, чай пьет и тревожно осматривается на всех. Старушка спряталась за Ивана Иваныча и указывает на должника — говорит: «Вот — он!»

Сербский воитель увидал, сказал «хорошо», и сейчас же встал и прошел мимо франта раз, потом во второй, а потом в третий раз, прямо против него остановился и говорит:

— Чего это вы на меня так смотрите?

Тот отвечает:

— Я на вас вовсе никак не смотрю, я чай пью.

— А-а! — говорит воитель, — вы не смотрите, а чай пьете? так я же вас заставлю на меня смотреть, и вот вам от меня к чаю лимонный сок, песок и шоколаду кусок!.. — Да с этим — хлоп,

хлоп, хлоп! его три раза по лицу и ударил.

Дама бросилась в сторону, господин тоже хотел убежать и говорил, что он теперь не в претензии; но полиция подскочила и вмешалась: «Этого, говорит, нельзя: это в публичном месте», — и сербского войтеля арестовали, и побитого тоже. Тот в ужасном был волнении — не знает: не то за своей дамой броситься, не то полиции отвечать. А между тем уже и протокол готов, и поезд отходит… Дама уехала, а он остался… и как только объявил свое звание, имя и фамилию, полицейский говорит: «Так вот у меня кстати для вас и бумажка в портфеле есть для вручения». Тот — делать нечего — при свидетелях поданную ему бумагу принял и, чтобы освободить себя от обязательств о невыезде, немедленно же сполна и с процентами уплатил чеком весь долг свой старушке.

Так были побеждены неодолимые затруднения, правда восторжествовала, и в честном, но бедном доме водворился покой, и праздник стал тоже светел и весел.

Человек, который нашелся — как уладить столь трудное дело, кажется, вполне имеет право считать себя в самом деле гением.

1884

Путешествие с нигилистом

Кто скачет, кто мчится в таинственной мгле?

Гете

Глава 1

Случилось провести мне рождественскую ночь в вагоне и не без приключений.

Дело было на одной из маленьких железнодорожных ветвей, так сказать, совсем в стороне от «большого света». Линия была еще не совсем окончена, поезда ходили неаккуратно, и публику помещали как попало. Какой класс ни возьми, все выходит одно и то же — все являются вместе.

Буфетов еще нет; многие, чувствуя холод, греются из дорожных фляжек.

Согревающие напитки развивают общение и разговоры. Больше всего толкуют о дороге и судят о ней снисходительно, что бывает у нас не часто.

— Да, плохо нас везут, — сказал какой-то военный, — а все спасибо им, — лучше, чем на конях. На конях в сутки бы не доехали, а тут завтра к

утру будем и завтра назад можно. Должностным людям то удобство, что завтра с родными повидаешься, а послезавтра и опять к службе.

— Вот и я то же самое, — поддержал, встав на ноги и держась за спинку скамьи, большой сухощавый духовный. — Вот у них в городе дьякон гласом подупавши, многолетие вроде как петух выводит. Пригласили меня за десятку позднюю обедню сделать. Многолетие проворчу и опять в ночь в свое село.

Одно находили на лошадях лучше, что можно ехать в своей компании и где угодно остановиться.

— Ну, да ведь здесь компания-то не навек, а на час, — молвил купец.

— Однако иной если и на час навяжется, то можно всю жизнь помнить, — отозвался дьякон.

— Чего же это так?

— А если, например, нигилист, да в полном своем облачении, со всеми составами и револьвер-барбосом.

— Это сужект полицейский.

— Всякого это касается, потому, вы знаете ли, что одного даже трясения… паф — и готово.

— Оставьте, пожалуйста… К чему вы это к ночи завели. У нас этого звания еще нет.

— Может с поля взяться.

— Лучше спать давайте.

Все послушались купца и заснули, и не могу уже вам сказать, сколько мы проспали, как вдруг нас так сильно встряхнуло, что все мы проснулись, а в вагоне с нами уже был нигилист.

Глава 2

Откуда он взялся? Никто не заметил, где этот неприятный гость мог взойти, но не было ни малейшего сомнения, что это настоящий, чистокровный нигилист, и потому сон у всех пропал сразу. Рассмотреть его еще было невозможно, потому что он сидел в потемочках в углу у окна, но и смотреть не надо — это так уже чувствовалось.

Впрочем, дьякон попробовал произвести обозрение личности: он прошелся к выходной двери вагона, мимо самого нигилиста, и, возвратясь, объявил потихоньку, что весьма ясно приметил «рукава с фибрами», за которыми непременно спрятан револьвер-барбос или бинамид.

Дьякон оказывался человеком очень живым и, для своего сельского звания, весьма просвещенным и любознательным, а к тому же и находчивым. Он немедленно стал подбивать

военного, чтобы тот вынул папироску и пошел к нигилисту попросить огня от его сигары.

— Вы, — говорит, — не цивильные, а вы со шпорою — вы можете на него так топнуть, что он как биллиардный шар выкатится. Военному все смелее.

К поездовому начальству напрасно было обращаться, потому что оно нас заперло на ключ и само отсутствовало.

Военный согласился: он встал, постоял у одного окна, потом у другого и, наконец, подошел к нигилисту и попросил закурить от его сигары.

Мы зорко наблюдали за этим маневром и видели, как нигилист схитрил: он не дал сигары, а зажег спичку и молча подал ее офицеру.

Все это холодно, кратко, отчетисто, но безучастливо и в совершенном молчании. Ткнул в руки зажженную спичку и отворотился.

Но, однако, для нашего напряженного внимания было довольно и одного этого светового момента, пока сверкнула спичка. Мы разглядели, что это человек совершенно сомнительный, даже неопределенного возраста. Точно донской рыбец, которого не отличишь — нынешний он или прошлогодний. Но подозрительного много: грефовские круглые очки, неблагонамеренная

фуражка, не православным блином, а с еретическим над затыльником, и на плечах типический плед, составляющий в нигилистическом сословии своего рода «мундирную пару», но что всего более нам не понравилось, — это его лицо. Не патлатое и воеводственное, как бывало у ортодоксальных нигилистов шестидесятых годов, а нынешнее — щуковатое, так сказать, фальсифицированное и представляющее как бы некую невозможную помесь нигилистки с жандармом. В общем, это являет собою подобие геральдического козерога.

Я не говорю геральдического льва, а именно геральдического козерога. Помните, как их обыкновенно изображают по бокам аристократических гербов: посредине пустой шлем и забрало, а на него щерятся лев и козерог. У последнего вся фигура беспокойная и острая, как будто «счастья он не ищет и не от счастия бежит». Вдобавок и колера, в которые был окрашен наш неприятный сопутник, не обещали ничего доброго: волосенки цвета гаванна, лицо зеленоватое, а глаза серые и бегают как метроном, поставленный на скорый темп «allegro udiratto». (Такого темпа в музыке, разумеется, нет, но он есть в нигилистическом жаргоне.)

Черт его знает: не то его кто-то догоняет, или он за кем-то гонится, — никак не разберешь.

Глава 3

Военный, возвратясь на свое место, сказал, что, на его взгляд, нигилист немножко чисто одет и что у него на руках есть перчатки, а перед ним на противоположной лавочке стоит бельевая корзинка.

Дьякон, впрочем, сейчас же доказал, что все это ничего не значит, и привел к тому несколько любопытных историй, которые он знал от своего брата, служащего где-то при таможне.

— Через них, — говорил он, — раз проезжал даже не в простых перчатках, а филь-де-пом, а как стали его обыскивать — обозначился шульер. Думали, смирный — посадили его в подводную тюрьму, а он из-под воды ушел.

Все заинтересовались: как шульер ушел из-под воды!

— А очень просто, — разъяснил дьякон, — он начал притворяться, что его занапрасно посадили, и начал просить свечку. «Мне, говорит, в темноте очень скучно, прошу дозволить свечечку, я хочу в поверхностную комиссию графу

Лорис-Мелихову объявление написать, кто я таков и в каких упованиях прошу прощады и хорошее место». Но комендант был старый, мушкетного пороху, — знал все их хитрости и не позволил. «Кто к нам, говорит, залучен, тому нет прощады», и так все его впотьмах и томил; а как этот помер, а нового назначили, шульер видит, что этот из неопытных, — навзрыд перед ним зарыдал и начал просить, чтобы ему хоть самый маленький сальный огарочек дали и какую-нибудь божественную книгу: «для того, говорит, что я хочу благочестивые мысли читать и в раскаяние прийти». Новый комендант и дал ему свечной огарок и духовный журнал «Православное воображение», а тот и ушел.

— Как же он ушел?

— С огарком и ушел.

Военный посмотрел на дьякона и сказал:

— Вы какой-то вздор рассказываете!

— Нимало не вздор, а следствие было.

— Да что же ему огарок значил?

— А черт его знает, что значил! Только после стал везде по каморке смотреть — ни дыры никакой, ни щелочки — ничего нет, и огарка нет, а из листов из «Православного воображения» остались одни корневильские корешки.

— Ну, вы совсем черт знает что говорите! — нетерпеливо молвил военный.

— Ничего не вздор, а я вам говорю — и следствие было, и узнали потом, кто он такой, да уже поздно.

— А кто же он такой был?

— Нахалкиканец из-за Ташкенту. Генерал Черняев его верхом на битюке послал, чтобы он болгарам от Кокорева пятьсот рублей отвез, а он по театрам да по балам все деньги в карты проиграл и убежал. Свечным салом смазался, а с светил ем ушел.

Военный только рукою махнул и отвернулся.

Но другим пассажирам словоохотливый дьякон нимало не наскучил: они любовно слушали, как он от коварного нахалкиканца с корневильскими корешками перешел к настоящему нашему собственному положению с подозрительным нигилистом. Дьякон говорил:

— Я на его чистоту не льщусь, а как вот придет сейчас первая станция — здесь одна сторожиха из керосиновой бутылочки водку продает, — я поднесу кондуктору бутершафт, и мы его встряхнем и что в бельевой корзине есть, посмотрим… какие там у него составы…

— Только надо осторожнее.

— Будьте покойны — мы с молитвою. Помилуй мя, Боже…

Тут нас вдруг и толкнуло, и завизжало. Многие вздрогнули и перекрестились.

— Вот оно и есть, — воскликнул дьякон, — наехали на станцию!

Он вышел и побежал, а на его место пришел кондуктор.

Глава 4

Кондуктор стал прямо перед нигилистом и ласково молвил:

— Не желаете ли, господин, корзиночку в багаж сдать?

Нигилист на него посмотрел и не ответил.

Кондуктор повторил предложение.

Тогда мы в первый раз услыхали звук голоса нашего ненавистного попутчика. Он дерзко отвечал:

— Не желаю.

Кондуктор ему представил резоны, что «таких больших вещей не дозволено с собой в вагоны вносить».

Он процедил сквозь зубы:

— И прекрасно, что не дозволено.

— Так желаете, я корзиночку сдам в багаж?

— Не желаю.

— Как же, сами правильно рассуждаете, что это не дозволяется, и сами не желаете?

— Не желаю.

Взошедший на эту историю дьякон не утерпел и воскликнул: «Разве так можно!» — но, услыхав, что кондуктор пригрозил «обером» и протоколом, успокоился и согласился ждать следующей станции.

— Там город, — сказал он нам, — там его и скрутят.

И что в самом деле за упрямый человек: ничего от него не добьются, кроме одного — «не желаю».

Неужто тут и взаправду замешаны корневильские корешки?

Стало очень интересно, и мы ждали следующей станции с нетерпением.

Дьякон объявил, что тут у него жандарм даже кум и человек старого мушкетного пороху.

— Он, — говорит, — ему такую завинтушку под ребро ткнет, что из него все это рояльное воспитание выскочит.

Обер явился еще на ходу поезда и настойчиво сказал:

— Как приедем на станцию, извольте эту кор-

зину взять.

А тот опять тем же тоном отвечает:

— Не желаю.

— Да вы прочитайте правила!

— Не желаю.

— Так пожалуйте со мною объясниться к начальнику станции. Сейчас остановка.

Глава 5

Приехали.

Станционное здание побольше других и поотделаннее: видны огни, самовар, на платформе и за стеклянными дверями буфет и жандармы. Словом, все, что нужно. И вообразите себе: наш нигилист, который оказывал столько грубого сопротивления во всю дорогу, вдруг обнаружил намерение сделать движение, известное у них под именем allegro udiratto. Он взял в руки свой маленький саквояжик и направился к двери, но дьякон заметил это и очень ловким манером загородил ему выход. В эту же самую минуту появился обер-кондуктор, начальник станции и жандарм.

— Это ваша корзина? — спросил начальник.

— Нет, — отвечал нигилист.

— Как нет?!

— Нет.

— Все равно, пожалуйте.

— Не уйдешь, брат, не уйдешь, — говорил дьякон. Нигилиста и всех нас, в качестве свидетелей, попросили в комнату начальника станции и сюда же внесли корзину.

— Какие здесь вещи? — спросил строго начальник.

— Не знаю, — отвечал нигилист.

Но с ним больше не церемонились: корзинку мгновенно раскрыли и увидали новенькое голубое дамское платье, а в то же самое мгновение в контору с отчаянным воплем ворвался еврей и закричал, что это его корзинка и что платье, которое в ней, он везет одной знатной даме; а что корзину действительно поставил он, а не кто другой, в том он сослался на нигилиста.

Тот подтвердил, что они взошли вместе и еврей действительно внес корзинку и поставил ее на лавочку, а сам лег под сиденье.

— А билет? — спросили у еврея.

— Ну, что билет… — отвечал он. — Я не знал, где брать билет…

Еврея велено придержать, а от нигилиста потребовали удостоверения его личности. Он молча

подал листок, взглянув на который начальник станции резко переменил тон и попросил его в кабинет, добавив при этом:

— Ваше превосходительство здесь ожидают.

А когда тот скрылся за дверью, начальник станции приложил ладони рук рупором ко рту и отчетливо объявил нам:

— Это прокурор судебной палаты!

Все ощутили полное удовольствие и перенесли его в молчании; только один военный вскрикнул:

— А все это наделал этот болтун дьякон! Ну-ка — где он… куда он делся?

Но все напрасно оглядывались: «куда он делся», — дьякона уже не было; он исчез, как нахалкиканец, даже и без свечки. Она, впрочем, была и не нужна, потому что на небе уже светало и в городе звонили к рождественской заутрене.

1882

Маленькая ошибка

(Секрет одной московской фамилии)

Глава 1

Вечерком, на Святках, сидя в одной благоразумной компании, было говорено о вере и о неверии.

Речь шла, впрочем, не в смысле высших вопросов деизма или материализма, а в смысле веры в людей, одаренных особыми силами предвидения и прорицания, а пожалуй, даже и своего рода чудотворства. И случился тут же некто, степенный московский человек, который сказал следующее:

— Не легко это, господа, судить о том: кто живет с верою, а который не верует, ибо разные тому в жизни бывают прилоги; случается, что разум-то наш в таковых случаях впадает в ошибки.

И после такого вступления он рассказал нам любопытную повесть, которую я постараюсь передать его же словами:

Дядюшка и тетушка мои одинаково прилежали покойному чудотворцу Ивану Яковлевичу. Особенно тетушка, — никакого дела не начинала, у него не спросившись. Сначала, бывало, сходит к нему в сумасшедший дом и посоветуется, а потом попросит его, чтобы за ее дело молился. Дядюшка был себе на уме и на Ивана Яковлевича меньше полагался, однако тоже доверял иногда и носить ему дары и жертвы не препятствовал. Люди они были не богатые, но очень достаточные, — торговали чаем и сахаром из магазина в своем доме. Сыновей у них не было, а были три дочери: Капитолина Никитишна, Катерина Никитишна и

Ольга Никитишна. Все они были собою недурны и хорошо знали разные работы и хозяйство. Капитолина Никитишна была замужем, только не за купцом, а за живописцем, — однако очень хороший был человек и довольно зарабатывал — все брал подряды выгодно церкви расписывать. Одно в нем всему родству неприятно было, что работал божественное, а знал какие-то вольнодумства из Курганова «Письмовника». Любил говорить про Хаос, про Овидия, про Промифея и охотник был сравнивать баснословия с бытописанием. Если бы не это, все бы было прекрасно. А второе — то, что у них детей не было, и дядюшку с теткой это очень огорчало. Они еще только первую дочь выдали замуж, и вдруг она три года была бездетна. За это других сестер женихи обегать стали.

Тетушка спрашивала Ивана Яковлевича, через что ее дочь не родит: оба, говорит, молоды и красивы, а детей нет?

Иван Яковлевич забормотал:

— Есть убо небо небесе; есть небо небесе.

Его подсказчицы перевели тетке, что батюшка велит, говорят, вашему зятю, чтобы он Богу молился, а он, должно быть, у вас маловерующий.

Тетушка так и ахнула: все, говорит, ему явлено! И стала она приставать к живописцу, чтобы он

поисповедался; а тому все трынь-трава! Ко всему легко относился… даже по постам скоромное ел… и притом, слышат они стороною, будто он и червей и устриц вкушает. А жили они все в одном доме и часто сокрушались, что есть в ихнем купеческом родстве такой человек без веры.

Глава 2

Вот и пошла тетка к Ивану Яковлевичу, чтобы попросить его разом помолиться о еже рабе Капитолине отверзти ложесна, а раба Лария (так живописца звали) просветити верою.

Просят об этом вместе и дядя и тетка.

Иван Яковлевич залепетал что-то такое, чего и понять нельзя, а его послушные женки, которые возле него присидели, разъясняют:

— Он, — говорят, — ныне невнятен, а вы скажите, о чем просите, — мы ему завтра на записочке подадим.

Тетушка стала сказывать, а те записывают: «Рабе Капитолине отверзть ложесна, а рабу Ларию усугубити веру».

Оставили старики эту просительную записочку и пошли домой веселыми ногами.

Дома они никому ничего не сказали, кроме

одной Капочки, и то с тем, чтобы она мужу своему, неверному живописцу, этого не передавала, а только жила бы с ним как можно ласковее и согласнее и смотрела за ним: не будет ли он приближаться к вере в Ивана Яковлевича. А он был ужасный чертыханщик, и все с присловьями, точно скоморох с Пресни. Все ему шутки да забавки. Придет в сумерки к тестю — «пойдем, — говорит, — часослов в пятьдесят два листа читать», то есть, значит, в карты играть… Или садится, говорит: «С уговором, чтобы играть до первого обморока».

Тетушка, бывало, этих слов слышать не может. Дядя ему и сказал: «Не огорчай так ее: она тебя любит и за тебя обещание сделала». А он рассмеялся и говорит тете:

— Зачем вы неведомые обещания даете? Или вы не знаете, что через такое обещание глава Ивана Предтечи была отрублена. Смотрите, может, у нас в доме какое-нибудь неожиданное несчастие быть.

Тещу это еще больше испугало, и она всякий день, в тревоге, в сумасшедший дом бегала. Там ее успокоят, — говорят, что дело идет хорошо: батюшка всякий день записку читает, и что теперь о чем писано, то скоро сбудется.

Вдруг и сбылось, да такое, что и сказать неохотно.

Глава 3

Приходит к тетушке средняя ее дочь, девица Катечка, и прямо ей в ноги, и рыдает, и горько плачет.

Тетушка говорит:

— Что тебе — кто обидел?

А та сквозь рыдания отвечает:

— Милая маменька, и сама я не знаю, что это такое и отчего… в первый и в последний раз сделалось… Только вы от тятеньки мой грех скройте.

Тетушка на нее посмотрела да прямо пальцем в живот ткнула и говорит:

— Это место?

Катечка отвечает:

— Да, маменька… как вы угадали… сама не знаю отчего…

Тетушка только ахнула да руками всплеснула.

— Дитя мое, — говорит, — и не дознавайся: это, может быть, я виновата в ошибке, я сейчас узнать съезжу, — и сейчас на извозчике полетела к Ивану Яковлевичу.

— Покажите, — говорит, — мне записку нашей просьбы, о чем батюшка для нас просит рабе божьей плод чрева; как она писана?

Приседящие поискали на окне и подали.

Тетушка взглянула и мало ума не решилась. Что вы думаете? Действительно ведь все вышло по ошибочному молению, потому что на место рабы божьей Капитолины, которая замужем, там писана раба Катерина, которая еще незамужняя, девица.

Женки говорят:

— Поди же, какой грех! Имена очень сходственны… но ничего, это можно поправить.

А тетушка подумала: «Нет, врете, теперь вам уж не поправить: Кате уж вымолено», — и разорвала бумажку на мелкие частички.

Глава 4

Главное дело, боялись: как дядюшке сказать? Он был такой человек, что если расходится, то его мудрено унять. К тому же он Катю меньше всех любил, а любимая дочь у него была самая младшая, Оленька, — ей он всех больше и обещал.

Думала, думала тетушка и видит, что одним умом ей этой беды не обдумать, — зовет зятя-жи-

вописца на совет и все ему во всех подробностях открыла, а потом просит:

— Ты, — говорит, — хотя неверующий, однако могут тебе быть какие-нибудь чувства, — пожалуйста, пожалей ты Катю, пособи мне скрыть ее девичий грех.

А живописец вдруг лоб нахмурил и строго говорит:

— Извините, пожалуйста, вы хотя моей жене мать, однако, во-первых, я этого терпеть не люблю, чтобы меня безверным считали, а во-вторых, я не понимаю — какой же тут причитаете Кате грех, если об ней так Иван Яковлевич столько времени просил? Я к Катечке все братские чувства имею и за нее заступлюсь, потому что она тут ни в чем не виновата.

Тетушка пальцы кусает и плачет, а сама говорит:

— Ну… уж как ни в чем?

— Разумеется, ни в чем. Это ваш чудотворец все напутал, с него и взыскивайте.

— Какое же с него взыскание! Он праведник.

— Ну, а если праведник, так и молчите. Пришлите мне с Катею три бутылки шампанского вина.

Тетушка переспрашивает:

— Что такое?

А он опять отвечает:

— Три бутылки шампанского, — одну ко мне сейчас в мои комнаты, а две после, куда прикажу, но только чтобы дома готовы были и во льду стояли заверчены.

Тетушка посмотрела на него и только головой покивала.

— Бог с тобою, — говорит, — я думала, что ты только без одной веры, а ты святые лики изображаешь, а сам без всех чувств оказываешься… Оттого я твоим иконам и не могу поклоняться.

А он отвечает:

— Нет, вы насчет веры оставьте: это вы, кажется, сомневаетесь и все по естеству думаете, будто тут собственная Катина причина есть, а я крепко верю, что во всем этом один Иван Яковлевич причинен; а чувства мои вы увидите, когда мне с Катею в мою мастерскую шампанское пришлете.

Глава 5

Тетушка думала-подумала, да и послала живописцу вино с самой Катечкой. Та взошла с подносом, вся в слезах, а он вскочил, схватил ее за обе ручки и сам заплакал.

— Скорблю, — говорит, — голубочка моя, что с тобою случилося, однако дремать с этим некогда — подавай мне скорее наружу все твои тайности.

Девица ему открылась, как сшалила, а он взял да ее у себя в мастерской на ключ и запер.

Тетушка встречает зятя с заплаканными глазами и молчит. А он и ее обнял, поцеловал и говорит:

— Ну, не бойтесь, не плачьте. Авось бог поможет.

— Скажи же мне, — шепчет тетушка, — кто всему виноват?

А живописец ей ласково пальцем погрозил и говорит:

— Вот это уж нехорошо: сами вы меня постоянно неверием попрекали, а теперь, когда вере вашей дано испытание, я вижу, что вы сами нимало не верите. Неужто вам не ясно, что виноватых нет, а просто чудотворец маленькую ошибку сделал.

— А где же моя бедная Катечка?

— Я ее страшным художническим заклятьем заклял, она, как клад от аминя, и рассыпалась.

А сам ключ теще показывает.

Тетушка догадалась, что он девушку от первого

гнева укрыл, и обняла его.

Шепчет:

— Прости меня, — в тебе нежные чувства есть.

Глава 6

Пришел дядя, по обычаю чаю напился и говорит:

— Ну, давай читать часослов в пятьдесят два листа?

Сели. А домашние все двери вокруг них затворили и на цыпочках ходят. Тетушка же то отойдет от дверей, то опять подойдет, — все подслушивает и все крестится. Наконец, как там что-то звякнет… Она поотбежала и спряталась.

— Объявил, — говорит, — объявил тайну! Теперь начнется адское представление.

И точно: враз дверь растворилась, и дядя кричит:

— Шубу мне и большую палку!

Живописец его назад за руку и говорит:

— Что ты? Куда это?

Дядя говорит:

— Я в сумасшедший дом поеду чудотворца бить!

Тетушка за другими дверями застонала:

— Бегите, — говорит, — скорее в сумасшедший дом, чтобы батюшку Ивана Яковлевича спрятали!

И действительно, дядя бы его непременно избил, но живописец страхом веры своей и этого удержал.

Глава 7

Стал зять вспоминать тестю, что у него есть еще одна дочь.

— Ничего, — говорит, — той своя доля, а я Корейшу бить хочу. После пусть меня судят.

— Да я тебя, — говорит, — не судом стращаю, а ты посуди: какой вред Иван Яковлевич Ольге может сделать. Ведь это ужас, чем ты рискуешь!

Дядя остановился и задумался:

— Какой же, — говорит, — вред он может сделать?

— А как раз такой самый, какой вред он сделал Катечке.

Дядя поглядел и отвечает:

— Полно вздор городить! Разве он это может?

А живописец отвечает:

— Ну, ежели ты, как я вижу, неверующий, то делай, как знаешь, только потом не тужи и бедных

девушек не виновать.

Дядя и остановился. А зять его втащил назад в комнату и начал уговаривать.

— Лучше, — говорит, — по-моему, чудотворца в сторону, а взять это дело и домашними средствами поправить.

Старик согласился, только сам не знал, как именно поправить, а зять-живописец и тут помог — говорит:

— Хорошие мысли надо искать не во гневе, а в радости.

— Какое, — отвечает, — теперь, братец, веселие при таком случае?

— А такое, что у меня есть два пузырька шипучки, и пока ты их со мною не выпьешь, я тебе ни одного слова не скажу. Согласись со мною. Ты знаешь, как я характерен.

Старик на него посмотрел и говорит:

— Подводи, подводи! Что такое дальше будет?

А впрочем, согласился.

Глава 8

Живописец живо скомандовал и назад пришел, а за ним идет его мастер, молодой художник, с подносом, и несет две бутылки с бокалами.

Как вошли, так живописец за собою двери запер и ключ в карман положил. Дядя посмотрел и все понял, а зять художнику кивнул, — тот взял и стал в смирную просьбу.

— Виноват, — простите и благословите.

Дядюшка зятя спрашивает:

— Бить его можно?

Зять говорит:

— Можно, да не надобно.

— Ну, так пусть он передо мною по крайности на колена станет.

Зять тому шепнул:

— Ну, стань за любимую девушку на колена перед батькою.

Тот стал.

Старик и заплакал.

— Очень, — говорит, — любишь ее?

— Люблю.

— Ну, целуй меня.

Так Ивана Яковлевича маленькую ошибку и прикрыли. и оставалось все это в благополучной тайности, и к младшей сестре женихи пошли, потому что видят — девицы надежные.

1883

Пугало

У страха большие глаза.
Поговорка

Глава 1

Мое детство прошло в Орле. Мы жили в доме Немчинова, где-то недалеко от «маленького собора». Теперь я не могу разобрать, где именно стоял этот высокий деревянный дом, но помню, что из его сада был просторный вид за широкий и глубокий овраг с обрывистыми краями, прорезанными пластами красной глины. За оврагом расстилался большой выгон, на котором стояли казенные магазины, а возле них летом всегда учились солдаты. Я всякий день смотрел, как их учили и как их били. Тогда это было в употреблении, но я никак не мог к этому привыкнуть и всегда о них плакал. Чтобы это не часто повторялось, моя няня, престарелая московская солдатка — Марина Борисовна, уводила меня гулять в городской сад. Здесь мы садились над мелководной Окой и глядели, как в ней купались и играли маленькие

дети, свободе которых я тогда очень завидовал.

Главная выгода их привольного положения в моих глазах состояла в том, что они не имели на себе ни обуви, ни белья, так как рубашонки их были сняты и вороты их рукавами связаны. В таком приспособлении рубашки получали вид небольших мешков, и ребятишки, ставя их против течения, налавливали туда крохотную серебристую рыбешку. Она так мала, что ее нельзя чистить, и это признавалось достаточным основанием к тому, чтобы ее варить и есть нечищеною.

Я никогда не имел отваги узнать ее вкус, но ловля ее, производившаяся крохотными рыбаками, казалась мне верхом счастия, каким мальчика моих тогдашних лет могла утешить свобода.

Няня, впрочем, знала хорошие доводы, что мне такая свобода была бы совершенно неприлична. Доводы эти заключались в том, что я — дитя благородных родителей и отца моего все в городе знают.

— Другое дело, — говорила няня, — если бы это было в деревне. Там, при простых, серых мужиках, и мне, пожалуй, можно было бы позволить наслаждаться кой-чем в том же свободном роде.

Кажется, от этих именно сдерживающих рас-

суждений меня стало сильно и томительно манить в деревню, и восторг мой не знал пределов, когда родители мои купили небольшое именьице в Кромском уезде. Тем же летом мы переехали из большого городского дома в очень уютный, но маленький деревенский дом с балконом, под соломенною крышею. Лес в Кромском уезде и тогда был дорог и редок. Это местность степная и хлебородная, и притом она хорошо орошена маленькими, но чистыми речками.

Глава 2

В деревне у меня сразу же завелись обширные и любопытные знакомства с крестьянами. Пока отец и мать были усиленно заняты устройством своего хозяйства, я не терял времени, чтобы самым тесным образом сблизиться с взрослыми парнями и с ребятишками, которые пасли лошадей «на кулигах». Сильнее всех моими привязанностями овладел, впрочем, старый мельник, дедушка Илья — совершенно седой старик с пребольшими черными усами. Он более всех других был доступен для разговоров, потому что на работы не отлучался, а или похаживал с навозными вилами по плотине, или сидел над

дрожащею скрынью и задумчиво слушал, ровно ли стучат мельничные колеса или не сосет ли где-нибудь под скрынью вода. Когда ему надокучало ничего не делать, — он заготовлял на всякий случай кленовые кулачья или цевки для шестерни. Но во всех описанных положениях он легко отклонялся от дела и вступал охотно в беседы, которые он вел отрывками, без всякой связи, но любил систему намеков и при этом подсмеивался не то сам над собою, не то над слушателями.

По должности мельника дедушка Илья имел довольно близкое соотношение к водяному, который заведовал нашими прудами, верхним и нижним, и двумя болотами. Свою главную штаб-квартиру этот демон имел под холостою скрынью на нашей мельнице.

Дедушка Илья об нем все знал и говорил:

— Он меня любит. Он, если когда и сердит домой придет за какие-нибудь беспорядки, — он меня не обижает. Ляжь тут другой на моем месте, на мешках, — он так и сорвет с мешка и выбросит, а меня ни в жизнь не тронет.

Все молодшие люди подтверждали мне, что между дедушкою Ильею и «водяным дедкой» действительно существовали описанные отношения, но только они держались вовсе не на том,

что водяной Илью любил, а на том, что дедушка Илья, как настоящий, заправский мельник, знал настоящее, заправское мельницкое слово, которому водяной и все его чертенята повиновались так же беспрекословно, как ужи и жабы, жившие под скрынями и на плотине.

С ребятами я ловил пискарей и гольцов, которых было великое множество в нашей узенькой, но чистой речке Гостомле; но, по серьезности моего характера, более держался общества дедушки Ильи, опытный ум которого открывал мне полный таинственной прелести мир, который был совсем мне, городскому мальчику, неизвестен. От Ильи я узнал и про домового, который спал на катке, и про водяного, который имел прекрасное и важное помещение под колесами, и про кикимору, которая была так застенчива и непостоянна, что пряталась от всякого нескромного взгляда в разных пыльных заметах — то в риге, то в овине, то на толчее, где осенью толкли замашки. Меньше всех дедушка знал про лешего, потому что этот жил где-то далеко у Селиванова двора и только иногда заходил к нам в густой ракитник, чтобы сделать себе новую ракитовую дудку и поиграть на ней в тени у сажалок. Впрочем, дедушка Илья во всю свою богатую

приключениями жизнь видел лешего лицом к лицу всего только один раз и то на Николин день, когда у нас бывал храмовой праздник. Леший подошел к Илье, прикинувшись совсем смирным мужичком, и попросил понюхать табачку. А когда дедушка сказал ему: «черт с тобой — понюхай!» и при этом открыл тавлинку, — то леший не мог более соблюсти хорошего поведения и сошкольничал: он так поддал ладонью под табакерку, что запорошил доброму мельнику все глаза.

Все эти живые и занимательные истории имели тогда для меня полную вероятность, и их густое, образное содержание до такой степени переполняло мою фантазию, что я сам был чуть ли не духовидцем. По крайней мере, когда я однажды заглянул с большим риском в толчейный амбар, то глаз мой обнаружил такую остроту и тонкость, что видел сидевшую там в пыли кикимору. Она была неумытая, в пыльном повойнике и с золотушными глазами. А когда я, испуганный этим видением, бросился без памяти бежать оттуда, то другое мое чувство — слух — обнаружило присутствие лешего. Я не могу поручиться, где именно он сидел, — вероятно, на какой-нибудь высокой раките, но только, когда я бежал от кикиморы, леший во всю мочь засвистал на своей зеленой

дудке и так сильно прихватил меня к земле за ногу, что у меня оторвался каблук от ботинки.

Едва переводя дух, я сообщил все это домашним и за свое чистосердечие был посажен в комнате читать священную историю, пока посланный босой мальчик сходил в соседнее село к солдату, который мог исправить повреждение, сделанное лешим в моей ботинке. Но и самое чтение священной истории не защищало уже меня от веры в те сверхъестественные существа, с которыми я, можно сказать, сживался при посредстве дедушки Ильи. Я хорошо знал и любил священную историю, — я и до сих пор готов ее перечитывать, а все-таки ребячий милый мир тех сказочных существ, о которых наговорил мне дедушка Илья, казался мне необходимым. Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, приставленные к ним народною фантазией.

В числе неприятных последствий от лешевой дудки было еще то, что дедушка Илья за прочитанные им для меня курсы демонологии получил от матушки выговор и некоторое время меня дичился и будто не хотел продолжать моего образования. Он даже притворялся, будто гонит меня от себя прочь.

— Пошел от меня прочь, иди к своей няньке, —

говорил он, заворачивая меня к себе спиною и поддавая широкой мозолистой ладонью под сиденье.

Но я уже мог гордиться своим возрастом и считать подобное обращение со мною несовместным. Мне было восемь лет, и к няньке своей мне тогда идти было незачем. Я это и дал почувствовать Илье, принеся ему полоскательную чашку вишен из-под слитой наливки.

Дедушка Илья любил эти фрукты — принял их, смягчился, погладил меня своей мозольной рукой по голове, и между нами снова восстановились самые короткие и самые добрые отношения.

— Ты вот что, — говорил мне дедушка Илья, — ты мужика завсегда больше всех почитай и люби слушать, но того, что от мужика услышишь, не всем сказывай. А не то — прогоню.

С тех пор я стал таить все, что слышал от мельника, и зато узнал так много интересного, что начал бояться не только ночью, когда все домовые, лешие и кикиморы становятся очень дерзновенны и наглы, но даже стал бояться и днем. Такой страх овладел мною потому, что дом наш и весь наш край, оказалось, находился во власти одного престрашного разбойника и кровожадного чародея, который назывался Селиван.

Он жил от нас всего в шести верстах, «на разновилье», то есть там, где большой почтовый тракт разветвлялся на два: одна, новая дорога шла на Киев, а другая, старая, с дуплистыми ракитами «екатерининского насаждения», вела на Фатеж. Эта теперь уже брошена и лежит взапусте.

В версте за этим разновильем был хороший дубовый лес, а при лесе — самый дрянной, совершенно раскрытый и полуобвалившийся постоялый двор, в котором, говорили, будто никто никогда не останавливался. И этому можно было легко верить, потому, что двор не представлял никаких удобств для постоя, и потому, что отсюда было слишком близко до города Кром, где и в те полудикие времена можно было надеяться найти теплую горницу, самовар и калачи второй руки. Вот в этом-то ужасном дворе, где никто никогда не останавливался, и жил «пустой дворник» Селиван, ужасный человек, с которым никто не рад был встретиться.

Глава 3

Повесть «пустого дворника» Селивана, по словам дедушки Ильи, была следующая. Селиван был кромский мещанин; родители его рано умер-

ли, а он жил в мальчиках у калачника и продавал калачи у кабака за Орловской заставой. Мальчик он был хороший, добрый и послушный, но только калачнику всегда говорили, что с Селиваном требовалась осторожность, потому что у него на лице была красная метинка, как огонь, — а это никогда даром не ставится. Были такие люди, которые знали на это и особенную пословицу: «Бог плута метит». Хозяин-калачник очень хвалил Селивана за его усердие и верность, но все другие люди, по искреннему своему доброжелательству, говорили, что истинное благоразумие все-таки заставляет его остерегаться и много ему не доверять, — потому что «бог плута метит». Если метка на его лице положена, то это именно для того, чтобы все слишком доверчивые люди его остерегались. Калачник не хотел отстать от людей умных, но Селиван был очень хороший работник. Калачи он продавал исправно и всякий вечер аккуратно высыпал хозяину из большого кожаного кошелька все пятаки и гривны, сколько выручил от проезжавших мужичков. Однако метка лежала на нем не даром, а до случая (это уже всегда так бывает). Пришел в Кромы из Орла «отслужившийся палач», по имени Борька, и сказано было ему: «Ты был палач, Борька, а теперь

тебе у нас жить будет горько», — и все, насколько кто мог, старались, чтобы такие слова не остались для отставного палача вотще. А когда палач Борька пришел из Орла в Кромы, с ним уже была дочь, девочка лет пятнадцати, которая родилась в остроге, хотя многие думали, что ей бы лучше совсем не родиться.

Пришли они в Кромы жить по приписке. Это теперь непонятно, но тогда бывало так, что отслужившимся палачам дозволялось приписываться к каким-нибудь городишкам, и делалось это просто, ни у кого на то желания и согласия не спрашивая. Так случилось и с Борькой: велел какой-то губернатор приписать этого старого палача в Кромах — его и приписали, а он пришел сюда жить и привел с собою дочку. Но только в Кромах палач, разумеется, ни для кого не был желанным гостем, а, напротив, все им пренебрегали, как люди чистые, и ни его, ни его девочку решительно никто не захотел пустить к себе на двор. А время, когда они пришли, было уже очень холодное.

Попросился палач в один дом, потом в другой и не стал более докучать. Он видел, что не возбуждает ни в ком ни малейшего сострадания, и знал, что вполне этого заслужил.

«Но дитя! — думал он. — Дитя не виновато в моих грехах, — кто-нибудь пожалеет дитя».

И Борька опять пошел стучаться из двора во двор, прося взять если не его, то только девчонку… Он заклинался, что никогда даже не придет, чтобы навестить дочь.

Но и эта просьба была так же напрасна.

Кому охота с палачом знаться?

И вот, обойдя городишко, стали эти злополучные пришельцы опять проситься в острог. Там хоть можно было обогреться от осенней мокроты и стужи. Но и в острог их не взяли, потому что срок их острожной неволи минул, и они теперь были люди вольные. Они были свободны умереть под любым забором или в любой канаве.

Милостыню палачу с дочерью иногда подавали, не для них, конечно, а Христа ради, но в дом никуда не пускали. Старик с дочерью не имели приюта и ночевали то где-нибудь под кручею, в глинокопных ямах, то в опустелых сторожевых шалашах на огородах, по долине. Суровую долю их делила тощая собака, которая пришла с ними из Орла.

Это был большой лохматый пес, на котором вся шерсть завойлочилась в войлок. Чем она питалась при своих нищих-хозяевах — это никому не

было известно, но, наконец, догадались, что ей вовсе и не нужно было питаться, потому что она была «бесчеревная», то есть у нее были только кости да кожа и желтые, истомленные глаза, а «в середине» у нее ничего не было, и потому пища ей вовсе не требовалась.

Дедушка Илья рассказывал мне, как этого можно достигать «самым легким манером». Любую собаку, пока она щенком, стоит только раз напоить жидко расплавленным оловом или свинцом, и она сделается без черева и может не есть. Но, разумеется, при этом необходимо знать «особливое, колдовское слово». А за то, что палач, очевидно, знал этакое слово, — люди строгой нравственности убили его собаку. Оно, конечно, так и следовало, чтобы не давать поблажки колдовству; но это было большим несчастьем для нищих, так как девочка спала вместе с собакою, и та уделяла ребенку часть теплоты, которую имела в своей шерсти. Однако для таких пустяков, разумеется, нельзя было потворствовать волшебствам, и все были того мнения, что собака уничтожена совершенно правильно. Пусть колдунам не удается морочить правоверных.

Глава 4

После уничтожения собаки девочку согревал в шалашах сам палач, но он уже был стар, и, к его счастию, ему недолго пришлось нести эту непосильную для него заботу. В одну морозную ночь дитя ощутило, что отец ее застыл более, чем она сама, и ей сделалось так страшно, что она от него отодвинулась и даже от ужаса потеряла сознание. До утра пробыла она в объятиях смерти. Когда стало светать и люди, шедшие к заутрене, заглянули из любопытства в шалаш, то они увидели отца и дочь закоченевшими. Девочку кое-как отогрели, и когда она увидала у отца странно остолбенелые глаза и дико оскаленные зубы, тогда поняла в чем дело и зарыдала.

Старика схоронили за кладбищем, потому что он жил скверно и умер без покаяния, а про его девочку немножко позабыли… Правда, не надолго, всего на какой-нибудь месяц, но когда про нее через месяц вспомнили, — ее уже негде было отыскивать.

Можно было думать, что сиротка куда-нибудь убежала в другой город или пошла просить милостыню по деревням. Гораздо любопытнее было то,

что с исчезновением сиротки соединялось другое странное обстоятельство: прежде чем хватились девочки, было замечено, что без вести пропал куда-то калачник Селиван.

Он пропал совершенно неожиданно, и притом так необдуманно, как не делал еще до него никакой другой беглец. Селиван решительно ничего ни у кого не унес, и даже все данные ему для продажи калачи лежали на его лотке, и тут же уцелели все деньги, которые он выручил за то, что продал; но сам он домой не возвращался.

И оба эти сироты считались без вести пропавшими целых три года.

Вдруг, однажды, приезжает с ярмарки купец, которому принадлежал давно опустелый постоялый двор «на разновилье», и говорит, что с ним было несчастие: ехал он, да плохо направлял на гать свою лошадь, и его воз придавил, но его спас неизвестный бродяжка.

Бродяжка этот был им узнан, и оказалось, что это не кто иной, как Селиван.

Спасенный Селиваном купец был не из таких людей, которые совсем нечувствительны к оказанной им услуге; чтобы не подлежать на Страшном суде ответу за неблагодарность, он захотел сделать добро бродяге.

— Я должен тебя осчастливить, — сказал он Селивану, — у меня есть пустой двор на разновилье, иди туда и сиди в нем дворником и продавай овес и сено, а мне плати всего сто рублей в год аренды.

Селиван знал, что на шестой версте от городка, по запустевшей дороге, постоялому двору не место, и, в нем сидючи, никакого заезда ждать невозможно; но, однако, как это был еще первый случай, когда ему предлагали иметь свой угол, то он согласился.

Купец пустил.

Глава 5

Селиван приехал во двор с маленькой ручной одноколесной навозницей, в которой у него мостились пожитки, а на них лежала, закинув назад голову, больная женщина в жалких лохмотьях.

Люди спросили у Селивана:

— Кто это такая?

Он отвечал:

— Это моя жена.

— Из каких она мест родом?

Селиван кротко отвечал:

— Из божьих.

— Чем она больна?

— Ногами недужна.

— А отчего она так недужает?

Селиван, насупясь, буркнул:

— От земного холода.

Больше он не стал говорить ни слова, поднял на руки свою немощную калеку и понес ее в избу.

Словоохотливости и вообще приятной общительности в Селиване не было; людей он избегал, и даже как будто боялся, и в городе не показывался, а жены его совсем никто не видал с тех пор, как он ее сюда привез в ручной навозной тележке. Но с тех пор, когда это случилось, уже прошло много лет, — молодые люди тогдашнего века уже успели состариться, а двор в разновилье еще более обветшал и развалился; но Селиван и его убогая калека все здесь и, к общему удивлению, платили за двор наследникам купца какую-то плату.

Откуда же этот чудак выручал все то, что было нужно на его собственные нужды, и на то, что следовало платить за совершенно разрушенный двор? Все знали, что сюда никогда не заглядывал ни один проезжающий и не кормил здесь своих лошадей ни один обоз, а между тем Селиван хотя жил бедственно, но все еще не умирал с голода.

Вот в этом-то и был вопрос, который, впрочем,

не очень долго томил окрестное крестьянство. Скоро все поняли, что Селиван знался с нечистою силою… Эта нечистая сила устраивала ему довольно выгодные и для обыкновенных людей даже невозможные делишки.

Известно, что дьявол и его помощники имеют большую охоту делать людям всякое зло; но особенно им нравится вынимать из людей души так неожиданно, чтобы они не успели очистить себя покаянием. Кто из людей помогает таким проискам, тому вся нечистая сила, то есть все лешие, водяные и кикиморы охотно делают разные одолжения, хотя, впрочем, на очень тяжелых условиях. Помогающий чертям должен сам за ними последовать в ад, — рано или поздно, но непременно. Селиван находился именно на этом роковом положении. Чтобы кое-как жить в своем разоренном домишке, он давно продал свою душу нескольким чертям сразу, а эти с тех пор начали загонять к нему на двор путников самыми усиленными мерами. Назад же от Селивана не выезжал никто. Делалось это таким образом, что лешие, сговорясь с кикиморами, вдруг перед ночью поднимали вьюги и метели, при которых дорожный человек растеривался и спешил спрятаться от разгулявшейся стихии куда попало.

Селиван тогда сейчас же и выкидывал хитрость: он выставлял огонь на свое окошко и на этот свет к нему попадали купцы с толстыми черезами, дворяне с потайными шкатулками и попы с меховыми треухами, подложенными во всю ширь денежными бумажками. Это была ловушка. Назад из Селивановых ворот уже не было поворота ни одному из тех, кто приехал. Куда их девал Селиван, — про то никому не было известно.

Дедушка Илья, договорившись до этого, только проводил по воздуху рукой и внушительно произносил:

— Сова летит, лунь плывет — ничего не видно: буря, метель и… ночь матка — все гладко.

Чтобы не уронить себя во мнении дедушки Ильи, притворялся, будто понимаю, что значит «сова летит и лунь плывет», а понимал я только одно, что Селиван — это какое-то общее пугало, с которым чрезвычайно опасно встретиться… Не дай бог этого никому на свете.

Я, впрочем, старался проверить страшные рассказы про Селивана и от других людей, но все в одно слово говорили то же самое. Все смотрели на Селивана как на страшное пугало, и все так же, как дедушка Илья, строго заказывали мне, чтобы я «дома, в хоромах, никому про Селивана

не сказывал». По совету мельника, я эту мужичью заповедь исполнял до особого страшного случая, когда я сам попался в лапы Селивану.

Глава 6

Зимою, когда в доме вставили двойные рамы, я не мог по-прежнему часто видеться с дедушкой Ильей и с другими мужиками. Меня берегли от морозов, а они все остались работать на холоду, причем с одним из них произошла неприятная история, выдвинувшая опять на сцену Селивана.

В самом начале зимы племянник Ильи, мужик Николай, пошел на свои именины в Кромы, в гости, и не возвратился, а через две недели его нашли на опушке у Селиванова леса. Николай сидел на пне, опершись бородою на палочку, и, по-видимому, отдыхал после такой сильной усталости, что не заметил, как метель замела его выше колен снегом, а лисицы обкусали ему нос и щеки.

Очевидно, Николай сбился с дороги, устал и замерз; но все знали, что это вышло неспроста и не без Селивановой вины. Я узнал об этом через девушек, которых было у нас в комнатах очень много и все они большею частию назывались

Аннушками. Была Аннушка большая, Аннушка меньшая, Аннушка рябая и Аннушка круглая, и потом еще Аннушка, по прозванию Шибаенок. Эта последняя была у нас в своем роде фельетонистом и репортером. Она по своему живому и резвому характеру получила и свою бойкую кличку.

Не Аннушками звали только двух девушек — Неонилу да Настю, которые числились на некотором особом положении, потому что получили особенное воспитание в тогдашнем модном орловском магазине мадам Морозовой, да еще были в доме три побегушки-девочки — Оська, Моська и Роська. Крестное имя одной из них было Матрена, другой Раиса, а как звали по-настоящему Оську — этого я не знаю. Моська, Оська и Роська находились еще в малолетстве, и потому к ним все относились довольно презрительно. Они еще бегали босиком и не имели права садиться на стульях, а присаживались внизу, на подножных скамейках. По должности они исполняли разные унизительные поручения, как-то: чистили тазы, выносили умывальные лоханки, провожали гулять комнатных собачек и бегали скороходами на посылках за кухонными людьми и на деревню. В теперешних помещичьих домах уже нигде нет

такого излишнего многолюдства, но тогда оно казалось необходимым.

Все наши девы и девчонки, разумеется, много знали о страшном Селиване, вблизи двора которого замерз мужик Николай. По этому случаю теперь вспомнили Селивану все его старые проделки, о которых я прежде и не знал. Теперь обнаружилось, что кучер Константин, едучи один раз в город за говядиной, слышал, как из окна Селивановой избы неслися жалобные стоны и слышались слова: «Ой, ручку больно! Ой, пальчик режет».

Девушка, Аннушка большая, объясняла это так, что Селиван забрал к себе во время метели (по-орловски — куры) целый господский возок с целым дворянским семейством и медленно отрезал дворянским детям пальчик за пальчиком. Это страшное варварство ужасно меня перепугало. Потом башмачнику Ивану приключилось что-то еще более страшное и вдобавок необъяснимое. Раз, когда его послали в город за сапожным товаром и он, позамешкавшись, возвращался домой темным вечером, то поднялась маленькая метель, — а это составляло первое удовольствие для Селивана. Он сейчас же вставал и выходил на поле, чтобы веяться во мгле вместе с Ягою,

лешими и кикиморами. И башмачник это знал и остерегался, но не остережется. Селиван выскочил у него перед самым носом и загородил ему дорогу… Лошадь стала. Но башмачник, к его счастию, от природы был смел и очень находчив. Он подошел к Селивану, будто с ласкою, и проговорил: «Здравствуй, пожалуйста», а в это самое время из рукава кольнул его самым большим и острым шилом прямо в живот. Это единственное место, в которое можно ранить колдуна насмерть, но Селиван спасся тем, что немедленно обратился в толстый верстовой столб, в котором острый инструмент башмачника застрял так крепко, что башмачник никак не мог его вытащить и должен был расстаться с шилом, между тем оно ему было решительно необходимо.

Этот последний случай был даже обидною насмешкою над честными людьми и убедил всех, что Селиван действительно был не только великий злодей и лукавый колдун, но и нахал, которому нельзя было давать спуску. Тогда его решили проучить строго; но Селиван тоже не был промах и научился новой хитрости: он начал «скидываться», то есть при малейшей опасности, даже просто при всякой встрече, он стал изменять свой человеческий вид и у всех на

глазах обращаться в различные одушевленные и неодушевленные предметы. Правда, что благодаря общему против него возбуждению, он и при такой ловкости все-таки немножко страдал, но искоренить его никак не удавалось, а борьба с ним иногда даже принимала немножко смешной характер, что всех еще более обижало и злило. Так, например, после того, когда башмачник изо всей силы проколол его шилом и Селиван спасся только тем, что успел скинуться верстовым столбом, несколько человек видели это шило торчавшим в настоящем верстовом столбе. Они пробовали даже его оттуда вытащить, но шило сломалось, и башмачнику привезли только одну ничего не стоящую деревянную ручку.

Селиван же и после этого ходил по лесу, как будто его даже совсем и не кололи, и скидывался кабаном до такой степени истово, что ел дубовые желуди с удовольствием, как будто такой фрукт мог приходиться ему по вкусу. Но чаще всего он вылезал под видом красного петуха на свою черную растрепанную крышу и кричал оттуда «ку-ка-реку!». Все знали, что его, разумеется, занимало не пение «ку-ка-реку», а он высматривал, не едет ли кто-нибудь такой, против кого стоило бы подучить лешего и кикимору поднять хоро-

шую бурю и затормошить его до смерти. Словом, окрестные люди так хорошо отгадывали все его хитрости, что никогда не поддавались злодею в его сети и даже порядком мстили Селивану за его коварство. Один раз, когда он, скинувшись кабаном, встретился с кузнецом Савельем, который шел пешком из Кром со свадьбы, между ними даже произошла открытая схватка, но кузнец остался победителем благодаря тому, что у него, к счастию, случилась в руках претяжелая дубина. Оборотень притворился, будто он не желает обращать на кузнеца ни малейшего внимания и, тяжело похрюкивая, чавкал желуди; но кузнец проник острым умом его замысел, который состоял в том, чтобы пропустить его мимо себя и потом напасть на него сзади, сбить с ног и съесть вместо желудя. Кузнец решился предупредить беду; он поднял высоко над головою свою дубину и так треснул ею кабана по храпе, что тот жалобно взвизгнул, упал и более уже не поднимался. А когда кузнец после этого начал поспешно уходить, то Селиван опять принял на себя свой человеческий вид и долго смотрел на кузнеца со своего крылечка — очевидно, имея против него какое-то самое недружелюбное намерение.

После этой ужасной встречи кузнеца даже била

лихорадка, от которой он спасся единственно тем, что пустил по ветру за окно хинный порошок, который ему был прислан из горницы для приема.

Кузнец слыл за человека очень рассудительного и знал, хина и всякое другое аптечное лекарство против волшебства ничего сделать не могут. Он оттерпелся, завязал на суровой нитке узелок и бросил его гнить в навозную кучу. Этим было все кончено, потому что как только узелок и нитка сгнили, так и сила Селивана должна была кончиться. И это так и сделалось. Селиван после этого случая в свинью уже никогда более не скидывался, или по крайней мере с тех пор его никто решительно не встречал в этом неопрятном виде.

С проказами же Селивана в образе красного петуха было еще удачнее: на него ополчился косой мирошник Савка, преудалый парень, который действовал всех предусмотрительнее и ловчее.

Будучи послан раз в город на подторжье, он ехал верхом на очень ленивой и упрямой лошади. Зная такой нрав своего коня, Савка взял с собою на всякий случай потихоньку хорошее березовое полено, которым надеялся запечатлеть сувенир в бока своего меланхолического буцефала. Кое-что в этом роде он и успел уже сделать и настолько

переломить характер своего коня, что тот, потеряв терпение, стал понемножку припрыгивать.

Селиван, не ожидая, что Савка так хорошо вооружен, как раз к его приезду выскочил петухом на застреху и начал вертеться, глазеть на все стороны да петь «ку-ка-реку!». Савка не сробел колдуна, а, напротив, сказал ему: «Э, брат, врешь — не уйдешь», и с этим, недолго думая, ловко швырнул в него своим поленом, что тот даже не допел до конца своего «ку-ка-реку» и свалился мертвым. По несчастию, он только упал не на улицу, а во двор, где ему ничего не стоило, коснувшись земли, опять принять на себя свой человеческий образ. Он сделался Селиваном и, выбежав, погнался за Савкою, имея в руке то же самое полено, которым его угостил Савка, когда он пел петухом на крыше.

По рассказам Савки, Селиван в этот раз был так взбешен, что Савке могло прийтись от него очень плохо; но Савка был парень сообразительный и отлично знал одну преполезную штуку. Он знал, что его ленивая лошадь сразу забывает о своей лени, если ее поворотить домой, к яслям. Он это и сделал. Как только Селиван, вооруженный поленом, на Савку кинулся, — Савка враз повернул коня в обратный путь и скрылся. Он прискакал

домой, не имея на себе лица от страха, и рассказал о бывшей с ним страшной истории только на другой день. И то слава богу, что заговорил, а то боялись, как бы он не остался нем навсегда.

Глава 7

Вместо оробевшего Савки был наряжен другой, более смелый посол, который достиг Кром и возвратился назад благополучно. Однако и этот, совершив путешествие, говорил, что ему легче бы сквозь землю провалиться, чем ехать мимо Селиванова двора. То же самое чувствовали и другие: страх стал всеобщий; но зато со стороны всех вообще началось и за Селиваном всеобщее усиленное смотрение. Где бы и чем бы он ни скидывался, его везде постоянно обнаруживали и во всех видах стремились пресечь его вредное существование. Являлся ли Селиван у своего двора овцою или теленком, — его все равно узнавали и били, и ни в каком виде ему не удавалось укрыться. Даже когда он один раз выкатился на улицу в виде нового свежевысмоленного тележного колеса и лег на солнце сушиться, то и эта его хитрость была обнаружена, и умные люди разбили колесо на мелкие части так, что и втулка

и спицы разлетелись в разные стороны.

Обо всех этих происшествиях, составлявших героическую эпопею моего детства, мною своевременно получались скорые и самые достоверные сведения. Быстроте известий много содействовало то, что у нас на мельнице всегда случалась отменная заезжая публика, приезжавшая за помолом. Пока мельничные жернова мололи привезенные ими хлебные зерна, уста помольцев еще усерднее мололи всяческий вздор, а оттуда все любопытные истории приносились в девичью Моською и Роською и потом в наилучшей редакции сообщались мне, а я начинал о них думать целые ночи и создавал презанимательные положения для себя и для Селивана, к которому я, несмотря на все, что о нем слышал, — питал в глубине моей души большое сердечное влечение. Я бесповоротно верил, что настанет час, когда мы с Селиваном как-то необыкновенно встретимся — и даже полюбим друг друга гораздо более, чем я любил дедушку Илью, в котором мне не нравилось то, что у него один, именно левый, глаз всегда немножко смеялся.

Я никак не мог долго верить, что Селиван делает все сверхъестественные чудеса с злым намерением к людям, и очень любил о нем ду-

мать; и обыкновенно, чуть начинал засыпать, он мне снился тихим, добрым и даже обиженным. Я его никогда еще не видал и не умел себе представить его лица по искаженным описаниям рассказчиков, но глаза его я видел, чуть закрывал свои собственные. Это были большие глаза, совсем голубые и предобрые. И пока я спал, мы с Селиваном были в самом приятном согласии: у нас с ним открывались в лесу разные секретные норки, где у нас было напрятано много хлеба, масла и теплых детских тулупчиков, которые мы доставали, бегом носили к известным нам избам по деревням, клали на слуховое окно, стучали, чтобы кто-нибудь выглянул, и сами убегали.

Это были, кажется, самые прекрасные сновидения в моей жизни, и я всегда сожалел, что с пробуждением Селиван опять делался для меня тем разбойником, против которого всякий добрый человек должен был принимать все меры предосторожности. Признаться, я и сам не хотел отстать от других, и хотя во сне я вел с Селиваном самую теплую дружбу, но наяву я считал нелишним обеспечить себя от него даже издали.

С этой целию я, путем немалой лести и других унижений, выпросил у ключницы хранившийся у нее в кладовой старый, очень большой кавказ-

ский кинжал моего отца. Я подвязал его на кутас, который снял с дядиного гусарского кивера, и мастерски спрятал это оружие в головах, под матрац моей постельки. Если бы Селиван появился ночью в нашем доме, я бы непременно против него выступил.

Об этом скрытом цейхгаузе не знали ни отец, ни мать, и это было совершенно необходимо, потому что иначе кинжал у меня, конечно, был бы отобран, а тогда Селиван мог помешать мне спать спокойно, потому что я все-таки его ужасно боялся. А он между тем уже делал к нам подходы, но наши бойкие девушки его сразу же узнали. К нам в дом Селиван дерзнул появляться, скинувшись большою рыжею крысою. Сначала он просто шумел по ночам в кладовой, а потом один раз спустился в глубокий долбленый липовый напол, на дне которого ставили, покрывая решетом, колбасы и другие закуски, сберегаемые для приема гостей. Тут Селиван захотел сделать нам серьезную домашнюю неприятность — вероятно, в отплату за те неприятности, какие он перенес от наших мужиков. Оборотясь рыжею крысою, он вскочил на самое дно в липовый напол, сдвинул каменный гнеток, который лежал на решете, и съел все колбасы, но зато назад никак не мог вы-

скочить из высокой кади. Здесь Селивану, по всем видимостям, никак невозможно было избежать заслуженной казни, которую вызвалась произвесть над ним самая скорая Аннушка Шибаенок. Она явилась для этого с целым чугуном кипятку и с старою вилкою. Аннушка имела такой план, чтобы сначала ошпарить оборотня кипятком, а потом приколоть его вилкою и выбросить мертвого в бурьян на расклеванье воронам. Но при исполнении казни произошла неловкость со стороны Аннушки круглой, она плеснула кипятком на руку самой Аннушке Шибаенку; та выронила от боли вилку, а в это время крыса укусила ее за палец и с удивительным проворством по ее же рукаву выскочила наружу и, произведя общий перепуг всех присутствующих, сделалась невидимкой.

Родители мои, смотревшие на это происшествие обыкновенными глазами, приписывали глупый исход травли неловкости наших Аннушек; но мы, которые знали тайные пружины дела, знали и то, что тут ничего невозможно было сделать лучшего, потому что это была не простая крыса, а оборотень Селиван. Рассказать об этом старшим мы, однако, не смели. Как простосердечный народ, мы боялись критики и насмешек

над тем, что сами почитали за несомненное и очевидное.

Через порог передней Селиван перешагнуть не решался ни в каком виде, как мне казалось, потому, что он кое-что знал о моем кинжале. И мне это было и лестно и досадно, потому что, собственно говоря, мне уже стали утомительны одни толки и слухи и во мне разгоралось страстное желание встретиться с Селиваном лицом к лицу.

Это во мне обратилось, наконец, в томление, в котором и прошла вся долгая зима с ее бесконечными вечерами, а с первыми весенними потоками с гор у нас случилось происшествие, которое расстроило весь порядок жизни и дало волю опасным порывам несдержанных страстей.

Глава 8

Случай был неожиданный и печальный. В самую весеннюю ростепель, когда, по народному выражению, «лужа быка топит», из далекого тетушкина имения прискакал верховой с роковым известием об опасной болезни дедушки.

Длинный переезд в такую распутицу был сопряжен с большою опасностию; но отца и мать это не остановило, они пустились в дорогу немедленно.

Ехать надо было сто верст, и не иначе, как в простой тележке, потому что в каком другом экипаже проехать совсем было невозможно. Телегу сопровождали два вершника с длинными шестами в руках. Они ехали вперед и ощупывали дорожные просовы. Я и дом были оставлены на попечение особого временного комитета, в состав которого входили разные лица по разным ведомствам. Аннушке большой были подчинены все лица женского пола до Оськи и Роськи; но высший нравственный надзор поручен был старостихе Дементьевне. Интеллигентное же руковождение нами — в рассуждении наблюдения праздников и дней недельных — было вверено диаконскому сыну Аполлинарию Ивановичу, который, в качестве исключенного из семинарии ритора, состоял при моей особе на линии наставника. Он учил меня латинским склонениям и вообще приготовлял к тому, чтобы я мог на следующий год поступить в первый класс орловской гимназии не совершенным дикарем, которого способны удивить латинская грамматика Белюстина и французская — Ломонда.

Аполлинарий был юноша светского направления и собирался поступить в «приказные», или, по-нынешнему говоря, в писцы — в ор-

ловское губернское правление, где служил его дядя, имевший презанимательную должность. Если какой-нибудь становой или исправник не исполнял какого-нибудь предписания, то дядю Аполлинария посылали на одной лошади «нарочным» на счет виновного. Он ездил, не платя за лошадей денег, и, кроме того, получал с виновных дары и презенты и видел разные города и много разных людей разных чинов и обычаев. Мой Аполлинарий тоже имел в виду со временем достичь такого счастия и мог надеяться сделать гораздо более своего дяди, потому что он обладал двумя большими талантами, которые могли быть очень приятны в светском обхождении: Аполлинарий играл на гитаре две песни: «Девушка крапивушку жала» и вторую, гораздо более трудную — «Под вечер осенью ненастной», и, что еще реже было в тогдашнее время в провинциях, — он умел сочинять прекрасные стихи дамам, за что, собственно, и был выгнан из семинарии.

Мы с Аполлинарием, несмотря на разницу наших лет, держались как друзья, и, как прилично верным друзьям, мы крепко хранили взаимные тайны. В этом случае на его долю приходилось немножко меньше, чем на мою: мои все секреты заключались в находившемся у меня под матра-

цем кинжале, а я обязан был глубоко таить два вверенные мне секрета: первый касался спрятанной в шкафе трубки, из которой Аполлинарий курил вечером в печку кисло-сладкие белые нежинские корешки, а второй был еще важнее — здесь дело шло о стихах, написанных Аполлинарием в честь некоей «легконосной Пулхерии».

Стихи были, кажется, очень плохие, но Аполлинарий говорил, что для верного о них суждения необходимо было видеть, какое они могут произвести впечатление, если хорошенько, с чувством прочесть нежной и чувствительной женщине.

Это предполагало большую и даже в нашем положении непреодолимую трудность, потому что маленьких барышень у нас в доме не было, а барышням взрослым, которые иногда приезжали, Аполлинарий не смел предложить быть его слушательницами, так как он был очень застенчив, а между нашими знакомыми барышнями водились большие насмешницы.

Нужда научила Аполлинария выдумать компромисс, — именно, продекламировать оду, написанную «Легконосной Пулхерии», перед нашей девушкой Неонилой, которая усвоила себе в модном магазине Морозовой разные отшлифованные городские манеры и, по соображениям

Аполлинария, должна была иметь тонкие чувства, необходимые для того, чтобы почувствовать достоинство поэзии.

По малолетству моему я боялся подавать своему учителю советы в его поэтических опытах, но считал его намерение декламировать стихи перед швеею рискованным. Я, разумеется, судил по себе и хотя брал в соображение, что молоденькой Неониле знакомы некоторые предметы городского круга, но едва ли ей может быть понятен язык высокой поэзии, каким Аполлинарий обращался к воспеваемой им Пулхерии. Притом в оде к «Легконосице» были такие восклицания: «О ты, жестокая!» или «Исчезни с глаз моих!» и тому подобные. Неонила от природы имела робкий и застенчивый характер, и я боялся, что она примет это на свой счет и непременно расплачется и убежит.

Но всего хуже то, что при обыкновенном строгом домашнем порядке нашей домашней жизни вся эта задуманная ритором поэтическая репетиция была совершенно невозможна. Ни время, ни место, ни даже все другие условия не благоприятствовали тому, чтобы Неонила слушала стихи Аполлинария и была их первою ценительницею. Однако безначалием, которое водворилось у нас

с отъездом родителей, все изменилось, и ритор захотел этим воспользоваться. Теперь мы, забыв всякую разность своих положений, ежедневно играли по вечерам в короли, а Аполлинарий даже курил в комнатах свои нежинские корешки и садился в столовой в отцовском кресле, что меня немножко обижало. Кроме того, по его же настоянию у нас несколько раз была затеяна игра в жмурки, причем мне и брату набили синяки. Потом мы играли в прятки, и раз даже был устроен формальный фестивал, с большим угощением. Кажется, все это делалось «на ше-реметевский счет», как в тогдашнее время бражничали многие неосмотрительные кутилы, по гибельному пути которых направились и мы, увлекаемые ритором. Мне до сих пор неизвестно, от кого тогда были предложены собранию целый мешочек самых зрелых лесных орехов, добытых из мышиных норок (где обыкновенно бывают только орехи самого высшего сорта). Кроме орехов, были три свертка серой бумаги с желтыми паточными груздиками, подсолнухами и засмоквенной грушей. Последняя очень прочно липла к рукам и не скоро отмывалась.

Так как этот последний фрукт пользовался особым вниманием, то груши давались только в

розыгрыш на фанты. Моська, Оська и Роська, по существенному своему ничтожеству, смокв вовсе не получали. В фантах участвовали Аннушка и я да мой наставник Аполлинарий, который оказался очень ловким выдумщиком. Происходило все это в гостиной комнате, где, бывало, сидели только очень почетные гости. И тут-то, в чаду увлечения веселостями, в Аполлинария вошел какой-то отчаянный дух, и он задумал еще более дерзкое предприятие. Он захотел декламировать свою оду в грандиозной и даже ужасающей обстановке, при которой должны были подвергнуться самому высшему напряжению самые сильные нервы. Он начал всех нас подговаривать, чтобы отправиться всем вместе в будущее воскресенье за ландышами в Селиванов лес. А вечером, когда мы с ним ложились спать, он мне открылся, что ландыши тут один только предлог, а главная цель в том, чтобы прочитать стихи в самой ужасной обстановке.

С одной стороны будет действовать страх от Селивана, а с другой — страх от ужасных стихов… Каково это выйдет и можно ли это выдержать?

Представьте же себе, что мы на это отважились.

В оживленности, которою все мы были охваче-

ны в этот достопамятный весенний вечер, нам представлялось, что все мы смелы и можем совершить отчаянную штуку безопасно. В самом деле, нас будет много, и притом я возьму, разумеется, свой огромный кавказский кинжал.

Признаться, мне очень хотелось, чтобы и все другие вооружились сообразно своей силе и возможности, но я ни у кого не встретил к этому должного внимания и готовности. Аполлинарий брал только чубук да гитару, а с девушками ехали таганы, сковороды, котелки с яйцами и чугунок. В чугунке предполагалось варить пшенный кулеш с салом, а на сковороде жарить яичницу, и в этом смысле они были прекрасны; но в смысле обороны, на случай возможных проделок со стороны Селивана, решительно ничего не значили.

Впрочем, по правде сказать, я был и еще кое за что недоволен моими компаньонами, а именно — я не чувствовал с их стороны того внимания к Селивану, каким я сам был проникнут. Они и боялись его, но как-то легкомысленно, и даже рисковали критически над ним подтрунивать. Одна Аннушка говорила, что она возьмет пирожную скалку и скалкой его убьет, а Шибаенок смеялась, что она его загрызть может, и при этом показывала свои белые-пребелые зубы и пере-

кусывала ими кусочек проволоки. Все это как-то не солидно; всех превзошел ритор. Он совсем отвергал существование Селивана — говорил, что его даже никогда не было и что он просто есть изобретение фантазии, такое же, как Пифон, Цербер и тому подобное.

Тогда я первый раз видел, до чего способен человек увлекаться в отрицаниях! К чему же тогда вся риторика, если она позволяет поставить на одну ступень вероятность баснословного Пифона с Селиваном, действительное существование которого подтверждалось множеством очевидных событий.

Я этому соблазну не поддался и сберег мою веру в Селивана. Даже более того, я верил, что ритор за свое неверие будет непременно наказан.

Впрочем, если не строго относиться к этим философствам, то затеянная поездка в лес обещала много веселости, и никто не хотел или не мог заставить себя приготовиться к явлениям другого сорта. А меж тем благоразумие заставляло весьма поостеречься в этом проклятом лесу, где мы будем, так сказать, в самой пасти у зверя.

Все думали только о том, как им весело будет разбрестись по лесу, куда все боятся ходить, а они не боятся. Размышляли о том, как мы пройдем

насквозь весь опасный лес, аукаясь, перекликаясь и перепрыгивая ямки и овражки, в которых дотлевает последний снег, а и не подумали, будет ли все это одобрено, когда возвратится наше высшее начальство. Впрочем, мы зато имели в виду изготовить на туалет мамы два большие букета из лучших ландышей, а из остальных сделать душистый перегон, который во все предстоящее лето будет давать превосходное умыванье от загара.

Глава 9

Нетерпеливо дождавшись воскресенья, мы оставили в доме на хозяйстве старостиху Дементьевну, а сами отправились к Селиванову лесу. Вся публика шла пешком, держась более просохших высоких рубежей, где уже зеленела первая изумрудная травка, а по дороге следовал обоз, состоявший из телеги, запряженной старою буланою лошадью. На телеге лежала Аполлинариева гитара и взятые на случай ненастья девичьи кацавейки. Правил лошадью я, а назади, в качестве пассажиров, помещались Роська и другие девчонки, из которых одна бережно везла в коленях кошелочку с яйцами, а другая имела общее

попечение о различных предметах, но наиболее поддерживала рукою мой огромный кинжал, который был у меня подвешен через плечо на старом гусарском шнуре от дядина этишкета и болтался из стороны в сторону, значительно затрудняя мои движения и отрывая мое внимание от управления лошадью.

Девушки, идучи по рубежу, пели: «Распашу ль я пашеньку, посею ль я лен-конопель», а ритор им вторил басом. Попадавшиеся нам навстречу мужики кланялись и опрашивали:

— Куда поднялись?

Аннушки им отвечали:

— Идем Селиванку в плен брать.

Мужики помахивали головами и говорили:

— Угорелые!

Мы и действительно были в каком-то чаду, нас охватила неудержимая полудетская потребность бегать, петь, смеяться и делать все очертя голову.

А между тем час езды по скверной дороге начал на меня действовать неблагоприятно — старый буланый мне надоел, и во мне охладела охота держать в руках веревочные вожжи; но невдалеке, на горизонте, засинел Селиванов лес, и все ожило. Сердце забилось и заныло, как у Вара при

входе в Тевтобургские дебри. А в это же время из-под талой межи выскочил заяц и, пробежав через дорогу, понесся по полю.

— Фуй, чтоб тебе пусто было! — закричали вслед ему Аннушки.

Они все знали, что встреча с зайцем к добру никогда не бывает. И я тоже струсил и схватился за свой кинжал, но так увлекся заботами об извлечении его из заржавевших ножен, что не заметил, как выпустил из рук вожжи и, с совершенною для себя неожиданностию, очутился под опрокинувшеюся телегою, которую потянувшийся на рубеж за травкою буланый повернул самым правильным образом, так что все четыре колеса очутились вверху, а я с Роськой и со всею нашею провизиею явились под спудом…

Это несчастие с нами случилось моментально, но последствия его были неисчислимы: гитара Аполлинария была разломана вдребезги, а разбитые яйца текли и заклеивали нам лица своим содержимым. Вдобавок Роська ревела.

Я был всемерно подавлен и сконфужен и до того растерялся, что даже желал, чтобы нас лучше совсем не освобождали; но я уже слышал голоса всех Аннушек, которые, трудясь над нашим освобождением, тут же, очень выгодно для

меня, разъяснили причину нашего падения. Я и буланый были тут ни в чем не причинны: все это было делом Селивана.

Это была первая хитрость, чтобы не допустить нас к его лесу; но, однако, она никого сильно не испугала, а, напротив, только привела всех в большое негодование и увеличила решимость во что бы то ни стало исполнить всю задуманную нами программу.

Нужно было только поднять телегу, поставить нас на ноги, смыть с нас где-нибудь у ручейка неприятную яичную слизь и посмотреть, что уцелело после нашего крушения из вещей, взятых для дневного продовольствия нашей многоличной группы.

Все это и было кое-как сделано. Меня и Роську вымыли у ручья, который бежал под самым Селивановым лесом, и когда глаза мои раскрылись, то свет мне показался очень невзрачным. Розовые платья девочек и мой новый бешмет из голубого кашемира были никуда не годны: покрывавшие грязь и яйца совсем их попортили и не могли быть отмыты без мыла, которого мы с собой не захватили. Чугун и сковородка были расколоты, от тагана валялись одни ножки, а от гитары Аполлинария остался один гриф с закрутившимися

на нем струнами. Хлеб и другая сухая провизия были в грязи. По меньшей мере нам угрожал целоденный голод, если не считать ни во что других ужасов, которые чувствовались во всем окружающем. В долине над ручьем свистел ветер, а черный, еще не убранный зеленью лес шумел и зловеще махал на нас своими прутьями.

Настроение духа во всех нас значительно понизилось, — особенно в Роське, которая озябла и плакала. Но, однако, мы все-таки решили вступить в Селиваново царство, а дальше пусть будет что будет.

Во всяком случае, одно и то же приключение без какой-нибудь перемены не могло повториться.

Глава 10

Все перекрестились и начали входить в лес. Входили робко и нерешительно, но каждый скрывал от других свою робость. Все только уговаривались как можно чаще перекликаться. Но, впрочем, не оказалось и большой нужды в перекличке, потому что никто далеко вглубь не ушел, все мы как будто случайно беспрестанно скучивались к краю и тянулись веревочкой вдоль опушки. Один Аполлинарий оказался смелее дру-

гих и несколько углубился в чащу: он заботился найти самое глухое и страшное место, где его декламация могла бы произвести как можно более ужасное впечатление на слушательниц; но зато, чуть только Аполлинарий скрылся из вида, лес вдруг огласился его пронзительным, неистовым криком. Никто не мог себе вообразить, какая опасность встретила Аполлинария, но все его покинули и бросились бежать вон из леса на поляну, а потом, не оглядываясь назад, — дальше, по дороге к дому. Так бежали все Аннушки и все Моськи, а за ними, продолжая кричать от страха, пронесся и сам педагог, а мы с маленьким братом остались одни.

Из всей нашей компании не осталось никого: нас покинули не только все люди, но бесчеловечному примеру людей последовала и лошадь. Перепуганная их криком, она замотала головою и, повернув прочь от леса, помчалась домой, разбросав по ямам и рытвинам все, что еще оставалось до сих пор в тележке.

Это было не отступление, а полное и самое позорное бегство, потому что оно сопровождалось не только потерею обоза, но и утратою всего здравого смысла, причем мы, дети, были кинуты на произвол судьбы.

Бог знает, что нам довелось бы испытать в нашем беспомощном сиротстве, которое было тем опаснее, что мы одни дороги домой найти не могли и наша обувь, состоявшая из мягких козловых башмачков на тонкой ранговой подшивке, не представляла удобства для перехода в четыре версты по сырым тропинкам, на которых еще во многих местах стояли холодные лужи. В довершение беды, прежде чем мы с братом успели себе представить вполне весь ужас нашего положения, по лесу что-то зарокотало, и потом с противоположной стороны от ручья на нас дунуло и потянуло холодной влагой.

Мы поглядели за лощину и увидали, что с той стороны, куда лежит наш путь и куда позорно бежала наша свита, неслась по небу огромная дождевая туча с весенним дождем и с первым весенним громом, при котором молодые девушки умываются с серебряной ложечки, чтобы самим стать белей серебра.

Видя себя в таком отчаянном положении, я готов был расплакаться, а мой маленький брат уже плакал. Он весь посинел и дрожал от страха и холода и, склонясь головою под кустик, жарко молился Богу.

Бог, кажется, внял его детской мольбе, и нам

было послано невидимое спасение. В ту самую минуту, когда прогремел гром и мы теряли последнее мужество, в лесу за кустами послышался треск, и из-за густых ветвей рослого орешника выглянуло широкое лицо незнакомого нам мужика. Лицо это показалось нам до такой степени страшным, что мы вскрикнули и стремглав бросились бежать к ручью.

Не помня себя, мы перебежали лощину, кувырком слетели с мокрого, осыпавшегося бережка и прямо очутились по пояс в мутной воде, между тем как ноги наши до колен увязли в тине.

Бежать дальше не было никакой возможности. Ручей дальше был слишком глубок для нашего маленького роста, и мы не могли надеяться перейти через него, а притом по его струям теперь страшно сверкали зигзаги молнии — они трепетали и вились, как огненные змеи, и точно прятались в прошлогодних оставшихся водорослях.

Очутясь в воде, мы схватились друг за друга и стали в оцепенении, а сверху на нас уже падали тяжелые капли полившего дождя. Но это оцепенение и сохранило нас от большой опасности, которой мы никак бы не избежали, если бы сделали еще хотя один шаг далее в воду.

Мы легко могли поскользнуться и упасть, но, к счастью, нас обвили две черные жилистые руки — и тот самый мужик, который выглянул на нас страшно из орешника, ласково проговорил:

— Эх вы, глупые ребятки, куда залезли!

И с этим он взял и понес нас через ручей.

Выйдя на другой берег, он опустил нас на землю, снял коротенькую свитку, которая была у него застегнута у ворота круглою медною пуговкою, и обтер этою свиткою наши мокрые ноги.

Мы на него смотрели в это время совершенно потерянно и чувствовали себя вполне в его власти, но — чудное дело — черты его лица в наших глазах быстро изменялись. В них мы уже не только не видели ничего страшного, но, напротив, лицо его нам казалось очень добрым и приятным.

Это был мужик плотный, коренастый, с проседью в голове и в усах, — борода комком и тоже с проседью, глаза живые, быстрые и серьезные, но в устах что-то близкое к улыбке.

Сняв с наших ног, насколько мог, грязь и тину полою своей свитки, он даже совсем улыбнулся и опять заговорил:

— Вы того… ничего… не пужайтесь…

С этим он оглянулся по сторонам и продолжал:

— Ничего; сейчас большой дождь пойдет! (Он уже шел и тогда.) Вам, ребятишки, пешком не дойти.

Мы в ответ ему только молча плакали.

— Ничего, ничего, не голосите, я вас донесу на себе! — заговорил он и утер своею ладонью заплаканное лицо брата, отчего у того сейчас же показались на лице грязные полосы.

— Вон ишь, какие мужичьи руки-то грязные, — сказал наш избавитель и провел еще раз по лицу брата ладонью в другую сторону, — отчего грязь не убавилась, а только получила растушевку в другую сторону.

— Вам не дойти... Я вас поведу... да, не дойти... в грязи черевички спадут.

— Умеете ли верхом ездить? — заговорил снова мужик.

Я взял смелость проронить слово и ответил:

— Умею.

— А умеешь, то и ладно! — молвил он и в одно мгновение вскинул меня на одно плечо, а брата — на другое, велел нам взяться друг с другом руками за его затылком, а сам покрыл нас своею свиткою, прижал к себе наши колена и понес нас, скоро и широко шагая по грязи, которая быстро растворялась и чавкала под его твердо ступавши-

ми ногами, обутыми в большие лапти.

Мы сидели на его плечах, покрытые его свитою. Это, должно быть, выходила пребольшая фигура, но нам было удобно: свита замокла от ливня и залубенела так, что нам под нею и сухо и тепло было. Мы покачивались на плечах нашего носильщика, как на верблюде, и скоро впали в какое-то каталептическое состояние, а пришли в себя у родника, на своей усадьбе. Для меня лично это был настоящий глубокий сон, из которого пробуждение наступало не разом. Я помню, что нас разворачивал из свиты этот самый мужик, которого теперь окружали все наши Аннушки, и все они вырывали нас у него из рук и при этом самого его за что-то немилосердно бранили, и свитку его, в которой мы были им так хорошо сбережены, бросили ему с величайшим презрением на землю. Кроме того, ему еще угрожали приездом моего отца и тем, что они сейчас сбегают на деревню, позовут с цепами баб и мужиков и пустят на него собак.

Я решительно не понимал причины такой жестокой несправедливости, и это было не удивительно, потому что дома у нас, во всем господствовавшем теперь временном правлении, был образован заговор, чтобы нам ничего не

открывать о том, кто был этот человек, которому мы были обязаны своим спасением.

— Ничем вы ему не обязаны, — говорили нам наши охранительницы, — а напротив, это он-то все и наделал.

По этим словам я тотчас же догадался, что нас спас не кто иной, как сам Селиван!

Глава 11

Оно так и было. На другой день, ввиду возвращения родителей, нам это открыли и взяли с нас клятву, чтобы мы ни за что не говорили отцу и матери о происшедшей с нами истории.

В те времена, когда водились крепостные люди, иногда случалось, что помещичьи дети питали к крепостной прислуге самые нежные чувства и крепко хранили их тайны. Так было и у нас. Мы даже покрывали, как умели, грехи и проступки «своих людей» перед родителями. Такие отношения упоминаются во многих произведениях, где описывается помещичий быт того времени. Что до меня, то мне наша детская дружба с нашими бывшими крепостными до сих пор составляет самое приятное и самое теплое воспоминание. Через них мы знали все нужды и все заботы

жизни их родных и друзей на деревне и учились жалеть народ. Но этот добрый народ, к сожалению, сам не всегда был справедлив и иногда был способен для очень неважных причин бросить на ближнего темную тень, не заботясь о том, какое это может иметь вредное влияние. Так поступал «народ» и с Селиваном, об истинном характере и правилах которого не хотели знать ничего основательного, но смело, не боясь погрешить перед справедливостию, распространяли о нем слухи, сделавшие его для всех пугалом. И, к удивлению, все, что о нем говорили, не только казалось вероятным, но даже имело какие-то видимые признаки, по которым приходилось думать, что Селиван в самом деле человек дурной и что вблизи его уединенного жилища происходят страшные злодейства.

То же самое произошло и теперь, когда нас бранили те, на которых состояла обязанность охранять нас: они не только взвалили всю вину на Селивана, который спас нас от непогоды, но даже взвели на него новую напасть.

Аполлинарий и все Аннушки рассказали нам, что когда Аполлинарий заметил в лесу хорошенький холм, с которого ему казалось удобно декламировать, — он побежал к этому холму

через лощинку, засыпанную прошлогодним увядшим древесным листом, но здесь споткнулся на что-то мягкое. Это «мягкое» повернулось под ногами Аполлинария и заставило его упасть, а когда он стал вставать, то увидал, что это труп молодой крестьянской женщины. Он рассмотрел, что труп был в чистом белом сарафане с красным шитьем и… с перерезанным горлом, из которого лилась кровь…

От такой ужасной неожиданности, конечно, можно было перепугаться и закричать, — как он и сделал; но вот что было непонятно и удивительно: Аполлинарий, как я рассказываю, был от всех других в отдалении и один споткнулся о труп убитой, но все Аннушки и Роськи клялись и божились, что они тоже видели убитую…

— Иначе, — говорили они, — мы разве бы так испугались?

И я о сю пору уверен, что они не лгали, что они были глубоко уверены в том, что видели в Селивановом лесу убитую бабу в чистом крестьянском уборе с красным шитьем и с перерезанным горлом, из которого струилась кровь… Как это могло случиться?

Так как я пишу не вымысел, а то, что действительно было, то должен здесь остановиться и

примолвить, что случай этот так и остался навсегда необъяснимым в доме нашем. Убитую и лежавшую, по словам Аполлинария, под листом в ямке женщину не мог видеть никто, кроме Аполлинария, ибо никого, кроме Аполлинария, здесь не было. Между тем все клялись, что все видели, точно эта мертвая баба в одно мгновенье ока проявилась на всех местах под глазами у каждого. Кроме того, видел ли в действительности такую женщину и Аполлинарий? Едва ли это было возможно, потому что дело это происходило в самую росталь, когда еще и снег не везде стаял. Древесный лист лежал под снегом с осени, а между тем Аполлинарий видел труп в чистом белом уборе с шитьем, и кровь из раны еще струилась… Ничего такого в этом виде положительного не могло быть, но между тем все крестились и клялись, что видели бабу как раз так, как сказано. И все после боялись ночью спать, и всем страшно было, точно все мы сделали преступление. Вскоре и я получил убеждение, что мы с братом тоже видели зарезанную бабу. Тут у нас началась всеобщая боязнь, окончившаяся тем, что все дело открылось родителям, а отец написал письмо исправнику — и тот приезжал к нам с предлинной саблей и всех расспрашивал по секрету в

отцовском кабинете. Аполлинария исправник призывал даже два раза и во второй раз делал ему такое сильное внушение, что у того, когда он вышел, оба уха горели как в огне и из одного из них даже шла кровь.

Это мы тоже все видели.

Но как бы то ни было, мы нашими россказнями причинили Селивану много горя: его обыскивали, осматривали весь его лес и самого его содержали долгое время под караулом, но ничего подозрительного у него не нашли, и следов виденной нами убитой женщины тоже никаких не оказалось. Селиван опять вернулся домой, но это ему не помогло в общественном мнении; все с этих пор знали, что он несомненный, хотя и неуловимый злодей, и не хотели иметь с ним ровно никакого дела. А меня, чтобы я не подвергался усиленному воздействию поэтического элемента, отвезли в «благородный пансион», где я и начал усваивать себе общеобразовательные науки, в полной безмятежности, вплоть до приближения рождественских праздников, когда мне настало время ехать домой опять непременно мимо Селиванова двора и видеть в нем собственными глазами большие страхи.

Глава 12

Дурная репутация Селивана давала мне большой апломб между моими пансионскими товарищами, с которыми я делился моими сведениями об этом страшном человеке. Из всех моих пансионерских сверстников ни один еще не переживал таких страшных ощущений, какими я мог похвастаться, и теперь, когда мне опять предстояло проехать мимо Селивана, — к этому никто не отнесся безучастно и равнодушно. Напротив, большинство товарищей меня сожалели и прямо говорили, что они не хотели бы быть на моем месте, а два или три смельчака мне завидовали и хвалились, что они бы очень хотели встретиться лицом к лицу с Селиваном. Но двое из этих были записные хвастунишки, а третий мог никого не бояться, потому что, по его словам, у его бабушки в старинном веницейском кольце был «таусинный камень», с которым к человеку «никакая беда неприступна». У нас же в семье такой драгоценности не было, да и притом я должен был совершить мое рождественское путешествие не на своих лошадях, а с тетушкою, которая как раз перед Святками продала дом в Орле и, получив за

него тридцать тысяч рублей, ехала к нам, чтобы там, в наших краях, купить давно приторгованное для нее моим отцом имение.

К досаде моей, сборы тетушки целые два дня задерживались какими-то важными деловыми обстоятельствами, и мы выехали из Орла как раз утром в Рождественский сочельник.

Ехали мы в просторной рогожной троечной кибитке, с кучером Спиридоном и молодым лакеем Бориской. В экипаже помещались тетушка, я, мой двоюродный брат, маленькие кузины и няня — Любовь Тимофеевна.

На порядочных лошадях при хорошей дороге до нашей деревеньки от Орла можно было доехать в пять или шесть часов. Мы приехали в Кромы в два часа и остановились у знакомого купца, чтобы напиться чаю и покормить лошадей. Такая остановка у нас была в обычае, да ее требовал и туалет моей маленькой кузины, которую еще пеленали.

Погода была хорошая, близкая почти к оттепели; но пока мы кормили лошадей, стало слегка морозить, и потом «закурило», то есть помело по земле мелким снежком.

Тетушка была в раздумье: переждать ли это или, напротив, поспешить, ехать скорее, чтобы

успеть добраться к нам домой ранее, чем может разыграться непогода.

Проехать оставалось с небольшим двадцать верст. Кучер и лакей, которым хотелось встретить праздник с родными и приятелями, уверяли, что мы успеем доехать благополучно — лишь бы только не медлить и выезжать скорее.

Мои желания и желания тетушки тоже вполне отвечали тому, чего хотели Спиридон и Бориска. Никто не хотел встретить праздник в чужом доме, в Кромах. Притом же тетушка была недоверчива и мнительна, а с нею теперь была такая значительная сумма денег, помещавшаяся в красного дерева шкатулочке, закрытой чехлом из толстого зеленого фриза.

Ночевать с таким денежным богатством в чужом доме тетушке казалось очень небезопасным, и она решилась послушаться совета наших верных слуг.

С небольшим в три часа кибитка наша была запряжена, и мы выехали из Кром по направлению к раскольницкой деревне Колчеве; но едва лишь переехали по льду через реку Крому, как почувствовали, что нам как бы вдруг недостало воздуха, чтобы дышать полною грудью. Лошади бежали шибко, пофыркивали и мотали головами

— это составляло верный признак, что и они тоже испытывали недостаток воздуха. Между тем экипаж несся особенно легко, точно его сзади подпихивали. Ветер был нам взад и как бы гнал нас с усиленною скоро-стию к какой-то предначертанной меже. Скоро, однако, бойкий след по пути стал «заикаться»; по дороге пошли уже мягкие снеговые переносы, — они начали встречаться все чаще и чаще, наконец вскоре прежнего бойкого следа сделалось вовсе не видно.

Тетушка тревожно выглянула из возка, чтобы спросить кучера, верно ли мы держимся дороги, и сейчас же откинулась назад, потому что ее обдало мелкою холодною пылью, и, прежде чем мы успели дозваться к себе людей с козел, снег понесся густыми хлопьями, небо в мгновение стемнело, и мы очутились во власти настоящей снеговой бури.

Глава 13

Ехать назад к Кромам было так же опасно, как и ехать вперед. Даже позади чуть ли не было более опасности, потому что за нами осталась река, на которой было под городом несколько прорубей, и мы при метели легко могли их не разглядеть

и попасть под лед, а впереди до самой нашей деревеньки шла ровная степь и только на одной седьмой версте — Селиванов лес, который в метель не увеличивал опасности, потому что в лесу должно быть даже тише. Притом в глубь леса проезжей дороги не было, а она шла по опушке. Лес нам мог быть только полезным указанием, что мы проехали половину дороги до дому, и потому кучер Спиридон погнал лошадей пошибче.

Дорога все становилась тяжелее и снежистее: прежнего веселого стука под полозьями не было и помина, а напротив, возок полз по рыхлому наносу и скоро начал бочить то в одну, то в другую сторону.

Мы потеряли спокойное настроение духа и начали чаще осведомляться о нашем положении у лакея и у кучера, которые давали нам ответы неопределенные и нетвердые. Они старались внушить нам уверенность в нашей безопасности, но, очевидно, и сами такой уверенности в себе не чувствовали.

Через полчаса скорой езды, при которой кнут Спиридона все чаще и чаще щелкал по лошадкам, мы были обрадованы восклицанием:

— Вот Селиванкин лес завиднелся.

— Далеко он? — спросила тетушка.

— Нет, вот совсем до него доехали.

Это так и следовало — мы ехали от Крон уже около часа, но прошло еще добрых полчаса — мы все едем, и кнут хлещет по коням все чаще и чаще, а леса нет.

— Что же это такое? Где Селиванов лес?

С козел ничего не отвечают.

— Где же лес? — переспрашивает тетушка. — Проехали мы его, что ли?

— Нет, еще не проезжали, — глухо, как бы из-под подушки, отвечает Спиридон.

— Да что же это значит?

Молчание.

— Подите вы сюда! Остановитесь! Остановитесь!

Тетушка выглянула из-за фартука и изо всех сил отчаянно крикнула: «Остановитесь!», а сама упала назад в возок, куда вместе с нею ввалилось целое облако снежных шапок, которые, подчиняясь влиянию ветра, еще не сразу сели, а тряслись, точно реющие мухи.

Кучер остановил лошадей, и прекрасно сделал, потому что они тяжело носили животами и шатались от устали. Если бы им не дать в эту минуту передышки, бедные животные, вероятно, упали бы.

— Где ты? — спросила тетушка сошедшего Бориса.

Он был на себя не похож. Перед нами стоял не человек, а снежный столб. Воротник волчьей шубы у Бориса был поднят вверх и обвязан каким-то обрывком. Все это пропушило снегом и слепило в одну кучу.

Борис был не знаток дороги и робко отвечал, что мы, кажется, сбились.

— Позови сюда Спиридона.

Звать голосом было невозможно: метель всем затыкала рты и только сама одна ревела и выла на просторе с ужасающим ожесточением.

Бориска полез на козла, чтобы потянуть Спиридона, но… ему на это потребовалось потратить очень много времени, прежде чем он стал снова у возка и объяснил:

— Спиридона нет на козлах!

— Как нет! где же он?

— Я не знаю. Верно, сошел поискать следа. Позвольте, и я пойду.

— О господи! Нет, не надо, — не ходи; а то вы оба пропадете, и мы все замерзнем.

Услыхав это слово, я и мой кузен заплакали, но в это же самое мгновение у возка рядом с Борисушкой появился снеговой столб, еще более

крупный и страшный.

Это был Спиридон, надевший на себя запасной мочальный кулек, который стоял вокруг его головы, весь набитый и обмерзлый.

— Где же ты видел лес, Спиридон?

— Видел, сударыня.

— Где же он теперь?

— И теперь видно.

Тетушка хотела посмотреть, но ничего не увидала, все было темно. Спиридон уверял, что это оттого, что она «не обсмотремши»; но что он очень давно видит, как лес чернеет… только в том беда, что к нему подъезжаем, а он от нас отъезжает.

— Все это, воля ваша, Селивашка делает. Он нас куда-то заводит.

Услыхав, что мы попали в такую страшную пору в руки Селивашки, мы с кузеном заплакали еще громче, но тетушка, которая была по рождению деревенская барышня и потом полковая дама, она не так легко терялась, как городские дамы, которым всякие невзгоды меньше знакомы. У тетушки были опыт и сноровка, и они нас спасли из положения, которое в самом деле было очень опасно.

Глава 14

Не знаю: верила или не верила тетушка в злое волшебство Селивана, но она прекрасно сообразила, что теперь всего важнее для нашего спасения, чтобы не выбились из сил наши лошади. Если лошади изнурятся и станут, а мороз закрепчает, то все мы непременно погибнем. Нас удушит буря и мороз заморозит. Но если лошади сохранят силу для того, чтобы брести как-нибудь, шаг за шагом, то можно питать надежду, что кони, идучи по ветру, сами выйдут как-нибудь на дорогу и привезут нас к какому-нибудь жилью. Пусть это будет хоть нетопленая избушка на курьих ножках в овражке, но все же в ней хоть не бьет так сердито вьюга и нет этого дерганья, которое ощущается при каждом усилии лошадей переставить их усталые ноги… Там бы можно было уснуть… Уснуть ужасно хотелось и мне и моему кузену. На этот счет из нас счастлива была только одна маленькая, которая спала за теплою заячьей шубкой у няни, но нам двум не давали засыпать. Тетушка знала, что это страшно, потому что сонный скорее замерзнет. Положение наше с каждой минутой становилось хуже, потому что лошади уже едва

шли и сидевшие на козлах кучер и лакей начали от стужи застывать и говорить невнятным языком, а тетушка перестала обращать внимание на меня с братом, и мы, прижавшись друг к другу, разом уснули. Мне даже виделись веселые сны: лето, наш сад, наши люди, Аполлинарий, и вдруг все это перескочило к поездке за ландышами и к Селивану, про которого не то что-то слышу, не то только что-то припоминаю. Все спуталось… так что никак не разберу, что происходит во сне, что наяву. Чувствуется холод, слышится вой ветра и тяжелое хлопанье рогожки на крышке возка, а прямо перед глазами стоит Селиван, в свитке на одно плечо, а в вытянутой нам руке держит фонарь… Видение это, сон или картина фантазии?

Но это был не сон, не фантазия, а судьбе действительно угодно было привести нас в эту страшную ночь в страшный двор Селивана, и мы не могли искать себе спасения нигде в ином месте, потому что кругом не было вблизи никакого другого жилья. А между тем с нами была еще тетушкина шкатулка, в которой находилось тридцать тысяч ее денег, составлявших все ее состояние. Как остановиться с таким соблазнительным богатством у такого подозрительного человека, как Селиван?

Конечно, мы погибли! Впрочем, выбор мог

быть только в том, что лучше — замерзнуть ли на вьюге или пасть под ножом Селивана и его злых сообщников?

Глава 15

Как во время короткого мгновения, когда сверкнет молния, глаз, находившийся в темноте, вдруг различает разом множество предметов, так и при появлении осветившего нас Селиванова фонаря я видел ужас всех лиц нашего бедствующего экипажа. Кучер и лакей чуть не повалились перед ним на колена и остолбенели в наклоне, тетушка подалась назад, как будто хотела продавить спинку кибитки. Няня же припала лицом к ребенку и вдруг так сократилась, что сама сделалась не больше ребенка.

Селиван стоял молча, но… в его некрасивом лице я не видал ни малейшей злости. Он теперь казался только сосредоточеннее, чем тогда, когда нес меня на закорках. Оглядев нас, он тихо спросил:

— Отогреться, что ли?..

Тетушка оправилась скорее других и ответила ему:

— Да, мы замерзаем… Спаси нас!

— Пусть Бог спасет! Въезжайте — изба топлена.

И он сошел с порога и стал светить фонарем в кибитке. Между прислугою, тетушкою и Селиваном перекидывались отдельные коротенькие фразы, обнаружившие со стороны нашей недоверие к хозяину и страх, а со стороны Селивана какую-то далеко скрытую мужичью иронию и, пожалуй, тоже своего рода недоверие.

Кучер спрашивал, есть ли корм лошадям?

Селиван отвечал:

— Поищем.

Лакей Борис узнавал, есть ли другие проезжие?

— Взойдешь — увидишь, — отвечал Селиван.

Няня проговорила:

— Да у тебя не страшно ли оставаться?

Селиван отвечал:

— Страшно, так не заходи.

Тетушка остановила их, сказавши каждому как могла тише:

— Оставьте, не перекоряйтесь, — все равно это ничему поможет. Дальше ехать нельзя. Останемся на волю божью.

И между тем, пока шла эта перемолвка, мы очутились в дощатом отделении, отгороженном от

просторной избы. Впереди всех вошла тетушка, а за нею Борис внес ее шкатулку. Потом вошли мы с кузеном и няня.

Шкатулку поставили на стол, а на нее поставили жестяной оплывший салом подсвечник с небольшим огарком, которого могло достать на один час, не больше.

Практическая сообразительность тетушки сейчас же обратилась к этому предмету, то есть к свечке.

— Прежде всего, — сказала она Селивану, — принеси-ка мне, батюшка, новую свечку.

— Вот свечка.

— Нет, ты дай новую, целую!

— Новую, целую? — переспросил Селиван, опираясь одною рукою на стол, а другой о шкатулку.

— Давай поскорей новую целую свечку.

— Зачем тебе целую?

— Это не твое дело — я не скоро спать лягу. Может быть, буря пройдет — мы поедем.

— Буря не пройдет.

— Ну все равно — я тебе за свечку заплачу.

— Знамо заплатила б, да нет у меня свечки.

— Поищи, батюшка!

— Что неположенного искать попусту!

В этот разговор вмешался неожиданно слабый-

преслабый тонкий голос из-за перегородки.

— Нет у нас, матушка, свечечки.

— Кто это говорит? — спросила тетушка.

— Моя жена.

Лица тетки и няни немножко просияли. Близкое присутствие женщины, казалось, имело что-то ободрительное.

— Что она, больна, что ли?

— Больна.

— Чем?

— Хворостью. Ложитесь, мне огарок в фонарь нужен. Надо лошадей ввесть.

И как с Селиваном ни разговаривали, он настоял на своем: что огарок ему необходим, да и только. Он обещал принести его снова — но пока взял его и вышел.

Исполнил ли Селиван свое обещание принести назад огарок, — этого я уже не видел, потому что мы с кузеном опять спали, но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сон я слышал иногда шушуканье тетушки с няней и улавливал в этом шепоте чаще всего слово «шкатулка».

Очевидно, няня и другие наши люди знали, что в этом ларце сокрыты большие драгоценности, и все заметили, что шкатулка с первого же мгновения остановила на себе алчное внимание нашего

неблагонадежного хозяина.

Обладавшая большою житейскою опытностью, тетушка моя видела явную необходимость подчиняться обстоятельствам, но зато тотчас же сделала соответственные опасному положению распоряжения.

Чтобы Селиван не зарезал нас, решено было, чтобы никто не спал. Лошадей велено было выпрячь, но не снимать с них хомутов, и кучеру с лакеем сидеть обоим в повозке: они не должны были разъединяться, потому что поодиночке Селиван их перебьет, и мы тогда останемся беспомощны. Тогда он убьет, конечно, и нас и всех нас зароет под полом, где зарыто уже и без того множество жертв его лютости. В избе с нами кучер и лакей не могли быть оставлены, потому что тогда Селиван обрежет гужи в коренном хомуте, чтобы нельзя было запречь лошадей, или совсем сдаст всю тройку своим товарищам, которые у него пока где-то припрятаны. В таком случае нам не на чем будет и спасаться, между тем как очень может статься, что метель скоро уляжется, и тогда кучер станет запрягать, а Борис стукнет три раза в стенку, и мы все бросимся на двор, сядем и уедем. Для того чтобы быть постоянно наготове, и из нас никто не раздевался.

Не знаю, долго ли или коротко шло время для прочих, но для нас, двух спящих мальчиков, оно пролетело как одно мгновенье, которое вдруг завершилось ужаснейшим пробуждением.

Глава 16

Я проснулся оттого, что мне стало невыносимо тяжело дышать. Открыв глаза, я не увидал ничего ровно, потому что вокруг меня было темно, но только в отдалении что-то как будто серело: это обозначалось окно. Но зато, как при свете Селиванова фонаря я разом увидал лица всех бывших на той ужасной сцене людей, так теперь я в одно мгновенье вспомнил все — кто я, где я, зачем я здесь, кто есть у меня милые и дорогие в отцовском доме, — стало всего и всех жалко, и больно, и страшно, и мне хотелось закричать, но это-то и было невозможно. Мои уста были зажаты плотно человеческою рукою, а на ухо трепетный голос шептал мне:

— Ни звука, молчи, ни звука! Мы погибли — к нам ломятся.

Я узнал теткин голос и пожал ее руку в знак того, что я понимаю ее требование.

За дверями, которые выходили в сени, слышал-

ся шорох… кто-то тихо переступал с ноги на ногу и водил по стене руками… Очевидно, этот злодей искал, но никак не мог найти двери…

Тетушка прижала нас к себе и прошептала, что Бог нам еще может помочь, потому что в дверях ею устроено укрепление. Но в это же самое мгновение, может быть именно потому, что мы выдали себя своим шепотом и дрожью, за тесовой перегородкой, где была изба и откуда при разговоре о свечке отзывалась жена Селивана, кто-то выбежал и сцепился с тем, кто тихо подкрадывался к нашей двери, и они вдвоем начали ломиться; дверь затрещала, и к нашим ногам полетели стол, скамья и чемоданы, которыми заставилась тетушка, а в самой распахнувшейся двери появилось лицо Борисушки, за шею которого держались могучие руки Селивана…

Увидав это, тетушка закричала на Селивана и бросилась к Борису.

— Матушка! Бог спас, — хрипел Борис.

Селиван принял свои руки и стоял.

— Скорее, скорей вон отсюда, — заговорила тетушка. — Где наши лошади?

— Лошади у крыльца, матушка, я только хотел вас вызвать… А этот разбойник… Бог спас, матушка! — лепетал скороговоркою Борис, хватая

за руки меня и моего кузена и забирая по дороге все, что попало. Все врозь бросились в двери, вскочили в повозку и понеслись вскачь сколько было конской мочи. Селиван, казалось, был жестоко переконфужен и смотрел нам вслед. Он, очевидно, знал, что это не может пройти без последствий.

На дворе теперь светало, и перед нами на востоке горела красная, морозная рождественская заря.

Глава 17

Мы доехали до дому не более как в полчаса, во все время безумолчно толкуя о пережитых нами страхах. Тетушка, няня, кучер и Борис все перебивали друг друга и беспрестанно крестились, благодаря Бога за наше удивительное спасение. Тетушка говорила, что она не спала всю ночь, потому что ей беспрестанно слышалось, как кто-то несколько раз подходил, пробовал отворить двери. Это и понудило ее загромоздить вход всем, что попалось под ее руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шепот за перегородкою у Селивана, и ей казалось, что он раз тихонько отворял свою дверь, выходил в сени и тихонько

пробовал за скобку нашей двери. Все это слышала и няня, хотя она, по ее словам, минутами засыпала. Кучер и Борис видели более всех. Боясь за лошадей, кучер не отходил от них ни на минуту, но Борисушка не раз подходил к нашим дверям и всякий раз, как подходил он, — сию же минуту появлялся из своих дверей и Селиван. Когда буря перед рассветом утихла, кучер и Борис тихонько запрягли лошадей и тихонько же выехали, сами отперев ворота; но когда Борис также тихо подошел опять к нашей двери, чтобы нас вывесть, тут Селиван увидал, что добыча уходит у него из рук, бросился на Бориса и начал его душить. Слава богу, конечно, что это ему не удалось, и он теперь уже не отделается одними подозрениями, как отделывался до сих пор: его злые намерения были слишком ясны и слишком очевидны, и все это происходило не с глазу на глаз с каким-нибудь одним человеком, а при шести свидетелях, из которых тетушка одна стоила по своему значению нескольких, потому что она слыла во всем городе умницею и к ней, несмотря на ее среднее состояние, заезжал с визитами губернатор, а наш тогдашний исправник был ей обязан устройством своего семейного благополучия. По одному ее слову он, разумеется, сейчас же возьмется рас-

следовать дело по горячим следам, и Селивану не миновать петли, которую он думал накинуть на наши шеи.

Сами обстоятельства, казалось, слагались так, что все собиралось к немедленному отмщению за нас Селивану и к наказанию его за зверское покушение на нашу жизнь и имущество.

Подъезжая к своему дому, за родником на горе, мы встретили верхового парня, который, завидев нас, чрезвычайно обрадовался, заболтал ногами по бокам лошади, на которой ехал, и, сняв издали шапку, подскакал к нам с сияющим лицом и начал рапортовать тетушке, какое мы причинили дома всем беспокойство.

Оказалось, что отец, мать и все домашние тоже не спали. Нас непременно ждали, и с тех пор, как вечером начала разыгрываться метель, все были в большой тревоге — не сбились ли мы с дороги или не случилось ли с нами какое-нибудь другое несчастье: могла сломаться в ухабе оглобля, — могли напасть волки… Отец высылал навстречу нам несколько человек верховых людей с фонарями, но буря рвала из рук и гасила фонари, да и ни люди, ни лошади никак не могли отбиться от дома. Топочется человек очень долго — все ему кажется, будто он едет против бури,

и вдруг остановка, и лошадь ни с места далее. Седок ее понуждает, хотя и сам едва дышит от задухи, но конь не идет… Вершник слезет, чтобы взять повод и провести оробевшее животное, и вдруг, к удивлению своему, открывает, что лошадь его стоит, упершись лбом в стену конюшни или сарая… Только один из разведчиков уехал немножко далее и имел настоящую дорожную встречу: это был шорник Прохор. Ему дали выносную форейторскую лошадь, которая закусывала между зубами удила, так что железо до губ ее не дотрагивалось, и ей через то становились нечувствительны никакие удержки. Она и понесла Прохора в самый ад метели и скакала долго, брыкая задом и загибая голову к передним коленам, пока, наконец, при одном таком вольте шорник перелетел через ее голову и всею своею фигурою ввалился в какую-то странную кучу живых людей, не оказавших, впрочем, ему с первого раза никакого дружелюбия. Напротив, из них кто-то тут же снабдил его тумаком в голову, другой сделал поправку в спину, а третий стал мять ногами и приталкивать чем-то холодным, металлическим и крайне неудобным для ощущения.

Прохор был малый не промах, — он понял, что имеет дело с особенными существами, и неисто-

во закричал.

Испытываемый им ужас, вероятно, придал его голосу особенную силу, и он был немедленно услышан. Для спасения его тут же, в трех от него шагах, показалось «огненное светение». Это был огонь, который выставили на окне в нашей кухне, под стеною которой приютились исправник, его письмоводитель, рассыльный солдат и ямщик с тройкою лошадей, увязших в сугробе.

Они тоже сбились с дороги и, попав к нашей кухне, думали, что находятся где-то на лугу у сенного омета.

Их откопали и просили кого на кухню, кого в дом, где исправник теперь и кушал чай, собираясь поспеть к своим в город ранее, чем они проснутся и встревожатся его отсутствием после такой ненастной ночи.

— Вот это прекрасно, — сказала тетушка, — исправник теперь всех нужнее.

— Да! он барин хватский, — он Селивашке задаст! — подхватили люди, и мы понеслись вскачь и подкатили к дому, когда исправникова тройка стояла еще у нашего крыльца.

Сейчас исправнику все расскажут, и через полчаса разбойник Селиван будет уже в его руках.

Глава 18

Мой отец и исправник были поражены тем, что мы перенесли в дороге и особенно в разбойничьем доме Селивана, который хотел нас убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами…

Кстати, о деньгах. При упоминании о них тетушка сейчас же воскликнула:

— Ах, боже мой! да где же моя шкатулка?

В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи?

Представьте себе, что ее не было! Да, да, ее-то одной только и не было ни в комнатах между внесенными вещами, ни в повозке — словом, нигде… Шкатулка, очевидно, осталась там и теперь — в руках Селивана… Или… может быть, даже он ее еще ночью выкрал. Ему ведь это было возможно; он, как хозяин, мог знать все щелки своего дрянного дома, и этих щелок у него, наверно, немало. Могла у него быть и подъемная половица и приставная дощечка в перегородке.

И едва только опытным в выслеживании разбойничьих дел исправником было высказано последнее предположение о приставной дощечке, которую Селиван мог ночью тихонько

отставить и через нее утащить шкатулку, как тетушка закрыла руками лицо и упала в кресло.

Боясь за свою шкатулку, она именно спрятала ее в уголок под лавкою, которая приходилась к перегородке, отделяющей наше ночное помещение от той части избы, где оставался сам Селиван с его женою…

— Ну, вот оно и есть! — воскликнул, радуясь верности своих опытных соображений, исправник. — Вы сами ему подставили вашу шкатулку!., но я все-таки удивляюсь, что ни вы, ни люди, никто ее не хватился, когда вам пришло время ехать.

— Да боже мой! мы были все в таком страхе! — стонала тетушка.

— И это правда, правда; я вам верю, — говорил исправник, — вам было чего напугаться, но все-таки… такая большая сумма… такие хорошие деньги. Я сейчас скачу, скачу туда… Он, верно, уже скрылся куда-нибудь, но он от меня не уйдет! Наше счастье, что все знают, что он вор, и все его не любят: его никто не станет скрывать… А впрочем — теперь у него в руках есть деньги… он может делиться… Надо спешить… Народ ведь шельма… Прощайте, я еду. А вы успокойтесь, примите капли… Я их воровскую натуру знаю и

уверяю вас, что он будет пойман.

И исправник опоясался своею саблею, как вдруг в передней послышалось между бывшими там людьми необыкновенное движение, и… через порог в залу, где все мы находились, тяжело дыша, вошел Селиван с тетушкиной шкатулкой в руках.

Все вскочили с мест и остановились как вкопанные…

— Укладочку забыли, возьмите, — глухо произнес Селиван.

Более он ничего не мог говорить, потому что совсем задыхался от непомерной скорой ходьбы и, может быть, от сильного внутреннего волнения.

Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прошенный, сел на стул и опустил голову и руки.

Глава 19

Шкатулка была в полной целости. Тетушка сняла с шеи ключик, отперла ее и воскликнула:

— Все, все как было!

— Сохранно… — тихо молвил Селиван. — Я все бег за вами… хотел догнать… не сдужал… Простите, что сижу перед вами… задохнулся.

Отец первый подошел к нему, обнял его и поцеловал в голову.

Селиван не трогался.

Тетушка вынула из шкатулки две сотенные бумажки и стала давать их ему в руки.

Селиван продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал.

— Возьми что тебе дают, — сказал исправник.

— За что? — не надо!

— За то, что ты честно сберег и принес забытые у тебя деньги.

— А то как же? Разве надо не честно?

— Ну, ты… хороший человек… ты не подумал утаить чужое.

— Утаить чужое!.. — Селиван покачал головой и добавил: — Мне не надо чужого.

— Но ведь ты беден — возьми это себе на поправку! — ласкала его тетушка.

— Возьми, возьми, — убеждал его мой отец. — Ты имеешь на это право.

— Какое право?

Ему сказали про закон, по которому всякий, кто найдет и возвратит потерянное, имеет право на третью часть находки.

— Что такой за закон, — отвечал он, снова отстраняя от себя тетушкину руку с бумаж-

ками. — Чужою бедою не разживешься… Не надо! — прощайте!

И он встал с места, чтобы идти назад к своему опороченному дворишку, но отец его не пустил: он взял его к себе в кабинет и заперся там с ним на ключ, а потом через час велел запречь сани и отвезти его домой.

Через день об этом происшествии знали в городе и в округе, а через два дня отец с тетушкою поехали в Кромы и, остановясь у Селивана, пили в его избе чай и оставили его жене теплую шубу. На обратном пути они опять заехали к нему и еще привезли ему подарков: чаю, сахару и муки. Он брал все вежливо, но неохотно и говорил:

— На что? Ко мне теперь, вот уже три дня, все стали люди заезжать… пошел доход… щи варили… Нас не боятся, как прежде боялись.

Когда меня повезли после праздников в пансион, со мною опять была к Селивану посылка, и я пил у него чай и все смотрел ему в лицо и думал:

«Какое у него прекрасное, доброе лицо! Отчего же он мне и другим так долго казался пугалом?»

Эта мысль преследовала меня и не оставляла в покое… Ведь это тот же самый человек, который всем представлялся таким страшным, которого все считали колдуном и злодеем. И так долго

все выходило похоже на то, что он только тем и занят, что замышляет и устраивает злодеяния. Отчего же он вдруг стал так хорош и приятен?

Глава 20

Я был очень счастлив в своем детстве в том отношении, что первые уроки религии мне были даны превосходным христианином. Это был орловский священник Остромыслений — хороший друг моего отца и друг всех нас, детей, которых он умел научить любить правду и милосердие. Я не рассказывал товарищам ничего о том, что произошло с нами в рождественскую ночь у Селивана, потому что во всем этом не было никакой похвалы моей храбрости, а, напротив, над моим страхом можно было посмеяться, но я открыл все мои приключения и сомнения отцу Ефиму.

Он меня поласкал рукою и сказал:

— Ты очень счастлив; твоя душа в день Рождества была — как ясли для святого младенца, который пришел на землю, чтоб пострадать за несчастных. Христос озарил для тебя тьму, которою окутывало твое воображение — пусторечие темных людей. Пугало было не Селиван, а вы сами, — ваша к нему подозрительность, которая

никому не позволяла видеть его добрую совесть. Лицо его казалось вам темным, потому что око ваше было темно. Наблюди это для того, чтобы в другой раз не быть таким же слепым.

Это был совет умный и прекрасный. В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и имел счастье видеть, как он у всех сделался человеком любимым и почетным.

В новом имении, которое купила тетушка, был хороший постоялый двор на проезжем трактовом пункте. Этот двор она и предложила Селивану на хороших для него условиях, и Селиван это принял и жил в этом дворе до самой своей кончины. Тут сбылись мои давние детские сны: я не только близко познакомился с Селиваном, но мы питали один к другому полное доверие и дружбу. Я видел, как изменилось к лучшему его положение — как у него в доме водворилось спокойствие и мало-помалу заводился достаток; как вместо прежних хмурых выражений на лицах людей, встречавших Селивана, теперь все смотрели на него с удовольствием. И действительно, вышло так, что как только просветились очи окружавших Селивана, так сделалось светлым и его собственное лицо.

Из тетушкиных людей Селивана особенно не

любил лакей Борисушка, которого Селиван чуть не задушил в ту памятную нам рождественскую ночь.

Над этой историей иногда подшучивали. Случай этот и объяснялся тем, что как у всех было подозрение — не ограбил бы тетушку Селиван, так точно и Селиван имел сильное подозрение: не завезли ли нас кучер и лакей на его двор нарочно с тем умыслом, чтобы украсть здесь ночью тетушкины деньги и потом свалить все удобнейшим образом на подозрительного Селивана.

Недоверие и подозрительность с одной стороны вызывали недоверие же и подозрения — с другой, — и всем казалось, что все они — враги между собою и все имеют основание считать друг друга людьми, склонными ко злу.

Так всегда зло родит другое зло и побеждается только добром, которое, по слову Евангелия, делает око и сердце наше чистыми.

Глава 21

Остается досказать, отчего же, однако, с тех пор, как Селиван ушел от калачника, он стал угрюм и скрытен? Кто тогда его огорчил и оттолкнул?

Отец мой, будучи расположен к этому доброму

человеку, все-таки думал, что у него есть какая-то тайна, которую Селиван упорно скрывает.

Это так и было, но Селиван открыл свою тайну одной только тетушке моей, и то после нескольких лет жизни в ее имении и после того, когда у Селивана умерла его всегда болевшая жена.

Когда я раз приехал к тетушке, бывши уже юношею, и мы стали вспоминать о Селиване, который и сам незадолго перед тем умер, то тетушка рассказала мне его тайну.

Дело заключалось в том, что Селиван, по нежной доброте своего сердца, был тронут горестной судьбою беспомощной дочери умершего в их городе отставного палача. Девочку эту никто не хотел приютить, как дитя человека презренного. Селиван был беден, и притом он не мог решиться держать у себя палачову дочку в городке, где ее и его все знали. Он должен был скрывать от всех ее происхождение, в котором она была неповинна. Иначе она не избежала бы тяжких попреков от людей, неспособных быть милостивыми и справедливыми. Селиван скрывал ее потому, что постоянно боялся, что ее узнают и оскорбят, и эта скрытность и тревога сообщились всему его существу и отчасти на нем отпечатлелись.

Так, каждый, кто называл Селивана «пугалом»,

в гораздо большей мере сам был для него «пугалом».

1885

Фигура
Глава 1

Когда я еще просвещался в Киеве и в отдаленных думах не имел заниматься писательством, у меня завязалось одно знакомство с бедным, но благородным семейством, жившим в маленьком собственном домике в самом отдаленном краю города, близ упраздненного Кирилловского монастыря. Семейство состояло из двух пожилых сестер, девушек, и из третьей — старушки, их тетки, — тоже девушки. Жили они скромно, на очень маленькую пенсию и на доход от своих коров и от своего огорода. В гостях у них бывали только три человека: известный русский аболиционист Дмитрий Петрович Журавский, я и еще оригинальный, с виду совсем похожий на крестьянина человек, которого фамилия была Вигура, но все называли его «Фигура».

Об нем здесь и будет поминальная речь.

Глава 2

Фигура, или, по малороссийскому простому выговору, «Хвыгура», во время моего знакомства имел лет около шестидесяти, но обладал еще значительною силою и никогда не жаловался на нездоровье. Он имел огромный рост и атлетическое сложение: волосы у него были густые, коричневые, почти без проседи, но усы «сивые». По собственному его выражению, он «сивив з морды — як пес», то есть седел, начиная не с головы, а с усов — как седеют старые собаки. Борода у него тоже была бы седая, но он ее брил. Глаза у Фигуры были большие, серые с поволокою, губы румяные, цвет лица смуглый и загорелый. Взгляд его имел выражение смелое, умное и с оттенком затаенной малороссийской иронии.

Жил Фигура совершенным, настоящим подгородным мужиком, на предместий Куриневке, «у своей господи», то есть в собственной усадьбе и при собственном хозяйстве, которое вел в сотрудничестве молодой и чрезвычайно красивой крестьянки Христа. Фигура все работал своими собственными руками и все содержал в простом, но безукоризненном порядке. Он сам «копал

огород», сам его возделывал и засевал овощами и сам же вывозил эти овощи на Подол, на Житний базар, где становился со своею телегою в ряду с другими приезжими мужиками и продавал свои огурцы, гарбузы (тыквы), дыни, капусту, бураки и репку.

Торговал Фигура лучше других, потому что его овощи всегда отличались лучшим достоинством. Особенно славились его нежные и сладкие тыквы, чрезвычайно больших размеров, доходившие иногда до пуда веса.

Также и огурцы, и бураки, и капуста — все у Фигуры было самое рослое и самое лучшее.

Перекупки подольского Житнего базара знали, что «проть Хвыгуры вже не учкнешь», — то есть лучше его ни у кого не достанешь, — но он не любил продавать перекупкам, «щоб людей не мордовали», а продавал прямо «людям», то есть прямым потребителям.

К перекупам и перекупкам Фигура «мав зуба» (имел зуб) и любил проникать в хитрости этих людей и их вышучивать. Как, бывало, перекуп или перекупка ни переоденутся или кого ни подошлют к возу с подсылом, чтобы забрать товар у Фигуры, — он, бывало, это сейчас проникнет и на вопрос «почем коп?» — отвечает:

— По деньгам, але тыльки шкода, що не для твоей милости.

Если же подсыльный станет уверять, что он простой человек и торгует «для сэбе», то Фигура, не вынимая из губ трубки, скажет ему:

— Эге! ну, не юлы — бо не покуришь! — и больше не станет разговаривать.

Фигуру все знали на базаре и знали, что он «як бы то не с простых людей, а тильки опростывся», но настоящего его чина и звания и того — почему он так «опростывся» — не знали и узнать этого не добивались.

Я тоже долго этого не знал, а настоящего его чина и теперь не знаю.

Глава 3

Домик у Фигуры был обыкновенная малороссийская мазанка, разделенная, впрочем, на комнатку и кухню. Ел он пищу всегда растительную и молочную, но самую простую — крестьянскую, которую ему готовила вышеупомянутая замечательной красоты хохлушка Христя. Христя была «покрытка», то есть девушка, имевшая дитя. Дитя это была прехорошенькая девочка, по имени Катря. По соседству думали, что она «хвыгурина

дочка», но Фигура на это делал гримасу и, пыхнув губами, отвечал:

— Так-то оно и есть, що моя! Правда, що як бог мени дав щасте, щоб ее кормить, то тим вона теперечки моя, — а кто ее на свит бидовать пустив, то я вже того добродил не знаю. Але як кто хоче — нехай так и личе: як моя — то нехай моя, — мени все едино.

Но насчет Катри еще немножко сомневались; а что касается самой красавицы Христи, то ее уже считали за «дружину» Фигуры без всяких сомнений.

Фигура и к этому тоже пребывал равнодушен, и если ему кто-нибудь Христей подшучивал, так он отвечал только:

— А вам хиба завидно?

Зато же и Фигура и Христя, да и ни в чем не повинная Катря несли епитимию: из них трех никто не употреблял в пищу ни мяса, ни рыб — словом, ничего, имеющего сознание жизни.

Куриневские жинки знали, за что эта епитимия положена.

Фигура же только усмехался и говорил:

— Дуры!

Глава 4

Отношения у Христи с Фигурою были премилые, но такие, что ничего ясно не раскрывали.

Христя держалась в доме не как наймычка при хозяйке, а как будто своя родная, живущая у родственника. Она «тягала воду» из колодца, мыла полы, и хату мазала, и белье стирала, и шила себе, Катре и Фигуре, но коров не доила, потому что коровы были «мощные», и их выдаивал сам Фигура соответственными к сему великомощными руками. Обедали они все трое за одним столом, к которому Христя «подносила» и «убирала». Чаю не пили вовсе, «бо це пуста повадка», а в праздники пили сушеные вишни или малину — и опять все за одним столом. Гости у них бывали только те пожилые барышни, Журавский да я. При нас Христя «бигала и митусилась», то есть хлопотала, и ее с трудом можно было усадить на минуту; но когда гости вставали, чтоб уходить, Христя быстро срывалась с места и неудержимо стремилась подавать всем верхнее платье и калоши. Гости сопротивлялись ее услугам, но она настаивала, и Фигура за нее заступался; он говорил гостям:

— Позвольте ей свою присягу исполнить.

Христя успокаивалась только тогда, когда гости позволяли ей себя «одеть и обуть як слид по закону». В этом была «ее присяга» — ее служебное назначение, которому простодушная красавица оставалась преданною и верной.

В разговоре между собою Фигура и Христя относились друг к другу в разных формах: Фигура говорил ей «ты» и называл ее Христино или Христя, а она ему говорила «вы» и называла его по имени и отчеству. Девочку Катрю оба они называли «дочкою», а она кликала Фигуру «татою», а Христю «мамой». Катре было девять лет, и она была вся в мать — красавица.

Глава 5

Родственных связей ни у Фигуры, ни у Христи никаких не было. Христя была «безродна сыротина», а у Фигуры (правильно Вигуры) хотя и были родственники, из которых один служил даже в университете профессором, — но наш куриневский Фигура с этими Вигурами никаких сношений не имел — «бо воны з панами знались», а это, по мнению Фигуры, не то что нехорошо, а «якось — не до шмыги» (то есть не идет ему).

— Бог их церковный знае: они вже може яки

асессоры, чи якись таки сяки советники, а мы, як и з рыла бачите — из простых свиней.

В основе же своего характера и всех поступков куриневский Фигура был такая оригинальная личность, что даже снимает всю нелепость с пословицы, внушающей ценить человека битого — дороже небитого.

Вот один его поступок, имевший значение для всей его жизни, которая через этот самый поступок и определилась. О нем едва ли кто знал и едва ли знает, а я об этом слышал от самого Фигуры и перескажу, как помню.

Глава 6

Я жил в Киеве, в очень многолюдном месте, между двумя храмами — Михайловским и Софийским, — и тут еще стояли тогда две деревянные церкви. В праздники здесь было так много звона, что бывало трудно выдержать, а внизу по всем улицам, сходящим к Крещатику, были кабаки и пивные, а на площадке балаганы и качели. Ото всего этого я спасался на такие дни к Фигуре. Там была тишина и покой: играло на травке красивое дитя, светили добрые женские очи, и тихо разговаривал всегда разумный и всегда трезвый

Фигура.

Раз я ему и стал жаловаться на беспокойство, спозаранку начавшееся в моем квартале, а он отвечает:

— И не говорите. Я сам нашего русского празднования с детства переносить не могу, и все до сих пор боюсь: как бы какой беды не было. Бывало, нас кадетами проводят под качели и еще говорят: «Смотрите — это народное!» А мне еще и тогда казалось: что тут хорошего — хоть бы это и народное! У Исаии пророка читается: «праздники ваши ненавидит душа моя», — и я недаром имел предчувствие, что со мною когда-нибудь в этом разгуле дурное случится. Так и вышло, да только хорошо, что все дурное тогда для меня поворотилось на доброе.

— А можно узнать, что это такое было?

— Я думаю, что можно. Видите… это еще когда вы у бабушки в рукаве сидели, — тогда у нас были две армии: одна называлась первая, а другая — вторая. Я служил под Сакеном… Вот тот самый Ерофеич, что и теперь еще все акафисты читает. Великий, бог с ним, был богомолец, все на коленях молился, а то еще на пол ляжет и лежит, и лежит долго, и куда ни идет, и что ни берет — все крестится. Ему тогда и многие другие в этом в ар-

мии старались подражать и заискивали, чтоб он их видел… Которые умели — хорошо выходило… И мне это раз помогло так, что я за это до сих пор пенсию получаю. Вот каким это было случаем.

Глава 7

Полк наш стоял на юге, в городе, — тут же был и штаб сего Ерофеича. И попало мне идти в караул к погребам с порохом, под самое Светлое воскресенье. Заступил я караул в двенадцать часов дня в чистую субботу, и стоять мне до двенадцати часов в воскресенье.

Со мною мои армейские солдаты, сорок два человека, и шесть объездных казаков.

Стал надходить вечер, и мне вдруг начало делаться чего-то очень грустно. Молодой человек был, и привязанности были семейные. Родители еще были живы и сестра… но, самое главное, и драгоценнейшее мати… ма-ти моя добродетельница!.. Чудесная у меня была мати — предобрая и пренепорочная — добром скрытая и в добре повитая… До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человека, ни животного, — даже ни мяса, ни рыбы не кушала, из сожаления к животным. Отец, бывало, спорит: «Помилуй,

скажи: сколько ж их разродится? Деваться будет некуда». А она отвечает: «Ну, это еще когда-то будет, а я этих сама выкормила, так они мне как родные. Я не могу своих родных есть». И у соседей не ела: «Этих, — говорила, — я живых видела: они мне знакомые, — не могу есть своих знакомых». А потом и незнакомых не стала кушать. «Все равно, — говорит, — с ними убийство сделано». Священник ее уговаривал, что «это от Бога показано», и в требнике на освящение мясов молитву показывал, но ее не переспорил. «Ну, и хорошо, — отвечала она, — як вы прочитали, то вы и кушайте». Священник сказал отцу, что это все делают какие-нибудь «поныряющие в домы и прельщающие женища, всегда учащеся и ни коли же в разум прийти могущие». А мать говорит отцу: «Се пустое: я никаких поныряющих не знаю, а так просто противно мне, чтобы одно другое поедало».

Я о моей матери никогда не могу воспоминать спокойно, — непременно расстроюсь. Так случилось и тогда. Скучно по матери! Хожу-похожу, соломинку зубами со скуки кусаю и думаю: вот она теперь всех провожает в село, с вечера на заутреню, а сама сироток сберет, неодетых, невычесанных, — всех сама у печки перемоет,

головенки им вычешет и чистые рубахи наденет… Как с ней радостно! Если бы я не дворянин был, я при ней бы и жил и работал бы, а не в карауле стоял. Что мы такое караулим?.. Все для смертного бою… А впрочем, что я так очень скучаю… Стыдно!.. Я ведь жалованье за службу получаю и чинов заслуживаю, а вон солдат — он совсем безнадежный человек, да еще бьют его без милосердия, — ему куда для сравнения тяжелее… а ведь живет же, терпит и не куксится… Бодрости себе надо поддать — все и пройдет. Что, думаю, самое лучшее может человек сделать, если ему самому тяжело? То, другое, третье приходит в голову, и, наконец, опять самое ясное приходит от матери: она, бывало, говорит: «Когда самому худо, тогда поспеши к тем, кому еще хуже, чем тебе»… Ну вот, солдатам хуже, чем мне…

Давай, думаю, я чем-нибудь солдат бедных обрадую! Угощу их, что ли, чаем напою, — разговеюсь с ними на мои гроши!

Понравилось.

Глава 8

Я позвал вестового, даю ему из своего кошелька денег и посылаю, чтобы купил четверть фун-

та чаю, да три фунта сахару, да копу крашенок (шестьдесят красных яиц), да хлеба шафранного на все, сколько останется. Прибавил бы еще более, да у самого не было.

Вестовой сбегал и все принес, а я сел к столику, колю и раскладываю по кусочкам сахар — и очень занялся тем: по скольку кусков на всех людей достанется.

И хоть небольшая забота, а сейчас, как я этим занялся, так и скука у меня прошла, и я даже радостно сижу да кусочки отсчитываю и думаю: простые люди — с ними никто не нежничает, — им и это участие приятно будет. Как услышу, что отпустный звон прозвонят и люди из церкви пойдут, я поздороваюсь — скажу: «Ребята! Христос воскресе!» и предложу им это мое угощение.

А стояли мы в карауле за городом, как всегда пороховые погреба бывают вдалеке от жилья, а кордегардией у нас служили сени одного пустого погреба, в котором в эту пору пороху не было. Тут в сенях и солдаты и я, — часовые наружи, а казаки — трое с солдатами, а трое в разъезд уехали.

Из города нам, однако, звон слышен, и огни кое-как мелькают. Да и по часам я сообразил, что уже время церковной службы непременно скоро кончится — скоро, должно быть, наступит

пора поздравлять и потчевать. Я встал, чтобы обойти посты, и вдруг слышу шум… дерутся… Я — туда, а мне летит что-то под ноги, и в ту же минуту я получаю пощечину… Что вы смотрите? Да — настоящую пощечину, и трах — с одного плеча эполета прочь!

Что такое?.. Кто меня бьет?

И главное дело — темно.

— Ребята! — кричу, — братцы! Что это делается? — Солдаты узнали мой голос и отвечают:

— Казаки, ваше благородие, винища облопались!., дерутся.

— Кто же это на меня бросился?

— И вас, ваше благородие, это казак по морде ударил. Вон он и есть — в ногах лежит без памяти, а двух там на погребице вяжут. Рубиться хотели.

Глава 9

Все вдруг в голове у меня засуетилось и перепуталось. Тягчайшее оскорбление! Молодо-зелено, на все еще я тогда смотрел не своими глазами, а как задолбил, и рассуждение тоже было не свое, а чужое, вдолбленное, как принято. «Тебя ударили — так это бесчестие, а если ты побьешь на отместку, — тогда ничего — тогда это тебе честь…»

Убить его, этого казака, я должен!., зарубить его на месте!.. А я не зарубил. Теперь куда же я годен? Я битый по щеке офицер. Все, значит, для меня кончено?.. Кинусь — заколю его! Непременно надо заколоть! Он ведь у меня честь взял, он всю карьеру мою испортил. Убить! за это сейчас убить его! Суд оправдает или не оправдает, но честь спасена будет.

А в глубине кто-то и говорит: «Не убий!» Это я понял, кто! — Это так бог говорит: на это у меня, в душе моей, явилось удостоверение. Такое, знаете, крепкое несомненное удостоверение, что и доказывать не надо и своротить нельзя. Бог! Он ведь старше и выше самого Сакена. Сакен откомандует, да когда-нибудь со звездой в отставку выйдет, а бог-то веки веков будет всей вселенной командовать! А если он мне не позволяет убить того, кто меня бил, так что мне с ним делать? Что сделать? С кем посоветуюсь?.. Всего лучше с тем, кто сам это вынес. Иисус Христос!.. Тебя самого били?.. Тебя били, и ты простил… а я что пред тобою… я червь… гадость… ничтожество! Я хочу быть твой: я простил! я твой…

Вот только плакать хочется!., плачу и плачу!

Люди думают, что я это от обиды, а я уже — понимаете… я уже совсем не от обиды…

Солдаты говорят:

— Мы его убьем!

— Что вы!.. Бог с вами!.. Нельзя человека убивать! — Спрашиваю старшего: куда его дели?

— Мы, — говорит, — ему руки связали и в погреб его бросили.

— Развяжите его скорее и приведите сюда.

Пошли его развязать, и вдруг дверь из погреба наотмашь распахнулась, и этот казак летит на меня прямо, как по воздуху, и, точно сноп, опять упал в ноги и вопит:

— Ваше благородие!., я несчастный человек!..

— Конечно, — говорю, — несчастный.

— Что со мною сделали!..

И плачет горестно так, что даже ревет.

— Встань! — говорю.

— Не могу встать, я еще в исступлении…

— Отчего ты в исступлении?

— Я непитущий, а меня напоили… У меня дома жена молодая и детки… и отцы старички старые… Что я наделал?..

— Кто тебя упоил?

— Товарищи, ваше благородие, — заставили за живых и за мертвых в перезвон пить… Я непитущий!

И рассказал, что заехали они в шинок, и стали

его товарищи неволить — выпить для Светлого Христова воскресения, в самый первый звон, — чтобы всем живым и умершим «легонько взгадалося», — один товарищ поднес ему чару, а другой — другую, а третью он уже сам купил и других потчевал, а дальше не помнит, что ему пришло в голову на меня броситься, и ударить, и эполет сорвать.

Вот вам и приключение! Теперь валяется в ногах, плачет, как дитя, и весь хмель сошел… Стонет:

— Детки мои, голубятки мои!.. Старички мои жалостные!.. женка бессчастная!..

Глава 10

Убивается бедняга, и люди все на него смотрят, и — вижу, и им тягостно, а мне еще более всех тяжело. А меж тем как я немножко раздумался, сердце-то у меня уж назад пошло: рассуждать опять начинаю: ударь он меня наедине, я и минуты бы одной не колебался — сказал бы: «Иди с миром и вперед так не делай». Но ведь это все произошло при подначальных людях, которым я должен подавать первый пример…

И вдруг это слово опять меня спасительно улов-

ля-ет… какой такой нам подан первый пример? Я ведь не могу же это забыть… я ведь не могу же, чтобы Иисуса вспоминать, а при том ему совсем напротив над людьми делать…

«Нет, — думаю, — этого нельзя: я спутался — лучше я отстраню от себя это пока… хоть на время, а скажу только то, что надо по правилу…»

Взял в руки яйцо и хотел сказать: «Христос воскрес!» — но чувствую, что вот ведь я уже и схитрил. Теперь я не его — я ему уж чужой стал… Я этого не хочу… не желаю от него увольняться. А зачем же я делаю как те, кому с ним тяжело было… который говорил: «Господи, выйди от меня: я человек грешный!» Без него-то, конечно, полегче… Без него, пожалуй, со всеми уживешься… ко всем подделаешься…

А я этого не хочу! Не хочу, чтобы мне легче было! Не хочу!

Я другое вспомнил… Я его не попрошу уйти, а еще позову… Приди — ближе! и зачитал: «Христе, свете нетинный, просвещали и освещали всякого человека, грядущего в мир…»

Между солдатами вдруг внимание… кто-то и повторил:

— «Всякого человека!»

— Да, — говорю, — «всякого человека, гряду-

щего в мир», — и такой смысл придаю, что он просвещает того, кто приходит от вражды к миру. И еще сильнее голосом воззвал: — «Да знаменуется на нас, грешных, свет твоего лица!»

— «Да знаменуется!., да знаменуется!» — враз, одним дыханием продохнули солдаты… Все содрогнулись… все всхлипывают… все неприступный свет узрели и к нему сунулись…

— Братцы! — говорю, — будем молчать!

Враз все поняли.

— Язык пусть нам отсохнет, — отвечают, — ничего не скажем.

— Ну, — я говорю, — значит, Христос воскрес! — и поцеловал первого побившего меня казака, а потом стал и с другими целоваться. «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!»

И вправду обнимали мы друг друга радостно. А казак все плакал и говорил: «Я в Иерусалим пойду бога молить… священника упрошу, чтобы мне питинью наложил».

— Бог с тобой, — говорю, — еще лучше и в Иерусалим не ходи, а только водки не пей.

— Нет, — плачет, — я, ваше благородие, и водки не буду пить и пойду к батюшке…

— Ну, как знаешь.

Пришла смена, и мы возвратились, и я отрапор-

товал, что все было благополучно, и солдаты все молчали; но случилось так, однако, что секрет наш вышел наружу.

Глава 11

На третий день праздника призывает меня к себе командир, запирается в кабинет и говорит:

— Как это вы, сменившись последний раз с караула, рапортовали, что у вас все было благополучно, когда у вас было ужасное происшествие!

Я отвечаю:

— Точно так, господин полковник, происшествие было нехорошее, но бог нас вразумил, и все кончилось благополучно.

— Нижний чин оскорбил офицера и остается без наказания… и вы это считаете благополучным? Да у вас что же — нет, что ли, ни субординации, ни благородной гордости?

— Господин полковник, — говорю, — казак был человек непьющий и обезумел, потому что его опоили.

— Пьянство — не оправдание!

— Я, — говорю, — не считаю за оправдание, — пьянство — пагуба, но я духу в себе не нашел доносить, чтобы за меня безрассудного человека

наказывали. Виноват, господин полковник, я простил.

— Вы не имели права прощать!

— Очень знаю, господин полковник, не мог выдержать.

— Вы после этого не можете более оставаться на службе.

— Я готов выйти.

— Да; подавайте в отставку.

— Слушаю-с.

— Мне вас жалко, — но поступок ваш есть непозволительный. Пеняйте на себя и на того, кто вам внушил такие правила.

Мне стало от этих слов грустно, и я попросил извинения и сказал, что я пенять ни на кого не буду, а особенно на того, кто мне внушил такие правила, потому что я взял себе эти правила из христианского учения.

Полковнику это ужасно не понравилось.

— Что, — говорит, — вы мне с христианством! — ведь я не богатый купец и не барыня. Я ни на колокола не могу жертвовать, ни ковров вышивать не умею, а я с вас службу требую. Военный человек должен почерпать христианские правила из своей присяги, а если вы чего-нибудь не умели согласовать, так вы могли на все получить

совет от священника. И вам должно быть очень стыдно, что казак, который вас прибил, лучше знал, что надо делать: он явился и открыл свою совесть священнику! Его это одно и спасло, а не ваше прощение. Дмитрий Ерофеич простил его не для вас, а для священника, а солдаты все, которые были с вами в карауле, будут раскассированы. Вот чем ваше христианство для них кончилось. А вы сами пожалуйте к Сакену; он сам с вами поговорит — ему и рассказывайте про христианство: он церковное Писание все равно как военный устав знает. А все, извините, о вас того мнения, что вы, извините, получив пощечину, изволили прощать единственно с тем, чтобы это бесчестие вам не помешало на службе остаться… Нельзя! Ваши товарищи с вами служить не желают.

Это мне, по тогдашней моей молодости, показалось жестоко и обидно.

— Слушаю-с, — говорю, — господин полковник, я пойду к графу Сакену и доложу все, как дело было, и объясню, чему я подчинился — все доложу по совести. Может быть, он иначе взглянет.

Командир рукой махнул.

— Говорите что хотите, но знайте, что вам ничто не поможет. Сакен церковные уставы знает — это правда, но, однако, он все-таки пока еще

исполняет военные. Он еще в архиереи не постригся.

Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о Сакене: одни говорили, будто он имеет видения и знает от ангела — когда надо начинать бой; другие рассказывали вещи еще более чудные, а полковой казначей, имевший большой круг знакомства с купцами, уверял, будто Филарет московский говорил графу Протасову: «Если я умру, то Боже вас сохрани, не делайте обер-прокурором Муравьева, а митрополитом московским — киевского ректора (Иннокентия Борисова). Они только хороши кажутся, а хорошо не сделают; а вы ставьте на свое место Сакена, а на мое — самого смирного монаха. Иначе я вам в темном блеске являться стану».

Глава 12

Я тогда ни за что не хотел, чтобы Сакен допускал, будто я простил и скрыл полученную мною пощечину из-за того, чтобы мне можно было на службе оставаться. Ужасная глупость! Не все ли это равно? Теперь это кажется смешно, а в тогдашнем диком состоянии я в самом деле полагал немножко свою честь в таких пустяках, как

постороннее мнение… Ночей не спал: одну ночь в карауле не спал, а потом три ночи не спал от волнения… Обидно было, что товарищи обо мне нехорошо думают и что Сакен обо мне нехорошо думает! Надо, видите, так, чтобы все о нас хорошо думали!..

Опять из-за этого всю ночь не спал и на другой день встал рано и являюсь утром в сакенскую приемную. Там был только еще один аудитор, а потом и другие стали собираться. Жужжат между собою потихонечку, а у меня знакомых нет — я молчу и чувствую, что сон меня клонит, — совсем некстати. А глаза так и слипаются. И долго я тут со всеми вместе ожидал Сакена, потому что он в этот день, как нарочно, не выходил: все у себя в спальне перед чудотворной иконой молился. Он ведь был страшно богомолен: непременно каждый день читал утренние и вечерние молитвы и три акафиста, а то иногда зайдется до бесконечности. Случалось, до того уставал на коленях стоять, что даже падал и на ковре ничком лежал, а все молился. Мешать ему или как-нибудь перебить молитву считалось — боже сохрани! На это, кажется, даже при штурме никто бы не отважился, потому что помешать ему — все равно что дитя разбудить, когда оно не

выспалось. Начнет кукситься и капризничать, и тогда его ничем не успокоишь. Адъютанты у него это знали, — иные и сами тоже были богомолы — другие притворялись. Он не разбирал и всех таких любил и поощрял.

Как только, бывало, он покажется, штабные сейчас различали, если он намолился, и тогда в хорошем расположении, и все бумаги несли, потому что, намолившись, он добр и тогда все подпишет.

На мою долю как раз такое счастие и досталось: как Сакен вышел ко всем в приемную, так один опытный говорит мне:

— Вы хорошо попали; нынче его обо всем можно просить; он теперь намолившись.

Я полюбопытствовал:

— Почему это заметно?

Опытный отвечает:

— Разве не видите — у него колени белеются, и над бровями светлые пятнышки… как будто свет сияет… Значит, будет ласковый.

Я сияния над бровями не отличил, а панталоны у него на коленях действительно были побелевши.

Со всеми он переговорил и всех отпустил, а меня оставил на самый послед и велел за собою

в кабинет идти.

«Ну, — думаю, — тут будет развязка». И сон прошел.

Глава 13

В кабинете у него большая икона в дорогой ризе, на особом возвышении, и трисоставная лампада в три огня горит.

Сакен прежде всего подошел к иконе, перекрестился и поклонился в землю, а потом обернулся ко мне и говорит:

— Ваш полковой командир за вас заступается. Он вас даже хвалит — говорит, что вы были хороший офицер, но я не могу, чтобы вас оставить на службе!

Я отвечаю, что я об этом и не прошу.

— Не просите! Почему же не просите?

— Я знаю, что это нельзя, и не прошу о невозможном.

— Вы горды!

— Никак нет.

— Почему же вы так говорите — «о невозможном»? Французский дух! гордость! У бога все возможно! Гордость!

— Во мне нет гордости.

— Вздор!.. Я вижу. Все французская болезнь!., своеволие!.. Хотите все по-своему сделать!.. Но вас я действительно оставить не могу. Надо мною тоже выше начальство есть... Эта ваша вольнодумная выходка может дойти до государя... Что это вам пришла за фантазия!..

— Казак, — говорю, — по дурному примеру напился пьян до безумия и ударил меня без всякого сознания.

— А вы ему это простили?

— Да, я не мог не простить!..

— На каком же основании?

— Так, по влиянию сердца.

— Гм!., сердце!.. На службе прежде всего долг службы, а не сердце... Вы по крайней мере раскаиваетесь?

— Я не мог иначе.

— Значит, даже и не каетесь?

— Нет.

— И не жалеете?

— О нем я жалею, а о себе нет.

— И еще бы во второй раз, пожалуй, простили?

— Во второй раз, я думаю, даже легче будет.

— Вон как!., вон как у нас!., солдат его по одной щеке ударил, а он еще другую готов подставить.

Я подумал: «Цыц! не смей этим шутить!» — и

молча посмотрел на него с таковым выражением.

Он как бы смутился, но опять по-генеральски напетушился и задает:

— А где же у вас гордость?

— Я сейчас имел честь вам доложить, что у меня нет гордости.

— Вы дворянин?

— Я из дворян.

— И что же, этой… noblesse oblige… дворянской гордости у вас тоже нет?

— Тоже нет.

— Дворянин без всякой гордости?

Я молчал, а сам думал:

«Ну да, ну да: дворянин, и без всякой гордости, — ну что же ты со мной поделаешь?»

А он не отстает — говорит:

— Что же вы молчите? Я вас спрашиваю об этой — о благородной гордости?

Я опять промолчал, но он еще повторяет:

— Я вас спрашиваю о благородной гордости, которая возвышает человека. Сирах велел «пещись об имени своем»…

Тогда я, чувствуя себя уже как бы отставным и потому человеком свободным, ответил, что я ни про какую благородную гордость ничего в

Евангелии не встречал, а читал про одну только гордость сатаны, которая противна богу.

Сакен вдруг отступил и говорит:

— Перекреститесь!.. Слышите: я вам приказываю, сейчас перекреститесь!

Я перекрестился.

— Еще раз!

Я опять перекрестился.

— И еще… до трех раз!

Я и в третий раз перекрестился.

Тогда он подошел ко мне и сам меня перекрестил и прошептал:

— Не надо про сатану! Вы ведь православный?

— Православный.

— За вас восприемники у купели отреклись от сатаны… и от гордыни и от всех дел его и на него плюнули. Он бунтовщик и отец лжи. Плюньте сейчас.

Я плюнул.

— И еще!

Я еще плюнул.

— Хорошенько!.. До трех раз на него плюньте!

Я плюнул, и Сакен сам плюнул и ногою растер. Всего сатану мы оплевали.

— Вот так!.. А теперь… скажите, того… Что же вы будете с собой делать в отставке?

— Не знаю еще.

— У вас есть состояние?

— Нет.

— Нехорошо! Родственники со связями есть?

— Тоже нет.

— Скверно! На кого же вы надеетесь?

— Не на князей и не на сынов человеческих: воробей не пропадает у бога, и я не пропаду.

— Ого-го, как вы, однако, начитаны!.. Хотите в монахи?

— Никак нет — не хочу.

— Отчего? Я могу написать Иннокентию.

— Я не чувствую призвания в монахи.

— Чего же вы хотите?

— Я хочу только того, чтобы вы не думали, что я умолчал о полученном мною ударе из-за того, чтобы остаться на службе: я это сделал просто…

— Спасти свою душу! Понимаю вас, понимаю! я вам потому и говорю: идите в монахи.

— Нет, я в монахи не могу, и спасать свою душу не думал, а просто я пожалел другого человека, чтобы его не били насмерть палками.

— Наказание бывает человеку в пользу. «Любяй наказует». Вы не дочитали… А впрочем, мне вас все-таки жалко. Вы пострадали!.. Хотите в комиссариатскую комиссию?

— Нет, благодарю покорно.

— Это отчего?

— Я не знаю, право, как вам об этом правдивее доложить… я туда неспособен.

— Ну, в провианты?

— Тоже не гожусь.

— Ну, в цейхвартеры! — там, случается, бывают люди и честные.

Так он меня этим своим разговором отяготил, что я просто будто замагнитизировался и спать хочу до самой невозможности.

А Сакен стоит передо мною — и мерно, в такт головою покачивает и, загиная одною рукою пальцы другой руки, вычисляет:

— В Писании начитан; благородной гордости не имеет; по лицу бит; в комиссариат не хочет; в провиантские не хочет и в монахи не хочет! Но я, кажется, понял вас, почему вы не хотите в монахи: вы влюблены?

А мне только спать хочется.

— Никак нет, — говорю, — я ни в кого не влюблен.

— Жениться не намерены?

— Нет.

— Отчего?

— У меня слабый характер.

— Это видно! Это сразу видно! Но что же вы застенчивы, — вы боитесь женщин… да?

— Некоторых боюсь.

— И хорошо делаете! Женщины суетны и… есть очень злые, но ведь не все женщины злы и не все обманывают.

— Я сам боюсь быть обманщиком.

— То есть… Как?.. Для чего?

— Я не надеюсь сделать женщину счастливой.

— Почему? Боитесь несходства характеров?

— Да, — говорю, — женщина может не одобрять то, что я считаю за хорошее, и наоборот.

— А вы ей докажите.

— Доказать все можно, но от этого выходят только споры и человек делается хуже, а не лучше.

— А вы и споров не любите?

— Терпеть не могу.

— Так ступайте же, мой милый, в монахи! Что же вам такое?! Ведь вам в монахах отлично будет с вашим настроением.

— Не думаю.

— Почему? Почему не думаете-то? Почему?

— Призвания нет.

— А вот вы и ошибаетесь — прощать обиды, безбрачная жизнь… это и есть монастырское призвание. А дальше что же еще остается труд-

ное? — мяса не есть. Этого, что ли, вы боитесь? Но ведь это не так строго…

— Я мяса совсем никогда не ем.

— А зато у них прекрасные рыбы.

— Я и рыбы не ем.

— Как, и рыб не едите? Отчего?

— Мне неприятно.

— Отчего же это может быть неприятно — рыб есть?

— Должно быть, врожденное — моя мать не ела тел убитых животных и рыб тоже не ела.

— Как странно! Значит, вы так и едите одно грибное да зелень?

— Да, и молоко и яйца. Мало ли еще что можно есть!

— Ну так вы и сами себя не знаете: вы природный монах, вам даже схиму дадут. Очень рад! очень рад! Я вам сейчас дам письмо к Иннокентию!

— Да я, ваше сиятельство, не пойду в монахи!

— Нет, пойдете, — таких, которые и рыб не едят, очень мало! вы схимник! Я сейчас напишу.

— Не извольте писать: я в монастырь жить не пойду. Я желаю есть свой трудовой хлеб в поте своего лица.

Глава 14

Сакен наморщился.

— Это, — говорит, — вы Библии начитались, — а вы Библии-то не читайте. Это англичанам идет: они недоверии и кривотолки. Библия опасна — это мирская книга. Человек с аскетическим основанием должен ее избегать.

«Фу-ты господи! — думаю. — Что же это за мучитель такой!»

И говорю ему:

— Ваше сиятельство! я уже вам доложил: во мне нет никаких аскетических оснований.

— Ничего, идите и без оснований! Основания после придут; всего дороже, что у вас это врожденное: не только мяса, а и рыбы не едите. Чего вам еще!

Умолкаю! Решительно умолкаю и думаю только о том: когда же он меня от себя выпустит, чтобы я мог спать…

А он возлагает мне руки на плечи, смотрит долго в глаза и говорит:

— Милый друг! вы уже призваны, но только вам это еще непонятно!..

— Да, — отвечаю, — непонятно!

Чувствую, что мне теперь все равно, — что я вот-вот сейчас тут же, стоя, усну, — и потому инстинктивно ответил:

— Непонятно.

— Ну так помолимся, — говорит, — вместе поусерднее вот перед этим ликом. Этот образ был со мною во Франции, в Персии и на Дунае… Много раз я перед ним упадал в недоумении и когда вставал — мне было все ясно. Становитесь на ковре на колени и земной поклон… Я начинаю.

Я стал на колени и поклонился, а он зачитал умиленным голосом: «Совет превечный открывая Тебе…»

А дальше я уже ничего не слыхал, а только почудилось мне, что я как дошел лбом до ковра — так и пошел свайкой спускаться вниз куда-то все глубже к самому центру земли.

Чувствую что-то не то, что нужно: мне бы нужно куда-то легким пером вверх, а я иду свайкой вниз, туда, где, по словам Гете, «первообразы кипят, — клокочут зиждящие силы». А потом и не помню уже ничего.

Возвращаюсь опять от центра к поверхности не скоро и ничего не узнаю: трисоставная лампада горит, в окнах темно, впереди меня на том же ковре какой-то генерал, клубочком свернувшись,

спит.

Что это такое за место? — заспал и запамятовал.

Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю: «Где я? Что это, генерал в самом деле или так кажется…» Потрогал его… ничего — парной, теплый, и смотрю — и он просыпается и шевелится… И тоже сел на ковре и на меня смотрит… Потом говорит:

— Что вижу?.. Фигура!

Я отвечаю:

— Точно так.

Он перекрестился и мне велел:

— Перекрестись! — Я перекрестился.

— Это мы с вами вместе были?

— Да-с.

— Каково!

Я промолчал.

— Какое блаженство!

Не понимаю, в чем дело, но, к счастью, он продолжает: — Видели, какая святыня!

— Где?

— В раю!

— В раю? Нет, — говорю, — я в раю не был и ничего не видал.

— Как не видал! Ведь мы вместе летали… Туда…

вверх! Я отвечаю, что я летать летал, но только не вверх, а вниз.

— Как вниз!

— Точно так.

— Вниз?

— Точно так.

— Внизу ад!

— Не видал.

— И ада не видал?

— Не видал.

— Так какой же дурак тебя сюда пустил?

— Граф Остен-Сакен.

— Это я граф Остен-Сакен.

— Теперь, — говорю, — вижу.

— А до сих пор и этого не видал?

— Прошу прощения, — говорю, — мне кажется, будто я спал.

— Ты спал!

— Точно так.

— Ну так пошел вон!

— Слушаю, — говорю, — но только здесь темно — я не знаю, как выйти.

Сакен поднялся, сам открыл мне дверь и сам сказал: — Zum Teufel!

Так мы с ним и простились, хотя несколько сухо, но его ко мне милости этим не кончились.

Глава 15

Я был совершенно спокоен, потому что знал, что мне всего дороже — это моя воля, возможность жить по одному завету, а не по нескольким, не спорить, не подделываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше, — и я знал, где и как можно найти такую волю. Я не хотел решительно никаких служб, ни тех, где нужна благородная гордость, ни тех, где можно обходиться и без всякой гордости. Ни на какой службе человек сам собой быть не может, он должен вперед не обещаться, а потом исполнять, как обещался, а я вижу, что я порченый, что я ничего обещать не могу, да я не смею и не должен, потому что суббота для человека, а не человек для субботы… Сердце сжалится, и я не могу обещания выдержать: увижу страдание и не выстою… я изменю субботе! На службе надо иметь клятвенную твердость и уметь самого себя заговаривать, а у меня этого дарования нет. Мне надо что-нибудь самое простое… Перебирал я, перебирал, — что есть самое простое, где не надо себя заговаривать, и решил, что лучше пахать землю.

Но меня, однако, ждала еще награда и по служ-

бе.

Перед самым моим выездом полковник объявляет мне:

— Вы не без пользы для себя с Дмитрием Ерофеичем повидались. Он тогда был с утра прекрасно намолившись и еще с вами, кажется, молился?

— Как же, — отвечаю, — мы молились.

— Вместе в блаженные селения парили?..

— То есть… как это вам доложить…

— Да, вы — большой политик! Знаете, вы и достигли, — вы ему очень понравились; он вам велел сказать, что особым путем вам пенсию выпросит.

— Я, — говорю, — пенсии не выслужил.

— Ну, уж это теперь расчислять поздно, — уж от него пошло представление, а ему не откажут.

Вышла мне пенсия по тридцати шести рублей в год, и я ее до сих пор по этому случаю получаю. Солдаты со мною тоже хорошо простились.

— Ничего, — говорили, — мы, ваше благородие, вами довольны и не плачемся. Нам все равно, где служить. А вам бы, ваше благородие, мы желали, чтобы к нам в попы достигнуть и благословлять на поле сражения.

Тоже доброжелатели!

А я вместо всего ихнего доброжелания вот

эту господку купил… Невелика господка, да добра… Може, и Катря еще на ней буде с мужем господуроваты… Видна Катруся! Я ее с матерью под тополями Подолинского сада нашел… Мать хотела ее на чужие руки кинуть, а сама к какой-нибудь пани в мамки идти. А я вызверывся да говорю ей:

— Чи ты с самаго роду так дурна, чи ты сумасшедшая! Що тоби такэ поднялось, щоб свою дытыну покинуты, а паньских своим молоком годувати! Нехай их яка пани породыла, та сама и годует: так от бога показано, — а ты ходы впрост до менэ та пильнуй свою дытыну.

Она встала — подобрала Катрю в тряпочки и пишла — каже:

— Пиду, куды минэ доля моя ведэ!

Так вот и живем, и поле орем, и сием, а чого нэма, о том не скучаем — бо все люди просты: мать сирота, дочка мала, а я битый офицер, да еще и без усякой благородной гордости. Тифу, яка пропаща фигура!

По моим сведениям, Фигура умер в конце пятидесятых или в самом начале шестидесятых годов. О нем я не встречал в литературе никаких упоминаний.

1889

НИКОЛАЙ ТЕЛЕШОВ

Елка Митрича

(Из цикла «Переселенцы»)

Часть I

Был канун Рождества…

Сторож переселенческого барака, отставной солдат, с серою, как мышиная шерсть, бородою, по имени Семен Дмитриевич, или попросту Митрич, подошел к жене и весело проговорил, попыхивая трубочкой:

— Ну, баба, какую я штуку надумал!

Аграфене было некогда; с засученными рукавами и расстегнутым воротом она хлопотала в кухне, готовясь к празднику.

— Слышь, баба, — повторил Митрич. — Говорю, какую я штуку надумал!

— Чем штуки-то выдумывать, взял бы метелку да вон паутину бы снял! — ответила жена, указывая на углы. — Вишь, пауков развели. Пошел бы да смёл!

Митрич, не переставая улыбаться, поглядел на потолок, куда указывала Аграфена, и весело сказал:

— Паутина не уйдет; смету… А ты слышь-ка,

баба, что я надумал-то!

— Ну?

— Вот те и ну! Ты слушай.

Митрич пустил из трубки клуб дыма и, погладив бороду, присел на лавку.

— Я говорю, баба, вот что, — начал он бойко, но сейчас же запнулся. — Я говорю, праздник подходит… И для всех он праздник, все ему радуются… Правильно, баба?

— Ну?

— Ну вот я и говорю: все, мол, радуются, у всякого есть свое: у кого обновка к празднику, у кого пиры пойдут… У тебя, к примеру, комната будет чистая, у меня тоже свое удовольствие: винца куплю себе да колбаски!.. У всякого свое удовольствие будет, — правильно?

— Так что ж? — равнодушно сказала старуха.

— А то, — вздохнул снова Митрич, — что всем будет праздник как праздник, а вот, говорю, ребятишкам-то, выходит, и нет настоящего праздника… Поняла?.. Оно праздник-то есть, а удовольствия никакого… Гляжу я на них да и думаю; эх, думаю, неправильно!.. Известно, сироты… Ни матери, ни отца, ни родных… Думаю себе, баба: нескладно!.. Почему такое — всякому человеку радость, а сироте — ничего!

— Тебя, видно, не переслушаешь, — махнула рукой Аграфена и принялась мыть скамейки.

Но Митрич не умолкал.

— Надумал я, баба, вот что, — говорил он, улыбаясь, — надо, баба, ребятишек потешить!.. Потому видал я много народу, и наших и всяких людей видал… И видал, как они к празднику детей забавляют. Принесут, это, елку, уберут ее свечками да гостинцами, а ребятки-то ихние просто даже скачут от радости!.. Думаю себе, баба: лес у нас близко… срублю себе елочку да такую потеху ребятишкам устрою, что весь век будут Митрича поминать! Вот, баба, какой умысел, а?

Митрич весело подмигнул и чмокнул губами.

— Каков я-то?

Аграфена молчала. Ей хотелось поскорее прибрать и вычистить комнату. Она торопилась, и Митрич с своим разговором ей только мешал.

— Нет, каков, баба, умысел, а?

— А ну те с твоим умыслом! — крикнула она на мужа. — Пусти с лавки-то, чего засел! Пусти, некогда с тобой сказки рассказывать!

Митрич встал, потому что Аграфена, окунув в ведро мочалку, перенесла ее на скамью прямо к тому месту, где сидел муж, и начала тереть.

На пол полились струи грязной воды, и Митрич

смекнул, что пришел невпопад.

— Ладно, баба! — проговорил он загадочно. — Вот устрою потеху, так небось сама скажешь спасибо!.. Говорю, сделаю — и сделаю! Весь век поминать будут Митрича ребятишки!..

— Видно, делать-то тебе нечего.

— Нет, баба! Есть что делать: а сказано, устрою — и устрою! Даром что сироты, а Митрича всю жизнь не забудут!

И, сунув в карман потухшую трубку, Митрич вышел во двор.

Часть II

По двору, там и сям, были разбросаны деревянные домики, занесенные снегом, забитые досками; за домиками раскидывалось широкое снежное поле, а дальше виднелись верхушки городской заставы… С ранней весны и до глубокой осени через город проходили переселенцы. Их бывало так много и так они были бедны, что добрые люди выстроили им эти домики, которые сторожил Митрич.

Домики бывали все переполнены, а переселенцы между тем все приходили и приходили. Деваться им было некуда, и вот они раскидыва-

ли в поле шалаши, куда и прятались с семьей и детьми в холод и непогоду. Иные жили здесь неделю, две, а иные больше месяца, дожидаясь очереди на пароходе. В половине лета здесь набиралось народа такое множество, что все поле было покрыто шалашами. Но к осени поле мало-помалу пустело, дома освобождались и тоже пустели, а к зиме не оставалось уже никого, кроме Митрича и Аграфены да еще нескольких детей, неизвестно чьих.

— Вот уж непорядок так непорядок! — рассуждал Митрич, пожимая плечами. — Куда теперь с этим народом деваться? Кто они такие? Откуда явились?

Вздыхая, он подходил к ребенку, одиноко стоявшему у ворот.

— Ты чей такой?

Ребенок, худой и бледный, глядел на него робкими глазами и молчал.

— Как тебя звать?

— Фомка.

— Откуда? Как деревню твою называют?

Ребенок не знал.

— Ну, отца как зовут?

— Тятька.

— Знаю, что тятька… А имя-то у него есть? Ну, к

примеру, Петров, или Сидоров, или, там, Голубев, Касаткин? Как звать-то его?

— Тятька.

Привычный к таким ответам, Митрич вздыхал и, махнув рукою, более не допытывался.

— Родителей-то, знать, потерял, дурачок? — говорил он, гладя ребенка по голове. — А ты кто такой? — обращался он к другому ребенку. — Где твой отец?

— Помер.

— Помер? Ну, вечная ему память! А мать куда девалась?

— Померла.

— Тоже померла?

Митрич разводил руками и, собирая таких сирот, отводил их к переселенческому чиновнику. Тот тоже допрашивал и тоже пожимал плечами. У одних родители умерли, у других ушли неизвестно куда, и вот таких детей на эту зиму набралось у Митрича восемь человек, один другого меньше. Куда их девать? Кто они? Откуда пришли? Никто этого не знал.

«Божьи дети!» — называл их Митрич.

Им отвели один из домов, самый маленький. Там они жили, и там затеял Митрич устроить им ради праздника елку, какую он видывал у бога-

тых людей. «Сказано, сделаю — и сделаю! — думал он, идя по двору. — Пускай сиротки порадуются! Такую потеху сочиню, что весь век Митрича не забудут!»

Часть III

Прежде всего он отправился к церковному старосте.

— Так и так, Никита Назарыч, я к вам с усерднейшей просьбой. Не откажите доброму делу.

— Что такое?

— Прикажите выдать горсточку огарков… самых махоньких… Потому как сироты… Ни отца, ни матери… я, стало быть, сторож переселенский… Восемь сироток осталось… Так вот, Никита Назарыч, одолжите горсточку.

— На что тебе огарки?

— Удовольствие хочется сделать… Елку зажечь, вроде как у путных людей.

Староста поглядел на Митрича и с укором покачал головой.

— Ты что, старик, из ума, что ли, выжил? — проговорил он, продолжая качать головой.

— Ах, старина, старина! Свечи-то небось перед иконами горели, а тебе их на глупости дать?

— Ведь огарочки, Никита Назарыч…

— Ступай, ступай! — махнул рукою староста. — И как тебе в голову такая дурь пришла, удивляюсь!

Митрич как подошел с улыбкой, так с улыбкой же и отошел, но только ему было очень обидно. Было еще и неловко перед церковным сторожем, свидетелем неудачи, таким же, как и он, старым солдатом, который теперь глядел на него с усмешкой и, казалось, думал: «Что? Наткнулся, старый хрен!..» Желая доказать, что он не «на чай» просил и не для себя хлопотал, Митрич подошел к старику и сказал:

— Какой же тут грех, коли я огарок возьму? Сиротам прошу, не себе… Пусть бы порадовались… Ни отца, стало быть, ни матери… Прямо сказать: Божьи дети!

В коротких словах Митрич объяснил старику, зачем ему нужны огарки, и опять спросил:

— Какой же тут грех?

— А Никиту Назарыча слышал? — спросил в свою очередь солдат и весело подмигнул глазом. — То-то и дело!

Митрич потупил голову и задумался. Но делать было нечего. Он приподнял шапку и, кивнув солдату, проговорил обидчиво:

— Ну, так будьте здоровы. До свиданьица!

— А каких тебе огарков-то?

— Да все одно… хошь самых махоньких. Одолжили бы горсточку. Доброе дело сделаете. Ни отца, ни матери… Прямо — ничьи ребятишки!

Через десять минут Митрич шел уже городом с полным карманом огарков, весело улыбаясь и торжествуя.

Ему нужно было зайти еще к Павлу Сергеевичу, переселенческому чиновнику, поздравить с праздником, где он рассчитывал отдохнуть, а если угостят, то и выпить стаканчик водки. Но чиновник был занят; не повидав Митрича, он велел сказать ему «спасибо» и выслал полтинник. «Ну, теперь ладно! — весело думал Митрич. — Теперь пускай говорит баба, что хочет, а уж потеху я сделаю ребятишкам! Теперь, баба, шабаш!»

Вернувшись домой, он ни слова не сказал жене, а только посмеивался молча да придумывал, когда и как все устроить.

«Восемь детей, — рассуждал Митрич, загибая на руках корявые пальцы, — стало быть, восемь конфет…»

Вынув полученную монету, Митрич поглядел на нее и что-то сообразил.

— Ладно, баба! — подумал он вслух. — Ты у

меня посмотришь! — и, засмеявшись, пошел навестить детей.

Войдя в барак, Митрич огляделся и весело проговорил:

— Ну, публика, здравствуй. С праздником!

В ответ раздались дружные детские голоса, и Митрич, сам не зная чему радуясь, растрогался.

— Ах вы, публика-публика!.. — шептал он, утирая глаза и улыбаясь. — Ах вы, публика этакая!

На душе у него было и грустно, и радостно. И дети глядели на него тоже не то с радостью, не то с грустью.

Часть IV

Был ясный морозный полдень.

С топором за поясом, в тулупе и шапке, надвинутой по самые брови, возвращался Митрич из леса, таща на плече елку. И елка, и рукавицы, и валенки были запушены снегом, и борода Митрича заиндевела, и усы замерзли, но сам он шел ровным, солдатским шагом, махая по-солдатски свободной рукой. Ему было весело, хотя он и устал.

Утром он ходил в город, чтобы купить для детей конфет, а для себя — водки и колбасы, до которой

был страстный охотник, но покупал ее редко и ел только по праздникам.

Не сказываясь жене, Митрич принес елку прямо в сарай и топором заострил конец; потом приладил ее, чтобы стояла, и, когда все было готово, потащил ее к детям.

— Ну, публика, теперь смирно! — говорил он, устанавливая елку. — Вот маленько оттает, тогда помогайте!

Дети глядели и не понимали, что такое делает Митрич, а тот все прилаживал да приговаривал:

— Что? Тесно стало?.. Небось думаешь, публика, что Митрич с ума сошел, а? Зачем, мол, тесноту делает?.. Ну, ну, публика, не сердись! Тесно не будет!..

Когда елка согрелась, в комнате запахло свежестью и смолой. Детские лица, печальные и задумчивые, внезапно повеселели… Еще никто не понимал, что делает старик, но все уже предчувствовали удовольствие, и Митрич весело поглядывал на устремленные на него со всех сторон глаза. Затем он принес огарки и начал привязывать их нитками.

— Ну-ка, ты, кавалер! — обратился он к мальчику, стоя на табуретке. — Давай-ка сюда свечку… Вот так! Ты мне подавай, а я буду привязывать.

— И я! и я! — послышались голоса.

— Ну и ты, — согласился Митрич. — Один держи свечки, другой нитки, третий давай одно, четвертый другое…

А ты, Марфуша, гляди на нас, и вы все глядите… Вот мы, значит, все и будем при деле. Правильно?

Кроме свечей, на елку повесили восемь конфет, зацепив за нижние сучки. Однако, поглядывая на них, Митрич покачал головой и вслух подумал:

— А ведь… жидко, публика?

Он молча постоял перед елкой, вздохнул и опять сказал:

— Жидко, братцы!

Но, как ни увлекался Митрич своей затеей, однако повесить на елку, кроме восьми конфет, он ничего не мог.

— Гм! — рассуждал он, бродя по двору. — Что бы это придумать?..

Вдруг ему пришла такая мысль, что он даже остановился.

— А что? — сказал он себе. — Правильно будет или нет?..

Закурив трубочку, Митрич опять задался вопросом: правильно или нет?.. Выходило как будто «правильно»…

— Детишки они малые… ничего не смыслят, — рассуждал старик. — Ну, стало быть, будем мы их забавлять… А сами-то? Небось и сами захотим позабавиться?.. Да и бабу надо попотчевать!

И не долго думая Митрич решился. Хотя он очень любил колбасу и дорожил всяким кусочком, но желание угостить на славу пересилило все его соображения.

— Ладно!.. Отрежу всякому по кружочку и повешу на ниточке. И хлебца по ломтику отрежу, и тоже на елку. А для себя повешу бутылочку!.. И себе налью, и бабу угощу, и сироткам будет лакомство! Ай да Митрич! — весело воскликнул старик, хлопнув себя обеими руками по бедрам. — Ай да затейник!

Часть V

Как только стемнело, елку зажгли. Запахло топленым воском, смолою и зеленью. Всегда угрюмые и задумчивые, дети радостно закричали, глядя на огоньки. Глаза их оживились, личики зарумянились, и, когда Митрич велел им плясать вокруг елки, они, схватившись за руки, заскакали и зашумели. Смех, крики и говор оживили в первый раз эту мрачную комнату, где из года в

год слышались только жалобы да слезы. Даже Аграфена в удивлении всплескивала руками, а Митрич, ликуя от всего сердца, прихлопывал в ладоши да покрикивал:

— Правильно, публика!.. Правильно!

Затем он взял гармонику и, наигрывая на все лады, подпевал:

Живы были мужики,
Росли грибы-рыжики,
Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!

— Ну, баба, теперь закусим! — сказал Митрич, кладя гармонику. — Публика, смирно!..

Любуясь елкой, он улыбался и, подперев руками бока, глядел то на кусочки хлеба, висевшие на нитках, то на детей, то на кружки колбасы, и наконец скомандовал:

— Публика! Подходи в очередь!

Снимая с елки по куску хлеба и колбасы, Митрич оделил всех детей, затем снял бутылку и вместе с Аграфеной выпил по рюмочке.

— Каков, баба, я-то? — спрашивал он, указывая на детей. — Погляди, ведь жуют сиротки-то! Жуют! Погляди, баба! Радуйся!

Затем опять взял гармонику и, позабыв свою

старость, вместе с детьми пустился плясать, наигрывая и подпевая:

Хорошо, хорошо,

Хорошо-ста, хорошо!

Дети прыгали, весело визжали и кружились, и Митрич не отставал от них. Душа его переполнилась такою радостью, что он не помнил, бывал ли еще когда-нибудь в его жизни этакий праздник.

— Публика! — воскликнул он наконец. — Свечи догорают… Берите сами себе по конфетке, да и спать пора!

Дети радостно закричали и бросились к елке, а Митрич, умилившись чуть не до слез, шепнул Аграфене:

— Хорошо, баба!.. Прямо можно сказать правильно!..

Это был единственный светлый праздник в жизни переселенческих «Божьих детей». Елку Митрича никто из них не забудет!

1897

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Ангелочек
Часть I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему показалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все

испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», — и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы,

на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

— Где полуночничаешь, щенок? — крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

— Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыханье отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

— Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, — прошептал он.

— Врешь? — спросил с недоверием Сашка.

— Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

— Врешь? — все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

— Ну-ка подвинься, расселся! — сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: — А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», — протянул Сашка в нос. — Сами хороши, антипы толсторожие.

— Ах, Сашка, Сашка! — поежился от холода отец. — Не сносить тебе головы.

— А ты-то сносил? — грубо возразил Сашка. — Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она

выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съежившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

— А я тебе говорю, что ты пойдешь! — И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

— А я тебе говорю, что не пойду, — хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

— Изобью я тебя, ох как изобью! — кричала

мать.

— Что же, избей!

Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегала к авторитету мужа.

— А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

— Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? — отозвался тот с лежанки. — Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его пьяного поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

— Может быть, и мне что-нибудь с елки прине-

сешь, — продолжал отец.

Он хитрил — Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

— Ну, ладно! — буркнул он. — Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

Часть II

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками

спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

— Ты неблагодалный мальчик? — спросил он Сашку. — Мне мисс сказала. А я холосой.

— Уж на что же лучше! — ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

— Хочешь лузье? На! — протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

— Злой… Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладкозачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

— Вот этот, — сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. —

Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

— Дурная кровь, — вздохнула Софья Дмитриевна. — Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

— Не хочу, — коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

— Что же, братец, в пастухи хочешь? — спросил господин.

— Нет, не в пастухи, — обиделся Сашка.

— Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

— Мне все равно, — ответил он, подумав, — хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза налицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро,

что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

— Я хочу и в ремесленное, — скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

— Но едва ли вакансия найдется, — сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и поглаживая поднявшиеся на затылке волосики. — Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери и чей-то голос сказал:

— Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она

бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален — что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной

желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, непередаваемого словами, неопределяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше,

чем перочинный ножичек, больше, чем отца, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

— Милый… милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и непохож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

— Милый… милый! — шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка — важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала,

утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

— Тетя, а тетя, — сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. — Те… Тетечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.

— Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? — удивилась седая дама. — Это невежливо.

— Те… тетечка. Дай мне одну штуку с елки — ангелочка.

— Нельзя, — равнодушно ответила хозяйка. — Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марией Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

— Я раскаиваюсь. Я буду учиться, — отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

— И хорошо сделаешь, мой друг, — ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

— Дай ангелочка.

— Да нельзя же! — говорила хозяйка. — Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и, когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

— Да ты с ума сошел! — воскликнула седая дама и оглянулась; по счастью, в кабинете никого не было. — Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал:

— Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и

ловившие на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

— Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, — поучительно добавила седая дама, — не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.

«Толкуй там», — думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.

— Красивая вещь, — сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. — Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с ним делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, — солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась

сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

— Ну, на уж, на, — с неудовольствием сказала она. — Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

— А-ах! — вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

— А-ах! — пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, — и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрог-

нул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

— Я домой пойду, — глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. — К отцу.

Часть III

Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

— Хорош? — спрашивал шепотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрагиваться.

— Да, в нем есть что-то особенное, — шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

— Ты погляди, — продолжал отец, — он сейчас полетит.

— Видел уже, — торжествующе ответил Сашка. — Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал:

— Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее — бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, — все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света.

И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, непередаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была ее душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезало настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыно-

симая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким Божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознательным движением положил руки на шею сына, и голова последнего также невольно прижалась к чахоточной груди.

— Это она тебе дала? — прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

— А то кто же? Конечно она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело

в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

— Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? — задумчиво спросил отец.

— Нет, — сознался Сашка. — А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

— А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву…

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, сковырнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

— Ах, Саша, Саша! — всхлипывал отец. — Зачем все это?

— Ну, что еще? — сурово прошептал Сашка. — Совсем, ну совсем как маленький.

— Не буду… Не буду, — с жалкой улыбкой извинился отец. — Что уж… зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Пет-

ровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи… держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба — и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

— Что же ты не раздеваешься? — спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.

— Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, что точно шел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала

печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.

1899

АЛЕКСАНДР КУПРИН

Чудесный доктор

Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я, с своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придал устному рассказу письменную форму.

— Гриш, а Гриш! Гляди-ка, поросенок-то… Смеется… Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри… травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золо-

тившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы; ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала… Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, — поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища.

Он дернул брата за рукав и произнес сурово:

— Ну, Володя, идем, идем… Нечего тут…

Одновременно подавив тяжелый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали

даже звуки веселой польки… Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.

По мере того как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам — все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные косогоры… Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его — собственно подвал — был каменный, а верх — деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили ее.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому

ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс — настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая, худая женщина, с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад свое встревоженное лицо.

— Ну? Что же? — спросила она отрывисто и нетерпеливо.

Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

— Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

— Отдал, — сиплым от мороза голосом ответил Гриша, — Ну, и что же? Что ты ему сказал?

— Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда… Сволочи вы…»

— Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!

— Швейцар разговаривал… Кто же еще? я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман… Есть тоже у барина время ваши письма читать…»

— Ну, а ты?

— Я ему все, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего… Машутка больна… Помирает…» Говорю: «Как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к черту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.

— А меня он по затылку, — сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и

почесал затылок.

Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив наконец оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

— Вот оно, письмо-то…

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на беспрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

— Там борщ есть, от обеда остался… Может, поели бы? Только холодный, — разогреть-то нечем…

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика — все трое даже побледнев от напряженного ожидания — обернулись в эту сторону.

Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли

друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный, роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим… Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не пол города, клянча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети

были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов… Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег… Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу.

— Куда ты? — тревожно спросила Елизавета Ивановна.

Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.

— Все равно, сидением ничего не поможешь, — хрипло ответил он. — Пойду еще… Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть

молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не клянчить, а во второй — его обещали отправить в полицию.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви.

Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, — думал он, — и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом.

Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухающей сигары.

Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

— Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

— Ночка-то какая славная, — заговорил вдруг

незнакомец. — Морозно… тихо. Что за прелесть — русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

— А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, — продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свертков). — Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

— Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я…А у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают… Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел… Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном:

— Подождите… Не волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастиях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку.

Мерцалов невольно тоже встал.

— Едемте! — сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. — Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но… поедемте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на

тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

— Ну, полно, полно, голубушка, — заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. — Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом… Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи.

Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной

книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

— Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку… давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание… Продолжайте согревающий компресс… Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное — не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:

— Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за

вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес:

— Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов…

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова — того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, слывя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез:

— С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор — это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо.

1897

Тапер

Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку.

— Mesdames, а где же тапер? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит — мне не приказывали, тот говорит — это не мое дело… У нас постоянно, постоянно так, — горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. — Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга…

Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к «мелюзге» с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием:

— Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты, — сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты.

Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила:

— Ну, понятно, что от нашей Несмеяны-царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там все это устроила. Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю… Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро шесть часов, через час и елку будем зажигать…

Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее как на прошлое Рождество ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и с ее сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой елки, а что «просто только пришли полотеры». Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие ее некоторым образом со старшими сестрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за десятерых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую

суету, царившую обыкновенно на праздниках в рудневском доме.

Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюш-ков и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых — большой ветхий дом до-екатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного, — круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, «сюрпризом», какие-то соседи по наровчатскому или инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слыхал об их существовании, — и гостили по месяцам. К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших

с собою в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе и вместе с Лидией стремились на Высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и шаловливой влюбленности.

Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, «как у людей», чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время, когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в Зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодежь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфычу с просьбой приготовить «что-нибудь вкусненькое». Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфыч сначала обыкновенно долго не

соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть: говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось еще неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью:

— Ладно уж, ладно… будет петь-то… Сколько вас там, галчата?

Ирина Алексеевна Руднева — хозяйка дома — почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных, официальных случаев. Урожденная княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество ее мужа и детей слишком «мескинно»[17] и «брютально»,[18] и потому равнодушно «иньорировала»[19] его, развлекаясь визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в

---

[17] Примечания: 17
Пошло (от *фр.* mesquin).

[18] Примечания: 18
Грубо (от *фр.* brutal).

[19] Примечания: 19
Игнорировала (от *фр.* ignorer).

седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор еще, несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на десять минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра — элегантный и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище, породистой, слегка седеющей головой.

Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в Английском клубе, а по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шел интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезакладывал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой гран-сеньора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил,

чтобы и в доме у него было шумно и оживленно. Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодежи неожиданное развлечение и самому принять в нем участие. Это случалось большею частью на другой день после крупного выигрыша в клубе.

— Молодые республиканцы! — говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. — Вы, кажется, скоро все заснете от ваших серьезных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная: солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савичны…

Посылали за тройками к Ечкину, скакали сломя голову за Тверскую заставу, обедали в «Мавритании» или в «Стрельне» и возвращались домой поздно вечером, к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти «эскапады[20] дурного тона». Но молодежь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах, под предводительством Аркадия Николаевича.

---

[20] Примечания: 20
Проказы (от *фр.* escapade).

Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в елке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности.

— Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому? — спрашивали Аркадия Николаевича дочери. — Он большой такой, гимназист последнего класса… нельзя же ему игрушку…

— Зачем же игрушку? — возражал Аркадий Николаевич. — Самое лучшее купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукути-на. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошел в гостиную, так он папироску в рукав спрятал…

Аркадий Николаевич любил, чтобы у него елка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году[21] с музыкой про-

[21] Примечания: 21

Рассказ относится к 1885 г.; кстати заметим, что основная фабула его покоится на действительном факте, сообщенном автору в Москве М. А. З — вой, близко знавшей семью, названную в рассказе вымышленной фамилией Рудневых.

изошел целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно; оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день елки, но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего тапера, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот «кто-то», наверно, свалил данное ему поручение на другого, другой — на третьего, переврав, по обыкновению, его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нем…

Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савична, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о тапере, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышниных комнат горничная Дуняша,

подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя ее и никто не спрашивал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай ее Бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о тапере. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная, веселая блондинка, которую вся прислуга обожала за ее ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы.

— Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня, — сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. — Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать тапера. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савичны…

Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза,

запушенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи — Лыковых и Масловских — столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями.

Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня.

Огромная елка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей.

Дуняша все еще не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. Десять раз подбегала она к Тане, отводила ее в сторону и шептала взволнованно:

— Танечка, голубушка, как же теперь нам быть?.. Ведь это же ни на что не похоже.

Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса:

— Я уж не придумаю, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного… А потом я ее сама как-нибудь заменю.

— Благодарю покорно, — насмешливо возразила Лидия. — Тетя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать.

В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошел, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.

— Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним.

— Ну что, привезла? — спросили в один голос все три сестры.

— Пожалуйте-с. Извольте-с посмотреть сами, — уклончиво ответил Лука. — Они в передней… Только что-то сомнительно-с… Пожалуйте.

В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая желтый башлык, окутывавший ее голову.

— Только, барышня, не браните меня, — зашеп-

тала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. — Разрази меня Бог — в пяти местах была и ни одного тапера не застала. Вот нашла этого мальца, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня Бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать…

Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идет о нем, он в неловкой выжидательной позе держался в своем углу, не решаясь подойти ближе.

Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами; несколько наивный вид ему придавали вихры темных волос, завивающихся «гнездышками» по обеим сторонам высокого лба, но большие серые глаза — слишком большие для такого худенького детского лица — смотрели умно, твердо и не по-детски серьезно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет одиннадцать — двенадцать.

Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно:

— Вы говорите, что вам уже приходилось… играть на вечерах?

— Да… Я играл, — ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. — Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький…

— Ах, нет, вовсе не это… Вам ведь лет тринадцать, должно быть?

— Четырнадцать-с.

— Это, конечно, все равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.

Мальчик откашлялся.

— О нет, не беспокойтесь… Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая…

Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру, Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной:

— Вы умеете, молодой человек, играть кадриль?

Мальчик качнулся туловищем вперед, что

должно было означать поклон.

— Умею-с.

— И вальс умеете?

— Да-с.

— Может быть, и польку тоже?

Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:

— Да, и польку тоже.

— А лансье? — продолжала дразнить его Лидия.

— Laissezdone, Lidie, vousetesimpossible,[22] — строго заметила Татьяна Аркадьевна.

Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряженная неловкость его позы внезапно исчезла.

— Если вам угодно, mademoiselle, — резко повернулся он к Лидии, — то, кроме полек и кадрилей, я играю еще все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа.

— Воображаю! — делано, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом.

Мальчик перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь

---

[22] Примечания: 22

Перестаньте же, Лидия, вы невозможны *(фр.)*.

эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.

— Пожалуйста, прошу вас… позвольте мне что-нибудь сыграть…

Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок.

— Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет, — упрашивала она сестру, и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: — Ничего, ничего… Вы сыграете, и она останется с носом… Ничего, ничего.

Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шредеровском фортепиано.

Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагрень нотных тетрадей и раскрыл ее. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным

платьем на черном фоне неосвещенной гостиной, он спросил:

— Угодно вам «Rapsodie Hongroise»[23] номер два Листа?

Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным; бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими.

Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ее на ухо:

— Где вы достали этого карапуза?

— Это тапер, папа, — ответила тихо Татьяна Аркадьевна. — Правда, отлично играет?

---

[23] Примечания: 23
«Венгерская рапсодия» *(фр.).*

— Тапер? Такой маленький? Неужели? — удивлялся Руднев. — Скажите пожалуйста, какой мастер! Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы.

Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой.

— Да, вот оно что… Ну, что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай играет, а потом мы что-нибудь придумаем.

Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный; он искал глазами Лидию, но ее уже не было в зале.

— Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили, — ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. — Только я боюсь, что вы… как вас величать-то, я не знаю.

— Азагаров, Юрий Азагаров.

— Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь кому побренчать. Ну, а теперь сыг-

райте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее.

Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи на елке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумленных забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом елки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска елочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг елки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение.

Тина, которая после внимания, оказанного ее отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под свое покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой.

— Пожалуйста, сыграйте нам польку.

Азагаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платьица, короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и черные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям.

Не переставая играть, он увидел, как в залу вошел пожилой господин, к которому, точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полн. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света.

Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо — одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда: большой четырехугольный лоб был изборожден суровыми, почти гневными морщинами; глаза,

глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомленно и недовольно; узкие бритые губы были энергичны и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства.

Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную, гордую голову похожей на львиную…

Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость, должно быть, очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошел в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошел вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чем-то просившему его хозяину:

— Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом…

— Ну хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня, и для детей это будет навсегда истори-

ческим событием, — продолжал просить хозяин.

В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлен, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев.

Юрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно-повелительный голос Антона Григорьевича:

— Сыграйте, пожалуйста, еще раз рапсодию номер два.

Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение.

Присутствие того, властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу

артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет еще так хорошо играть.

Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ, но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев.

— Вот что, голубчик Азагаров, — заговорил почти шепотом Аркадий Николаевич, — возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте, — в нем деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезет Антон Григорьевич.

— Но ведь я могу еще хоть целый вечер играть, — возразил было мальчик.

— Тсс!.. — закрыл глаза Руднев. — Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?

Юрий недоумевал, раскрывая все больше и

больше свои огромные глаза. Кто же это мог быть, этот удивительный человек?

— Голубчик, да ведь это Рубинштейн. Понимаете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн! И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой…

Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь, его великий учитель.

1900

Бедный принц
Часть I

«Замечательно умно! — думает сердито девятилетний Даня Иевлев, лежа животом на шкуре белого медведя и постукивая каблуком о каблук поднятых кверху ног. — Замечательно! Только большие и могут быть такими притворщиками. Сами заперли меня в темную гостиную, а сами развлекаются тем, что увешивают елку. А от меня требуют, чтобы я делал вид, будто ни о чем не догадываюсь. Вот они какие — взрослые!»

На улице горит газовый фонарь и золотит морозные разводы на стеклах, и, скользя сквозь листья латаний и фикусов, стелет легкий золотистый узор на полу. Слабо блестит в полутьме изогнутый бок рояля.

«Да и что веселого, по правде сказать, в этой елке? — продолжает размышлять Даня. — Ну, придут знакомые мальчики и девочки и будут притворяться, в угоду большим, умными и воспитанными детьми… За каждым гувернантка или какая-нибудь старенькая тетя… Заставят говорить все время по-английски… Затеют какую-

нибудь прескучную игру, в которой непременно нужно называть имена зверей, растений или городов, а взрослые будут вмешиваться и поправлять маленьких. Велят ходить цепью вокруг елки и что-нибудь петь и для чего-то хлопать в ладоши; потом все усядутся под елкой, и дядя Ника прочитает вслух ненатуральным, актерским, «давлючим», как говорит Сонина няня, голосом рассказ о бедном мальчике, который замерзает на улице, глядя на роскошную елку богача. А потом подарят готовальню, глобус и детскую книжку с картинками… А коньков или лыж уж наверно не подарят… И пошлют спать.

Нет, ничего не понимают эти взрослые… Вот и папа… он самый главный человек в городе и, конечно, самый ученый… недаром его называют городской головой… Но и он мало чего понимает. Он до сих пор думает, что Даня маленький ребенок, а как бы он удивился, узнав, что Даня давным-давно уже решился стать знаменитым авиатором и открыть оба полюса. У него уже и план летающего корабля готов, нужно только достать где-нибудь гибкую стальную полосу, резиновый шнур и большой, больше дома, шелковый зонтик. Именно на таком аэроплане Даня чудесно летает — по ночам во сне».

Мальчик лениво встал с медведя, подошел, волоча ноги, к окну, подышал на фантастические морозные леса из пальм, потер рукавом стекло. Он худощавый, но стройный и крепкий ребенок. На нем коричневая из рубчатого бархата курточка, такие же штанишки по колено, черные гетры и толстые штиблеты на шнурках, отложной крахмальный воротник и белый галстук. Светлые, короткие и мягкие волосы расчесаны, как у взрослого, английским прямым пробором. Но его милое лицо мучительно-бледно, и это происходит от недостатка воздуха: чуть ветер немного посильнее или мороз больше шести градусов, Даню не выпускают гулять. А если и поведут на улицу, то полчаса перед этим укутывают: гамаши, меховые ботики, теплый оренбургский платок на грудь, шапка с наушниками, башлычок, пальто на гагачьем пуху, беличьи перчатки, муфта… опротивеет и гулянье! И непременно ведет его за руку, точно маленького, длинная мисс Дженерс со своим красным висячим носом, поджатым прыщавым ртом и рыбьими глазами. А в это время летят вдоль тротуара на одном деревянном коньке веселые, краснощекие, с потными счастливыми лицами, уличные мальчишки, или катают друг друга на салазках, или, отломив от

водосточной трубы сосульку, сочно, с хрустением жуют ее. Боже мой! Хотя бы раз в жизни попробовать сосульку. Должно быть, изумительный вкус. Но разве это возможно! «Ах, простуда! Ах, дифтерит! Ах, микроб! Ах, гадость!»

«Ох, уж эти мне женщины! — вздыхает Даня, серьезно повторяя любимое отцовское восклицание. — Весь дом полон женщинами — тетя Катя, тетя Лиза, тетя Нина, мама, англичанка… женщины, ведь это те же девчонки, только старые… Ахают, суетятся, любят целоваться, всего пугаются — мышей, простуды, собак, микробов… И Даню тоже считают точно за девочку… Это его-то! Предводителя команчей, капитана пиратского судна, а теперь знаменитого авиатора и великого путешественника! Нет! Вот назло возьму, насушу сухарей, отолью в пузырек папиного вина, скоплю три рубля и убегу тайком юнгой на парусное судно. Денег легко собрать. У Дани всегда есть карманные деньги, предназначенные на дела уличной благотворительности».

Нет, нет, все это мечты, одни мечты… С большими ничего не поделаешь, а с женщинами тем более. Сейчас же схватятся и отнимут. Вот нянька говорит часто: «Ты наш прынц». И правда, Даня, когда был маленьким, думал, что он

— волшебный принц, а теперь вырос и знает, что он бедный, несчастный принц, заколдованный жить в скучном и богатом царстве.

Часть II

Окно выходит в соседний двор. Странный, необычный огонь, который колеблется в воздухе из стороны в сторону, поднимается и опускается, исчезает на секунду и опять показывается, вдруг остро привлекает внимание Дани. Продышав ртом на стекле дыру побольше, он приникает к ней глазами, закрывшись ладонью, как щитом, от света фонаря. Теперь на белом фоне свежего, только что выпавшего снега он ясно различает небольшую, тесно сгрудившуюся кучку ребятишек. Над ними на высокой палке, которой не видно в темноте, раскачивается, точно плавает в воздухе, огромная разноцветная бумажная звезда, освещенная изнутри каким-то скрытым огнем.

Даня хорошо знает, что все это — детвора из соседнего бедного и старого дома, «уличные мальчишки» и «дурные дети», как их называют взрослые: сыновья сапожников, дворников и прачек. Но Данино сердце холодеет от зависти,

восторга и любопытства. От няньки он слыхал о местном древнем южном обычае: под Рождество дети в складчину устраивают звезду и вертеп, ходят с ними по домам — знакомым и незнакомым, — поют колядки и рождественские кантики и получают за это в виде вознаграждения ветчину, колбасу, пироги и всякую медную монету.

Безумно-смелая мысль мелькает в голове Дани, — настолько смелая, что он на минуту даже прикусывает нижнюю губу, делает большие, испуганные глаза и съеживается. Но разве в самом деле он не авиатор и не полярный путешественник? Ведь рано или поздно придется же откровенно сказать отцу: «Ты, папа, не волнуйся, пожалуйста, а я сегодня отправляюсь на своем аэроплане чрез океан». Сравнительно с такими страшными словами, одеться потихоньку и выбежать на улицу — сущие пустяки. Лишь бы только на его счастье старый толстый швейцар не торчал в передней, а сидел бы у себя в каморке под лестницей.

Пальто и шапку он находит в передней ощупью, возясь бесшумно в темноте. Нет ни гамаш, ни перчаток, но ведь он только на одну минутку! Довольно трудно справиться с американским механизмом замка. Нога стукнулась о дверь,

гул пошел по всей лестнице. Слава богу, ярко освещенная передняя пуста. Задержав дыхание, с бьющимся сердцем, Даня, как мышь, проскальзывает в тяжелые двери, едва приотворив их, и вот он на улице! Черное небо, белый, скользкий, нежный, скрипящий под ногами снег, беготня света и теней под фонарем на тротуаре, вкусный запах зимнего воздуха, чувство свободы, одиночества и дикой смелости — все как сон!..

Часть III

«Дурные дети» как раз выходили из калитки соседнего дома, когда Даня выскочил на улицу. Над мальчиками плыла звезда, вся светившаяся красными, розовыми и желтыми лучами, а самый маленький из колядников нес на руках освещенный изнутри, сделанный из картона и разноцветной папиросной бумаги домик — «вертеп господень». Этот малыш был не кто иной, как сын иевлевского кучера. Даня не знал его имени, но помнил, что этот мальчуган нередко вслед за отцом с большой серьезностью снимал шапку, когда Дане случалось проходить мимо каретного сарая или конюшни.

Звезда поравнялась с Даней. Он нерешительно

посопел и сказал баском:

— Господа, примите и меня-а-а…

Дети остановились. Помолчали немного. Кто-то сказал сиплым голосом:

— А на кой ты нам ляд?!

И тогда все заговорили разом:

— Иди, иди… Нам с тобой не ведено водиться…

— И не треба…

— Тоже ловкий… мы по восьми копеек сложились…

— Хлопцы, да это же иевлевский паныч. Гаранька, это — ваш?..

— Наш!.. — с суровой стыдливостью подтвердил мальчишка кучера.

— Проваливай! — решительно сказал первый, осипший мальчик. — Нема тут тебе компании…

— Сам проваливай, — рассердился Даня, — здесь улица моя, а — не ваша!

— И не твоя вовсе, а казенная.

— Нет, моя. Моя и папина.

— А вот я тебе дам по шее, — тогда узнаешь, чья улица…

— А не смеешь!.. Я папе пожалуюсь… А он тебя высекет…

— А я твоего папу ни на столечко вот не боюсь… Иди, иди, откудова пришел. У нас дело

товарискоe. Ты небось денег на звезду не давал, а лезешь…

— Я и хотел вам денег дать… целых пятьдесят копеек, чтобы вы меня приняли… А теперь вот не дам!..

— И все ты врешь!.. Нет у тебя никаких пятьдесят копеек.

— А вот нет — есть!..

— Покажи!.. Все ты врешь…

Даня побренчал деньгами в кармане.

— Слышишь?..

Мальчики замолчали в раздумье. Наконец сиплый высморкался двумя пальцами и сказал:

— Ну-к что ж… Давай деньги — иди в компанию. Мы думали, что ты так, на шермака хочешь!.. Петь можешь?..

— Чего?..

— А вот «Рождество твое, Христе боже наш»… колядки еще тоже…

— Могу, — сказал решительно Даня.

Часть IV

Чудесный был этот вечер. Звезда останавливалась перед освещенными окнами, заходила во все дворы, спускалась в подвалы, лазила на

чердаки. Остановившись перед дверью, предводитель труппы — тот самый рослый мальчишка, который недавно побранился с Даней, — начинал сиплым и гнусавым голосом:

— Рождество твое, Христе боже наш…

И остальные десять человек подхватывали вразброд, не в тон, но с большим воодушевлением:

— Воссия мирови свет разума…

Иногда дверь отворялась, и их пускали в переднюю. Тогда они начинали длинную, почти бесконечную колядку о том, как шла царевна на крутую гору, как упала с неба звезда-красна, как Христос народился, а Ирод сомутился. Им выносили отрезанное щедрой рукой кольцо колбасы, яиц, хлеба, свиного студня, кусок телятины. В другие дома их не пускали, но высылали несколько медных монет. Деньги прятались предводителем в карман, а съестные припасы складывались в один общий мешок. В иных же домах на звуки пения быстро распахивались двери, выскакивала какая-нибудь рыхлая, толстая баба с веником и кричала грозно:

— Вот я вас, лайдаки, голодранцы паршивые… Гэть!.. Кышь до дому!

Один раз на них накинулся огромный городо-

вой, закутанный в остроконечный башлык, из отверстия которого торчали белые, ледяные усы.

— Що вы тут, стрекулисты, шляетесь?.. Вот я вас в участок!.. По какому такому праву?.. А?..

И он затопал на них ногами и зарычал зверским голосом.

Как стая воробьев после выстрела, разлетелись по всей улице маленькие христославщики. Высоко прыгала в воздухе, чертя огненный след, красная звезда. Дане было жутко и весело скакать галопом от погони, слыша, как его штиблеты стучат, точно копыта дикого мустанга, по скользкому и неверному тротуару. Какой-то мальчишка, в шапке по самые уши, перегоняя, толкнул его неловко боком, и оба с разбега ухнули лицом в высокий сугроб. Снег сразу набился Дане в рот и в нос. Он был нежен и мягок, как холодный невесомый пух, и прикосновение его к пылавшим щекам было свежо, щекотно и сладостно.

Только на углу мальчики остановились. Городовой и не думал за ними гнаться.

Так они обошли весь квартал. Заходили к лавочникам, к подвальным жителям, в дворницкие. Благодаря тому, что выхоленное лицо и изящный костюм Дани обращали общее внимание, он старался держаться позади. Но пел он, кажет-

ся, усерднее всех, с разгоревшимися щеками и блестящими глазами, опьяненный воздухом, движением и необыкновенностью этого ночного бродяжничества. В эти блаженные, веселые, живые минуты он совершенно искренно забыл и о позднем времени, и о доме, и о мисс Дженерс, и обо всем на свете, кроме волшебной колядки и красной звезды. И с каким наслаждением ел он на ходу кусок толстой холодной малороссийской колбасы с чесноком, от которой мерзли зубы. Никогда в жизни не приходилось ему есть ничего более вкусного!

И потому при выходе из булочной, где звезду угостили теплыми витушками и сладкими кренделькими, он только слабо и удивленно ахнул, увидя перед собою нос к носу тетю Нину и мисс Дженерс в сопровождении лакея, швейцара, няньки и горничной.

— Слава тебе, господи, нашелся наконец!.. Боже мой, в каком виде! Без калош и без башлыка! Весь дом с ног сбился из-за тебя, противный мальчишка!

Славильщиков давно уже не было вокруг. Как недавно от городового, так и теперь они прыснули в разные стороны, едва только почуяли опасность, и вдали слышался лишь дробный звук

их торопливых ног.

Тетя Нина — за одну руку, мисс Дженерс — за другую повели беглеца домой. Мама была в слезах — бог знает, какие мысли приходили ей за эти два часа, когда все домашние потеряв головы бегали по всем закоулкам дома, по соседям и по ближним улицам. Отец напрасно притворялся разгневанным и суровым и совсем неудачно скрывал свою радость, увидев сына живым и невредимым. Он не меньше жены был взволнован исчезновением Дани и уже успел за это время поставить на ноги всю городскую полицию.

С обычной прямотой Даня подробно рассказал свои приключения. Ему пригрозили назавтра тяжелым наказанием и послали переодеться.

Он вышел к своим маленьким гостям вымытый, свежий, в новом красивом костюме. Щеки его горели от недавнего возбуждения, и глаза весело блестели после мороза. Очень скучно было притворяться благовоспитанным мальчиком, с хорошими манерами и английским языком, но, добросовестно заглаживая свою недавнюю вину, он ловко шаркал ножкой, целовал ручку у пожилых дам и снисходительно развлекал самых маленьких малышей.

— А ведь Дане полезен воздух, — сказал отец,

наблюдавший за ним издали, из кабинета. — Вы дома его слишком много держите взаперти. Посмотрите, мальчик набегался, и какой у него здоровый вид! Нельзя держать мальчика все время в вате.

Но дамы так дружно накинулись на него и наговорили сразу такую кучу ужасов о микробах, дифтеритах, ангинах и о дурных манерах, что отец только замахал руками и воскликнул, весь сморщившись:

— Довольно, довольно! Будет… будет… Делайте, как хотите… Ох, уж эти мне женщины!..

1909

КЛАВДИЯ ЛУКАШЕВИЧ

Рождественский праздник

Далекий Рождественский сочельник. Морозный день. Из окон видно, как белый, пушистый снег покрыл улицы, крыши домов и деревья. Ранние сумерки. Небо синеет.

Мы с Лидой стоим у окна и смотрим на небо.

— Няня, скоро придет звезда? — спрашиваю я.

— Скоро, скоро, — торопливо отвечает старушка. Она накрывает на стол.

— Няня, смотри, вон уже звезда пришла на небо, — радостно говорит Лида.

— Эта не та.

— Почему не та? Посмотри хорошенько.

— Та будет побольше… Эта очень маленькая, — говорит няня, едва взглянув в окно.

— Ты сказала до первой звезды, — плаксиво замечает сестра.

— Ведь мы проголодались. Очень есть хочется, — говорю я.

— Подождите, детушки… Теперь уже скоро… Потерпите.

— Дай ты им чего-нибудь перекусить… Совсем заморила девочек. — Мама услышала наш разговор, вышла из своей комнаты и крепко целует

нас.

— Вот еще, что выдумала!.. Разве можно есть до звезды? Целый день постились. И вдруг не дотерпеть. Грешно ведь, — серьезно возражает няня. Нам тоже кажется, что это грешно, ведь у нас будет кутья. Надо ее дождаться. Взрослые целый день постились и не едят до звезды. Мы тоже решили поститься, как и большие… Но сильно проголодались и нетерпеливо повторяем: «Ах, скорее бы, скорее пришла звезда».

Няня и мама накрыли стол чистой скатертью и под скатерть положили сено… Нам это очень нравится. Мы знаем, что это делается в воспоминание величайшего события: Господь наш родился в пещере и был положен в ясли на сено.

Мы не обедали, как обычно, в три часа, а будем ужинать «со звездою», то есть когда стемнеет и на небе загорятся первые звездочки. У нас будет кутья из рису, кутья из орехов, пшеница с медом и разные постные кушанья из рыбы. Кроме того, на столе поставят в банках пучки колосьев пшеницы и овса. Все это казалось нам, детям, важным и знаменательным. В нашей квартире так было чисто прибрано, всюду горели лампады; настроение было благоговейное, и целый день поста и эта кутья раз в году — все говорило о на-

ступлении великого праздника… Няня, конечно, не раз напоминала нам, что «волхвы принесли Божественному Младенцу ладан, смирну, золото и пшеницу». Оттого в сочельник надо есть пшеницу.

Папа наш был малоросс, и многие обряды совершались в угоду ему. Где-то далеко в маленьком хуторе Полтавской губернии жила его мать с сестрой и братом. И там они справляли свою украинскую вечерю и «кутью». Папа нам это рассказывал и очень любил этот обычай. Но в сером домике бабушки и дедушки тоже в Рождественский сочельник всегда справлялась «кутья»… Как у них, так и у нас непременно бывал в этот вечер приглашен какой-нибудь одинокий гость или гостья: дедушкин сослуживец или папин товарищ, которому негде было встретить праздник. Справив «кутью», мы отправлялись ко всенощной. Но мы с сестрой в волнении: ждем чего-то необычайного, радостного. Да и как не волноваться: ведь наступило Рождество.

Может быть, будет елка… Какое детское сердце не забьется радостью при этом воспоминании. Великий праздник Рождества, окруженный духовной поэзией, особенно понятен и близок ребенку… Родился Божественный Младенец, и

Ему хвала, слава и почести мира. Все ликовало и радовалось. И в память Святого Младенца в эти дни светлых воспоминаний все дети должны веселиться и радоваться. Это их день, праздник невинного, чистого детства…

А тут еще является она — зеленая стройная елочка, о которой сохранилось столько легенд и воспоминаний… Привет тебе, милая любимая елочка!.. Ты несешь нам среди зимы смолистый запах лесов и, залитая огоньками, радуешь детские взоры, как по древней легенде обрадовала Божественные очи Святого Младенца. У нас в семье был обычай к большим праздникам делать друг другу подарки, сюрпризы, неожиданно порадовать, повеселить… Все потихоньку готовили свои рукоделия, мы учили стихи; под Новый год и на Пасху под салфетки каждому клали приготовленные подарки… Нас, детей, это очень занимало и радовало. Подарки бывали простые, дешевые, но вызывали большой восторг.

Елку показывали неожиданно, сюрпризом, и родители, няня и тетушки готовили ее, когда мы ложились спать.

За два или за три дня до Рождества мама печально говорила: «Бедные девочки, нынче им елки не будет… Денег у нас с папой нет. Да и

елки дороги. В будущем году мы вам сделаем большую хорошую елку. А нынче уж проживем без елки»…

Против таких слов ничего нельзя было возразить… Но в огорченной детской душе все-таки таилась и обида, и смутная надежда. Веришь и не веришь словам мамы и близких.

В первый день Рождества сколько счастливых детских голов поднимается ото сна с радостной грезой, в которой мерещится хвойное деревце, сколько наивных ожиданий наполняет детское воображение… И как весело, заманчиво мечтать о золотой рождественской звезде, о какой-нибудь кукле, барабане, ярких огоньках на ветвях любимого деревца. У всех детей столько мечтаний, желаний, столько надежд связано с праздником Рождества.

— Лида, Лида, понюхай, ведь елкой пахнет, — говорю я, просыпаясь в рождественское утро в самом веселом расположении духа. Румяное, полное лицо сестры отрывается от подушки. Она уморительно морщит свой маленький нос.

— Да, пахнет… Правда… Как будто бы пахнет.

— А как же говорили, что елки не будет в этом году!

— Может, и будет. В прошлом году тоже ска-

зали: не будет. А потом все было, — вспоминает сестра. Няня уже тут как тут.

— Нянечка, отчего елкой пахнет? — серьезно спрашиваю я.

— Откуда ей пахнуть… Когда ее и в помине-то нет… Вставайте, барышни-сударышни. Сейчас «христославы» придут…

— Это дедушкины мальчишки?

— Наверно, со звездою. Дедушка им красивую склеил.

— Конечно, наш забавник старался для своих ребят… Была я у них, весь пол в кабинете замусорен, точно золотом залит… А звезда горит, переливается… Вот увидите, что это за звезда.

В то далекое время был обычай «христославам» ходить по квартирам «со звездой» и петь рождественские песни. Обыкновенно в каждом доме собиралась местная беднота: мальчики-подростки выучивали рождественские песни, делали звезду и шли по квартирам славить Христа. Не успеешь одеться, умыться, как, бывало, няня скажет: «Пришли со звездою». Слышим топот детских ног, и партия человек шесть — десять войдет в комнату. Мальчики встанут перед образами и запоют «Рождество Твое» и «Дева днесь»… Затем громко поздравят с праздником. Иногда

это пение выходило очень стройно и красиво. Было что-то трогательное и праздничное в появлении «христославов». Мы с сестрой очень это любили, радовались и с нетерпением ожидали их прихода.

«Христославы» приходили в первый день несколько раз. У нас никому не отказывали: всех оделяли копейками и пряниками… Но мы особенно ждали «дедушкиных мальчишек». Мы бы узнали их из тысячи, они появлялись с такой прекрасной, замысловатой звездой, какой ни у кого не было. Ведь ее делал сам наш художник — дедушка. Даже нянечка и та как-то особенно ласково и приветливо говорила:

— Ну вот, наконец-то и дедушкины ребята идут.

Мы замирали от волнения… Ребята застенчиво входят в комнату, а впереди них двигается прекрасная золотая звезда… Она на высоком древке, кругом золотое сияние — дрожит и переливается… А в середине — изображение Рождества Христова.

— Видишь, Лида, там Христос родился, — указываю я сестре на звезду.

— Вижу… Это дедушка нарисовал… Знаю…

Нам казалось, что дедушкины мальчики пели

как-то особенно громко и стройно…

Знакомые приветливые лица «босоногой команды» улыбались нам с сестрой… А мы конфузились и прятались за няню, за маму. «Дедушкиных мальчишек» оделяли, конечно, щедрее других. Их даже поили горячим сбитнем… Как они бывали рады и долго вспоминали об этом.

В первый день Рождества несколько омрачалось наше радостное настроение… Мы не знали, будет у нас елка или нет…

— Мама говорит, что не будет…

— А почему она смеется, — взволнованно говорю я сестре. — Отвернулась и засмеялась…

— Она всегда смеется…

— А почему дверь в их комнату закрыта? И елкой пахнет!..

— Мама сказала, что там был угар… И комнату проветривают… Холодно там.

Рассказ про угар похож на правду и начинаешь ему верить. Все-таки волнение не покидает нас. И мы таинственно советуемся:

— Можно подглядеть в щелочку.

— Нет, нянечка говорила, что нехорошо подглядывать.

Но искушение бывало так велико, что мы украдкой подглядывали в щелочку… И видели что-то

прекрасное, сверкающее, зеленое… Похожее на елку… Бывало, в своем уголке мы уже переиграем в «христославов», устроим из какого-нибудь цветка куклам елку. Но когда придут бабушка и дедушка с тетями и принесут в руках пакеты, то надежда снова наполнит наши сердца… Вскоре тетя Манюша займет нас рассказом… Заслушаешься и забудешь на время об елке… Вдруг мама запоет что-нибудь веселое… И нас торжественно введут в закрытую комнату. Дверь распахнулась — и там сияет огнями елка. Не знаю, хорош ли был старинный прием внезапно радовать детей елкой. Восторг бывал так силен, что дух захватывало от радости. Стоишь долго, рот разиня, и слова не можешь сказать. Глаза сверкают, щеки разгорятся, и не знаешь, на что смотреть. А мама с папой схватят за руки и начнут кружиться вокруг елки с песнями.

Елка наша бывала скромная, маленькая, но убранная красиво, с любовью. Под елкой лежат подарки. Каждый чем-нибудь порадует другого. Тетеньки вышили нам передники. Бабушка сшила по мячику из тряпок. Папа с дедушкой сделали скамейки; мама нарисовала картинки. Няня одела наших кукол. Мы тоже всем сделали подарки: кому стихи, кому закладку, кому свя-

зали какие-то нарукавнички. Все было сделано по силам и с помощью няни. Взрослые, особенно мама и тетеньки, с нами пели и плясали кругом елки. Было весело. Но, к сожалению, в раннем детстве на наших елках и праздниках никогда не бывало детей; у нас совсем не было маленьких друзей… Помню, как-то раз няня привела детей прачки и посадила под елку.

Сначала мы думали, что это огромные куклы… Но когда рассмотрели, то не было предела восторгу и радости. Мы не знали, как и чем занять, повеселить и одарить наших друзей… Ребенок все же рвется к обществу своих сверстников, к детским интересам и играм с товарищами. И кажется, та наша елка, когда у нас были в гостях дети прачки, была самая веселая и памятная.

Совсем другие елки бывали у дедушки… На них бывало слишком много детей. «Папенька для своих мальчишек старается, а вовсе не о внучках думает», — недовольным голосом говорила тетя Саша. Но и внучки бывали в неописанном восторге от дедушкиной елки. В маленькой квартирке серого домика скрыть само деревцо бывало невозможно… И мы его видели заранее — прелестное и разукрашенное затейливыми цепочками, фонариками, звездами и бонбоньер-

ками. Все это дедушка клеил сам, и ему помогали папа и мама…

Но, кроме елки, на празднике нас и ребят «босоногой команды», которых в кабинете дедушки набиралось человек двенадцать-пятнадцать, всегда ожидал какой-нибудь сюрприз, который нас радовал и увлекал не менее елки. Наш затейник дедушка делал удивительные вещи: ведь он был мастер на все руки.

«Что-то покажет нам дедушка? Что он еще придумал?!» — волновались мы с Лидой.

Нас и других гостей отправляли в кухню, а в кабинете слышался шепот нетерпеливых голосов. Дедушка шел в залу и там сначала звонил в какие-то звонки, затем в свистульку, кричал петухом. После садился за свое фортепиано и сам играл старинный трескучий марш. Он только его и знал. Под этот марш мы выходили из кухни, а мальчишки — из кабинета. Их обыкновенно выводила мама или наш отец. Мы все под дедушкин марш обходили елку и садились на приготовленные скамейки. Сразу же начиналось представление. Каждый год оно бывало различное: однажды дедушка устроил кукольный театр, и все его бумажные актеры говорили на разные голоса, кланялись, пели, танцевали, как насто-

ящие. В другой раз он показывал фокусы. При этом у него на голове была надета остроконечная шапка и черная мантия с золотыми звездами. Наивные зрители были поражены, как это у дедушки изо рта выходит целый десяток яблок, из носа падают монеты, исчезает в руках платок. Мы все считали его великим магом и чародеем.

Но лучше всего дедушка устраивал туманные картины. При помощи нашего отца он сам сделал великолепный волшебный фонарь, сам нарисовал на стеклах массу картин: это были вертящиеся звездочки, прыгающие друг через друга чертенята, вырастающий у старика нос необыкновенных размеров… При этом все показываемые картины старик пересыпал рассказами и прибаутками, шутками; показывая на экране какую-то тощенькую девицу, он говорил: «Вот вам девица Софья, три года на печи сохла, встала, поклонилась да и переломилась. Хотел ее спаять, не будет стоять; хотел сколотить — не будет ходить… Я взял ее иголкой сшил и легонько пустил».

Все, конечно, покатывались от смеха, особенно мальчики.

После представления шло веселье вокруг зажженной елки. Дедушка играл свой марш, и ребята ходили и даже плясали… Помню, что

всех ребят, как и у нас, поили горячим сбитнем и чем-то угощали… Под конец бывал такой номер, против которого всегда восставали бабушка и тетки. И нам в нем строго было запрещено участвовать. Но нас он занимал и привлекал, и мы завидовали, что не можем принять участия. Елку тушили; дедушка валил ее на пол и кричал: «Разбирай, ребята!» Тут уже начиналась свалка, крики и шум. Ребята бросались на елку и очищали ее до последнего пряника… Затем со смехом выволакивали на двор и там обдирали даже ветки…

Дедушка бывал очень весел и доволен за свою босоногую команду Он сам превращался в ребенка: пел, шутил, возился, играл свой марш… Каким светлым лучом бывал этот праздник в сереньком домике для ребят горькой бедноты, которые попадали на эту елку «советника». Она им снилась целый год и блестела еще ярче, чем та рождественская звезда, которую клеил им дедушка и с которою они славили Христа.

Заветное окно
(Рождественский рассказ)

Часть I

Был конец Рождественского поста. Уже несколько дней стояли лютые сибирские морозы. Казалось, все застыло в воздухе, всюду замерла жизнь, и ледяное дыхание зимы было опасно для всякого, кто отважился бы показаться на улице.

Зима в том году стала рано. Снегу выпало много. И этот белый, пушистый, крепкий снег сплошь покрывал и леса, и поля, и дороги; иную деревню или небольшой городок так засыпал, занес, что как будто туда не было ни прохода, ни проезда.

В самый Рождественский сочельник мороз был особенно силен. У путников захватывало дыхание, слипались глаза, покрывались сосульками усы, брови, ресницы; многие отморозили себе ноги, руки, носы, уши; иные и совсем погибли в пути, птицы замерзали на лету.

Когда стемнело, глубокое синее небо загорелось мириадами огоньков, узенький серебристый рог луны показался на горизонте, а окрестный воздух был особенно тих, и прозрачен, и резок, как это

бывает в сильные морозы.

Среди невообразимого снежного поля, которому в темноте не виделось конца, шли два путника. Кругом было тихо, темно; ни звука, ни движения… Лишь в небе сияли звезды, да под ногами хрустел крепкий снег. Если зорко присмотреться, то по этому блестящему белому снегу вилась протоптанная узкая тропинка.

Путники шли молча, поминутно сбиваясь с тропинки и увязая по сторонам в снегу. Один был закутан с ног до головы в какую-то хламиду, должно быть, в сибирскую доху, другой — в коротком кафтане, и голова его была обмотана платком.

— Бррр… Околел! Руки и ноги знобит… Должно быть, капут… Не дойти… — дрожащим голосом, заикаясь, проговорил последний.

— Молчи, Рыжий… Скоро дойдем… Я эти места знаю… Будет работа… Обогреемся… — отвечал другой басом, покашливая.

— Знаю эти места и я… Только работа тебе будет во какая: меня в яму свалить.

— Шагай, шагай! Знай помалкивай… Скоро дома будем, — подбадривал товарища спутник.

— Мой дом между четырьмя досками.

— Перестань-ка… Поди, родненькие ждут…

Каши, щей, пельменей жирных наварили, гуся зажарили… Теперь праздничек.

Спутник его ничего не ответил, но тяжело вздохнул, и неопределенный стон вырвался из его груди.

— Мороз-то тебя спугнул, Рыжий… Никак, ты хнычешь? Эх ты, баба! — упрекнул товарищ.

В это время оба они замолчали и замедлили шаг: дорога пошла в гору — и чем дальше, тем круче. Длинная доха одного пешехода мешала ему; он то и дело спотыкался, даже два раза упал и вставал с громкой бранью; другой, что был в коротком кафтане и платке, шел, охая, вздыхая, и что-то бормотал про себя непонятное… Они взошли на гору.

— Видишь… Так я и знал! За этой горой не то село, не то городишко… Дрянной, маленький… Да ничего себе… Будет работа — будет и хлебец, — многозначительно проговорил тот, что был в дохе.

Другой остановился как вкопанный, дышал тяжело и прерывисто и хватался рукой то за голову, то за грудь, как будто ему было больно или он вспоминал что-то, силился высказать и не мог…

— Да, да… городишко… Село… дрянное, маленькое… так… незначащее, — бормотал он,

поминутно откашливаясь, как будто подавился или кто-нибудь хватал его за горло…

— Эй, приятель, никак ты ополоумел с морозу… Рыжий, ты что дуришь?! Тебе я говорю…

— Я ничего, Косой… ничего… Не кричи… Сам знаю… Вижу… Чего пристал…

— Полно тебе, приятель, пойдем… Не то и взаправду замерзнем… Даже меня пробирает, а ты налегке, — уже смягчаясь, проговорил товарищ.

— Пойдем, — решительно выкрикнул его странный спутник. — Чур, меня слушаться: я эти места признал… Бывал тут раньше, хорошо работал… Послушаешь — и дело будет сделано…

Наши приятели стали спускаться с горы. Мужчина, который был в дохе, искоса с удивлением посматривал на товарища и с горечью думал: «Немного рехнулся, бедняга… Придется его где-нибудь оставить».

Внизу, под горою, мерцали в темноте огоньки, слышалась вдали колотушка ночного сторожа, раздавался лай собак, бегавших на цепях около жилища.

Наши пешеходы были уже близко. На пустынной улице большого сибирского села никого не было видно, не слышно было никакого движения. В избах виднелись огни. В эту торжественную

ночь никто не спал: вернувшись из храма и дождавшись первой звезды, православные радостно встречали праздник, каждый — как мог.

— Что это за городишко? Али село большое? — спросил мужчина в дохе, останавливаясь около изгороди, отделявшей какое-то поле, и всматриваясь в даль.

Там в темноте мелькали силуэты домов, занесенных снегом.

— А кто его знает… Так, кажись, село, — послышался глухой ответ.

— У-у-у-у! Как холодно! Хоть бы в трактир зайти, обогреться…

— Заходи… Коли еще шея цела… Много ли у тебя капиталов-то на кутеж?

— Медный грош да пуговица.

— Деньги большие, Косой… Раскутиться есть на что…

— Слышишь, собаки заливаются…

— Город мал, а собак много…

— Пусть лают, волков пугают…

— Мы хошь волки, да двуногие… Не испугаемся.

— Есть ли у тебя для них угощение, Рыжий?

— Есть. Еще три лепешки…

— Сыты будут…

— Что ж мы, вместе за дело примемся?.. Надо оглядеться…

— Ты осторожнее… Топор при тебе ли?

— При мне… За поясом.

— Алом где? А отвертка?..

Тот, что был в коротком кафтане, ничего не ответил. Прислонившись к плетню, он стоял как окаменелый и что-то соображал…

— Рыжий, гляди, вот домишко в стороне… Способно. Близко жилья нет… Осмотримся, да и за работу… Дай-кось мне топор. Пойдем… — И товарищ его крадучись двинулся вперед.

Рыжий рванулся за ним. Он хорошо знал этот дом: он шел к нему, и теперь все его помыслы были направлены к тому, чтобы товарищ ни о чем не догадался и чтобы его удалить.

— Стой… Нет… Нельзя… Тут собаки… Опасно…

— Что ты мелешь?

— Подожди, что я тебе скажу… Слушай! Тут нельзя… Тут злые собаки…

— Ты что же, шутки шутишь?! Смеешься, что ли?! Смотри у меня. Давай сюда топор! я один пойду! — грозным шепотом крикнул мужчина в дохе и, весь трясясь от злобы, подступил к товарищу, сжимая кулаки. Тот отступил.

— Не серчай, Косой… Полно, что тут… Правда,

у меня в голове словно кто шилом вертит… Все запамятовал…

— Дай мне топор и отвертку… Я пойду один… Ну тебя. Провались ты сквозь землю… Знать тебя не хочу!..

— Слушай, Косой… Я вспомнил… У меня двадцать восемь копеек есть. Отвались мой язык, коли я вру…

— Что ж ты раньше, черт, не говорил?…

— Вот возьми… Иди скорее в трактир… Я один обработаю этот домишко… Одному лучше… А ты как выйдешь из села, там, на повороте, харчевня будет… Ты обогрейся… За харчевней гора, за горой такая лощинка, дальше лесок… В лесу меня и жди… Я тебя на рассвете нагоню…

Мужчина в коротком кафтане засуетился, присел, стал шарить за сапогом, и в его руках действительно скоро брякнули медные деньги.

— Вот, бери, тут двадцать восемь копеек… Так все и сделай, как я сказал…

— Ну тебя к свиньям!.. С тобой и впрямь беды наживешь, — буркнул в ответ ему товарищ и, взяв деньги, направился в сторону, подумав про себя: «У него на чердаке не в порядке, пусть его схватят и в сумасшедший дом упрячут… Надоел хуже горькой редьки!..»

Между тем другой прохожий ползком, крадучись приблизился к маленькой крайней хатке… Это была сибирская заимка в три окна, в стороне от села… Кругом — невысокий забор, кой-какие угодья, дальше — еще изба, не то сарай, не то старая баня с окном, которое зияло своим черным отверстием. Окна в жилом доме были накрепко закрыты ставнями, и сквозь щели пробивались узенькие полоски света.

Несчастный бродяга или беглый (конечно, это был именно бродяга, подползший к этому дому с недобрыми намерениями) приподнялся около окон… Он протянул вперед руки, как бы лаская и охватывая дом, прильнул к щели и весь затрясся… Из его груди вырывались сдержанные глухие вздохи и едва слышные стоны… Он боялся, вероятно, что его услышат…

Но кругом была невозмутимая тишина. Собаки лаяли вдали, колотушка сторожа слышалась еще дальше… В маленьком доме как будто все заснули или вымерли.

Бродяга, шатаясь, побрел около дома и остановился около избы с одним окном. Он забыл и про лютый мороз, и про опасность быть пойманным. Он приподнялся на цыпочки и заглянул в окно… Оно было небольшое, — едва могла пролезть

голова, — без ставней, без стекол, просто какое-то странное отверстие, неизвестно для чего…

(В Сибири во многих селах и сейчас есть обычай в избах делать открытые окна, на них кладут хлеб, деньги. Про это подаяние знают бродяги и ночью уносят их.)

И вдруг в этом окне мелькнула детская рука. «Тут положу… Прежний весь взяли… Должно быть, прошли…» — прошептал детский голос. Руки стали что-то шарить и укладывать. Едва они сделали движение по подоконнику, как внезапно их схватили другие руки — большие, сильные, холодные. Мальчик ахнул, хотел громко крикнуть, но его рот зажали, голову охватили те же сильные и холодные руки. «Молчи! Молчи, милый! Кеша, не пугайся… Молчи!» — послышался чей-то шепот и глухое, сдавленное рыдание. Затем на мгновение наступила тишина…

Часть II

Большое сибирское село Тагильское тянулось на три версты. Оно пролегало по главному сибирскому тракту, и его единственная улица, застроенная по обе стороны домами, то спускалась с горы, то поднималась в гору. Рядом с больши-

ми, красивыми деревянными домами ютились бедные избы, как и во всех сибирских селах. Жители Тагильского по преимуществу занимались извозом и содержанием лошадей для почтовой гоньбы. Жизнь текла там однообразно, — только приезжие вносили оживление, да и к ним уже все привыкли.

Перед праздниками село оживлялось: из столиц подвозили товары, из окрестных сел, стоявших в стороне, из заимок и юрт инородцев приносили местные продукты. Праздники встречали каждый по своим средствам, но главным образом ели и пили. В двухэтажных домах жарили козлятину, лосину, гусей, поросят, баранину, варили пельмени, готовили пироги с нельмой, максунами, омулями, пекли шанежки и пшеничники и всякое другое вкусное сибирское печенье. В бедных домах и избах готовилось всего, конечно, мало, а часто и готовить-то было нечего.

В крайней хатке, которая стояла особняком в конце села, казалось, забыли, что наступал большой праздник. Не видно было предпраздничного оживления: уборки, стряпни, приготовлений; не слышно было веселых голосов. Или люди, жившие тут, были до крайности бедны, или их не радовал наступавший праздник. Однако в

горнице не замечалось признаков нужды: столы, скамейки, сундуки, кое-какая домашняя утварь, посуда, на окнах занавески и цветы — все было в исправности…

У стола, опустив голову, сидела молодая женщина; в руках у нее была чашка и полотенце; она что-то делала, потом присела и глубоко задумалась, позабыв обо всем на свете… Лицо ее было печально, в глазах светилась тупая покорность…

За печью кто-то кряхтел, охал и вздыхал. В этих вздохах тоже слышалось горе. По горнице медленно пробирался огромный сибирский кот; его пушистый длинный хвост волочился по полу, и плутовские глаза еле виднелись из-за длинной шерсти, покрывавшей и голову, и все туловище. Женщина, сидевшая у стола, шевельнулась, еще ниже нагнула голову, еще глубже задумалась. Кот перепугался и стремительно бросился от нее под печку; верно, и ему жилось невесело.

Скрипнула дверь и отворилась: вошел мальчик, высокий, коренастый, в тулупчике и в огромных валенках. Его открытое лицо было простодушно и весело, в живых глазах светилась детская радость… Но, войдя в избу и окинув все пытливым взглядом, он съежился, улыбка сбежала с его губ. Сняв мохнатую шапку, он вертел ее в руках,

переминался и, почесывая трепаную головенку, то заглядывал за печь, то посматривал на сидевшую у стола женщину. Она точно окаменела, не шелохнулась и даже не взглянула на него…

Мальчик все порывался заговорить и, наконец, решился:

— Мама, мама!

Никто ему не ответил. Увидев кота, вылезшего из-под печки, мальчик подозвал его, присел на пол, стал гладить и нечаянно наступил на хвост. Кот мяукнул. Женщина сорвалась с места.

— Чего ты балуешь! Угомону на тебя нет! — крикнула она сердито.

Мальчик, по-видимому, мало испугался.

— Мама, а мама, слушай!

— Что тебе?

— Звезда уже пришла… Ночь светлая, морозная… Небо ясное…

Мать ему ничего не ответила и стала чего-то искать в углу, полезла на полку, переставила там горшки и опять задумалась.

— Мама, а мама, у доктора будет елка, у урядника будет елка, и в школе…

— Провались они все и с елками… Нам-то что?..

На мальчика взглянули впалые, полные слез

глаза. Он не стал больше разговаривать о том, что его интересовало и, очевидно, рвалось у него с языка; раздевшись, он присел на скамейку с котом на руках и, вздохнув, спросил:

— Мама, а ужинать будем?

— И то… Забыла я… Маменька, вставай… Я ужин соберу…

За печкой послышалось движенье, оханье, вздохи, и оттуда вышла маленькая, сгорбленная старушка; глаза у нее были тусклые, голова тряслась. Она поглядела на мальчика, подошла к нему, погладила по голове и села рядом.

— Бабушка, сегодня у доктора будет елка… А завтра у урядника, а послезавтра в школе, — шепотом сообщил мальчик.

— Молчи… Тише ты… — И старушка кивнула головой на молодую женщину.

Мальчик пригнулся головой к самому уху старушки и зашептал:

— Слышь, бабушка, гостинцев-то доктору из Москвы прислали. Хорошие страсть, разные, разные… А в школе фонарь такой будет… И сказки читать будут…

— Тише ты…

— Однако, бабушка, пустит ли мама меня в школу-то на елку? — чуть слышно прошептал

мальчик.

В это время молодая женщина вышла из горницы.

— Бабушка, мама-то все молчит либо ругается, — заметил мальчик с горечью.

— Ох, Кеша, у нее тяжелое горе… Я-то что… И глаза выплакала, и душу иссушила… Скоро и конец… А она молода… Долго еще ей горевать, маяться.

Мальчик задумался, — Что делать! Надо нести тяжелый крест… Сам Господь нес и не роптал, — продолжала старушка и дрожащей рукой обнимала внука.

— Твой отец, Кеша, разбойник… А ты все-таки молись за него, вспоминай, проси Господа простить его… Тяжко, дитятко, думать о нем. Все-таки жаль… сердце болит… — Старушка заплакала.

— А маме его не жаль, — сказал мальчик, как бы отвечая на свои мысли.

— Жалеет… Она уж такая гордая… Не покажет… Все в себе таит… Хоть и разбойник, а все-таки жалеет…

В это время молодая женщина вернулась с краюшкой хлеба.

— Садитесь ужинать, — сказала она тихо.

— Вот и праздничек пришел, — проговорила

старушка, крестясь и двигаясь к столу.

Ужин был скромный: только похлебка дымилась на столе, стоял горшок каши, лежал нарезанный хлеб да лепешки.

— А в позапрошлом году у нас и гусь был, и пельмени, и шаньги, — вспомнил было Кеша.

— Господи! Это не ребенок! Это бревно бесчувственное! — вскрикнула молодая женщина и, упав на скамейку, зарыдала горько, отчаянно, беспомощно.

Старушка нагнулась к ней.

— Полно, Агаша… Грешно так убиваться… Разве он понимает… Дитя малое, неразумное…

— И дети чувствуют… А этот каменный… жестокий…

— Лучше молись, Агаша… Не плакать, не гневаться, а молиться надо, чтобы Он помог снести горе… И за грешную душу молись…

— Думать о нем не хочу!.. — сквозь рыдания отчаянно твердила женщина.

— Уймись, Агашенька!.. Всем нелегко… Пожалей и нас… На дворе такой праздник…

— Праздник другим… Нам хуже буден… На людей смотреть зазорно… Все он, злодей! Из-за него свету не видим, горе мыкаем…

Кеша испуганно смотрел на мать. Опять она

плачет, клянет отца… Конечно, он сделал им зло… И в голове мальчика, как в панораме, промелькнули недавние годы, когда нагрянула на них страшная беда. Отец и раньше запивал, а потом связался с какой-то пьяной, бесшабашной компанией, все собирался идти на золотые прииски… А тут около их села напали на денежную почту и ямщика и почтальона убили… Был ли в том виноват отец, никто доподлинно не знает. Бабушка уверяет, что он на такое дело не пойдет… Но его забрали, посадили в тюрьму, повели в город на суд, и дорогой, говорят, он бежал… Вот уже два года о нем ни слуху ни духу. Где-то он, жив ли, сыт ли?.. Может, в эту морозную ночь один в лесу; может, погиб, замерз.

Кеше жаль его до слез. Отец, бывало, берег его, ласкал, и мать любил, жалел… Все зло пошло от вина, как говорит бабушка, да от товарищей… Старуха извелась и совсем ослепла от слез. Вот и мать худеет, чахнет, стала как тень… Трудно им теперь и с лошадьми справляться, и хозяйство без мужика плохо идет.

Мальчик подошел к матери, хочется ему ее утешить, да не умеет.

— Мама, мамушка, — проговорил он ласково. Бедная женщина вскочила, отерла слезы, лицо ее

стало снова суровым, злобным, отупелым.

— Ужин простыл, — заметила она, садясь к столу, но сама ни до чего не притронулась, и старушка тоже ничего не ела. Один мальчик со здоровым детским аппетитом поел и похлебки, и каши, и лепешек.

Мать после ужина отрезала несколько больших ломтей хлеба, посолила и сказала, подавая сыну:

— Снеси, Кеша, туда… — Голос ее дрогнул.

— Мама, вчерашний хлеб взяли! И у Савельевых взяли, а вот у Митрохиных и посейчас лежит. Не берут…

— У них собаки злые… Должно быть, боятся, — прошамкала бабушка.

— Погоди, Кеша, я и сала кусок отрежу… Тоже положи. — Молодая женщина вышла из горницы и тотчас же вернулась с мешком в руках. Она достала из него большой кусок сала и отрезала добрую половину.

— Сало — это хорошо… Нынче мороз лютый… На морозе съесть кусок сала — живо согреешься… Все равно что в печку дровец положить!.. Сало — очень хорошо, — говорила бабушка и ласково глядела на невестку, мигая подслеповатыми глазами.

— Иди, Кеша, положи все. Да смотри не урони…

А я тут мигом уберусь, да и спать…

Мальчик надел полушубок, шапку, рукавицы, забрал хлеб и сало и выбежал из избы. Поручение матери было для него дело обычное, и он исполнял его охотно.

Часть III

Мальчик замешкался… Когда через некоторое время он вбежал в избу, на нем лица не было. Бледный как полотно, он весь трясся и едва переводил дух.

— Что с тобой? Говори… Что случилось? — испуганно спросила мать, подбегая к нему и усаживая его на скамейку.

— Мамушка, знаешь ли… — начал было мальчик и заплакал.

Бабушка вышла из-за печки, куда она уже убралась спать. Подошедши близко к внуку, она силилась разглядеть его и вся дрожала.

— Что случилось, дитятко?

— Отчего ты так долго? Воры там? Говори, не мучь! — умоляющим голосом спрашивала мать, теребя мальчика за рукав.

— Мама, я тебе скажу… Вот что…

— Говори скорее, прибил тебя кто?

— Мамушка, отец приходил… Правда, правда… Он велел кланяться… Правда…

Если бы удар грома разразился над этими людьми, если бы внезапно вспыхнула вся изба, — они не могли бы быть более поражены, ошеломлены…

Бабушка покачнулась, почти упала на скамейку, плакала и крестилась… Агафья глядела на сына дикими глазами и махала растерянно рукой…

— Путаешь! Пустое! Врешь… Ты не в своем уме, — повторяла она отрывисто.

— Ей-богу, мама… Правда, бабушка…

— Не может быть! Ты обознался!

— Тебе причудилось в темноте…

— Да нет же, мамушка… Он… рыжая борода… Ведь я же знаю… Говорил со мной, заикался… Держал меня за голову руками… Плакал…

— Ах, Боже мой! Где же он?! Что же ты нас не кликнул… Куды он пошел? Да правда ли!.. Путаешь ты, врешь… Говори, куды он пошел?!

И, не слушая больше слов мальчика, обе женщины, как были в одних платьях, выбежали на двор… Но нежданного гостя и след простыл… На улице было тихо, никого не видно… Только мороз сильно давал себя знать.

Агафья выбежала за ворота, метнулась туда-сюда… Где-то поблизости у соседей раздался выстрел и гулко пронесся в тишине. Этими выстрелами в сибирских городах и селах мирные обыватели пугают по ночам воров, дают знать, что не спят и караулят свои дома… Собаки залаяли во всех концах.

Молодая женщина схватилась за грудь и вбежала стремительно в избу…

— Что же ты не позвал, не кликнул?! Это не ребенок! Это бревно бесчувственное!

Бабушка сидела около внука и расспрашивала его сквозь слезы.

— Не гневи Бога, Агаша… Молиться надо… Оставь Кешу! Ну, что же? — обратилась она к мальчику. — Как он? А ты ему что?.. Говори скорее… Сначала говори…

Кеша вопросительно взглянул на мать… Та кивнула головой и прислонилась к стене.

— Говори сначала…

Мальчик рассказал все по порядку. Когда мама дала ему хлеб и сало, он выбежал на двор, прошел в закутку и выглянул в окошко. Тихо было, на небе звездочек тьма, и снег яркий, белый… Только и видно было небо да снег… А под окно ему посмотреть и невдомек. Смахнул он снег с

подоконника, положил сало, положил хлеб, хотел уже идти, как вдруг его схватила чья-то рука… Он испугался до полусмерти и крикнул… Верно, не слышали. Хотел еще крикнуть громче, а руки ему зажали рот и голову охватили, и кто-то говорит так жалобно: «Молчи! Молчи, милый Кеша! Не пугайся… Молчи…»

— Мама, бабушка, я его сразу признал… рыжий… заикается…

— Признал, дитятко… Как не признать-то?! Кровь заговорила, — прошептала старушка и залилась слезами.

— Ой, не верится, маменька! Кеша, да неужто правда?..

— Правда, мама. Плакал он… Меня гладит по голове… А сам плачет… Говорит все: «Милый да милый… молчи… Не пугайся».

— А ты что же? — спросила Агафья, и лицо ее озарилось улыбкой, которой давно уже не видали домашние, и в глазах мелькнула живая радость.

— Я, мама, шибко испугался… Хотел вас кричать, хотел бежать; не могу — он держит. Говорит: «Подожди, не ходи, мне их видеть нельзя; а тебя, — говорит, — мне Сам Бог послал».

— И про Бога вспомнил в горе, сынок!.. То-то раньше бы помнил да призывал Его… Не сбился

бы с пути и не сгубил бы себя и семью… — шептала с горечью старушка.

— Что же он, Кеша, про нас-то говорил? — снова спросила мать и впилась глазами в сына.

— Говорил: «Кланяйся маме и бабушке в ножки… Скажи, что прошу прощения… Скажи, что, если Господь направит меня на добрый путь, я к ним приду… Они у меня всегда в уме…»

— Так и сказал «они у меня в уме»?

— Да, так и сказал и заплакал.

— Злодей! Если б думал о нас да жалел, не пошел бы на злое дело… И мы бы не мучились, — с горечью проговорила Агафья и задумалась.

— Как же он одет-то несчастный? — снова спросила она, и голос ее смягчился.

— Не приметил, мама… Мне и ни к чему… Кажись, на голове платок.

— Какая уж тут одежда… Поди, в такую стужу и руки и ноги отморожены… — прошамкала бабушка.

— Что же ты ему про нас сказал? — спросила мать.

— Ничего не сказал, мама…

— Глупый, тебе бы сказать, какую мы муку из-за него терпим, как нам глаза в люди показать совестно…

— Полно, Агаша, разве дитя что понимает… Тут и большой потеряется… Ребенок испугался, где ж ему все сказать, — заметила старушка.

— В какую он сторону пошел-то?..

— Прямо пошел… Он, мама, и хлеб и сало взял, перекрестился и за пазуху положил.

Бабушка заплакала, заплакала и Агафья.

И долго-долго, далеко за полночь, в маленькой хатке шли расспросы. Мальчик уже ничего не мог сказать нового и в двадцатый раз повторял одно и то же, и в двадцатый раз задавала ему мать те же вопросы: «Ну, а он что? Так и сказал? а ты что? Про нас спросил? Что же ты сказал?»

Глядя на мать, Кеша думал: «Какая мама стала пригожая, лицо красное, в глазах точно огни, сама смеется».

— Ложитесь спать, желанные… Утро вечера мудренее, — ласково сказала Агафья. — Ложись, Кешенька, ложись, сынок… Я тебе мягонько постелю… Завтра на елку в школу пойдешь… — И она суетливо забегала по избе.

Даже старая бабушка с изумлением повела в сторону невестки подслеповатые глаза, а мальчик продолжал про себя дивиться: «Какая мама стала добрая, точно и не она, какая стала проворная и смеется… Чудно, право!» — мелькало

в его головенке, и ему казалось, что у них стало теплее, светлее, точно правда наступил праздник, и бабушка ободрилась, улыбается, и кот без страха вспрыгнул на лавку, не опасаясь теперь получить шлепка.

Скоро все успокоилось, затихло в небольшом крайнем доме. Все улеглись спать. Кеша во сне улыбался: детские грезы приятны и веселы; бабушка долго ворочалась, охала и шептала молитвы. Только одна Агафья так и не смыкала глаз во всю ночь: ее мысли неслись вслед за одиноким прохожим: и корила-то она его мысленно, и прощала, и жалела… Зачем он не вызвал ее?.. С какой бы радостью она его обула, одела в дорогу, накормила бы… Несколько раз выбегала она за ворота и смотрела тревожно вдаль, возвращалась к окну, около которого свиделись отец с сыном, как будто кого-нибудь ожидая… С тех пор они обе, и старушка и молодая женщина, ждут и ждут… С особенной любовью и заботой кладут они хлеб и другую провизию на заветное окно… Может быть, подойдет еще праздник, и они дождутся того, кто обещал направиться на добрый путь и к ним вернуться.

1901

ЛАЗАРЬ КАРМЕН

Под Рождество

Большой гастрономический магазин на Дерибасовской улице накануне Рождества, залитый светом ауэровских горелок, сиял, как чертог.

В магазин и из магазина беспрерывно входили и выходили покупатели, увешанные покупками.

Мимо магазина под густо падавшим и мягко, как пух, ложившимся под ноги снегом шмыгали денщики с корзинками с вином, мальчишки из кондитерских с тортами, посыльные с цветами и проплывали нарядные дамы и девицы.

Тьма народа была на улице.

Перебегая от магазина к магазину за последними покупками, люди, празднично настроенные, покрывали улицу громким говором, шутками и раскатистым смехом.

И, вслушиваясь в этот шум, казалось, что теперь не поздний декабрь, а начало весны, когда в душистых акациях шумят, возятся, хлопочут и чирикают тысячи воробьев.

— Марья Петровна! Здравствуйте! — чирикала какая-то дама.

— Здравствуйте, здравствуйте, Ирина Григорьевна!

— Куда так шибко? Да постойте!

— не могу. Еще одну покупочку надо сделать. Боюсь — магазин закроют. Au revoir!..

— Извозчик!.. Во-о-озчик! — покрывал этот диалог звонкий голос мальчишки, выскочившего со свертками из магазина.

— Есть! — откликался пушечным выстрелом с мостовой, по которой со звоном проносились сани, точно мукой обсыпанные снегом, извозчик и, как вихрь, срывался с места.

В этой сутолоке, в этой тьме народа, в этом шуме и падающем снеге, как булавочная головка в мешке с пшеницей, как жалобный писк птенца в шуме векового леса, затерялся Сенька Фрукт — совсем незначащая личность, червячок, пропащий гражданин Одесского порта.

Его никто не замечал, и никто не обращал на него внимания.

Толкаемый со всех сторон денщиками, посыльными и господами, он больше двух часов вертелся перед гастрономическим магазином.

Нос, щеки, руки, оголенные в нескольких местах ноги, спина и грудь его — все это было раскрашено и почти до крови натерто морозом.

А козлиная русая бородка, усы, брови, веки и куча волос, на которых чудом держался «окурок»

фуражки, были посеребрены морозом и похожи на стальные щетки.

Но Сенька не обращал на это никакого внимания.

Засунув руки в рукава своей кофты, — на нем вместо пиджака была женская теплая кофта в заплатах, — надвинув на глаза свой «окурок», скрючившись в вопросительный знак и безостановочно и глухо покашливая, он каждую минуту заглядывал в магазин через настежь раскрытые двери.

Лицо при этом у него делалось злым, как у волка.

В магазине было людно, тепло и весело.

В большом пространстве, огороженном кадками в белых рубахах с надписями «Нежинские огурчики», «Королевские сельди», «Икра паюсная», «Икра зернистая», полками, на которых лежали и лоснились кучи всяких колбас, ветчины, зажаренных уток, тяжелых и блестящих, как зеркало, окороков, и стойками с батареями всяких вин, водок и ликеров топтались в нанесенном с улицы снеге и грязи дамы в шикарных ротондах, мужчины в шубах, чиновники и студенты в николаевских шинелях, кухарки, толкали друг друга, перебирали руками и обнюхивали со всех

сторон колбасу, сыр и трещали на разных голосах так громко, что было слышно на улице.

— Дайте же мне наконец полфунта паюсной икры!

— Неужели мне два часа ждать сыру?

— Дайте фунт охотничьих колбас и фунт чайной!

Розовые, как амуры, приказчики в круглых каракулевых шапочках и картузах, в белых передниках, с кожаными нарукавниками возле кистей рук, с карандашиками за ухом метались от одной кадки к другой, от прилавка к прилавку, резали колбасу, ветчину и сыр, взвешивали, заворачивали в бумагу и скороговоркой отвечали нетерпеливым покупателям:

— Извольте-с, сударыня, получить фунт чайной колбасы. Еще чего прикажете? Ничего-с? Мерси-с! Кушайте на здоровье!

— Грибков вам маринованных? Сию секунду-с! не угодно ли присесть?

— С вас, мусью, два рубля семьдесят три копейки. Извольте получить чек и обратиться в кассу.

— Уверяю, самое свежее! Сегодня только получено. Так прикажете отрезать?..

Получив свои покупки, покупатели направлялись к кассе у дверей, за которой сидел с

бесстрастным лицом кассир, расплачивались, опускали мелкую монету в кружку Общества спасания на водах — раскрашенную жестяную спасательную шлюпку — и удалялись.

Улучив момент, когда кассир головой погружался в конторку, Сенька легонько поднимался на каменную ступеньку перед дверьми, выкруглял спину и вытягивал свою длинную шею вместе с серебряной головой, оглядывал публику и поводил носом.

Можно было подумать, что ему доставляет удовольствие послушать разговоры приказчиков с публикой и что он наслаждается запахом окороков, сыров и колбас.

Но как только кассир поворачивал лицо к дверям, Сенька моментально втягивал, как улитка, голову и длинную шею в свои узкие плечи и давал задний ход.

Он соскакивал со ступеньки.

— О, чтоб вас! Анафемы! — ругал он вполголоса покупателей. — Да разойдетесь вы наконец? Все мало вам! Весь магазин хотели бы забрать! И в какую утробу вы столько колбас понапихаете? Чтоб вас разорвало!

Повертевшись немного и потолкавшись в публике, он снова подходил к магазину, просовывал

в двери свою смешную голову и ворчал по адресу какой-нибудь барыни в роскошном саке:

— Да будет тебе… торговаться и людям (приказчикам) голову морочить! Сказано тебе, что фунт сыру — семьдесят копеек. Чего же торгуешься? И на кого она похожа? Нацепила на себя шляпу с пером! Умереть можно. Ах ты, чимпанзе! Будь у меня такая жена, я бы ее в зверинец отправил. Что ты говоришь? Сыр не свежий? Скажите пожалуйста! Оне не привыкли несвежий сыр есть. Боже мой, Боже мой, какие мы нежные… А этот длинный в очках на кого похож? На цаплю! Тоже онор имеет и на букву «г» говорит (тон задает).

Ни один находившийся в магазине не избежал его злой критики.

Каждого выходящего из магазина он встречал такими словами:

— Так бы давно. А то стоишь и торгуешься двадцать часов. Слава Богу, одним менче.

Но радость сейчас же покидала его, так как на смену одного являлись пять новых. И он от злости сжимал кулаки и скрипел зубами.

«Когда же наконец послободнеет?» — спрашивал он самого себя с отчаянием в голосе.

Сенька вот уже седьмой год, что ходит перед каждым Рождеством в этот магазин за обрез-

ками.

Приказчики, освободившись от работы, подзывали его и набрасывали ему в фуражку обрезки охотничьей и чайной колбасы, ветчины и сыру.

Взвесить бы эти обрезки, всего-то их оказалось бы на пятачок.

Пятачок, что и говорить, монета пустячная. Для иного пятачок — все равно что плевок.

А для Сени и для всякого портового босяка в зимнее время — капитал.

Вот почему он готов был ждать даже еще три часа.

Не остаться же ему в праздник без мяса.

Чтобы хоть чем-нибудь развлечься, Сенька подошел к витрине магазина.

В громадной витрине, залитой приятным светом, как в аквариуме, во всю длину ее покоилась громадная, без шелухи рыба, хорошо прокопченная, жирная, сочная, янтарная. Она купалась в соку. Ее окружали полчища разноцветных бутылок, окороков, белые, как молоко, поросята и коробки с разным соленьем.

Дрожь электрическим током пробежала по телу Сени.

У него родилась преступная мысль:

«Посадить на правую руку фуражку, разбить

стекло, вытащить быстро за хвост эту подлую рыбину и сплейтовать (удрать) в порт».

Да! Это было бы недурно. «Но куда тебе, несчастному Сеньке Фрукту, — заговорил в нем благоразумный голос. — Будь ты блатным (ловким вором), куда ни шло. А то ведь ты жлоб (дурак). Далеко не уедешь. Сейчас мент (постовой) сцапает тебя, и попадешь ты в участок. И будет тебе в участке хороший праздник».

Сенька со вздохом расстался со своей мыслью и, дабы не поддаться больше соблазну, оставил витрину.

Он опять заглянул в магазин и просиял.

Народу в магазине теперь было совсем мало. Всего пять-шесть человек.

— Слава Богу, — проговорил Сенька, откашлялся, вытащил из рукавов красные, как бы обагренные кровью руки, снял картуз и бесшумно влез в магазин.

— Что надо? — грубо спросил кассир.

— Обрезки… Приказчики изволили обещать, — пролепетал он, с трудом ворочая одеревеневшими от мороза губами.

— После придешь, — отрезал кассир.

— После опять много народу будет… Они сказали, что когда послободнее будет, чтобы прийти…

Теперь слободно…

— Убирайся!

— А я уже три часа жду, барин. — и Сенька состроил плаксивое лицо. — Смерз весь. Ей-богу… Страсть как холодно на дворе. Как ножом режет…

— После, после! Я же тебе сказал, когда совсем слободно будет! — послышался из-за прилавка резкий голос старшего приказчика. — Будешь надоедать, ничего не получишь!

Сенька помял в руках картуз, пожал плечами, засмеялся неестественным смехом и покорно проговорил:

— Что ж. После так после. Три часа ждал. Можно еще часок подождать.

И он оставил магазин.

«Попросить бы у кого-нибудь», — подумал он и запел над ухом одного франта:

— Пожертвуйте что-нибудь ради праздника образованному и благородному человеку.

Но тот и глазом не моргнул.

Из магазина в это время вылез толстый, приземистый господин с бабьим лицом, без бороды, в шубе.

Это был Семен Трофимович Быков, одесский домовладелец, он же хозяин мясной лавки на

Молдаванке, человек по натуре мягкий, чувствительный, но бесхарактерный.

За спиной Семена Трофимовича стоял артельщик с громадной корзиной, отягченной окороками.

Семен Трофимович запахнулся плотнее в свою шубу, посмотрел на падающий снег и быстрым взглядом оглянул мостовую.

Сенька моментально сообразил, что надо Семену Трофимовичу, подскочил к нему, ловко козырнул по-военному и спросил:

— Позвать извозчика, барин?

— Сделай милость, — ответил тот.

Через дорогу возле магазина белья стояли сани. Сенька подскочил к обочине тротуара, замахал руками и крикнул:

— Извозчик!

— Занят! — последовал ответ.

— Извозчик! — крикнул он потом другому и третьему.

Все, как назло, оказались занятыми.

Тогда Сенька бросился в переулок, отыскал свободные сани, прыгнул в них и подъехал, как триумфатор, к магазину.

— Пожалуйте! — крикнул он Семену Трофимовичу и выскочил из саней.

Семен Трофимович подошел вместе с артельщиком.

— Прикажете поставить? — спросил артельщик, указав на корзину.

— Поставь.

— Я поставлю! — воскликнул Сенька и, не дожидаясь разрешения, почти вырвал из рук артельщика двухпудовую корзину.

Артельщик ушел, а Сенька стал устраивать в санях корзину.

— Полегче. Бутылки не разбей, — заметил ему Семен Трофимович.

— Будьте покойны, — ответил Сенька.

Пока Сенька возился с корзиной, Семен Трофимович разглядывал его тощую, стоявшую к нему спиной и терзаемую кашлем фигуру, профиль страдальческого лица, голую шею, присыпанную снегом, и вдруг почувствовал к нему глубокую жалость и расположение.

Он вспомнил почему-то недавно прочитанного на сон грядущий «Юлиана Милостивого», как тот пригрел прокаженного и как прокаженный оказался лучезарным ангелом, посланным Юлиану Богом для испытания.

«А что, — промелькнула в голове Семена Трофимовича нелепая мысль, — если этот маленький,

худой, оборванный человечек, возящийся над его корзиной, — такой же, как и тот прокаженный, и послан Семену Трофимовичу Господом Богом для испытания?»

Мысль эта была неожиданна и повергла его в трепет.

«Все равно, — подумал он потом, — кто бы ни был, а я должен пригреть его. Возьму его сейчас домой, и мы вместе встретим праздник», — решил он.

От этого решения на душе у него сделалось так легко, точно он услышал великую радость.

Сеня тем временем окончил работу, поднял голову и, ничего не подозревая о готовившемся для него сюрпризе, проговорил с улыбкой:

— Готово, ваше благородие.

— И прекрасно, — сказал как-то особенно мягко и ласково Семен Трофимович. — Теперь садись! — и он легко втолкнул его в сани.

Сенька вытаращил на него свои мышиные глаза.

— Поставь корзину к себе на колени, — сказал, как прежде, мягко и ласково Семен Трофимович.

Сенька, продолжая таращить на него глаза, исполнил его приказание.

Семен Трофимович одобрительно кивнул голо-

вой и с кряхтением залез в сани.

— Подвинься, — попросил он Сеню.

Сеня забился в самый угол саней и, несмотря на это, оказался до боли притиснутым Семеном Трофимовичем. Сене сделалось так тесно, как тесно покойнику в гробу. Он задыхался.

— Не тесно тебе? — спросил участливо Семен Трофимович, захватив девять десятых узкого сиденья.

— Н-не, — соврал Сенька.

— А корзина не тяжела?

— Н-не, — соврал опять Сенька.

Корзина давила его колени, как надгробный памятник.

— Тогда с Богом, извозчик!

Сани со скрипом и звоном полетели по снежному пуховику.

Сеня, придерживая обеими руками и подбородком корзину и изнемогая от ее тяжести, ждал, что будет дальше.

Когда они проехали полквартала, Семен Трофимович повернул к нему свое доброе, бабье лицо и спросил:

— Ты, брат, чем занимаешься?

— В порту работаю. Уголь из трюмов выгружаю, — ответил скромно Сенька.

— Та-ак-с. А работа выгодная?

— Не очень чтобы. Конкуренция. Банабаки и буцы совсем цены сбили. Прежде по рублю работали мы в день, а теперь иной раз по сорок копеек.

— А кто они, банабаки?

— Имеретины и грузины. И нанес их черт с Кавказа! Сидели бы себе там и шашлыки свои лопали.

— А буцы кто?

— Мужики. Тоже анафемы. В деревне сладкого нет, так они к нам за сладким в порт лезут.

— А ты сегодня работал?

— Где там, когда ни одного английского парохода в гавани. Лед кругом. Декохт такой в порту, что держись.

— А декохт что такое?

— Пост. — и Сенька рассмеялся.

— Вот оно что. А где ты нынче, милый, праздник встречать будешь?

— Известно где. В баржане, в приюте.

— Ну, этого не будет, — торжественно заявил Семен Трофимович. — Ты вот что, друг любезный, поедешь со мной ко мне домой, и вместе праздник встретим, как полагается всякому православному.

Сенька, как услышал это, поймал его руку и беззвучно прилип к ней.

— Что ты?! Христос с тобой! — оторвал его руку Семен Трофимович.

Он после этого совсем расчувствовался, положил на плечо Сеньки свою тяжелую руку и ласково проговорил:

— А кутья у нас будет хорошая. С орехом, миндалем, маком… Любишь такую кутью? Небось никогда не едал такой. Хе-хе! Потом рыба всякая, вино, водка, и рябиновая, и горькая, и наливка.

У Сени при перечислении всего этого глаза забегали и потекли слюнки.

Семен Трофимович помолчал малость и затем продолжал знакомым торжественным голосом:

— Вот я не знаю, кто ты, да и на что мне знать, я беру тебя к себе домой, потому что я — христианин и ко всякому бедному человеку жалость иметь могу. Христос учил одевать нагого и кормить голодного… А ты бы, милый, накрыл чем-нибудь грудь! Боюсь, простудишься. Ты и так кашляешь. Ах ты, милый человек, братец родной мой…

— Не извольте беспокоиться. Дело привычное, — ответил с дрожью в голосе Сеня и громко всхлипнул.

Ласковые речи Семена Трофимовича тронули его за самую душу. Первый раз в жизни он слышал такие речи. Кто говорил с ним так? Разговоры с ним были известные. Все называли его босяком, дикарем, пьяницей.

— Эх! — вырвалось у Сеньки, и он всхлипнул громче.

Семен Трофимович тоже прослезился, и оба поднесли рукава один — своей шубы, а другой — женской кофты к глазам, из которых зернами пшеницы падали слезы.

— Куда прикажете, барин? Влево или вправо? — испортил своим вмешательством эту удивительную картину извозчик.

— Влево. Нам на Градоначальническую улицу, — ответил Семен Трофимович.

Извозчик повернул налево.

Сенька перестал всхлипывать и переставил корзину с одного колена на другое.

— Тяжело тебе? — спросил, как прежде, участливо, указав глазами на корзину, Семен Трофимович.

— Не-е, — ответил Сенька.

— Скажи, есть у тебя кто-нибудь? Мать, отец?..

— Никого.

— Бедный. Подожди… Дай только приехать

домой… Все хорошо будет… А я, брат, живу не как-нибудь. В пяти комнатах. Комнаты светлы-е-светлые, как фонарь. Мебель-то какая. В чехлах вся. Фортепиано, люстра, граммофон. Что хочешь, граммофон играет. Например, «Жидовку», «Угеноты», романц «Под чарующей лаской» и смешные такие куплеты «с одной мадмозелью случилась беда, полнеть как-то вдруг стала»… А жену посмотрел бы ты мою. Красавица. Детей у меня четверо. Старшему, Косте, — четырнадцать. В гимназии учится. Как же! Отметки преотличные. Все «пять» и «четыре» и ни одной единицы. Я ему за это велосипед купил и «Ниву» выписал.

Сеня слушал его со вниманием и в знак удивления покачивал головой и поднимал и опускал брови.

Семену Трофимовичу, как видно, большое удовольствие доставляло говорить о своем доме, и он продолжал:

— Вчера только две кровати английские купил. Сто тридцать рублей отдал за них. Были у меня деревянные, да не выдержали. Увидишь… А ты как поужинаешь, переночуешь на кухне. Это ничего, что на кухне. У меня там тепло. Как в бане. Тебе матрац дадут, подушку.

Сенька, слушая его, радостно улыбался и зара-

нее предвкушал все эти удовольствия.

«Скорее бы только добраться домой, — думал он, — да согреться и поужинать. А то промерз насквозь и голоден как волк. А на кухне, должно быть, кухарка есть. Толстая такая, красавица, румяная». Греховная мысль о кухарке заставила его улыбнуться во весь рот.

— У тебя, брат, я вижу, сорочки нет, — прервал его приятные думы Семен Трофимович. — Как же можно в такой холод — без сорочки? Я тебе сорочку дам. Даже две. У меня их много. Пять дюжин. И фуфайку дам. Знаешь, иегеровскую. И ботинки… Два раза только ботинки в починке были. Не знаю только, хороши ли они на тебя будут? У тебя какая нога? Большая или маленькая?

— Не извольте беспокоиться. Самая подходящая. А ежели они очень велики, то можно будет напхать в носки хлопку или газету.

— Это верно ты сказал… Я тебе еще пальто подарю. Два года у меня даром на вешалке висит… Дай только приехать домой… А какой водочкой тебя угощу! Желтой. А ты пьешь? Может быть, не пьешь?

— Помилуйте, — чуть было не обиделся Сенька.

Семен Трофимович перестал приставать к нему

с разговорами и погрузился в свои думы.

Никогда-никогда он не чувствовал себя так хорошо и таким чистым перед Богом, как теперь. Как же! Такое хорошее и богоугодное дело сделал. Взял человека с улицы и пригрел его.

Но, отъехав два квартала, Семен Трофимович вдруг завял, сократился, беспокойно завертелся на своем сиденье и со страхом посмотрел на Сеню.

Он как будто только сейчас увидал его, до того тот показался ему чужим.

Сенька сидел, нагнувшись над корзиной, и мечтал.

Он мечтал о теплой, как баня, кухне и кухарке. Он рисовал себе вот что: на кухне — полусвет. Сытый и слегка пьяный, он лежит на матраце в углу, а она, кухарка, лежит на деревянной скрипучей кровати и вздыхает.

— Чего, матушка, вздыхаешь? — спрашивает он.

— Да как не вздыхать, милый человек, — отвечает она. — Весь день работаешь, и нет тебе удовольствия.

— А муж у тебя есть?

— Нет.

— Как же так без мужа?

— А на черта мне муж? Чтобы бил меня?

— Почему чтобы бил? Такую славную бабу-то. Выходи за меня замуж, как в раю жить будешь. Всякие удовольствия предоставлю. Гм!..

— Ах, какой смешной!.. Хи-хи!

«Господи! Что я наделал? — думал в это время Семен Трофимович. — Взял с улицы первого встречного, оборванного и домой везу. Кто он? Может быть, он не угольщик, а душегуб, беглый. Хоть бы паспорт спросил у него. А что жена скажет? Без спросу ее в гостиную ввести такого лохматого, босяка… Ишь какие у него патлы. Сколько зверья в них, как подумаю».

— Послушай, любезный, — обратился он к Сеньке.

Голос его теперь не был торжествен. В нем чувствовалась тоска и неловкость.

Сенька с трудом расстался со своими дивными мечтами и поднял голову.

— Давно был в бане? — спросил Семен Трофимович.

— Давно.

— Как давно?

— В позапрошлом году.

— Гм-м!

Семен Трофимович отодвинулся и опять поду-

мал: «Вот целый год в бане не был… И как я, дурак, решился… Нет, этого никак нельзя. Жена загрызет. Надо ему сказать по совести. Он сам поймет. Но как? Неловко, стыдно. Сам ведь пригласил его, наговорил ему за кутью с миндалем, за желтую водку, за теплую кухню, за рубахи, фуфайку и прочее. А теперь… Да делать нечего».

Семен Трофимович для храбрости откашлялся и робко сказал Сене:

— Послушай!

Тот поднял голову и приготовился услышать опять что-нибудь про его обстановку, про граммофон, про рубаху, фуфайку и прочие подарки.

Но вместо этого он услышал совсем иное.

— А что жена моя скажет?

— Что-о-о? — не понял было сразу Сенька.

— Что жена, спрашиваю, скажет? Она у меня не очень-то добрая. Чего, спросит, с улицы незнакомого человека в дом привел? А вдруг она возьмет да меня с тобой выкинет? Что тогда? Каково положение? А!

«Дзинь!» — послышалось вместо ответа.

Это зазвенели бутылки в корзине на коленях у Сеньки.

Дрожь пролетела по всему его телу и сообщилась бутылкам.

— Легче! Разобьешь! — вскрикнул, побагровев, Семен Трофимович… — Ну, как ты думаешь насчет этого самого?

— Как я думаю?.. — прошептал Сенька и посмотрел на Семена Трофимовича испуганными глазами.

— Вот что, милый, я тебе скажу, — выручил его Семен Трофимович… — Дам я тебе полтинник, и ступай себе ты в трактир или ресторацию… А насчет рубах, фуфайки, пальто и всего прочего приходи ко мне после праздников. Что обещал, то дам. Так ты как? Ничего?

— Ничего, — машинально ответил Сенька.

— Стой, извозчик! — закричал Семен Трофимович. Извозчик остановился.

— Ну!.. Отдай корзину и вылезай.

Сенька отдал ему корзину и неуклюже вылез.

— Постой, — сказал Семен Трофимович. Он достал из кошелька полтинник и сунул ему в руку. — Ты, брат, не сердишься? — спросил он его потом.

— Чего сердиться? — послышался тихий ответ.

— Так будь здоров. Не забудь прийти за тем, что обещал. Извозчик!

Извозчик дернул вожжи, Семен Трофимович глубоко вздохнул, как человек, с которого свали-

лось бремя, и сани понеслись, оставив посреди мостовой, в глубоком снегу Сеню.

«Как же это так, — шептал Сеня вслед удалявшимся саням. — Обещал кутью, то, другое, третье. А вышло вот что. Уж не посмеялся ли он надо мной? Наверно, посмеялся».

И Сенька стал громко ругать Семена Трофимовича, пересыпая свою ругань портовыми эпитетами:

— Ах ты, бочка сальная! Чтоб тебе домой не доехать!

Он ругал его, злился несколько минут, а потом от души расхохотался, пошел с полтинником в трактир и поужинал. Из трактира пошел в порт, в баржан и рассказал о своем приключении товарищам. И все хохотали до колик.

1903

НИКОЛАЙ ВАГНЕР

Телепень
Часть I

В старое время жили-были в землях оренбургских помещик и помещица: Ипат Исаич и Марфа Парфеновна Туготыпкины.

У Ипата Исаича было трое крепостных: мужик Гавлий, кучер Мамонт и лакей Гаврюшка.

У Марфы Парфеновны была одна крепостная душа, кухарка Эпихария, или просто Эпихашка.

Было у них прежде у каждого по двадцати душ, но эти души оттягал у них вместе с землицей сосед их, богатый помещик Иван Иванович Травников.

Прежде, еще не так давно, Туготыпкин и Травников жили душа в душу, были друзьями-соседями, да поссорились, и вот из-за чего.

Вся беда началась из-за барана. У Ипата Исаича было голов сорок овец, и овцы были наполовину русские, наполовину киргизские, с курдюками. И в особенности вышел на диво у него один баран — чернохвостый, морда губастая, рога в два заворота, шерсть косматая, кудря — до шкуры не доберешься.

А на ту беду как раз Иван Иваныч добыл курдюковых овец. Пристал он к Ипату Исаичу:

— Друг сердечный! Ипатушка! Продай барашка мне.

— Друг любезный, Иванушка-свет, подарил бы тебе, да самому мне надобен баран. Погоди: осень придет, подарю я барашка тебе, какого душа изволит.

Но был Иван Иванович с гонором и с норовом. На соседушку смотрел свысока. «Я, мол-ста, чуть не бригадир, а ты, мол-ста, кто такое?.. Голопух! Тебе для такого друга и барана жаль отдать. Подавись, мол, им. Щучья душа!»

— Нет, говорит, коли теперь барана не продашь, так мне и не надо-ти.

Замолк и пожевал губами, а это уж самый дурной знак был у него. Если он губами пожует, то, значит, он крепко в обиду вошел.

Был Иван Иванович вдовец. Жену любил крепко и схоронил молодую. Оставила она ему девочку лет пяти, и этой девочкой он жил и дышал, но и она через два года померла. Остался Иван Иваныч бобылем круглым и с горя сделался сутягой и кляузником. Тяжб у него была гибель, со всеми соседями — и ближними, и дальними. И разоренье от этих тяжб всем было немалое.

У Ипата Исаича и Марфы Парфеновны детки не жили. Только одна и выжила дочка Нюша. Шестой годок ей шел. Живая, бойкая, Юла Ипатовна — утешение старичкам на старости.

Кроме крепостных душ жила у них и вольная душа, только башкирская.

Надо сказать, что земля Ипат Исаича к башкирским землям подошла. И башкиры частенько к батьке Пат-Саичу приходили в своих нуждах жалиться.

Один раз, в морозный, крещенский вечер: стук! стук! стук! в оконце.

Отворила оконце с молитвой Эпихария:

— Кто, мол, тут такой?

Вошли два башкира. Совсем обмерзли. Малахаи заиндевели. Армяки закуржевели. Старший Бахрай привел брата своего Тюляй-Тюльпеня.

Повалился в ноги Бахрай и брат туда же за ним.

— Сделай милость! — плачется слезно. — Добра чиловек! Пат-Саич! возьми брат мой. Совсем возьми… В батрак возьми… Землю нет… Верблюда нет… Ашать нечего… Юрта нет… Баран нет… Жена нет… Девать куда нет… Сделай милость, бери… Пожал иста, бери!.. — И плачет Бахрай — разливается.

Посмотрел Ипат Исаич на Тюляй-Тюльпеня и видит — он башкир здоровенный, в плечах косая сажень.

«Куда, мол, я его дену?»

А Марфа Парфеновна шепчет ему: «Возьми, авось не объест. Все при доме лишний человек будет…»

— А что ты умеешь? — допрашивает Ипат Исаич.

— Всеумешь… Кумыс делать умешь… Шашлык стряпать умешь.

— А пахать умешь? — спрашивает Тюляй-Тюльпеня.

— Лядна! Лядна!.. ашать умешь.

— Коней пасти умешь?

— Лядна! Лядна. Коней ашать умешь…

— Рубить дрова умешь?

— Лядна! Лядна!.. дрова курить умешь.

— Ну! Лядна!.. — говорит Ипат Исаич. — Поживешь, посмотрим. Авось что-нибудь и увидим. Оставайся, батрак будешь.

И остался Тюляй-Тюльпень. Только сперва Эпихашка, затем Гавлий, кучер Мамон и лакей Гаврюшка, и все назвали его просто Телепнем. «Так, — говорят, — складней, да короче будет!»

И стал жить Телепень у Ипата Исаича.

Часть II

Сперва, как взяли Телепня, так Эпихашка принялась было его обрабатывать. Поднимет его ни свет ни заря и заставит печку топить, и Телепень добросовестно натолкает дров, так что всю печку доверху битком набьет. Просто крысе повернуться негде. Придет Эпихашка, всплеснет руками. Давай ругать Телепня на чем свет стоит.

А он слушает, ухмыляется, головой кивает и только приговаривает:

— Лядна! Лядна!

Раз он Эпихашку совсем огорчил.

После обеда, на Масленой, вздумала она попраздничать, а Телепня заставила посуду убирать. Принялся он, как всегда, с усердием, так что все чашки, горшки, ложки и плошки и пищат, и трещат.

Отлучилась Эпихашка за малым делом на полминутки. Прибежала, заглянула, руками всплеснула, ахнула.

Расставил Телепень все чашки, тарелки чинно рядком на полу, а Кидай и Ругай — два пса здоровенных, волкодавы — все это взапуски лижут; а Телепень смотрит, руки в боки, и любуется.

— Батюшки мои! Что ты делаешь, окаянный!

— Не замай!.. Лядна… Она лишет… чисто трет… А-яй! Больно хороша будет…

Завыла Эпихашка, побежала к Марфе Парфеновне, в ножки кинулась.

— Матушка барыня!.. Всю посуду нехристь опоганил… Всю псам дал вылизывать.

И пошел дым коромыслом. Накинулись все на Телепня: зачем посуду перепортил?!

А чем Телепень виноват?

— У нас, — говорит, — добра чиловек… всегда так живет… собакам даем… собака его лижет… языком трет… А-яй чиста быват!..

Вот и толкуй с ним.

И сколько было с ним проказ, что и в год не расскажешь. Один только мужик Гавлий стоял за Телепня горой, из уважения к силище его необычайной, да из-за любви его к коням.

— Ты, — говорит Гавлий, — животину уважь! Она тебе больше, чем человек, надо будет.

А Телепень любил «животину». С лошадьми и спал в хлевушке. Встанет чем свет. Уж он чистит, чистит, так что несчастную лошадь точно ветром качает, до десятого поту прошибет. И в особенности любимый конь у Телепня был Гнедко. С Гнедком он постоянно беседовал по-башкирски,

иной раз даже до слез договорится. Говорит, говорит и расплачется. А не то, так песню ему башкирскую споет. Уж он тянет, тянет, — так жалобно, что даже мужик Гавлий слушает, слушает и, наконец, плюнет с досады.

— Ишь, поди ты! — скажет. — Ажно нутро все вынудил!..

В первую весну, как стал жить Телепень у Ипата Исаича, то послали его в поле пар пахать на Гнедке.

Показал Гавлий, как надо пахать, и ушел. Приходит через час и диву дался. Телепень на поручни у сохи доску приладил, вожжами укрепил и навалил он на эту доску камней пудов пять, впрягся сам в соху и пашет, а Гнедко под кустиком привязан стоит, травку жует.

Захохотал мужик Гавлий, руками всплеснул:

— Ах ты, дурень, дурень! Что ты творишь?!

А дурень весь как есть взмок, и пот у него с бритой головы в три ручья льет.

— Я, добри чиловек, мала-мала пахал… Добри чиловек… Гнедко пущай отдохнет… А я за него пахал… Добри чиловек!

Хохотал, хохотал мужик Гавлий.

— Ну, — говорит, — башкирское чучело. Давай вместе пахать. Ведь ты все равно что скот. А?

И начал Гавлий пахать на Телепне, сбросил камни, взялся за поручни.

— Ну! ну! пошла, башкирска чучела!

И пошел Телепень пахать. Пахали, пахали, до-полдень чуть не полдесятины вспахали. Вот так «башкирское чучело»!

И с этих самых пор Телепень каждую весну и лето вперемежку с Гнедком, вместе с Гавлием и пахал, и орал, и боронил поля Ипата Исаича.

Сам барин и барыня и все соседи ближние и дальние приходили и приезжали, ахали и дивовались, как мужик Гавлий на «башкирском чучеле» землю пашет.

Один раз, осенью, заставили Телепня навоз убирать, на поле вывозить. Он не только навоз весь счистил, но и землю под ним до самого сухого места всю выскреб и все на поле свозил.

Приходит Эпихашка: где коровы? где барашки? Чуть из земли видны. Глядь! Они в яме стоят. Во всю длину сарая Телепень вырыл под ними громадную яму.

— Ах ты, дурень, дурень! — накинулась на него Эпихашка. — Хоть бы догадался, дурень, нам к избе навозу навозить. Стены бы прикрыл. Все зимой, чай, теплей бы было… А он, гля-кось, и навоз, и землю, все на поле стащил.

— Лядна! — говорит Телепень.

Просыпается на другой день Эпихашка.

— Что это, батюшки, на кухне-то как темно!.. Петухи давным-давно пропели, а свету нет как нет.

Вышла на двор и руками всплеснула.

Телепень всю избу и окна навозом закрыл. Целых два воза на себе с поля притащил и укутал всю избу.

— Ах ты, бритая башка! Как же мы будем жить-то целую зиму впотьмах.

— Зачем впотьмах… нет впотьмах… Ти, душа моя… лючина жги… светле будет.

— Тьфу! окаянный.

И заставила Эпихашка Телепня навоз очищать, окна мыть. Только с первого же раза, как принялся он мыть окна с усердием, так два стекла чистехонько высадил.

Часть III

Когда Иван Иванович и Ипат Исаич были еще друзья, то Иван Иванович нередко потешался над силой Телепня.

— Ну! Телепень, разогни подкову.

— Лядна.

И сейчас притащит подкову. Телепень возьмет-

ся за нее обеими ручищами, и подкова затрещит и хрястнет пополам.

Притащат другую подкову. Телепень возьмет ее в лапу, так что и подковы самой почти не видно, нажмет, и подкова хрустнет.

— Эка силища! — дивятся все.

В прежнее время, когда дружно жили друзья, то почитай каждый вечер или Иван Иваныч сидит у Ипата Исаича, или он у Ивана Иваныча. Праздники непременно вместе. Рождество, Новый год, Пасху всенепременно Иван Иваныч встречал и провожал у Туготыпкиных. Иногда и ночует и живет по целым неделям. И действительно, что ему было делать дома одинокому? Одурь возьмет. Походит, походит по залам, посвистит и в восьмом часу вечера, вместе с птицами, заляжет спать.

У Ипата Исаича для Ивана Иваныча была даже особая горенка, угловая, с большим окном прямо в сад. А сад был большой у Ипата Исаича. В нем и яблони, и груши, и большие клены татарские, и липы древние шатрами раскинулись. И за всем за этим вдали видны ковыльные степи башкирские.

Но больше всего привлекала Ивана Иваныча в семью к Ипат Исаичу пятилетняя Анюша. Напо-

минала она ему его собственную Анюшу, а с ней и семью, и все, что потерял человек.

Тихо, пусто, мрачно стало все в душе Ивана Иваныча после смерти его девочки, точно в темном гробу у бобыля-покойника. И если бы в другое время случилась такая оказия, что Ипат Исаич обидел отказом в подарке, на который друг закадышный напрашивался, то все бы обошлось смехом да шуткой — а тут, на-поди, и разошлось, и расстроилось.

Как началось дело, как получил Ипат Исаич первый вызов от уездного бузулукского суда, так он глазам не верил, а с Марфой Парфеновной чуть даже удар не сделался.

Съездил Ипат Исаич в Бузулук и узнал, что почти вся его вотчина к соседу отошла, «так, мол, суд решил; можете, мол, подавать на апелляцию».

Пробовал Ипат Исаич и на апелляцию подавать и даже сам в Оренбург съездил, но ничего у него не вышло.

Тяжелое было это время для Ипат Исаича. И похудел, и поседел он, и даже думал Телепня на все четыре стороны отпустить, но Марфа Парфеновна упросила.

— Оставь, Ипаша, что в самом деле, есть еще кусок хлеба, с голоду не помрем, а парню деваться

некуда.

Пережил этот лихой год Ипат Исаич с семьей и потихоньку помирился с своей участью.

Часть IV

Прошел после этого еще год. Ипат Исаич и вся семья и все домашние совсем вошли в колею новой жизни и всю беду забыли.

— Мама! — спрашивает иногда Нюша. — А когда к нам опять приедет дядя Иваша?

— Никогда, Нюша, не приедет, никогда, моя ясочка бисерная. Дядя Иваша злой. Он у нас всю землю оттягал. Никогда он не приедет.

— Нет! Он добрый, и надо ему только сказать, мамочка. И я ему скажу. И он всю землю нам опять отдаст.

— Да! Как бы не отдал, держи карман!

— Отдаст!

— Не отдаст, конопляночка!

— Нет! Отдаст, мамочик.

И Нюша твердо была уверена, что дядя Иваша отдаст им опять землю. Да и как же было ей не верить в силу своего слова, когда дядя Иваша, в угоду ей, сам, бывало, превращался в дитя малое. Он с ней в куклы играет. Он ее на четвереньках

возит. Он ее по всему саду на тележке катает. Бежит на своих длинных ногах, точно журавль, а Ипат Исаич на балконе стоит — помирает — хохочет.

У Нюши полон угол игрушек, и все ей дядя Иваша подарил, — кукол нарядных, лошадок всяких, баранов, козлов, медведей, гусей, петухов… чего хочешь, того просишь.

Как же ей было не верить, что он и землю назад отдаст? «Он только пошутил, — думает она, — а папа с мамой думают, что он и взаправду отнял».

Рождественским постом вдруг узнает Ипат Исаич из Бузулука, что на него опять иск подан. Был у него один сват и старый приятель в судейском приказе, которому он к каждому большому празднику посылал кур, индюков, гусей и тушу свиную. «Должен известить я вас, сватушка, — писал приятель, — что снова на вас взводят неприятности. Опять ваш злодей на вас поднялся и просьбу подал о том, будто ваша усадьба на его дедовской вотчине выстроена, и планы и свидетелей тому представил. А за куры и индюки и протчую живность низко кланяюсь моему сватушке и милостивой государыне Марфе Парфеновне…»

Не дочитал до конца Ипат Исаич. Кровь у него

в голову ударила, потемнело в глазах. Послали в ближнее село к богатому помещику Криленкову за цирульником и кровь метнули.

Целый вечер все в доме ахали, да вздыхали, даже Нюша плакала и почти совсем решила, что «дядя Ивашка злой, волк ненасытый!».

А Рождество между тем приближалось. До Христова праздника оставалось всего пять дней.

Часть V

Приходит Нюша вечером к Марфе Парфеновне.

— Мамочка! — говорит. — Ведь дядя Иваша рассердился за то, что папа ему барана не подарил.

— Кто это тебе сказал?! — допросила Марфа Парфеновна.

— Мне Эпихашка это сказала… Ну! слушай, мамочка… Пусть папа этого барана ему отдаст, а от меня вот ему еще барана. И она отдала картонного барана без рогов и в лоскутки его обернула.

— Ладно! — говорит Марфа Парфеновна в раздумьи, взяла и положила барана на подоконник, а сама думает:

«Разве и взаправду послать ему этого поганого барана, авось смилостивится… Ужели у него, прости Господи, души человечьей нет!!»

Пошла она к Ипату Исаичу. Долго они тихохонько шушукались, что решили — неизвестно, но после этого через два дня принялся Ипат Исаич письмо строчить.

Нашли лоскут синей бумаги. В чернильнице, вместо чернил, мухи оказались: подлили в нее горяченькой водицы, и получился бурый экстрактец. И вот этим экстрактцем Ипат Исаич настрочил письмо к соседушке. Целый день писал, — даже голова разболелась — и написал он следующее:

«Милостивый государь мой, батюшка-свет Иван Иванович, на что, государь мой, так немилосердно разгневаться изволили, что я вам в те поры барана не продал, находя оного барана себе необходимым.

Уповаем, что вы гнев свой на милость переменните, оного барана к вам с поклоном нижайше кланяемся и от нас с превеликим горем препровождаем. Примите, государь милостивый, и не лишите нас крова родительского, из коего мы на мороз лютый и убожество по грехам нашим изгнаны будем, а впрочем, остаемся, государь мой, вашего здоровья верные служители Ипат Туготыпкин. Месяца Декемвриа 24 дня. Жена Марфа Парфеновна, посылая вам поклон низкий, молит

вас о том же, и младенец, дщерь Анна, также вам поклон шлет и от своего младенческого сердца барана игрушечного, коего вы ей пожаловали, с усердием и любовью посылает».

Написал письмо Ипат Исаич как раз в утро, в сочельник. Воском запечатал.

Мороз на дворе стоит здоровый. Кого, думает, с письмом послать? А конец не малый — двенадцать верных верст до усадьбы Ивана Иваныча. Думает: если послать мужика Гавлия или кучера Мамонта — все народ православный, хоть верхом пошлешь, а все прежде вечера не вернется, а тут праздник надо встречать. Как будто и грех христианскую душу посылать под великий Христов праздник.

И послали Телепня.

Посадили барана в мешок, а письмо положили за пазуху.

— Тащи баран к Иван… Кланяйся ему, баран отдай, письмо отдай… Понимаешь?!

— Лядна!

Снарядили, проводили, отправили.

Наступает рождественский вечер. Уже смеркаться стало. В большом доме Ивана Иваныча скучища непроходная. Ходит он по залам, на все лады зевает, ко всякой малости придирается. Всех

людей своих расшугал. Экономка отправилась в село Троицкое, к заутрене. Один как есть бобыль остался в большом доме.

Ходит он, ходит и все думает: «Погоди же, ты, друг-приятель мой Ипат Исаич! Вот тебя на праздниках, как таракана, из избы на мороз выгонят и садик твой и домишко мне достанется. Не хотел ты, друг любезный, барана мне продать, так и хата твоя, и твой баран — все мне пойдет».

И от этой злой радости сердце у него трепещет и всю скуку долой гонит. Отхлынет злая радость, и вспомнит былое Иван Иванович.

Вспомнит он, как Ипат Исаич раз его из полыньи на Каме вытащил, от смерти лютой спас.

Вспомнит он, как он за ним и день и ночь ухаживал, от постели не отходил, когда он при смерти и в горячке лежал.

А тут мерещится ему, кстати, и покойница жена его Люба, и дочурочка Нюша, и вспомнит он другую Нюшу.

Вздохнет, глубоко вздохнет Иван Иванович, и все лицо его станет грустным да кротким.

Лег спать Иван Иванович, а сон не знай куда ушел. Возился, ворочался с боку на бок, переворачивался, и свечку гасил, и опять зажигал, огня высекал. Все не спится и что-то чудится.

И чудится ему, что какая-то птица, не то сова, не то филин — близко тут, за амбаром так жалобно пищит. Утихнет ненадолго и опять:

— Пи-ю-ю! Пи-ю-ю! Пи-ю-ю-ю!

Что такое за оказия?! Любопытство разобрало Иван Иваныча. Встал он, накинул тулупчик, валенки натянул, подпоясался ремешком и вышел во двор.

Звездная рождественская ночь, точно морозный шатер, раскинулась над спящей землей…

Часть VI

А в это время у Ипат Исаича в доме не спали. Эпихашка все к празднику приготовила. Кучер Мамонт, Гаврюша и даже мужик Гавлий убрались, принарядились, чистые рубахи понадева-ли, скоромным маслом волосы примазали. Везде перед образами свечки и лампадочки зажгли и ждут не дождутся, когда на старинных часах Ипат Исаича стрелки полночь укажут.

А Ипат Исаич и Марфа Парфеновна не с радостью, а со страхом душевным ждут праздничка. Висит над их головами беда неминучая, и оба ждут не дождутся, что им принесет Телепень: горе или радость?

И Гавлий, и Мамонт, и Эпихашка то и дело выбегают за вороты: идет или нейдет «башкирско чучело»?

— Как же, дождешься его! — говорит Мамонт. — Давно к своим башкирам сбежал и барана стащил.

Но напрасно так они думают.

Только вошли они в избу, как немного погодя: скрип, скрип, скрип под оконцами. Выскочили, бегут: что такое?

Тащит Телепень скорехонько, тащит большой мешок.

— Чего такое приволок?!

— Батюшки! Никак ему киргизских овец надавали!

— И то, с курдюками!

И все бегут за ним в горницу; ввалились, заскрипели, — морозный пар клубами валит.

— Запирайте, — кричат, — двери-то! Все комнаты выстудили.

— Ну, где киргизски овцы? Кажи, «чучело»!

Телепень еле дышит, пыхтит. Пар от него, что из бани. Свалил он мешок на пол.

— Сичас… добри чиловек… годи мала-мала… вязать нет будем.

Развязал, распустил мешок. Из него показалась

голова Ивана Иваныча!

Все ахнули, руками всплеснули.

Телепень вытащил Иван Иваныча, в тулупчике, и барана вытащил, рядом поставил.

— Вот тебе… добри чиловек… Иван тащил и баран тащил…

— Ах ты, идол некрещеный!

— Ах ты, бухар, азият… нехристь!

— Ахты, баран… дерево!..

И все кинулись к Иван Иванычу. Видят, что человек совсем обмерз. Слова не может сказать, только мычит, стонет и руками машет.

Повели его в угольную, уложили, шубами укутали. К рукам и ногам горячей золы приложили. Добрый стакан мятной в желудок впустили. Наконец, чаем с малиной отпоили, отпарили. Обогрелся, успокоился, уснул наконец Иван Иваныч.

Позвал Ипат Исаич остолопа башкирского. Насилу добудились его.

— Ах ты, богомерзкий истукан! Сказывай, зачем ты его притащил!.. Да не кричи! ни! ни!..

— Дюша моя!.. Сама говорил… Слушай Телепень: баран тащи, Иван тащи… Я Иван тащил, баран тащил… Чтоб тебе, дюша, весело был… Зачем бранишь?!

— Где же ты Ивана взял?

— А сам, дюша моя, ко мне пришел. Я его мала-мала манил… Угой (совой) кричал… Он ко мне шел… Я его маненька взял и мешкам клал.

— Зачем же я тебя, болвана сиволапого, с бараном-то послал?..

— А я думал… добри чиловек… Чтоб Иван один не скушна был… туда ему баран клал… Иван сидит, сидит… пищит мала-мала… Я говорю ему… годи… добри чиловек… У тебя баран есть… Баран сидит, сидит… кричит мала-мала… Я ему говорю… годи, баран, у тебя Иван есть…

— А письмо-то куда дел?

— Вот, дюша моя, и письмо… Нигде не ронял… Назад тащил… На его!

И вытащил Телепень письмо, смятое, размокшее от поту, и подал его Ипат Исаичу.

Прогнали спать Телепня; ахали, охали, дивовались, шептались и даже смеялись втихомолку и наконец все тоже спать полегли.

На другой день поднялись, когда уже ранняя обедня отошла.

Проснулся и Иван Иваныч, стал соображать, как он здесь очутился и как ему поступить в этом случае.

Должно заметить, что вчера он крепко перетру-

сил, когда Телепень сгреб его и засадил в мешок. Он думал, что его, раба Божья, сейчас же притащат к проруби и бух, прямо в озеро.

А утром очень уж обидно казалось ему, что его, как барана, насильно притащили.

В угловой комнате было тепло, приятно, на дворе солнышко светило, в углу перед образом тихим огоньком лампадочка теплилась. Хорошо было, отрадно; а досада и злоба все-таки нет-нет да и наплывут, накроют сердце темной тучей. И совсем уже он был готов рассердиться и потемнеть, как в это самое время дверь тихонько отворилась, вбежала Нюша и прямехонько бросилась к нему на шею.

— Здравствуй, дядя Иваша! Вот тебе мой баран. Я тебе его вчера послала, да дурень Телепень в мешок его положил… Слушай, дядя Иваша, ты моего папу, маму не обижай!.. Стыдно, грех тебе будет… Нас… нас… всех выгонят на улицу… жить нам негде будет… — И она расплакалась.

А дядя Иваша взял ее на руки и начал целовать. И Нюша плачет, и дядя Иван плачет.

И так ему легко, хорошо стало. Точно все прошло, и ничего не было, и старое опять вернулось во всей его старой прелести.

Вошли тихохонько Ипат Исаич и Марфа Пар-

феновна, вошли, оба молча низехонько поклонились.

А дядя Иваша подозвал их обоих, обнял и расцеловал.

И снова отдал Иван Иваныч, возвратил все, что оттягивал, и даже от собственной землицы степной целый клин подарил.

— Вот, мамочка, видишь, — говорит Нюша. — Я говорила тебе, что дядя Иваша только пошутил и все назад отдаст.

А вечером пришел Телепень и поклонился Ипат Исаичу.

— Прошшай!.. добри чиловек… домой иду.

— Как! Зачем? Куда!.. Домой…

— Ты меня все бранишь… Я тебе баран тащил… Иван тащил… А ты все бранишь…

И как ни уговаривали Телепня, — не остался.

— Да ты хоть подожди до утра, дурень! Куда, на ночь глядя, пойдешь?! Замерзнешь дорогой!

Но не остался Телепень и до утра. Ушел в свои края вольные, на простор лугов и ковыльных степей.

1895

Новый год
Часть I

С Новым годом! С Новым годом! И все веселы и рады его рождению.

Он родился ровно в полночь! Когда старый год — седой, дряхлый стар и каш ка — укладывается спать в темный архив истории, тогда Новый год только, только что открывает свои младенческие глаза и на весь мир смотрит с улыбкой.

И все ему рады, веселы, счастливы и довольны. Все поздравляют друг друга, все говорят: «С Новым годом! С Новым годом!»

Он родится при громе музыки, при ярком свете ламп и канделябр. Пробки хлопают! Вино льется в бокалы, и всем весело, все чокаются бокалами и говорят:

— С Новым годом! С Новым годом!

А утром, когда румяное, морозное солнце Нового года заблестит миллионами бриллиантовых искорок на тротуарах, домах, лошадях, вывесках, деревьях, когда розовый нарядный дым полетит из всех труб, а розовый пар из всех морд и ртов, — тогда весь город засуетится, забегает. Заскрипят,

покатятся кареты во все стороны, полетят санки, завизжат полозья на лощеном снегу. Все поедут, побегут друг к другу поздравлять с рождением Нового года.

Вот большая широкая улица! По тротуарам взад и вперед снует народ. Медленно, важно проходят теплые шубы с бобровыми воротниками. Бегут шинелишки и заплатанные пальтишки. Мерной, скорой поступью — в ногу: раз, два, раз, два — бегут, маршируют бравые солдатики.

Вот между народа бежит и старушоночка, а с ней трое деток. Старший сынок в маленьком обдерганном тулупчике без воротника и в протертых валенках бежит впереди, подпрыгивает, подплясывает и то и дело хватает за уши — бегут, бегут, скрип, скрип, скрип.

— Мороз лютой, погоняй, не стой!.. Бежим, матка, бежим!

— Бежим, касатик, бежим, родной. Мороз лютой, погоняй, не стой!.. Господи Иисусе! Бежим, Гришутка, бежим, лапушка!..

И Гришутка торопится, пыхтит, семенит ножонками. Скрип, скрип, скрип… От земли чуть видно. Шубка длинная, не по нем, но его поддерживает сестренка Груша. Поддерживает, а сама все жмется, ёжится. Похлопает, похлопает

ручками в варежках и опять схватит Гришутку за ручку и — побежит, побежит!..

— Мороз лютой, погоняй, не стой!..

Но Гришутка не чувствует мороза. Ему тепло, ему жарко. Пар легким облачком вьется около его личика.

И весь он там, еще там, где они были назад тому с полчаса. В больших палатах, где большая, большая лестница уставлена вся статуями и цветами. Там швейцар с большими черными баками, весь в золотых галунах, в треугольной шляпе и с большою палкой.

Там живет сам «его превосходительство», и они ходили поздравлять его с Новым годом.

Каждый Новый год приходит Петровна с детками поздравлять его превосходительство, и каждый раз его превосходительство высылает ей три рубля за верную и усердную службу ее покойного мужа Михеича.

И на этот раз швейцар доложил — и через час выслали с лакеем новенькую, не согнутую трехрублевую бумажку.

Петровна поклонилась, поблагодарила, перекрестилась, дала швейцару двугривенный, на который он посмотрел искоса, подбросил на руке и затем с важностью опустил в жилетный

карман.

Все время, пока они стояли в сенях у его превосходительства, Гришутка на все дивовался, все осматривал своими большими черными глазами и поминутно теребил мать за рукав.

— А это, мама, лестница? — лепечет он чуть слышно.

— Лестница, касатик, — шепчет мама.

— А куда она идет?

— Наверх, в комнаты.

— Они тоже большущие?

— Большущие, касатик, большущие.

— А на лестнице это сады рассажены?

— Сады, родименький, сады.

— А между ними что за куклы большущие, белые стоят?

— Это для красы, лапушка, для красы.

— А это что, вон там, светлое такое — большущее?

— Это зеркило, касатик, зеркило.

— А это, посреди, из чашки вверх бежит, это что такое, мамонька?

— Это фантал, касатик, фантал… А ты нишкни, лапушка, сейчас прийдут… Не хорошо болтать-то…

И Гришутка замолк, но не успокоился. Его чер-

ные глаза словно хотели проникнуть насквозь и ковер на лестнице, и медные прутья, которыми он был пристегнут, и лепку на сводах высоких пилястр, и грациозную фигурку сирены, поддерживающей чашу фонтана.

«Вот бы туда посмотреть! — думал он. — В те большущие комнаты, что наверху этой лестницы с куклами. Там, чай, каких чудес нет?..»

И он бежал дорогой и все придумывал, воображая — какие должны быть чудеса на этой большущей лестнице?

— Бежим, бежим, лапушка, замерзнешь, — торопила Груня.

И Гришутка инстинктивно бежал скоро, скоро, скоро. Скрип, скрип, скрип, скрип, скрип!..

Часть II

Прибежали в иереулчишко, узенький, дрянненький, в двухэтажный серенький домишко и то на задний двор, чуть не в подвальный этаж; перед грязным, заплесканным крылечком целая гора намерзла грязных помоев. Скатились, точно в яму. Здравствуйте! Домой пришли.

— Холодно! Голодно!

— Погодите, ребятки, — говорит мать, — теперь

у нас есть что поесть и чем погреться. Погодите, родненькие. Сейчас будем с Новым годом. Я духом слетаю, дровец куплю, того, сего.

И действительно, духом слетала. Только по дорожке, на самую чуточку-минуточку в питейный дом завернула и шкалик перепустила, — да тут же рядом в лавочке пряничков, орешков, леденчиков купила и три фунта колбасики вареной, да краюшку решотнаго, да полфунтика масла промерзлого — чтобы Новый год было масляно встречать.

— Ну! Пташечки-касаточки, вот вам! И того, и сего, и этого… Груня, клади, матка, живей дровец в печь! Насилу, насилу все-то дотащила.

И Груня положила дровец, растопила печку. Зажарили вареную колбасу в масле. Мать суетилась без отдыха. Груня и Вася помогали ей с усердием. Вскипятили самоварчик, достали с полочки чайник с отбитым носком, с трещинами, чашки полинялые и побурелые. Из сундука вынули сахар в жестяной коробочке и щепотку чаю, бережно завернутую в бумажку. Чай давно уже пахнул кожей и сеном. Впрочем, он и свежий был с тем же самым ароматом.

Только Гришутка не принимал участия в общей хлопотне. Он как сел у замерзлого окошечка,

так и не отходил от него. Он хмурился и скоблил ледяные узоры на разбитых оконцах. Но, очевидно, машинально скоблил, а его душа и мечты находились там, там — в этих большущих сенях с мраморной лестницей, усаженной садами, уставленной большими куклами…

— Гришутка, касатик, дай скину красну рубашечку — да в сундучок спрячу — до праздника. А то, не ровен час, касатик, запачкаешь, упаси Господи!

— Нет, мама, я в ней останусь…

— Запачкаешь, мол, говорю, касатик. — И мать подходит к нему, обнимает и целует — в надежде, что касатик снимет драгоценную рубашечку из красного канауса и плисовые черные шаровары, подарок крестной матери; но касатик положительно возмущается…

— Отстань, мамонька! Говорю: не замай!.. От тебя вон водкой воняет…

— А это я для куражу, для праздничка, лапушка, выпила, — оправдывается мама, быстро вертя рукой около смеющегося, красного, истрескавшегося лица.

— Ну, ладно! Отстань, мамонька, я целый день буду в эвтом ходить, — вот что!

И мамонька отстала. «Пущай его, — думает

она, — уснет младенец, я его, крошечку, раздену, а теперь пущай пощеголяет, душеньку для праздника потешит».

— На-ко, сахарный, леденчиков да прянич-ков! — предлагает она.

И сахарный машинально, задумчиво берет леденчики и прянички. Но, очевидно, думы его слаще ему леденчиков и пряничков.

Наелись, напились, — напраздничались. Пришли гости: кум, да сват, да свояченица, принесли гостинцев.

— С Новым годом, с новым счастьем. Дай Бог благополучно!..

Послали Ваню за полуштофом. Опять поставили самовар, и пошли чаи да россказни без конца и начала…

Наконец наговорились, разошлись по домам.

Стемнело. Гришутка припрятал пакет, что мать принесла с пряниками, и в нем с десяток пряничков и леденцов. Как ни тянуло его, он ни один не съел, все припрятал с пакетом, завернув его тщательно, и все держал за пазухой.

— Мамонька! — обратился Гришутка к матери, — а там, там, где мы были, — там долго спать не ложатся?..

— У его превосходительства?.. И-и, касатик ме-

довой, ведь они баре, — сказала она шепотом. — У них ночь заместо дня. Мы давно уже спим, а они до вторых петухов будут сидеть.

— Что ж это они делают, мамонька?!

— А вот что, касатик. Седни вечером у них елка. Болыпущу, болыпущу таку елку поставят и всю ее разуберут всякими гостинцами, конспектами, да всю как есть свеченьками уставят. Страсть хорошо! А наверху, на самом верху звезда Христова горит... Таки прелести — что и рассказать нельзя. Вот они, значит, около этой елки все соберутся и пируют.

И Гришутка еще больше задумался. Большая елка, с Христовой звездой наверху, приняла в его детском все увеличивающем представлении сказочные, чудовищные размеры.

К вечеру матка стала совсем весела. Всех, и Ваню, и Груню, и Гришутку, заставляла плясать и сама прищелкивала и припевала:

Уж я млада, млада сады садила,

Ах! Я милого дружочка поджидала...

Наконец она совсем стала сонная. Ходила покачиваясь. Все прибирала. Разбила две чашки, расплакалась, свалилась и захрапела.

— Ну, — сказал Ваня сестре, — теперь матку

до завтра не разбудишь. Пойдем за ворота поглазеем.

И они, накинув тулупчик и пальтишко, вышли за ворота.

Гришутка остался один.

В комнате совсем стемнело. Он присел около печки в угол, прислонился к ней и думал упорно все об одном и том же. Темная комната перед ним вся освещалась, горела огнями. Чудовищная елка вся убиралась невиданными дивами, и все ярче горела на ней звезда Христова. Наконец воображение устало. Гришутка зевнул, съежился, прислонился ловчее к печке и крепко заснул…

Долго, долго прогуляли Груша с Ваней: бегали на большую улицу, смотрели в окна магазинов, наконец вернулись, и целые клубы пара ворвались с ними в комнату. Он обхватил, разбудил Гришутку.

Весело перешептываясь и смеясь, дети разделись и спать улеглись, — а об Гришутке забыли.

Он тихонько привстал, потянулся. Подождал, пока брат и сестра заснули. Тихо, на цыпочках подошел он к своей шубке. Кое-как надел ее. Надел шапку, варежки, натянул валенки — и тихонько вышел, притворив дверь как мог плотнее.

Черная ночь обхватила его морозным возду-

хом. В переулке тускло мерцали фонари.

Часть III

Он помнил только, что «его превосходительство» живет на улице, которая называется Большой Проточной, и что в эту улицу надо свернуть с Заречного проспекта.

Вышел он из переулочка на улицу и у первого попавшего «дядюшки» спросил — как ему пройти в Большую Проточную.

— Эх ты, малыш! — сказал дядюшка. — Как же ты эку даль пойдешь? Ступай до угла, а там поверни налево… И все прямо, прямо иди, все так-таки прямо все иди, иди по проспекту-то, а там спроси — укажут, чай, добры люди… Ах ты, малыш, малыш! Смотри через улицу не переходи! Задавят… Да тебя кто послал-то?!

— Никто, дядюшка, я сам, к его пливосходительству иду…

— Сам! — удивился дядюшка и долго смотрел вслед Гришутке, а он, подобрав шубку, бежал, бежал, как было указано. Пот давно уж капал с его раскрасневшегося личика. Он шатался. Ноги ему отказывались служить…

Наконец еле дыша, чуть не плача, подошел он

к другому «дядюшке».

— Дяденька! Укажи мне, где Большая Проточная.

Дяденька поглядел на Гришутку, подумал. Нагнулся к нему.

— Считать умеешь?

— Нетути!..

— Нетути. Ну, вот что. Смотри, — и он растопырил пальцы. — Вот одна улица, другая, третья. И поверни ты в эту третью. Это и будет Большая Проточная… Понял?

— Понял! — прошептал Гришутка. — И с новыми силами, с новой бодростью в сердце побежал дальше.

Против первой улицы он загнул один пальчик, против второй — загнул другой, в третью повернул. Шел, шел и вот… Да! Действительно, это был он, дом «его превосходительства». Но отчего же перед ним стоят все кареты, кареты?

Гришутка вздохнул полной грудью и поднялся на крыльцо.

С трудом он чуть-чуть отворил и протиснулся в большие дубовые двери с зеркальными стеклами. Отворил он и вторые двери и очутился в сенях.

Газовые лампы ярко горели. В сенях никого не было. Зато в швейцарской направо слышались

громкие голоса и смех.

Гришутка подумал, идти ли ему к швейцару или не идти. Он боялся его большой палки с золотым шаром и больших черных бакенбард. На вешалке висело много шуб. Он скинул тулупчик, свернул его комочком и положил на пол в уголок. Затем вынул из-за пазухи гостинцы — пакетик с леденцами и пряниками — и бодро отправился вверх по мраморной лестнице.

Статуи точно смотрели на него с их пьедесталов; но он, не глядя на них, бойко всходил наверх. Маленькое его сердце колотилось в груди, голова шла кругом.

Наконец он поднялся на высокую лестницу. Там, наверху, все зеркала, зеркала — и он увидал в них себя, увидал свое раскрасневшееся личико — с большими черными глазами.

Потом он вошел в первую залу — всю красную, раззолоченную. Пол такой скользкий и блестит как «зеркило». Атам, впереди, был шум, говор, детские голоса, детский смех.

Гришутка пошел туда. Он прошел всю длинную залу и подошел к двери. Перед ним была большая, большая белая зала, — и посреди ее большущая елка.

Вся она сверху донизу горела и сверкала огонь-

ками! А на самом верху сияла большая, большая звезда Христова.

Кругом елки были дети, много детей в ярких нарядных платьицах. А кругом них стояли господа, барыни… Шум, говор, смех!..

У Гришутки потемнело в глазах. Вся зала покрылась словно туманом и закачалась. Но это было ненадолго. Он вытянул вперед ручонку с гостинцами, плотно прижал другую к груди, к колыхавшемуся сердцу и бодро пошел вперед.

Он подошел прямо к высокому седому господину.

Этот господин и был сам «его превосходительство».

— Ваше пливосходительство! — сказал внятно Гришутка. — Вот я пришел с Новым годом вас поздравить. Вот-с и гостинцы!

— Это мне? — спросил его превосходительство.

— Вам, ваше пливосходительство… А мне можно будет поиграть здесь?

Его превосходительство удивленными глазами, не переставая улыбаться, посмотрел на Гришутку, на его доброе, красивое личико с умными большими глазами.

Он смотрел, а сам развертывал серый пакетик с леденцами и пряниками.

— Да кто же ты? — спросил он с недоумением, оглядываясь кругом.

— Я Гришутка… Мама, знаете, спать легла, и все спать легли. Я все сидел да думал, сидел да думал, как бы мне посмотреть на большую елку. Взял да и пошел один. Спросил сперва одного дяденьку, потом другого дяденьку, — а он растопырил этак руку — вот, говорит, одна улица, а вот другая улица, и там будет третья. Ты в третью-то и ступай…

Большие и малые обступили Гришутку. Нимало не смущаясь, он осматривал всех и продолжал рассказывать.

— Да кто же твоя мама? — спросил его хозяин дома.

— А Петровна… чай, знаете?

— Quel charmant enfant! (Какое прелестное дитя!) — сказала одна молодая дама. — Dieu! Quels yeux! (Какие чудные глаза!)

— Где же живет Петровна? — спросил его превосходительство, обертываясь к дверям залы.

У этих дверей стояли несколько слуг и один скоро, скоро подошел к его превосходительству.

— Узнайте, где живет Петровна? — сказал его превосходительство.

И слуга быстро побежал, узнал и доложил, что Петровна живет на Песках, в Глухом переулке.

— Боже мой! И этакую даль ты шел один! — вскричали дамы.

— Тссс! — произнес генерал, покачав головой. — Ну, — сказал он, — Гришутка, теперь пойдем — я тебя, брат, представлю хозяйке дома, — и он повел Гришутку за руку в гостиную, в которой было не так светло и где сидели старые, почтенные дамы. — Вот, — сказал он, входя в гостиную, — рекомендую вам джентльмена с Песков. Один ночью пришел с Песков сюда, пришел поздравить меня с Новым годом — и вот вам — гостинцы принес… Не угодно ли. — Говоря это, он любезно предложил дамам — lesbonbonsde Piessky.

— Quel delicieus enfant! — вскричали дамы. — Прелестный ребенок: подойди, душечка, сюда… Ravissant… Как же это ты один шел… И не страшно тебе было?

— Нет, — сказал Гришутка. — Я, знаете, все бежал, бежал так шибко, шибко. Одного дяденьку спрашиваю, где, мол, Заречный проспект, а он говорит: тебя, мол, говорит, кто послал?..

— Да тебе сколько лет-то? Клоп ты с Песков!.. — спросил вдруг его превосходительство.

— Мне семой…

— Qu'est ce queca… сёмой — quel baragouin!

— Вот, княгиня, — обратилась хозяйка к старой, больной даме. — Вы искали воспитанника. Вот вам сирота, изволите видеть… один в одиннадцатом часу с Песков пришел. Можете вы себе представить… один, один… С Песков пришел.

Княгиня взяла Гришутку за ручку и притянула к себе… Она посмотрела в его личико. Гришутка пристально посмотрел на нее…

— Знаешь что, Гриша, — сказала она, — это не сам ты пришел, а Бог привел тебя… ты любишь Бога?..

— Для че не любить. Я всех люблю, коли кто добрый. А вот у нас дворник Наумыч, чай, знаете, он злющий, все маму бранит. Я его не люблю.

— А меня будешь любить?

— Тебя-то?

Он пристально посмотрел на добрые, полусонные глаза княгини.

— Ладно. Для че не любить.

Говоря это, он тщательно рассматривал вышитый ридикюль княгини и кисти его из стального бисера.

— Ну! Гришутка с Песков, — сказал генерал, — пойдем теперь в залу. За твои гостинцы я тебе сам дам гостинца. — И, взявши опять Гришутку за ручку, он привел его к елке.

— Ну, чего хочешь? Выбирай!

Пред Гришуткой запестрели нарядные бонбоньерки, корзиночки, игрушки — все как жар золотом горело и рябило глаза. Но Гришутка твердо помнил одно то, что занимало его целый вечер.

— Мне, дяденька, ваше пливосходительство, — сказал он, — Христову звезду дайте.

— Какую Христову звезду? — спросил удивленно его превосходительство.

— Вон, вон, на самой вершинке-то — така, как жар горит!

— О-о-о! Чего захотел! Самой вершинки захотел. Ах ты, клоп с Песков!.. Да как же я достану до звезды-то Христовой. Видишь, видишь… Я еще не дорос до нее…О

— Ха! ха! ха! — засмеялся его превосходительство, и все дети дружно захохотали кругом.

— Ну, я велю принести лестницу, — сказал его превосходительство, — только, думаю, такая лестница и здесь найдется, за ней не надо на Пески ходить.

И он велел принести лестницу.

Принесли ее три лакея и подкатили как раз к елке.

— Ну, — сказал генерал, — Гришутка с Песков,

вот тебе и лестница. Теперь, если хочешь, полезай сам и доставай Христову звезду.

И Гришутка бодро кинулся на лестницу. Бойко взошел он на нее. Но ручонка не доставала до звезды.

Не долго думая, он схватил ближайшую ветку и потянул к себе. Несколько свечек упало, несколько золоченых яблоков и орехов полетело вниз; но Гришутка крепко схватился за звезду, изо всех сил потянул ее, и звезда осталась у него в руке.

Высоко подняв звезду над головой, весь красный от волнения, весь дрожа, он начал спускаться с лестницы. Дети и барыни закричали «браво, браво!» и громко захлопали в ладоши.

Гришутка спустился с своим сокровищем.

— Ну, — сказал его превосходительство. — Молодец, Гришутка с Песков! Знаешь ли, что это за звезда?

Гришутка ничего не отвечал. Он тяжело дышал.

— Эта звезда будет твоей путеводной звездой, — понимаешь? — твоей путеводной звездой. Она тебя выведет на дорогу. Береги ее!

Часть IV

Прошло много, много лет.

Давным-давно не стало матери Гриши. Не стало Груни и Васи. Умер его превосходительство и княгиня-воспитательница Гриши, а сам Гриша из Гришутки давно превратился в Григория Васильевича, и сам стал «его превосходительство».

Он даже поселился на Большой Проточной, недалеко от прежнего дома его превосходительства, от того самого дома, в котором он добыл когда-то свою «путеводную звезду».

Он жил в третьем этаже на большой лестнице; на ней также стояли статуи и большие растения. И эта лестница была общая для всех этажей и всех квартирантов.

В квартире была большая передняя и несколько комнат, светлых, чистых и просторных.

У него была добрая старушка жена, три взрослые дочери и две внучки.

Всю жизнь его вела «путеводная звезда» по светлой прямой дороге. Он всю жизнь хлопотал о том, как бы устроить для всех Гришуток приюты, где бы они воспитывались и выходили в люди не по прихоти случая или «путеводной звезды».

Он думал, что придет наконец то блаженное время, когда не будет глухих закоулков на разных «Песках» и люди не будут жить в подвальных этажах, подле помойных ям и мерзнуть от холода в зимние морозы.

Он много трудился над этим делом — и теперь почти пятьдесят лет прошло с тех пор, как он в первый раз выступил на эту дорогу.

Много было основано им всяких благотворительных обществ и учреждений, много построено всяких благодетельных зданий и заведений. Но чем более он их строил, тем дальше уходила от него цель, за которой он гонялся, как мальчик за тенью.

Пятьдесят лет тому назад он вышел на смертный бой с тем чудовищем, которое зовут людской бедностью.

Он бился с ним ровно полвека, и что же?.. Чем больше он бился, тем больше вырастало чудовище. Он строил новые учреждения, и новые головы вырастали у чудовища, как у гидры.

Город разросся. Но не исчезли его «Пески» и глухие закоулки. Они только отодвинулись на новые окраины, а в самом центре завелись углы и подвалы — грязные закоулки и разные помойные ямы. Завелись целые приюты нищеты и

разврата…

Он чувствовал, как руки его опускались, — он, семидесятилетний старик, — чувствовал, что борьба кончилась, что победило его страшное чудовище.

Грустный, испуганный сидел он один в своем кабинете, накануне Нового года, опустив на руки свою седую голову.

А в зале раздавались веселые голоса, детский смех.

Но ничего не слышал он. Не сводя глаз, он смотрел прямо, упорно, и глаза его в ужасе раскрывались шире и шире.

Перед ним стояло отвратительное чудовище — грязное, худое. Оно дрожало от холоду и едва ворочало коснеющим языком. Его костлявое тело выглядывало из множества дыр обдерганного, обтрепанного рубища.

А сзади его, смеясь, самодовольно шло другое чудовище, еще более отвратительное, — чудовище, страшное своей бесчеловечностью и силой. Оно хохотало пронзительно — и при этом тряслись его длинные пейсы и остроконечная борода…

Оно шло на смену и было непобедимо…

Нестерпимый ужас охватывал сердце…

— «Путеводная звезда», — шептал он, — «путеводная звезда», куда ты меня привела?!!

И он смотрел с укором на эту «путеводную звезду», на это воспоминание из его далекого детства. Она висела перед ним на стене, обделанная в золотую рамочку.

Но в это время в соседней комнате раздались детские голоса, и в кабинет к нему ворвалась веселая компания.

Впереди всех бежали две его внучки с бокалами в руках, с букетами белых роз.

— С Новым годом, деда, с Новым годом!.. С новым счастьем. — И они обе обхватили его шею…

Подошли дочери, подошла и жена — и обняла его голову.

— С Новым годом, старик! — сказала она, целуя его.

Но старик ничего не ответил… Только горькие слезы тихо катились по его доброму старческому лицу…

1906

ЕВГЕНИЙ ПОСЕЛЯНИН

Николка

Все для разговенья было готово. Пирог подрумянился, и от одного вида хорошо поджаренной, промасленной корки становилось сладко; жирный кусок баранины распространял по избе заманчивый запах; из выставленного только что из печи горшка с горящими щами шел густой пар. В избе было почти все прибрано. В святом углу с почерневшею большою иконой Скорбящей и новенькими образами в бумажных ризах засвечена была лампадка.

Сквозь окна уже почти не видно было света. День быстро скрывался. Михайла во дворе запрягал дровни. Пора было собираться ко всенощной. Ехать нужно было не в приход, а в большое село Трехбратское, лежавшее от деревни верстах в двенадцати. Там был храмовый праздник.

Хозяйка Михайлы, Марья, ухватистая, высокая румяная баба, быстро довершала уборку избы. Выставив из печи на стол жареное и пирог, она прикрыла их и крикнула пасынку своему, Николке, мальчику лет семи, чтобы вынес в сени кошку и не пускал ее в избу, а то еще вздумает полакомиться их разговеньем. Покончив с при-

готовлением к завтрашнему обеду, Марья стала обряжаться. Она была из зажиточного дома в Трехбратском и любила показать себя лицом. Не хотелось ей в такой день выезжать кое в чем. И когда надела она цветной сарафан сдутыми серебряными пуговками, голову повязала красным шелковым платком, накинула тулуп, крытый тонким синим сукном, то стала еще величавее и пригляднее.

Вошел в избу Михайла, пустив за собою клубья морозного воздуха, и тоже начал одеваться по-праздничному. Только у Николы не было ничего нового. Все же он надел вымытую рубаху и, напялив свой заплатанный полушубок, стоя в углу, бережно оправлял мятый картуз, который в обыкновенные дни надевал на голову, не заботясь об его виде. Михайла несколько раз украдкой взглянул на сынишку. Может быть, ему стало жаль, что у него нет к празднику обновы. Он мог также думать, что было бы иначе, если бы жива была мать Николки. Сам же Николка не думал ни о мамке, ни об обновах. Он старался стоять как можно тише, чтобы чем-нибудь не рассердить мачеху. Он был очень рад, что его берут в село, и ему хотелось поскорее сесть на дровни, где его уже не за что будет бранить.

В Трехбратском должны были заночевать у родных Марьи и только уже после обедни вернуться домой. Все это очень занимало Николку. Изготовившись, Михайла поплотнее завернулся сверх полушубка в широкий армяк и покрепче подпоясался. Марья устроила у себя на груди своего годовалого ребенка, загасила огонь, оставив одну лампадку, и все вышли наружу, Михайла с Марьей поместились спереди, а Николка с большим удобством прилег сзади, и так поехали.

Сытая, сильная лошадь бежала весело. Схваченный суровым морозом снег визжал под полозом, дровни скользили ровно и плавно. На густом ворохе соломы и покрытым еще сверху старым отцовским кафтаном Николке было тепло. Сперва он долго глядел то вверх, на небо, сверкавшее бесчисленными, все продолжавшими высыпать звездами, то на огоньки в избах встречных деревень, то в темноватую даль, и с боков, и спереди, и сзади обступавшую дровни. Потом от ровной езды и от той тишины, в которой они ехали, Николка стал дремать. Сквозь забытье чувствовал он, что дровни въезжали уже в лес и что если б он был один, ему бы тут стало страшно, а со своей семьей на дровнях здесь было еще лучше, чем в поле. С обеих сторон точно обнимали узкую

дорогу громадные сосны и редкие лиственные деревья, и прежняя тишина сменилась каким-то странным и загадочным непрерывным шепотом. Бог весть, о чем думал Николка.

Хотелось бы ему лета, когда в этом самом лесу, на полянках, в траве, распускались цветы и зрели ягоды, а близ кочек подымались грибы, или думал он о селе, горящей огнями церкви с громким пением и праздничным народом, или хотелось ему, чтобы кто-нибудь приласкал его. Но сладко было в этот вечер Николке дремать на дровнях, среди леса, под убаюкивающее визжание полозьев.

Вдруг что-то потянуло его оглянуться назад. Высвободив голову из-под кафтана, он посмотрел на дорогу. Не очень далеко от дровней бежало что-то разбросанное, черное, и из этого черного светились как будто прыгающие огоньки. Николке стало страшно. Он быстро поднялся в дровнях на колени и заглянул через отца на лошадь. Лошадь дрожала, уши ее поднялись, и она трусливо водила ими.

— Чего ворочаешься-то? — спросила недовольно мачеха. В ее голосе слышалась тревога. Николка обернулся еще раз назад. Огоньки приближались. Уже ясно слышался шум надвигающейся массы.

— Тятька, волки! — закричал Николка.

Михайла видел все. Он почувствовал опасность, когда лошадь насторожила уши, и, зная, что делать тут нечего, только молил Бога унести их от беды. Он надеялся лишь на одно, что волков мало или что кто-нибудь подъедет сзади, и они отобьются вместе. Погоняя лошадь, он оглянулся назад: целая стая волков гналась за ними. Лошадь бежала изо всех сил, но расстояние между стаей и дровнями становилось все меньше.

— Держись, — закричал Михайла, — все кучкой сидите. Бог милостив, может, уедем! — И, приподнявшись, он стал неистово, до крови, нахлестывать лошадь.

Высоко забросив голову, лошадь точно стлалась над землей. В смертельном ужасе прижимая к себе ребенка, Марья смотрела вперед. Михайла то и дело оборачивался. За спиной Марьи, лицом к волкам, стоял на коленях Николка. Ему уже было слышно дыхание зверей. Он понимал, что, когда волки совсем нагонят, они бросятся на него первого. Он не плакал, не кричал, не бился, но весь замер.

— Николку, Ни колку держи, — кричал Марье Михайла.

Но Марья все сидела неподвижно. Волки на-

стигали. Морда переднего волка касалась уже дровней. Через мгновенье он бежал с ними в уровень. Скоро дровни должны были очутиться в самой середине стаи. Ужасные огоньки волчьих глаз мелькали со всех сторон, слышалось тяжелое дыхание страшных зверей. Вдруг Марья поднялась и, одной рукой продолжая придерживать своего ребенка, другою со страшной силой подняла за полушубок Николку и с безумным криком швырнула им в волков.

«Тятька, тятька!» — раздалось в воздухе.

Но дровни летели дальше. Обезумевшая лошадь несла их неудержимо. Был ли затемнен ум Михайлы, не слыхал ли он, как зовет его сынишка, но он все хлестал бесившуюся лошадь. Атам, сзади, чернела на белом снегу стая, окружившая сброшенного с дровней мальчишку.

Когда мачеха сбросила Николку волкам, кроме безграничного ужаса, мертвящим холодом прохватившего его до костей, он ясно осознавал: «съедят», и, закрыв глаза, лежал на земле, не пытаясь встать. Между тем все было тихо. Оттого что волки не бросились на него сразу, ему стало еще страшнее. Со страшным усилием, как бы ожидая воочию увидеть свою смерть, он осмелился открыть глаза. Волков не было. На снегу

было тепло.

И вдруг что-то радостное, такое, чего он не испытывал еще никогда в жизни, охватило мальчика.

Почему-то ему стало ясно, что он спасен. Какая-то сила стояла вокруг него в лесу, меж деревьев, лилась с высокого неба, и эта сила ласкала и оживляла его. Эта сила смела куда-то страшную стаю волков и, торжествующая, наполняла благоволением и радостью весь лес. То была какая-то бесплотная сила. Она неслась над землей и разливала вокруг себя успокоение и отраду. И там, куда приближалась она, белее стлалась снежная пелена, горячей и приветливей светили с неба звезды, и все с ликованием встречало сошествие чудного Младенца. Земля чуяла эту животворящую силу. И пред ее шествием седые сосны склоняли свои гордые вершины, а под снежным саваном та сила совершала невыразимые вещи.

По деревьям от корней потекли живые соки, на лучах снег покрывался зеленой свежей травой, зацветали цветы. Нежный подснежник, чистый ландыш, белая ромашка, голубая незабудка, полная благоухающей влаги фиалка, — прорастали там, где за минуту лежал мерзлый снег, и в лиловых чашечках колокольчиков слышался веселый

тоненький звон…

Рои легких стрекоз с прозрачными крыльями и легких бабочек кружились над расцветшими вокруг цветами…

Подняв ледяную, мгновенно растаявшую кору, журчали светлые ручьи, спеша скорее добежать до больших рек, до дальнего теплого моря…

И всюду, где проходила та сила, была торжествующая бессмертная жизнь, и не было там ни смерти, ни горя, ни сожаления…

И над всем этим просветлением и радостью шла она, всепрощающая, победоносная сила…

Вокруг нее слышался тихий полет чьих-то легких крыльев, доносились отголоски какой-то песни, когда-то давно, в такую же ночь, спетой с неба бедной освобожденной земле и услышанной тогда несколькими пастухами…

В больших городах суетою были заглушены те отголоски, но в лесу им внимала пробужденная природа, вторившая им радостным ропотом жизни, да спасенный тою силою деревенский мальчик, и, когда прошла она, снова холодно, тихо и грозно было в лесу. Не стало в нем ни журчащего ручья, ни только что расцветших цветов, ни порхающих бабочек…

Не было также мальчика…

Только следы полозьев да волчьих лап были по-прежнему на снегу, да весело мигали с неба ясные звезды, да старые сосны неспешно завели непонятную речь о том, что они видели…

Ускакав от волков, Михайла и Марья были в самом ужасном положении. Страшное пустое место в дровнях, где лежал, когда они выехали со двора, Николка, зияло перед ними грозным обличением. Они не смели вернуться назад высвобождать Николку. И страшно было ехать вперед, страшно подумать о церкви. В головах у них было туманно. Они не перемолвились ни одним словом и сумрачные въехали в село.

Издали в ночной морозной тишине доносился благовест звучного колокола. Скоро открылась церковь, расположенная поодаль барского дома на высоком, издали видном месте. Около церкви стоял гул еще неуспевшего войти внутрь народа. Здравствование и перебрасывание словами, окрики на лошадей, визг полозьев и шагов по затвердевшему снегу отчетливо раздавались в застывшем и неподвижном от холода воздухе. Мальчики плясали по снегу, чтобы согреться, и дули в пальцы; пришедшие пешком присаживались отдохнуть на выступ каменной ограды; входившие в церковь снимали на паперти с

высокою крышей шапки и крестились. Сквозь стеклянные широкие двери виден был изнутри яркий свет и колыхающаяся толпа.

Только Михайла и Марья без радости, с тяжелым сердцем, вошли в церковь. Еще на селе им показалось, что парень во дворе у родных, которому они сдали лошадь, смотрит на них подозрительно. Не могли они отвечать никому, кто здоровался с ними; не смели никому глядеть в глаза, не смели пройти вперед и остановились неподалеку от дверей.

Прямо перед ними был алтарь. Много свечей пылало перед местными иконами, к ним прибавлялись все новые, а они не смели и подать на свечу. Михайла тосковал по сынишке, а Марья терзалась жгучим раскаянием.

Ей чудилась другая женщина, мать Николки, и эта женщина смотрела на нее неотступно грустными глазами, и в ушах Марьи слышался ужасный шепот: «Что ты с ним сделала?»

Служба шла. Отчитали Шестопсалмие; открылись потом Царские врата; притч вышел к иконе на середину церкви, и раздалось величание родившемуся Младенцу. Потом пошли кадить в алтарь, и голоса детей из сельской школы тихо и стройно стали повторять слова величания. В

это время Марья, широко раскрытыми глазами смотревшая вперед, дернула мужа.

— Видишь, — сказала она, чуть не задыхаясь, — Николки душенька по церкви ходит.

— Вижу, — отозвался Михайла.

Действительно, Николка в старом полушубке и валенках, держа в руках старый картузишко, видимо, только для Михайлы и Марьи, ходил по церкви. Он шел за священником, входил за ним в алтарь, вышел назад и пошел за ним по церкви, и, когда священник, недалеко от Михайлы и Марьи, покадил в их сторону, шедший за священником Николка низко им поклонился.

— Поедем домой. Мочи нет моей, — шепнула Марья мужу, и они вышли из церкви и поехали домой другим путем.

Не смела Марья молиться, но в уме ее стояла одна мысль, — что Бог велик и что Он мог бы сделать так, как будто ничего этого не было. С сокрушенною душой, сознавая себя последнею из грешниц, входила она в избу. Лампада теплилась перед иконой Скорбящей и образами в золотых бумажках. На лавке под образами тихо спал в полушубке, картузишке и валенках живой, невредимый Николка…

А по всей вселенной всю ту ночь ходила вели-

кая Божия сила.

1910-е

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ

Хаврошина елка

(Святочный рассказ)

Часть I

На самом краю деревни Деурина стояла избенка солдатской вдовы Арины Паниной. Незадолго до Рождества, этак дней за пять приехала к Арине из Питера старшая сестра Варвара, с которой она лет десять не видалась.

Обрадовалась сестре Арина, расцеловались сестры, и пошли у них разговоры без конца.

Служила Варвара десять лет в няньках у богатых господ; а как барчата их подросли, она и отошла от места. Жила Варвара у господ, как сыр в масле каталась: еда хорошая, на праздники подарки дарят: либо шубенку, либо платье, либо деньгами. Всего было!.. Вон два сундука всяким добром набиты, да триста рублей у нее на хранении лежат… Вот поживет тетка Варвара у сестрицы, в монастырь деньги внесет, и дадут ей келейку, чтобы дожить ей тихо, мирно и беспечально…

И видит Арина — сидит перед ней Варвара барыня барыней: платье шерстяное, шубка на

лисьем меху, платок ковровый на плечи накинут; лицо у нее белое, полное, руки холеные. А посмотрела Арина вокруг себя — и сердце у нее от боли заныло: всюду-то беднота, нужда горькая да голод!..

Часть II

А вечером, после ужина, и стала тетка Варвара про житье-бытье городское сказывать. Чисто мед с молоком слова у нее текли. Хавроша, дочь Арины, и про сон забыла — навострила уши, слово боится пропустить…

Арина слушала молча, и все ее досада да зависть разбирали. Уж больно им-то с Хаврошей тяжело жилось! И одеться не во что, и иной раз хлеба перекусить не приходится…

— Вот, — рассказывала тетка Варвара, — сейчас Рождество наступает. И пойдет по всему городу веселье, пляс — сердце радуется. А для ребят елки там устраивают!..

И пошла Варвара сказывать, как купят господа елку, обрядят ее конфетками, пряниками, игрушками разными, яблоками да орехами — и детям ее подарят. А дети свечи на ней зажгут и давай вокруг елки плясать да сласти рвать.

Словно зачарованная слушала Хавроша тетку Варвару. А Арина и говорит:

— То-то деньги у господ без глаз: куда ни швыряют!

Тетка Варвара даже обиделась за господ:

— Что ж, сестрица, — не всем же по-свински жить, вроде вас!.. Тоже и себя, и детей потешить охота!.. А что деньги зря бросают, это точно… Вон намедни елку пошли покупать — приступу к елкам нет: либо три рубля, либо пять, а то и десять рублей отдают… Вот что!..

— Десять целковых?.. — Арину даже в жар бросило. — На десять-то целковых мы бы полгода беспечально жить могли.

Хавроша так и заснула в радужных мечтах. А наутро Арина и сказала Хавроше:

— Сходи, доченька, на село, к учительше Клавдии Васильевне: поклонись от меня, скажи, разнедужилась-де я вовсе, не даст ли мучки с четвертку, да масла, да полтинник — праздник встретить. Скажи, у сестры просила — и слышать не хочет: какие, говорит, у меня деньги?.. Да ты, Хавроша, у учительши и переночуй, а ночью не ходи…

Живо собралась Хавроша: материнскую кацавейку надела, платком обмоталась, валенки

обула. Потом под лавку сунулась и отцовский топор разыскала… Заткнула его за платок назади и пошла в путь-дорогу… Хавроша-то себе на уме… Недаром она с вечера теткины россказни слушала…

Часть III

Лютый мороз трещит на дворе. Солнышко, все окутанное мглой, стоит на небе красное, словно сердится на кого!..

Идет Хавроша — скорым-скоро; «хруп-хруп» — похрупывает мерзлый снег под валенками, а думы Хаврошины так сами на крыльях ее и несут. Вышла за околицу, спустилась к реке: тихо-тихо, кругом мертво…

Беги, Хавроша, беги, касатка, не то смерзнешь, такая-сякая!.. Студено!.. Руки-то коченеют, под кацавейку мороз набирается, и нос вишенкой горит. Вошла Хавроша в лес, устала, запыхалась. Да слава Богу, вон, в стороне стоит елочка, какую ей надо: кудревастенькая, высоконькая, аккуратная такая!.. Достала Хавроша топор и полезла по сугробам к елочке. Ноги вязнут в снегу: не то что по пояс, а по горло Хавроша в сугроб ушла. Да ничего, выкарабкалась!..

Ох, только уж вот этот мороз!.. Скрючил он пальцы у Хавроши — не разогнешь; топор не удержишь в руках, а не то что рубить… Стала Хавроша на пальцы дуть, да мороз дух захватывает, все в ней стынет!.. Даже заплакала Хавроша.

Чу!.. Скрипят полозья, лошадь фыркает!.. Никак едет кто!..

Ободрилась Хавроша, оглянулась и видит, что, точно, кто-то едет, да никак свой…

— Дядя Андрей!.. Андре-ей!..

На дороге за елями остановились розвальни, и вся лохматая, словно обсахаренная, лошаденка дымилась от пара… Бородатый, рыжий мужик сошел с саней и оглянулся…

— Хаврошка?.. Да как ты сюда попала?..

— Да я за елкой!.. А ты в город?..

— В город и есть!..

— Сруби, дядя Андрей, елку-то… В город свезем. Ишь, тетка сказывала, господам они нужны… Деньги платят…

Мужик почесал затылок и сказал:

— А что, братец ты мой, и то!.. И тебе срублю, и себе пяток возьму… Продадим и то… Ступай, ложись в сани-то, прикройся веретьем, а я, дай срок, нарублю…

Нарубили елок, навязали и поехали.

— Ачто, братец ты мой, — сказал Андрей, — кабы не случай, смерзла бы в лесу ни за грош! Либо заяц бы тебя залягал!.. Ишь, востроносая, что удумала!..

Часть IV

Шумно, людно на базаре. Скоро Святки!.. Живо раскупили у дяди Андрея целый воз елок. Осталась только Хаврошина елка. Жаль Хавроше елку продавать. А дядя Андрей ворчит:

— Что ж мне с тобой до ночи на морозе-то мерзнуть?.. Продавай, что ли, пора…

В это время мимо проходила какая-то барыня с девочкой.

— Что стоит елка?.. — спросила барыня.

— Три рубля, — пролепетала Хаврошa.

— Да ты с ума сошла! — вскрикнула барыня. — Вся-то ей цена 25 копеек.

Дяде Андрею даже обидно стало.

— Э-эх, барыня!.. — сказал он горько. — Оно точно, — елка ничего не стоит, — да девчонка-то вся смерзла, на морозе-то стоя; а дома-то у нее мать больна, и праздник нонче!..

Барыня быстро достала три рубля и сунула их Хавроше…

Вечер. Тускло чадит лампочка в Арининой избенке.

Тетка Варвара сидит за столом и ужинает. Арина, еще слабая от болезни, встала и прибирает посуду.

— Сердце-то не на месте, — говорит она, — и где это Хавроша запропала!..

В это время под окнами с надворья завизжали полозья; послышались глухие голоса… Собака залаяла. Кто-то стукнул в окно, и Варвара, кряхтя и ворча, пошла отпирать ворота… Дверь с визгом распахнулась, клуб пара вырвался из избы…

— Хавроша!..

— Вот тебе пропащая твоя!.. — проворчала тетка Варвара, вешая шубу на гвоздь… — Ишь, в городе побывала… ну и шустрая же!.. Ты послушай, чудес-то каких она натворила!..

На другой день был сочельник. В деревне все знали, что наделала Хаврошка, и об этом только и говору было.

А в сумерки тетка Варвара, весь день сидевшая у окна туча-тучей, окликнула сестру и сказала ей:

— Слышь ты, сестра… Одолела, значит, меня Хаврошка твоя… Вот что!.. Да… Хотела я в монастырь пристроиться; ну, так что вижу, Господь мне указал, чтобы вас, значит, не покидать…

Да… Ну, и останусь я жить у вас, и там что насчет денег, все это можно. А только ты-то уж меня при старости корми, пой!.. Одолела меня девчонка твоя!.. И шустрая же, сейчас помереть…

Арина чуть не до земли поклонилась сестре и только всего и сказала:

— Благослови тебя Бог, сестрица… Вместе и жить станем, вместе и к Господу Богу пойдем!..

1914–1916 ***(?)***

ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВ-ВОЛГИН

Заутреня святителей под Новый год

Белые от снежных хлопьев идут вечерними просторными полями Никола Угодник, Сергий Радонежский и Серафим Саровский.

Стелется поземка, звенит от мороза сугробное поле. Завевает вьюжина. Мороз леденит одинокую снежную землю.

Николай Угодник в старом овчинном тулупе, в больших дырявых валенках. За плечами котомка, в руках посох. Сергий Радонежский в монашеской рясе. На голове скуфейка, белая от снега, на ногах лапти. Серафим Саровский в белой ватной свитке, идет сгорбившись, в русских сапогах, опираясь на палочку… Развеваются от ветра седые бороды. Снег глаза слепит. Холодно святым старцам в одинокой морозной тьме.

— Ай да мороз, греховодник, ай да шутник старый! — весело приговаривает Никола Угодник и, чтобы согреться, бьет мужицкими рукавицами по захолодевшему от мороза полушубку, а сам поспешает резвой стариковской походкой, только знай шуршат валенки.

— Угодил нам, старикам, морозец, нечего сказать… Такой неугомонный, утиши его, Господи,

такой неугомонный! — смеется Серафим и тоже бежит вприпрыжку, не отставая от резвого Николы, гулко только стучат сапоги его по звонкой морозной дорожке.

— Это что еще! — тихо улыбается Сергий. — А вот в лето 1347-го, вот морозно было. Ужасти…

— Вьюжит. Не заблудиться бы в поле, — говорит Серафим.

— Не заблудимся, отцы! — добро отвечает Никола. — Я все дороги русские знаю. Скоро дойдем до леса Китежского, а там, в церковке, Господь сподобит и заутреню отслужить. Подбавьте шагу, отцы!..

— Резвый угодник! — тихо улыбаясь, говорит Сергий, придерживая его за рукав.

— Старательный! Сам из других краев, а возлюбил землю Русскую превыше всех. За что, Никола, полюбил народ наш, грехами затемненный, ходишь по дорогам его скорбным и молишься за него усердно?

— За что полюбил? — отвечает Никола, глядя в очи Сергия. — Дитя она — Русь!.. Цвет тихий, благоуханный… Кроткая дума Господня…

дитя Его любимое… Неразумное, но любое. А кто не возлюбит дитя, кто не умилится цветикам? Русь — это кроткая дума Господня. — Хорошо ты

сказал, Никола, про Русь, — тихо прошептал Серафим. — На колени, радости мои, стать хочется перед нею и молиться, ко честному образу!

— А как же, отцы святые, — робко спросил Сергий, — годы крови 1917, 1918 и 1919-й? Почто русский народ кровью себя обагрил?

— Покается! — убежденно ответил Николай Угодник.

— Спасется! — твердо сказал Серафим.

— Будем молиться! — прошептал Сергий.

Дошли до маленькой, покрытой снегом лесной церковки. Затеплили перед темными образами свечи и стали слушать заутреню. За стенами церкви гудел снежный Китежский лес.

Пела вьюга.

Молились святители Русской земли в заброшенной лесной церковке о Руси — любови Спасовой, кроткой думе Господней.

А после заутрени вышли из церковки три заступника на паперть и благословили на все четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь.

1926

Серебряная метель

До Рождества без малого месяц, но оно уже обдает тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви за всенощной «Христос рождается, славите» и снится по ночам в виде веселой серебряной метели.

В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили:

— Если принесешь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог тебе не видать!

«Ничего, — подумал я, — посмотрим... Ежели поставят мне, как обещались, три за поведение, то я ее на пятерку исправлю... За арихметику как пить дать влепят мне два, но это тоже не беда. У Михал Васильича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка, — ее тоже на пятерку исправлю...»

Когда все это я сообразил, то сказал родителям:

— Баллы у меня будут как первый сорт!

С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его:

— Ты слышишь, как пахнет Рождеством?

— Пока нет, но скоро услышу!

— Когда же?

— А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить зачнет, тогда и услышу!

Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым.

— Ты чего губы надул? — спросил Гришка.

Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил:

— Рази Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй?

— А чем же?

На это я ничего не смог ответить, покраснел и еще пуще рассердился.

Рождество подходило все ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но все же будешь их есть, потому что они рождественские.

За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы.

Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арихметику и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и

обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву, и в свидетельстве «об успехах и поведении» за арихметику поставил тройку, а за поведение пять с минусом.

Рождество стояло у окна и рисовало на стеклах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелят половики, затеплят лампады перед иконами и впустят Его…

Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал: необыкновенный снег… как бы святой! Ветер, шумящий в березах, — тоже необыкновенный! Бубенцы извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не те… По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на санках елку и как чудной чему-то улыбался.

Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово — «Рождество». Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками.

Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как посредине церкви читали пророчества о рождении Христа в Вифлееме; прошелся

по базару, где торговали елками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб; ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика, за что тот обозвал меня «шулды-булды»; перебрался через забор в городской сад (хотя ворота и были открыты). В саду никого — одна заметь да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился с разлету в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришел домой и увидел под иконами маленькую елку… Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой, а потом все громче да громче: «Дева днесь Пресущественного рождает», и вместо «волсви же со звездою путешествуют» пропел: «волки со звездою путешествуют». Отец, послушав мое пение, сказал:

— Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали?

Мать палила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях: «Наверное, шел тогда снег и маленькому Иисусу было дюже холодно!»

И мне до того стало жалко Его, что я заплакал.

— Ты что заканючил? — спросили меня с беспокойством.

— Ничего. Пальцы я отморозил.

— И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы олетывал в такую зябь!

И вот наступил наконец рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всем новом, мы пошли ко всенощной в церковь Спаса Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал Рождественскую звезду и, к великой своей обрадованности, нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями.

Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь — отовсюду идет сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют «жилой», и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал великое повечерие. Голос у Силантия сиплый и пришепетывающий, в другое время все на него роптали за гугнивое чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку. Протискался к нему и шепнул на ухо:

— Я видел на небе Рождественскую звезду… Большая и голубая!

Гришка покосился на меня и пробурчал:

— Звезда эта обыкновенная! Вега называется. Ее завсегда видать можно!

Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок.

Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел:

— После службы и от меня получишь!

Читал Силантий долго-долго… Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала еще тише. Силантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для него проясненностью воскликнул:

— «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!»

Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор:

— «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!»

Батюшка в белой ризе открыл Царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвеннике.

— «Услышите до последних земли, яко с нами Бог! — гремел хор всеми лучшими в городе голосами. — Могущии, покоряйтеся: яко с нами Бог… Живущии во стране и сени смертней, свет

возсияет на вы: яко с нами Бог. Яко отроча родися нам, Сын, и дадеся нам: яко с нами Бог… И мира Его несть предела: яко с нами Бог!»

Когда пропели эту высокую песню, то закрыли Царские врата и Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос.

После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон и хор улыбающимися голосами запел «Рождество Твое, Христе Боже наш».

После рождественской службы дома зазорили (по выражению матери) елку от лампадного огня. Елка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришел однолеток мой еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазоренную елку и сказал слова, которые всем нам понравились:

— Христос был хороший человек!

Сели мы с Уркой под елку, на полосатый половик, и по молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним петь: «Рождество Твое, Христе Боже наш».

В этот усветленный вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах, и у каждого из них было по звезде, все они пели: «Рождество Твое, Христе Боже наш».

1937

ЛЕВ КАССИЛЬ

Кондуит и Швамбрания
(Отрывок)

Серый в яблоках

Кончался 1916 год, шли каникулы. Настало 31 декабря. К ночи родители наши ушли встречать Новый год к знакомым. Мама перед уходом долго объясняла нам, что «Новый год — это совершенно не детский праздник и надо лечь спать в десять часов, как всегда...» Оська, прогудев отходный, отбыл в ночную Швамбранию.

А ко мне пришел в гости мой товарищ — одноклассник Гришка Федоров. Мы с ним долго щелкали орехи, играли в лото, потом от нечего делать удили рыб в папином аквариуме. В конце концов все это нам наскучило. Мы потушили свет в комнате, сели у окна и, продышав на замерзшем стекле круглые глазки, стали смотреть на улицу.

Светила луна, глухие синеватые тени лежали на снегу. Воздух был полон пересыпчатого блеска, и улица наша показалась нам необыкновенно прекрасной.

— Идем погуляем, — предложил Гришка. Но, как известно, выходить на улицу после семи

часов в декабре гимназистам строго-настрого запрещалось. И наш надзиратель Цезарь Карпович, грубый и придирчивый немец, тот самый, что был прозван нами Цап-Царапычем, выходил вечерами специально на охоту, рыскал по улицам и ловил зазевавшихся гимназистов.

Я сразу представил себе, как он вынырнет из-за угла, сверкая золотыми пуговицами с накладными двуглавыми орлами, и закричит:

«Тихо! Фамилия? Стоять столбом!.. Балда!» Такая встреча ничего доброго не предвещала. Четверка в поведении, часа четыре без обеда в пустом классе. А быть может, еще какой-нибудь новогодний подарок. Цап-Царапыч был щедр по этой части.

— Ничего, — сказал Гришка Федоров, — он где-нибудь сейчас сам Новый год встречает. Сидит небось уписывает.

Долго уговаривать меня не пришлось. Мы надели шинели и выскочили на улицу.

Недалеко от нашего дома, на Брехаловке, помещались номера для приезжающих и ресторан «Везувий». В этот вечер «Везувий» казался огнедышащим. Окна его извергали потоки света, земля под ним дрожала от пляса, как при землетрясении.

У коновязи перед номерами стояли нарядные высокие санки с бархатным сиденьем и лисьей полостью, на железном фигурном ходу с подрезами. В лакированные гнутые оглобли с металлическими наконечниками был впряжен высокий жеребец серебристо-серой масти в яблоках. Это был знаменитый иноходец Гамбит, лучший рысак в городе. Мы сразу узнали и коня, и самый выезд. Он принадлежал богачу Карлу Цванцигу.

«Тпру» по-немецки?

И тут мне в голову пришла отчаянная затея.

— Гришка, — сказал я, сам робея от собственной дерзости, — Гришка, давай прокатимся. Цванциг не скоро выйдет. А мы только доедем вон дотуда и кругом церкви и опять сюда. А я умею править вожжами.

Гришку не надо было долго уговаривать. И через минуту мы уже отвязали Гамбита, влезли на высокое бархатное сиденье санок и запахнули пушистую полость.

Я взял в руки плотные, тяжелые вожжи, по-извозчичьи чмокнул губами и, откашлявшись, произнес басом:

— Но! Двигай!.. Поехали!..

Гамбит оглянулся, покосился на меня своим крупным глазом и пренебрежительно отвернулся. Мне даже показалось, что он пожал плечами, если это только вообще случается у лошадей.

— Он, наверно, только по-немецки знает, — сказал Гришка и громко закричал: — Эй, фортнаус!

Но и это не подействовало на Гамбита. Тогда я с размаху ударил его по спине скрученными вожжами. В ту же секунду меня отбросило назад, и, если бы не Гришка, поймавший меня за хлястик шинели, я бы вылетел из санок. Гамбит прянул вперед и пошел. Он не понес — он шел своей обычной широкой и в то же время частой иноходью. Я крепко держал вожжи, и мы мчались по пустынной улице. Эх, жаль, что никто из наших не видит нас!

— Знаешь, Гриша, — предложил я, — давай заедем за Степкой Гаврей, он тут за углом живет, мы успеем.

Я натянул правую вожжу. Гамбит послушно свернул за угол. Вот домик, в котором живет Степка.

— Стой, приехали. Тпру!

Но Гамбит не остановился. Как я ни натягивал вожжи, иноходец мчал нас дальше, и через ми-

нуту домик Степки Гаври остался далеко позади.

— Знаешь что, Гришка? — сказал я. — Лучше не надо Степки, он, знаешь, дразниться будет только… Лучше Лабанду захватим, он вон где живет.

Я уже заранее намотал на руку вожжи и что есть силы уперся в передок саней.

Но Гамбит не остановился и у Лабанды. Меня стала забирать нешуточная тревога.

— Гришка, а как он вообще останавливается?.. Тут, кажется, Гришка понял, в чем дело.

— Тпру, стой! — что есть силы закричал он, и мы стали тянуть вожжи в четыре руки.

Но могучий иноходец не обращал внимания на наши крики и на рывки вожжей, шел все быстрее и быстрее, таща нас по пустым улицам.

— Не понимает, наверно, по-нашему! — с ужасом сказал Гришка. — А кто знает, как будет «тпру» по-немецки! Мы это не учили. Он теперь нас с тобой, Лелька, без конца возить будет.

— Не надо ехать больше! Тпру!.. Стой, довольно! — кричали мы с Гришкой.

Но Гамбит упрямо вымахивал вдоль по ночной улице.

Лошадиное слово

Я стал припоминать все известные мне обращения к лошадям, все лошадиные слова, которые только знал по книжкам.

— Тпру, тпру! Стой, ми-ла-ай!.. Не балуй, касатик!

Но, как назло, на ум лезли все какие-то выражения былинного склада; «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок», или совсем погонятельные слова, вроде: «Эй, шевелись... Поди-берегись!.. Ну, мертвая!.. Эх, распошел!..» Использовав все известные мне лошадиные слова, я перешел на верблюжий язык.

— Тратрр, тратрр... чок, чок! — вопил я, как кричат обычно погонщики верблюдов.

Но Гамбит не понимал и по-верблюжьи.

— Цоб-цобе, цоб-цобе! — хрипел я, вспомнив, как кричат чумаки своим волам.

Не помогло и «цоб-цобе»...

На Троицкой церкви ударил колокол. Один раз, другой, третий... Двенадцать раз ударил колокол.

Значит, мы уже въехали в Новый год. Что же нам, веки вечные так ездить?! Когда же остановится этот неутомимый иноходец?!

Таинственно светила луна. Зловещей показалась мне тишина безлюдных улиц, на которых только что один год сменил другой… Неужели же мы на веки обречены мчаться вот так?.. Мне стало совсем не по себе.

И вдруг из-за угла блеснули в лунном свете два ряда начищенных медных пуговиц, и мы увидели Цап-Царапыча. Гамбит мчался прямо на него.

И я со страху выронил вожжи.

— Тихо! Что за крик? Как фамилия? Стоять столбом, балда! — визгливо прокричал Цап-Царапыч. И произошло чудо. Гамбит стал как вкопанный.

С новым счастьем!

Мы мигом соскочили с санок, обежали с двух сторон нашего иноходца и, приблизившись к надзирателю, вежливо, щепотью ухватив лакированные козырьки фуражек, обнажили свои буйные головы и низко поклонились Цап-Царапычу.

— Добрый вечер, Цап… Цезарь Карпыч! — хором произнесли мы. — С Новым годом вас, Цезарь Карпыч, с новым счастьем!

Цап-Царапыч не спеша вынул пенсне из футляра, который он достал из кармана, и утвердил

стекла на носу.

— А-а-а! — обрадовался он. — Два друга. Узнаю! Прекрасно! Прелестно! Отлично! Превосходно! Вот мы и запишем обоих. — Цап-Царапыч вынул из внутреннего кармана своей шубы знаменитую записную книжечку. — Обоих запишем, и того и другого. И оба они у нас посидят после каникул по окончании уроков в классе, без обеда, по четыре часа: один четыре часа, и другой — четыре. С Новым годом, дети, с новым счастьем!

Тут взгляд Цап-Царапыча упал на наш выезд.

— Позвольте, дети, — протянул надзиратель, — а вы попросили у господина Цванцига разрешения кататься на его санках? Что?

Мы оба вперебой стали уверять надзирателя, что Цванциг сам попросил нас покататься, чтобы Гамбит разогрелся немножко.

— Прекрасно, — проговорил Цап-Царапыч. — Вот мы сейчас туда все отправимся и там на месте это и выясним. Нуте-с…

Но нас так страшила самая возможность снова очутиться на этих проклятых санках, что мы предложили Цап-Царапычу ехать одному, обещая идти рядом пешком.

Ничего не подозревавший Цап-Царапыч взгромоздился на высокое сиденье. Он запахнулся

пышной меховой полостью, взял в руки вожжи, подергал их, почмокал губами, а когда это не помогло, стегнул легонько Гамбита по спине.

В ту же минуту нас разметало в разные стороны, в лицо нам полетели комья снега. Когда мы отряхнулись и протерли глаза, за углом уже исчезали полуопрокинутые санки. На них, кое-как держась и что-то вопя, от нас унесся наш несчастный надзиратель.

А из-за другого угла уже бежал в расстегнутой шубе, в галстуке, сбитом набок, хозяин Гамбита, господин Карл Цванциг, крича страшным голосом:

— Карауль!.. Конокради!.. Затержать!..

И где-то уже заливался полицейский свисток. Как у них там потом все выяснилось, мы не пытались разузнать… Но и сам наш надзиратель после каникул ни слова не сказал нам о ночном происшествии. Так начался для нас Новый год — год 1917-й.

1928–1931

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Рождество
Часть I

Вернувшись по вечереющим снегам из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, на низкий плюшевый стул, на котором он не сиживал никогда. Так бывает после больших несчастий. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, с которым в обычное время ты и двух слов не скажешь, именно он толково, ласково поддерживает тебя, подает оброненную шляпу, — когда все кончено, и ты, пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от слез. С мебелью — то же самое. Во всякой комнате, даже очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой угол. Именно в такой угол и сел Слепцов.

Флигель соединен был деревянной галереей — теперь загроможденной сугробом — с главным домом, где жили летом. Незачем было будить, согревать его, хозяин приехал из Петербурга всего на несколько дней и поселился в смежном флигеле, где белые изразцовые печки истопить — дело легкое.

В углу, на плюшевом стуле, хозяин сидел, слов-

но в приемной у доктора. Комната плавала во тьме, в окно, сквозь стеклянные перья мороза, густо синел ранний вечер. Иван, тихий, тучный слуга, недавно сбривший себе усы, внес заправленную, керосиновым огнем налитую, лампу, поставил на стол и беззвучно опустил на нее шелковую клетку: розовый абажур. На мгновенье в наклоненном зеркале отразилось его освещенное ухо и седой еж. Потом он вышел, мягко скрипнув дверью.

Тогда Слепцов поднял руку с колена, медленно на нее посмотрел. Между пальцев к тонкой складке кожи прилипла застывшая капля воска. Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула.

Часть II

Когда на следующее утро, после ночи, прошедшей в мелких нелепых снах, вовсе не относившихся к его горю, Слепцов вышел на холодную веранду, так весело выстрелила под ногой половица, и на беленую лавку легли райскими ромбами отраженья цветных стекол. Дверь поддалась не сразу, затем сладко хряснула, и в лицо ударил блистательный мороз. Песком, будто рыжей корицей, усыпан был ледок, облепивший

ступени крыльца, а с выступа крыши, остриями вниз, свисали толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам флигеля, плотно держали в морозных тисках оглушенное деревянное строеньице. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб, а дальше сиял высокий парк, где каждый черный сучок окаймлен был серебром, и елки поджимали зеленые лапы под пухлым и сверкающим грузом.

Слепцов, в высоких валенках, в полушубке с каракулевым воротником, тихо зашагал по прямой, единственной расчищенной тропе в эту слепительную глубь. Он удивлялся, что еще жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза передние зубы. Он заметил даже, что оснеженный куст похож на застывший фонтан и что на склоне сугроба — песьи следы, шафранные пятна, прожегшие наст. Немного дальше торчали столбы мостика, и тут Слепцов остановился. Горько, гневно столкнул с перил толстый пушистый слой. Он сразу вспомнил, каким был этот мост летом. По склизким доскам, усеянным сережками, проходил его сын, ловким взмахом сачка срывал бабочку, севшую на перила. Вот он увидел отца. Неповторимым смехом

играет лицо под загнутым краем потемневшей от солнца соломенной шляпы, рука теребит цепочку и кожаный кошелек на широком поясе, весело расставлены милые, гладкие, коричневые ноги в коротких саржевых штанах, в промокших сандалиях. Совсем недавно, в Петербурге, — радостно, жадно поговорив в бреду о школе, о велосипеде, о какой-то индийской бабочке, — он умер, и вчера Слепцов перевез тяжелый, словно всею жизнью наполненный гроб в деревню, в маленький белокаменный склеп близ сельской церкви.

Было тихо, как бывает тихо только в погожий, морозный день. Слепцов, высоко подняв ногу, свернул с тропы и, оставляя за собой в снегу синие ямы, пробрался между стволов удивительно светлых деревьев к тому месту, где парк обрывался к реке. Далеко внизу, на белой глади, у проруби, горели вырезанные льды, а на том берегу, над снежными крышами изб, поднимались тихо и прямо розоватые струи дыма. Слепцов снял каракулевый колпак, прислонился к стволу. Где-то очень далеко кололи дрова, — каждый удар звонко отпрыгивал в небо, — а над белыми крышами придавленных изб, за легким серебряным туманом деревьев, слепо сиял церковный крест.

Часть III

После обеда он поехал туда, — в старых санях с высокой прямой спинкой. На морозе туго хлопала селезенка вороного мерина, белые веера проплывали над самой шапкой, и спереди серебряной голубизной лоснились колеи. Приехав, он просидел около часу у могильной ограды, положив тяжелую руку в шерстяной перчатке на обжигающий сквозь шерсть чугун, и вернулся домой с чувством легкого разочарования, словно там, на погосте, он был еще дальше от сына, чем здесь, где под снегом хранились летние неисчислимые следы его быстрых сандалий.

Вечером, сурово затосковав, он велел отпереть большой дом. Когда дверь с тяжелым рыданием раскрылась и пахнуло каким-то особенным, незимним холодком из гулких железных сеней, Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным рефлектором и вошел в дом один. Паркетные полы тревожно затрещали под его шагами. Комната за комнатой заполнялись желтым светом; мебель в саванах казалась незнакомой; вместо люстры висел с потолка незвенящий мешок, — и громадная тень Слепцова, медленно вытягивая

руку, проплывала по стене, по серым квадратам занавешенных картин.

Войдя в комнату, где летом жил его сын, он поставил лампу на подоконник и наполовину отвернул, ломая себе ногти, белые створчатые ставни, хотя все равно за окном была уже ночь. В темно-синем стекле загорелось желтое пламя — чуть коптящая лампа, — и скользнуло его большое бородатое лицо.

Он сел у голого письменного стола, строго, исподлобья, оглядел бледные в синеватых розах стены, узкий шкап вроде конторского, с выдвижными ящиками снизу доверху, диван и кресла в чехлах, — и вдруг, уронив голову на стол, страстно и шумно затрясся, прижимая то губы, то мокрую щеку к холодному пыльному дереву и цепляясь руками за крайние углы.

В столе он нашел тетради, расправилки, коробку из-под английских бисквитов с крупным индийским коконом, стоившим три рубля. О нем сын вспоминал, когда болел, жалел, что оставил, но утешал себя тем, что куколка в нем, вероятно, мертвая. Нашел он и порванный сачок — кисейный мешок на складном обруче, и от кисеи еще пахло летом, травяным зноем.

Потом, горбясь, всхлипывая всем корпусом, он

принялся выдвигать один за другим стеклянные ящики шкафа. При тусклом свете лампы шелком отливали под стеклом ровные ряды бабочек. Тут, в этой комнате, вон на этом столе, сын расправлял свою поимку, пробивал мохнатую спинку черной булавкой, втыкал бабочку в пробковую щель меж раздвижных дощечек, распластывал, закреплял полосами бумаги еще свежие, мягкие крылья. Теперь они давно высохли — нежно поблескивают под стеклом хвостатые махаоны, небесно-лазурные мотыльки, рыжие крупные бабочки в черных крапинках, с перламутровым исподом. И сын произносил латынь их названий слегка картаво, с торжеством или пренебрежением.

Часть IV

Ночь была сизая, лунная; тонкие тучи, как совиные перья, рассыпались по небу, но не касались легкой ледяной луны. Деревья — груды серого инея — отбрасывали черную тень на сугробы, загоравшиеся там и сям металлической искрой. Во флигеле, в жарко натопленной плюшевой гостиной, Иван поставил на стол аршинную елку в глиняном горшке и как раз подвязывал к ее

крестообразной макушке свечу, — когда Слепцов, озябший, заплаканный, с пятнами темной пыли, приставшей к щеке, пришел из большого дома, неся деревянный ящик под мышкой.

Увидя на столе елку, он спросил рассеянно, думая о своем:

— Зачем это?

Иван, освобождая его от ящика, низким круглым голосом ответил:

— Праздничек завтра.

— Не надо, — убери… — поморщился Слепцов, и сам подумал: «Неужто сегодня сочельник? Как это я забыл?»

Иван мягко настаивал:

— Зеленая. Пускай постоит…

— Пожалуйста, убери, — повторил Слепцов и нагнулся над принесенным ящиком.

В нем он собрал вещи сына — сачок, бисквитную коробку с каменным коконом, расправилки, булавки в лаковой шкатулке, синюю тетрадь. Первый лист тетради был наполовину вырван, на торчавшем клочке осталась часть французской диктовки. Дальше шла запись по дням, названия пойманных бабочек и другие заметы: «Ходил по болоту до Боровичей…», «Сегодня идет дождь, играл в шашки с папой, потом читал скучнейшую

«Фрегат Палладу», «Чудный жаркий день. Вечером ездил на велосипеде. В глаз попала мошка. Проезжал, нарочно два раза, мимо ее дачи, но ее не видел…»

Слепцов поднял голову, проглотил что-то — горячее, огромное. О ком это сын пишет?

«Ездил, как всегда, на велосипеде», стояло дальше. «Мы почти переглянулись. Моя прелесть, моя радость…»

— Это немыслимо, — прошептал Слепцов, — я ведь никогда не узнаю…

Он опять наклонился, жадно разбирая детский почерк, поднимающийся, заворачивающий на полях.

«Сегодня — первый экземпляр траурницы. Это значит — осень. Вечером шел дождь. Она, вероятно, уехала, а я с нею так и не познакомился. Прощай, моя радость. Я ужасно тоскую…»

«Он ничего не говорил мне…» — вспоминал Слепцов, потирая ладонью лоб.

А на последней странице был рисунок пером: слон — как видишь его сзади, — две толстые тумбы, углы ушей и хвостик.

Слепцов встал. Затряс головой, удерживая приступ страшных сухих рыданий.

— Я больше не могу… — простонал он, растя-

гивая слова, и повторил еще протяжнее: — не — могу — больше…

«Завтра Рождество, — скороговоркой пронеслось у него в голове. — А я умру. Конечно. Это так просто. Сегодня же…»

Он вытащил платок, вытер глаза, бороду, щеки. На платке остались темные полосы.

— …Смерть, — тихо сказал Слепцов, как бы кончая длинное предложение.

Тикали часы. На синем стекле окна теснились узоры мороза. Открытая тетрадь сияла на столе, рядом сквозила светом кисея сачка, блестел жестяной угол коробки. Слепцов зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятна, до конца обнажена земная жизнь — горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес…

И в то же мгновение щелкнуло что-то — тонкий звук, — как будто лопнула натянутая резина. Слепцов открыл глаза и увидел: в бисквитной коробке торчит прорванный кокон, а по стене, над столом, быстро ползет вверх черное сморщенное существо величиной с мышь. Оно остановилось, вцепившись шестью черными мохнатыми лапками в стену, и стало странно трепетать. Оно вылупилось оттого, что изнемогающий от

горя человек перенес жестяную коробку к себе, в теплую комнату, оно вырвалось оттого, что сквозь тугой шелк кокона проникло тепло, оно так долго ожидало этого, так напряженно набиралось сил и вот теперь, вырвавшись, медленно и чудесно росло. Медленно разворачивались смятые лоскутки, бархатные бахромки, крепли, наливаясь воздухом, веерные жилы. Оно стало крылатым незаметно, как незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья — еще слабые, еще влажные — все продолжали расти, расправляться, вот развернулись до предела, положенного им Богом, — и на стене уже была — вместо комочка, вместо черной мыши, — громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает, как птица, в сумраке, вокруг фонарей Бомбея.

И тогда простертые крылья, загнутые на концах, темно-бархатные, с четырьмя слюдяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья.

1930

ИВАН ИЛЬИН

Рождественское письмо

Это было несколько лет тому назад. Все собирались праздновать Рождество Христово, готовили елку и подарки. А я был одинок в чужой стране, ни семьи, ни друга; и мне казалось, что я покинут и забыт всеми людьми. Вокруг была пустота и не было любви: дальний город, чужие люди, черствые сердца. И вот в тоске и унынии я вспомнил о пачке старых писем, которую мне удалось сберечь через все испытания наших черных дней. Я достал ее из чемодана и нашел это письмо.

Это было письмо моей покойной матери, написанное двадцать семь лет тому назад. Какое счастье, что я вспомнил о нем! Пересказать его невозможно, его надо привести целиком.

«Дорогое дитя мое, Николенька. Ты жалуешься мне на свое одиночество, и если бы ты только знал, как грустно и больно мне от твоих слов. С какой радостью я бы приехала к тебе и убедила бы тебя, что ты не одинок и не можешь быть одиноким. Но ты знаешь, я не могу покинуть папу, он очень страдает, и мой уход может понадобиться ему каждую минуту. А тебе надо готовиться к экзаменам и кончать университет. Ну, дай я хоть

расскажу тебе, почему я никогда не чувствую одиночество.

Видишь ли ты, человек одинок тогда, когда он никого не любит. Потому что любовь вроде нити, привязывающей нас к любимому человеку. Так ведь мы и букет делаем. Люди — это цветы, а цветы в букете не могут быть одинокими. И если только цветок распустится как следует и начнет благоухать, садовник и возьмет его в букет.

Так и с нами, людьми. Кто любит, у того сердце цветет и благоухает; и он дарит свою любовь совсем так, как цветок свой запах. Но тогда он и не одинок, потому что сердце его у того, кого он любит: он думает о нем, заботится о нем, радуется его радостью и страдает его страданиями. У него и времени нет, чтобы почувствовать себя одиноким или размышлять о том, одинок он или нет. В любви человек забывает себя; он живет с другими, он живет в других. А это и есть счастье.

Я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу твое тихое возражение, что ведь это только полсчастья, что целое счастье не в том только, чтобы любить, но и в том, чтобы тебя любили. Но тут есть маленькая тайна, которую я тебе на ушко скажу: кто действительно любит, тот не запрашивает и не скупится. Нельзя по-

стоянно рассчитывать и выспрашивать: а что мне принесет моя любовь? а ждет ли меня взаимность? а может быть, я люблю больше, а меня любят меньше? да и стоит ли мне отдаваться этой любви?.. Все это неверно и ненужно; все это означает, что любви еще нету (не родилась) или уже нету (умерла). Это осторожное примеривание и взвешивание прерывает живую струю любви, текущую из сердца, и задерживает ее. Человек, который меряет и вешает, не любит. Тогда вокруг него образуется пустота, не проникнутая и не согретая лучами его сердца, и другие люди тотчас же это чувствуют. Они чувствуют, что вокруг него пусто, холодно и жестко, отвертываются от него и не ждут от него тепла. Это его еще более расхолаживает, и вот он сидит в полном одиночестве, обойденный и несчастный…

Нет, мой милый, надо, чтобы любовь свободно струилась из сердца, и не надо тревожиться о взаимности. Надо будить людей своей любовью, надо любить их и этим звать их к любви. Любить — это не пол счастья, а целое счастье. Только признай это, и начнутся вокруг тебя чудеса. Отдайся потоку своего сердца, отпусти свою любовь на свободу, пусть лучи ее светят и греют во все стороны. Тогда ты скоро почувствуешь,

что к тебе отовсюду текут струи ответной любви. Почему? Потому что твоя непосредственная, непреднамеренная доброта, твоя непрерывная и бескорыстная любовь будет незаметно вызывать в людях доброту и любовь.

И тогда ты испытаешь этот ответный, обратный поток не как «полное счастье», которого ты требовал и добивался, а как незаслуженное земное блаженство, в котором твое сердце будет цвести и радоваться.

Николенька, дитя мое. Подумай об этом и вспомни мои слова, как только ты почувствуешь себя опять одиноким. Особенно тогда, когда меня не будет на земле. И будь спокоен и благонадежен: потому что Господь — наш садовник, а наши сердца — цветы в Его саду.

Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я.

Твоя мама».

Спасибо тебе, мама! Спасибо тебе за любовь и за утешение. Знаешь, я всегда дочитываю твое письмо со слезами на глазах. И тогда, только я дочитал его, как ударили к рождественской всенощной. О, незаслуженное земное блаженство!

1930-е

ИВАН ШМЕЛЕВ

Рождество в Москве
(Рассказ делового человека)

Наталии Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным

Я человек деловой, торговый, в политике плохо разбираюсь, больше прикидываю совестью. К тому говорю, чтобы не подумалось кому, будто я по пристрастию так расписываю, как мы в прежней нашей России жили, а именно в теплой, укладливой Москве. Москва, — что такое Москва? Нашему всему пример и корень.

Эх, как разворошишь все: и самому не верится, что так вот было и было все. А совести-то не обойдешь: так вот оно и было.

Вот, о Рождестве мы заговорили… А не видавшие прежней России и понятия не имеют, что такое русское Рождество, как его поджидали и как встречали. У нас в Москве знамение его издалека светилось-золотилось куполом-исполином в ночи морозной — храм Христа Спасителя.

Рождество-то Христово — его праздник. На копейку со всей России воздвигался храм. Силой всего народа вымело из России воителя

Наполеона с двунадесятью языки, и к празднику Рождества, 25 декабря 1812 года, не осталось в ее пределах ни одного из врагов ее. И великий Храм-Витязь, в шапке литого золота, отовсюду видный, с какой бы стороны ни въезжал в Москву, освежал в русском сердце великое былое. Бархатный, мягкий гул дивных колоколов его… — разве о нем расскажешь! Где теперь это знамение русской народной силы?!. Ну, почереду, будет и о нем словечко.

Рождество в Москве чувствовалось задолго, — веселой, деловой сутолокой. Только заговелись в Филипповки, 14 ноября, к Рождественскому посту, а уж по товарным станциям, особенно в Рогожской, гуси и день и ночь гогочут, — «гусиные поезда», в Германию: раньше было, до ледников-вагонов, живым грузом. Не поверите, — сотни поездов! Шел гусь через Москву, — с Козлова, Тамбова, Курска, Саратова, Самары… Не поминаю Полтавщины, Польши, Литвы, Волыни: оттуда пути другие. И утка, и кура, и индюшка, и тетерка… глухарь и рябчик, бекон-грудинка, и… — чего только требует к Рождеству душа. Горами от нас валило отборное сливочное масло, «царское», с привкусом на чуть-чуть грецкого ореха, — знатоки это о-чень понимают, — не хуже

прославленного датчанского. Катил жерновами мягкий и сладковатый, жирный, остро-душистый «русско-швейцарский» сыр, верещагинских знаменитых сыроварен, «одна ноздря». Чуть не в пятак ноздря. Никак не хуже швейцарского… И дешевле. На сыроварнях у Верещагина вписаны были в книгу анекдоты, как отменные сыровары по Европе прошибались на дегустациях. А с предкавказских, ставропольских, степей катился «голландский», липовая головка, розовато-лимонный под разрезом, — не настояще-голландский, а чуть получше. Толк в сырах немцы понимали, могли соответствовать знаменитейшим сырникам-французам. Ну и «мещерский» шел, — княжеское изделие! — мелковато-зернисто-терпкий, с острецой натуральной выдержки, — требовался в пивных-биргаллях. Крепкие пивопивы раскусили-таки тараньку нашу: входила в славу, просилась за границу, — белорыбьего балычка не хуже, и — дешевка. Да как мне не знать, хоть я и по полотняной части, доверенным был известной фирмы «Г-ва С-вья», — в Верхних Рядах розничная была торговля, небось слыхали? От полотна до гуся и до прочего харчевого обихода рукой подать, ежели все торговое колесо представить. Рассказать бы о нашем полотне, как мы с

хозяином раз, в Берлине, самого лучшего полотна венчальную рубашку… Нашли-таки! — почище сырного анекдота будет. Да уж, разгорелась душа, — извольте.

На пребойкой торговой улице, на Фридрихштрассе, зашли в приятное помещение. Часа два малый по полкам лазил, — «давай получше!» Всякие марки видели, английские и голландские… — «а получше!» Развел руками. Выложил натуральную, свою, — «нет лучше!» Глядим… — знакомое. Перемигнулись. «Цена?» — «Фирхундерт. — Глазом не моргнул. — Выше этого сорта быть не может». Говорим — «правильно». И копию фактуры ему под нос: «Катина гофрировка, бисерная, экстра… Москва…» Иголочки белошвейной Катиной, шедевр! Ахнул малый с хозяином. А мы хозяину: «Выше этого сорта быть не может? Покорнейше вас благодарим». Сто восемьдесят процентиков наварцу! Хохотал хозяин!.. Сосисками угощал и пивом.

Мало мы свое знали, мало себя ценили.

Гуси, сыры, дичина… — еще задолго до Рождества начинало свое движение. Свинина, поросята, яйца… — сотнями поездов. Волга и Дон, Гирла днепровские, Урал, Азовские отмели, далекий Каспий… гнали рыбу ценнейшую, красную, в

европах такой не водится. Бочками, буковыми ларцами, туесами, в полотняной рубашечке-укутке… икра катилась: «салфеточно-оберточная», «троечная», кто понимает, «мешочная», «первого отгреба», пролитая тузлуком, «чуть-малосоль», и паюсная, — десятки ее сортов. По всему свету гремел руссий» кавьяр». У нас из нее чудеснейший суп варили, на огуречном рассоле, не знаете, понятно, — калью. Кетовая красная? Мало уважали. А простолюдин любил круто соленую, воблину-чистяковку, мелкозернисторозовую, из этаких окоренков скошенных, — пять-семь копеек за фунт, на газетку лопаточкой, с походом. В похмелье — первейшая оттяжка, здорово холодит затылок.

Так вот-с, все это — туда. А оттуда — тоже товар по времени, веселый: галантерея рождественская, елочно-украшающийтоварец, всякая щепетилка мелкая, игрушка механическая… Наши троицкие руку набили на игрушке: овечку-коровку резали — скульптора дивились! — пробивали дорожку заграницу русской игрушке нашей. Ну, картиночки водяные, краски, перышки-карандашики, глобусы всякие учебные… все просветительно-полезное, для пытливого детского умишки. Словом, добрый обмен соседский. Эх, о ситчике бы порас-

сказать, о всяких саратовских сарпинках… много, не буду откланяться.

Рождественский пост — легкий, веселый пост. Рождество уже за месяц засветилось, поют за всенощной под Введенье, 20 ноября, «Христос рождается — славите…» и с ним — суета веселая, всяких делов движенье. Я вам об обиходце все… ну и душевного чуть коснусь, проходцем. А покуда — пост, рыба плывет совсюду.

Вы рыбу российскую не знаете, как и все прочее-другое. Ну где тут послужат тебе… наважкой?! а она самая предрождественская рыбка, точно-сезонная: до Масленой еще играет, ежели мясоед короткий, а в Великом посту — пропала. Про наважку можно бо-ольшие страницы исписать. Есть такие, что бредят ею, так и зовут — наважники. У ней в головке парочка перламутровых костянок, с виду — зернышки огуречные, девочки на ожерелья набирали. С детства радостно замирал, как увижу, бывало, далекую, с Севера, наважку, — зима пришла! — и в кулечке мочальном-духовитом, снежком чуть запорошенную, в сверканьях… вкуса неописуемого! Только в одной России ее найдете. Первые знатоки-едалы, от дедушки Крылова до купца Гурьева, наважку особо отличали. А что такое — снеточек белозер-

ский? Тоже знак близкого Рождества. Наш снеток — всенародно-обиходный. Говорят, Петр Великий походя его ел, сырьем, так и носил в кармане. Хрустит на зубах, с песочку. Щи со снетком или картофельная похлебка… ну, не сказать!

О нашей рыбе можно великие книги исписать… — сиги там розовые, маслистые, шемая, стерлядка, севрюжка, осетрина, белорыбица, нельма — недотрога-шельма, не дается перевозить, лососина семи сортов. А вязигу едали, нет? Рыбья «струна» такая. В трактире Тестова, а еще лучше — у Судакова, на Варварке, — пирожки расстегаи с вязигой-осетринкой, к ухе ершовой из живорыбных садков на Балчуге!.. подобного кулинария не найдете нигде по свету. А главная-то основа, самая всенародная, — сельдь-астраханка, «бешенка». Миллионы бочек катились с Астрахани — во всю Россию. Каждый мастеровой, каждый мужик, до последнего нищего, ел ее в посту, и мясоедом, особенно любили головку взасос вылущивать. Пятак штука, а штука-то чуть не в фунт, жирнеющая, сочнющая, остропахучая, но… Ни-ни, чтобы «духовного звания», а ежели и отдает, это уж высшей марки, для знатоков. Доверенные крупнейших фабрик, «морозовских», ездили специально в Астрахань, сотнями бочек

на месте закупали для рабочих, на сотни тыщ, это вот кровь-то с народа-то сосали! — по себестоимости отпускали фабричные харчевые лавки, по оптовой! Вот и прикиньте задачку Евтушевского: ткач в месяц рублей 35–40 выгонял, а хлеб-то был копеечка с четвертью фунт, а зверь-селедка — пятак, а ее за день и не съесть в закусочку Ну, бросим эти прикидочки, это дело специалистов.

В Охотном Ряду перед Рождеством — бучило. Рыба помаленьку отплывает, — мороженые лещи, карасики, карпы, щуки, судаки… О судаках полный роман можно написать, в трех томах: о свежем-живом, солено-сушеном и о снежной невинности «пылкого мороза»… — чтение завлекающее. Мне рыбак Трохим на Белоозере такое про судака рассказывал… какие его пути, как его изловишь, покуда он к последней покупательнице в кулек попадает… — прямо в стихи пиши. Недаром вон про Ерша Ершовича, сына Щетинникова, какое сложено, а он судаку только племянником придется… поэзия для господ поэтов! а Трохим-то тот с Пушкиным родной крови.

Крепко пахнет с низка, в Охотном. Там старенькая такая церковка, Пятницы-Прасковеи, редкостная была игрушечка, века светилась розовым огоньком лампадки из-за решетча-

того окошечка, чуть не с Ивана Грозного. И ее, тихую, отнесли на… амортизацию. Так тамузенький-узенький проходец, и из самого проходца, аршина в два, — таким-то копченым тянет, с коптильни Баракова, и днем и ночью. Там, в полутемной лавке, длинной и низенькой, веками закопченной, для ценителей тонкой рыбки выбор неописуемый всякого рыбного копченья. Идешь мимо, думаешь об этаком высоком и прекрасном, о звездах там, и что, к примеру, за звездами творится… — и вдруг пронзит тя до глубины утробы… И хоть ты сыт по горло, потянет тебя зайти полюбоваться, с кульком бараковского богатства. На что уж профессора, — университет-то вот он, — а и они забывали Гегеля там со Шпегелем, проваливались в коптильню… — такой уж магнит природный. Сам одного видал, высокого уважения мудрец-философ… всегда у меня тонкого полотна рубашки требовал. Для людей с капиталом, полагаете? Ну, розовый сиг, — другое дело, а копчушек щепную коробчонку и бедняк покупал на Масленой.

В Рождественском посту любил я зайти в харчевню. Все предрождественское время — именины за именинами: Александр Невский, Катерина-Мученица, Варвара-Великомученица,

Никола-Угодник, Спиридон-Поворот… да похороны еще ввернутся, — так, в пирогах-блинах, раковых супах-ушицах, в кальях-солянках, заливных да киселях-пломбирах… чистое упование. Ну, и потянет на капусту. Так вот, в харчевнях простой народ, и рабочий, и нищий-золоторотец, — истинное утешение смотреть. Совершенно особый дух, варено-теплый, сытно-густой и вязкий: щи стоялые с осетровой головизной, похлебка со снетками, — три монетки большая миска да хлеба еще ломтище, да на монетку ломоть киселя горохового, крутого… И вдруг, чистое удивление! Такой-то осетрины звенцо отвалят, с оранжевой прослойкой, чуть не за пятиалтынный, а сыт и на целый день, икай до утра. И всегда в эту пору появится первинка — народная пастила, яблошная и клюковная, в скошенных таких ящичках-корытцах, пять-семь копеек фунт. В детстве первое удовольствие, нет вкусней: сладенькая и острая, крепкая пастила, родная, с лесных-полевых раздолий.

Движется к Рождеству, ярче сиянье Праздника.

Игрушечные ряды полнеют, звенят, сверкают, крепко воняет скипидаром: подошел елочный товар. Первое — святочные маски, румяные, пустоглазые, щекастые, подымают в вас радост-

ное детство, пугают рыжими бакенбардами, «с покойника». Спешишь по делу, а остановишься и стоишь, стоишь, не оторвешься: веселые, пузатые, золотисто-серебристые хлопушки, таинственные своим «сюрпризом»; малиновые, серебряные, зеркально-сверкающие шарики из стекла и воска; звезды — хвостатые кометы, струящиеся «солнца», рождественские херувимы, золоченые мишки и орешки; церквушки-крошки с пунцовыми святыми огоньками из-за слюды в оконце, трепетный «дождь» рождественский, звездная пыль небесная — елочный брильянтин, радостные морковки, зелень, зеркальные дуделки, трубы с такими завитками, неописуемо-тонкий картонаж, с грошиками из шоколада, в осып сладкой крупки, с цветным драже, всякое подражание природ… — до изумления. Помните, «детские закусочки»? И рыбки на блюдечках точеных, чуть пятака побольше, и ветчина, и язычная колбаса, и сыр с ноздрями, и икорка, и арбузик, и огурчики-зелены, и румяная стопочка блинков в сметанке, и хвостик семужий, и грудка икры зернистой, сочной, в лачку пахучем… — все точной лепки, до искушения, все пахнет красочкой… — ласковым детством пахнет. Смотришь — и что-то такое постигаешь, о-очень глубокое! — всякие

мысли, высокого калибра. Я хоть и по торговой части, а любомудрию подвержен, с образовательной стороны: Императорское коммерческое кончил! Да и почитывал, даже за прилавком, про всякие комбинации ума, слабость моя такая, про философию. И вот, смотришь все это самое, елочное-веселое, и… будто это живая сущность! души земной неодушевленности! как бы рожденье живых вещей! Радует почему, и старых, и младенцев?..

Вот оно, чудо Рождества-то! Всегда мелькало… чуть намекающая тайна, вот-вот раскрылась!.. Вот бы философы занялись, составили назидающую книгу — «Чего говорит рождественская елка?» — и почему радоваться надо и уповать. Пишу кое-что, и хоть бобыль-бобылем, а елочку украшаю, свечечки возжигаю и всякое электричество гашу. Сижу и думаю… В созерцании ума и духа.

Но главный знак Рождества — обозы: ползет свинина.

Гужом подвигается к Москве, с благостных мест Поволжья, с Тамбова, Пензы, Саратова, Самары… тянет, скрипя, в Замоскворечье, на великую площадь Конную. Она — не видно конца ее — вся уставится, ряд за рядом, широкими санями,

полными всякой снеди: груды черных и белых поросят… белые — заливать, черные — с кашей жарить, опытом дознано, хрусткую корочку дает с поджаром! — уток, гусей, индюшек… груды, будто перье обмерзлое, гусиных-куриных потрохов, обвязанных мочалкой, пятак за штуку! — все пылкого мороза, завеяно снежком, свалено на санях и на рогожах, вздернуто на-оглоблях, манит-кричит — купи! Прорва саней и ящиков, корзин, кулей, сотневедерных чанов, все полно птицей и поросятиной, окаменевшей бараниной, розоватой замерзшей солониной… каков морозто! — в желто-кровавых льдышках. Свиные туши сложены в штабеля, — живые стены мясных задов паленых, розово-черных «пятаков»… — свиная сила, неисчислимая.

За два-три дня до Праздника на Конную тянется вся Москва — закупить посходней на Святки, на мясоед, до Масленой. Исстари так ведется. И так, поглазеть, восчувствовать крепче Рождество, встряхнуться-освежиться, поесть на морозе, на народе, горячих пышек, плотных, вязких, постных блинков с лучком, политых конопляным маслом до черной зелени, пронзительно душистым, кашных и рыбных пирожков, укрывшихся от мороза под перины; попить из пузырчатых ста-

канов, весело обжигая пальцы, чудесного сбитню русского, из имбиря и меда, божественного «вина морозного», согрева, с привкусом сладковатой гари, пряной какой-то карамели, чем пахнет в конфетных фабричках, — сладкой какой-то радостью, Рождеством?

Верите ли… В рождественско-деловом бучиле, — в нашем деле самая жгучая пора, отправка приданого на всю Россию, на мясоед, до Масленой, дела на большие сотни тысяч, — всегда урывал часок, брал лихача, — «на Конную!». И я, и лихач, — сияли, мчали, как очумелые… — вот оно, Рождество! Неоглядная Конная черна народом, гудит и хрустит в морозе. Дышишь этим морозным треском, звенящим гудом, пьешь эту сыть веселую, розлитую по всем лицам, личикам и морозным рожам, по голосам, корзинам, окоренкам, чанам, по глыбам мороженого мяса, по желтобрюхим курам, индюшкам, пупырчаторозовым гусям, запорошенным, по подтянутым пустобрюхим поросятам, звенящим на морозе, их стукнешь… слушаешь хряпы топоров по тушкам, смотришь радостными на все глазами: летят из-под топора мерзлые куски, — плевать, нищие подберут, поминай щедрого хозяина! — швыряются поросятами, гусями, рябчиками, тетерка-

ми, — берут поштучно, нечего канителиться с весами. Вся тут предпраздничная Москва, крепко ядреная с мороза, какая-то ошалелая… И богач, кому не нужна дешевка, и последний нищий.

— А ну, нацеди стаканчик!..

Бородатый мужик, приземистый, будто все тот же с детства, всегда в широченном полушубке, в вязке мерзлых калачиков на брюхе, — копейка штука! — всегда краснорожий и веселый, всегда белозубый и пахучий, — имбирь и мед! цедит из самовара-шара янтарный, божественный напиток — сбитень, все в тот же пузырчатый стаканчик, тяжелый с детства. Пышет горячим паром, не обжигает пальцы. Мочишь калачик мерзлый… — вкуснее нет!

— Эй, земляки… задавим!.. — Фабричные гуляют, впряглись в сани за битюгов, артелью закупили, полным-полно: свиные тушки, сальные, мерзлые бараны, солонина окаменевшей глыбой, а на этой мясной горе полупьяный парень сидит королем — мотается, баюкает пару поросят. Волочат мерзлую живность по снегу на веревке, несут, на санках везут мешками, — растаскивают великий торг. Все к Рождеству готовятся. Душа душой, а и мамона требует своего.

В «городе» и не протолкаться. Театральной

площади не видно: вырос еловый лес. Бродят в лесу собаки — волки, на полянках дымятся сбитеньщики, недвижно, в морозе-тиши, радуют глаза праздничным сияньем воздушные шары — колдовской «зимний виноград»; качаются, стряхивая снег, елки, валятся на извозчиков, едут во всю Москву, радуют белыми крестами, терпкой, морозной смолкой, просятся под наряд.

Булочные завалены. И где они столько выпекают?!. Пышет теплом, печеным, сдобой от куличей, от слоек, от пирожков, — в праздничной суете булочным пробавляются товаром, некогда дома стряпать. Каждые полчаса ошалелые от народа сдобные молодцы мучнистые вносят и вносят скрипучие корзины и гремучие противни жареных пирожков, дымящиеся, — жжет через тонкую бумажку: с солеными груздями, с рисом, с рыбой, с грибами, с кашей, с яблочной кашицей, с черносмородинной остротцой… — никак не прошибутся, — кому чего, — знают по тайным меткам. Подрумяненным сыплются потоком, в теплом и сытном шорохе, сайки и калачи, подковки и всякие баранки, и так, и с маком, с сольцой, с анисом… валятся сухари и кренделечки, булочки, подковки, завитушки… — на всякий вкус. С улицы забегают погреть руки на пирожках горячих,

весело обжигают пальцы… летят пятаки куда попало, нечего тут считать, скорей, не время. Фабричные забирают для деревни, валят в мешки шуршащие пакеты — московские калачи и сайки, белый слоистый ситный, пышней пуха. На все достанет, — на ситчик и на платки, на сладкие баранки, на розовое мыльце, на карамель-«гадалку», на пряники.

Тула и Тверь, Дорогобуж и Вязьма завалили своим товаром — сахарным пряником, мятным, душистым, всяким, с начинкой имбирно-апельсинной, с печатью старинной вязи, чуть подгоревшей с краю: вязьма. Мятные белые овечки, лошадки, рыбки, зайчики, петушки и человечки, круто-крутые, сладкие… — самая елочная радость. Сухое варенье, «киевское», от Балабухи, белевская пастила перинкой, розово-палевой, мучнистой, — мягко увязнет зуб в мягко-упругом чем-то яблочном, клюковном, рябиновом. «Калужское тесто» мазкое, каменная «резань» промерзлая, сладкий товар персидский — изюм, шептала, фисташки, винная ягода, мушмула, кунжутка в горелом сахаре, всяческая халвануга, сахарные цукаты, рахат-лукумы, сжатые абрикосы с листиком… грецкие и «мериканские» орехи, зажаренный в сахаре миндаль, свои — лесные

— кедровый и каленый, и мягкий-шпанский, святочных вечеров забава. Помадка и «постный сахар», сухой чернослив французский, поседевший от сладости, сочный-моченый русский, сахарный мармелад Абрикосова С-вей в Москве, радужная «соломка» Яни, стружки-буравчики на елку, из монпансье, золоченые шишки и орешки, крымские яблочки-малютки… сочные, в крепком хрусте… леденцовые петушки, сахарные подвески-бусы… — валится на Москву горами.

Темнеет рано. Кондитерские горят огнями, медью, и красным лаком зеркально-сверкающих простенков. Окна завалены доверху: атласные голубые бонбоньерки, — на Пасху алые! — в мелко воздушных буфчиках, с золотыми застежками, — с деликатнейшим шоколадом от Эйнема, от Абрикосова, от Сиу… пуншевая, Бормана, карамель-бочонки, россыпи монпансье Ландрина, шашечки-сливки Флея, ромовые буше от Фельца, пирожные от Трамбле… Барышни-продавщицы замотались: заказы и заказы, на суп-англез, на парижский пирог в мороженом, на ромовые кексы и пломбиры.

Дымят трубы конфетных фабрик: сотни вагонов тонкой муки, «конфетной», высыпят на Москву, в бисквитах, в ящиках чайного печенья.

«Соленые рыбки», — дутики, — отличнейшая заедка к пиву, новость, — попали в точку: Эйнем побивает Абрикосова, будет с тебя и мармеладу! Старая фирма, русская, вековая, не сдается, бьет марципанной славой, мастерским художеством натюрморт: блюдами отбивных котлет, розовой ветчиной с горошком, блинами в стопке, — политыми икрой зернистой… все из тертого миндаля на сахаре, из «марципана», в ярко-живой окраске, чудный обман глазам, — лопнет витрина от народа. Мало? Так вот, добавлю: «звездная карамель» — святочно-рождественская новость! Эйнем — святочно-рождественский подарок: высокую крем-брюле, с вифлеемской звездой над серпиком. Нет, постойте… вдвинулся Иванов, не стыдится своей фамилии: празднует Рождество победно, редко-чудесным шоколадом. Движется-богатеет жизнь…

Гремят гастрономии оркестры, Андреев, Генералов, Елисеев, Белов, Егоров… — слепят огнями, блеском высокой кулинарии, по всему свету знаменитой; пулярды, поросята, осыпанные золотою крошкой прозрачно-янтарного желе. Фаршированные индейки, сыры из дичи, гусиные паштеты, салями на коньяке и вишне, пылкие волованы в провансале и о-гратен, пожарские

котлеты на кружевах, царская ветчина в знаменитом горошке из Ростова, пломбиры-кремы с пылающими оконцами из карамели, сиги-гиганты, в розово-сочном желе… клубника, вишни, персики с ноевских теплиц под Воробьевкой, вина победоносной марки, «удельные», высокое русское шампанское «Абрау-Дюрсо»… начинает валить французское.

«Мамоны», пожалуй, и довольно? Но она лишь земное выраженье радости Рождества. А самое Рождество — в душе, тихим сияет светом. Это оно повелевает: со всех вокзалов отходят праздничные составы с теплушками, по особенно-низкому тарифу, чуть не грош верста, спальное место каждому. Сотни тысяч едут под Рождество в деревню, на все Святки, везут «гостинцы» в тугих мешках, у кого не пропита получка, купленное за русскую дешевку, за труд немалый.

Млеком и медом течет великая русская река… Вот и канун Рождества — сочельник. В палево-дымном небе, зеленовато-бледно, проступают рождественские звезды. Вы не знаете этих звезд российских: они поют. Сердцем можно услышать только: поют — и славят. Синий бархат затягивает небо, на нем — звездный, хрустальный свет. Где же Вифлеемская?.. Вот она: над храмом

Христа Спасителя. Золотой купол Исполина мерцает смутно. Бархатный, мягкий гул дивных колоколов его плавает над Москвой вечерней, рождественской. О, этот звон морозный… можно ли забыть его?!.. Звон-чудо, звон-виденье. Мелкая суета дней гаснет. Вот воспоют сейчас мощные голоса собора, ликуя, Всепобедно. «С на-ми Бог!..» Священной радостью, гордостью ликованья переполняются все сердца, «Разумейте, язы-и-и-цы-ы… И пок-ко-ряй-теся… Я-ко… С на-а-а-а-ми Бог!» Боже мой, плакать хочется… нет, не с нами. Нет Исполина-храма… И Бог не с нами. Бог отошел от нас. Не спорьте! Бог отошел. Мы каемся. Звезды поют и славят. Светят пустому месту, испепеленному. Где оно, счастье наше?.. Бог поругаем не бывает. Не спорьте, я видел, знаю. Кротость и покаяние — да будут. И срок придет: воздвигнет русский народ, искупивший грехи свои, новый чудесный храм — храм Христа и Спасителя, величественней и краше, и ближе сердцу… И на светлых стенах его возродившийся русский гений расскажет миру о тяжком русском грехе, о русском страдании и покаянии… О русском бездонном горе, о русском освобождении из тьмы… — святую правду. И снова тогда услышат пение звезд и благовест, и, вскриком души свободной в вере и уповании,

воскричат: «С нами Бог!..»
1942–1945

БОРИС ШИРЯЕВ

Неугасимая лампада
(Отрывок)

По странной случайности мы все были не только разных вероисповеданий, но и религиозного воспитания. Вася Овчинников — истовый старообрядец, Решад — правоверный мусульманин, барон — умеренный, как и во всем, добропорядочный лютеранин, пан Стась — фанатичный католик, я — православный, с налетом тогда деизма, Миша Егоров — полный и убежденный атеист-эпикуреец.

Однажды, в декабрьский вечер, случилось так, что мы все шестеро собрались в келью довольно рано. Так бывало редко. Пан обычно поздно возвращался из леса, я репетировал или выступал в театре, Миша Егоров засиживался у своих многочисленных приятелей, и лишь барон в одиночестве перебирал в памяти своих предков — магистров и комтуров — перед уходом на сторожевку.

— А знаете, ведь сегодня пятнадцатое декабря, — изрек Миша. Он всегда начинал речь с сентенций.

— А завтра — шестнадцатое, — в тон ему ответил Овчинников.

— Через десять дней — Рождество, — пояснил Миша, оглядывая всех нас.

— Тебе-то, атеисту, до этого какое дело? — возразил Овчинников, не прощавший безверия другу и однокашнику.

— Как — какое? — искренно изумился Миша. — А елка?

— Елка? А Секирку знаешь? Елки, брат, у вас в Париже устраивают, а социалистическая пенитенциария им другое назначение определила, — кольнули мы Мишу его партийным прошлым.

— А мы и здесь свой Париж организуем! Собственное рю Дарю! Замечательно будет! — одушевился Миша.

— После поверки в келью никто не заглянет… Дверь забаррикадируем, окна на третьем этаже… хоть молебен служи!

Идея была заманчива. Вернуться хоть на час в безвозвратно ушедшее, пожить в том, что бережно хранится у каждого в сокровенном уголке памяти… Даже барон вышел из своего обычного оцепенения и в его тусклых оловянных глазах блеснул какой-то теплый свет.

— Елка? Tannenbaum? Да, это есть очень хоро-

шо. В моем доме я всегда сам заряжал, нет, как это будет по-русски? Надряжал семейную елку… и было много гости.

Мы верили друг другу и знали, что «стукачей» меж нас нет. Предложение Миши было осуществимо, и мы тотчас приступили к выработке плана.

— Елочку, небольшую конечно, срубишь ты, — говорил мне Миша, — через ворота нести нельзя — возбудит подозрение. А мы вот что сделаем: я на угловую башню залезу и бечевку спущу. Ты, возвращаясь, привяжи елку, а я вздерну. В темноте никто не заметит.

— Украшения изготовит, конечно, Решад. Он мастер великий. А свечи?

— Склеим трубочки из бумаги, вставим фитили и топленой ворванью зальем, — отозвался Овчинников. — У нас в моленных фабричных не приемлют. Сами делают, и я мальчишкой делал. Умею.

— Есть, капитан! Но еще вопрос: угощение? Без кутьи какой же сочельник…

— Ша, киндер! — властно распорядился Миша. — Это мое дело. Я торгпред! Парижские штаны реализую, лучших уркаганов мобилизую, а угощение будет! Ручаюсь!

— Но ведь еще надо один священник… Это Рождество, Heilige Nacht… Надо молиться… Я, конечно, могу читать молитвы, но по-немецки. Вам будет, как это? Непонимаемо?

— Да, попа надо, — раздумчиво согласился Миша, — мне-то, конечно, это безразлично, но у нас всегда в сочельник попа звали… Без попа как-то куцо будет. Не то!..

— Вопрос в том — какого? Мы-то, как на подбор, все разноверцы.

— Россия есть православный империя, — барон строго обвел всех своими оловянными глазами и для убедительности даже поднял вверх высохший, как у скелета, указательный палец, — Россия имеет православный религион. Мой батюшка ходил в русски Kirche на Пасх, на Рождество и на каждый царский день. Он был российски генерал!

— Ты, пан, как полагаешь? Ты, адамант истинный?

— Пан ксендз Иероним, конечно, не сможет. Он будет занят… Пусть служит русский.

— Далековато от нас Рогожское-то, — улыбнулся Вася Овчинников, — пожалуй, не поспеем оттуда нашего привезти!

— Решено. Вопрос лишь, кого из священни-

ков, — резюмировал я. — Никодима Утешителя?

— Ясно, его! По всем статьям, — отозвался Миша. — Во-первых, он замечательный парень, а во-вторых, голодный. Подкормим его для праздника!

«Замечательному парню», как назвал его Миша, отцу Никодиму было уже лет под восемьдесят и парнем он вряд ли был, но замечательным он был действительно, о чем рассказ впереди. Его знали все заговорщики, и кандидатура была принята единогласно.

Подготовка к запрещенной тогда и на материке и на Соловках рождественской елке прошла как по маслу. Решад задумал изумить всех своим искусством и, оставаясь до глубокой ночи в своей мастерской, никому не показывал изготовленного.

— Все будет как первый сорт, — твердил он в ответ на вопросы, — живой товар! Я всё знает, что тэбэ нада… Всякий хурда-мурда! И рыбка, и ангел…

— А у вас, у басурманов, разве ангелы есть? — с сомнением спросил Вася.

— Совсэм ишак ты! — возмутился турок. — Как мошет Аллах быть без ангел? Один Бог, один ангел всех! И фамилия та же самая: Габариил,

Исмаил, Азараил… Совсем одинаково!..

Миша также держал в тайне свои приготовления, лишь Вася Овчинников с бароном открыто производили свои химические опыты, стараясь отбить у ворвани неприятный запах. Химики они были плохие, и по коридору нестерпимо несло прелой тюлениной. Выручил же ловкий Решад, добыв у сапожников кусок темного воска, каким натирают дратву.

В сочельник я срубил елочку и, отстав от возвращавшихся лесорубов, привязал ее к бечеве в условленном месте, дернул, и деревцо поползло вверх по заснеженной стене.

Когда, обогнув кремль и сдав топор дежурному, я вошел в свою келью, елочку уже обряжали. Хлопотали все. Решад стоял в позе триумфатора, вынимая из мешка рыбок, домики, хлопушки, слонов… Он действительно превзошел себя и в мастерстве, и в изобретательности. Непостижимо, как он смог изготовить все это, но его триумф был полным. Каждую вещь встречали то шепотом, то кликами восторга. Трогательную детскую сказку рассказывали нам его изделия…

Теснились к елке, к мешку, толкались, спорили. Миша, стремившийся всегда к модернизму, упорно хотел одеть в бумажную юбочку пляшущего

слона, уверяя, что в Париже это произвело бы шумный эффект.

— Дура ты монпарнасская, — вразумлял его степенный Овчинников, — зеленые слоны еще бывают, допиваются до них некоторые, но до слона в юбке и допиться никому не удавалось… хотя бы и в Париже!

На вершине елки сиял… нет, конечно, не советская звезда, а венец творчества Решада — сусальный вызолоченный ангел.

Украсив елку, мы привели в порядок себя, оделись во все лучшее, что у нас было, выбрились, вымылись. Трудновато пришлось с бароном, имевшим лишь нечто, покрытое латками всех цветов, бывшее когда-то пиджаком, но Миша пришел на помощь, вытащив из своего чемодана яркий до ослепительности клетчатый пиджак.

— Облачайтесь, барон! Последний крик моды! Даже не Париж, а Лондон… Модель!

Рукава были несколько коротки, в плечах жало, но барон сиял и даже как будто перестал хромать на лишенную чашечки ногу.

— Сервируем стол, — провозгласил Миша, и теперь настал час его торжества. — Становись конвейером!

Сам он поместился около своего необъятного

дивана и из скрытого под ним ящика начали появляться и возноситься в Мишиных руках унаследованные от монахов приземистые оловянные мисы и деревянные блюда.

— Salade des pommes de terre.[24] Etoile du Nord,[25] — торжественно, как заправский метрдотель, объявлял Егоров. — Saute de[26] тюленья печенка, черт ее знает, как она по-французски будет!

— Ну, это, брат, сам лопай, — буркнул Овчинников.

— Действительно ты — адамант рогожский! Столп, и только! Дубина! Я пробовал, лучше телячьей! Поверь! Ragou sovietique.[27] Пальчики оближете! Frit de селедка avec луком![28] Riz russe…[29] кутья… Вот что даже достал! с изюмом!

---

[24] Примечания: 24
Салат из картофеля *(фр.).*

[25] Примечания: 25
Северная звезда *(фр.).*

[26] Примечания: 26
Соте *(фр.).*

[27] Примечания: 27
Советское рагу *(фр.).*

[28] Примечания: 28
Жареная селедка с луком *(фр.).*

[29] Примечания: 29
Русский рис *(фр.).*

— Подлинно изобилие плодов земных и благорастворение воздухов!

В азарте сервировки мы не заметили, как в келью вошел отец Никодим. Он стоял уже среди нас, и морщинки его улыбки то собирались под глазами, то разбегались к седой, сегодня тщательно расчесанной бороде. Он потирал смерзшиеся руки и ласково оглядывал нас.

— Ишь ты, как прифрантились для праздника! Герои!.. А сиятельного барона и узнать невозможно: жених, прямо жених! Ну, а меня уж простите, ряска моя основательных дополнений требует, — оглядел он отрезанные полы, — однако материал добрый… В Киеве купил, в году — дайте вспомнить… в девятьсот десятом. Знаменито тогда вырабатывали…

— Дверь! Дверь! — страшным голосом зашептал Миша. — Забыли припереть, анафемы!

Чуть-чуть не влопались. Придвигай «бегемота»… Живее да потише!

Приказание было мгновенно исполнено.

— Ну, пора и начинать. Ставь свою икону, адамант. Бери требник, отче Никодимче!

Наугольном иноческом шкапчике-налое, служившем нам обычно для дележки хлебных порций, были разостланы чистые носовые

платки, а на них стал темный древний образ Нерукотворного Спаса, сохраненный в десятке поколений непоколебимого в своей вере рода Овчинниковых. Но лишь только отец Никодим стал перед аналоем и привычно кашлянул… вдруг «бегемот», припиравший дверь, заскрипел и медленно пополз по полу. Дверь приоткрылась, и в щель просунулась голова дежурного по роте охранника, старого еврея Шапиро, бывшего хозяйственника ГПУ, неизвестно за что сосланного на Соловки.

Попались! Секирка неизбежна, а зимой там верная смерть, — пронеслось в мозгах у всех, кроме разве барона, продолжавшего стоять в позе каменной статуи.

— Ай-ай!.. Это-таки настоящее Рождество! и елка! и батюшка! и свечечки! не хватает только детишек… Ну и что? Будем сами себе детишками!

Мы продолжали стоять истуканами, не угадывая, что сулит этот визит. Но по мере развития монолога болтливого Шапиро возрастала и надежда на благополучный исход.

— Да. Что же тут такого? Старый Аарон Шапиро тоже будет себе внучком. Отчего нет? Но о дежурном вы все-таки позабыли. Это плохо.

Он тоже человек и тоже хочет себе праздника. Я сейчас принесу свой пай, и мы будем делать себе Рождество, о котором будем знать только мы… одни мы…

Голова Шапиро исчезла, но через пару минут он протиснулся в келью целиком, бережно держа накрытую листком бумажки тарелку.

— Очень вкусная рыба, по-еврейски фиш, хотя не щука, а треска… Сам готовил! Я не ем трефного. Я тоже верующий и знаю закон. Все евреи верующие, даже и Лейба Троцкий… Но, конечно, про себя. Это можно. В Талмуде все сказано, и ученые ребби знают… Батюшка, давайте молиться Богу!

— Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков! Аминь.

— Amen, — повторил деревянным голосом барон.

— Amen, — шепотом произнес пан Стась.

Отец Никодим служил вполголоса. Звучали простые слова о Рожденном в вертепе, об искавших истины мудрецах и о только жаждавших ее простых, неумудренных пастухах, приведенных к пещере дивной звездой…

Электричество в келье было потушено. Горела лишь одна свечка перед ликом Спаса, и в окнах играли радужные искры величавого сполоха,

окаймлявшего торжественной многоцветной бахромой темную ризу усыпанного звездами неба. Они казались нам отблесками звезды, воссиявшей в мире Высшим Разумом, перед которым нет ни эллина, ни иудея.

Отец Никодим читал Евангелие по-славянски. Методичный барон шепотом повторял его по-немецки, заглядывая в свой молитвенник. Со стороны стоявшего сзади всех шляхтича порой слышалась латынь… на лице атеиста Миши блуждала радостная детская улыбка.

— С наступающим праздником, — поздравил нас отец Никодим. И потом совсем по-другому, по-домашнему. — Скажите на милость, даже кутью изготовили. Подлинное чудо!

Все тихо, чинно и как-то робея, словно стыдясь охватившего их чувства, сели за стол, не зная, с чего начать.

— О главном-то и забыл с вашими молитвами! — хлопнул себя по лбу Миша, метнулся к кровати, пошарил под матрацем и победно взмахнул такой знакомой всем бутылкой. — Вот она, родимая! Полных сорок два градуса, печать… Из закрытого распределителя достал! На парижскую шелковую рубаху выменял…

Ликование превысило все меры. Никто из нас

никогда в жизни, ни прежде, ни потом не ел такого вкусного салата, как Etoile du Nord из промерзшей картошки; рыба-фиш была подлинным кулинарным чудом, а тюленья печенка — экзотическим изыском…

Выпили по первой и повторили. Разом зарумянившийся барон фон Риккерт, встав и держа в руке рюмку, затянул Stille Nacht, Heilige Nacht,[30] а Решад стал уверять всех:

— По-турецки тоже эта песня есть, только слова другие…

Потом все вместе тихо пропели «Елочку», дополняя и импровизируя забытые слова, взялись за руки и покружились вокруг зажженной елки. Ведь в ту ночь мы были детьми, только детьми, каких Он звал в свое царство Духа, где нет ни эллина, ни иудея…

Когда свечи догорели и хозяйственный Вася собрал со стола остатки пира, отец Никодим оглядел все изделия Решада своими лучистыми глазами и даже потрогал некоторые.

— Хороша елка, слов нет, а только у нас на Полтавщине обычай лучше. У нас в этот день вертеп носят. Теперь, конечно, мало, а раньше, когда

---

[30] Примечания: 30
Тихая ночь, святая ночь *(нем.).*

я в семинарии был, и мы, бурсаки, со звездою ходили. Особые вирши пели для этого случая. А вертепы-то какие выстраивали — чудо механики! Такое устроят бурсаки, что звезда по небу ходит, волхвы на коленки становятся, а скоты вертепные, разные там — и овцы, и ослята, и верблюды — главы свои пред Младенцем преклоняют… а мы про то поем…

— Скоты-то чего же кланяются? — удивился Миша. — Они что, понимают?

— А как же, — всем лицом засветился отец Никодим, — понимать не понимают, а сочувствуют. Потому и они — твари Божии. Даже и древо безгласное и то Радость Господню приемлет. Апокрифическое предание о том свидетельствует… Как же скотам-то не поклониться Ему в вертепе?

— Поклонился же Ему сегодня ты… скот в вертепе…

— Ты иногда не так уж глуп, как кажешься, адамант, — не то раздумчиво, не то удивленно ответил Миша своему другу.

1950

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

В круге первом
(Отрывок)

Елка была — сосновая веточка, воткнутая в щель табуретки. Плетеница разноцветных маловольтных лампочек, обогнув ее дважды, спускалась молочными хлорвиниловыми проводами к аккумулятору на полу.

Табуретка стояла в проходе между двухэтажными кроватями в углу комнаты, и один из верхних матрасов отенял весь уголок и крохотную елку от яркости подпотолочных ламп.

Шесть человек в плотных синих комбинезонах парашютистов привстали у елки и, склонив головы, строго слушали, как один из них, бойкий Макс Адам, читал протестантскую рождественскую молитву.

Во всей большой комнате, тесно уставленной такими же двухэтажными наваренными в ножках кроватями, больше не было никого: после ужина и часовой прогулки все ушли на вечернюю работу.

Макс окончил молитву — и шестеро сели. Пятерых из них схлынуло горько-сладкое ощущение

родины — устроенной, устоявшейся страны, милой Германии, под черепичными крышами которой был так трогателен и светел этот первый в году праздник. А шестой среди них — крупный мужчина с широкой черной бородой — был еврей и коммунист.

Льва Рубина судьба сплела с Германией и ветвями мира, и прутьями войны.

В миру он был филолог-германист, разговаривал на безупречном современном hoch-Deutsch, обращался при надобности к наречиям средне-, древне— и верхнегерманским. Всех немцев, когда-либо подписывавших свои имена в печати, он без напряжения вспоминал как личных знакомых. О маленьких городках на Рейне рассказывал так, как если б хаживал не раз их умытыми тенистыми улочками.

А побывал он — только в Пруссии, и то — с фронтом.

Он был майором «отдела по разложению войск противника». Из лагерей военнопленных он выуживал тех немцев, которые не хотели оставаться за колючей проволокой и соглашались ему помогать. Он отбирал их оттуда и безбедно содержал в особой школе. Одних он перепускал через фронт с тринитротолуолом, с фальшивыми

рейхсмарками, фальшивыми отпускными свидетельствами и солдатскими книжками. Они могли подрывать мосты, могли прокатиться домой и погулять, пока не поймают. С другими он говорил о Гёте и Шиллере, обсуждал для машин-«звуковок» уговорные тексты, чтоб воюющие братья обернули оружие против Гитлера. Из его помощников самые способные к идеологии, наиболее переимчивые от нацизма к коммунизму, передавались потом в разные немецкие «свободные комитеты» и там готовили себя для будущей социалистической Германии; а кто попроще, посолдатистей — с теми Рубин к концу войны раза два и сам переходил разорванную линию фронта и силой убеждения брал укрепленные пункты, сберегая советские батальоны.

Но нельзя было убеждать немцев, не врастя в них, не полюбив их, а с дней, когда Германия была повержена, — и не пожалев. За то и был Рубин посажен в тюрьму: враги по Управлению обвинили его, что он после январского наступления сорок пятого года агитировал против лозунга «кровь за кровь и смерть за смерть».

Было и это, Рубин не отрекался, только всё неизмеримо сложней, чем можно было подать в газете или чем написано было в его обвинитель-

ном заключении.

Рядом с табуреткой, где светилась сосновая ветвь, были сплочены две тумбочки, образуя как бы стол. Стали угощаться: рыбными консервами (зэкам шарашки с их лицевых счетов делали закупки в магазинах столицы), уже остывающим кофе и самодельным тортом. Завязался степенный разговор. Макс направлял его на мирные темы: на старинные народные обычаи, умильные истории рождественской ночи. Недоучившийся физик венский студент Альфред в очках смешно выговаривал по-австрийски. Почти не смея вступить в беседу старших, таращил глаза на рождественские лампочки круглолицый с просвечивающими, как у поросенка, розовыми ушами юнец Густав из Hitlerjugend (взятый в плен через неделю после конца войны).

И все-таки разговор сорвался с дорожки. Кто-то вспомнил Рождество сорок четвертого года, пять лет назад, тогдашнее наступление в Арденнах, которым немцы единодушно гордились как античным: побежденные гнали победителей. И вспомнили, что в тот сочельник Германия слушала Геббельса.

Рубин, одной рукой теребя отструек своей жесткой черной бороды, подтвердил. Он помнит эту

речь. Она удалась. Геббельс говорил с таким душевным трудом, будто волок на себе все тяготы, под которыми падала Германия. Вероятно, он уже предчувствовал свой конец.

Оберштурмбаннфюрер СС Райнгольд Зиммель, чей длинный корпус едва умещался между тумбочкой и сдвоенной кроватью, не оценил тонкой учтивости Рубина. Ему невыносима была даже мысль о том, что этот еврей вообще смеет судить о Геббельсе. Он никогда не унизился бы сесть с ним за один стол, если бы в силах был отказаться от рождественского вечера с соотечественниками. Но остальные немцы все непременно хотели, чтобы Рубин был. Для маленького немецкого землячества, занесенного в позолоченную клетку шарашки в сердце дикой беспорядочной Московии, единственным близким и понятным здесь человеком только и был этот майор неприятельской армии, всю войну сеявший среди них раскол и развал. Только он мог растолковать им обычаи и нравы здешних людей, посоветовать, как надо поступить, или перевести с русского свежие международные новости.

Ища, как бы выразиться подосадней для Рубина, Зиммель сказал, что в рейхе вообще были сотни ораторов-фейерверкеров; интересно, по-

чему у большевиков установлено согласовывать тексты заранее и читать речи по бумажкам.

Упрек пришелся тем обидней, чем справедливей. Не объяснять же было врагу и убийце, что красноречие у нас было, да какое, но вытравили его партийные комитеты. К Зиммелю Рубин испытывал отвращение, ничего больше. Он помнил его только что привезенным на шарашку из многолетнего заключения в Бутырках — в хрустящей кожаной куртке, на рукаве которой угадывались споротые нашивки гражданского эсэсовца — худшего вида эсэсовца. Даже тюрьма не могла смягчить выражение устоявшейся жестокости на лице Зиммеля. Именно из-за Зиммеля Рубину было неприятно прийти сегодня на этот ужин. Но очень просили остальные, и было жалко их, одиноких и потерянных здесь, и отказом своим невозможно было омрачить им праздник.

Подавляя желание взорваться, Рубин привел в переводе совет Пушкина кое-кому не судить свыше сапога.

Обиходчивый Макс поспешил прервать нарастающую схватку: а он, Макс, под руководством Льва, уже по складам читает по-русски Пушкина. А почему Райнгольд взял торт без крема? А где был Лев в тот рождественский вечер?

Райнгольд прихватил и крем. Лев припомнил, что был он тогда на наревском плацдарме, у Рожан, в своем блиндаже.

И как эти пять немцев вспоминали сегодня свою растоптанную и разорванную Германию, окрашивая ее лучшими красками души, так и у Рубина вдруг разживились воспоминания сперва о наревском плацдарме, потом о мокрых лесах возле Ильменя.

Разноцветные лампочки отражались в согретых человеческих глазах.

О новостях спросили Рубина и сегодня. Но сделать обзор за декабрь ему было стеснительно. Ведь он не мог себе позволить быть беспартийным информатором, отказаться от надежды перевоспитать этих людей. И не мог он уверить их, что в сложный наш век истина социализма пробивается порою кружным искаженным путем. А поэтому следовало отбирать для них, как и для Истории (как бессознательно отбирал он и для себя) — только те из происходящих событий, которые подтверждали предсказанную столбовую дорогу, и пренебрегать теми, которые заворачивали как бы не в болото.

Но именно в декабре, кроме советско-китайских переговоров, и то затянувшихся, ну и кроме

семидесятилетия Хозяина, ничего положительного как-то не произошло. А рассказывать немцам о процессе Трайчо Костова, где так грубо полиняла вся судебная инсценировка, где корреспондентам с опозданием предъявили фальшивое раскаяние, будто бы написанное Костовым в камере смертников, — было и стыдно и не служило воспитательным целям.

Поэтому Рубин сегодня больше остановился на всемирно-исторической победе китайских коммунистов.

Благожелательный Макс слушал Рубина и поддерживал кивками. Его глаза смотрели невинно. Он был привязан к Рубину, но со времени блокады Берлина что-то стал ему не очень верить и (Рубин не знал), рискуя головой, у себя в лаборатории дециметровых волн стал временами собирать, слушать и опять разбирать миниатюрный приемник, ничуть не похожий на приемник. И он уже слышал из Кёльна и по-немецки от Би-би-си не только о Костове, как тот опроверг на суде вымученные следствием самообвинения, но и о сплочении атлантических стран и о расцвете Западной Германии. Всё это, конечно, он передал остальным немцам, и жили они одной надеждой, что Аденауэр вызволит их отсюда.

А Рубину они — кивали.

Впрочем, Рубину давно пора была идти — ведь его не отпускали с сегодняшней вечерней работы. Рубин похвалил торт (слесарь Хильдемут полыценно поклонился), попросил у общества извинения. Гостя несколько позадержали, благодарили за компанию, и он благодарил. Дальше настраивались немцы вполголоса попеть песни рождественской ночи.

Как был, держа в руках монголо-финский словарь и томик Хемингуэя на английском, Рубин вышел в коридор.

Коридор — широкий, с некрашеным разволокнившимся деревянным полом, без окон, день и ночь с электричеством — был тот самый, где Рубин с другими любителями новостей час назад, в оживленный ужинный перерыв, интервьюировал новых зэков, приехавших из лагерей. В коридор этот выходила одна дверь с внутренней тюремной лестницы и несколько дверей комнат-камер. Комнат, потому что на дверях не было запоров, но и камер, потому что в полотнах дверей были прорезаны глазки — застекленные окошечки. Эти глазки никогда не пригожались здешним надзирателям, но заимствованы были из настоящих тюрем по уставу, по одному тому,

что в бумагах шарашка именовалась «спецтюрьмой № 1 МГБ».

Через такой глазок сейчас виден был в одной из комнат подобный же рождественский вечер землячества латышей, тоже отпросившихся.

Остальные зэки были на работе, и Рубин опасался, чтоб его на выходе не задержали и не потащили к оперу писать объяснение.

1955–1958

НИКОЛАЙ АГАФОНОВ

Молитва алтарника
(Святочный рассказ)

В Рождественский сочельник после чтения Царских часов протодиакон сетовал:

— Что за наваждение в этом году? Ни снежинки. Как подумаю, завтра Рождество, а снега нет — никакого праздничного настроения.

— Правда твоя, — поддакивал ему настоятель собора, — в космос летают, вот небо и издырявили, вся погода перемешалась. Толи зима, то ли еще чего, не поймешь.

Алтарник Валерка, внимательно слушавший этот разговор, робко вставил:

— А вы бы, отцы честные, помолились, чтобы Господь дал нам снежку немножко.

Настоятель и протодиакон с недоумением воззрились на всегда тихого и безмолвного Валерия: с чего это он осмелел? Тот сразу и заробел:

— Простите, отцы, это я так просто подумал, — и быстро юркнул в пономарку.

Настоятель повертел ему вслед пальцем у виска. А протодиакон хохотнул:

— Ну, Валерка, чудак, думает, что на небесах,

как дом быта: пришел, заказал и получил, что тебе надо.

После ухода домой настоятеля и протодиакона Валерка, выйдя из алтаря, направился к иконе Божией Матери Скоропослушница. С самого раннего детства, сколько он себя помнит, его бабушка всегда стояла здесь и ухаживала за этой иконой во время службы. Протирала ее, чистила подсвечник, стоящий перед ней. Валерка всегда был с бабушкой рядом: она внука одного дома не оставляла, идет на службу — и его за собой тащит. Валерка рано лишился родителей, и поэтому его воспитывала бабушка. Отец Валерки был законченный алкоголик, избивал частенько свою жену. Бил ее, даже когда она была беременна Валеркой. Вот и родился он недоношенный, с явными признаками умственного расстройства. В очередном пьяном угаре Валеркин папа ударил его мать о радиатор головой так сильно, что она отдала Богу душу. Из тюрьмы отец уже не вернулся. Так и остался Валерка на руках у бабушки.

Кое-как он окончил восемь классов в спецшколе для умственно отсталых, но главной школой для него были бабушкины молитвы и соборные службы. Бабушка умерла, когда ему исполнилось девятнадцать лет. Настоятель пожалел его

— куда он такой, убогий? — и разрешил жить при храме в сторожке, а чтобы хлеб даром не ел, ввел в алтарь подавать кадило. За тихий и боязливый нрав протодиакон дал ему прозвище Трепетная Лань. Так его и называли, посмеиваясь частенько над наивными чудачествами и бестолковостью. Правда, что касается богослужения, бестолковым его назвать было никак нельзя. Что и за чем следует, он знал наизусть лучше некоторых клириков. Протодиакон не раз удивлялся: «Валерка наш — блаженный, в жизни ничего не смыслит, а в уставе прямо дока какой!»

Подойдя к иконе Скоропослушница, Валерий затеплил свечу и установил ее на подсвечник. Служба уже закончилась, и огромный собор был пуст, только две уборщицы намывали полы к вечерней службе. Валерка, встав на колени перед иконой, опасливо оглянулся на них.

Одна из уборщиц, увидев, как он ставит свечу, с раздражением сказала другой:

— Нюрка, ты посмотри только, опять этот ненормальный подсвечник нам воском зальет, а я ведь только его начистила к вечерней службе! Сколько ему ни говори, чтобы между службами не зажигал свечей, он опять за свое! А староста меня ругать будет, что подсвечник нечищеный.

Пойду пугану эту Трепетную Лань.

— Да оставь ты парня, пущай молится.

— А что, он тут один такой? Мы тоже молимся, когда положено. Вот начнет батюшка службу, и будем молиться, а сейчас не положено! — И она, не выпуская из рук швабру, направилась в сторону коленопреклоненного алтарника.

Вторая, преградив ей дорогу, зашептала:

— Да не обижай ты парня, он и так Богом обиженный, я сама потом подсвечник почищу.

— Ну, как знаешь, — отжимая тряпку, все еще сердито поглядывая в сторону алтарника, пробурчала уборщица.

Валерий, стоя на коленях, тревожно прислушивался к перебранке уборщиц, а когда понял, что беда миновала, достал еще две свечи, поставил их рядом с первой, снова стал на колени:

— Прости меня, Пресвятая Богородица, что не вовремя ставлю тебе свечки, но когда идет служба, тут так много свечей стоит, что ты можешь мои не заметить. Тем более они у меня маленькие, по десять копеек. А на большие у меня денег нету и взять-то не знаю где. — Тут он неожиданно всхлипнул: — Господи, что же я Тебе говорю неправду. Ведь на самом деле у меня еще семьдесят копеек осталось. Мне сегодня прото-

диакон рубль подарил: «На, — говорит, — тебе, Валерка, рубль, купи себе на Рождество мороженое крем-брюле, разговейся от души». Я подумал: крем-брюле стоит двадцать восемь копеек, значит, семьдесят две копейки у меня останется и на них я смогу купить Тебе свечи. — Валерка наморщил лоб, задумался, подсчитывая про себя что-то. Потом обрадованно сказал: — Тридцать-то копеек я уже истратил, двадцать восемь отложил на мороженое, у меня еще сорок две копейки есть, хочу купить на них четыре свечки и поставить Твоему родившемуся Сыночку. Ведь завтра Рождество. — И тяжко вздохнув, добавил: — Ты меня прости уж, Пресвятая Богородица. Во время службы около Тебя народу всегда полно, а днем — никого. Я бы всегда с Тобою здесь днем был, да Ты ведь Сама знаешь, в алтаре дел много. И кадило почистить, и ковры пропылесосить, и лампадки заправить. Как все переделаю, так сразу к Тебе приду. — Он еще раз вздохнул: — С людьми-то мне трудно разговаривать, да и не знаешь, что им сказать, а с Тобой так хорошо, так хорошо! Да и понимаешь Ты лучше всех. Ну, я пойду.

И, встав с колен, повеселевший, он пошел в алтарь. Сидя в пономарке и начищая кадило, Валерий мечтал, как купит себе после службы

мороженое, которое очень любил. «Оно вообще-то большое, это мороженое, — размышлял парень, — можно на две части его поделить, одну съесть после литургии, а другую — после вечерней».

От такой мысли ему стало еще радостнее. Но что-то вспомнив, он нахмурился и, решительно встав, направился опять к иконе Скоропослушница. Подойдя, он со всей серьезностью сказал:

— Я вот о чем подумал, Пресвятая Богородица, отец протодиакон — добрый человек, рубль мне дал, а ведь он на этот рубль сам мог свечей накупить или еще чего-нибудь. Понимаешь, Пресвятая Богородица, он сейчас очень расстроен, что снега нет к Рождеству. Дворник Никифор, тот почему-то, наоборот, радуется, а протодиакон вот расстроен. Хочется ему помочь. Все Тебя о чем-то просят, а мне всегда не о чем просить, просто хочется с Тобой разговаривать. А сегодня хочу попросить за протодиакона, я знаю, Ты и Сама его любишь. Ведь он так красиво поет для Тебя «Царице моя Преблагая…».

Валерка закрыл глаза, стал раскачиваться перед иконой в такт вспоминаемого им мотива песнопения. Потом, открыв глаза, зашептал:

— Да он сам бы пришел к Тебе попросить, но

ему некогда. Ты же знаешь, у него семья, дети. Ау меня никого нет, кроме Тебя, конечно, и Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ты уж Сама попроси Бога, чтобы Он снежку нам послал. Много нам не надо, так, чтобы к празднику беленько стало, как в храме. Я думаю, что Тебе Бог не откажет, ведь Он Твой Сын. Если бы у меня мама чего попросила, я бы с радостью для нее сделал. Правда, у меня ее нет, все говорят, что я — сирота. Но я-то думаю, что я не сирота. Ведь у меня есть Ты, а Ты — Матерь всем людям, так говорил владыка на проповеди. А он всегда верно говорит. Да я и сам об этом догадывался. Вот попроси у меня чего-нибудь, и я для Тебя обязательно сделаю. Хочешь, я не буду такое дорогое мороженое покупать, а куплю дешевенькое, за девять копеек — молочное.

Он побледнел, потупил взор, а потом, подняв взгляд на икону, решительно сказал:

— Матерь Божия, скажи Своему Сыну, я — совсем не буду мороженое покупать, лишь бы снежок пошел. Ну, пожалуйста. Ты мне не веришь? Тогда я прямо сейчас пойду за свечками, а Ты, Пресвятая Богородица, иди к Сыну Своему, попроси снежку нам немного.

Валерий встал и пошел к свечному ящику,

полный решимости. Однако чем ближе он подходил, тем меньше решимости у него оставалось. Не дойдя до прилавка, он остановился и, повернувшись, пошел назад, сжимая во вспотевшей ладони оставшуюся мелочь. Но, сделав несколько шагов, повернул опять к свечному ящику.

Подойдя к прилавку, он нервно заходил около него, делая бессмысленные круги. Дыхание его стало учащенным, на лбу выступила испарина. Увидев его, свечница крикнула:

— Валерка, что случилось?

— Хочу свечек купить, — остановившись, упавшим голосом сказал он.

— Господи, ну так подходи и покупай, а то ходишь, как маятник.

Валерка тоскливо оглянулся на стоящий вдали киот со Скоропослушницей. Подойдя, высыпал мелочь на прилавок и осипшим от волнения голосом произнес:

— На все, по десять копеек.

Когда он получил семь свечей, у него стало легче на душе.

Перед вечерней рождественской службой неожиданно повалил снег пушистыми белыми хлопьями. Куда ни глянешь, всюду в воздухе кружились белые легкие снежинки. Детвора

вывалила из домов, радостно волоча за собой санки. Протодиакон, солидно вышагивая к службе, улыбался во весь рот, раскланиваясь на ходу с идущими в храм прихожанами. Увидев настоятеля, он закричал:

— Давненько, отче, я такого пушистого снега не видел, давненько. Сразу чувствуется приближение праздника.

— Снежок — это хорошо, — ответил настоятель. — Вот как прикажете синоптикам после этого верить? Сегодня с утра прогноз погоды специально слушал, заверили, что без осадков. Никому верить нельзя.

Валерка, подготовив кадило к службе, успел подойти к иконе:

— Спасибо, Пресвятая Богородица, какой добрый у Тебя Сын, мороженое-то маленькое, а снегу вон сколько навалило.

«В Царствии Божием, наверное, всего много, — подумал, отходя от иконы, Валерка. — Интересно, есть ли там мороженое вкуснее крем-брюле? Наверное, есть», — заключил он свои размышления и, радостный, пошел в алтарь.

2003

АЛЕКСАНДР ГРИН

Новогодний праздник отца и маленькой дочери
Часть I

В городе Коменвиль, не блещущем чистотой, ни торговой бойкостью, ни всем тем, что являет раздражающий, угловатый блеск больших или же живущих лихорадочно городов, поселился ради тишины и покоя ученый Эгмонд Дрэп.

Здесь лет пятнадцать назад начал он писать двухтомное ученое исследование.

Идея этого сочинения овладела им, когда он был еще студентом. Дрэп вел полунищенскую жизнь, отказывал себе во многом, так как не имел состояния; его случайный заработок выражался маленькими цифрами гонорара за мелкие переводы и корреспонденции; все свободное время, тщательно оберегая его, он посвящал своему труду, забывая часто о еде и сне. Постепенно дошел он до того, что не интересовался уже ничем, кроме сочинения и своей дочери Тавинии Дрэп. Она жила у родственников.

Ей было шесть лет, когда умерла мать. Раз или два в год ее привозила к нему старуха с орлиным

носом, смотревшая так, как будто хотела повесить Дрэпа за его нищету и рассеянность, за все те внешние проявления пылающего внутреннего мира, которые видела в образе трубочного пепла и беспорядка, смахивающего на разрушение.

Год от году беспорядок в тесной квартире Дрэпа увеличивался, принимал затейливые очертания сна или футуристического рисунка со смешением разнородных предметов в противоестественную коллекцию, но увеличивалась также и стопа его рукописи, лежащей в среднем отделении небольшого шкапа.

Давно уже терпела она соседство всякого хлама.

Скомканные носовые платки, сапожные щетки, книги, битая посуда, какие-то рамки и фотографии и много других вещей, покрытых пылью, валялось на широкой полке, среди тетрадей, блокнотов или просто перевязанных бечевкой разнообразных обрывков, на которых в нетерпении разыскать приличную бумагу нервный и рассеянный Дрэп писал свои внезапные озарения.

Года три назад, как бы опомнясь, он сговорился с женой швейцара: она должна была за некоторую плату раз в день производить уборку

квартиры. Но раз Дрэп нашел, что порядок или, вернее, привычное смешение предметов на его письменном столе перешло в уродливую симметрию, благодаря которой он тщетно разыскивал заметки, сделанные на манжетах, прикрытых, для неподвижности, бронзовым массивным орлом, и, уследив, наконец, потерю в корзине с грязным бельем, круто разошелся с наемницей, хлопнув напослед дверью, в ответ чему выслушал запальчивое сомнение в благополучном состоянии своих умственных способностей. После этого Дрэп боролся с жизнью один.

Часть II

Смеркалось, когда, надев шляпу и пальто, Дрэп заметил наконец, что долго стоит перед шкапом, усиливаясь вспомнить, что хотел сделать. Ему это удалось, когда он взглянул на телеграмму.

«Мой дорогой папа, — значилось там, — я буду сегодня в восемь. Целую и крепко прижимаюсь к тебе. Тави». Дрэп вспомнил, что собрался на вокзал.

Два дня назад была им сунута в шкап мелкая ассигнация, последние его деньги, на которые рассчитывал он взять извозчика, а также купить

чего-либо съестного. Но он забыл, куда сунул ее, некстати задумавшись перед тем о тридцать второй главе; об этой же главе думал он и теперь, пока текст телеграммы не разорвал привычные чары. Он увидел милое лицо Тави и засмеялся.

Теперь все его мысли были о ней. С судорожным нетерпением бросился он искать деньги, погрузив руки во внутренности третьей полки, куда складывал все исписанное.

Упругие слои бумаги сопротивлялись ему. Быстро осмотрясь, куда сложить все это, Дрэп выдвинул из-под стола сорную корзину и стал втискивать в нее рукописи, иногда останавливаясь, чтобы пробежать случайно мелькнувшую на обнаженной странице фразу или проверить ход мыслей, возникших годы назад в связи с этим трудом.

Когда Дрэп начинал думать о своей работе или же просто вспоминал ее, ему казалось, что не было совсем в его жизни времени, когда не было бы в его душе или на его столе этой работы. Она родилась, росла, развивалась и жила с ним, как развивается и растет человек. Для него была подобна она радуге, скрытой пока туманом напряженного творчества, или же видел он ее в образе золотой цепи, связывающей берега без-

дны; еще представлял он ее громом и вихрем, сеющим истину. Он и она были одно.

Он разыскал ассигнацию, застрявшую в пустой сигарной коробке, взглянул на часы и, увидев, что до восьми осталось всего пять минут, выбежал на улицу.

Часть III

Через несколько минут после этого Тави Дрэп была впущена в квартиру отца мрачным швейцаром.

— Он уехал, барышня, — сказал он, входя вместе с девочкой, синие глаза которой отыскали тень улыбки в бородатом лице, — он уехал и, я думаю, отправился встречать вас. А вы, знаете, выросли.

— Да, время идет, — согласилась Тави с сознанием, что четырнадцать лет — возраст уже почтенный. На этот раз она приехала одна, как большая, и скромно гордилась этим. Швейцар вышел.

Девочка вошла в кабинет.

— Это конюшня, — сказала она, подбирая в горестном изумлении своем какое-нибудь сильное сравнение тому, что увидела. — Или невыметенный амбар.

Как ты одинок, папа, труженик мой! А завтра ведь Новый год!

Вся трепеща от любви и жалости, она сняла свое хорошенькое шелковое пальто, расстегнула и засучила рукава. Через мгновение захлопали и застучали бесчисленные увесистые томы, решительно сброшенные ею в угол отовсюду, где только находила она их в ненадлежащем месте. Была открыта форточка; свежий воздух прозрачной струей потек в накуренную до темноты, нетопленую, сырую комнату.

Тави разыскала скатерть, спешно перемыла посуду; наконец, затопила камин, набив его туго сорной бумагой, вытащенной из корзины, сором и остатками угля, разысканного на кухне; затем вскипятила кофе. С ней была ее дорожная провизия, и она разложила ее покрасивее на столе. Так хлопоча, улыбалась и напевала она, представляя, как удивится Дрэп, как будет ему приятно и хорошо.

Между тем, завидев в окне свет, он, подходя к дому, догадался, что его маленькая, добрая Тави уже приехала и ожидает его, что они разминулись. Он вошел неслышно. Она почувствовала, что на ее лицо, закрыв сзади глаза, легли большие, сильные и осторожные руки, и, обернувшись,

порывисто обняла его, прижимая к себе и теребя, как ребенка.

— Папа, ты, — детка мой, измучилась без тебя! — кричала она, пока он гладил и целовал дочь, жадно всматриваясь в это хорошенькое, нервное личико, сияющее ему всей радостью встречи.

— Боже мой, — сказал он, садясь и снова обнимая ее, — полгода я не видел тебя. Хорошо ли ты ехала?

— Прекрасно. Прежде всего, меня отпустили одну, поэтому я могла наслаждаться жизнью без воркотни старой Цецилии. Но, представь, мне все-таки пришлось принять массу услуг от посторонних людей. Почему это? Но слушай: ты ничего не видишь?

— Что же? — сказал, смеясь, Дрэп. — Ну, вижу тебя.

— А еще?

— Что такое?

— Глупый, рассеянный, ученый дикарь, да посмотри же внимательнее!

Теперь он увидел.

Стол был опрятно накрыт чистой скатертью, с расставленными на нем приборами; над кофейником вился пар; хлеб, фрукты, сыр и куски стремительно нарезанного паштета являли кар-

тину, совершенно не похожую на его обычную манеру есть расхаживая или стоя, с книгой перед глазами. Пол был выметен, и мебель расставлена поуютнее. В камине пылало его случайное топливо.

— Понимаешь, что надо было торопиться, поэтому все вышло, как яичница, но завтра я возьму все в руки и все будет блестеть.

Тронутый Дрэп нежно посмотрел на нее, затем взял ее перепачканные руки и похлопал ими одна о другую.

— Ну, будем теперь выколачивать пыль из тебя. Где же ты взяла дров?

— Я нашла на кухне немного угля.

— Вероятно, какие-нибудь крошки.

— Да, но тут было столько бумаги. В той корзине.

Дрэп, не понимая еще, пристально посмотрел на нее, смутно встревоженный.

— В какой корзине, ты говоришь? Под столом?

— Ну да же! Ужас тут было хламу, но горит он неважно.

Тогда он вспомнил и понял.

Часть IV

Он стал разом седеть, и ему показалось, что наступил внезапный мрак.

Не сознавая, что делает, он протянул руку к электрической лампе и повернул выключатель. Это спасло девочку от некоего момента в выражении лица Дрэпа, — выражения, которого она уже не могла бы забыть. Мрак хватил его по лицу и вырвал сердце.

Несколько мгновений казалось ему, что он неудержимо летит к стене, разбиваясь о ее камень бесконечным ударом.

— Но, папа, — сказала удивленная девочка, возвращая своей бестрепетной рукой яркое освещение, — неужели ты такой любитель потемок? И где ты так припылил волосы?

Если Дрэп в эти мгновения не помешался, то лишь благодаря счастливому свежему голосу, рассекшему его состояние нежной чертой. Он посмотрел на Тави. Прижав сложенные руки к щеке, она воззрилась на него с улыбкой и трогательной заботой. Ее светлый внутренний мир был защищен любовью.

— Хорошо ли тебе, папа? — сказала она. — Я то-

ропилась к твоему приходу, чтобы ты отдохнул. Но отчего ты плачешь? Не плачь, мне горько!

Дрэп еще пыхтел, разбиваясь и корчась в муках неслышного стона, но сила потрясения перевела в его душу с яркостью дня все краткое удовольствие ребенка видеть его в чистоте и тепле, и он нашел силу заговорить.

— Да, — сказал он, отнимая от лица руки, — я больше не пролью слез.

Это смешно, что есть движения сердца, за которые стоит, может быть, заплатить целой жизнью. Я только теперь понял это. Работая, — а мне понадобится еще лет пять, — я буду вспоминать твое сердце и заботливые твои ручки. Довольно об этом.

— Ну, вот мы и дома!

1922

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

Дитя и безумец

Маленькая Катя спросила:

— Мама, что сегодня за праздник?

Мать отвечала:

— Сегодня родится Младенец Христос.

— Тот, Который за всех людей пролил кровь?

— Да, девочка.

— Где же Он родится?

— В Вифлееме. Евреи воображали, что Он придет как царь, а Он родился в смиренной доле. Ты помнишь картинку: Младенец Христос лежит в яслях в вертепе, так как Святому Семейству не нашлось приюта в гостинице? И туда приходили поклоняться Младенцу волхвы и пастухи.

Маленькая Катя думала: «Если Христос пришел спасти всех людей, почему же пришли поклониться Ему только волхвы и пастухи? Почему не идут поклониться Ему папа и мама, ведь Он пришел и их спасти?» Но спросить обо всем этом Катя не смела, потому что мама была строгая и не любила, когда ее долго расспрашивают, а отец и совсем не терпел, чтобы его отрывали от книг. Но Катя боялась, что Христос прогневается на папу и маму за то, что они не пришли поклониться

Ему. Понемногу в ее голове стал складываться план, как пойти в Вифлеем самой, поклониться Младенцу и просить прощения за папу и маму.

В восемь часов Катю послали спать. Мама раздела ее сама, так как няня еще не вернулась от всенощной. Катя спала одна в комнате. Отец ее находил, что надо с детства приучать не бояться одиночества, темноты и прочих, как он говорил, глупостей. Катя твердо решила не засыпать, но, как всегда с ней бывало, это ей не удалось. Она много раз хотела не спать и подсмотреть, все ли остается ночью, как днем, стоят ли дома на улицах, или они на ночь исчезают, — но всегда засыпала раньше взрослых. Так случилось и сегодня. Несмотря на все ее старание не спать, глаза слиплись сами собой, и она забылась.

Ночью, однако, она вдруг проснулась. Словно ее разбудил кто-то. Было темно и тихо. Только из соседней комнаты слышалось сонное дыхание няни. Катя сразу вспомнила, что ей надо идти в Вифлеем. Желание спать прошло совершенно. Она неслышно поднялась и начала, торопясь, одеваться. Обыкновенно ее одевала няня, и ей очень трудно было натянуть чулки и застегнуть пуговочки сзади. Наконец, одевшись, она на цыпочках пробралась в переднюю. По счастью, ее

шубка висела так, что она могла достать ее, встав на скамейку. Катя надела свою шубку из гагачьего пуху, гамаши, ботики и шапку с наушниками. Входная дверь была с английским замком, и Катя умела отпирать ее без шума.

Катя вышла, проскользнула мимо спящего швейцара, отперла наружную дверь, так как ключ был в замке, и очутилась на улице.

Было морозно, но ясно. Свет фонарей искрился на чистом, чуть-чуть заледеневшем снеге. Шаги раздавались в тишине четко.

На улице никого не было. Катя прошла ее до угла и наудачу повернула направо. Она не знала, куда идти. Надо было спросить. Но первый встретившийся ей господин был так угрюм, так торопился, что она не посмела. Господин посмотрел на нее из своего поднятого мехового воротника и, не сказав ни слова, зашагал дальше.

Вторым встречным был пьяный мастеровой. Он что-то крикнул Кате, протянул к ней руки, но, когда она в страхе отбежала в сторону, тотчас забыл про нее и пошел вперед, затянув песню.

Наконец Катя почти наткнулась на высокого старика, с седой бородой, в белой папахе и в дохе. Старик, увидав девочку, остановился. Катя решилась спросить его:

— Скажите, пожалуйста, как пройти в Вифлеем?

— Да ведь мы в Вифлееме, — отвечал старик.

— Разве? А где же тот вертеп, где в яслях лежит Младенец Христос?

— Вот я иду туда, — отвечал старик.

— Ах, как хорошо, не будете ли добры проводить и меня? Я не знаю дороги, а мне очень нужно поклониться Младенцу Христу.

— Пойдем, я тебя проведу.

Говоря так, старик взял девочку за руку и повел ее быстро. Катя старалась поспевать за ним, но ей это было трудно.

— Когда мы торопимся, — решилась она наконец сказать, — мама берет извозчика.

— Видишь ли, девочка, — отвечал старик, — у меня нет денег. У меня все отняли книжники и фарисеи. Но давай я понесу тебя.

Старик поднял Катю сильными руками и, держа ее как перышко, зашагал дальше. Катя видела перед собой его всклоченную седую бороду.

— Кто же вы такой? — спросила она.

— А я — Симеон Богоприимец. Видишь ли, я был в числе семидесяти толковников. Мы переводили Библию. Но, дойдя до стиха «Се дева во чреве приемлет…», я усомнился. И за это должен жить,

доколе же сказанное не исполнится. Доколе я не возьму Сына Девы на руки, мне нельзя умереть. А книжники и фарисеи стерегут меня зорко.

Катя не совсем понимала слова старика. Но ей было тепло, так как он запахнул ее дохой. От зимнего воздуха у нее кружилась голова. Они все шли по каким-то пустынным улицам, ряды фонарей бесконечно уходили вперед, суживаясь в точку, и Катя не то засыпала, не то только закрывала глаза.

Старик дошел до деревянного домика в предместье и сказал Кате:

— Здесь живет слуга Ирода, но он мой друг, и я войду.

В окнах был еще свет. Старик постучался. Послышались шаги, скрип ключа, дверь отворилась. Старик внес Катю в темную переднюю. Перед ними в полном изумлении стоял немолодой уже человек в синих очках.

— Семен, — сказал он, — это ты? Как ты попал сюда?

— Молчи. Я обманул книжников и фарисеев и темничных сторожей. Сегодня праздничная ночь, они менее бдительны. Вот я и убежал.

— А шуба у тебя чья?

— Я взял у смотрителя. Но это я возвращу. Я еще

вернусь. Пусть мучают, но мне надо было пойти, я должен увидать Христа, иначе мне нельзя умереть.

— Но что же это за девочка? — воскликнул господин в очках, который лишь теперь рассмотрел Катю.

— Она тоже идет в вертеп.

— Да, мне надо поклониться Младенцу Христу, — вставила Катя.

Господин в очках покачал головой. Он взял Катю от старика, отнес ее в соседнюю комнату и передал какой-то старушке. Катя еще говорила, что ей надо идти, но она так устала и измерзла, что не очень сопротивлялась, когда ее раздели, натерли вином и уложили в теплую постель. Она уснула тотчас.

Старика тоже уложили.

На другой день через участок и родители отыскали Катю, и смотрители сумасшедшего дома — своего бежавшего пациента. Дитя и безумец — оба шли поклониться Христу. Благо тому, кто и сознательно жаждет того же.

1901

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Рождественская песнь в прозе
Строфа первая

ТЕНЬ МАРЛЕЯ

Марлей умер — начнем с того. Сомневаться в действительности этого события нет ни малейшего повода. Свидетельство о его смерти было подписано священником, причетником, гробовщиком и распорядителем похоронной процессии. Оно было подписано и Скруджем; а имя Скруджа, как и всякая бумага, носившая его подпись, уважалось на бирже.

А знал ли Скрудж, что Марлей умер? Конечно, знал. Иначе не могло и быть. Ведь они с ним были компаньонами Бог весть сколько лет. Скрудж был и его единственным душеприказчиком, единственным наследником, другом и плакальщиком. Однако он не был особенно удручен этим печальным событием и, как истинно деловой человек, почтил день похорон своего друга удачной операцией на бирже.

Упомянув о похоронах Марлея, я поневоле должен вернуться еще раз к тому, с чего начал, то есть что Марлей несомненно умер. Это необхо-

димо категорически признать раз и навсегда, а то в предстоящем моем рассказе не будет ничего чудесного. Ведь если бы мы не были твердо уверены, что отец Гамлета умер до начала пьесы, то в его ночной прогулке невдалеке от собственного жилища не было бы ничего особенно замечательного. Иначе стоило любому отцу средних лет выйти в вечернюю пору подышать свежим воздухом, чтобы перепугать своего трусливого сына.

Скрудж не уничтожил на своей вывеске имени старого Марлея: прошло несколько лет, а над конторой по-прежнему стояла надпись: «Скрудж и Марлей». Под этим двойным именем фирма их и была известна, так что Скруджа иногда называли Скруджем, иногда, по незнанию, Марлеем; он отзывался на то и на другое; для него это было безразлично.

Но что за отъявленный скряга был этот Скрудж! Выжать, вырвать, сгрести в свои жадные руки было любимым делом этого старого грешника! Он был тверд и остер, как кремень, из которого никакая сталь не могла извлечь искры благородного огня; скрытный, сдержанный, он прятался от людей, как устрица. Его внутренний холод отражался на его старческих чертах, сказывался в заостренности его носа, в морщинах щек, оде-

ревенелости походки, красноте глаз, синеве его тонких губ и особенно в резкости его грубого голоса. Морозный иней покрывал его голову, брови и небритый подбородок. Свою собственную низкую температуру он всюду приносил с собою: замораживал свою контору в праздничные, нетрудовые дни и даже в Рождество не давал ей нагреться и на один градус.

Ни жар, ни холод наружный не действовали на Скруджа. Никакое тепло не в силах было согреть его, никакая стужа не могла заставить его озябнуть. Не было ни ветра резче его, ни снега, который, падая на землю, упорнее преследовал бы свои цели. Проливной дождь, казалось, был доступнее для просьб. Самая гнилая погода не могла донять его. Сильнейший дождь, и снег, и град только в одном могли похвалиться перед ним: они часто сходили на землю красиво, Скрудж же не снисходил никогда.

Никто на улице не останавливал его веселым приветствием: «Как поживаете, любезный Скрудж? Когда думаете навестить меня?» Нищие не обращались к нему за милостыней, дети не спрашивали у него, который час; ни разу во всю его жизнь никто не спросил у него дороги. Даже собаки, которые водят слепцов, и те, казалось,

знали, что это за человек: как только завидят его, поспешно тащат своего хозяина в сторону, куда-нибудь в ворота или во двор, где, виляя хвостом, как будто хотят сказать своему слепому хозяину: без глаза лучше, чем с дурным глазом!

Но что за дело было до всего этого Скруджу! Напротив, он был очень доволен таким отношением к нему людей. Пробираться в стороне от торной дороги жизни, подальше от всяких человеческих привязанностей, — вот что он любил.

Однажды — это было в один из лучших дней в году, а именно накануне Рождества Христова — старик Скрудж трудился в своей конторе. Стояла резкая, холодная и притом очень туманная погода. Снаружи доносилось тяжелое дыхание прохожих; слышно было, как они усиленно топали по тротуару ногами, били рука об руку, стараясь как-нибудь согреть свои окоченевшие пальцы. День еще с утра был пасмурный, а когда на городских часах пробило три, то стало так темно, что пламя свечей, зажженных в соседних конторах, казалось сквозь окна каким-то красноватым пятном на непрозрачном буром воздухе. Туман пробивался сквозь каждую щель, чрез всякую замочную скважину и был так густ снаружи, что дома, стоявшие по другую сторону узкого

двора, где помещалась контора, являлись какими-то неясными призраками. Смотря на густые, нависшие облака, которые окутывали мраком все окружающее, можно было подумать, что природа сама была здесь, среди людей, и занималась пивоварением в самых широких размерах.

Дверь из комнаты, где трудился Скрудж, была открыта, чтобы ему удобнее было наблюдать за своим конторщиком, который, сидя в крошечной полутемной каморке, переписывал письма. В камине самого Скруджа был разведен очень слабый огонь, а то, чем согревался конторщик, и огнем нельзя было назвать: это был просто едва-едва тлеющий уголек. Растопить пожарче бедняга не осмеливался, потому что ящик с углем Скрудж держал в своей комнате и решительно всякий раз, когда конторщик входил туда с лопаткой, хозяин предупреждал его, что им придется расстаться. Поневоле пришлось конторщику надеть свой белый шарф и стараться согреть себя у свечки, что ему, за недостатком пылкого воображения, конечно, и не удавалось.

— С праздником, дядюшка! Бог вам в помощь! — послышался вдруг веселый голос.

Это был голос племянника Скруджа, прибежавшего так внезапно, что это приветствие было

первым признаком его появления.

— Пустяки! — сказал Скрудж.

Молодой человек так нагрелся от быстрой ходьбы по морозу, что красивое лицо его как бы горело; глаза ярко сверкали, и дыхание его было видно на воздухе.

— Как? Рождество пустяки, дядюшка?! — сказал племянник. — Право, вы шутите.

— Нет, не шучу, — возразил Скрудж. — Какой там радостный праздник! По какому праву ты радуешься и чему? Ты так беден.

— Ну, — весело ответил племянник, — а по какому праву вы мрачны, что заставляет вас быть таким угрюмым? Вы ведь так богаты.

Скрудж не нашелся что ответить на это и только еще раз произнес:

— Пустяки!

— Будет вам сердиться, дядя, — начал опять племянник.

— Что же прикажете делать, — возразил дядя, — когда живешь в мире таких глупцов? Веселый праздник! Хорош веселый праздник, когда нужно платить по счетам, а денег нет; год прожил, а побогатеть и на грош не побогател — приходит время подсчитывать книги, в которых за все двенадцать месяцев ни по одной статье не

оказывается прибыли. О, если б моя воля была, — продолжал гневно Скрудж, — каждого идиота, который носится с этим веселым праздником, я бы сварил вместе с его пудингом и похоронил бы его, проколов ему сперва грудь колом из остролистника.[31] Вот что б я сделал!

— Дядя! Дядя! — произнес, как бы защищаясь, племянник.

— Племянник! — сурово возразил Скрудж. — Справляй Рождество как знаешь и предоставь мне справлять его по-моему.

— Справляй! — повторил племянник. — Да разве его так справляют?

— Оставь меня, — сказал Скрудж. — Поступай как хочешь! Много толку вышло до сих пор из твоего празднования?

— Правда, я не воспользовался как следует многим, что могло бы иметь добрые для меня последствия, например Рождество. Но уверяю вас, всегда с приближением этого праздника я думал о нем как о добром, радостном времени, когда, не в пример долгому ряду остальных дней года, все, и мужчины и женщины, проникаются христиан-

[31] Примечания: 31

Пудинг — необходимое рождественское блюдо англичан, как *остролистник* — обязательное украшение их комнат на святочных вечерах.

ским чувством человечности, думают о меньшей братии как о действительных своих спутниках к могиле, а не как о низшем роде существ, идущих совсем иным путем. Я уже не говорю здесь о благоговении, подобающем этому празднику по его священному имени и происхождению, если только что-нибудь, связанное с ним, может быть отделено от него. Поэтому-то, дядюшка, хотя оттого у меня ни золота, ни серебра в кармане не прибавлялось, я все-таки верю, что польза для меня от такого отношения к великому празднику была и будет, и я от души благословляю его!

Конторщик в своей каморке не выдержал и одобрительно захлопал в ладоши, но в ту же минуту, почувствовав неуместность своего поступка, поспешно загреб огонь и потушил последнюю слабую искру.

— Если от вас я услышу еще что-нибудь в этом роде, — сказал Скрудж, — то вам придется отпраздновать свое Рождество потерей места. Однако вы изрядный оратор, милостивый государь, — прибавил он, обращаясь к племяннику, — удивительно, что вы не член парламента.

— Не сердитесь, дядя. Пожалуйста, приходите к нам завтра обедать.

Тут Скрудж, не стесняясь, предложил ему

убраться подальше.

— Почему же? — воскликнул племянник. — Почему?

— Почему ты женился? — сказал Скрудж.

— Потому что влюбился.

— Потому что влюбился! — проворчал Скрудж, как будто это была единственная вещь в мире, еще более смешная, чем радость праздника. — Прощай!

— Но, дядюшка, вы ведь и до этого события никогда не бывали у меня. Зачем же ссылаться на него как на предлог, чтоб не прийти ко мне теперь?

— Прощай! — повторил Скрудж, вместо ответа.

— Мне ничего от вас не нужно; я ничего не прошу у вас: отчего бы не быть нам друзьями?

— Прощай!

— Сердечно жалею, что вы так непреклонны. Мы никогда не ссорились по моей вине. Но ради праздника я сделал эту попытку и останусь до конца верен своему праздничному настроению. Итак, дядюшка, дай вам Бог в радости встретить и провести праздник!

— Прощай! — твердил старик.

— И счастливого Нового года!

— Прощай!

Несмотря на такой суровый прием, племянник вышел из комнаты, не произнеся сердитого слова. У наружной двери он остановился поздравить с праздником конторщика, который, как бы ему ни было холодно, оказался теплее Скруджа, так как он сердечно ответил на обращенное к нему приветствие.

— Вот еще другой такой же нашелся, — пробормотал Скрудж, до которого донесся разговор из каморки. — Мой конторщик, имеющий пятнадцать шиллингов в неделю да еще жену и детей, толкует о веселом празднике. Хоть в сумасшедший дом!

Проводив племянника Скруджа, конторщик впустил двух других людей. Это были представительные джентльмены приятной наружности. Сняв шляпы, они остановились в конторе. В руках у них были книги и бумаги. Они поклонились.

— Это контора Скруджа и Марлея, если не ошибаюсь? — сказал один из господ, справляясь с своим листом. — Имею честь говорить с господином Скруджем или с господином Марлеем?

— Господин Марлей умер семь лет тому назад, — ответил Скрудж. — Сегодня ночью минет ровно семь лет со времени его смерти.

— Мы не сомневаемся, что его щедрость имеет

достойного представителя в лице пережившего его товарища по фирме, — сказал джентльмен, подавая свои бумаги.

Он сказал правду: это были родные братья по духу. При страшном слове «щедрость» Скрудж нахмурил брови, покачал головой и отстранил от себя бумаги.

— В эту праздничную пору года, господин Скрудж, — сказал джентльмен, беря перо, — более, чем обыкновенно, желательно, чтобы мы немного позаботились о бедных и нуждающихся, которым очень плохо приходится в настоящее время. Многие тысячи нуждаются в самом необходимом; сотни тысяч лишены самых обыкновенных удобств, милостивый государь.

— Разве нет тюрем? — спросил Скрудж.

— Тюрем много, — сказал джентльмен, кладя перо на место.

— А рабочие дома? — осведомился Скрудж. — Существуют они?

— Да, по-прежнему, — ответил джентльмен. — Хотелось бы, чтоб их больше не было.

— Стало быть, исправительные заведения и закон о бедных в полном ходу? — спросил Скрудж.

— В полнейшем ходу и то и другое, милостивый государь.

— Ага! А то я было испугался, слыша ваши первые слова; подумал, уж не случилось ли с этими учреждениями чего-нибудь, что заставило их прекратить свое существование, — сказал Скрудж. — Очень рад это слышать.

— Сознавая, что вряд ли эти суровые способы доставляют христианскую помощь духу и телу народа, — возразил джентльмен, — некоторые из нас взяли на себя заботу собрать сумму на покупку для бедняков пищи и топлива. Мы выбрали это время как такое, когда нужда особенно чувствуется, а изобилие услаждается. Что прикажете записать от вас?

— Ничего, — ответил Скрудж.

— Вы хотите остаться неизвестным?

— Я хочу, чтобы меня оставили в покое, — сказал Скрудж. — Если вы меня спрашиваете, чего я хочу, вот вам мой ответ. Я сам не веселюсь на празднике и не могу доставлять возможности веселиться праздным людям. Я даю на поддержание учреждений, о которых упомянул; на них тратится не мало, и у кого плохи обстоятельства, пусть туда идут!

— Многие не могут идти туда; многие предпочли бы умереть.

— Если им легче умереть, — сказал Скрудж, —

пусть они лучше так и делают; меньше будет лишнего народа. Впрочем, извините меня, я этого не знаю.

— Но вы могли бы знать, — заметил один из посетителей.

— Это не мое дело, — ответил Скрудж. — Довольно для человека, если он понимает собственное дело и не мешается в чужие. Моего дела с меня достаточно. Прощайте, господа!

Ясно видя, что им не достигнуть здесь своей цели, господа удалились. Скрудж принялся за работу с лучшим мнением о самом себе и в лучшем расположении духа, нежели обыкновенно.

Между тем туман и мрак сгустились до такой степени, что на улице появились люди с зажженными факелами, предлагавшие свои услуги идти перед лошадьми и указывать экипажам дорогу. Древняя колокольня, угрюмый старый колокол которой всегда лукаво поглядывал вниз на Скруджа из готического окна в стене, стала невидимой и отбивала свои часы и четверти где-то в облаках; звуки ее колокола так дрожали потом в воздухе, что казалось, как будто в замерзшей голове ее зубы стучали друг об друга от холода. На главной улице, около угла подворья, несколько работников поправляли газовые трубы: у разведенного

ими в жаровне большого огня собралась кучка оборванцев, взрослых и мальчиков, которые, жмуря перед пламенем глаза, с наслаждением грели у него руки. Водопроводный кран, оставленный в одиночестве, не замедлил покрыться печально повисшими сосульками льда. Яркое освещение магазинов и лавок, где ветки и ягоды остролистника трещали от жара оконных ламп, отражалось красноватым отблеском на лицах прохожих. Даже лавочки торговцев живностью и овощами приняли какой-то праздничный, торжественный вид, столь мало свойственный делу продажи и наживы.

Лорд-мэр в своем громадном, как крепость, дворце отдавал приказания своим бесчисленным поварам и дворецким, чтобы все было приготовлено к празднику, как подобает в хозяйстве лорд-мэра. Даже плюгавый портной, оштрафованный им в прошлый понедельник на пять шиллингов за появление в пьяном виде на улице, и тот, сидя на своем чердаке, мешал завтрашний пудинг, пока худощавая жена его вышла с ребенком купить мяса.

Тем временем мороз все крепчал, отчего туман стал еще гуще. Изможденный холодом и голодом, мальчик остановился у двери Скруджа послушать

Христа и, нагнувшись к замочной скважине, запел было песню:

Пошли вам Бог здоровья,
добрый барин!
Пусть будет радостен для вас
великий праздник!

Но при первом же звуке его голоса Скрудж схватил линейку так порывисто, что певец пустился с испуга бежать, предоставив замочную щель туману и еще более сродному Скруджу морозу.

Наконец пришло время запирать контору. Нехотя слез Скрудж со своего табурета и тем молча признал наступление этой неприятной для него необходимости. Конторщик только того и ждал; он моментально задул свою свечу и надел шляпу.

— Вы, полагаю, захотите воспользоваться целым завтрашним днем? — сухо спросил Скрудж.

— Да, если это удобно, сэр.

— Это совсем неудобно, — сказал Скрудж, — и нечестно. Если б я удержал полкроны из вашего жалованья, вы, наверное, сочли бы себя обиженным.

Конторщик слабо улыбнулся.

— Однако, — продолжал Скрудж, — вы не счи-

таете меня обиженным, когда я даром плачу дневное жалованье.

Конторщик заметил, что это бывает только раз в году.

— Плохое извинение в обкрадывании чужого кармана каждое двадцать пятое декабря! — сказал Скрудж, застегивая до подбородка свое пальто. — Но, полагаю, вам нужен целый день. Зато на следующее утро будьте здесь как можно раньше!

Конторщик обещал исполнить приказание, и Скрудж вышел, бормоча что-то про себя. Контора была заперта во мгновение ока, и конторщик, с болтавшимися ниже куртки концами своего белого шарфа (верхнего платья у него не было), раз двадцать прокатился по льду замерзшей канавки позади целой вереницы ребятишек — так рад был он отпраздновать ночь на Рождество — а затем во всю прыть побежал домой в Кэмден-Таун играть в жмурки.

Скрудж съел свой скучный обед в своем обычном скучном трактире; затем, прочтя все газеты и проведя остаток вечера в рассматривании своей записной банкирской книжки, отправился домой.

Он занимал помещение, принадлежавшее

некогда его покойному компаньону. Это был ряд неприглядных комнат в большом мрачном доме, в глубине двора; этот дом был так не на месте, что иной мог подумать, что, будучи еще молодым домом, он забежал сюда, играя в прятки с другими домами, но, потеряв дорогу назад, остался здесь. Теперь это было довольно старое здание, угрюмого вида, потому что никто, кроме Скруджа, в нем не жил, а другие комнаты все отдавались под конторы. На дворе стояла такая темнота, что даже Скрудж, знавший здесь каждый камень, должен был идти ощупью. Морозный туман так густо навис над старой темной дверью дома, что казалось, как будто гений погоды сидел в мрачном раздумье на его пороге.

Несомненно, что, кроме больших размеров, решительно ничего особенного не было в колотушке, висевшей у двери. Одинаково верно, что Скрудж, за все время пребывания своего в этом доме, видал эту колотушку и утром и вечером. К тому же у Скруджа то, что называется воображением, отсутствовало, как и у любого

обитателя лондонского Сити.[32] Не забудьте при этом, что Скрудж ни разу не подумал о Марлее с тех пор, как при разговоре в конторе он упомянул о совершившейся семь лет тому назад его кончине. И пусть теперь кто-нибудь объяснит мне, если может, каким образом могло случиться, что Скрудж, вкладывая ключ в замок двери, увидал в колотушке, которая никакого непосредственного превращения не претерпела, — не колотушку, а лицо Марлея.

Лицо это не было покрыто непроницаемым мраком, окутывавшим другие бывшие на дворе предметы, — нет, оно слегка светилось, как светятся гнилые раки в темном погребе. В нем не было выражения гнева или злобы, оно смотрело на Скруджа так, как, бывало, всегда смотрел Марлей — подняв очки на лоб. Волосы стояли дыбом, как будто от дуновения воздуха; глаза, хотя и совершенно открытые, были неподвижны. Вид этот при сине-багровом цвете кожи был ужасен, но этот ужас был как-то сам по себе, а не в лице.

Когда Скрудж пристальнее вгляделся в это

---

[32] Примечания: 32

Сити — исторический район Лондона, сформировавшийся на основе древнеримского города Лондиниум; в XIX в. Сити был главным деловым и финансовым центром в мире и продолжает оставаться одной из столиц мирового бизнеса и по сей день.

явление, оно исчезло, и колотушка стала опять колотушкой.

Сказать, что он не был испуган и что кровь его не испытала страшного ощущения, которому он был чужд с детства, — было бы неправдой. Но он снова взялся за ключ, который было уже выпустил, решительно повернул его, вошел в дверь и зажег свечку.

Но он остановился на минуту **в** нерешительности, прежде чем затворил дверь, и сперва осторожно заглянул за нее, как бы отчасти ожидая быть испуганным при виде если не лица Марлея, то косы его, торчащей в сторону сеней. Но сзади двери ничего не было, кроме винтов и гаек, на которых держалась колотушка. Он только произнес: «Фу! фу!» — и захлопнул дверь с шумом.

Звук этот, как гром, раздался по всему дому. Казалось, каждая комната наверху, каждая бочка в подвале виноторговца внизу обладала своим особым подбором эха. Скрудж был не из тех, которые боятся эха. Он запер дверь, прошел через сени и стал всходить по лестнице, но медленно, поправляя свечу.

Рассказывают про старинные лестницы, будто по ним можно было въехать шестериком; а про

эту лестницу можно подлинно сказать, что по ней легко бы можно было поднять целую погребальную колесницу, да еще поставив ее поперек, так что дышло приходилось бы к перилам, а задние колеса к стене. Места для этого было бы вдоволь, да и еще осталось бы. По этой, может быть, причине Скруджу представлялось, что перед ним подвигаются в темноте погребальные дроги. Полдюжины газовых фонарей с улицы не осветили бы достаточно входа — так он был обширен; отсюда вам станет понятно, как мало света давала свеча Скруджа.

Скрудж шел себе да шел, нимало об этом не беспокоясь; потемки недорого стоят, а Скрудж любил дешевизну. Однако, прежде чем запереть свою тяжелую дверь, он прошел по всем комнатам с целью убедиться, что все было в порядке. Вспоминая о лице Марлея, он пожелал исполнить эту предосторожность.

Гостиная, спальня, кладовая — все как следует. Никого не оказалось ни под столом, ни под диваном; в камине маленький огонь; на полке камина приготовленные ложка и миска да небольшая кастрюля с кашицей (у Скруджа была немного простужена голова). Ничего не нашлось ни под кроватью, ни в шкафу, ни в его халате, висевшем

в несколько подозрительном положении на стене. В кладовой все те же обычные предметы: старая решетка от камина, старые сапоги, две корзины для рыбы, умывальник на трех ножках и кочерга.

Вполне успокоившись, он запер дверь и при этом дважды повернул ключ, что не было в его обыкновении. Обезопасив себя таким образом от нечаянностей, он снял галстук, надел халат, туфли и ночной колпак и сел перед огнем есть свою кашицу.

Не жаркий это был огонь, совсем не по такой холодной ночи. Ему пришлось сесть к камину вплотную и еще нагнуться, прежде чем он мог почувствовать хотя небольшую теплоту от такого малого количества топлива. Камин был старинный, построен Бог весть когда какими-нибудь голландскими купцами и кругом выложен причудливыми голландскими изразцами, долженствовавшими изображать библейские сцены. Тут были Каины и Авели, дочери фараона, Савские царицы, небесные посланники, сходящие по воздуху на облаках, подобных пуховым перинам, Авраамы, Балтазары, апостолы, пускающиеся в море в масленках; сотни других фигур, которые могли бы привлечь к себе мысли Скруджа. Тем

не менее лицо Марлея, умершего семь лет назад, являлось подобно жезлу пророка и поглощало все остальное. Если бы каждый изразец был гладкий и в состоянии был бы отпечатлеть на своей поверхности какое-нибудь изображение из несвязных отрывков его мыслей, на каждом из них изобразилась бы голова старого Марлея.

— Пустяки! — сказал Скрудж и стал ходить по комнате.

Пройдясь несколько раз, он сел опять. Когда он откинул голову на спинку кресла, взор его случайно остановился на колокольчике, давно заброшенном, который висел в комнате и для какой-то, теперь уже забытой, цели был проведен из комнаты, помещавшейся в самом верхнем этаже дома. К великому изумлению и странному, необъяснимому ужасу Скруджа, когда он смотрел на колокольчик, тот начал качаться. Он качался так слабо, что едва производил звук; но скоро он зазвонил громко, и ему начал вторить каждый колокольчик в доме.

Может быть, это продолжалось полминуты или минуту, но Скруджу показалось часом. Колокольчики замолчали также, как и начали, — разом. Затем глубоко внизу послышался звенящий звук, как будто кто-нибудь тащил тяжелую цепь по

бочкам в подвал виноторговца. Тут Скруджу пришли на память слышанные им когда-то рассказы, что в домах, где есть домовые, последние описываются влекущими цепи.

Вдруг дверь погреба с шумом растворилась, звук стал гораздо громче; вот он доносится с пола нижнего этажа, затем слышится на лестнице и, наконец, направляется прямо к двери.

— Все-таки это пустяки! — произнес Скрудж. — Не верю этому.

Однако цвет лица его изменился, когда, не останавливаясь, звук прошел сквозь тяжелую дверь и остановился перед ним в комнате. В эту минуту угасавшее в камине пламя вспыхнуло, как будто говоря: «Я знаю его! это дух Марлея!» И — снова упало.

Да, это было то самое лицо. Марлей с своей косой, в своем жилете, узких обтянутых панталонах и сапогах; кисточки на них стояли дыбом, так же как и коса, полы кафтана и волосы на голове. Цепь, которую он носил с собою, охватывала его поясницу и отсюда свешивалась сзади вроде хвоста. Это была длинная цепь, составленная — Скрудж близко рассмотрел ее — из железных сундучков, ключей, висячих замков, конторских книг, деловых бумаг и тяжелых кошельков, об-

деланных сталью. Тело его было прозрачно, так что Скрудж, наблюдая за ним и смотря чрез его жилетку, мог видеть две задние пуговицы его кафтана.

Скрудж часто слыхал от людей, что у Марлея не было ничего внутри, но он никогда до сих пор не верил этому.

Да и теперь он не верил. Как он ни смотрел на призрак, как хорошо ни видел его стоящим пред собою, как ни чувствовал леденящий взор его мертвенно-холодных глаз, как ни различал даже самую ткань сложенного платка, которым была подвязана его голова и подбородок и который он сначала не заметил, — он все-таки оставался неверующим и боролся с собственными чувствами.

— Ну, что же? — сказал колко и холодно, как всегда, Скрудж. — Что тебе от меня нужно?

— Многое! — раздался в ответ несомненный голос Марлея.

— Кто ты?

— Спроси меня, кто я был.

— Кто же был ты? — сказал Скрудж, повышая голос.

— При жизни я был твоим компаньоном, Яковом Марлеем.

— Можешь ли ты… можешь ли ты сесть? — спросил Скрудж, сомнительно смотря на него.

— Могу.

— Так сядь.

Скрудж сделал этот вопрос, не зная, может ли дух, будучи таким прозрачным, сесть на стул, и тут же сообразил, что если бы это оказалось невозможным, вызвало бы необходимость довольно неприятных объяснений. Но привидение село по другую сторону камина, как будто было совершенно привычно к этому.

— Ты не веришь в меня? — заметил дух.

— Нет, не верю, — сказал Скрудж.

— Какого доказательства желал бы ты в моей действительности, сверх своих чувств?

— Я не знаю, — ответил Скрудж.

— Почему ты сомневаешься в своих чувствах?

— Потому, — сказал Скрудж, — что всякая безделица на них влияет. Желудок не в порядке — и они начинают обманывать. Может быть, ты не больше, как непереваренный кусок мяса, комочек горчицы, крошка сыра, частица недоварившейся картофелины. Что бы там ни было, но могильного в тебе очень мало.

Не в привычке Скруджа было отпускать остроты, тем более в эту минуту ему было не до шуток.

На самом деле если он теперь и старался острить, то лишь с целью отвлечь свое собственное внимание и подавить свой страх, так как голос привидения тревожил его до мозга костей.

Просидеть и одну минуту, глядя в упор в эти неподвижные стеклянные глаза, было выше его сил. Что еще особенно наводило ужас, это какая-то сверхъестественная атмосфера, окружавшая привидение. Скрудж сам не мог ощущать ее, тем не менее присутствие ее было несомненно, так как, несмотря на полную неподвижность духа, его волосы, фалды и кисточки — все находилось в движении, как будто ими двигал горячий пар из печки.

— Видишь ты эту зубочистку? — спросил Скрудж, стараясь хоть на секунду отвлечь от себя стеклянный взор своего загробного посетителя.

— Вижу, — ответил дух.

— Ты не смотришь на нее, — сказал Скрудж.

— Не смотрю, но все-таки вижу, — отвечал Дух.

— Так, — возразил Скрудж. — Стоит мне только проглотить ее, чтобы на весь остаток моей жизни подвергнуться преследованию целого легиона привидений; и все это будет дело собственных рук. Пустяки, повторяю тебе, пустяки!

При этих словах дух поднял страшный крик и

с таким ужасающим звуком потряс своею цепью, что Скрудж крепко ухватился за кресло, боясь упасть в обморок. Но каков был его ужас, когда привидение сняло с головы свою повязку, как будто ему стало жарко от нее в комнате, и нижняя челюсть его упала на грудь.

Скрудж бросился на колени и закрыл лицо руками.

— Смилуйся, страшное видение! — произнес он. — За что ты меня мучаешь?

— Человек земных помыслов! — воскликнул дух. — Веришь ли ты в меня или нет?

— Верю, — сказал Скрудж. — Я должен верить. Но зачем духи ходят по земле и для чего являются они ко мне?

— От всякого человека требуется, — ответило видение, — чтобы дух, живущий в нем, посещал своих ближних и ходил для этого повсюду; и если этот дух не странствует таким образом при жизни человека, то осуждается на странствование после смерти. Он обрекается скитанию по свету — о, увы мне! — и должен быть свидетелем того, в чем участия принять уже не может, но мог бы, пока жил на земле, и тем достиг бы счастья!

Дух снова поднял крик, потрясая свою цепь и ломая себе руки.

— Ты в оковах, — сказал Скрудж, дрожа. — Скажи, почему?

— Я ношу цепь, которую сковал себе при жизни, — ответил дух. — Я работал ее звено за звеном, ярд за ярдом; я опоясался ею по своей собственной воле и по собственной же свободной воле ношу ее. Разве рисунок ее не знаком тебе?

Скрудж дрожал все сильнее и сильнее.

— И если бы ты знал, — продолжал дух, — как тяжела и длинна цепь, которую ты сам носишь! Еще семь лет тому назад она была так же тяжела и длинна, как вот эта. А с тех пор ты над ней много потрудился. О, это тяжелая цепь!

Скрудж посмотрел на пол около себя, ожидая увидеть себя окруженным пятидесятисаженным железным канатом, однако ничего не увидал.

— Яков! — произнес он умоляющим тоном. — Старинный мой Яков Марлей, поведай мне еще. Скажи мне что-нибудь утешительное, Яков.

— У меня нет утешения, — ответил дух. — Оно приходит из других сфер, Эбенизер Скрудж, и сообщается чрез иное посредство иного рода людям. И сказать тебе того, что бы хотел, я не могу. Лишь немногое еще дозволено мне. Для меня нет ни остановки, ни покоя. Мой дух никогда не выходил за стены нашей конторы — заметь себе! — при

жизни дух мой никогда не покидал тесных пределов нашей меняльной лавчонки, зато теперь передо мною бесконечный тягостный путь!

У Скруджа была привычка опускать руки в карманы брюк, когда он задумывался. Так сделал он и теперь, размышляя о словах духа, но все не поднимая глаз и не вставая с колен.

— Ты, должно быть, очень медленно совершаешь свое путешествие, Яков, — заметил Скрудж деловым, хотя и почтительно-скромным тоном.

— Медленно! — повторил дух.

— Семьлет как умер, — удивлялся Скрудж, — и все еще странствует.

— Да, все время, — сказал дух, — не зная ни отдыха, ни покоя, и под беспрерывной пыткой угрызения совести.

— Ты скоро путешествуешь? — спросил Скрудж.

— На крыльях ветра.

— Много ты успел пройти за семь лет.

При этих словах дух снова вскрикнул и так неистово загремел своею цепью среди мертвой тишины ночи, что полиция была бы вправе назвать это нарушением порядка.

— О, жалкий узник, скованный по рукам и по ногам! — воскликнуло привидение. — Не знать,

что века непрестанного труда бессмертных творений должны отойти в вечность, прежде чем восполнится мера добра, на которое земной мир способен. Не знать, что всякая христианская душа, делающая добро в своей ограниченной области, какова бы она ни была, не может не видеть, что земная жизнь ее слишком коротка для ее обширных средств к добру и служению ближним. Не знать, что никакие века раскаяния не могут возвратить того, что упущено при жизни! А я был таким! О, я был таким!

— Но ведь ты всегда был хорошим деловым человеком, Яков, — произнес Скрудж, который начал прилагать это к себе.

— Деловой! — воскликнул дух, опять ломая себе руки. — Заботы о человеческом роде, об общем благе были моим делом; любовь к ближнему, милосердие и благотворительность — все это было моим делом. Занятия торговлей составляли лишь каплю в обширном океане моих трудов.

Он вытянул руку, держа свою цепь, как будто в ней была причина его бесплодных сокрушений, и с силою бросил ее опять на пол.

— В эту пору истекающего года, — сказал дух, — я страдаю больше всего. Зачем я, проходя между толпами своих ближних, смотрел все вниз и ни

разу не поднял глаз на ту благословенную звезду, которая привела мудрецов к убогому жилищу? Разве не было бедных домов, к которым свет ее привел бы меня!

Скруджу страшно было это слышать, и он начал дрожать всем телом.

— Слушай! — воскликнул дух. — Мне остается мало времени.

— Я буду слушать, — сказал Скрудж. — Но не будь жесток ко мне! Говори проще, Яков! Прошу тебя!

— Как это происходит, что я являюсь перед тобою в видимом для тебя образе, того я не могу сказать тебе. Невидимо я сидел рядом с тобою в течение многих, очень многих дней.

Мысль об этом была не из приятных. Скрудж содрогнулся и вытер выступивший у него на лбу пот.

— Это одна из моих сильнейших очистительных жертв, — продолжал дух. — В эту ночь я здесь для того, чтобы предупредить тебя, что у тебя есть еще случай и надежда избегнуть моей участи. Тем и другим ты мне обязан, Эбенизер.

— Ты был мне всегда хорошим другом, — сказал Скрудж. — Благодарю тебя!

— К тебе явятся, — возразило видение, — три

духа.

Лицо Скруджа сделалось при этих словах почти так же длинно, как и у его загробного посетителя.

— Это тот самый случай и надежда, о которых ты упомянул, Яков? — спросил он голосом виноватого.

— Да.

— Знаешь что? Мне бы этого не хотелось, — сказал Скрудж.

— Без их посещения, — ответил дух, — ты не можешь надеяться избежать пути, которым я иду. Ожидай первого завтра, когда пробьет час.

— Нельзя ли мне принять их всех сразу и тем покончить с ними, Яков? — вставил Скрудж.

— Ожидай второго в следующую ночь и в тот же час. Третьего — еще через сутки, как только пробьет полночь. Меня больше не жди, но ради собственного блага не забудь того, что произошло между нами!

Сказав эти слова, привидение взяло со стола свою повязку и по-прежнему подвязало ею голову. Скрудж узнал об этом по легкому звуку, произведенному зубами привидения, когда повязкой челюсти были сдвинуты вместе. Он решился снова поднять глаза и увидал, что его

сверхъестественный собеседник уже стоит перед ним и цепь по-прежнему обвита вокруг его тела и руки.

Привидение стало отодвигаться от него задом, и с каждым его шагом окно понемногу открывалось, так что, когда дух дошел до него, оно было уже открыто настежь. Он знаком приказал Скруджу приблизиться, что тот и сделал. Когда они были на расстоянии двух шагов друг от друга, дух Марлея поднял руку, предупреждая его не подходить ближе. Скрудж остановился, но не столько из повиновения, сколько пораженный удивлением и страхом, потому что в то мгновение, как привидение подняло руку, до слуха Скруджа донесся раздававшийся в воздухе неясный шум каких-то несвязных воплей раскаяния, невыразимо горестных стонов самообвинения. Привидение, прислушавшись на минуту, затянуло ту же жалобную песнь и исчезло в мраке холодной ночи.

Скрудж подошел к окну и, влекомый любопытством, выглянул наружу.

Воздух был наполнен привидениями, которые, жалобно стеная, безостановочно носились взад и вперед. Каждое из них тащило цепь, похожую на цепь Марлея; некоторые были скованы вместе, но

ни одно не было свободно от уз. Многих Скрудж знал лично при их жизни. Особенно близко знаком он был когда-то с одним из них: это был старик, в белом жилете; к ноге его был привязан громадный железный сундук; старик горько и громко плакал, что не в состоянии помочь бедной женщине с ребенком, которую видел внизу у порога одного дома. Горе всех их, очевидно, заключалось в том, что им хотелось бы вмешаться, с доброй целью, в людские дела, но возможность для этого миновала для них навсегда.

Сами ли эти существа поблекли в тумане, или туман закутал их, Скрудж не мог сказать. Но с исчезновением их смолкли и их неземные голоса, и ночь стала опять такою же, какою она была, когда он шел домой.

Скрудж закрыл окно и осмотрел дверь, через которую вошел дух. Она оказалась на двойном запоре, как он собственноручно запер ее, и задвижки были не тронуты. Он было хотел опять сказать: «пустяки», но удержался на первом же слоге. Затем, от перенесенных ли им волнений, вследствие ли дневных трудов, или мимолетно упавшего на него отблеска невидимого мира, или от печальной беседы с духом, или, наконец, за поздним часом ночи, — но он сильно нуждался в

покое; поэтому, не раздеваясь, лег в постель и в ту же минуту заснул.

Строфа вторая

ПЕРВЫЙ ИЗ ТРЕХ ДУХОВ

Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за занавесок постели, он едва мог различить просвет окна от непрозрачных стен своей комнаты. Пока он силился проникнуть сквозь темноту своими зоркими, как у хорька, глазами, колокола соседней церкви пробили четыре четверти. Он стал прислушиваться, сколько они пробьют часов.

К великому его удивлению, тяжелый колокол переходил от шести к семи, от семи к восьми и так по порядку, пока пробил наконец двенадцать и — остановился. Двенадцать! Был третий час, когда он лег в постель. Часы врут. Должно быть, сосулька льда попала в их механизм. Неужели двенадцать часов!

Он нажал пружинку своего репетира, чтобы узнать настоящий час. Репетир быстро прозвонил двенадцать и смолк.

— Как? Не может быть, чтобы я проспал целый

день и прихватил еще изрядную часть следующей ночи. Нельзя же допустить, чтобы что-нибудь случилось с солнцем и что теперь двенадцать часов дня? — сказал Скрудж.

Так как эта мысль не могла не встревожить его, то он кое-как выбрался из постели и ощупью добрел до окна. Ему пришлось рукавом халата протереть замерзшее стекло, прежде чем он мог увидать что-нибудь, да и тогда почти ничего не было видно. Оказалось только, что по-прежнему стоял густой туман и было очень холодно, на улице никакого шума, ни малейшей суетни; а это непременно бы случилось, если бы ночь нагрянула вдруг, среди белого дня, и завладела светом. Легко вздохнул Скрудж, убедившись, что тревога его была напрасна. А то представьте себе беспомощное положение человека: текст векселя гласит: «через три дня по предъявлении заплатите Эбенизеру Скруджу или его приказчику» и т. д. — а какие же тогда дни считать?

Скрудж снова улегся в постель и начал думать, думать и думать, но ни до чего не мог додуматься. Чем больше он думал, тем больше становился в тупик, и чем больше старался не думать, тем неотвязчивее были его мысли. Дух Марлея решительно не давал ему покоя. Каждый раз как он

после зрелого размышления решал, что все это был сон, ум его, подобно отпущенной пружине, возвращался назад к своему первому положению и представлял на решение все туже задачу: «Сон это был или нет?»

Скрудж пролежал в этом состоянии, пока часы пробили еще три четверти. Тогда он вдруг вспомнил слова Марлея, что один из возвещенных им посетителей явится, когда колокол пробьет час. Он решил лежать с открытыми глазами, пока этот час не наступит. Если принять в соображение, что ему так же трудно было бы заснуть, как и взойти на небо, то это было, пожалуй, самое мудрое решение, на котором он мог остановиться.

Эта четверть тянулась так долго, что Скрудж не один раз приходил к убеждению в том, что незаметно для себя засыпал и не слышал боя. Наконец до его напряженного слуха донесся первый удар. «Дин, дон!»

— Четверть, — сказал Скрудж, прислушиваясь.

«Дин, дон!»

— Половина, — сказал Скрудж.

«Дин, дон!»

— Три четверти, — сосчитал Скрудж.

«Дин, дон!»

— Вот и час, — произнес Скрудж, торжествуя, —

а ничего нет!

Он проговорил эти слова прежде, чем замер последний звук колокола, отличавшийся на этот раз каким-то особенно глубоким, глухим, печальным тоном. В комнате вдруг блеснул свет, и занавески его постели раздвинулись.

Заметьте: они были раздвинуты рукою; не те занавески, что приходились у него над головою, и не те, что были сзади, но именно та часть их, куда обращено было его лицо. Пораженный таким неожиданным явлением, Скрудж привскочил наполовину и очутился лицом к лицу с неземным посетителем, который их отодвинул. Он очутился к нему так же близко, как я к вам теперь.

Это была странная фигура — как будто ребенок, но в то же время еще более похожая на старика. Смотреть на нее приходилось сквозь какую-то сверхъестественную среду, благодаря которой она виднелась как бы вдалеке, и от расстояния размеры ее казались детскими. Волосы призрака свешивались ему на шею и спину и были старчески белы; но на лице не было ни морщинки, и самый нежный пушок покрывал его кожу. Руки были длинны и мускулисты, как бы обличая необыкновенную силу. Ноги, очень изящно сложенные, были, как и верхние оконечности,

голы. Стан его одевала белая как снег туника, а талию охватывал восхитительно блестевший пояс. В руках он держал свежую ветку зеленого остролистника, зато в противоположность этой эмблеме зимы платье его было украшено летними цветами. Всего же замечательнее в нем было то, что с верхушки его головы выходил яркий луч света, которым все это и освещалось. Наверное, по причине этого света у него под мышкой вместо шапки был большой гасильник, который он надевал на себя в минуты своего затмения.

Но даже и не это еще оказалось самою странною особенностью призрака, когда Скрудж пристально всмотрелся в него. Верхом чудесного был пояс: он искрился и переливался то в одной, то в другой своей части; то, что светилось в одну минуту, было темно в другую, а вместе с ним то освещалась, то помрачалась и самая фигура видения; то у него одна рука, то одна нога, то вдруг как бы двадцать ног, или две ноги без головы, или одна голова без тела, так что никак нельзя было уловить очертания его отдельных частей, когда они вдруг быстро исчезали, едва успев осветиться. Потом все эти переливы внезапно пропадали и призрак становился опять самим собою, ясным и лучезарным по-прежнему.

— Ты дух, появление которого было мне предсказано? — спросил Скрудж.

— Я.

Голос был приятный и нежный и настолько тихий, что как будто доносился издалека.

— Кто и что ты? — осведомился Скрудж.

— Я дух прошедшего Рождества.

— Давно прошедшего? — допытывался Скрудж, смотря на маленький рост призрака.

— Нет, твоего прошедшего.

Скруджу очень хотелось посмотреть на духа в шапке, и он попросил его накрыться. Вероятно, Скрудж и не сумел бы объяснить этого желания, если бы кто-нибудь спросил его.

— Как! — воскликнул дух. — Уже так скоро ты хочешь своими земными руками погасить свет, который я даю? Разве не довольно того, что ты принадлежишь к числу людей, чьи страсти создали эту шапку и заставляют меня в течение долгого ряда лет носить ее нахлобученною до бровей!

Скрудж почтительно отрекся от всякого намерения нанести духу обиду, а тем более сознательно. Затем он смело спросил его, по какому делу он к нему явился.

— Ради твоего благополучия! — сказал дух.

Скрудж выразил свою благодарность, но не мог не подумать, что этой цели скорее соответствовала бы ночь ненарушимого покоя. Вероятно, дух узнал его мысль и сказал:

— Ну, так ради твоего исправления. Берегись!

Говоря это, он своею сильною рукою схватил руку Скруджа.

— Вставай и иди со мною!

Напрасно стал бы Скрудж представлять резоны против удобства путешествовать пешком в такую погоду и в такой час; тщетно бы он стал доказывать, что в постели тепло, а термометр показывает гораздо ниже нуля, что одет он очень легко: в туфлях, халате да ночном колпаке и что ему не совсем здоровится: рука, хотя и нежная, как у женщины, не допускала сопротивления. Он встал, но, видя, что дух направляется к окну, с мольбою схватился за его платье.

— Я смертный, — упрашивал он, — и могу упасть.

— Дай мне только коснуться тебя вот здесь, — сказал дух, кладя ему руку на сердце, — и тогда ты и больше этого вынесешь!

Едва были произнесены эти слова, как они прошли сквозь стену и очутились на открытой проселочной дороге, по обеим сторонам которой

широко расстилались поля. Город совершенно исчез из вида, незаметно было и следа его. Вместе с ним пропали и темнота и туман, так как стоял ясный, холодный зимний день и снег покрывал землю.

— Бог мой! — воскликнул Скрудж, всплеснув руками и осматриваясь по сторонам. — Я родился здесь. Я был здесь мальчиком!

Дух кротко поглядел на него. Его нежное прикосновение, хотя оно было легко и кратковременно, еще живо отзывалось в ощущениях старика. Он почувствовал тысячи благоуханий, носившихся в воздухе, и каждое из них соединялось для него с тысячами мыслей и надежд, и забот, и радостей, давно-давно забытых!

— У тебя дрожат губы, — сказал дух. — А что это у тебя на щеке?

Скрудж с необычной для него дрожью в голосе невнятно ответил, что это родинка, и попросил духа вести его, куда он хочет.

— Ты помнишь эту дорогу? — спросил дух.

— Как не помнить! — отозвался Скрудж горячо. — Я бы мог пройти по ней с завязанными глазами!

— Странно, что ты столько лет о ней не вспомнил, — заметил дух. — Пойдем дальше.

Они пошли вдоль дороги. Скрудж узнавал каждые ворота, каждый столб, каждое дерево. Наконец вдали стал виден небольшой городок с мостом, церковью и вьющеюся, как лента, рекой. Навстречу им показалось несколько мохнатых пони, на которых ехали верхом мальчишки, перекликавшиеся с другими мальчиками, ехавшими в деревенских телегах и повозках, где кучерами были фермеры. Все эти мальчики были очень веселы и так громко переговаривались между собою, что крики их далеко разносились по широким полям, раскатываясь в свежем морозном воздухе.

— Это лишь тени былых вещей, — сказал дух. — Оне не замечают нашего присутствия.

Веселые путники скоро поравнялись с ними, и тут Скрудж узнал всех, называя каждого по имени. Отчего это ему так невыразимо приятно было видеть их? Отчего так блистал его холодный взор, так трепетало его сердце, когда они проезжали мимо? Отчего он полон был радости, слыша их взаимное приветствие с веселым праздником, когда они разъезжались при поворотах по разным дорогам, направляясь каждый под свою родную кровлю? Что значит веселое Рождество для Скруджа? Прочь с веселым Рождеством! Что

доброго он видел от него когда-нибудь?

— Школа еще не совсем опустела, — сказал дух. — Там еще остался один ребенок, о котором забыли его друзья.

Скрудж сказал, что ему это известно, и вздохнул.

Они повернули с большой дороги в хорошо памятный ему переулок и скоро дошли до неприглядного здания из красного кирпича; на крыше его возвышался увенчанный флюгером купол, под которым висел колокол. Это был обширный дом, когда-то богатый, а теперь запущенный; его просторные комнаты были почти пусты, стены сыры и покрыты мхом, окна повыбиты, двери покосились. В конюшнях бродили и кудахтали куры, а сараи и навесы поросли травой. Да и внутри дома не больше оставалось следов прежнего его состояния: когда они вошли в мрачные сени и заглянули через открытые двери в целый ряд комнат, то оказалось, что хотя они были велики, но холодны и очень бедно обставлены. В воздухе пахло гнилью; голо и безжизненно смотрело все кругом; вообще как-то чувствовалось, что здесь любили вставать при свечах и питаться впроголодь.

Дух и Скрудж направились чрез сени к двери,

ведущей в заднюю половину дома. Дверь перед ними растворилась и открыла глазам их длинную, без всяких украшений, мрачную комнату, которая еще тоскливее казалась от расставленных в ней рядами скамеек и конторок. За одной из них, невдалеке от едва топившегося камина, сидел одинокий мальчик и читал книгу. И Скрудж сел на одну из скамеек и горько заплакал при виде этого бедного забытого ребенка, в котором он узнал себя.

Каждый едва уловимый звук, раздававшийся в доме: и возня мышей за стенной панелью, и капель полуоттаявшего желоба на заднем дворе, и легкий шум ветвей безлистного унылого тополя, и скрип двери в пустой кладовой, и слабое потрескиванье огня, — все отзывалось в сердце Скруджа смягчающим влиянием, и все свободнее и свободнее текли его слезы.

Дух дотронулся до его руки и указал ему на прежнего маленького Скруджа, углубившегося в свое чтение. Вдруг под окном явился какой-то человек в странной чужеземной одежде, но совсем как настоящий, живой человек, с топором за поясом и державший в поводу осла, нагруженного дровами.

— Ах, да это Али-Баба! — закричал Скрудж в

восторге. — Это дорогой, честный старик Али-Баба! Да, да, знаю! Один раз, на Рождество, как тот покинутый ребенок оставался здесь совсем один, он пришел в первый раз совсем вот как сейчас. Бедный мальчик! И Валентин, — продолжал Скрудж, — и его дикий брат, Орсон, вон они идут! А как, бишь, зовут того, что спящим был спущен в своих панталонах у ворот Дамаска; разве ты не видишь его? А султанский конюх, которого гении поставили вверх ногами! Вон он на голове стоит! Поделом ему. Я очень рад. С какой стати ему жениться на принцессе!

Если бы кто-нибудь из деловых друзей Скруджа посмотрел на него в эту минуту, когда он, откинув всю серьезность своей натуры, так искренно увлекался подобными вещами, выражая свой восторг самым необыкновенным голосом и смеясь и плача в одно и то же время, тот, наверное, не поверил бы собственным глазам.

— А вот и попугай! — воскликнул Скрудж. — Сам зеленый, а хвост желтый, и на голове точно салат вырос, вот он! «Бедный Робин Крузо! — кричал он ему, когда тот возвращался домой, объехав весь остров. — Бедный Робин Крузо, где ты был, Робин Крузо?» Человек подумал, что во сне это слышит; совсем нет. Это был попугай, ты знаешь.

Вон Пятница ищет спасения в бегстве, спеша к заливу! Гип, гоп, ура!

Вдруг, с весьма чуждою его обычному характеру быстротою перехода, он, жалея себя прежнего, произнес:

— Бедный мальчик!

И опять заплакал.

— Хотелось бы, — проговорил Скрудж невнятно, опуская руку в карман и смотря около себя, вытерев себе сперва глаза рукавом, — но теперь уже поздно.

— В чем дело? — спросил дух.

— Ничего, — ответил Скрудж. — Ничего. Вчера какой-то бедный мальчик приходил было ко мне Христа славить. Мне хотелось бы дать ему что-нибудь, вот и все.

Дух задумчиво улыбнулся и махнул рукою, говоря:

— Посмотрим другое Рождество!

При этих словах прежний маленький Скрудж стал больше и комната сделалась несколько темнее и грязнее. Панели растрескались; стекла в окнах полопались; штукатурка с потолка местами пообвалилась, обнажив решетку из драни; но как все совершилось, Скрудж так же мало знал, как и вы. Одно он только знал, что все это было

верно, все это так и произошло когда-то на самом деле — что он опять был одинок здесь, когда все другие мальчики уехали по домам веселиться на праздниках.

Только он не читал теперь, а ходил взад и вперед в отчаянии. Скрудж посмотрел на духа и, грустно покачивая головою, в тоскливом ожидании глядел на дверь.

Она отворилась, и в нее быстро вбежала девочка, гораздо моложе мальчика, и, обвив его шею руками и целуя, называла его «милый, милый братец».

— Я за тобой приехала, милый братец! — сказала она, всплеснув своими тонкими ручонками и готовясь рассмеяться. — Домой, домой повезу тебя, домой!

— Домой, Фанни? — переспросил мальчик.

— Да! — воскликнул ребенок, сияя от радости. — Домой совсем и навсегда. Отец стал теперь гораздо добрее; дома у нас как в раю! Он так ласково говорил со мною как-то вечером, когда я шла спать, что я не побоялась спросить его, можно ли тебе вернуться к нам, и он сказал: «Да, он вернется» — и велел мне за тобою ехать. И ты будешь мужчиной! — сказал ребенок, раскрывая глаза. — И никогда уже больше сюда не вернешь-

ся; но сначала мы вместе проведем все праздники и навеселимся досыта.

— Ты у меня совсем большая, Фанни! — сказал мальчик.

Она ударила в ладоши и, весело смеясь, старалась достать до его головы; но так как была еще мала ростом, то только опять засмеялась и встала на цыпочки, чтобы обнять его. Затем она начала со свойственною детям настойчивостью тащить его к дверям, куда очень охотно он и пошел за нею.

Вдруг раздался страшный голос: «Снесите вниз сундук мастера Скруджа!» — и в сенях появился сам школьный учитель; он посмотрел на мастера Скруджа с каким-то свирепым снисхождением и, подав ему руку, привел его в состояние ужаса. Затем он повел обоих в свою холодную и сырую гостиную, где висевшие на стенах карты и расставленные по окнам глобусы от холода покрыты были точно инеем. Тут он достал графин с замечательно легким вином и кусок замечательно тяжелого пирога и начал угощать этим детей.

В то же время велел своему тощему слуге вынести стаканчик «чего-нибудь» кучеру; тот велел поблагодарить барина, сказав, впрочем, что если это такой же напиток, какой он пробовал

прошлый раз, то «лучше не надо». Так как за это время багаж мастера Скруджа оказался уже привязанным на верху экипажа, то дети очень охотно поспешили распрощаться с учителем, сели в повозку и весело покатили домой.

— Она была всегда очень нежного сложения, готовая увянуть от малейшего ветерка, — сказал дух. — Зато какое любящее было у нее сердце!

— Твоя правда, — отозвался Скрудж. — Спаси меня Бог отвергать это.

— Она умерла уже замужем, — прибавил дух, — и, кажется, у нее были дети.

— Один только ребенок, — поправил Скрудж.

— Верно, — сказал дух. — Это твой племянник.

Скрудж почувствовал себя неловко и коротко ответил: «Да».

Хотя и минуты не прошло еще, как они покинули школу, но успели уже очутиться в оживленной части какого-то города, где происходила обычная уличная суета, двигались взад и вперед прохожие, теснились, прокладывая себе дорогу, всевозможные экипажи и тяжелые фуры. По убранству лавок очевидно было, что и здесь справлялось Рождество; но был вечер, и на улицах горели фонари.

Дух остановился у дверей одной конторы и

спросил Скруджа, знакома ли она ему.

— Еще бы! — ответил он. — Ведь я здесь был в ученье!

Они вошли. При виде пожилого господина в большом парике, сидевшего за такой высокой конторкой, что если бы она только еще на вершок была повыше, то он ударился бы головой о потолок, Скрудж в сильном волнении воскликнул:

— Да ведь это старик Феззивиг! Ей-богу, это он, живой опять!

Старый Феззивиг положил перо и посмотрел на часы, которые показывали семь. Он потер руки, поправил свой широкий жилет и, как бы улыбаясь всем своим существом, приятным, густым, веселым голосом крикнул:

— Эй, где вы там! Эбенизер! Дик!

Прежний Скрудж, теперь уже молодой человек, быстро вбежал в комнату вместе со своим товарищем, другим учеником.

— Так и есть, это Дик Вилькинс! — сказал Скрудж, обращаясь к духу. — Ах, Господи, он это, он! Как он был ко мне привязан, бедный, милый Дик.

— Вот что, ребятушки, — сказал Феззивиг. — Довольно работать. Настал рождественский вечер. Закрывайте-ка ставни, да, чур, живо! — вдруг

воскликнул он, громко ударив в ладоши.

Вы бы не поверили, как дружно принялись они за работу. Раз, два, три — и молодцы были уже со ставнями на улице; четыре, пять, шесть — и они вдвинули их на место; семь, восемь, девять — и они наложили задвижки и закрепили их, и, прежде чем вы успели бы досчитать до двенадцати, они были уже опять в комнате, дыша как заморившиеся кони.

— Теперь, — воскликнул старый Феззивиг, удивительно ловко спрыгивая со своего высокого табурета, — убирайте здесь, ребятушки, убирайте, чтобы побольше было нам места. Живо, Дик! Веселей, Эбенизер!

Какое тут убирать! Чего бы они только не убрали, когда за ними смотрел старый Феззивиг. В минуту все было сделано. Все, что можно было сдвинуть, было вытащено, будто оказалось навсегда излишним; пол выметен и вспрыснут, лампы оправлены, в камин подкинуто угля, и торговое помещение превратилось в приличную, теплую, сухую, ярко освещенную бальную залу.

Вот вошел скрипач с нотами и, расположившись на высокой конторке, начал жалобно настраивать свою скрипку. Вот вошла мистрис Феззивиг, изображая собою одну широкую улыб-

ку.

Вошли три красивые и лучезарные девицы Феззивиг. Вошли шестеро вздыхавших по ним молодых людей. Вошли все молодые мужчины и женщины, бывшие при деле. Вошла горничная с своим двоюродным братом, пекарем. Вошла кухарка с близким другом своего брата, молочником. Явился и мальчик из лавки, что по ту сторону улицы, о котором рассказывали, будто хозяин плохо кормит его; войдя в комнату, он старался спрятаться за девочкой из соседнего заведения, относительно которой было удостоверено, что хозяйка таскала ее за уши. Все явились один за другим; одни робко, другие смело, одни грациозно, другие неуклюже, одних как будто кто толкал, других точно тянули насильно. Но как бы то ни было, все пришли, все были налицо. Начались танцы. Сразу двадцать пар пошли под звуки скрипки, двигаясь то гуськом все направо, то так же все налево, то на средину, то опять назад, проделывая целый ряд мудренейших фигур. По окончании последней старик Феззивиг ударом в ладоши подал знак остановиться, и скрипач не замедлил жадно погрузить свое разгоряченное лицо в приготовленную для него кружку с портером. Но, вынырнув оттуда, он, вместо отдыха,

когда никто еще и не собирался танцевать, вдруг запиликал снова, и с таким жаром, как будто прежний скрипач, выбившийся окончательно из сил, был отнесен домой, а это был совсем свежий музыкант, решившийся во что бы то ни стало или затмить своего предшественника, или погибнуть.

Опять пошли танцы, за танцами — фанты, за фантами — снова танцы; затем подавался пирог, после пирога глинтвейн, за ними огромные части холодного мяса двух видов, пирожки с коринкой и, наконец, обильное количество пива. Но самый эффектный момент вечера наступил после этих угощений, когда скрипач — лукавый был он мужчина и куда как тонко понимал свое дело — заиграл «Сир Роджер ди Коверлей». Тут выступили на сцену старый Феззивиг и мистрис Феззивиг, составив первую пару. Нелегкое предстояло им дело в виду целых двадцати, если не больше, пар участников; с этим народом шутить было нельзя: уж никак не ходить они собирались, а танцевать, и танцевать как следует.

Но, будь их вдвое, куда — вчетверо больше, старик, а также и мистрис Феззивиг не ударили бы в грязь лицом перед ними. Что ее касается, это была дама достойная своего кавалера во всех

отношениях; а это ли не похвала? Как две луны мелькали икры Феззивига. Напрасно бы вы старались предугадать, что они изобразят собою в следующее же мгновение. Когда старик с супругою проделали все должные фигуры, Феззивиг закончил танец, так ловко выкинув последнее колено, будто мигнул ногами в воздухе, и твердо, не качнувшись, опустился на пол.

Когда пробило одиннадцать часов, этот домашний бал кончился. Мистер и мистрис Феззивиг заняли места по обе стороны двери и, подавая руку каждому из расходившихся гостей, поздравляли их с праздником, желая весело провести его. Когда очередь дошла до двух учеников, хозяева и их приветствовали подобным же образом. Так постепенно смолкли веселые голоса, и мальчики были отпущены спать. Постели их помещались под прилавком в задней комнате конторы.

В течение всего этого времени Скрудж был как бы вне себя. Его сердце и душа переселились в его прежнее «я» и вместе с ним переживали все происходившее перед его глазами. Он все чувствовал, все вспоминал, всему радовался и находился в сильнейшем возбуждении. Только когда скрылись из вида довольные лица его прежнего «я» и его товарища Дика, вспомнил он о духе

и заметил, что тот пристально на него смотрит и свет на его голове горит особенно ярко.

— Немногое нужно, — сказал дух, — чтобы вызвать такое чувство благодарности у этих простых людей.

— Немногое! — отозвался Скрудж.

Дух сделал ему знак прислушаться к разговору обоих учеников, изливавших свою душу в похвалах Феззивигу, и потом сказал:

— Не правда ли? Ведь куда как немного истратил он ваших презренных денег, всего каких-нибудь три-четыре фунта. Неужели это большая сумма, чтоб так его нахваливать!

— Не в том дело, — сказал Скрудж, возбужденный этим замечанием и говоря бессознательно языком своего прежнего, а не настоящего «я». — Не в этом дело, дух. В его власти сделать нас счастливыми или несчастными, сделать нашу службу легкой или тяжелой, удовольствием или трудной работой. Действительно, власть его заключается в словах и взглядах, в вещах столь легких и незначительных, что нет возможности собрать и сосчитать их. Но что из этого? Сообщаемое им счастье стоит целого состояния.

Он почувствовал на себе взгляд духа и остановился.

— Что с тобой? — спросил дух.

— Ничего особенного, — сказал Скрудж.

— Однако? — настаивал дух.

— Нет, — сказал Скрудж, — нет. Мне только хотелось бы иметь возможность сказать сейчас два слова своему конторщику. Вот и все.

При этих словах Скруджа его прежний «я» погасил лампы, и Скрудж очутился с духом снова на открытом воздухе.

— Мой срок истекает, — заметил дух. — Скорей!

Эти слова не были обращены ни к Скруджу, ни к кому-либо другому, кого бы он мог видеть, но они произвели непосредственное действие. Скрудж снова увидал себя. Теперь он был старше, человеком в лучшей поре жизни. Лицо его еще не носило резких и грубых черт позднейших лет, но обнаруживало уже признаки забот и скупости. В беспокойном движении глаз сказывались инстинкты алчности и наживы; видно было, что эти страсти уже пустили корни в нем и вскоре обещали бросить на его взор тень быстро растущего от них дерева.

Он был не один, а сидел рядом с красивой девушкой, одетой в траур. В глазах ее виднелись слезы, а в них искрился свет, сиявший с головы

духа прошедшего Рождества.

— Это неважно, — сказала она тихо. — Для тебя это безделица. Другой кумир заместил меня; и если он может послужить тебе в будущем радостью и утешением, которые я старалась бы доставить тебе, то у меня нет повода печалиться.

— Какой кумир заменил тебя? — возразил он.

— Золотой кумир.

— Вот вам людское беспристрастие! — сказал он. — Ни к чему мир так строго не относится, как к бедности, и в то же время ничто так сурово не осуждает, как стремление к богатству!

— Ты слишком боишься света, — кротко ответила она. — Все твои надежды поглощены одним. Я была свидетельницей того, как твои более благородные стремления пропадали одно за другим, уступая свое место одной господствующей страсти — наживы. Не так ли?

— Что же из этого? — возразил он. — Что из того, что я настолько поумнел? К тебе я не переменился.

Она покачала головою.

— Разве не так?

— Мы помолвлены давно. В то время мы оба были бедны и не тяготились этим, в надежде при лучших обстоятельствах устроить наше счастье

терпеливым трудом. Ты не тот теперь. Тогда ты был другим человеком.

— Я был мальчиком, — сказал он нетерпеливо.

— Твое собственное сердце говорит тебе, что ты не тот, что был, — возразила она. — Я не переменилась. То, что обещало нам счастье, когда у нас было одно сердце, превратилось в беду, когда наши стремления разошлись в разные стороны. Не передать словами, как часто и как мучительно я об этом думала. Довольно того, что мною теперь все обдумано и я могу освободить тебя.

— Разве я когда-нибудь искал разлуки?

— На словах — нет, никогда.

— Так в чем же ты это видишь?

— В перемене твоих наклонностей, твоего характера, в ином взгляде на жизнь и преследовании в ней иной окончательной цели — во всем, что придавало моей любви какое-нибудь значение или цену в твоих глазах. Если бы ничего этого между нами не было, — продолжала она, глядя на него кротко, но решительно, — скажи мне, остановил бы ты теперь на мне свой выбор и старался ли бы приобрести мое расположение? Наверное, нет.

Он, по-видимому, невольно соглашался со справедливостью этого предположения, но, подавив

в себе голос совести, ответил:

— Ты так не думаешь.

— Я бы рада была думать иначе, если бы могла, — возразила она. — Богу известно, что я не могла не видеть, насколько неотразима эта истина. Но могу ли я поверить, чтобы ты избрал девушку-бесприданницу — ты, который даже в интимной беседе с нею взвешиваешь все со стороны выгоды; даже допустив, что ты изменил на минуту своему руководящему правилу и женился бы на такой девушке, разве не знаю я, что ты непременно бы в этом раскаялся и сожалел бы о своем поступке? Слишком хорошо я это знаю и потому освобождаю тебя от данного тобою слова. Я делаю это от полного сердца, ради любви к тебе, каким ты был когда-то.

Он было хотел заговорить, но она, отвернувшись от него, продолжала:

— Меня несколько обнадеживает, что ты, может быть, и поскорбишь об этом, но очень, очень недолго и освободишься от этих воспоминаний с радостью, как от бесполезной мечты или сновидения, от которого приятно бывает проснуться. Итак, будь счастлив в своей новой жизни!

Она вышла, и они расстались.

— Дух! — воскликнул Скрудж. — Будет с меня!

Отведи меня домой. Что тебе за удовольствие терзать меня?

— Еще одно видение, — ответил дух.

— Не надо! Не хочу больше ничего видеть! — умолял Скрудж.

Но безжалостный дух схватил его обеими руками и принудил наблюдать, что будет дальше.

Они очутились в другом месте и перед новой сценой. Это была не особенно большая или богатая комната, но комфортабельно и уютно обставленная. Недалеко от камина сидела красивая молодая девушка, так похожая на только что виденную, что Скрудж принял ее за одну и ту же, пока не узнал виденную раньше в лице другой красивой женщины, теперь уже матери семейства, сидевшей против своей дочери. Шум в комнате стоял невообразимый. Там было столько детей, что Скрудж не мог при своем волнении сосчитать их. В полном противоречии со стадом, о котором говорится в одной поэме, здесь не то что сорок детей можно было счесть за одного, а, напротив, каждый в отдельности производил больше шума, чем все сорок человек вместе. Можете себе представить, что это была за суматоха. Никто, однако, ею не тяготился, напротив, мать и дочь весело смеялись, с удовольствием глядя на

детей. Скоро девушка даже сама приняла участие в их играх, и порядком же ей досталось.

Но вот послышался стук в дверь, и вся шумная ватага опрометью бросилась к ней, увлекая с собою растрепанную, в измятом платье, старшую сестру, и очутилась у входа как раз в то мгновение, когда в дверях показался отец в сопровождении человека, нагруженного рождественскими подарками. Радостным возгласам и конца не было. Плохо пришлось бедному носильщику, когда нетерпеливые дети начали подставлять к нему стулья вместо лестницы, карабкаться на него самого, заглядывать к нему в карманы, тащить его за воротник, обшаривать и теребить его со всех сторон, добывая завернутые в желтую бумагу сокровища. И каким взрывом восторга сопровождалось вскрытие каждого пакета! Вдруг страшная весть, что грудной ребенок засунул себе в рот кукольную сковороду, причем, по всей вероятности, уже успел проглотить игрушечную индейку, изжаренную на деревянном противне! А потом всеобщее облегчение, когда тревога оказалась напрасной. Со всех сторон крики радости, благодарности, восторга! Трудно поддается описанию подобная сцена. Хорошо, что детей одного за другим увели спать наверх, где взволнованные

голоса их постепенно смолкли.

Скрудж стал внимательнее прежнего наблюдать, когда хозяин дома, нежно обняв свою дочь, сел с нею и с ее матерью на свое обычное место у камина. Глаза Скруджа подернулись слезами при мысли, что подобное существо, такое же милое и столь много обещающее, могло бы называть его отцом и быть весеннею отрадой в суровую зимнюю пору его жизни.

— Бэлла! — сказал муж, обращаясь с улыбкой к жене. — Я видел сегодня одного твоего старого друга.

— Кого же это?

— Угадай.

— Как могу я угадать? А впрочем, постой, — поспешила она прибавить, смеясь как и он. — Мистера Скруджа?

— Верно. Я проходил мимо окон его конторы, и так как они не были закрыты и внутри горела свеча, то я не мог удержаться, чтобы не взглянуть на него. Говорят, компаньон его при смерти, и вот он сидит теперь один. Ведь у него никого нет, я думаю.

— Дух! — взмолился опять Скрудж надломленным голосом, — уведи меня отсюда.

— Я сказал тебе, что это тени былых вещей, —

сказал дух, — не моя вина, что они таковы.

— Уведи меня! — настаивал Скрудж. — Мне этого не вынести.

Обернувшись в сторону духа и видя, что в лице его необъяснимым образом отражались отдельные черты всех показанных ему духом лиц, Скрудж старался высвободиться из его крепких рук.

— Отпусти меня! Отведи меня назад и покинь меня!

В этой борьбе — если это только может назваться борьбою, где дух без всякого видимого напряжения со своей стороны не поддавался никаким усилиям своего противника, — Скрудж заметил, что свет его горит широко и ярко; смутно объясняя себе, что именно в этом свете заключается сдерживающая его сила духа, он схватил шапку-гасильник и быстрым движением накрыл ею голову призрака.

Дух съежился под нею, так что гасильник покрыл его всего; но хотя Скрудж давил на него изо всей силы, он не мог совершенно загасить свет, который стремился из-под гасильника и целым потоком разливался до полу.

Он чувствовал, что силы оставляют его и одолевает непреоборимая дремота, что, кроме того, он

находится в своей спальне. Он еще раз надавил шапку, и рука его опустилась в изнеможении, так что едва успел он добраться до постели, как в то же мгновение крепко заснул.

Строфа третья

ВТОРОЙ ИЗ ТРЕХ ДУХОВ

Проснувшись от собственного сильнейшего храпа и сев в постели, чтобы собраться с мыслями, Скрудж не имел случая узнать, что колокол готов опять пробить час. Он, однако, чувствовал, что пришел в сознание как раз к тому времени, когда ему нужно было принять второго из числа трех посетителей, обещанных Яковом Марлеем. Но, ощутив неприятный холод при мысли о том, которую из занавесок постели раздвинет этот второй посетитель, он собственноручно отодвинул их со всех сторон и, улегшись снова, стал зорко наблюдать вокруг постели. Он хотел окликнуть духа в самый момент его появления, совсем не желая быть застигнутым врасплох и испытать нервное потрясение.

Есть люди, которые ни над чем не задумываются; они любят похвастаться, что их ничем

не удивишь и не испугаешь, начиная с игры в орлянку до убийства человека. Нет сомнения, что между такими крайностями существует бесчисленное множество переходов. Я не берусь причислить Скруджа вполне к такого сорта людям и уверять вас, что он приготовился к очень многим разновидностям чудесных явлений, что ничто не могло особенно поразить его, начиная с младенца и кончая носорогом. Приготовившись почти ко всему, он никоим образом не думал, что не произойдет ничего особенного; потому, когда колокол пробил час, а никакого видения не появлялось, его начала пробирать сильная дрожь. Прошло пять минут, прошло десять минут, прошло четверть часа, а все никого не было. В течение всего этого времени он лежал в постели как раз в самом центре полосы красноватого света, упавшего на него в туже минуту, как пробило час. Этот свет тревожил его гораздо больше, чем целая дюжина духов, так как он никак не мог понять, что бы это значило и откуда происходит. Ему даже приходило на мысль, не представляет ли он сам в эту минуту интересного случая внезапного самовозгорания. Напоследок, однако, он начал догадываться, что, по всей вероятности, источник этого света находился в соседней комнате,

откуда, если проследить за ним, он, казалось, и выходил. Когда эта мысль вполне овладела его умом, он потихоньку встал и, шмыгая туфлями, подошел к двери.

В ту минуту, когда рука Скруджа схватилась за ручку двери, странный голос назвал его по имени, приглашая войти. Он повиновался.

Это, несомненно, была его собственная комната, только подвергшаяся удивительной перемене. Стены и потолок были так густо завешаны свежею зеленью, что представляли собою настоящую аллею, испещренную повсюду ярко блестевшими ягодами. Кудрявые листья остролист-ника, омелы и плюща отражали свет, подобно множеству маленьких зеркалец; в камине был разведен такой огонь, какого это каменное олицетворение домашнего очага никогда не видало ни в Скруджево, ни в Марлеево время. На полу, образуя нечто вроде трона, были нагромождены индейки, гуси, всякого рода дичь и живность, окорока, большие части мяса, связки зелени, пироги с коринкой, плум-пудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, сладкие груши, громадные паштеты и кипящие чаши с пуншем, который своим благовонным паром, как туманом, наполнял всю комнату.

Наверху всей этой груды сидел в свободной позе веселый гигант, на которого любо было посмотреть; в его руке был яркий факел, своею формою напоминавший рог изобилия; гений держал его высоко над головой, освещая Скруджу дорогу.

— Взойди! — воскликнул дух. — Взойди и узнай меня поближе, человек!

Скрудж вошел робко и поникнул головою пред духом. Это не был прежний упрямый Скрудж, так что, хотя глаза гиганта светились лаской и добротой, он не мог смотреть в них.

— Я дух настоящего праздника Рождества Христова, — сказал гигант. — Посмотри на меня!

Скрудж почтительно последовал этому приглашению. Гигант был одет в простой темно-зеленый плащ, или мантию, опушенную мехом. Эта одежда так свободно держалась на его фигуре, что открывала его могучую грудь. Ноги его, видневшиеся из-под широких складок мантии, были также голы, а на голове был простой венок из остролистника, украшенный кое-где ледяными сосульками. Темно-каштановые волосы ниспадали на плечи длинными, вольными прядями; взор его был блестящ, лицо открыто, движения свободны. На поясе висели старые, покрытые ржавчиной, ножны, в которых меча, однако, не

было.

— Ты никогда еще не видал подобных мне! — воскликнул дух.

— Никогда, — ответил Скрудж.

— Никогда не ходил с младшими членами моей семьи: я ведь очень молод, потому разумею моих старших братьев, родившихся в последние годы, — продолжал призрак.

— Кажется, нет, — сказал Скрудж. — Боюсь, что этого со мною не случалось. А много было у тебя братьев, дух?

— Больше тысячи восьмисот, — отвечал гигант.

— О, как дорого стоит содержать такую огромную семью! — молвил Скрудж.

При этих словах призрак поднялся со своего места.

— Дух! — произнес покорно Скрудж. — Веди меня куда хочешь. Вчера ночью я странствовал поневоле и вынес из этого путешествия урок, которого больше не забуду. Если и ты имеешь научить меня чему-нибудь, дай мне воспользоваться и твоим уроком.

— Коснись моей одежды!

Скрудж крепко за нее ухватился.

Вдруг остролистник, красные ягоды, плющ,

индейки, гуси, куры, свинина, ветчина, зелень, устрицы, пудинги, фрукты и пунш — все мгновенно исчезло. Исчезла и комната с камином, и красноватый свет, и самый час ночи, и наши путники очутились на улицах города в рождественское утро. Со всех сторон слышалась своеобразная музыка скребков и заступов, которыми люди счищали снег и лед с тротуаров против своих жилищ и с крыш домов (холод стоял изрядный).

Детям любо было смотреть, как глыбы снега, падая сверху, разлетались в воздухе на множество блестящих снежинок. Стены домов и особенно впадины окон казались просто черными от яркой белизны снежного покрова, лежавшего на крышах. Зато снег, покрывавший землю, успел уже приобрести желтоватый оттенок; множество двигавшихся во всех направлениях экипажей и фур избороздило его местами оттаявшую поверхность глубокими колеями, казавшимися непроследимою цепью бесчисленных миниатюрных каналов. Небо было пасмурно, и взор не проникал до конца даже самых коротких улиц, завешенных полузамерзшим, полуоттаявшим туманом; более тяжелые части этого тумана спускались в виде дождя из закопченных воздушных

атомов.

Можно было подумать, что все трубы Великобритании сговорились между собой и сразу задымили во всю свою мочь и волю. Несмотря, однако, на такую невеселую погоду, все кругом было в каком-то радостном настроении, как не бывает и в самый яркий солнечный день. Весело шла работа людей, сбрасывавших снег с крыш домов; как-то особенно были одушевлены их лица; шутливо перекликались они из-за парапетов, обмениваясь по временам снежком — снарядом более невинным, чем многие словесные шутки, — и от души смеясь, когда ком попадал в цель, и еще более радуясь, когда он пролетал мимо. Лавки торговцев живностью были открыты лишь наполовину, зато распахнуты настежь были двери у фруктовщиков. Большие пузатые корзины с каштанами выставлялись из них подобно широким жилетам пожилых гуляк, прислонившихся к дверям и выставивших напоказ свою тучность. Румяные, темнолицые испанские луковицы, дородством напоминавшие испанских монахов, лукаво поглядывали с полок на проходящих красавиц и с притворной скромностью вскидывали в то же время взгляды на подвешенный к потолку остролистник. Тут

же красовались цветущие пирамиды из груш и яблок, а на самом виду спускались с потолка кисти винограда; благодушный хозяин нарочно подвесил их на таком месте — пускай, мол, у прохожих слюнки текут на здоровье. Груды крупных лесных орехов, пушистых, загорелых, напоминали своим особым ароматом осенние прогулки в лесу, когда нога приятно погружалась в мягкий слой засохшей листвы; норфолкские печеные яблоки оттеняли темнотою своей сморщенной кожи яркую желтизну своих соседей, апельсинов и лимонов; аппетитно-сочные, так и просились они на послеобеденный десерт. Даже золотые и серебряные рыбки в вазах, расставленных между этими отборными плодами, и те, несмотря на свою холодную кровь, казалось, знали, что происходит нечто особенное; все они с любопытством сновали по своему водному мирку и как-то необыкновенно, хотя и бесстрастно, волновались.

Еще праздничнее смотрелись колониальные магазины, если заглянуть через их полузакрытые окна. Весело звенели здесь беспрестанно опускавшиеся на прилавок чашки весов; порывисто шумя, разматывалась со своей катушки бечева; ловко, точно рукою фокусника, пододви-

гались к ней все новые и новые плетенки, не поспевавшие вмещать бесчисленные покупки. Смесь ароматов чая и кофе приятно раздражала обоняние. Разбегались глаза при виде редкой величины изюма, небывалой белизны миндалин, отборных палочек корицы и разных пряностей. Лакомо приготовленные цукаты были так обильно пропитаны сахаром, что могли довести до обморока самого хладнокровного зрителя, если он устоял против соблазна отведать тут же разложенных мясистых и сочных винных ягод и скромно глядевшего из своих украшенных ящиков французского чернослива. Нужно было видеть нетерпеливую, в ожидании праздника, суетливость покупателей: как угорелые, торопились они исполнить свои покупки, сталкивались друг с другом в дверях, зацепляясь корзинами; выбежав из лавки, многие снова возвращались взять забытые второпях покупки, делали много других подобных ошибок, ни на минуту не теряя, однако, своего праздничного настроения. Сам торговец и его приказчики смотрели такими свежими и бодрыми молодцами, что ярко вычищенные медные сердечки, которыми застегивались сзади их фартуки, можно было принять за их собственные сердца, выставленные напоказ

всем и каждому.

Но вот с колоколен раздался благовест, созывавший добрых людей в церкви, и на улицах появились толпы богомольцев в лучших нарядах и с радостными лицами. В то же время из всех переулков, безымянных тупиков и закоулков потянулся бесчисленный люд, несший к пекарям свои обеды. Видно было, что дух интересовался этими любителями попировать, так как, поместившись со Скруджем в дверях одной пекарни, он приподнимал покрышку с их ноши и кропил на их обеды из своего факела. Это был какой-то необыкновенный факел. Раз-другой носильщики обедов вступали в перебранку, тогда дух кропил их из своего факела, и мгновенно возвращалось к людям доброе расположение. «Стыдно ссориться в такой праздник», — тут же говорили они.

Вот смолкли колокола, и пекарни закрылись; но как будто все еще носился призрак этих обедов, и продолжение их стряпни виднелось на оттаявшем пятне сырости над каждой печью пекарни; даже мостовые перед ними дымились, будто кипели самые камни.

— Нет ли какой-нибудь особой силы в той влаге, которой ты кропишь из своего факела? — спросил Скрудж.

— Как же. Это моя собственная сила.

— И на всякий сегодняшний обед оказывает она свое действие? — спросил Скрудж.

— На всякий, если он предлагается от доброго сердца, а в особенности на обед бедняка.

— Почему же в особенности на обед бедняка?

— Потому что он больше в ней нуждается.

По-прежнему оставаясь невидимыми, они направились далее в предместье города. Чудесный спутник Скруджа отличался удивительной способностью (которую Скрудж заметил, еще когда они были с ним у пекарей) приспосабливаться, несмотря на свой гигантский рост, ко всякому месту: под низкой крышей он помещался так же непринужденно и свободно, как и в высоком зале.

Может быть, он повиновался велению своей доброй, великодушной природы и своему расположению ко всем бедным людям, направившись прямо к конторщику Скруджа. А с ним пошел и Скрудж, держась за его платье. Перед входом дух, улыбаясь, остановился, чтобы окропить из своего факела жилище Боба Крэтчита. Подумайте только! Боб получал всего пятнадцать шиллингов в неделю, а дух настоящего Рождества благословлял его скромное жилище!

Вот поднялась со своего места мистрис Крэтчит, жена Крэтчита, одетая бедно в дважды перелицованное платье, зато в уборе из лент; не дорого они стоят и для шести пенсов очень приличны. При помощи Белинды Крэтчит, своей второй дочери, тоже в уборе из лент, она стала накрывать на стол, тогда как молодой Питер Крэтчит, запустив вилку в кастрюлю, наблюдал, как варился картофель; чувствуя, что концы необъятного воротничка его манишки (личная собственность отца, уступленная сыну и наследнику в честь великого праздника) попадали ему в рот, он гордился своим изысканным нарядом и предвкушал удовольствие показаться во всем блеске в фешенебельном парке. Вот двое младших Крэтчитов, мальчик и девочка, ворвались в комнату, крича, что у пекаря унюхали гуся и признали его за своего; увлекшись заманчивой мечтой о соусе из шалфея с луком, дети принялись плясать вокруг стола, превознося до небес своего старшего брата, который (не без гордости, хотя воротничок буквально душил его) раздувал огонь, пока наконец ленивые картофелины не застучали громко в крышку кастрюли, прося выпустить их наружу и облупить.

— Однако куда же это пропал твой отец, — ска-

зала мистрис Крэтчит, — и брат твой Тимоша? Да и Марта в прошлое Рождество пришла получасом раньше!

— А вот вам, матушка, и Марта! — послышался голос девушки, показавшейся в эту минуту в дверях.

— Мама, вот Марта! — закричали маленькие Крэтчиты. — Ура! Какой у нас гусь, Марта!

— Что это, милая моя, ты так поздно? — сказала мистрис Крэтчит, осыпая свою дочь поцелуями и в то же время спеша снять с нее шаль и шляпку.

— Нужно было много работы окончить, — отвечала девушка, — а нынче утром пришлось убираться.

— Ну, ничего, хотя поздно, да пришла! — сказала мать. — Садись-ка к огню, моя милая, да погрейся!

— Нет, нет! Вон папа идет! — закричали маленькие, всюду поспевавшие Крэтчиты. — Спрячься, Марта, спрячься!

Марта спряталась, и в комнату вошел отец Боб, с шеи которого, по крайней мере, на три фута свешивался развязавшийся и болтавшийся перед ним шарф; его поношенное платье было тщательно заштопано и вычищено по такому торжественному случаю; на плечах он держал

сына Тимошу. Увы, малыш, бедняжка, был калекой и носил костыль!

— А где же Марта? — спросил Боб Крэтчит, озираясь по сторонам.

— Не пришла, — ответила мать.

— Не пришла? — переспросил Боб, и голос его сразу упал; а он еще во весь дух бежал домой, изображая лошадь для Тимоши, и вдруг «не пришла» в такой праздник.

Марта, не желая дольше расстраивать отца, хотя бы и в шутку, вышла из-за дверцы шкафа и бросилась в его объятия; двое же маленьких Крэтчитов подхватили Тимошу и унесли его в прачечную послушать, как там в котле кипит пудинг.

— Ну, как вел себя Тимоша? — спросила мистрис Крэтчит, посмеявшись над доверчивостью Боба, когда тот вдоволь нацеловался с дочерью.

— Как золото, да еще лучше, — отвечал отец. — Сидя один, он, должно быть, все размышляет про себя и подчас додумывается до удивительнейших вещей. Когда мы шли домой, он сказал мне, что, вероятно, люди видели его в церкви, так как он был калека, и им, должно быть, приятно было в праздник Рождества Христова вспомнить о Том, Кто исцелял хромых и давал зрение слепым.

Голос Боба задрожал при этих словах и задрожал еще более, когда он сказал, что Тимоша стал крепче и бодрее.

В это время послышался слабый стук костыля по полу, и Тимоша вернулся в сопровождении сестры и брата, которые усадили его на стул рядом с камином. Пока Боб, засучив манжеты — бедняга полагал, что они могут еще более загрязниться, — составлял в кружке смесь из лимонов и джина и, старательно растерев, поставил ее погреть на полку камина, молодой Крэтчит вместе с двумя вездесущими маленькими Крэтчитами отправился добывать гуся, с которым они скоро и вернулись в торжественной процессии.

Тут такой шум, что можно было подумать, будто гусь самая редкостная птица в мире, некий феномен в перьях, перед которым даже черный лебедь — очень обыкновенная птица. Мистрис Крэтчит спешила разогреть заранее приготовленную подливку; Питер с невероятной силой разминал картофель; мисс Белинда подслащивала яблочный соус; Марта вытирала горячие тарелки. Отец посадил Тимошу рядом с собой в уголке у стола; двое младших Крэтчитов поставили для всех стулья, не забывая и себя, и, поместившись дозорными на своих постах, засунули в рот свои ложки

из боязни вскрикнуть от нетерпения прежде, чем дойдет до них очередь. Наконец блюда были поданы и прочитана молитва. Наступила мертвая тишина, когда мистрис Крэтчит, лукаво поглядев на лезвие ножа, приготовилась погрузить его в грудь гуся; но лишь только она надрезала птицу и из нее показалась начинка, как по всему столу пронесся шепот восторга, и даже маленький Тимоша, увлеченный своими братишкой и сестрицей, ударил по столу ручкой своего ножа и слабым голоском прокричал «ура».

Никогда у них не бывало подобного гуся. Боб даже выразил сомненье, чтобы когда-нибудь на свете подавался такой гусь. Его нежность и сочность, его размеры и дешевизна были предметом всеобщего удивления. С прибавкой яблочного соуса и мятого картофеля его вполне хватило на обед всему семейству, так что мистрис Крэтчит, увидав на одной из тарелок крошечную косточку, заметила, что и того-то не могли доесть. Все были сыты, в особенности младшие Крэтчиты, вымазавшиеся начинкой до самых бровей. Затем, когда мисс Белинда переменила тарелки, мистрис Крэтчит вышла из комнаты, чтобы выпрокинуть пудинг и принести его; она пошла одна: при ее нервном возбуждении свидетели

были бы для нее невыносимы.

А ну как он не дошел как следует! Что, если он развалится, когда его станут опрокидывать! Ну а ежели случился такой грех, что кто-нибудь перелез через стену с заднего двора да украл его, пока они тут пировали гусем. При одной мысли об этом стыла кровь у молодых Крэтчитов. Каких только ужасов они себе не воображали.

Ага! Вот поднялся пар столбом, значит, пудинг вынут из кастрюли. Пошел запах точно от парено-го белья! Это от салфетки. Наконец, запахло как в трактире! Это уже сам пудинг. Через полминуты показалась и мистрис Крэтчит: раскрасневшаяся, но с горделивой улыбкой и — с пудингом, твер-дым и крепким, усеянным бледными огоньками горящего спирта и с веткой остролистника, во-ткнутой в верхушку в качестве рождественской эмблемы.

О, как превосходен был пудинг! Боб Крэтчит потихоньку высказал, что, на его взгляд, это был самый крупный успех, достигнутый мистрис Кр-этчит со времени их свадьбы. Мистрис Крэтчит призналась, что теперь у нее гора с плеч свали-лась, а то она очень беспокоилась, достаточно ли было муки. Каждый что-нибудь высказывал по этому поводу, но никто не сказал и не поду-

мал, что пудинг был мал для большой семьи. Это было бы грубой ересью. Любой из членов семьи покраснел бы даже от намека в этом смысле.

Наконец обед кончился; скатерть убрали со стола, подмели очаг и оправили огонь. Когда смесь в кружке была испробована и найдена превосходной, на стол были поданы яблоки и апельсины, а на огонь брошен полный совок каштанов. Тогда вся семья разместилась кружком перед камином; рядом с отцом поставили стеклянный семейный сервиз: два больших стакана и объемистую чашку без ручки.

В этой посуде перелитый из кружки горячий напиток помещался так же удобно, как и в золотых бокалах; Боб с довольным видом разливал его, пока каштаны с треском поджаривались на огне.

Затем Боб поднял стакан и произнес:

— Поздравляю вас всех, мои милые, с радостным праздником Рождества Христова. Да хранит нас Бог!

Вся семья дружно ответила на это приветствие.

— Да благословит Бог каждого из нас! — крикнул Тимоша последним.

Он сидел совсем рядом с отцом на своем маленьком стуле. Боб взял его маленькую худую

ручку в свою, как бы боясь лишиться своего дорогого ребенка.

— Дух! — сказал Скрудж с участием, которого никогда еще не ощущал до сих пор. — Скажи мне, останется ли жив Тимоша?

— Я вижу незанятый стул в том бедном уголке, — отвечал дух, — и костыль без хозяина, бережно хранимый семьей. Если эти тени не будут изменены — ребенок умрет.

— Нет, нет! — сказал Скрудж. — О нет, добрый дух! Скажи, что он будет жив.

— Если эти тени не изменятся, в будущем ни один из моих сородичей не найдет его здесь, — возразил дух. — Да и что тебе в том? Если ему нужно умереть, тем лучше, меньше будет лишних людей.

Скрудж понурил голову, услышав повторенные духом свои собственные слова, и им овладело чувство раскаяния и печали.

— Человек! — произнес дух. — Если у тебя в груди человеческое сердце, а не алмаз, воздержись от неуместных слов, пока не узнаешь, что лишнее и где оно. Тебе ли решать, которому человеку жить, которому умирать? Ведь, может быть, в глазах Неба ты гораздо недостойнее и негоднее для жизни, чем миллионы детей этих бедняков.

О Боже! ничтожный червь, взобравшийся на травку, не считает за оставшимися внизу своими голодными братьями одинаковых с собою прав на жизнь!

Скрудж преклонился перед укоризной духа и, дрожа всем телом, опустил глаза в землю. Но быстро поднял голову, услышав свое имя.

— Предлагаю вам теперь выпить за здоровье мистера Скруджа, виновника нашего пира, — произнес Боб.

— Хорош виновник пира! — воскликнула мистрис Крэтчит, краснея. — Жаль, что его здесь нет: я бы дала ему себя знать, в другой раз не захотел бы.

— Э, полно, моя милая, — заметил Боб, — при детях-то, да и в такой праздник.

— Хорош праздник, — продолжала она, — когда предлагают пить за здоровье такого отвратительного скряги, жестокого, бесчувственного человека, как мистер Скрудж. Точно ты сам этого не знаешь, Роберт! Тебе, бедняге, это лучше всех известно.

— Ведь нынче Рождество Христово, — ответил Боб.

— Хорошо, я готова выпить за его здоровье, но только не ради его самого, а ради тебя и ради

великого праздника. Многие ему лета! С праздником его и наступающим Новым годом! — то-то, думаю я, будет он счастлив и весел.

За нею тост повторили дети. Это было их первым действием, где сердце их не участвовало. Тимоша выпил последним и еще равнодушнее прочих, ибо Скрудж был в глазах этой семьи каким-то людоедом, чудовищем. Упоминание его имени бросило черную тень на все маленькое общество, и эта тень минут пять не могла рассеяться.

Когда наконец она исчезла, веселое настроение их удесятерилось. Боб Крэтчит сообщил им тогда, что у него на примете есть место для Питера, которое, если удастся получить его, будет приносить целых пять с половиной шиллингов в неделю. Оба младших Крэтчита разразились неудержимым смехом, представляя себе Питера деловым человеком; сам же Питер глубокомысленно смотрел из-за своих воротничков на огонь, как будто рассуждая про себя, какое он выберет платье, когда будет обладать таким несметным доходом. Марта, бывшая в ученье у модистки, рассказала им потом, какая у нее была работа и как по случаю праздника она намеревалась завтра выспаться; как несколько дней тому назад

она видела графиню и лорда, и как этот лорд был почти так же высок ростом, как Питер. Последний при этих словах еще дальше выправил свои воротнички, так что из-за них едва видно было его самого. А между тем каштаны и кружка ходили взад и вперед по рукам. Немного спустя Тимоша запел песенку про покинутого ребенка, как он шел зимою по снежной дороге; хотя голосок у малютки был слабый и жалкий, а спел он очень недурно.

Ничего выдающегося семья эта собой не представляла. Лицом они все были некрасивы, одеты и обуты плохо, и Питеру не в диковинку было заглядывать в лавку закладчика; тем не менее они были счастливы, довольны друг другом и праздником.

Когда пришло время духу и Скруджу покинуть это жилище и образ семьи стал бледнеть, Скрудж до последней минуты не спускал глаз с этих людей, и особенно с Тимоши.

Между тем стало темнеть, и пошел густой снег. Когда Скрудж и дух шли вдоль улиц, взорам их представлялось отовсюду светившееся яркое пламя печей и каминов. Здесь, видимо, готовились к обеду, там кучка детей выбегала из дома встретить свою замужнюю сестру, своих братьев,

дядюшек, тетушек. Там опять на опущенных шторах виднелись силуэты уже собравшихся гостей, а здесь группа хорошеньких барышень, в меховых шубках и теплых сапожках, быстро направлялась к соседнему дому, тараторя и не слушая друг друга.

При виде такого множества людей, идущих в гости, вы бы пришли в недоумение, кто же в таком случае оставался дома принимать всех этих посетителей и растапливать в ожидании их свои камины.

О, как торжествовал спутник Скруджа при виде всего этого! Как широко раскрывалась его могучая грудь, как свободно протягивалась его сильная рука, распространяя искреннее и невинное веселье повсюду вокруг себя. Даже фонарщик, видимо торопившийся в гости, так как был одет по-праздничному и бегом спешил от фонаря к фонарю поскорее разбросать по темным улицам убогие пятнышки света, — и тот громко рассмеялся, поравнявшись с духом.

Вдруг, ни словом не предупредив Скруджа, дух перенес его на пустынную, болотистую местность, где нагромождены были высокие кучи необделанного камня, представляя собою какое-то кладбище великанов. Кругом, между

замерзших луж воды, виднелись только мох, да вереск, да клочья какой-то грубой, жесткой травы.

Заходящее солнце оставило на небосклоне огненно-красную полосу, которая резко, как бы мигнув, осветила на минуту эту дикую пустыню, а затем, все хмурясь и хмурясь, исчезла в глубоком мраке ночи.

— Что это за место? — спросил Скрудж.

— Здесь живут рудокопы, которые трудятся в недрах земли, — отвечал дух. — Но и они меня знают. Вот, смотри!

Из окна какой-то хижины показался огонек, и они быстро двинулись туда. Пройдя сквозь сложенную из камней и грязи стену, они увидали веселое общество, собравшееся вокруг яркого огня, — старый-престарый мужчина и такая же женщина, их дети, внуки и правнуки, все разряженные по-праздничному. Старик голосом, едва заглушавшим вой гулявшего за стенами хижины ветра, пел им рождественскую песню; это была очень старинная песня, которую он певал еще мальчиком; от времени до времени ему подпевали хором остальные, и каждый раз, как те возвышали голоса, громче и веселее начинал петь и старик; как только замолкали они, и его

голос раздавался слабее.

Дух не стал медлить здесь, но, велев Скруджу ухватиться за платье, понесся с ним над болотом, но — куда?

Не к морю ли? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж, к ужасу своему, увидел, что берег, в виде страшных скалистых громад, уже позади; уже оглушает его рев волнующегося моря, которое клокочет и беснуется, будто хочет подмыть самые основы суши.

На уединенной, полупогруженной в воду скале, на расстоянии около мили от берега, стоял одинокий маяк. Целые кучи водорослей облепляли его основание, а буревестники (такие же сыны ветра, как водоросли — дети волн) взлетали и опускались вокруг него, подобно волнам, над которыми они носились.

Но даже и здесь двое сторожей развели огонь, бросавший сквозь узкое окошко тонкий луч света на темное море. Дружески протянув через стол свои мозолистые руки, державшие по стакану грога, они поздравляли друг друга с праздником; и один из них, который был постарше, с загрубелым от бурь и непогод, как галлион старого корабля, лицом, затянул громкую, что сама буря, песню.

Снова понесся дух над черным бушующим морем, стремясь все дальше и дальше, пока, очутившись вдали от всякого берега, они не опустились на корабль. Они становились и рядом с рулевым за колесом, и позади часового, и подле офицеров, державших вахту, — подобно темным призракам стояли эти люди каждый на своем посту, но каждый из них или напевал про себя какую-нибудь рождественскую песенку, или думал какую-либо рождественскую думу, или шепотом говорил своему товарищу об одном из прошлых праздников и соединенных с ним надеждах или воспоминаниях о родине. И у всякого из бывших на корабле, спящего, или бодрствующего, и хорошего и дурного, — у всех находилось в такой день более доброе, чем обыкновенно, слово, и все так или иначе, больше или меньше отмечали торжественное значение этого дня; вспоминали тех, о ком и в далекой разлуке они заботились, зная, что и те, в свою очередь, вспоминают о них.

Велико было удивление Скруджа, когда, прислушиваясь к вою ветра и размышляя о том, как страшно, должно быть, плыть во тьме над неизведанной пучиной, таящей в себе глубокие, как сама смерть, тайны, — когда, занятый такими мыслями, он вдруг услышал веселый смех. Но

Скрудж еще более удивился, узнав, что это был смех его племянника, что сам он очутился в сухой, ярко освещенной комнате и что рядом с ним стоял улыбающийся дух, одобрительно-ласково смотревший на племянника Скруджа.

— Ха, ха! — смеялся племянник Скруджа. — Ха, ха, ха!

Если вам по какому-нибудь невероятному случаю пришлось познакомиться с человеком, который бы смеялся заразительнее Скруджева племянника, могу вас только об одном просить — познакомить меня с ним, и я буду весьма рад этому знакомству.

Благодетелен и вполне справедлив тот порядок вещей, по которому, при заразительности болезней и печали, на свете нет ничего заразительнее смеха и веселого расположения духа. Когда племянник Скруджа смеялся так, что держался за бока, раскачиваясь головою и выделывая лицом всевозможные гримасы, племянница Скруджа по мужу хохотала так же искренно, как и он, а вслед за ними хохотала и вся их дружная компания.

— Ха, ха! Ха, ха, ха, ха!

— Ну, право же, он сказал, что Рождество, — это пустяки! Да он и впрямь так думает! — кричал Скруджев племянник.

— Тем больше ему должно быть стыдно, Фридрих! — с негодованием сказала племянница.

Женщины ничего не делают наполовину. Они ко всему относятся серьезно.

Она была очень, очень красива. Наивное, как бы удивленное личико, пара самых лучезарных глаз, которые вам когда-либо встречались, маленький розовый ротик, как будто созданный для поцелуев, что, впрочем, несомненно так и было; несколько пленительных ямочек вокруг подбородка придавали ей особенную прелесть, когда она смеялась.

— Что он чудак, — сказал племянник, — так это верно, и не так приветлив, как мог бы быть, но несправедливость его сама себя наказывает, и я ничего против него не имею.

— Он, конечно, очень богат, Фридрих, — заметила племянница. — По крайней мере ты мне так рассказываешь.

— Что нам до этого, милая! — сказал племянник. — Да и ему нет пользы от его богатства. Никакого добра он из него не делает и на себя ничего не тратит. Разве, чего доброго, утешается мыслью — ха, ха, ха! — что когда-нибудь нас наградит им.

— Нет, не терплю я его, — заметила племян-

ница.

То же мнение высказали ее сестры и все остальные дамы и барышни.

— А я так жалею его, — сказал племянник. — Если бы и захотел, и то, кажется, не рассердился бы на него. Кому плохо от его странностей? Всегда ему самому. Представилось ему теперь, что он нас не любит, и вот он не хочет прийти к нам обедать. А что из этого? Не велика для него потеря.

— Напротив, мне кажется, что он лишает себя очень хорошего обеда, — перебила мужа племянница.

То же сказал каждый из гостей, а они могли быть компетентными судьями, так как только что встали из-за стола и теперь, расположившись вокруг камина, наслаждались десертом.

— Очень рад это слышать, — сказал племянник Скруджа, — потому что не очень-то доверяю этим молодым хозяйкам. Как ваше мнение, Топпер?

Топпер, очевидно, имел в виду одну из сестер Скруджевой племянницы, так как отвечал, что холостяк — это жалкий отбросок, который не имеет права высказываться об этом предмете. При этом одна из сестриц покраснела — не та, у которой были розы в волосах, а другая, толстушка, в кружевной косынке.

— Продолжай дальше, Фридрих, — сказала Скруджева племянница, ударяя в ладоши. — Он всегда так: начнет говорить и не кончит.

Племянник Скруджа снова закатился смехом, и так как невозможно было им не заразиться, хотя сестрица толстушка и пыталась воспротивиться этому при помощи ароматического уксуса, то все единодушно последовали примеру хозяина.

— Я только хотел сказать, — заговорил он, — что вследствие его нелюбви к нам и нежелания повеселиться с нами, он, думаю, теряет несколько приятных минут, которые бы не принесли ему вреда. Я уверен, что он лишается более приятных собеседников, чем может найти в своих собственных мыслях, в своей затхлой конторе или в своих пыльных комнатах. Я намерен каждый год доставлять ему такой же случай, будет ли это ему нравиться или нет, потому что мне жаль его. Пускай он будет всю жизнь свою смеяться над Рождеством; но наконец станет же он лучше о нем думать, если я из года в год весело буду являться к нему и говорить: как ваше здоровье, дядюшка Скрудж? Если этим я добьюсь хотя бы того, что он оставит пятьдесят фунтов своему бедному конторщику, и то хорошо; и мне кажется, что я вчера тронул его.

Теперь уж все рассмеялись, когда он сказал, что растрогал Скруджа. Но, по доброте своего сердца, он не смущался этим смехом — только бы смеялись. Чтобы подогреть веселость гостей, он еще начал их потчевать вином.

Напившись чаю, все занялись музыкой. Это была музыкальная семья, и, что касается пения, они были мастера своего дела, в чем могу вас уверить, а в особенности Топпер, который басил преисправно, нисколько притом не надуваясь и не краснея в лице. Племянница Скруджа не дурно играла на арфе; между прочим она сыграла маленькую, очень простую по мотиву песенку, которую хорошо знал ребенок, приезжавший когда-то в школу за Скруджем. Когда раздались звуки этой песенки, все, что этот дух показал Скруджу, пришло ему теперь на память; он становился все мягче и мягче и думал, что если бы прислушивался к ней почаще в течение долгих лет, то мог бы достигнуть радостей в своей жизни своими собственными руками, не прибегая к заступу могильщика, похоронившего Якова Марлея.

Но не весь вечер был посвящен ими музыке. Немного спустя они стали играть в фанты. Хорошо иногда быть детьми, особенно в праздник

Рождества. Сначала, впрочем, затеялась игра в жмурки — это уж само собой разумеется. И я столько же верю в действительную слепоту Топпера, сколько в то, что глаза у него были в сапогах. Я полагаю, что все дело было заранее решено между ним и племянником Скруджа и что духу настоящего Рождества это было известно. Тот способ, каким Топпер ловил толстую сестрицу в кружевной косынке, был прямой насмешкой над человеческой доверчивостью. Роняя то ту, то другую вещь, прыгая через стулья, натыкаясь на рояль, запутываясь в драпировках, он неизменно устремлялся вслед за нею. Он всегда знал, где была толстая сестрица, и никого другого не хотел ловить. Когда некоторые нарочно поддавались ему, он делал вид, как будто хочет схватить вас и вдруг бросался от вас в сторону толстой сестрицы. Она не раз кричала, что это нехорошо, неправильно, — конечно так.

Но когда он наконец поймал ее, когда, несмотря на все ее уловки и хитрости, он загнал ее в угол, из которого уже нельзя было спастись, — тогда поведение его стало окончательно невозможным. Под предлогом сомнения, она ли это, он уверял, что ему необходимо дотронуться до ее головного убора, а для окончательного удостоверения ее

личности он будто бы принужден обследовать одно колечко на ее пальце и ее шейную цепочку. Не правда ли, разве не чудовищно так вести себя? По этому поводу она, вероятно, и высказывала ему свое мнение, когда водить пришлось другому, а они вели какую-то таинственную беседу за занавеской. Племянница Скруджа не принимала участия в жмурках, ее усадили в кресло в уютном уголке, так что Скрудж с духом очутились рядом с нею. Зато она участвовала в фантах, а потом и в игре «как, когда и где», причем, к тайному удовольствию мужа, совсем забила своих сестер, хотя и те были очень острые барышни, как Топпер мог бы сообщить вам. Общество состояло человек из двадцати, и все они, и старые, и молодые, играли. Играл и Скрудж; вполне участвуя во всем происходящем перед ним, он совсем забыл, что они не могли слышать его голоса, а потому иногда совершенно громко произносил свой ответ на предложенный вопрос и очень часто отвечал удачно.

Дух был очень доволен, видя его в таком настроении, и так одобрительно смотрел на него, что он, как мальчик, стал просить его остаться здесь, пока гости не разъедутся. Но дух сказал, что этого нельзя сделать.

— Вот новая игра, — упрашивал Скрудж. — Только полчасика, дух, ну, пожалуйста!

Это была игра под названием «да и нет», в которой племянник Скруджа должен был что-нибудь задумать, а остальные должны были отгадывать; он только отвечал «да» или «нет» на их вопросы. А они градом сыпались на него: он думает о животном, о гадком животном, о диком животном, которое ворчит и хрюкает, а иногда разговаривает, и живет в Лондоне, и ходит по улицам, и за деньги не показывается, и никем не водится, не живет в зверинце, не убивается для продажи, и ни лошадь, ни осел, ни корова, ни бык, ни тигр, ни собака, ни свинья, ни кошка, ни медведь. При каждом новом вопросе, с которым обращались к нему, племянник разражался новым раскатом смеха; наконец его довели до того, что он принужден был вскочить с дивана и затопать ногами. Тут толстая сестрица, придя в такое же состояние неудержимой веселости, прокричала:

— Я отгадала! Я знаю, кто это! Знаю, знаю!

— Ну, кто? — спросил Фридрих.

— Ваш дядя Скруудж.

Она действительно отгадала. Последовало всеобщее удивление, хотя некоторые и говорили, что на вопрос «не медведь ли?» следовало ска-

зать — «да», так как отрицательного ответа было достаточно, чтобы отвлечь их мысли от Скруджа, как бы близко они к нему ни были.

— Право, он доставил нам много удовольствия, — сказал Фридрих, — и было бы неблагодарностью не выпить за его здоровье. Вот, кстати, и стакан с глинтвейном. За здоровье дядюшки Скруджа!

— Хорошо! За здоровье дяди Скруджа! — было ему ответом.

— Каков бы он ни был, желаю старику веселых праздников и счастливого Нового года! — произнес племянник. — Он не принял бы от меня этого приветствия, но Бог с ним. Итак, за здоровье дяди Скруджа!

Дядя Скрудж незаметно так развеселился, ему стало так легко и приятно на сердце, что он готов был ответить тостом не подозревавшему о его присутствии обществу и поблагодарить неслышной для него речью, если бы дух дал ему время. Но вся сцена исчезла в одно мгновение при последнем слове племянника; и Скрудж, и дух снова очутились в пути.

Много мест обошли они, многое видели и, в какой дом ни заходили, всюду приносили счастье. Дух становился у постелей больных, и они утеша-

лись и делались веселы; являлся к живущим на чужбине, и к ним придвигалась родина; посещал удрученных жизненной борьбой, и к ним возвращались терпение и надежда; навещал бедных, и они забывали, что они бедны. В богадельнях, в больницах, в тюрьмах, во всех приютах нищеты, куда суетный человек, в силу своей ничтожной, быстропреходящей власти, не преграждал путь духу, повсюду он оставлял благословение и наставлял Скруджа в своих правилах.

Это была длинная ночь, если это была только одна ночь. Но Скрудж сомневался в этом, так как все рождественские праздники представлялись сжатыми в пространстве времени, которое они провели вместе с духом. Другая странность заключалась в том, что, тогда как Скрудж оставался не изменившимся в своей наружности, дух видимо становился все старше и старше. Скрудж раньше заметил в нем эту перемену, но ничего не говорил об этом до того времени, когда они, покинув одну детскую вечеринку, очутились на открытом месте. Здесь Скрудж заметил, что у духа волосы поседели.

— Разве так коротка жизнь духов? — спросил он.

— Моя жизнь на земном шаре очень коротка, —

ответил дух. — Сегодня ночью ей конец.

— Сегодня ночью! — воскликнул Скрудж.

— Да, сегодня в полночь! Чу! Время близко.

В эту минуту на башне пробило три четверти двенадцатого.

— Прости меня, если я не имею права об этом спрашивать, — сказал Скрудж, пристально смотря на платье духа, — но я вижу, что что-то странное, не принадлежащее тебе выглядывает из-под твоей полы. Что это — нога или лапа с когтями?

— По тому, сколько на ней мяса, ее, пожалуй, вернее назвать лапою с когтями, — был грустный ответ духа. — Смотри сюда.

Из-под широких складок его одежды вышли двое детей, жалких, отвратительных, ужасных, несчастных. Они опустились на колени у его ног и ухватились за край его одежды.

— Смотри, смотри сюда, человек, смотри! — воскликнул дух.

Это были мальчик и девочка. Желтые, худые, оборванные, с диким, как у волка, взглядом, но в то же время покорные.

Там, где благодатная юность должна была бы округлить черты и придать им самые свежие свои краски, жесткая, морщинистая, как у старика,

рука, казалось, ощипала, скрутила и изорвала их в лоскутья. Где бы царить ангелам — оттуда угрожающе, дико выглядывали дьяволы. Ни на какой степени изменения, упадка или извращения человечества, среди всех тайн непостижимого творения нет и наполовину столь страшных чудовищ.

Скрудж в ужасе отшатнулся назад. Считая их, должно быть, за детей духа, он было хотел сказать, что это прелестные дети, но слова замерли у него на языке, отказываясь быть участниками такой колоссальной лжи.

— Дух, твои они? — только и мог он произнести.

— Это человеческие дети, — сказал дух, глядя на них. — Они хватаются за меня с жалобой на своих отцов. Этот мальчик Невежество. Эта девочка Нужда. Берегись их обоих, но больше всего остерегайся этого мальчика, ибо на лбу его я читаю приговор Судьбы, если только написанное не будет изглажено. Не признавайте его! — воскликнул дух, простирая руку по направлению к городу. — Злословьте тех, кто говорит вам об этом! И ждите конца!

— Разве у них нет опоры, нет приюта? — спросил Скрудж.

— А разве нет тюрем? — сказал дух, обращаясь к нему с последним своим словом. — Разве нет работных домов?

Колокол пробил полночь.

Скрудж стал искать глазами духа, но его не было видно. Как только замер последний звук колокола, он вспомнил предсказание Марлея и, подняв глаза, увидал окутанного с головы до ног таинственного призрака, который, как туман по земле, медленно к нему приближался.

Строфа четвертая

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ДУХОВ

Призрак подвигался тихо, торжественно, молча. Когда он приблизился, Скрудж упал на колени, потому что в самой атмосфере, чрез которую подвигался этот дух, он, казалось, распространял таинственный мрак.

Он был закутан в широкую черную одежду, скрывавшую его голову, лицо и стан, оставляя на виду одну только протянутую вперед руку. Не будь этого, трудно было бы отличить его фи-гуру от ночи и выделить ее из окружавшего ее мрака.

Очутившись рядом с ним, Скрудж чувствовал

только, что он высок и строен и что его таинственное присутствие наполняло его неизъяснимым ужасом. Дальше он ничего не знал, так как призрак не говорил и не двигался.

— Передо мною дух будущих рождественских праздников? — произнес Скрудж.

Дух не отвечал, но указал рукою на землю.

— Ты хочешь показать мне тени вещей еще не бывших, но имеющих совершиться в будущем? — продолжал Скрудж. — Не так ли?

Верхняя часть одежды собралась на мгновение в складки, как будто дух наклонил голову вместо ответа.

Хотя и попривыкнув за это время к обществу духов, Скрудж так сильно боялся этого молчаливого образа, что ноги у него дрожали и ему казалось, что он едва может стоять. Дух оставался пока неподвижным, как бы наблюдая за Скруджем и давая ему время прийти в себя.

Но Скруджу от этого было еще хуже. Необъяснимый ужас охватил его при мысли, что за таинственным покровом скрывались глаза, пристально устремленные на него, тогда как он, как ни напрягал своего зрения, мог видеть только протянутую вперед руку и большую черную массу.

— Дух будущего! — воскликнул он. — Я боюсь тебя больше, чем любого из виденных мною духов. Но зная, что цель твоя сделать мне добро и так как я надеюсь жить, чтобы стать другим, лучшим человеком, нежели я был, то я готов оставаться в твоем обществе и делаю это с чувством благодарности. Ты не будешь говорить со мною?

Ответа не последовало, только рука указывала вперед.

— Веди! — сказал Скрудж. — Веди! Ночь быстро исчезает, а это драгоценное для меня время. Я знаю. Веди, дух!

Призрак стал двигаться так же, как приближался. Скрудж следовал за ним в тени его одежды, которая, как он думал, несла его.

Казалось, не они входили в город, а город как бы сам вырастал вокруг них. Но вот они в самом центре его, на бирже, среди купцов; некоторые из них торопливо переходили с места на место, другие разговаривали группами, посматривая на свои часы и глубокомысленно играя своими толстыми золотыми цепочками. Одним словом, перед глазами наших путников повторялась картина, к которой так привык Скрудж, часто посещавший биржу.

Дух остановился подле одной кучки дело-

вых людей. Увидав, что рука указывала на них, Скрудж подошел послушать их разговор.

— Нет, — сказал один из них, высокий, толстый господин с огромным подбородком, — подробностей я не знаю, а только слышал, что он умер.

— Когда он умер? — полюбопытствовал другой.

— Вчера в ночь, кажется.

— Как? Что это с ним сделалось? — спросил третий, доставая крупную щепоть табаку из своей громадной табакерки. — Я так думал, что ему и века не будет.

— А Бог его знает, — сказал первый, зевая.

— Что он сделал со своими деньгами? — спросил краснолицый господин с таким огромным наростом на конце носа, что он болтался у него, как у индюка.

— Не слыхал, — ответил человек с широким подбородком, снова зевая. — Может быть, компаньону своему оставил. Мне он не отказал их — вот все, что я знаю.

Эта шутка встречена была общим смехом.

— То-то дешевые будут похороны, — сказал тот же собеседник. — Хоть убей меня — не знаю никого, кто бы пошел на них. Вот разве нам собраться, так, по доброй воле?

— Пожалуй, я пойду, если будет завтрак, — заметил джентльмен с наростом на носу. — Кто хочет меня видеть, должен кормить меня.

Опять смех.

— Так я, пожалуй, бескорыстнее всех вас, — сказал первый собеседник, — потому что никогда не ношу черных перчаток и никогда не завтракаю. Но я готов отправиться, если еще кто-нибудь пойдет. Ведь если подумать, то вряд ли придется отрицать, что я был ближайшим его другом: при всякой встрече, бывало, мы с ним останавливались и разговаривали. Прощайте, господа!

Говорившие и слушавшие разошлись и скоро смешались с толпою. Скрудж знал этих людей и посмотрел на духа, как бы ожидая от него объяснения.

Призрак перенесся на улицу. Здесь палец его указал на двух встретившихся людей. Скрудж стал опять прислушиваться, думая, что найдет здесь объяснение.

Он знал очень хорошо и этих людей. Это были деловые люди, очень богатые и важные. Он всегда старался быть у них на хорошем счету, конечно с деловой и именно с деловой точки зрения.

— Как вы поживаете? — сказал один.

— А вы как? — спрашивал другой.

— Хорошо! — сказал первый. — Старый скряга-то умер, — слышали вы?

— Говорят, — ответил другой. — А ведь холодно, не правда ли?

— Как и должно быть о Рождестве. Вы, нужно полагать, на коньках не катаетесь?

— Э, нет. И без того есть о чем подумать. До свидания.

Вот и все. Встретились, поговорили и расстались.

Скрудж сначала удивлялся, что дух придает значение таким, по-видимому, пустым разговорам; но чувствуя, что в них кроется какая-нибудь тайная цель, он стал размышлять: что бы именно это могло быть? Вряд ли можно было предположить, что они имеют какое-нибудь отношение к смерти Марлея, его старого компаньона, потому что то было прошедшее, а это был дух будущего. Одинаково он не мог отнести их к кому-либо из людей, непосредственно близких ему. Не сомневаясь, однако, что к кому бы они ни относились, в них заключается какая-нибудь скрытая мораль в целях его собственного исправления, он решился принимать к сердцу всякое слышанное им слово и все, что увидит, в особенности внимательно наблюдать свою собственную тень, когда она будет

являться. Он ожидал, что поведение его будущего и даст ему ключ к разрешению этих загадок.

Он тут же начал искать глазами свой собственный образ; но на его обычном месте стоял другой, и хотя по времени это был всегдашний час пребывания его на бирже, он не видел сходства с собою ни в одном из множества людей, спешивших войти в двери биржевого зала. Впрочем, он не особенно дивился этому, так как мысленно уже изменил свою жизнь, а потому думал и надеялся, что видит уже осуществившимися свои недавние решения.

Неподвижным и мрачным стоял подле него призрак с своею вытянутою рукою. Очнувшись от занимавших его мысли вопросов, Скрудж, по изменившемуся положению руки призрака, представил себе, что невидимый взор упорно остановился на нем. Это заставило его содрогнуться, и сильный холод пробежал по его телу.

Они покинули эту оживленную сцену и направились в другую часть города, где Скруджу не приходилось бывать раньше, хотя ему известно было, где она находится и какой дурной славой пользуется. Грязные и узкие улицы; жалкие дома и лавчонки; полуголое, пьяное и дикое население, бесчисленные переулки и закоулки, подобно

множеству сточных ям, извергали на улицы отвратительное зловоние, грязь и людей; от всего квартала несло пороком, скверной и нищетой.

В одном из отдаленнейших уголков этого логовища позора скрывалась под покатою кровлей низенькая лавчонка, где продавалось железо, старые лохмотья, бутылки, кости и всякие сальные, грязные отбросы. Внутри ее, на полу, лежали кучи ржавых ключей, гвоздей, цепей, крючков, петель, весов, гирь и тому подобного железного лома. Тайны, на разгадку которых немного нашлось бы охотников, зарождались и погребались здесь в грудах неприглядного тряпья, кучах протухлого сала и старых костей.

Посреди этих товаров, около печки, сложенной из старых кирпичей, сидел седовласый семидесятилетний плут-хозяин, который, загородив себя от наружного холода растянутой на веревке занавеской из засаленного тряпья, сосал свою трубку, наслаждаясь тихим уединением.

Скрудж и призрак очутились в присутствии этого человека в ту самую минуту, когда в лавку проскользнула женщина с тяжелым узлом в руках. Вслед за нею вошла другая женщина с подобной же ношей, а за ней мужчина в полинявшей черной одежде, который не менее

был испуган при виде женщин, чем они сами, когда узнали друг друга. После нескольких минут безмолвного изумления, которое разделял и сам хозяин лавочки, они все трое разразились смехом.

— Приди сперва поденщица одна! — сказала женщина, вошедшая сначала. — Потом бы прачка одна, а третьим бы гробовщик, тоже один. А то вот какой случай, дедушка Осип! Ведь нужно же было нам здесь всем вместе столкнуться!

— Да где же вам и сойтись, как не здесь, — отвечал старик, отнимая ото рта трубку. — Пойдемте в приемную, ты там уже давно свой человек; да и те обе тоже не чужие. Дайте только запереть наружную дверь. Ишь ты как скрипит. Пожалуй что ржавее этих петель ничего здесь не найдется, и костей старше моих тут не сыщешь. Ха, ха! Мы все подходящий народ для нашего дела. Ступайте, ступайте в приемную.

Приемной называлось пространство за занавеской из лохмотьев. Старик сгреб уголья в печке старым прутом от шторы и, поправив свой смрадный ночник (была уже ночь) чубуком своей трубки, засунул ее снова в рот.

Тем временем женщина, явившаяся первою, бросила свой узел на пол и с важностью уселась

на стул, облокотившись на колени и нахально-недоверчиво посматривая на остальных двоих.

— Ну, что же? За чем дело стало, мистрис Дильберс? — сказала она. — Всякий имеет право о себе заботиться. Он сам всегда так поступал!

— И то правда! — сказала прачка. — На этот счет ему пары не было.

— Так что ж вы глаза-то вытаращили, точно испугались друг друга? Ну, кто умней? Ведь не обобрать один другого мы пришли сюда.

— Нет, зачем же! — сказали Дильберс и мужчина в один голос. — Совсем не для того, полагать надо!

— И отлично! — воскликнула женщина. — Больше ничего и не требуется. Кому тут убыток, что мы прихватили подобную безделицу. Ведь не мертвецу же это нужно.

— Конечно нет! — сказала Дильберс со смехом.

— Если старый скряга хотел, чтобы эти вещи остались целы после его смерти, — продолжала женщина, — так что ж он жил не как люди? Живи он по-людски, было бы кому и присмотреть за ним, когда смерть-то его настигла; не лежал бы так, как теперь, — один-одинешенек.

— Вернее этого и сказать нельзя, — подтвердила Дильберс. — Поделом ему.

— Не мешало бы этому узлу быть потяжелее, — ответила женщина, — да и был бы он тяжелее, будьте покойны, только вот руки-то не дошли до другого. Развяжи-ка его узел-то, дедушка Осип, да скажи, что он стоит. Говори начистоту. Я не боюсь быть первой и не боюсь, что они увидят. Мы ведь отлично знали, что помогали друг другу, прежде чем здесь встретились. Осип, развязывай узел.

Но учтивость ее друзей не допустила этого, и мужчина в полинялом черном платье первым выложил свою добычу. Не велика она была. Одна-две печати, коробка для карандашей, пара пуговиц от рукавов, дешевая брошь — вот и все. Старик стал их рассматривать и оценивать, причем сумму, которую готов был дать за каждую из вещей, писал мелом на стене; наконец, переписав все вещи, подвел итог.

— Вот твой счет, — сказал старик, — и что хочешь со мной делай, а я шести пенсов к нему не прибавлю. Чья теперь очередь?

Очередь была за Дильберс. Тем же порядком была записана оценка принесенных ею вещей: простынь и полотенец, нескольких штук носильного белья, двух старинных чайных ложек, пары сахарных щипчиков и нескольких сапог.

— Я всегда слишком много плачу дамам. Такова

уж моя слабость, этим и разоряю себя, — сказал старик. — Вот что вам приходится. Если бы вы хоть пенс попросили прибавить, мне пришлось бы раскаяться в своей щедрости и прямо скостить полкроны.

— Ну, дедушка, теперь мой узел развязывай, — сказала первая женщина.

Старик стал на колени, чтобы удобнее было развязывать. Наконец, с трудом распутав узел, он вытащил широкий и тяжелый сверток какой-то темной материи.

— Это что такое по-вашему? — спросил он. — Занавес от постели!

— А то что ж! Занавес и есть, — ответила женщина, смеясь и подаваясь вперед со своего стула.

— Так-таки вы его и стащили, целиком, с кольцами и со всем, когда он лежал под ним! — удивился Осип.

— Да, так и стащила. А что же?

— Вы рождены для того, чтобы составить себе состояние, — заметил старик, — и вы этого достигнете.

— Понятное дело, я не упущу своего, когда что попадет под руку, особенно ради такого человека, каким он был, — равнодушно отвечала женщина. — Можете быть спокойны на этот счет.

Смотрите, масло-то на одеяло прольете.

— Это его одеяло? — спросил старик.

— А чье же еще, по-вашему? Думаю, что он и без него теперь не простудится.

— Надеюсь, он не от заразы какой-нибудь помер? А? — спросил старик, оставив свое занятие и посмотрев на нее.

— Этого не бойтесь, — отвечала женщина. — Я не настолько дорожу его обществом, чтобы оставаться около него для такого дела, если бы он от заразы помер. Хоть до боли глаз смотрите сквозь ту сорочку, ни одной дырочки, ни одного протертого местечка не найдете в ней. Это его лучшая сорочка была, да она и вправду отличная. Они бы истратили ее даром, если бы не я.

— Как так истратили бы ее? — спросил старик.

— Схоронили бы его в ней, — отвечала женщина, смеясь. — Какой-то дурак так было и сделал; только я опять сняла ее. Если для этой цели коленкор не годится, так я не знаю, на что он после того годен. Самая подходящая материя для покойника. В ней он не смотрится страшнее, чем в той.

Скрудж с ужасом прислушивался к этому разговору. Видя их сидящими над своей добычей, при слабом свете ночника, он смотрел на них с неменьшим отвращением, как если бы это были

безобразные демоны, торговавшиеся из-за самого трупа его.

— Ха, ха! — раздался смех женщины, когда старик, вытащив из кармана фланелевый мешок с деньгами, стал каждому отсчитывать его выручку. — Вот вам и конец всему! Пока жив был, отпугивал от себя всякого; зато как помер, мы от него и попользовались! Ха, ха, ха!

— Дух! — сказал Скрудж, трясясь всем телом. — Я вижу, вижу. Случай с этим несчастным человеком мог бы повториться со мною самим. Моя настоящая жизнь ведет к тому. Милосердый Боже, что это такое!

Он отскочил в ужасе, так как сцена изменилась и он теперь почти касался кровати — кровати голой, без занавесок, на которой под худой, изорванной простыней лежало что-то прикрытое, которое, хотя и было немо, говорило о себе ужасным языком.

В комнате было очень темно, так темно, что разглядеть ее хорошенько нельзя было, хотя Скрудж, повинуясь тайному побуждению, осмотрелся кругом, чтобы узнать, что это была за комната. Бледный свет, пробивавшийся снаружи, падал прямо на кровать; а на ней, ограбленное, покинутое, беспризорное, неоплаканное, лежало тело

человека.

Скрудж взглянул в сторону призрака. Его рука неподвижно указывала на голову трупа. Покрывало было накинуто так небрежно, что стоило бы Скруджу слегка дотронуться до него пальцем, и лицо бы открылось. Он подумал об этом, чувствовал, как легко бы ему было это сделать, и ему сильно хотелось этого, но у него одинаково не хватало сил сдвинуть покрывало, как и освободить себя от присутствия призрака.

О, холодная, холодная, суровая, страшная смерть! Воздвигай здесь алтарь свой, одевай его ужасами, какие есть в твоей власти, ибо это твое царство! Но ты не можешь для своих страшных целей тронуть ни одного волоса, не смеешь исказить ни одной черты на лице любимого, почитаемого и уважаемого человека. Пусть тяжела рука, пусть падает она, когда ее не держат; пусть не бьется сердце и не слышен пульс; зато эта рука была открыта, благородна и верна; сердце было честно, горячо и нежно. Поражай, тень, поражай! И смотри, как из нанесенной тобою раны изливаются добрые дела, чтобы насеять в мире жизнь бессмертную!

Не голосом были произнесены эти слова на ухо Скруджа, тем не менее он слышал их, когда

смотрел на постель. Он думал, что если бы можно было поднять теперь этого человека, то какие были бы его первые мысли! Скупость, скряжничество, жадность к наживе? К доброму концу привели они его, в самом деле!

Одиноким лежал покойник в унылом, пустом доме; около него ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, которые бы могли сказать: вот он в том или в другом был добр ко мне и, памятуя хоть одно доброе слово, я заплачу ему добром же. Какая-то одичалая кошка царапалась у двери, да слышалось, как под камином возились мыши. Чего им нужно было в этой комнате смерти и отчего обнаруживали они такое беспокойство, о том Скрудж не смел и помыслить.

— Дух! — сказал он. — Это страшное место. Покидая его, я не забуду его урока, поверь мне. Уйдем отсюда!

Но призрак продолжал неподвижною рукою указывать ему на голову.

— Понимаю тебя, — произнес Скрудж, — и я бы сделал это, если бы мог. Но у меня нет силы, дух. У меня нет силы.

Призрак как будто снова поглядел на него.

— Если есть в городе хотя кто-нибудь, кто принимает к сердцу смерть этого человека, — про-

должал Скрудж в страшной тоске, — то покажи мне его, умоляю тебя, дух!

Призрак на мгновение распустил свое темное одеяние наподобие крыла; затем, сложив его, открыл взорам Скруджа освещенную дневным светом комнату, в которой находилась мать с своими детьми.

Она кого-то ждала, и ждала с большим нетерпением, потому что быстро ходила взад и вперед по комнате, выглядывала из окна, смотрела на часы, старалась, хотя и напрасно, приниматься за свое шитье и едва могла переносить голоса резвившихся детей.

Наконец послышался давно ожидаемый стук в дверь. Она бросилась к ней и встретила своего мужа; лицо его, хотя еще и молодое, носило печать забот и уныния. Теперь на нем заметно было какое-то странное выражение довольства, которого он стыдился и которое, видимо, старался побороть в себе.

Он сел за приготовленный для него обед, и когда она, после долгого молчания, робко спросила его, что нового, он, казалось, затруднялся с ответом.

— Хорошие или дурные вести? — спросила она, чтобы как-нибудь помочь ему.

— Дурные, — был ответ.

— Мы разорены окончательно?

— Нет. Еще есть надежда, Каролина.

— Если он смягчится, — сказала она с изумлением, — то конечно есть! Можно надеяться на все, если случится подобное чудо.

— Ему уже нельзя смягчиться. Он умер.

Она была кротким и терпеливым существом, если верить ее лицу; но в душе она рада была такому известию, что и высказала, всплеснув при этом руками. В следующую же минуту она просила у Бога прощения и очень жалела о своей радости, хотя первое ощущение ее шло от сердца.

— То, что та полупьяная женщина, о которой я вчера вечером говорил тебе, передавала мне, когда я пытался повидаться с ним, чтобы выпросить недельную отсрочку, и что я считал простым предлогом не принять меня, — оказывается вполне верным. Он не только был очень болен, но умирал тогда.

— К кому же перейдет теперь наш долг?

— Не знаю. Но к тому времени деньги у нас будут; да если бы даже и не так, то было бы уже настоящим несчастьем, если бы преемник его оказался таким же безжалостным кредитором. Эту ночь мы можем спать спокойно, Каролина!

Да. Как ни старались они ослабить свое чувство, тем не менее это было чувство облегчения. Лица детей, потихоньку столпившихся кругом, чтобы прислушаться к столь мало понятному для них разговору, просветлели, и вообще весь дом стал счастливее вследствие смерти этого человека. Единственное, вызванное этим событием, ощущение, которое дух мог показать ему, было ощущение удовольствия.

— Покажи мне какое-нибудь проявление чувства сожаления по поводу чьей-либо смерти, — сказал Скрудж, — иначе та мрачная комната, которую мы только что покинули, будет у меня всегда перед глазами.

Призрак провел его по нескольким столь знакомым ему улицам; по пути Скрудж смотрел направо и налево, ища себя, но его нигде не было видно. Они вошли в дом Боба Крэтчита, в тот самый, где он был уже раньше, и застали мать и детей сидящими вокруг огня.

В комнате было тихо. Шумливые младшие Крэтчиты неподвижно, как вкопанные, сидели в углу, смотря на Питера, державшего перед собою книгу. Мать с дочерьми заняты были шитьем и тоже молчали.

— «И Он взял младенца, и поставил его среди

их».

Где слышал Скрудж эти слова? Не во сне же он их слышал. Вероятно, мальчик прочел их, когда они с духом переступали порог. Но что же он не продолжает?

Мать положила на стол свою работу и поднесла руку к лицу.

— Мне свет режет глаза, — сказала она.

— Свет? Ах, бедный Тимоша!

— Ну, теперь опять ничего, — сказала мать. — От свечки устают у меня глаза, а мне ни за что на свете не хотелось бы показывать вашему отцу, когда он вернется домой, что они у меня плохи. Пора бы ему прийти, кажется.

— Да, уже прошло его время, — отвечал Питер, закрывая книгу. — Но мне кажется, матушка, что последние несколько дней он тише ходит, чем обыкновенно.

Все снова замолкли. Наконец мать нарушила молчание, произнеся твердым, веселым голосом, причем он только раз дрогнул:

— Знаю я, как он ходил, как шибко ходил, неся, бывало, на плечах Тимошу.

— И я знаю! — воскликнул Питер. — Часто видал.

— И я тоже! — повторили все.

— Но его очень легко было носить, — продолжала она, углубившись в свою работу, — и отец так любил его, что и за труд не считал. А вот и он, ваш отец!

Она поспешно встала ему навстречу, и Боб вошел, укутанный своим шарфом (бедняге он куда как был нужен). Чай для него стоял уже готовым на полке камина, и всякий старался, как мог, услужить ему. Затем двое младших Крэтчитов забрались к нему на колени и каждый из них, прильнув щечкой к его лицу, как будто говорил: ничего, папа, не горюй!

Боб был очень весел с ними и ласково беседовал со всей семьей. Посмотрев лежавшую на столе работу и похвалив прилежание и спорость жены и дочерей, он высказал уверенность, что они управятся задолго до воскресенья.

— До воскресенья! Так ты ходил туда сегодня, Роберт? — сказала жена.

— Да, моя милая, — отвечал Боб. — Хочется, чтобы и вы могли сходить туда. Вам бы приятно было увидать, как зелено это местечко. Впрочем, вы часто будете видать его. Я обещал ему приходить туда по воскресеньям. О, мой малютка! Мой маленький малютка! — воскликнул Боб.

Так он, наконец, не выдержал. Не по силам ему

это было. А если б было по силам, он и ребенок его были бы, может быть, гораздо дальше друг от друга, чем теперь.

Он оставил семью и поднялся по лестнице в верхнюю комнату, которая была ярко освещена и украшена по-праздничному. В ней рядом с гробом малютки стоял стул и вообще видно было, что кто-нибудь незадолго приходил сюда. Бедный Боб сел на стул и задумался; просидев так несколько времени, он, по-видимому, успокоился, поцеловал маленькое личико как бы в знак примирения с совершившимся событием и сошел вниз вполне спокойный.

Они уселись вокруг огня и стали разговаривать; девицы и мать продолжали работу. Боб рассказал им о редкой доброте племянника Скруджа, которого он видел только раз.

— Несмотря на то, он, встретив меня сегодня на улице и заметив, что я немножко — ну, так немножко не в духе, спросил у меня, что случилось, что меня так расстроило. Когда я ему объяснил, в чем дело, — продолжал Боб, — ведь это самый любезный человек, какого я только знаю, — он тут же сказал: «Мне искренно жаль вас и вашу добрую супругу!» Но только как уже он узнал про это, право, не знаю.

— Про что узнал, мой милый?

— Да про то, что ты хорошая жена, — отвечал Боб.

— Кто же этого не знает! — заметил Питер.

— Отлично сказано, сынок мой! — похвалил Боб. — Надеюсь, что так. «Искренно жаль, говорит, вашу добрую супругу. Если могу хотя чем-нибудь вам быть полезным, сказал он, давая мне свою карточку, вот где я живу. Пожалуйста, приходите ко мне». И знаете, — продолжал Боб, — не потому, чтобы он мог оказать нам какую-нибудь помощь, а главное, его добрая, радушная манера решительно очаровала меня. Право, казалось, будто он знал нашего Тимошу и чувствовал вместе с нами.

— Добрая, должно быть, душа у него! — сказала мистрис Крэтчит.

— Ты бы в этом еще более убедилась, моя милая, — возразил Боб, — если бы увидала его и поговорила с ним. Я бы нисколько не удивился, — заметь, что я говорю, — если бы он предоставил Питеру лучшее место.

— Слышишь, Питер? — сказала мистрис Крэтчит.

— А потом, — сказала одна из сестер, — Питер откроет свое дело.

— Подите вы! — отозвался Питер, приятно улыбаясь.

— Еще бы, — сказал Боб, — когда-нибудь и это будет, хотя для того еще немало времени впереди, мои милые. Но как бы и когда бы нам ни пришлось разлучаться друг с другом, я уверен, что никто из нас не позабудет бедного Тимошу — не так ли? — или эту первую среди нас разлуку.

— Никогда, папа! — ответили все.

— И я знаю, — сказал Боб, — я знаю, мои милые, что если мы будем помнить, как он был терпелив и кроток, хотя он был и маленький, маленький ребенок, — нам трудно будет ссориться друг с другом и тем доказывать, что мы забыли о бедном Тимоше.

— Нет, папа, никогда! — снова ответили все.

— Я очень счастлив, — сказал Боб, — очень счастлив.

Мистрис Крэтчит поцеловала его, то же сделали дочери и двое меньших детей, а Питер крепко пожал отцу руку.

— Душа крошки Тима, от Бога было твое детское существо.

— Призрак! — сказал Скрудж. — Что-то говорит мне, что минута нашей разлуки близка. Скажи мне, кто это, кого мы видели мертвым?

Дух грядущего Рождества повел его, как и прежде, местами, где сходятся деловые люди, но не показывал ему его самого. Призрак, нигде не останавливаясь, шел все дальше, как бы стремясь к желанной Скруджем цели, пока последний наконец не обратился к нему с мольбою остановиться на минуту.

— Этот двор, — сказал Скрудж, — через который мы теперь несемся, и есть место, где я тружусь уже давно. Я вижу дом. Дай мне посмотреть, что будет со мною со временем.

Дух остановился, но рука его указывала в другом направлении.

— Вот где дом! — воскликнул Скрудж. — Почему ты не туда указываешь?

Но указательный палец призрака не менял направления.

Скрудж поспешил к окну своей квартиры и заглянул туда. Это была все еще контора, но не его. Мебель была не та, и фигура, сидевшая в кресле, тоже не его. Так как призрак не менял своего положения, то Скрудж снова присоединился к нему и, не понимая, куда и зачем они шли, сопровождал его, пока они не пришли к каким-то железным воротам. Прежде чем войти в них, он остановился, чтобы осмотреться вокруг.

Кладбище. Так вот где погребен тот человек, имя которого он должен был сейчас узнать. Достойное это было место: окруженное со всех сторон домами, поросшее сорными травами, где не жизнь, а смерть питала и растила их, где земля разжирела от слишком обильной пищи. Достойное место!

Призрак остановился среди могил и указал на одну из них. С трепетом направился к ней Скрудж. Дух был все таким же, но ужас подсказывал Скруджу, что какое-то новое значение было в его торжественной позе.

— Прежде чем я подойду к камню, на который ты мне указываешь, — сказал он, — ответь мне на один вопрос: тени ли это вещей, которые будут, или только того, что может быть?

Призрак продолжал указывать на могилу, у которой стоял.

— Образ жизни людей предзнаменует тот или другой конец, к которому он должен привести их, — произнес Скрудж. — Но если в нем произойдет перемена, то и конец будет иной. Скажи, не такой ли смысл имеет и то, что ты мне показываешь?

Дух был безмолвен, как всегда.

Скрудж, продолжая трястись от страха, подполз

к могиле и, следя за пальцем духа, прочел на камне свое собственное имя:

Эбенизер Скрудж

— Так это и есть тот человек, что лежал там, на постели? — вскрикнул он, не подымаясь с колен.

Палец указал с могилы на него и обратно.

— Нет, дух! О нет, нет!

Палец не опускался.

— Дух! — воскликнул он, крепко хватаясь за его одежду. — Выслушай меня! Я не тот, что был. Я не буду тем, чем бы я должен был стать, не получив этого урока. Зачем мне это показывать, если для меня нет никакой надежды?

В первый раз, казалось, дрогнула рука призрака.

— Добрый дух! — продолжал Скрудж, все еще оставаясь перед ним на коленях. — Само твое сердце меня жалеет и просит за меня. Дай мне уверенность, что я еще могу изменить эти, показанные мне тобою, тени, переменив свою жизнь!

Добрая рука снова дрогнула.

— Я буду чтить Рождество от всего сердца и постараюсь круглый год блюсти его. Буду жить в прошедшем, настоящем и будущем. Духи всех трех времен будут бороться во мне за первенство.

Я не забуду данных мне ими уроков. О, скажи мне, что я могу стереть надпись на этом камне!

В своей отчаянной душевной борьбе он схватил руку призрака. Тот старался высвободить ее, но державшая ее рука не уступала. Однако дух оказался сильнее и оттолкнул его.

Подняв кверху руки в последней мольбе, он заметил в призраке перемену. Он стал сжиматься, опадать и — превратился в столбик кровати.

Строфа пятая

КОНЕЦ

Да! И кровать его собственная, и комната его собственная. А всего лучше и дороже, что время для исправления было у него впереди.

— Буду жить в прошедшем, настоящем и будущем, — повторял Скрудж, слезая с кровати. — Духи всех трех времен будут бороться во мне за первенство. О Яков Марлей! Небу, Рождеству и тебе я обязан этим! Говорю это, стоя на коленях, старый Яков, — на коленях!

Он был так взволнован, так охвачен своими порывами к добру, что голос его едва повиновался ему. Он сильно рыдал во время борьбы с духом, и

лицо его было мокро от слез.

— Они не сдернуты! — воскликнул Скрудж, сжимая в руках одну из занавесок своей кровати. — Они не сняты, они здесь, и кольца и все здесь! Я здесь, тени вещей, которые могли бы быть, могут быть рассеяны. Так и будет. Я знаю, они рассеются!

Все это время руки его работали над платьем: он спешил одеться, а они его не слушались; что ни схватит — шиворот-навыворот, за что ни возьмется — все перевертывается наизнанку или вверх ногами; то найдет вещь, то опять ее потеряет.

— Что ж я буду делать! — воскликнул он, смеясь и плача в одно и то же время и представляя из себя настоящего Лаокоона, только обвитого чулками вместо змей. — Я легок, как перышко, счастлив, как ангел, весел, как школьник, и головаточно с похмелья. Поздравляю всякого с радостным праздником! Всему свету желаю счастья на Новый год. Гей! Ура! Ура!

Он выскочил в соседнюю комнату и остановился, едва переводя дух.

— Вот она, кастрюля, где была кашица! — закричал он, снова придя в движение и суетясь около камина. — Вот дверь, в которую вошел дух

Якова Марлея. Вот угол, где сидел дух настоящего Рождества! А вот окно, из которого я видел странствующие души! Все так, все верно, все это было. Ха, ха, ха!

Отличный был это смех, настоящий, знаменательный смех для человека, который столько лет прожил без всякого смеха. Этот хохот предвещал длинный, длинный ряд блестящих повторений!

— Не знаю, какое сегодня число, какой день месяца! Не знаю, долго ли я был с призраками. Ничего, ничего не знаю. Совсем как ребенок. Да что за важность, лучше буду ребенком. Гей! Ура, ура!

Его восторги были прерваны звоном колоколов, звучавших как никогда прежде. «Динь, динь, дон. Динь-дирин-динь, дон, дон дон!» О, чудесно, чудесно!

Подбежав к окну, он отворил его и выглянул. Тумана как не бывало; яркий, веселый, морозный день. Блестящее солнце, прозрачное небо! О, чудо, о, восторг!

— Какой день сегодня? — закричал Скрудж, окликая шедшего внизу мальчика в праздничном платье.

— Что? — отозвался тот в полном недоумении.

— Какой нынче день, мальчуган? — повторил Скрудж.

— Нынче? Да нынче Рождество Христово.

— А, Рождество! — сказал Скрудж самому себе. — Значит, я не пропустил его. Духи все в одну ночь обработали. Все, что хотят, то и делают. Конечно, они это могут. Конечно. Эй, мальчик?

— Что вам? — отозвался тот.

— Знаешь ты мясную лавку, что на углу второй отсюда улицы? — осведомился Скрудж.

— Как не знать!

— Умный мальчик! — сказал Скрудж. — Замечательный мальчик! А не знаешь ли ты, продали они ту знаменитую индюшку, что была у них вывешена? Не маленькую, а ту, толстую?

— А, это что с меня-то будет? — отвечал мальчик.

— Ну что за прелесть этот мальчик! — сказал Скрудж. — Просто удовольствие говорить с ним.

— Она и сейчас там висит.

— Правда? Поди-ка, купи ее.

— Э, полно вам шутить!

— Кроме шуток. Серьезно говорю. Поди, купи ее да вели сюда принести; я скажу, куда ее отправить. Сам тоже приходи с посланным, я дам тебе шиллинг. А если вернешься с ним сюда раньше, чем пройдет пять минут, то подарю тебе пол кроны!

Мальчик пустился бежать изо всей мочи.

— Пошлю ее Бобу Крэтчиту, — шептал Скрудж, потирая руки и посмеиваясь, — он не узнает, кто ее послал. Она как раз вдвое больше Тимоши. Вот штука-то будет.

Нетвердою рукою написал он адрес, но все-таки написал и сошел вниз к наружной двери встретить посланного из лавки. Стоя там в ожидании, он взглянул на колотушку.

— Всю жизнь буду любить ее! — воскликнул Скрудж, схватив ее рукою. — Вряд ли когда прежде я обращал на нее внимание. Какой у нее приятный вид! Замечательная колотушка! А, вот и индюшка. Ура! Как поживаете? С праздником вас.

И что это была за индюшка! Наверное, на ногах не могла стоять от жира, когда жива была.

— А что, ведь ее, пожалуй, не донести до Кэмден-Тауна, — сказал Скрудж. — Нужно взять вам извозчика.

Радостный смех, с которым он сказал это, смех, с которым он заплатил за индюшку, а потом за извозчика и с которым наградил мальчика, уступал разве только тому смеху, с которым он, едва переводя дух, уселся опять в свое кресло и здесь все продолжал смеяться, пока наконец не

заплакал от радости!

Не легкое дело было теперь побриться, потому что руки у него тряслись сильнейшим образом; а бритье требует осторожности даже в спокойном состоянии. Но если бы даже он отрезал себе кончик носа, то наложил бы только кусочек пластыря на обрезанное место — и горя мало.

Он оделся в свое лучшее платье и наконец вышел на улицу. Народ там двигался взад и вперед, как он видел перед этим, находясь в обществе духа настоящего Рождества. Заложив руки за спину, Скрудж посматривал на всех с приятною улыбкою. Вид его был так приветлив, что трое или четверо встречных, находившихся в особенно веселом расположении духа, обратились к нему с приветствием и пожеланием веселого праздника. Скрудж часто потом рассказывал, что это были самые приятные из когда-либо слышанных им звуков.

Он еще не далеко отошел, как увидал шедшего ему навстречу полного господина, который накануне вошел в его контору со словами: «Это контора Скруджа и Марлея, если не ошибаюсь?» Сердце его почувствовало боль при мысли, как посмотрит на него этот господин, когда они встретятся; но он знал, какой путь предстоял ему

теперь, и, не задумываясь, пошел по нему.

— Дорогой сэр, — сказал Скрудж, ускоряя шаги и беря старого джентльмена за обе руки, — как вы поживаете? Надеюсь, что вы имели успех вчера. Это очень хорошо с вашей стороны. Желаю вам веселых праздников, сэр.

— Мистер Скрудж?

— Да, — произнес он, — это мое имя; боюсь только, что оно может быть вам неприятно. Позвольте мне попросить у вас извинения. И не будете ли вы так добры, — тут Скрудж сказал ему что-то на ухо.

— О Боже! — воскликнул джентльмен, пораженный удивлением. — Дорогой мистер Скрудж, да серьезно ли вы говорите?

— Пожалуйста, — ответил Скрудж. — Ни фартинга меньше. Тут много отплат за прежнее, уверяю вас. Так вы мне сделаете это одолжение?

— Дорогой сэр, — сказал тот, тряся ему руку, — не знаю, что и сказать о такой щедрости.

— Пожалуйста, ни слова больше, — возразил Скрудж. — Приходите ко мне. Не правда ли, вы придете?

— Непременно! — ответил старый джентльмен.

Ясно было, что он намерен был исполнить свое

обещание.

— Благодарю вас, — сказал Скрудж. — Очень вам обязан. Сто раз благодарю вас. Дай вам Бог всего хорошего!

Он побывал в церкви, ходил по улицам, наблюдал, как спешили люди туда и сюда, гладил детей по голове, расспрашивал нищих, заглядывал вниз в кухни домов и наверх в окна, находя, что все может доставить ему удовольствие. Ему и во сне никогда не снилось, чтобы прогулка могла принести ему так много счастья. После полудня он направил шаги к дому своего племянника.

Раз десять прошел он мимо двери, прежде чем осмелился подойти к ней и постучать. Наконец, собравшись с духом, он быстро подбежал к ней и ударил молотком.

— Дома ли твой хозяин, моя милая? — сказал Скрудж отворявшей ему горничной. — Славная девушка, право!

— Дома, сэр.

— Где он, моя дорогая? — спросил Скрудж.

— Он в столовой, сэр, с хозяйкой. Не угодно ли вам пожаловать за мною наверх.

— Благодарю. Он меня знает, — ответил Скрудж, уже положив руку на ручку двери в столовую. — Я здесь войду, моя милая.

Он тихонько приотворил дверь и просунул в нее лицо. Муж и жена осматривали в эту минуту парадно накрытый стол. — Ведь молодые хозяева всегда щепетильны на этот счет и любят, чтобы все было как следует.

— Фрэд! — произнес Скрудж.

О, батюшки светы, как вздрогнула с испуга жена его племянника! Скрудж забыл в эту минуту, что она была не совсем здорова, а то бы ни за что на свете не сделал этого.

— Ах, Боже мой! — воскликнул Фрэд. — Кто там?

— Это я. Твой дядя Скрудж. Пришел обедать. Можно войти, Фрэд?

Можно ли войти! Чудо еще, что тот совсем не оторвал у него руки от радости. Не прошло и пяти минут, а Скрудж был уже как у себя дома. Ничто не могло быть сердечнее оказанного ему приема как со стороны племянника, так и со стороны его жены. Так же отнесся к нему и Топпер, когда пришел; так же и толстушка сестрица, когда она пришла; так же — и все остальные явившиеся потом гости. Отличная была эта компания, отличные были игры, удивительное единодушие, замечательное счастье!

Но на следующее утро Скрудж рано уже был в

конторе. Совсем-таки рано. Главное, чтобы ему первому быть там и поймать Боба Крэтчита, когда тот опоздает! Достигнуть этого ему хотелось во что бы то ни стало.

Так он и сделал. Пробило девять часов — Боба нет. Четверть десятого — Боба все нет. Он опоздал на целых восемнадцать минут с половиною. Скрудж сел, оставив свою дверь открытою, чтобы видеть, как тот войдет в свою каморку.

Прежде чем войти, тот уже снял шляпу и шарф. В один миг он очутился на своем стуле и быстро заработал пером, как бы желая нагнать упущенное время.

— Эге! — заворчал Скрудж, стараясь, как только мог, подражать своему обыкновенному голосу. — Что это значит, что вы являетесь сюда в такое время?

— Я очень сожалею, сэр, — сказал Боб. — Я опоздал.

— Вы опоздали? — повторил Скрудж. — Думаю, что так. Не угодно ли вам пожаловать сюда.

— Ведь это только раз в целый год, сэр, — оправдывался Боб, выходя из своей каморки. — В другой раз этого не случится. Уж очень вчера весело было, сэр.

— Вот что я вам скажу, друг мой, — произнес

Скрудж, — я не намерен допускать повторения подобных вещей. А потому, — продолжал он, вскакивая со стула и так ударив Боба, что тот отскочил назад в свою каморку, — а потому хочу прибавить вам жалованья!

Боб задрожал и несколько пододвинулся к линейке. Ему пришла вдруг мысль ударить ею Скруджа, связать его и, призвав на помощь людей с улицы, надеть на него смирительную рубашку.

— С праздником тебя, Боб! — сказал Скрудж таким серьезным тоном, что в нем нельзя было ошибиться, и ударяя конторщика по спине. — Желаю тебе, друг мой, праздника повеселее тех, которые ты видел от меня в течение многих лет! Я прибавлю тебе жалованья и постараюсь помочь твоей бедствующей семье, и сегодня же вечером мы обсудим, Боб, твои дела за стаканом горячего пунша. Разведи-ка огонь да сию же минуту купи другой ящик для угля.

Скрудж оказался еще добрее, чем обещал. Он все сделал и еще несравненно больше; а маленький Тимоша не умер, и Скрудж стал его вторым отцом. Он сделался таким хорошим другом, таким добрым хозяином и человеком, какого только знал свет. Некоторые смеялись происшедшей с ним перемене, но он не обращал на это внима-

ния, так как знал, что какое бы доброе дело ни делалось, всегда найдутся в мире люди, для которых оно послужит предметом насмешки. Зная также, что такие люди бывают слепы во всем, он думал, что пускай их лучше морщинят свои глаза смехом, чем обнаруживают свою болезнь в менее привлекательных формах. Его собственное сердце смеялось, а этого было для него вполне достаточно.

Он больше уже не видался с духами, а прожил остальную жизнь по правилам полного воздержания; и об нем всегда говорили, что он умел чтить Рождество. Хорошо, если то же может быть справедливо сказано про каждого из нас! Итак, повторим слова маленького Тимоши: да благословит Господь всех нас!

1843

БРАТЬЯ ГРИММ
(Якоб и Вильгельм)

Дитя Марии

На опушке большого леса жил дровосек со своею женой, и было у них единственное дитя — трехлетняя девочка. Были они так бедны, что даже без хлеба насущного сиживали и не знали, чем прокормить ребенка.

Однажды поутру дровосек, подавленный своими заботами, отправился на работу в лес. Стал он там рубить дрова, как вдруг появилась перед ним прекрасная высокая женщина с венцом из ярких звезд на голове и сказала: «Я Дева Мария, мать Младенца Христа. Ты беден, обременен нуждою. Принеси мне свое дитя: я возьму его с собою, буду ему матерью и стану о нем заботиться».

Послушался ее дровосек, принес дитя свое и вручил его Деве Марии, которая и взяла его с собой на небо.

Хорошо там зажило дитя: ело пряники сахарные, пило сладкое молоко, в золотые одежды одевалось, и ангелы играли с ним.

Когда же девочке исполнилось четырнадцать лет, позвала ее однажды к себе Дева Мария и сказала: «Милое дитя, предстоит мне путь неблизкий; так вот, возьми ты на хранение ключи от

тринадцати дверей Царства Небесного. Двенадцать дверей можешь отпирать и осматривать все великолепие, но тринадцатую дверь, что вот этим маленьким ключиком отпирается, запрещаю тебе отпирать! Не отпирай ее, не то будешь несчастною!»

Девочка обещала быть послушною, и затем, когда Дева Мария удалилась, она начала осматривать обители Небесного Царства.

Каждый день отпирала она по одной двери, пока не обошла все двенадцать обителей. В каждой сидел апостол в великом сиянии, и девочка радовалась всей этой пышности и великолепию, и ангелы, всюду ее сопровождавшие, радовались вместе с нею.

И вот осталась замкнутою только одна запретная дверь; а девочке очень хотелось узнать, что за нею скрыто, и она сказала ангелам: «Совсем отворять я ее не стану и входить туда не буду, а лишь приотворю настолько, чтобы мы хоть в щелочку могли что-нибудь увидеть». — «Ах нет! — отвечали ангелы. — Это был бы грех: Дева Мария запретила, это может грозить нам великим несчастьем».

Тогда она замолчала, да желание-то в сердце ее не замолкло, а грызло и побуждало ее, и не

давало ей покоя.

И вот однажды, когда все ангелы отлучились, она подумала: «Я одна-одинешенька теперь и могла бы туда заглянуть: никто ведь об этом не узнает».

Отыскала она ключ, взяла его в руку, вложила в замочную скважину, а вставив, повернула. Мигом распахнулась дверь, и увидала она там Пресвятую Троицу, восседающую в пламени и блеске. Мгновение простояла девочка в изумлении, а затем слегка дотронулась пальцем до этого сияния и палец ее стал совсем золотым.

Тут ее охватил сильный страх, она быстро захлопнула дверь и убежала. Но что ни делала она, как ни металась — не проходил ее страх, сердце все продолжало биться и не могло успокоиться; да и золото не сходило с пальца, как она ни мыла и ни терла его.

Вскоре вернулась Дева Мария из своего путешествия, позвала к себе девочку и потребовала обратно ключи от неба.

Когда девочка подавала связку, взглянула ей Приснодева в глаза и спросила: «Не отпирала ли ты и тринадцатую дверь?» — «Нет».

Тогда возложила ей Владычица руку свою на сердце, почувствовала, как оно бьется, и увидала,

что запрещение было нарушено и дверь была отперта.

В другой раз спросила Царица Небесная: «Вправду ль ты этого не делала?» — «Нет», — отвечала вторично девочка.

Тогда взглянула Приснодева на палец ее, позлащенный от прикосновения к небесному пламени, ясно увидела, что девочка согрешила, и спросила ее в третий раз: «Ты точно не делала этого?» И в третий раз отвечала девочка: «Нет».

Тогда сказала Дева Мария: «Ты ослушалась меня да вдобавок еще солгала, а потому недостойна больше оставаться на небе!»

И девочка погрузилась в глубокий сон, а когда проснулась, то лежала внизу, на земле, в пустынной глуши. Она хотела позвать на помощь, но не могла произнести ни звука. Вскочила она и хотела бежать, но в какую сторону ни поворачивалась, везде перед ней возникал стоявший стеною густой терновник, через который она не могла пробраться.

В этой глуши, где она оказалась как бы в плену, стояло старое дуплистое дерево: оно должно было служить ей жилищем. Вползала она туда и спала в дупле, когда наступала ночь; там же в дождь и грозу находила она себе приют.

Но это была жалкая жизнь. Горько плакала девочка, вспоминая о том, как ей хорошо было на небе и как с нею играли ангелы.

Единственной пищей служили ей коренья и лесные ягоды. Осенью собирала она опавшие орехи и листья и относила их в свое дупло: орехами питалась зимой, а когда все кругом покрывалось снегом и льдом, она заползала, как жалкий зверек, во все эти листья, чтобы укрыться от холода.

Одежда ее скоро изорвалась и лохмотьями свалилась с ее тела. Когда же солнышко снова начинало пригревать, она выходила из своего убежища и садилась под деревом, прикрытая своими длинными волосами, словно плащом.

Так прозябала она год за годом, испытывая бедствия и страдания земного существования.

Однажды, когда деревья снова нарядились в свежую зелень, король той страны, охотясь в лесу, преследовал дикую козу, и так как она убежала в кусты, окаймлявшие прогалину со старым деревом, он сошел с коня и мечом прорубил себе путь в зарослях.

Пробившись наконец сквозь эти дебри, он увидел дивно прекрасную девушку, сидевшую под деревом и с головы до пят покрытую волнами своих золотистых волос.

Он остановился, безмолвно, с изумлением вглядываясь в нее, а затем спросил: «Кто ты такая и зачем сидишь ты здесь, в пустыне?»

Она ничего не ответила, потому что уст не могла открыть. Король продолжал: «Хочешь ли ты идти со мной, в мой замок?» На это она ответила только легким кивком головы.

Тогда взял ее король на руки, донес до своего коня и поехал с нею домой, а когда прибыл в свой королевский дворец, приказал облечь ее в пышные одежды и всем наделил ее в изобилии. И хоть она говорить не могла, но была так пленительно прекрасна, что король полюбил ее всем сердцем и немного спустя женился на ней.

Минуло около года, и королева родила сына. И вот ночью, когда она лежала одна в постели, явилась ей Дева Мария и сказала: «Если ты мне всю правду скажешь и повинишься в том, что отворяла запретную дверь, то я открою уста твои и возвращу тебе дар слова; если же ты в грехе своем станешь упорствовать и настойчиво отрицать свою вину, я возьму у тебя твоего новорожденного ребенка».

Королева получила возможность сказать правду, но она упорствовала и опять сказала: «Нет, я не отпирала запретной двери». Тогда Пресвятая

Дева взяла из рук ее новорожденного младенца и скрылась с ним.

Наутро, когда ребенка нигде не могли найти, поднялся ропот в народе: «Королева-де людоедка, родное дитя извела». Она все слышала, да ничего возразить против этого не могла; король же не хотел этому верить, потому что крепко любил ее.

Через год еще сын родился у королевы, и опять ночью вошла к ней Пресвятая Дева и сказала: «Согласна ль ты покаяться в том, что отпирала запретную дверь? Признаешься, так я тебе первенца твоего отдам и возвращу дар слова; если же будешь упорствовать в грехе и отрицать вину свою, отниму у тебя и этого новорожденного младенца». Снова отвечала королева: «Нет, не отпирала я запретной двери». И взяла Владычица из рук ее дитя и вознеслась с ним на небеса. Наутро, когда вновь оказалось, что и это дитя исчезло, народ уже открыто говорил, что королева сожрала его, и королевские советники потребовали суда над нею.

Но король так ее любил, что все не хотел верить обвинению и повелел своим советникам под страхом смертной казни, чтобы они об этом и заикаться не смели.

На следующий год родила королева прехо-

рошенькую девочку и в третий раз явилась ей ночью Пресвятая Дева Мария и сказала: «Следуй за мною!»

Взяла Владычица королеву за руку, повела на небо и показала ей там обоих ее старших детей: они встретили ее веселым смехом, играя державным яблоком Святой Девы.

Возрадовалась королева, глядя на них, а Пресвятая Дева сказала: «Ужели до сих пор не смягчилось твое сердце? Если ты признаешься, что отпирала запретную дверь, я возвращу тебе обоих твоих сыночков».

Но королева в третий раз отвечала: «Нет, не отпирала я запретной двери».

Тогда Владычица снова опустила ее на землю и отняла у нее и третье дитя.

Когда на следующее утро разнеслась весть об исчезновении новорожденной королевны, народ громко завопил: «Королева людоедка! Ее следует казнить!» И король уже не мог более противиться своим советникам.

Нарядили над королевою суд, а так как она не могла ни слова в защиту свою вымолвить, то присудили ее к сожжению на костре.

Навалили дров, и, когда вокруг королевы, крепко привязанной к столбу, со всех сторон стало

подыматься пламя, растаял твердый лед ее гордыни и раскаянье наполнило ее сердце.

Она подумала: «О, если б я могла хоть перед смертью покаяться в том, что отворяла дверь!» Тогда вернулся к ней голос, и она громко воскликнула: «Да, Пресвятая Мария, я совершила это!»

И в тот же миг полился дождь с небес и потушил пламя; ослепительный свет осиял осужденную, и Дева Мария сошла на землю с ее новорожденною дочерью на руках и обоими сыночками по сторонам.

И сказала ей Владычица ласково: «Кто сознается и раскаивается в своем грехе, тому грех прощается!»

Отдала ей Приснодева всех троих детей, возвратила дар слова и осчастливила ее на всю жизнь.

1812

ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ ГОФМАН

Щелкунчик и мышиный король
Елка

Двадцать четвертого декабря детям советника медицины Штальбаума весь день не разрешалось входить в проходную комнату, а уж в смежную с ней гостиную их совсем не пускали. В спальне, прижавшись друг к другу, сидели в уголке Фриц и Мари. Уже совсем стемнело, и им было очень страшно, потому что в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в сочельник. Фриц таинственным шепотом сообщил сестренке (ей только что минуло семь лет), что с самого утра в запертых комнатах чем-то шуршали, шумели и тихонько постукивали. А недавно через прихожую прошмыгнул маленький темный человечек с большим ящиком под мышкой; но Фриц наверное знает, что это их крестный, Дроссельмейер. Тогда Мари захлопала от радости в ладоши и воскликнула:

— Ах, что-то смастерил нам на этот раз крестный?

Старший советник суда Дроссельмейер не отличался красотой: это был маленький, сухонький

человечек с морщинистым лицом, с большим черным пластырем вместо правого глаза и совсем лысый, почему он и носил красивый белый парик; а парик этот был сделан из стекла, и притом чрезвычайно искусно. Крестный сам был великим искусником, он даже знал толк в часах и даже умел их делать. Поэтому, когда у Штальбаумов начинали капризничать и переставали петь какие-нибудь часы, всегда приходил крестный Дроссельмейер, снимал стеклянный парик, стаскивал желтенький сюртучок, повязывал голубой передник и тыкал часы колючими инструментами, так что маленькой Мари было их очень жалко; но вреда часам он не причинял, наоборот — они снова оживали и сейчас же принимались весело тик-тикать, звонить и петь, и все этому очень радовались. И всякий раз у крестного в кармане находилось что-нибудь занимательное для ребят: то человечек, ворочающий глазами и шаркающий ножкой, так что на него нельзя смотреть без смеха, то коробочка, из которой выскакивает птичка, то еще какая-нибудь штучка. А к Рождеству он всегда мастерил красивую, затейливую игрушку, над которой много трудился. Поэтому родители тут же заботливо убирали его подарок.

— Ах, что-то смастерил нам на этот раз крест-

ный! — воскликнула Мари.

Фриц решил, что в нынешнем году это непременно будет крепость, а в ней будут маршировать и выкидывать артикулы прехорошенькие нарядные солдатики, а потом появятся другие солдатики и пойдут на приступ, но те солдаты, что в крепости, отважно выпалят в них из пушек, и поднимется шум и грохот.

— Нет, нет, — перебила Фрица Мари, — крестный рассказывал мне о прекрасном саде. Там большое озеро, по нему плавают чудо какие красивые лебеди с золотыми ленточками на шее и распевают красивые песни. Потом из сада выйдет девочка, подойдет к озеру, приманит лебедей и будет кормить их сладким марципаном…

— Лебеди не едят марципана, — не очень вежливо перебил ее Фриц, — а целый сад крестному и не сделать. Да и какой толк нам от его игрушек? У нас тут же их отбирают. Нет, мне куда больше нравятся папины и мамины подарки: они остаются у нас, мы сами ими распоряжаемся.

И вот дети принялись гадать, что им подарят родители. Мари сказала, что мамзель Трудхен (ее большая кукла) совсем испортилась: она стала такой неуклюжей, то и дело падает на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отмети-

нах, а уж водить ее в чистом платье нечего и думать. Сколько ей ни выговаривай, ничего не помогает. И потом, мама улыбнулась, когда Мари так восхищалась Гретиным зонтичком. Фриц же уверял, что у него в придворной конюшне как раз не хватает гнедого коня, а в войсках маловато кавалерии. Папе это хорошо известно.

Итак, дети отлично знали, что родители накупили им всяких чудесных подарков и сейчас расставляют их на столе; но в то же время они не сомневались, что добрый Младенец Христос осиял все своими ласковыми и кроткими глазами и что рождественские подарки, словно тронутые его благостной рукой, доставляют больше радости, чем все другие. Про это напомнила детям, которые без конца шушукались об ожидаемых подарках, старшая сестра Луиза, прибавив, что Младенец Христос всегда направляет руку родителей и детям дарят то, что доставляет им истинную радость и удовольствие; а об этом он знает гораздо лучше самих детей, которые поэтому не должны ни о чем ни думать, ни гадать, а спокойно и послушно ждать, что им подарят. Сестрица Мари призадумалась, а Фриц пробормотал себе под нос: «А все-таки мне бы хотелось гнедого коня и гусаров».

Совсем стемнело. Фриц и Мари сидели, крепко прижавшись друг к другу, и не смели проронить ни слова; им чудилось, будто над ними веют тихие крылья и издалека доносится прекрасная музыка. Светлый луч скользнул по стене, тут дети поняли, что Младенец Христос отлетел на сияющих облаках к другим счастливым детям. И в то же мгновение прозвучал тонкий серебряный колокольчик: «Динь-динь-динь-динь!» Двери распахнулись, и елка засияла таким блеском, что дети с громким криком: «Ах, ах!» — замерли на пороге. Но папа и мама подошли к двери, взяли детей за руки и сказали:

— Идемте, идемте, милые детки, посмотрите, чем одарил вас Младенец Христос!

Подарки

Я обращаюсь непосредственно к тебе, благосклонный читатель или слушатель, — Фриц, Теодор, Эрнст, все равно, как бы тебя ни звали, — и прошу как можно живее вообразить себе рождественский стол, весь заставленный чудными пестрыми подарками, которые ты получил в нынешнее Рождество, тогда тебе нетрудно будет понять, что дети, обомлев от восторга, замерли

на месте и смотрели на все сияющими глазами.

Только минуту спустя Мари глубоко вздохнула и воскликнула:

— Ах, как чудно, ах, как чудно!

А Фриц несколько раз высоко подпрыгнул, на что был большой мастер. Уж наверно дети весь год были добрыми и послушными, потому что еще ни разу они не получали таких чудесных, красивых подарков, как сегодня.

Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и вообще всякие сласти. Но больше всего украшали чудесное дерево сотни маленьких свечек, которые, как звездочки, сверкали в густой зелени, и елка, залитая огнями и озарявшая все вокруг, так и манила сорвать растущие на ней цветы и плоды. Вокруг дерева все пестрело и сияло. И чего там только не было! Не знаю, кому под силу это описать!.. Мари увидела нарядных кукол, хорошенькую игрушечную посуду, но больше всего обрадовало ее шелковое платьице, искусно отделанное цветными лентами и висевшее так, что Мари могла любоваться им со всех сторон; она и любовалась им всласть, то и дело повторяя:

— Ах, какое красивое, какое милое, милое платьице! И мне позволят, наверное позволят, в самом деле позволят его надеть!

Фриц тем временем уже три или четыре раза галопом и рысью проскакал вокруг стола на новом гнедом коне, который, как он и предполагал, стоял на привязи у стола с подарками. Слезая, он сказал, что конь — лютый зверь, но ничего: уж он его вышколит. Потом он произвел смотр новому эскадрону гусар; они были одеты в великолепные красные мундиры, шитые золотом, размахивали серебряными саблями и сидели на таких белоснежных конях, что можно подумать, будто и кони тоже из чистого серебра.

Только что дети, немного угомонившись, хотели взяться за книжки с картинками, лежавшие раскрытыми на столе, чтобы можно было любоваться разными замечательными цветами, пестро раскрашенными людьми и хорошенькими играющими детками, так натурально изображенными, будто они и впрямь живые и вот-вот заговорят, — так вот, только что дети хотели взяться за чудесные книжки, как опять прозвенел колокольчик. Дети знали, что теперь черед подаркам крестного Дроссельмейера, и подбежали к столу, стоявшему у стены. Ширмы,

за которыми до тех пор был скрыт стол, быстро убрали. Ах, что увидели дети! На зеленой, усеянной цветами лужайке стоял замечательный замок со множеством зеркальных окон и золотых башен. Заиграла музыка, двери и окна распахнулись, и все увидели, что в залах прохаживаются крошечные, но очень изящно сделанные кавалеры и дамы в шляпах с перьями и в платьях с длинными шлейфами. В центральном зале, который так весь и сиял (столько свечек горело в серебряных люстрах!), под музыку плясали дети в коротких камзольчиках и юбочках. Господин в изумрудно-зеленом плаще выглядывал из окна, раскланивался и снова прятался, а внизу, в дверях замка, появлялся и снова уходил крестный Дроссельмейер, только ростом он был с папин мизинец, не больше.

Фриц положил локти на стол и долго рассматривал чудесный замок с танцующими и прохаживающимися человечками. Потом он попросил:

— Крестный, а крестный! Пусти меня к себе в замок!

Старший советник суда сказал, что этого никак нельзя. И он был прав: со стороны Фрица глупо было проситься в замок, который вместе со всеми

своими золотыми башнями был меньше его. Фриц согласился. Прошла еще минутка, в замке все так же прохаживались кавалеры и дамы, танцевали дети, выглядывал все из того же окна изумрудный человечек, а крестный Дроссельмейер подходил все к той же двери.

Фриц в нетерпении воскликнул:

— Крестный, а теперь выйди из той, другой, двери!

— Никак этого нельзя, милый Фрицхен, — возразил старший советник суда.

— Ну, тогда, — продолжал Фриц, — вели зеленому человечку, что выглядывает из окна, погулять с другими по залам.

— Этого тоже никак нельзя, — снова возразил старший советник суда.

— Ну, тогда пусть спустятся вниз дети! — воскликнул Фриц. — Мне хочется получше их рассмотреть.

— Ничего этого нельзя, — сказал старший советник суда раздраженным тоном. — Механизм сделан раз навсегда, его не переделаешь.

— Ах, та-ак! — протянул Фриц. — Ничего этого нельзя… Послушай, крестный, раз нарядные человечки в замке только и знают, что повторять одно и то же, так что в них толку? Мне они не

нужны. Нет, мои гусары куда лучше! Они маршируют вперед, назад, как мне вздумается, и не заперты в доме.

И с этими словами он убежал к рождественскому столу, и по его команде эскадрон на серебряных копях начал с какать туда и сюда — по всем направлениям, рубить саблями и стрелять сколько душе угодно. Мари тоже потихоньку отошла: и ей тоже наскучили танцы и гулянье куколок в замке. Только она постаралась сделать это незаметно, не так, как братец Фриц, потому что она была доброй и послушной девочкой. Старший советник суда сказал недовольным тоном родителям:

— Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок.

Но тут мать попросила показать ей внутреннее устройство и удивительный, очень искусный механизм, приводивший в движение человечков. Дроссельмейер разобрал и снова собрал всю игрушку. Теперь он опять повеселел и подарил детям несколько красивых коричневых человечков, у которых были золотые лица, руки и ноги; все они были из Торна и превкусно пахли пряниками. Фриц и Мари очень им обрадовались. Старшая сестра Луиза, по желанию матери,

надела подаренное родителями нарядное платье, которое ей очень шло; а Мари попросила, чтоб ей позволили, раньше чем надевать новое платье, еще немножко полюбоваться на него, что ей охотно разрешили.

Любимец

А на самом деле Мари потому не отходила от стола с подарками, что только сейчас заметила что-то, чего раньше не видела: когда выступили гусары Фрица, до того стоявшие в строю у самой елки, очутился на виду замечательный человечек. Он вел себя тихо и скромно, словно спокойно ожидая, когда дойдет очередь и до него. Правда, он был не очень складный: чересчур длинное и плотное туловище на коротеньких и тонких ножках, да и голова тоже как будто великовата. Зато по щегольской одежде сразу было видно, что это человек благовоспитанный и со вкусом. На нем был очень красивый блестящий фиолетовый гусарский доломан, весь в пуговичках и позументах, такие же рейтузы и столь щегольские сапожки, что едва ли доводилось носить подобные и офицерам, а тем паче студентам; они сидели на субтильных ножках так ловко, будто

были на них нарисованы. Конечно, нелепо было, что при таком костюме он прицепил на спину узкий неуклюжий плащ, словно выкроенный из дерева, а на голову нахлобучил шапчонку рудокопа, но Мари подумала: «Ведь крестный Дроссельмейер тоже ходит в прескверном рединготе и в смешном колпаке, но это не мешает ему быть милым, дорогим крестным». Кроме того, Мари пришла к заключению, что крестный, будь он даже таким же щеголем, как человечек, все же никогда не сравняется с ним по миловидности. Внимательно вглядываясь в славного человечка, который полюбился ей с первого же взгляда, Мари заметила, каким добродушием светилось его лицо. Зеленоватые навыкате глаза смотрели приветливо и доброжелательно. Человечку очень шла тщательно завитая борода из белой бумажной штопки, окаймлявшая подбородок, — ведь так заметнее выступала ласковая улыбка на его алых губах.

— Ах! — воскликнула наконец Мари. — Ах, милый папочка, для кого этот хорошенький человечек, что стоит под самой елкой?

— Он, милая деточка, — ответил отец, — будет усердно трудиться для всех вас: его дело — аккуратно разгрызать твердые орехи, и куплен он и

для Луизы, и для тебя с Фрицем.

С этими словами отец бережно взял его со стола, приподнял деревянный плащ, и тогда человечек широко-широко разинул рот и оскалил два ряда очень белых острых зубов. Мари всунула ему в рот орех, и — щелк! — человечек разгрыз его, скорлупа упала, и у Мари на ладони очутилось вкусное ядрышко. Теперь уже все — и Мари тоже — поняли, что нарядный человечек вел свой род от Щелкунчиков и продолжал профессию предков. Мари громко вскрикнула от радости, а отец сказал:

— Раз тебе, милая Мари, Щелкунчик пришелся по вкусу, так ты уж сама и заботься о нем и береги его, хотя, как я уже сказал, и Луиза и Фриц тоже могут пользоваться его услугами.

Мари сейчас же взяла Щелкунчика и дала ему грызть орехи, но она выбирала самые маленькие, чтобы человечку не приходилось слишком широко разевать рот, так как это, по правде сказать, его не красило. Луиза присоединилась к ней, и любезный друг Щелкунчик потрудился и для нее; казалось, он выполнял свои обязанности с большим удовольствием, потому что неизменно приветливо улыбался.

Фрицу тем временем надоело скакать на коне

и маршировать. Когда он услыхал, как весело щелкают орешки, ему тоже захотелось их отведать. Он подскочил к сестрам и от всего сердца расхохотался при виде потешного человечка, который теперь переходил из рук в руки и неустанно разевал и закрывал рот. Фриц совал ему самые большие и твердые орехи, но вдруг раздался треск — крак-крак! — три зуба выпали у Щелкунчика изо рта, и нижняя челюсть отвисла и зашаталась.

— Ах, бедный, милый Щелкунчик! — закричала Мари и отобрала его у Фрица.

— Что за дурак! — сказал Фриц. — Берется орехи щелкать, а у самого зубы никуда не годятся. Верно, он и дела своего не знает. Дай его сюда, Мари! Пусть щелкает мне орехи. Не беда, если и остальные зубы обломает, да и всю челюсть в придачу. Нечего с ним, бездельником, церемониться!

— Нет, нет! — с плачем закричала Мари. — Не отдам я тебе моего милого Щелкунчика. Посмотри, как жалостно глядит он на меня и показывает свой больной ротик! Ты злой: ты бьешь своих лошадей и даже позволяешь солдатам убивать друг друга.

— Так полагается, тебе этого не понять! — крикнул Фриц. — А Щелкунчик не только твой, он и

мой тоже. Давай его сюда!

Мари разрыдалась и поскорее завернула больного Щелкунчика в носовой платок. Тут подошли родители с крестным Дроссельмейером. К огорчению Мари, он принял сторону Фрица. Но отец сказал:

— Я нарочно отдал Щелкунчика на попечение Мари. А он, как я вижу, именно сейчас особенно нуждается в ее заботах, так пусть уж она одна им и распоряжается и никто в это дело не вмешивается. Вообще меня очень удивляет, что Фриц требует дальнейших услуг от пострадавшего на службе. Как настоящий военный, он должен знать, что раненых никогда не оставляют в строю.

Фриц очень сконфузился и, оставив в покое орехи и Щелкунчика, тихонько перешел на другую сторону стола, где его гусары, выставив, как полагается, часовых, расположились на ночлег. Мари подобрала выпавшие у Щелкунчика зубы; пострадавшую челюсть она подвязала красивой белой ленточкой, которую отколола от своего платья, а потом еще заботливее укутала платком бедного человечка, побледневшего и, видимо, напуганного. Баюкая его, как маленького ребенка, она принялась рассматривать красивые картинки в новой книге, которая лежала среди

других подарков. Она очень рассердилась, хотя это было совсем на нее не похоже, когда крестный стал смеяться над тем, что она нянчится с таким уродцем. Тут она опять подумала о странном сходстве с Дроссельмейером, которое отметила уже при первом взгляде на человечка, и очень серьезно сказала:

— Как знать, милый крестный, как знать, был бы ты таким же красивым, как мой милый Щелкунчик, даже если бы принарядился не хуже его и надел такие же щегольские, блестящие сапожки.

Мари не могла понять, почему так громко рассмеялись родители, и почему у старшего советника суда так зарделся нос, и почему он теперь не смеется вместе со всеми. Верно, на то были свои причины.

Чудеса

Как только войдешь к Штальбаумам в гостиную, тут, сейчас же у двери налево, у широкой стены, стоит высокий стеклянный шкаф, куда дети убирают прекрасные подарки, которые получают каждый год. Луиза была еще совсем маленькой, когда отец заказал шкаф очень умелому столяру, а тот вставил в него такие прозрачные

стекла и вообще сделал все с таким умением, что в шкафу игрушки выглядели, пожалуй, даже еще ярче и красивей, чем когда их брали в руки. На верхней полке, до которой Мари с Фрицем было не добраться, стояли замысловатые изделия господина Дроссельмейера; следующая была отведена под книжки с картинками; две нижние полки Мари и Фриц могли занимать, чем им угодно. И всегда выходило так, что Мари устраивала на нижней полке кукольную комнату, а Фриц над ней расквартировывал свои войска. Так случилось и сегодня. Пока Фриц расставлял наверху гусар, Мари отложила внизу к сторонке мамзель Трудхен, посадила новую нарядную куклу в отлично обставленную комнату и напросилась к ней на угощение. Я сказал, что комната была отлично обставлена, и это правда; не знаю, есть ли у тебя, моя внимательная слушательница Мари, также как у маленькой Штальбаум — ты уже знаешь, что ее тоже зовут Мари, — так вот я говорю, что не знаю, есть ли у тебя, также как у нее, пестрый диванчик, несколько прехорошеньких стульчиков, очаровательный столик, а главное, нарядная, блестящая кроватка, на которой спят самые красивые на свете куклы, — все это стояло в уголке в шкафу, стенки которого в этом месте

были даже оклеены цветными картинками, и ты легко поймешь, что новая кукла, которую, как в этот вечер узнала Мари, звали Клерхен, чувствовала себя здесь прекрасно.

Был уже поздний вечер, приближалась полночь, и крестный Дроссельмейер давно ушел, а дети все еще не могли оторваться от стеклянного шкафа, как мама ни уговаривала их идти спать.

— Правда, — воскликнул наконец Фриц, — беднягам (он имел в виду своих гусар) тоже пора на покой, а в моем присутствии никто из них не посмеет клевать носом, в этом уж я уверен!

И с этими словами он ушел. Но Мари умильно просила:

— Милая мамочка, позволь мне побыть здесь еще минуточку, одну только минуточку! У меня так много дел, вот управлюсь и сейчас же лягу спать...

Мари была очень послушной, разумной девочкой, и потому мама могла спокойно оставить ее еще на полчасика одну с игрушками. Но чтобы Мари, заигравшись новой куклой и другими занимательными игрушками, не позабыла погасить свечи, горевшие вокруг шкафа, мама все их задула, так что в комнате осталась только лампа, висевшая посреди потолка и распространявшая

мягкий, уютный свет.

— Не засиживайся долго, милая Мари. А то тебя завтра не добудишься, — сказала мама, уходя в спальню.

Как только Мари осталась одна, она сейчас же приступила к тому, что уже давно лежало у нее на сердце, хотя она, сама не зная почему, не решилась признаться в задуманном даже матери. Она все еще баюкала укутанного в носовой платок Щелкунчика. Теперь она бережно положила его на стол, тихонько развернула платок и осмотрела раны. Щелкунчик был очень бледен, но улыбался так жалостно и ласково, что тронул Мари до глубины души.

— Ах, Щелкунчик, миленький, — зашептала она, — пожалуйста, не сердись, что Фриц сделал тебе больно: он ведь не нарочно. Просто он огрубел от суровой солдатской жизни, а так он очень хороший мальчик, уж поверь мне! А я буду беречь тебя и заботливо выхаживать, пока ты совсем не поправишься и не повеселеешь. Вставить же тебе крепкие зубки, вправить плечи — это уж дело крестного Дроссельмейера: он на такие штуки мастер…

Однако Мари не успела договорить. Когда она упомянула имя Дроссельмейера, Щелкун-

чик вдруг скорчил злую мину и в глазах у него сверкнули колючие зеленые огоньки. Но в ту минуту, когда Мари собралась уже по-настоящему испугаться, на нее опять глянуло жалобно улыбающееся лицо доброго Щелкунчика, и теперь она поняла, что черты его исказил свет мигнувшей от сквозняка лампы.

— Ах, какая я глупая девочка, ну чего я напугалась и даже подумала, будто деревянная куколка может корчить гримасы! А все-таки я очень люблю Щелкунчика: ведь он такой потешный и такой добренький… Вот и надо за ним ухаживать как следует.

С этими словами Мари взяла своего Щелкунчика на руки, подошла к стеклянному шкафу, присела на корточки и сказала новой кукле:

— Очень прошу тебя, мамзель Клерхен, уступи свою постельку бедному больному Щелкунчику, а сама переночуй как-нибудь на диване. Подумай, ты ведь такая крепкая, и потом, ты совсем здорова — ишь какая ты круглолицая и румяная. Да и не у всякой, даже очень красивой куклы есть такой мягкий диван!

Мамзель Клерхен, разряженная по-праздничному и важная, надулась, не проронив ни слова.

— И чего я церемонюсь! — сказала Мари, сняла

с полки кровать, бережно и заботливо уложила туда Щелкунчика, обвязала ему пострадавшие плечики очень красивой ленточкой, которую носила вместо кушака, и накрыла его одеялом по самый нос.

«Только незачем ему здесь оставаться у невоспитанной Клары», — подумала она и переставила кроватку вместе с Щелкунчиком на верхнюю полку, где он очутился около красивой деревни, в которой были расквартированы гусары Фрица. Она заперла шкаф и собралась уже уйти в спальню, как вдруг… слушайте внимательно, дети!., как вдруг во всех углах — за печью, за стульями, за шкафами — началось тихое-тихое шушуканье, перешептыванье и шуршанье. А часы на стене зашипели, захрипели все громче и громче, но никак не могли пробить двенадцать. Мари глянула туда: большая золоченая сова, сидевшая на часах, свесила крылья, совсем заслонила ими часы и вытянула вперед противную кошачью голову с кривым клювом. А часы хрипели громче и громче, и Мари явственно расслышала:

— Тик-и-так, тик-и-так! Не хрипите громко так! Слышит все король мышиный. Трик-и-трак, бум-бум! Ну, часы, напев старинный! Трик-и-трак, бум-бум! Ну, пробей, пробей, звонок: королю

подходит срок!

И… «бим-бом, бим-бом!» — часы глухо и хрипло пробили двенадцать ударов. Мари очень струсила и чуть не убежала со страху, но тут она увидела, что на часах вместо совы сидит крестный Дроссельмейер, свесив полы своего желтого сюртука по обеим сторонам, словно крылья. Она собралась с духом и громко крикнула плаксивым голосом:

— Крестный, послушай, крестный, зачем ты туда забрался? Слезай вниз и не пугай меня, гадкий крестный!

Но тут отовсюду послышалось странное хихиканье и писк, и за стеной пошли беготня и топот, будто от тысячи крошечных лапок, и тысячи крошечных огонечков глянули сквозь щели в полу. Но это были не огоньки — нет, а маленькие блестящие глазки, и Мари увидела, что отовсюду выглядывают и выбираются из-под пола мыши. Вскоре по всей комнате пошло: топ-топ, хоп-хоп! Все ярче светились глаза мышей, все несметнее становились их полчища; наконец они выстроились в том же порядке, в каком Фриц обычно выстраивал своих солдатиков перед боем. Мари это очень насмешило; у нее не было врожденного отвращения к мышам, как у иных детей, и

страх ее совсем было улегся, но вдруг послышался такой ужасный и пронзительный писк, что у нее по спине забегали мурашки. Ах, что она увидела! Нет, право же, уважаемый читатель Фриц, я отлично знаю, что у тебя, как и у мудрого, отважного полководца Фрица Штальбаума, бесстрашное сердце, но если бы ты увидел то, что предстало взорам Мари, право, ты бы удрал. Я даже думаю, ты бы шмыгнул в постель и без особой надобности натянул одеяло по самые уши. Ах, бедная Мари не могла этого сделать, потому что — вы только послушайте, дети! — к самым ногам ее, словно от подземного толчка, дождем посыпались песок, известка и осколки кирпича, и из-под пола с противным шипеньем и писком вылезли семь мышиных голов в семи ярко сверкающих коронах. Вскоре выбралось целиком и все туловище, на котором сидели семь голов, и все войско хором трижды приветствовало громким писком огромную, увенчанную семью диадемами мышь. Теперь войско сразу пришло в движение и — хоп-хоп, топ-топ! — направилось прямо к шкафу, прямо на Мари, которая все еще стояла, прижавшись к стеклянной дверце.

От ужаса у Мари уже и раньше так колотилось сердце, что она боялась, как бы оно тут же не вы-

прыгнуло из груди, — ведь тогда бы онаумерла. Теперь же ей показалось, будто кровь застыла у нее в жилах. Она зашаталась, теряя сознание, но тут вдруг раздалось: клик-клак-хрр!.. — и посыпались осколки стекла, которое Мари разбила локтем. В ту же минуту она почувствовала жгучую боль в левой руке, но у нее сразу отлегло от сердца: она не слышала больше визга и писка. Все мигом стихло. И хотя она не смела открыть глаза, все же ей подумалось, что звон стекла испугал мышей и они попрятались по норам.

Но что же это опять такое? У Мари за спиной, в шкафу, поднялся странный шум и зазвенели тоненькие голосочки:

— Стройся, взвод! Стройся, взвод! В бой вперед! Полночь бьет! Стройся, взвод! В бой вперед!

И начался стройный и приятный перезвон мелодичных колокольчиков.

— Ах, да ведь это же мой музыкальный ящик! — обрадовалась Мари и быстро отскочила от шкафа.

Тут она увидела, что шкаф странно светится и в нем идет какая-то возня и суетня.

Куклы беспорядочно бегали взад и вперед и размахивали ручками. Вдруг поднялся Щелкунчик, сбросил одеяло и, одним прыжком соскочив

с кровати, громко крикнул:

— Щелк-щелк-щелк, глупый мыший полк! То-то будет толк, мыший полк! Щелк-щелк, мыший полк — прет из щелок — выйдет толк!

И при этом он выхватил свою крохотную сабельку, замахал ею в воздухе и закричал:

— Эй вы, мои верные вассалы, други и братья! Постоите ли вы за меня в тяжком бою?

И сейчас же отозвались три скарамуша, Панталоне, четыре трубочиста, два бродячих музыканта и барабанщик:

— Да, наш государь, мы верны вам до гроба! Ведите нас в бой — на смерть или на победу!

И они ринулись вслед за Щелкунчиком, который, горя воодушевлением, отважился на отчаянный прыжок с верхней полки. Им-то было хорошо прыгать: они не только были разряжены в шелк и бархат, но и туловище у них было набито ватой и опилками; вот они и шлепались вниз, будто кулечки с шерстью. Но бедный Щелкунчик уж наверное переломал бы себе руки и ноги; подумайте только — от полки, где он стоял, до нижней было почти два фута, а сам он был хрупкий, словно выточенный из липы. Да, Щелкунчик уж наверное переломал бы себе руки и ноги, если бы в тот самый миг, как он прыгнул,

мамзель Клерхен не соскочила с дивана и не приняла в свои нежные объятия потрясающего мечом героя.

— О милая, добрая Клерхен! — в слезах воскликнула Мари, — как я ошиблась в тебе! Уж конечно, ты от всего сердца уступила кроватку дружку Щелкунчику.

И вот мамзель Клерхен заговорила, нежно прижимая юного героя к своей шелковой груди:

— Разве можно вам, государь, идти в бой, навстречу опасности, больным и с не зажившими еще ранами! Взгляните, вот собираются ваши храбрые вассалы, они рвутся в бой и уверены в победе. Скарамуш, Панталоне, трубочисты, музыканты и барабанщик уже внизу, а среди куколок с сюрпризами у меня на полке заметно сильное оживление и движение. Соблаговолите, о государь, отдохнуть у меня на груди или же согласитесь созерцать вашу победу с высоты моей шляпы, украшенной перьями. — Так говорила Клерхен; но Щелкунчик вел себя совсем неподобающим образом и так брыкался, что Клерхен пришлось поскорее поставить его на полку. В то же мгновение он весьма учтиво опустился на одно колено и пролепетал:

— О прекрасная дама, и на поле брани не

позабуду я оказанные мне вами милость и благоволение!

Тогда Клерхен нагнулась так низко, что схватила его за ручку, осторожно приподняла, быстро развязала на себе расшитый блестками кушак и собиралась нацепить его на человечка, но он отступил на два шага, прижал руку к сердцу и произнес весьма торжественно:

— О прекрасная дама, не извольте расточать на меня ваши милости, ибо… — он запнулся, глубоко вздохнул, быстро сорвал с плеча ленточку, которую повязала ему Мари, прижал ее к губам, повязал на руку в виде шарфа и, с воодушевлением размахивая сверкающим обнаженным мечом, спрыгнул быстро и ловко, словно птичка, с края полки на пол.

Вы, разумеется, сразу поняли, мои благосклонные и весьма внимательные слушатели, что Щелкунчик еще до того, как по-настоящему ожил, уже отлично чувствовал любовь и заботы, которыми окружила его Мари, и что только из симпатии к ней он не хотел принять от мамзель Клерхен ее пояс, несмотря на то что тот был очень красив и весь сверкал. Верный, благородный Щелкунчик предпочитал украсить себя скромной ленточкой Мари. Но что-то будет дальше?

Едва Щелкунчик прыгнул на пол, как вновь поднялся визг и писк. Ах, ведь под большим столом собрались несметные полчища злых мышей, и впереди всех выступает отвратительная мышь о семи головах!

Что-то будет?

Битва

— Барабанщик, мой верный вассал, бей общее наступление! — громко скомандовал Щелкунчик.

И тотчас же барабанщик начал выбивать дробь искуснейшим манером, так что стеклянные дверцы шкафа задрожали и задребезжали. А в шкафу что-то загремело и затрещало, и Мари увидела, как разом открылись все коробки, в которых были расквартированы войска Фрица, и солдаты выпрыгнули из них прямо на нижнюю полку и там выстроились блестящими рядами. Щелкунчик бегал вдоль рядов, воодушевляя войска своими речами.

— Где эти негодяи трубачи? Почему они не трубят? — закричал в сердцах Щелкунчик. Затем он быстро повернулся к слегка побледневшему Панталоне, у которого сильно трясся длинный

подбородок, и торжественно произнес — Генерал, мне известны ваши доблесть и опытность. Все дело в быстрой оценке положения и использовании момента. Вверяю вам командование всей кавалерией и артиллерией. Коня вам не требуется — у вас очень длинные ноги, так что вы отлично поскачете и на своих на двоих. Исполняйте свой долг!

Панталоне тотчас всунул в рот длинные сухие пальцы и свистнул так пронзительно, будто звонко запели сто дудок враз. В шкафу послышалось ржанье и топот, и — гляди-ка! — кирасиры и драгуны Фрица, а впереди всех новые, блестящие гусары, выступили в поход и вскоре очутились внизу, на полу. И вот полки один за другим промаршировали перед Щелкунчиком с развевающимися знаменами и с барабанным боем и выстроились широкими рядами поперек всей комнаты. Все пушки Фрица, сопровождаемые пушкарями, с грохотом выехали вперед и пошли бухать: бум-бум!.. И Мари увидела, как в густые полчища мышей полетело драже, напудрив их добела сахаром, отчего они очень сконфузились. Но больше всего вреда нанесла мышам тяжелая батарея, въехавшая на мамину скамеечку для ног и — бум-бум! — непрерывно обстреливавшая

неприятеля круглыми пряничками, от которых полегло немало мышей.

Однако мыши все наступали и даже захватили несколько пушек; но тут поднялся шум и грохот — трр-трр! — и из-за дыма и пыли Мари с трудом могла разобрать, что происходит. Одно было ясно: обе армии бились с большим ожесточением, и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Мыши вводили в бой все свежие и свежие силы, и серебряные пилюльки, которые они бросали весьма искусно, долетали уже до самого шкафа. Клерхен и Трудхен метались по полке и в отчаянии ломали ручки.

— Неужели я умру во цвете лет, неужели умру я, такая красивая кукла! — вопила Клерхен.

— Не для того же я так хорошо сохранилась, чтобы погибнуть здесь, в четырех стенах! — причитала Трудхен.

Потом они упали друг другу в объятия и так громко разревелись, что их не мог заглушить даже бешеный грохот битвы.

Вы и понятия не имеете, дорогие мои слушатели, что здесь творилось. Раз за разом бухали пушки: прр-прр!.. Др-др!.. Трах-тара-рах-трах-тарарах!.. Бум-бурум-бум-бурум-бум!.. И тут же пищали и визжали мышиный король и мыши,

а потом снова раздавался грозный и могучий голос Щелкунчика, командовавшего сражением. И было видно, как сам он обходит под огнем свои батальоны.

Панталоне провел несколько чрезвычайно доблестных кавалерийских атак и покрыл себя славой. Но мышиная артиллерия засыпала гусар Фрица отвратительными, зловонными ядрами, которые оставляли на их красных мундирах ужасные пятна, почему гусары и не рвались вперед. Панталоне скомандовал им «налево кругом» и, воодушевившись ролью полководца, сам повернул налево, а за ним последовали кирасиры и драгуны, и вся кавалерия отправилась восвояси. Теперь положение батареи, занявшей позицию на скамеечке для ног, стало угрожаемым; не пришлось долго ждать, как нахлынули полчища противных мышей и бросились в атаку столь яростно, что перевернули скамеечку вместе с пушками и пушкарями. Щелкунчик, по-видимому, был очень озадачен и скомандовал отступление на правом фланге. Ты знаешь, о мой многоопытный в ратном деле слушатель Фриц, что подобный маневр означает чуть ли не то же самое, что бегство с поля брани, и ты вместе со мной уже сокрушаешься о неудаче, которая

должна была постигнуть армию маленького любимца Мари — Щелкунчика. Но отврати свой взор от этой напасти и взгляни на левый фланг Щелкунчиковой армии, где все обстоит вполне благополучно и полководец и армия еще полны надежды. В пылу битвы из-под комода тихонечко выступили отряды мышиной кавалерии и с отвратительным писком яростно набросились на левый фланг Щелкунчиковой армии; но какое сопротивление встретили они! Медленно, насколько позволяла неровная местность, ибо надо было перебраться через край шкафа, выступил и построился в каре корпус куколок с сюрпризами под предводительством двух китайских императоров. Эти бравые, очень пестрые и нарядные великолепные полки, составленные из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, арлекинов, купидонов, львов, тигров, мартышек и обезьян, сражались с хладнокровием, отвагой и выдержкой. С мужеством, достойным спартанцев, вырвал бы этот отборный батальон победу из рук врага, если бы некий бравый вражеский ротмистр не прорвался с безумной отвагой к одному из китайских императоров и не откусил ему голову, а тот при падении не задавил двух тунгусов и мартышку. Вследствие этого образовалась

брешь, куда и устремился враг; и вскоре весь батальон был перегрызен. Но мало выгоды извлек неприятель из этого злодеяния. Как только кровожадный солдат мышиной кавалерии перегрызал пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, от чего он умирал на месте. Но помогло ли это Щелкунчиковой армии, которая, раз начав отступление, отступала все дальше и дальше и несла все больше потерь, так что вскоре только кучка смельчаков с злосчастным Щелкунчиком во главе еще держалась у самого шкафа? «Резервы, сюда! Панталоне, скарамуш, барабанщик, где вы?» — взывал Щелкунчик, рассчитывавший на прибытие свежих сил, которые должны были выступить из стеклянного шкафа. Правда, оттуда прибыло несколько коричневых человечков из Торна, с золотыми лицами и в золотых шлемах и шляпах; но они дрались так неумело, что ни разу не попали во врага и, вероятно, сбили бы с головы шапочку своему полководцу Щелкунчику Неприятельские егеря вскоре отгрызли им ноги, так что они попадали и при этом передавили многих соратников Щелкунчика. Теперь Щелкунчик, со всех сторон теснимый врагом, находился в большой опасности. Он хотел было перепрыгнуть

через край шкафа, но ноги у него были слишком коротки. Клерхен и Трудхен лежали в обмороке — помочь ему они не могли. Гусары и драгуны резво скакали мимо него прямо в шкаф. Тогда он в предельном отчаянии громко воскликнул:

— Коня, коня! Пол царства за коня!

В этот миг два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ, и мышиный король подскочил к Щелкунчику, испуская победный писк из всех своих семи глоток.

Мари больше не владела собой.

— О мой бедный Щелкунчик! — воскликнула она, рыдая, и, не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги туфельку и изо всей силы швырнула ею в самую гущу мышей, прямо в их короля.

В тот же миг все словно прахом рассыпалось, а Мари почувствовала боль в левом локте, еще более жгучую, чем раньше, и без чувств повалилась на пол.

Болезнь

Когда Мари очнулась после глубокого забытья, она увидела, что лежит у себя в постельке, а сквозь замерзшие окна в комнату светит яркое,

искрящееся солнце.

У самой ее постели сидел чужой человек, в котором она, однако, скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он сказал вполголоса:

— Наконец-то она очнулась…

Тогда подошла мама и посмотрела на нее испуганным, пытливым взглядом.

— Ах, милая мамочка, — пролепетала Мари, — скажи: противные мыши убрались наконец и славный Щелкунчик спасен?

— Полно вздор болтать, милая Марихен! — возразила мать. — Ну на что мышам твой Щелкунчик? А вот ты, нехорошая девочка, до смерти напугала нас. Так всегда бывает, когда дети своевольничают и не слушаются родителей. Ты вчера до поздней ночи заигралась в куклы, потом задремала, и, верно, тебя напугала случайно прошмыгнувшая мышка: ведь вообще-то мышей у нас не водится. Словом, ты расшибла локтем стекло в шкафу и поранила себе руку. Хорошо еще, что ты не порезала стеклом вену! Доктор Вендельштерн, который как раз сейчас вынимал у тебя из раны застрявшие там осколки, говорит, что ты на всю жизнь осталась бы калекой и могла бы даже истечь кровью. Слава Богу, я проснулась в полночь, увидела, что тебя все еще нет в

спальне, и пошла в гостиную. Ты без сознания лежала на полу у шкафа, вся в крови. Я сама со страху чуть не потеряла сознание. Ты лежала на полу, а вокруг были разбросаны оловянные солдатики Фрица, разные игрушки, поломанные куклы с сюрпризами и пряничные человечки. Щелкунчика ты держала в левой руке, из которой сочилась кровь, а неподалеку валялась твоя туфелька…

— Ах, мамочка, мамочка! — перебила ее Мари. — Ведь это же были следы великой битвы между куклами и мышами! Оттого-то я так испугалась, что мыши хотели забрать в плен бедного Щелкунчика, командовавшего кукольным войском. Тогда я швырнула туфелькой в мышей, а что было дальше, не знаю.

Доктор Вендельштерн подмигнул матери, и та очень ласково стала уговаривать Мари:

— Полно, полно, милая моя детка, успокойся! Мыши все убежали, а Щелкунчик стоит за стеклом в шкафу, целый и невредимый.

Тут в спальню вошел советник медицины и завел долгий разговор с хирургом Вендельштерном, потом он пощупал у Мари пульс, и она слышала, что они говорили о горячке, вызванной раной.

Несколько дней ей пришлось лежать в постели

и глотать лекарства, хотя, если не считать боли в локте, она почти не чувствовала недомогания. Она знала, что милый Щелкунчик вышел из битвы целым и невредимым, и по временам ей как сквозь сон чудилось, будто он очень явственным, хотя и чрезвычайно печальным голосом говорит ей: «Мари, прекрасная дама, многим я вам обязан, но вы можете сделать для меня еще больше».

Мари тщетно раздумывала, что бы это могло быть, но ничего не приходило ей в голову. Играть по-настоящему она не могла из-за больной руки, а если бралась за чтение или принималась перелистывать книжки с картинками, у нее в глазах рябило, так что приходилось отказываться от этого занятия. Поэтому время тянулось для нее бесконечно долго, и Мари едва могла дождаться сумерек, когда мать садилась у ее кроватки и читала и рассказывала всякие чудесные истории.

Вот и сейчас мать как раз кончила занимательную сказку про принца Факардина, как вдруг открылась дверь, и вошел крестный Дроссельмейер.

— Ну-ка дайте мне поглядеть на нашу бедную раненую Мари, — сказал он.

Как только Мари увидела крестного в обычном желтом сюртучке, у нее перед глазами со всей

живостью всплыла та ночь, когда Щелкунчик потерпел поражение в битве с мышами, и она невольно крикнула старшему советнику суда:

— О крестный, какой ты гадкий! Я отлично видела, как ты сидел на часах и свесил на них свои крылья, чтобы часы били потише и не спугнули мышей. Я отлично слышала, как ты позвал мышиного короля. Почему ты не поспешил на помощь Щелкунчику, почему ты не поспешил на помощь мне, гадкий крестный? Во всем ты один виноват. Из-за тебя я порезала руку и теперь должна лежать больная в постели!

Мать в страхе спросила:

— Что с тобой, дорогая Мари?

Но крестный скорчил странную мину и заговорил трескучим, монотонным голосом:

— Ходит маятник со скрипом. Меньше стука — вот в чем штука. Трик-и-трак! Всегда и впредь должен маятник скрипеть, песни петь. А когда пробьет звонок: бим-и-бом! — подходит срок. Не пугайся, мой дружок. Бьют часы и в срок и кстати, на погибель мышьей рати, а потом слетит сова. Раз-и-два и раз-и-два! Бьют часы, коль срок им выпал. Ходит маятник со скрипом. Меньше стука — вот в чем штука. Тик-и-так и трик-и-трак!

Мари широко открытыми глазами уставилась

на крестного, потому что он казался совсем другим и гораздо более уродливым, чем обычно, а правой рукой он махал взад и вперед, будто паяц, которого дергают за веревочку.

Она бы очень испугалась, если бы тут не было матери и если бы Фриц, прошмыгнувший в спальню, не прервал крестного громким смехом.

— Ах, крестный Дроссельмейер, — воскликнул Фриц, — сегодня ты опять такой потешный! Ты кривляешься совсем как мой паяц, которого я давно уже зашвырнул за печку.

Мать по-прежнему была очень серьезна и сказала:

— Дорогой господин старший советник, это ведь действительно странная шутка. Что вы имеете в виду?

— Господи Боже мой, разве вы позабыли мою любимую песенку часовщика? — ответил Дроссельмейер, смеясь. — Я всегда пою ее таким больным, как Мари.

И он быстро подсел к кровати и сказал:

— Не сердись, что я не выцарапал мышиному королю все четырнадцать глаз сразу, — этого нельзя было сделать. А зато я тебя сейчас порадую.

С этими словами старший советник суда полез

в карман и осторожно вытащил оттуда — как вы думаете, дети, что? — Щелкунчика, которому он очень искусно вставил выпавшие зубки и вправил больную челюсть.

Мари вскрикнула от радости, а мать сказала, улыбаясь:

— Вот видишь, как заботится крестный о твоем Щелкунчике…

— А все-таки сознайся, Мари, — перебил крестный госпожу Штальбаум, — ведь Щелкунчик не очень складный и непригож собой. Если тебе хочется послушать, я охотно расскажу, как такое уродство появилось в его семье и стало там наследственным. А может быть, ты уже знаешь сказку о принцессе Пирлипат, ведьме Мышильде и искусном часовщике?

— Послушай-ка, крестный! — вмешался в разговор Фриц. — Что верно, то верно: ты отлично вставил зубы Щелкунчику, и челюсть тоже уже не шатается. Но почему у него нет сабли? Почему ты не повязал ему саблю?

— Ну ты, неугомонный, — проворчал старший советник суда, — никак на тебя не угодишь! Сабля Щелкунчика меня не касается. Я вылечил его — пусть сам раздобывает себе саблю где хочет.

— Правильно! — воскликнул Фриц. — Если он

храбрый малый, то раздобудет себе оружие.

— Итак, Мари, — продолжал крестный, — скажи, знаешь ли ты сказку о принцессе Пирлипат?

— Ах, нет! — ответила Мари. — Расскажи, милый крестный, расскажи!

— Надеюсь, дорогой господин Дроссельмейер, — сказала мама, — что на этот раз вы расскажете не такую страшную сказку, как обычно.

— Ну, конечно, дорогая госпожа Штальбаум, — ответил Дроссельмейер. — Напротив, то, что я буду иметь честь изложить вам, очень занятно.

— Ах, расскажи, расскажи, милый крестный! — закричали дети.

И старший советник суда начал так:

Сказка о твердом орехе

Мать Пирлипат была супругой короля, а значит, королевой, а Пирлипат как родилась, так в тот же миг и стала прирожденной принцессой. Король налюбоваться не мог на почивавшую в колыбельке красавицу дочурку. Он громко радовался, танцевал, прыгал на одной ножке и то и дело кричал:

— Хейза! Видел ли кто-нибудь девочку прекраснее моей Пирлипатхен?

А все министры, генералы, советники и штабофицеры прыгали на одной ножке, как их отец и повелитель, и хором громко отвечали:

— Нет, никто не видел!

Да, по правде говоря, и нельзя было отрицать, что с тех пор, как стоит мир, не появлялось еще на свет младенца прекраснее принцессы Пирлипат. Личико у нее было словно соткано из лилейно-белого и нежно-розового шелка, глазки — живая сияющая лазурь, а особенно украшали ее волосики, вившиеся золотыми колечками. При этом Пирлипатхен родилась с двумя рядами беленьких, как жемчуг, зубок, которыми она два часа спустя после рождения впилась в палец рейхсканцлера, когда он пожелал поближе исследовать черты ее лица, так что он завопил: «Ой-ой-ой!» Некоторые, впрочем, утверждают, будто он крикнул: «Ай-ай-ай!» Еще и сегодня мнения расходятся. Короче, Пирлипатхен на самом деле укусила рейхсканцлера за палец, и тогда восхищенный народ уверился в том, что в очаровательном, ангельском тельце принцессы Пирлипат обитают и душа, и ум, и чувство.

Как сказано, все были в восторге; одна королева неизвестно почему тревожилась и беспокоилась. Особенно странно было, что она приказала

неусыпно стеречь колыбельку Пирлипат. Мало того что у дверей стояли драбанты, — было отдано распоряжение, чтобы в детской, кроме двух нянюшек, постоянно сидевших у самой колыбельки, еженощно дежурило еще шесть нянек и — что казалось совсем нелепым и чего никто не мог понять — каждой няньке приказано было держать на коленях кота и всю ночь гладить его, чтобы он не переставая мурлыкал. Вам, милые детки, нипочем не угадать, зачем мать принцессы Пирлипат принимала все эти меры, но я знаю зачем и сейчас расскажу и вам.

Раз как-то ко двору короля, родителя принцессы Пирлипат, съехалось много славных королей и пригожих принцев. Ради такого случая были устроены блестящие турниры, представления и придворные балы. Король, желая показать, что у него много золота и серебра, решил как следует запустить руку в свою казну и устроить празднество, достойное его. Поэтому, выведав от обер-гофповара, что придворный звездочет возвестил время, благоприятное для колки свиней, он задумал задать колбасный пир, вскочил в карету и самолично пригласил всех окрестных королей и принцев всего-навсего на тарелку супа, мечтая затем поразить их роскошеством. Потом он очень

ласково сказал своей супруге-королеве:

— Милочка, тебе ведь известно, какая колбаса мне по вкусу…

Королева уже знала, к чему он клонит речь: это означало, что она должна лично заняться весьма полезным делом — изготовлением колбас, которым не брезговала и раньше. Главному казначею приказано было немедленно отправить на кухню большой золотой котел и серебряные кастрюли; печь растопили дровами сандалового дерева; королева повязала свой камчатый кухонный передник. И вскоре из котла потянуло вкусным духом колбасного навара. Приятный запах проник даже в государственный совет. Король, весь трепеща от восторга, не вытерпел.

— Прошу извинения, господа! — воскликнул он, побежал на кухню, обнял королеву, помешал немножко золотым скипетром в котле и, успокоенный, вернулся в государственный совет.

Наступил самый важный момент: пора было разрезать на ломтики сало и поджаривать его на золотых сковородах. Придворные дамы отошли к сторонке, потому что королева из преданности, любви и уважения к царственному супругу собиралась лично заняться этим делом. Но как только сало начало зарумяниваться, послышался

тоненький, шепчущий голосок:

— Дай и мне отведать сальца, сестрица! И я хочу полакомиться — я ведь тоже королева. Дай и мне отведать сальца!

Королева отлично знала, что это говорит госпожа Мышильда. Мышильда уже много лет проживала в королевском дворце. Она утверждала, будто состоит в родстве с королевской фамилией и сама правит королевством Мышляндия, вот почему она и держала под печкой большой двор. Королева была женщина добрая и щедрая. Хотя вообще она не почитала Мышильду особой царского рода и своей сестрой, но в такой торжественный день от всего сердца допустила ее на пиршество и крикнула:

— Вылезайте, госпожа Мышильда! Покушайте на здоровье сальца.

И Мышильда быстро и весело выпрыгнула из-под печки, вскочила на плиту и стала хватать изящными лапками один за другим кусочки сала, которые ей протягивала королева. Но тут нахлынули все кумовья и тетушки Мышильды и даже ее семь сыновей, отчаянные сорванцы. Они набросились на сало, и королева с перепугу не знала, как быть. К счастью, подоспела обер-гофмейстерина и прогнала непрошеных

гостей. Таким образом, уцелело немного сала, которое, согласно указаниям призванного по этому случаю придворного математика, было весьма искусно распределено по всем колбасам.

Забили в литавры, затрубили в трубы. Все короли и принцы в великолепных праздничных одеяниях — одни на белых конях, другие в хрустальных каретах потянулись на колбасный пир. Король встретил их с сердечной приветливостью и почетом, а затем, в короне и со скипетром, как и полагается государю, сел во главе стола. Уже когда подали ливерные колбасы, гости заметили, как все больше и больше бледнел король, как он возводил очи к небу. Тихие вздохи вылетали из его груди; казалось, его душой овладела сильная скорбь. Но когда подали кровяную колбасу, он с громким рыданьем и стонами откинулся на спинку кресла, обеими руками закрыв лицо. Все повскакали из-за стола. Лейб-медик тщетно пытался нащупать пульс у злосчастного короля, которого, казалось, снедала глубокая, непонятная тоска. Наконец после долгих уговоров, после применения сильных средств, вроде жженых гусиных перьев и тому подобного, король как будто начал приходить в себя. Он пролепетал едва слышно:

— Слишком мало сала!

Тогда неутешная королева бухнулась ему в ноги и простонала:

— О мой бедный, несчастный царственный супруг! О, какое горе пришлось вам вынести! Но взгляните: виновница у ваших ног — покарайте, строго покарайте меня! Ах, Мышильда со своими кумовьями, тетушками и семью сыновьями съела сало, и…

С этими словами королева без чувств упала навзничь. Но король вскочил, пылая гневом, и громко крикнул:

— Обер-гофмейстерина, как это случилось?

Обер-гофмейстерина рассказала, что знала, и король решил отомстить Мышильде и ее роду за то, что они сожрали сало, предназначенное для его колбас.

Созвали тайный государственный совет. Решили возбудить процесс против Мышильды и отобрать в казну все ее владения. Но король полагал, что пока это не помешает Мышильде, когда ей вздумается, пожирать сало, и потому поручил все дело придворному часовых дел мастеру и чудодею. Этот человек, которого звали так же, как и меня, а именно Христиан Элиас Дроссельмейер, обещал при помощи совершенно

особых, исполненных государственной мудрости мер на веки вечные изгнать Мышильду со всей семьей из дворца.

И в самом деле: он изобрел весьма искусные машинки, в которых на ниточке было привязано поджаренное сало, и расставил их вокруг жилища госпожи салоежки.

Сама Мышильда была слишком умудрена опытом, чтобы не понять хитрости Дроссельмейера, но ни ее предостережения, ни ее увещания не помогли: все семь сыновей и много-много Мышильдиных кумовьев и тетушек, привлеченные вкусным запахом жареного сала, забрались в дроссельмейеровские машинки — и только хотели полакомиться салом, как их неожиданно прихлопнула опускающаяся дверца, а затем их предали на кухне позорной казни. Мышильда с небольшой кучкой уцелевших родичей покинула эти места скорби и плача. Горе, отчаяние, жажда мести клокотали у нее в груди.

Двор ликовал, но королева была встревожена: она знала Мышильдин нрав и отлично понимала, что та не оставит неотомщенной смерть сыновей и близких.

И в самом деле, Мышильда появилась как раз тогда, когда королева готовила для царственного

супруга паштет из ливера, который он очень охотно кушал, и сказала так:

— Мои сыновья, кумовья и тетушки убиты. Берегись, королева: как бы королева мышей не загрызла малютку принцессу! Берегись!

Затем она снова исчезла и больше не появлялась. Но королева с перепугу уронила паштет в огонь, и во второй раз Мышильда испортила любимое кушанье короля, на что он очень разгневался…

— Ну, на сегодняшний вечер довольно. Остальное доскажу в следующий раз, — неожиданно закончил крестный.

Как ни просила Мари, на которую рассказ произвел особенное впечатление, продолжать, крестный Дроссельмейер был неумолим и со словами: «Слишком много сразу — вредно для здоровья; продолжение завтра», — вскочил со стула.

В ту минуту, когда он собирался уже выйти за дверь, Фриц спросил:

— Скажи-ка, крестный, это на самом деле правда, что ты выдумал мышеловку?

— Что за вздор ты городишь, Фриц! — воскликнула мать.

Но старший советник суда очень странно улыб-

нулся и тихо сказал:

— А почему бы мне, искусному часовщику, не выдумать мышеловку?

Продолжение сказки о твердом орехе

— Ну, дети, теперь вы знаете, — так продолжал на следующий вечер Дроссельмейер, — почему королева приказала столь бдительно стеречь красоточку принцессу Пирлипат. Как же было ей не бояться, что Мышильда выполнит свою угрозу — вернется и загрызет малютку принцессу! Машинка Дроссельмейера ничуть не помогала против умной и предусмотрительной Мышильды, а придворный звездочет, бывший одновременно и главным предсказателем, заявил, что только род кота Мурра может отвадить Мышильду от колыбельки. Потому-то каждой няньке приказано было держать на коленях одного из сынов этого рода, которых, кстати сказать, пожаловали чином тайного советника посольства, и облегчать им бремя государственной службы учтивым почесыванием за ухом.

Как-то, уже в полночь, одна из двух обер-гофнянек, которые сидели у самой колыбельки, вдруг очнулась, словно от глубокого сна. Все вокруг

было охвачено сном. Никакого мурлыканья — глубокая, мертвая тишина, только слышно тиканье жучка-точильщика. Но что почувствовала нянька, когда прямо перед собой увидела большую противную мышь, которая поднялась на задние лапки и положила свою зловещую голову принцессе налицо! Нянька вскочила с криком ужаса, все проснулись, но в тот же миг Мышильда — ведь большая мышь у колыбели Пирлипат была она — быстро шмыгнула в угол комнаты. Советники посольства бросились вдогонку, но не тут-то было: она шмыгнула в щель в полу. Пирлипатхен проснулась от суматохи и очень жалобно заплакала.

— Слава Богу, — воскликнули нянюшки, — она жива!

Но как же они испугались, когда взглянули на Пирлипатхен и увидели, что сталось с хорошеньким нежным младенцем! На тщедушном, скорчившемся тельце вместо кудрявой головки румяного херувима сидела огромная бесформенная голова; голубые, как лазурь, глазки превратились в зеленые, тупо вытаращенные гляделки, а ротик растянулся до ушей.

Королева исходила слезами и рыданиями, а кабинет короля пришлось обить ватой, потому

что король бился головой об стену и жалобным голосом причитал:

— Ах, я несчастный монарх!

Теперь король, казалось, мог бы понять, что лучше было съесть колбасу без сала и оставить в покое Мышильду со всей ее запечной родней, но об этом отец принцессы Пирлипат не подумал — он просто-напросто свалил всю вину на придворного часовщика и чудодея Христиана Элиаса Дроссельмейера из Нюрнберга и отдал мудрый приказ: «Дроссельмейер должен в течение месяца вернуть принцессе Пирлипат ее прежний облик или, по крайней мере, указать верное к тому средство — в противном случае он будет предан позорной смерти от руки палача».

Дроссельмейер не на шутку перепугался. Однако он положился на свое уменье и счастье и тотчас же приступил к первой операции, которую почитал необходимой. Он очень ловко разобрал принцессу Пирлипат на части, вывинтил ручки и ножки и осмотрел внутреннее устройство, но, к сожалению, он убедился, что с возрастом принцесса будет все безобразнее, и не знал, как помочь беде. Он опять старательно собрал принцессу и впал в уныние около ее колыбели, от которой не смел отлучаться.

Шла уже четвертая неделя, наступила среда, и король, сверкая в гневе очами и потрясая скипетром, заглянул в детскую к Пирлипат и воскликнул:

— Христиан Элиас Дроссельмейер, вылечи принцессу, не то тебе несдобровать!

Дроссельмейер принялся жалобно плакать, а принцесса Пирлипат тем временем весело щелкала орешки. Впервые часовых дел мастера и чудодея поразила ее необычайная любовь к орехам и то обстоятельство, что она появилась на свет уже с зубами. В самом деле, после превращения она кричала без умолку, пока ей случайно не попался орешек; она разгрызла его, съела ядрышко и сейчас же угомонилась. С тех пор няньки то и дело унимали ее орехами.

— О святой инстинкт природы, неисповедимая симпатия всего сущего! — воскликнул Христиан Элиас Дроссельмейер. — Ты указуешь мне врата тайны. Я постучусь, и они откроются!

Он тотчас же испросил разрешения поговорить с придворным звездочетом и был отведен к нему под строгим караулом. Оба, заливаясь слезами, упали друг другу в объятия, так как были закадычными друзьями, затем удалились в потайной кабинет и принялись рыться в книгах, где гово-

рилось об инстинкте, симпатиях и антипатиях и других таинственных явлениях.

Наступила ночь. Придворный звездочет поглядел на звезды и с помощью Дроссельмейера, великого искусника и в этом деле, составил гороскоп принцессы Пирлипат. Сделать это было очень трудно, ибо линии запутывались все больше и больше, но — о, радость! — наконец все стало ясно: чтобы избавиться от волшебства, которое ее изуродовало, и вернуть себе былую красоту, принцессе Пирлипат достаточно было съесть ядрышко ореха Кракатук.

У ореха Кракатук была такая твердая скорлупа, что по нему могла проехаться сорокавосьмифунтовая пушка и не раздавить его. Этот твердый орех должен был разгрызть и, зажмурившись, поднести принцессе человек, никогда еще не бривший и не носивший сапог. Затем юноше следовало отступить на семь шагов, не споткнувшись, и только тогда открыть глаза.

Три дня и три ночи без устали работали Дроссельмейер со звездочетом, и как раз в субботу, когда король сидел за обедом, к нему ворвался радостный и веселый Дроссельмейер, которому в воскресенье утром должны были снести голову, и возвестил, что найдено средство вернуть

принцессе Пирлипат утраченную красоту. Король обнял его горячо и благосклонно и посулил ему бриллиантовую шпагу, четыре ордена и два новых праздничных кафтана.

— После обеда мы сейчас же и приступим, — любезно прибавил король. — Позаботьтесь, дорогой чудодей, чтобы небритый молодой человек в башмаках был под рукой и, как полагается, с орехом Кракатук. И не давайте ему вина, а то как бы он не споткнулся, когда, словно рак, будет пятиться семь шагов. Потом пусть пьет вволю!

Дроссельмейера напугала речь короля, и, смущаясь и робея, он пролепетал, что средство, правда, найдено, но что обоих — и орех и молодого человека, который должен его разгрызть, — надо сперва отыскать, причем пока еще очень сомнительно, возможно ли найти орех и щелкунчика. В сильном гневе потряс король скипетром над венчанной главой и зарычал, как лев:

— Ну, так тебе снесут голову!

На счастье поверженного в страх и горе Дроссельмейера, как раз сегодня обед пришелся королю очень по вкусу, и поэтому он был расположен внимать разумным увещаниям, на которые не поскупилась великодушная королева, тронутая судьбой несчастного часовщика.

Дроссельмейер приободрился и почтительно доложил королю, что, собственно, разрешил задачу — нашел средство к излечению принцессы, и тем самым заслужил помилование. Король назвал это глупой отговоркой и пустой болтовней, но в конце концов, выпив стаканчик желудочной настойки, решил, что оба — часовщик и звездочет тронутся в путь и не вернутся до тех пор, пока у них в кармане не будет ореха Кракатук. А человека, нужного для того, чтобы разгрызть орех, по совету королевы, решили раздобыть путем многократных объявлений в местных и заграничных газетах и ведомостях с приглашением явиться во дворец…

На этом крестный Дроссельмейер остановился и обещал досказать остальное в следующий вечер.

Конец сказки о твердом орехе

И в самом деле, на следующий день вечером, только зажгли свечи, явился крестный Дроссельмейер и так продолжал свой рассказ:

— Дроссельмейер и придворный звездочет странствовали уже пятнадцать лет и все еще не напали на след ореха Кракатук. Где они побыва-

ли, какие диковинные приключения испытали, не пересказать, детки, и за целый месяц. Этого я делать и не собираюсь, а прямо скажу вам, что, погруженный в глубокое уныние, Дроссельмейер сильно стосковался по родине, по милому своему Нюрнбергу. Особенно сильная тоска напала на него как-то раз в Азии, в дремучем лесу, где он вместе со своим спутником присел выкурить трубочку кнастера.

«О дивный, дивный Нюрнберг мой, кто не знаком еще с тобой, пусть побывал он даже в Вене, в Париже и Петервардейне, душою будет он томиться, к тебе, о Нюрнберг, стремиться — чудесный городок, где в ряд красивые дома стоят».

Жалобные причитания Дроссельмейера вызвали глубокое сочувствие у звездочета, и он тоже разревелся так горько, что его слышно было на всю Азию. Но он взял себя в руки, вытер слезы и спросил:

— Досточтимый коллега, чего же мы здесь сидим и ревем? Чего не идем в Нюрнберг? Не все ли равно, где и как искать злополучный орех Кракатук?

— И то правда, — ответил, сразу утешившись, Дроссельмейер.

Оба сейчас же встали, выколотили трубки и из

леса в глубине Азии прямехонько отправились в Нюрнберг.

Как только они прибыли, Дроссельмейер сейчас же побежал к своему двоюродному брату — игрушечному мастеру, токарю по дереву, лакировщику и позолотчику Кристофу Захариусу Дроссельмейеру, с которым не виделся уже много-много лет. Ему-то и рассказал часовщик всю историю про принцессу Пирлипат, госпожу Мышильду и орех Кракатук, а тот то и дело всплескивал руками и несколько раз в удивлении воскликнул:

— Ах, братец, братец, ну и чудеса!

Дроссельмейер рассказал о приключениях на своем долгом пути, рассказал, как провел два года у Финикового короля, как обидел и выгнал его Миндальный принц, как тщетно запрашивал он общество естествоиспытателей в городе Белок, — короче говоря, как ему нигде не удалось напасть на след ореха Кракатук. Во время рассказа Кристоф Захариус не раз прищелкивал пальцами, вертелся на одной ножке, причмокивал губами и приговаривал:

— Гм, гм! Эге! Вот так штука!

Наконец он подбросил к потолку колпак вместе с париком, горячо обнял двоюродного брата и

воскликнул:

— Братец, братец, вы спасены, спасены, говорю я! Слушайте: или я жестоко ошибаюсь, или орех Кракатук у меня!

Он тотчас же принес шкатулочку, откуда вытащил позолоченный орех средней величины.

— Взгляните, — сказал он, показывая орех двоюродному брату, — взгляните на этот орех. История его такова. Много лет тому назад, в сочельник, пришел сюда неизвестный человек с полным мешком орехов, которые он принес на продажу. У самых дверей моей лавки с игрушками он поставил мешок наземь, чтоб легче было действовать, так как у него произошла стычка со здешним продавцом орехов, который не мог потерпеть чужого торговца. В эту минуту мешок переехала тяжело нагруженная фура. Все орехи были передавлены, за исключением одного, который чужеземец, странно улыбаясь, и предложил уступить мне за цванцигер тысяча семьсот двадцатого года. Мне это показалось загадочным, но я нашел у себя в кармане как раз такой цванцигер, какой он просил, купил орех и позолотил его. Сам хорошенько не знаю, почему я так дорого заплатил за орех, а потом так берег его.

Всякое сомнение в том, что орех двоюродного

брата — это действительно орех Кракатук, который они так долго искали, тут же рассеялось, когда подоспевший на зов придворный звездочет аккуратно соскоблил с ореха позолоту и отыскал на скорлупе слово «Кракатук», вырезанное китайскими письменами.

Радость путешественников была огромна, а двоюродный брат Дроссельмейера почел себя счастливейшим человеком в мире, когда Дроссельмейер уверил его, что счастье ему обеспечено, ибо отныне сверх значительной пенсии он будет получать золото для позолоты даром.

И чудодей и звездочет оба уже нахлобучили ночные колпаки и собирались укладываться спать, как вдруг последний, то есть звездочет, повел такую речь:

— Дражайший коллега, счастье никогда не приходит одно. Поверьте, мы нашли не только орех Кракатук, но и молодого человека, который разгрызет его и преподнесет принцессе ядрышко — залог красоты. Я имею в виду не кого иного, как сына вашего двоюродного брата. Нет, я не лягу спать, — вдохновенно воскликнул он. — Я еще сегодня ночью составлю гороскоп юноши! — С этими словами он сорвал колпак с головы и тут же принялся наблюдать звезды.

Племянник Дроссельмейера был в самом деле пригожий, складный юноша, который еще ни разу не брился и не надевал сапог. В ранней молодости он, правда, изображал два Рождества кряду паяца; но этого ничуточки не было заметно: так искусно был он воспитан стараньями отца. На Святках он был в красивом красном, шитом золотом кафтане, при шпаге, держал под мышкой шляпу и носил превосходный парик с косичкой. В таком блестящем виде стоял он в лавке у отца и со свойственной ему галантностью щелкал барышням орешки, за что и прозвали его Красавчик Щелкунчик.

Наутро восхищенный звездочет упал в объятия Дроссельмейера и воскликнул:

— Это он! Мы раздобыли его, он найден! Только, любезнейший коллега, не следует упускать из виду двух обстоятельств: во-первых, надо сплести вашему превосходному племяннику солидную деревянную косу, которая была бы соединена с нижней челюстью таким образом, чтобы ее можно было сильно оттянуть косой; затем, по прибытии в столицу надо молчать о том, что мы привезли с собой молодого человека, который разгрызет орех Кракатук, лучше, чтобы он появился гораздо позже. Я прочел в гороскопе, что

после того, как многие сломают себе на орехе зубы без всякого толку, король отдаст принцессу, а после смерти и королевство в награду тому, кто разгрызет орех и возвратит Пирлипат утраченную красоту.

Игрушечный мастер был очень польщен, что его сыночку предстояло жениться на принцессе и самому сделаться принцем, а затем и королем, и потому он охотно доверил его звездочету и часовщику. Коса, которую Дроссельмейер приделал своему юному многообещающему племяннику, удалась на славу, так что тот блестяще выдержал испытание, раскусив самые твердые персиковые косточки.

Дроссельмейер и звездочет немедленно дали знать в столицу, что орех Кракатук найден, а там сейчас же опубликовали воззвание, и когда прибыли наши путники с талисманом, восстанавливающим красоту, ко двору уже явилось много прекрасных юношей и даже принцев, которые, полагаясь на свои здоровые челюсти, хотели попытаться снять злые чары с принцессы.

Наши путники очень испугались, увидев принцессу. Маленькое туловище с тощими ручонками и ножками едва держало бесформенную голову. Лицо казалось еще уродливее из-за белой нитя-

ной бороды, которой обросли рот и подбородок.

Все случилось так, как прочитал в гороскопе придворный звездочет. Молокососы в башмаках один за другим ломали себе зубы и раздирали челюсти, а принцессе ничуть не легчало; когда же затем их в полуобморочном состоянии уносили приглашенные на этот случай зубные врачи, они стонали:

— Поди-ка раскуси такой орех!

Наконец король в сокрушении сердечном обещал дочь и королевство тому, кто расколдует принцессу. Тут-то и вызвался наш учтивый и скромный молодой Дроссельмейер и попросил разрешения тоже попытать счастья.

Принцессе Пирлипат никто так не понравился, как молодой Дроссельмейер, она прижала ручки к сердцу и от глубины души вздохнула: «Ах, если бы он разгрыз орех Кракатук и стал моим мужем!»

Вежливо поклонившись королю и королеве, а затем принцессе Пирлипат, молодой Дроссельмейер принял из рук обер-церемониймейстера орех Кракатук, положил его без долгих разговоров в рот, сильно дернул себя за косу и — щелк-щелк! — разгрыз скорлупу на кусочки. Ловко очистил он ядрышко от приставшей ко-

журы и, зажмурившись, поднес, почтительно шаркнув ножкой, принцессе, затем начал пятиться. Принцесса тут же проглотила ядрышко, и — о, чудо! — уродец исчез, а на его месте стояла прекрасная, как ангел, девушка, с лицом, словно сотканным из лилейно-белого и розового шелка, с глазами, сияющими, как лазурь, с вьющимися колечками золотыми волосами.

Трубы и литавры присоединились к громкому ликованию народа. Король и весь двор танцевали на одной ножке, как при рождении принцессы Пирлипат, а королеву пришлось опрыскивать одеколоном, так как от радости и восторга она упала в обморок.

Поднявшаяся суматоха порядком смутила молодого Дроссельмейера, которому предстояло еще пятиться положенные семь шагов. Все же он держался отлично и уже занес правую ногу для седьмого шага, но тут из подполья с отвратительным писком и визгом вылезла Мышильда. Молодой Дроссельмейер, опустивший было ногу, наступил на нее и так споткнулся, что чуть не упал.

О, злой рок! В один миг юноша стал так же безобразен, как до того принцесса Пирлипат. Туловище съежилось и едва выдерживало

огромную бесформенную голову с большими вытаращенными глазами и широкой, безобразно разинутой пастью. Вместо косы сзади повис узкий деревянный плащ, при помощи которого можно было управлять нижней челюстью.

Часовщик и звездочет были вне себя от ужаса, однако они заметили, что Мышильда вся в крови извивается на полу. Ее злодейство не осталось безнаказанным: молодой Дроссельмейер крепко ударил ее по шее острым каблуком, и ей пришел конец.

Но Мышильда, охваченная предсмертными муками, жалобно пищала и визжала:

— О твердый, твердый Кракатук, мне не уйти от смертных мук!.. Хи-хи… Пи-пи… Но, Щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец: мой сынок, король мышиный, не простит моей кончины — отомстит тебе за мать мышья рать. О жизнь, была ты светла — и смерть за мною пришла… Квик!

Пискнув в последний раз, Мышильда умерла, и королевский истопник унес ее прочь.

На молодого Дроссельмейера никто не обращал внимания. Однако принцесса напомнила отцу его обещание, и король тотчас же повелел подвести к Пирлипат юного героя. Но когда бедняга предстал перед ней во всем своем безобразии, принцесса

закрыла лицо обеими руками и закричала:

— Вон, вон отсюда, противный Щелкунчик!

И сейчас же гофмаршал схватил его за узкие плечики и вытолкал вон.

Король распалился гневом, решив, что ему хотели навязать в зятья Щелкунчика, во всем винил незадачливых часовщика и звездочета и на вечные времена изгнал обоих из столицы. Это не было предусмотрено гороскопом, составленным звездочетом в Нюрнберге, но он не преминул снова приступить к наблюдению за звездами и прочитал, что юный Дроссельмейер отменно будет вести себя в своем новом звании и, несмотря на все свое безобразие, сделается принцем и королем. Но его уродство исчезнет лишь в том случае, если семиголовый сын Мышильды, родившийся после смерти своих семи старших братьев и ставший мышиным королем, падет от руки Щелкунчика и если, несмотря на уродливую наружность, юного Дроссельмейера полюбит прекрасная дама. Говорят, что и в самом деле на Святках видели молодого Дроссельмейера в Нюрнберге в лавке его отца, хотя и в образе Щелкунчика, но все же в сане принца.

Вот вам, дети, сказка о твердом орехе. Теперь вы поняли, почему говорят: «Поди-ка раскуси

такой орех!» — и почему щелкунчики столь безобразны…

Так закончил старший советник суда свой рассказ.

Мари решила, что Пирлипат — очень гадкая и неблагодарная принцесса, а Фриц уверял, что если Щелкунчик и вправду храбрец, он не станет особенно церемониться с мышиным королем и вернет себе былую красоту.

Дядя и племянник

Кому из моих высокоуважаемых читателей или слушателей случалось порезаться стеклом, тот знает, как это больно и что это за скверная штука, так как рана заживает очень медленно. Мари пришлось провести в постели почти целую неделю, потому что при всякой попытке встать у нее кружилась голова. Все же в конце концов она совсем выздоровела и опять могла весело прыгать по комнате.

В стеклянном шкафу все блистало новизной — и деревья, и цветы, и дома, и по-праздничному расфуфыренные куклы, а главное, Мари нашла там своего милого Щелкунчика, который улыбался ей со второй полки, скаля два ряда целых

зубов. Когда она, радуясь от всей души, глядела на своего любимца, у нее вдруг защемило сердце: а если все, что рассказал крестный — история про Щелкунчика и про его распрю с Мышильдой и ее сыном, — если все это правда? Теперь она знала, что ее Щелкунчик — молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, пригожий, но, к сожалению, заколдованный Мышильдой племянник крестного Дроссельмейера.

В том, что искусный часовщик при дворе отца принцессы Пирлипат был не кто иной, как старший советник суда Дроссельмейер, Мари ни минуты не сомневалась уже во время рассказа. «Но почему же дядя не помог тебе, почему он не помог тебе?» — сокрушалась Мари, и в ней все сильнее крепло убеждение, что бой, при котором она присутствовала, шел за Щелкунчиково королевство и корону. «Ведь все куклы подчинялись ему, ведь совершенно ясно, что сбылось предсказание придворного звездочета и молодой Дроссельмейер стал королем в кукольном царстве».

Рассуждая так, умненькая Мари, наделившая Щелкунчика и его вассалов жизнью и способностью двигаться, была убеждена, что они и в самом деле вот-вот оживут и зашевелятся. Но не

тут-то было: в шкафу все стояло неподвижно по своим местам. Однако Мари и не думала отказываться от своего внутреннего убеждения — она просто решила, что всему причиной колдовство Мышильды и ее семиголового сына.

— Хотя вы и не в состоянии пошевельнуться или вымолвить словечко, милый господин Дроссельмейер, — сказала она Щелкунчику, — все же я уверена, что вы меня слышите и знаете, как хорошо я к вам отношусь. Рассчитывайте на мою помощь, когда она вам понадобится. Во всяком случае, я попрошу дядю, чтобы он помог вам, если в том будет нужда, своим искусством!

Щелкунчик стоял спокойно и не трогался с места, но Мари почудилось, будто по стеклянному шкафу пронесся легкий вздох, отчего чуть слышно, но удивительно мелодично зазвенели стекла, и тоненький, звонкий, как колокольчик, голосок пропел: «Мария, друг, хранитель мой! Не надо мук — я буду твой».

У Мари от страха по спине забегали мурашки, но, как ни странно, ей было почему-то очень приятно.

Наступили сумерки. В комнату вошли родители с крестным Дроссельмейером. Немного погодя Луиза подала чай, и вся семья, весело болтая,

уселась за стол. Мари потихонечку принесла свое креслице и села у ног крестного. Улучив минутку, когда все замолчали, Мари посмотрела большими голубыми глазами прямо в лицо старшему советнику суда и сказала:

— Теперь, дорогой крестный, я знаю, что Щелкунчик — твой племянник, молодой Дроссельмейер из Нюрнберга. Он стал принцем, или, вернее, королем: все так и случилось, как предсказал твой спутник, звездочет. Но ты ведь знаешь, что он объявил войну сыну госпожи Мышильды, уродливому мышиному королю. Почему ты ему не поможешь?

И Мари снова рассказала весь ход битвы, при которой присутствовала, и часто ее прерывал громкий смех матери и Луизы. Только Фриц и Дроссельмейер сохраняли серьезность.

— Откуда только девочка набралась такого вздору? — спросил советник медицины.

— Ну, у нее просто богатая фантазия, — ответила мать. — В сущности, это бред, порожденный сильной горячкой.

— Все это неправда, — сказал Фриц. — Мои гусары — не такие трусы, не то я бы им показал!

Но крестный, странно улыбаясь, посадил крошку Мари на колени и заговорил ласковее, чем

обычно:

— Ах, милая Мари, тебе дано больше, чем мне и всем нам. Ты, как и Пирлипат, — прирожденная принцесса: ты правишь прекрасным, светлым царством. Но много придется тебе вытерпеть, если ты возьмешь под свою защиту бедного уродца Щелкунчика! Ведь мышиный король стережет его на всех путях и дорогах. Знай: не я, а ты, ты одна можешь спасти Щелкунчика. Будь стойкой и преданной.

Никто — ни Мари, ни остальные не поняли, что подразумевал Дроссельмейер; а советнику медицины слова крестного показались такими странными, что он пощупал у него пульс и сказал:

— У вас, дорогой друг, сильный прилив крови к голове: я вам пропишу лекарство.

Только супруга советника медицины задумчиво покачала головой и заметила:

— Я догадываюсь, что имеет в виду господин Дроссельмейер, но выразить это словами не могу.

Победа

Прошло немного времени, и как-то лунной ночью Мари разбудило странное постукиванье, которое, казалось, шло из угла, словно там перебрасывали и катали камешки, а по временам слышался противный визг и писк.

— Ай, мыши, мыши, опять тут мыши! — в испуге закричала Мари и хотела уже разбудить мать, но слова застряли у нее в горле.

Она не могла даже шевельнуться, потому что увидела, как из дыры в стене с трудом вылез мышиный король и, сверкая глазами и коронами, принялся шмыгать по всей комнате; вдруг он одним прыжком вскочил на столик, стоявший у самой кроватки Мари.

— Хи-хи-хи! Отдай мне все драже, весь марципан, глупышка, не то я загрызу твоего Щелкунчика, загрызу Щелкунчика! — пищал мышиный король и при этом противно скрипел и скрежетал зубами, а потом быстро скрылся в дырку в стене.

Мари так напугало появление страшного мышиного короля, что наутро она совсем осунулась и от волнения не могла вымолвить ни слова. Сто раз собиралась она рассказать матери, Луизе или

хотя бы Фрицу о том, что с ней приключилось, но думала: «Разве мне кто-нибудь поверит? Меня просто поднимут на смех».

Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения Щелкунчика она должна будет отдать драже и марципан. Поэтому вечером она положила все свои конфеты на нижний выступ шкафа. Наутро мать сказала:

— Не знаю, откуда взялись мыши у нас в гостиной. Взгляни-ка, Мари, они у тебя, бедняжки, все конфеты поели.

Так оно и было. Марципан с начинкой не понравился прожорливому мышиному королю, но он так обглодал его острыми зубками, что остатки пришлось выбросить. Мари нисколько не жалела о сластях: в глубине души она радовалась, так как думала что спасла Щелкунчика. Но что она почувствовала, когда на следующую ночь у нее над самым ухом раздался писк и визг! Ах, мышиный король был тут как тут, и еще отвратительнее, чем в прошлую ночь, сверкали у него глаза, и еще противнее пропищал он сквозь зубы:

— Отдай мне твоих сахарных куколок, глупышка, не то я загрызу твоего Щелкунчика, загрызу Щелкунчика!

И с этими словами страшный мышиный ко-

роль исчез.

Мари была очень огорчена. На следующее утро она подошла к шкафу и печально поглядела на сахарных и адрагантовых куколок. И горе ее было понятно, ведь ты не поверишь, внимательная моя слушательница Мари, какие расчудесные сахарные фигурки были у Мари Штальбаум: премиленькие пастушок с пастушкой пасли стадо белоснежных барашков, а рядом резвилась их собачка; тут же стояли два почтальона с письмами в руках и четыре очень миловидные пары — щеголеватые юноши и разряженные в пух и прах девушки качались на русских качелях. Потом шли танцоры, за ними стояли Фельдкюммель с Орлеанской девственницей, которых Мари не очень-то ценила, а совсем в уголке стоял краснощекий младенец — любимец Мари… Слезы брызнули у нее из глаз.

— Ах, милый господин Дроссельмейер, — воскликнула она, обращаясь к Щелкунчику, — чего я только не сделаю, лишь бы спасти вам жизнь, но, ах, как это тяжело!

Однако у Щелкунчика был такой жалобный вид, что Мари, которой и без того чудилось, будто мышиный король разинул все свои семь пастей и хочет проглотить несчастного юношу, решила

пожертвовать ради него всем.

Итак, вечером она поставила всех сахарных куколок на нижний выступ шкафа, куда до того клала сласти. Поцеловала пастуха, пастушку, овечек; последним достала она из уголка своего любимца — краснощекого младенца — и поставила его позади всех других куколок. Фельдкюммель и Орлеанская девственница попали в первый ряд.

— Нет, это уж слишком! — воскликнула на следующее утро госпожа Штальбаум. — Видно, в стеклянном шкафу хозяйничает большая, прожорливая мышь: у бедняжки Мари погрызены и обглоданы все хорошенькие сахарные куколки!

Мари, правда, не могла удержаться и заплакала, но скоро улыбнулась сквозь слезы, потому что подумала: «Что же делать, зато Щелкунчик цел!»

Вечером, когда мать рассказывала господину Дроссельмейеру про то, что натворила мышь в шкафу у детей, отец воскликнул:

— Что за гадость! Никак не удается извести мерзкую мышь, которая хозяйничает в стеклянном шкафу и поедает у бедной Мари все сласти.

— Вот что, — весело сказал Фриц, — внизу, у булочника, есть прекрасный серый советник посольства. Я заберу его к нам наверх: он быстро

покончит с этим делом и отгрызет мыши голову, будь то хоть сама Мышильда или ее сын, мышиный король.

— А заодно будет прыгать на столы и стулья и перебьет стаканы и чашки, и вообще с ним беды не оберешься! — смеясь, закончила мать.

— Да нет же! — возразил Фриц. — Этот советник посольства — ловкий малый. Мне бы хотелось так ходить по крыше, как он!

— Нет уж, пожалуйста, не нужно кота на ночь, — просила Луиза, не терпевшая кошек.

— Собственно говоря, Фриц прав, — сказал отец. — А пока можно поставить мышеловку. Есть у нас мышеловки?

— Крестный сделает нам отличную мышеловку: ведь он же их изобрел! — закричал Фриц.

Все рассмеялись, а когда госпожа Штальбаум сказала, что в доме нет ни одной мышеловки, Дроссельмейер заявил, что у него их несколько, и, действительно, сейчас же велел принести из дому отличную мышеловку.

Сказка крестного о твердом орехе ожила для Фрица и Мари. Когда кухарка поджаривала сало, Мари бледнела и дрожала. Все еще поглощенная сказкой с ее чудесами, она как-то даже сказала кухарке Доре, своей давней знакомой:

— Ах, ваше величество королева, берегитесь Мышильды и ее родни!

А Фриц обнажил саблю и заявил:

— Пусть только придут, уж я им задам!

Но и под плитой и на плите все было спокойно. Когда же старший советник суда привязал кусочек сала на тонкую ниточку и осторожно поставил мышеловку к стеклянному шкафу, Фриц воскликнул:

— Берегись, крестный-часовщик, как бы мышиный король не сыграл с тобой злой шутки!

Ах, каково пришлось бедной Мари на следующую ночь! У нее по руке бегали ледяные лапки, и что-то шершавое и противное прикоснулось к щеке и запищало и завизжало прямо в ухо. На плече у нее сидел противный мышиный король; из семи его разверстых пастей текли кроваво-красные слюни, и, скрежеща зубами, он прошипел на ухо оцепеневшей от ужаса Мари:

— Я ускользну — я в щель шмыгну, под пол юркну, не трону сала, ты так и знай. Давай, давай картинки, платьице сюда, не то беда, предупреждаю: Щелкунчика поймаю и искусаю… Хи-хи!.. Пи-пи!.. Квик-квик!

Мари очень опечалилась, а когда наутро мать сказала: «А гадкая мышь все еще не попалась!»

— Мари побледнела и встревожилась, а мама подумала, что девочка грустит о сластях и боится мыши.

— Полно, успокойся, деточка, — сказала она, — мы прогоним гадкую мышь! Не помогут мышеловки — пускай тогда Фриц приносит своего серого советника посольства.

Как только Мари осталась в гостиной одна, она подошла к стеклянному шкафу и, рыдая, заговорила со Щелкунчиком:

— Ах, милый, добрый господин Дроссельмейер! Что могу сделать для вас я, бедная, несчастная девочка? Ну, отдам я на съедение противному мышиному королю все свои книжки с картинками, отдам даже красивое новое платьице, которое подарил мне Младенец Христос, но ведь он будет требовать с меня еще и еще, так что под конец у меня ничего не останется, и он, пожалуй, захочет загрызть и меня вместо вас. Ах, я бедная, бедная девочка! Ну что мне делать, что мне делать?!

Пока Мари так горевала и плакала, она заметила, что у Щелкунчика на шее с прошлой ночи осталось большое кровавое пятно. С тех пор как Мари узнала, что Щелкунчик на самом деле молодой Дроссельмейер, племянник советника суда, она перестала носить его и баюкать, пере-

стала ласкать и целовать, и ей даже было как-то неловко слишком часто до него дотрагиваться, но на этот раз она бережно достала Щелкунчика с полки и принялась заботливо оттирать носовым платком кровавое пятно на шее. Но как оторопела она, когда вдруг ощутила, что дружок Щелкунчику нее в руках потеплел и шевельнулся! Быстро поставила она его обратно на полку. Тут губы у него приоткрылись, и Щелкунчик с трудом пролепетал:

— О бесценная мадемуазель Штальбаум, верная моя подруга, сколь многим я вам обязан! Нет, не приносите в жертву ради меня книжки с картинками, праздничное платьице — раздобудьте мне саблю… Саблю! Об остальном позабочусь я сам, даже будь он…

Тут речь Щелкунчика прервалась, и его глаза, только что светившиеся глубокой печалью, снова померкли и потускнели. Мари ни капельки не испугалась, напротив того — она запрыгала от радости. Теперь она знала, как спасти Щелкунчика, не принося дальнейших тяжелых жертв. Но где достать для человечка саблю?

Мари решила посоветоваться с Фрицем, и вечером, когда родители ушли в гости и они вдвоем сидели в гостиной у стеклянного шкафа, она рас-

сказала брату все, что приключилось с ней из-за Щелкунчика и мышиного короля и отчего теперь зависит спасение Щелкунчика.

Больше всего огорчило Фрица, что его гусары плохо вели себя во время боя, как это выходило по рассказу Мари. Он очень серьезно переспросил ее, так ли оно было на самом деле, и, когда Мари дала ему честное слово, Фриц быстро подошел к стеклянному шкафу, обратился к гусарам с грозной речью, а затем в наказание за себялюбие и трусость срезал у них у всех кокарды с шапок и запретил им в течение года играть лейб-гусарский марш. Покончив с наказанием гусар, он обратился к Мари:

— Я помогу Щелкунчику достать саблю: только вчера я уволил в отставку с пенсией старого кирасирского полковника, и, значит, его прекрасная, острая сабля ему больше не нужна.

Упомянутый полковник проживал на выдаваемую ему Фрицем пенсию в дальнем углу, на третьей полке. Фриц достал его оттуда, отвязал и впрямь щегольскую серебряную саблю и надел ее Щелкунчику.

На следующую ночь Мари не могла сомкнуть глаз от тревоги и страха. В полночь ей послышалась в гостиной какая-то странная суматоха

— звяканье и шорох. Вдруг раздалось: «Квик!»

— Мышиный король! Мышиный король! — крикнула Мари и в ужасе соскочила с кровати.

Все было тихо, но вскоре кто-то осторожно постучал в дверь и послышался тоненький голосок:

— Бесценная мадемуазель Штальбаум, откройте дверь и ничего не бойтесь! Добрые, радостные вести.

Мари узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула юбочку и быстро отворила дверь. На пороге стоял Щелкунчик с окровавленной саблей в правой руке, с зажженной восковой свечкой — в левой. Увидев Мари, он тотчас же опустился на одно колено и заговорил так:

— О прекрасная дама! Вы одна вдохнули в меня рыцарскую отвагу и придали мощь моей руке, дабы я поразил дерзновенного, который посмел оскорбить вас. Коварный мышиный король повержен и купается в собственной крови! Соблаговолите милостиво принять трофеи из рук преданного вам до гробовой доски рыцаря.

С этими словами миленький Щелкунчик очень ловко стряхнул семь золотых корон мышиного короля, которые он нанизал на левую руку, и подал Мари, принявшей их с радостью.

Щелкунчик встал и продолжал так:

— Ах, моя бесценнейшая мадемуазель Шталь-баум! Какие диковинки мог бы я показать вам теперь, когда враг повержен, если бы вы соблаговолили пройти за мною хоть несколько шагов! О, сделайте, сделайте это, дорогая мадемуазель!

Кукольное царство

Я думаю, дети, всякий из вас, ни минуты не колеблясь, последовал бы за честным, добрым Щелкунчиком, у которого не могло быть ничего дурного на уме. А уж Мари и подавно, — ведь она знала, что вправе рассчитывать на величайшую благодарность со стороны Щелкунчика, и была убеждена, что он сдержит слово и покажет ей много диковинок. Вот потому она и сказала:

— Я пойду с вами, господин Дроссельмейер, но только недалеко и ненадолго, так как я совсем еще не выспалась.

— Тогда, — ответил Щелкунчик, — я выберу кратчайшую, хотя и не совсем удобную дорогу.

Он пошел вперед. Мари — за ним. Остановились они в передней, у старого огромного платяного шкафа. Мари с удивлением заметила, что дверцы, обычно запертые на замок, распахнуты; ей

хорошо было видно отцовскую дорожную лисью шубу, которая висела у самой дверцы. Щелкунчик очень ловко вскарабкался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Он изо всей силы дернул кисть, и тотчас из рукава шубы спустилась изящная лесенка кедрового дерева.

— Не угодно ли вам подняться, драгоценнейшая мадемуазель Мари? — спросил Щелкунчик.

Мари так и сделала. И не успела она подняться через рукав, не успела выглянуть из-за воротника, как ей навстречу засиял ослепительный свет, и она очутилась на прекрасном благоуханном лугу, который весь искрился, словно блестящими драгоценными камнями.

— Мы на Леденцовом лугу, — сказал Щелкунчик. — А сейчас пройдем в те ворота.

Только теперь, подняв глаза, заметила Мари красивые ворота, возвышавшиеся в нескольких шагах от нее посреди луга; казалось, что они сложены из белого и коричневого, испещренного крапинками мрамора. Когда же Мари подошла поближе, она увидела, что это не мрамор, а миндаль в сахаре и изюм, почему и ворота, под которыми они прошли, назывались, по уверению Щелкунчика, Миндально-Изюмными воротами.

Простой народ весьма неучтиво называл их воротами обжор студентов. На боковой галерее этих ворот, по-видимому сделанной из ячменного сахара, шесть обезьянок в красных куртках составили замечательный военный оркестр, который играл так хорошо, что Мари, сама того не замечая, шла все дальше и дальше по мраморным плитам, прекрасно сделанным из сахара, сваренного с пряностями.

Вскоре ее овеяли сладостные ароматы, которые струились из чудесной рощицы, раскинувшейся по обеим сторонам. Темная листва блестела и искрилась так ярко, что ясно видны были золотые и серебряные плоды, висевшие на разноцветных стеблях, и банты, и букеты цветов, украшавшие стволы и ветви, словно веселых жениха и невесту и свадебных гостей. При каждом дуновении зефира, напоенного благоуханием апельсинов, в ветвях и листве подымался шелест, а золотая мишура хрустела и трещала, словно ликующая музыка, которая увлекала сверкающие огоньки, и они плясали и прыгали.

— Ах, как здесь чудесно! — воскликнула восхищенная Мари.

— Мы в Рождественском лесу, любезная мадемуазель, — сказал Щелкунчик.

— Ах, как бы мне хотелось побыть здесь! Тут так чудесно! — снова воскликнула Мари.

Щелкунчик ударил в ладоши, и тотчас же явились крошечные пастухи и пастушки, охотники и охотницы, такие нежные и белые, что можно было подумать, будто они из чистого сахара. Хотя они и гуляли по лесу, Мари их раньше почему-то не заметила. Они принесли чудо какое хорошенькое золотое кресло, положили на него белую подушку из пастилы и очень любезно пригласили Мари сесть. И сейчас же пастухи и пастушки исполнили прелестный балет, а охотники тем временем весьма искусно трубили в рога. Затем все скрылись в кустарнике.

— Простите, дорогая мадемуазель Штальбаум, — сказал Щелкунчик, — простите за такие жалкие танцы. Но это танцоры из нашего кукольного балета — они только и знают, что повторять одно и то же, а то, что охотники так сонно и лениво трубили в трубы, тоже имеет свои причины. Бонбоньерки на елках хотя и висят у них перед самым носом, но слишком высоко. А теперь не угодно ли вам пожаловать дальше?

— Да что вы, балет был просто прелесть какой и мне очень понравился! — сказала Мари, вставая и следуя за Щелкунчиком.

Они шли вдоль ручья, бегущего с нежным журчаньем и лепетом и наполнявшего своим чудным благоуханием весь лес.

— Это Апельсинный ручей, — ответил Щелкунчик на расспросы Мари, — но, если не считать его прекрасного аромата, он не может сравниться ни по величине, ни по красоте с Лимонадной рекой, которая, подобно ему, вливается в озеро Миндального молока.

И в самом деле, вскоре Мари услыхала более громкий плеск и журчанье и увидела широкий лимонадный поток, который катил свои гордые светло-желтые волны среди сверкающих, как изумруды, кустов. Необыкновенно бодрящей прохладой, услаждающей грудь и сердце, веяло от прекрасных вод. Неподалеку медленно текла темно-желтая река, распространявшая необычайно сладкое благоухание, а на берегу сидели красивые детки, которые удили маленьких толстых рыбок и тут же поедали их. Подойдя ближе, Мари заметила, что рыбки были похожи на ломбардские орехи. Немножко подальше на берегу раскинулась очаровательная деревушка. Дома, церковь, дом пастора, амбары были темно-коричневые с золотыми кровлями; а многие стены были расписаны так пестро, словно на них

налепили миндалины и лимонные цукаты.

— Это село Пряничное, — сказал Щелкунчик, — расположенное на берегу Медовой реки. Народ в нем живет красивый, но очень сердитый, так как все там страдают зубной болью. Лучше мы туда не пойдем.

В то же мгновение Мари заметила красивый городок, в котором все дома сплошь были пестрые и прозрачные. Щелкунчик направился прямо туда, и вот Мари услышала беспорядочный веселый гомон и увидела тысячу хорошеньких человечков, которые разбирали и разгружали доверху нагруженные телеги, теснившиеся на базаре. А то, что они доставали, напоминало пестрые разноцветные бумажки и плитки шоколада.

— Мы в Конфетенхаузене, — сказал Щелкунчик, — сейчас как раз прибыли посланцы из Бумажного королевства и от шоколадного короля. Не так давно бедным конфетенхаузенцам угрожала армия комариного адмирала; поэтому они покрывают свои дома дарами Бумажного государства и возводят укрепления из прочных плит, присланных шоколадным королем. Но, бесценная мадемуазель Штальбаум, мы не можем посетить все городки и деревушки страны — в столицу, в столицу!

Щелкунчик заторопился дальше, а Мари, сгорая от нетерпения, не отставала от него. Вскоре повеяло дивным благоуханием роз, и все словно озарилось нежно мерцающим розовым сиянием. Мари заметила, что это был отблеск розово-алых вод, со сладостно-мелодичным звуком плескавшихся и журчавших у ее ног. Волны все прибывали и прибывали и наконец превратились в большое прекрасное озеро, по которому плавали чудесные серебристо-белые лебеди с золотыми ленточками на шее и пели прекрасные песни, а бриллиантовые рыбки, словно в веселой пляске, ныряли и кувыркались в розовых волнах.

— Ах, — в восторге воскликнула Мари, — да ведь это же то самое озеро, что как-то пообещал мне сделать крестный! А я — та самая девочка, что должна была забавляться с миленькими лебедями.

Щелкунчик улыбнулся так насмешливо, как еще ни разу не улыбался, а потом сказал:

— Дяде никогда не смастерить ничего подобного. Скорее вы, милая мадемуазель Штальбаум… Но стоит ли над этим раздумывать! Лучше переправимся по Розовому озеру на ту сторону, в столицу.

Столица

Щелкунчик снова хлопнул в ладоши. Розовое озеро зашумело сильнее, выше заходили волны, и Мари увидела вдали двух золоточешуйчатых дельфинов, впряженных в раковину, сиявшую яркими, как солнце, драгоценными камнями. Двенадцать очаровательных арапчат в шапочках и передничках, сотканных из радужных перышек колибри, соскочили на берег и, легко скользя по волнам, перенесли сперва Мари, а потом Щелкунчика в раковину, которая сейчас же понеслась по озеру.

Ах, как чудно было плыть в раковине, овеваемой благоуханием роз и омываемой розовыми волнами! Золоточешуйчатые дельфины подняли морды и принялись выбрасывать хрустальные струи высоко вверх, а когда эти струи ниспадали с вышины сверкающими и искрящимися дугами, чудилось, будто поют два прелестных, нежно-серебристых голоска:

«Кто озером плывет? Фея вод! Комарики, ду-ду-ду! Рыбки, плеск-плеск! Лебеди, блеск-блеск! Чудо-птичка, тра-ла-ла! Волны, пойте, вея, млея, — к нам плывет по розам фея; струйка резвая, взмет-

нись — к солнцу, ввысь!»

Но двенадцати арапчатам, вскочившим сзади в раковину, видимо, совсем не нравилось пение водных струй. Они так трясли своими зонтиками, что листья финиковых пальм, из которых те были сплетены, мялись и гнулись, а арапчата отбивали ногами какой-то неведомый такт и пели: «Топ-и-тип и тип-и-топ, хлоп-хлоп-хлоп! Мы по водам хороводом! Птички, рыбки — на прогулку, вслед за раковиной гулкой! Топ-и-тип и тип-и-топ, хлоп-хлоп-хлоп!»

— Арапчата — очень веселый народ, — сказал несколько смущенный Щелкунчик, — но как бы они не взбаламутили мне все озеро!

И правда, вскоре раздался громкий гул: удивительные голоса, казалось, плыли над озером. Но Мари не обращала на них внимания, — она смотрела в благоуханные волны, откуда ей улыбались прелестные девичьи лица.

— Ах, — радостно закричала она, хлопая в ладошки, — поглядите-ка, милый господин Дроссельмейер: там принцесса Пирлипат! Она так ласково мне улыбается… Да поглядите же, милый господин Дроссельмейер!

Но Щелкунчик печально вздохнул и сказал:

— О бесценная мадемуазель Штальбаум, это

не принцесса Пирлипат, это вы. Только вы сами, только ваше собственное прелестное личико ласково улыбается из каждой волны.

Тогда Мари быстро отвернулась, крепко зажмурила глаза и совсем сконфузилась. В то же мгновенье двенадцать арапчат подхватили ее и отнесли из раковины на берег. Она очутилась в небольшом лесочке, который был, пожалуй, еще прекраснее, чем Рождественский лес, так все тут сияло и искрилось; особенно замечательны были редкостные плоды, висевшие на деревьях, редкостные не только по окраске, но и по дивному благоуханию.

— Мы в Цукатной роще, — сказал Щелкунчик, — а вон там — столица.

Ах, что же увидала Мари! Как мне описать вам, дети, красоту и великолепие представшего перед глазами Мари города, который широко раскинулся на усеянной цветами роскошной поляне? Он блистал не только радужными красками стен и башен, но и причудливой формой строений, совсем непохожих на обычные дома. Вместо крыш их осеняли искусно сплетенные венки, а башни были увиты такими прелестными пестрыми гирляндами, что и представить себе нельзя.

Когда Мари и Щелкунчик проходили через

ворота, которые, казалось, были сооружены из миндального печенья и цукатов, серебряные солдатики взяли на караул, а человечек в парчовом шлафроке обнял Щелкунчика со словами:

— Добро пожаловать, любезный принц! Добро пожаловать в Конфетенбург!

Мари очень удивилась, что такой знатный вельможа называет господина Дроссельмейера принцем. Но тут до них донесся гомон тоненьких голосков, шумно перебивавших друг друга, долетели звуки ликования и смеха, пение и музыка, и Мари, позабыв обо всем, сейчас же спросила Щелкунчика, что это.

— О любезная мадемуазель Штальбаум, — ответил Щелкунчик, — дивиться тут нечему: Конфетенбург — многолюдный, веселый город, тут каждый день веселье и шум. Будьте любезны, пойдемте дальше.

Через несколько шагов они очутились на большой, удивительно красивой базарной площади. Все дома были украшены сахарными галереями ажурной работы. Посередине, как обелиск, возвышался глазированный сладкий пирог, осыпанный сахаром, а вокруг из четырех искусно сделанных фонтанов били вверх струи лимонада, оршада и других вкусных прохладительных

напитков. Бассейн был полон сбитых сливок, которые так и хотелось зачерпнуть ложкой. Но прелестнее всего были очаровательные человечки, во множестве толпившиеся тут. Они веселились, смеялись, шутили и пели; это их веселый гомон Мари слышала еще издали.

Тут были нарядно разодетые кавалеры и дамы, армяне и греки, евреи и тирольцы, офицеры и солдаты, и монахи, и пастухи, и паяцы — словом, всякий люд, какой только встречается на белом свете. В одном месте на углу поднялся страшный гвалт: народ кинулся врассыпную, потому что как раз в это время проносили в паланкине Великого Могола, сопровождаемого девяноста тремя вельможами и семьюстами невольниками. Но надо же было случиться, что на другом углу цех рыбаков, в количестве пятисот человек, устроил торжественное шествие, а, на беду, турецкому султану как раз вздумалось проехаться в сопровождении трех тысяч янычар по базару; к тому же прямо на сладкий пирог надвигалась со звонкой музыкой и пением: «Слава могучему солнцу, слава!» — процессия «прерванного торжественного жертвоприношения». Ну и поднялись же сумятица, толкотня и визг! Вскоре послышались стоны, так как в суматохе какой-то рыбак сшиб

голову брамину, а Великого Могола чуть было не задавил паяц. Шум становился все бешеней и бешеней, уже начались толкотня и драка, но тут человек в парчовом шлафроке, тот самый, что у ворот приветствовал Щелкунчика в качестве принца, взобрался на пирог и, трижды дернув звонкий колокольчик, трижды громко крикнул: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Сутолока мигом улеглась; всякий спасался как мог, и после того как распутались спутавшиеся шествия, когда вычистили перепачкавшегося Великого Могола и снова насадили голову брамину, опять пошло прерванное шумное веселье.

— В чем тут дело с кондитером, любезный господин Дроссельмейер? — спросила Мари.

— Ах, бесценная мадемуазель Штальбаум, кондитером здесь называют неведомую, но очень страшную силу, которая, по здешнему поверью, может сделать с человеком все, что ей вздумается, — ответил Щелкунчик, — это тот рок, который властвует над этим веселым народцем, и жители так его боятся, что одним упоминанием его имени можно угомонить самую большую сутолоку, как это сейчас доказал господин бургомистр. Тогда никто уже не помышляет о земном, о тумаках и шишках на лбу, всякий погружается в себя и

говорит: «Что есть человек и во что он может превратиться?»

Громкий крик удивления — нет, крик восторга вырвался у Мари, когда она вдруг очутилась перед замком с сотней воздушных башенок, светившимся розово-алым сиянием. Там и сям по стенам были рассыпаны роскошные букеты фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев, которые оттеняли ослепительную, отливающую алым светом белизну фона. Большой купол центрального здания и остроконечные крыши башен были усеяны тысячами звездочек, сверкающих золотом и серебром.

— Вот мы и в Марципановом замке, — сказал Щелкунчик.

Мари не отрывала глаз от волшебного дворца, но все же она заметила, что на одной большой башне не хватает крыши, над восстановлением которой, по-видимому, трудились человечки, стоявшие на помосте из корицы. Не успела она задать вопрос Щелкунчику, как он сказал:

— Совсем недавно замку грозила большая беда, а может быть, и полное разорение. Великан Сладкоежка проходил мимо. Быстро откусил он крышу вон с той башни и принялся уже за большой купол, но жители Конфетенбурга уми-

лостивили его, поднеся в виде выкупа четверть города и значительную часть Цукатной рощи. Он закусил ими и отправился дальше.

Вдруг тихо зазвучала очень приятная, нежная музыка. Ворота замка распахнулись, и оттуда вышли двенадцать крошек пажей с зажженными факелами из стеблей гвоздики в ручках. Головы у них были из жемчужин, туловища — из рубинов и изумрудов, а передвигались они на золотых ножках искусной работы. За ними следовали четыре дамы почти такого же роста, как Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах; Мари мигом признала в них прирожденных принцесс. Они нежно обняли Щелкунчика и при этом воскликнули с искренней радостью:

— О принц, дорогой принц! Дорогой братец!

Щелкунчик совсем растрогался: он утирал часто набегавшие на глаза слезы, затем взял Мари за руку и торжественно объявил:

— Вот мадемуазель Мари Штальбаум, дочь весьма достойного советника медицины и моя спасительница. Не брось она в нужную минуту туфельку, не добудь она мне саблю вышедшего на пенсию полковника, меня загрыз бы противный мышиный король, и я лежал бы уже в могиле. О мадемуазель Штальбаум! Может ли сравниться с

ней по красоте, достоинству и добродетели Пирлипат, несмотря на то что та — прирожденная принцесса? Нет, говорю я, нет!

Все дамы воскликнули: «Нет!» — и, рыдая, принялись обнимать Мари.

— О благородная спасительница нашего возлюбленного царственного брата! О несравненная мадемуазель Штальбаум!

Затем дамы отвели Мари и Щелкунчика в покои замка, в зал, стены которого сплошь были сделаны из переливающегося всеми цветами радуги хрусталя. Но что понравилось Мари больше всего — это расставленные там хорошенькие стульчики, комодики, секретеры, изготовленные из кедра и бразильского дерева с инкрустированными золотыми цветами.

Принцессы уговорили Мари и Щелкунчика присесть и сказали, что они сейчас же собственноручно приготовят им угощение. Они тут же достали разные горшочки и мисочки из тончайшего японского фарфора, ложки, ножи, вилки, терки, кастрюльки и прочую золотую и серебряную кухонную утварь. Затем они принесли такие чудесные плоды и сласти, каких Мари и не видывала, и очень грациозно принялись выжимать прелестными белоснежными ручками

фруктовый сок, толочь пряности, тереть сладкий миндаль — словом, принялись так славно хозяйничать, что Мари поняла, какие они искусницы в кулинарном деле и какое роскошное угощение ожидает ее. Прекрасно сознавая, что тоже кое-что в этом понимает, Мари втайне желала сама принять участие в занятии принцесс. Самая красивая из сестер Щелкунчика, словно угадав тайное желание Мари, протянула ей маленькую золотую ступку и сказала:

— Милая моя подружка, бесценная спасительница брата, потолки немножко карамелек.

Пока Мари весело стучала пестиком, так что ступка звенела мелодично и приятно, не хуже прелестной песенки, Щелкунчик начал подробно рассказывать о страшной битве с полчищами мышиного короля, о том, как он потерпел поражение из-за трусости своих войск, как потом противный мышиный король во что бы то ни стало хотел загрызть его, как Мари пришлось пожертвовать многими его подданными, которые были у нее на службе…

Во время рассказа Мари чудилось, будто слова Щелкунчика и даже ее собственные удары пестиком звучат все глуше, все невнятнее, и вскоре глаза ей застлала серебряная пелена — словно

поднялись легкие клубы тумана, в которые погрузились принцессы… пажи… Щелкунчик… она сама… Где-то что-то шелестело, журчало и пело; странные звуки растворялись вдали. Вздымающиеся волны несли Мари все выше и выше… выше и выше… выше и выше…

Заключение

Та-ра-ра-бух! — и Мари упала с неимоверной высоты. Вот это был толчок! Но Мари тут же открыла глаза. Она лежала у себя в постельке. Было совсем светло, а около стояла мама и говорила:

— Ну, можно ли так долго спать! Завтрак давно на столе.

Мои глубокоуважаемые слушатели, вы, конечно, уже поняли, что Мари, ошеломленная всеми виденными чудесами, в конце концов заснула в зале Марципанового замка и что арапчата или пажи, а может быть, и сами принцессы отнесли ее домой и уложили в постельку.

— Ах, мамочка, милая моя мамочка, где только я не побывала этой ночью с молодым господином Дроссельмейером! Каких только чудес не насмотрелась!

И она рассказала все почти так же подробно,

как только что рассказал я, а мама слушала и удивлялась.

Когда Мари окончила, мать сказала:

— Тебе, милая Мари, приснился длинный прекрасный сон. Но выкинь все это из головы.

Мари упрямо твердила, что видела все не во сне, а наяву. Тогда мать подвела ее к стеклянному шкафу, вынула Щелкунчика, который, как всегда, стоял на второй полке, и сказала:

— Ах ты, глупышка, откуда ты взяла, что деревянная нюрнбергская кукла может говорить и двигаться?

— Но, мамочка, — перебила ее Мари, — я ведь знаю, что крошка Щелкунчик — молодой господин Дроссельмейер из Нюрнберга, племянник крестного!

Тут оба — и папа и мама — громко расхохотались.

— Ах, теперь ты, папочка, смеешься над моим Щелкунчиком, — чуть не плача, продолжала Мари, — а он так хорошо отзывался о тебе! Когда мы пришли в Марципановый замок, он представил меня принцессам — своим сестрам и сказал, что ты весьма достойный советник медицины!

Хохот только усилился, и теперь к родителям присоединились Луиза и даже Фриц. Тогда Мари

побежала в другую комнату, быстро достала из своей шкатулочки семь корон мышиного короля и подала их матери со словами:

— Вот, мамочка, посмотри: вот семь корон мышиного короля, которые прошлой ночью поднес мне в знак своей победы молодой господин Дроссельмейер!

Мама с удивлением разглядывала крошечные короны из какого-то незнакомого, очень блестящего металла и такой тонкой работы, что едва ли это могло быть делом рук человеческих. Господин Штальбаум тоже не мог насмотреться на короны. Затем и отец и мать строго потребовали, чтобы Мари призналась, откуда у нее коронки, но она стояла на своем.

Когда отец стал ее журить и даже обозвал лгуньей, она горько разрыдалась и стала жалобно приговаривать:

— Ах, я бедная, бедная! Ну что мне делать?

Но тут вдруг открылась дверь, и вошел крестный.

— Что случилось? Что случилось? — спросил он. — Моя крестница Марихен плачет и рыдает? Что случилось? Что случилось?

Папа рассказал ему, что случилось, и показал крошечные короны. Старший советник суда, как

только увидел их, рассмеялся и воскликнул:

— Глупые выдумки, глупые выдумки! Да ведь это же коронки, которые я когда-то носил на цепочке от часов, а потом подарил Марихен в день ее рождения, когда ей минуло два года! Разве вы позабыли?

Ни отец, ни мать не могли этого припомнить.

Когда Мари убедилась, что лица у родителей опять стали ласковыми, она подскочила к крестному и воскликнула:

— Крестный, ведь ты же все знаешь! Скажи, что мой Щелкунчик — твой племянник, молодой господин Дроссельмейер из Нюрнберга, и что он подарил мне эти крошечные короны.

Крестный нахмурился и пробормотал:

— Глупые выдумки!

Тогда отец отвел маленькую Мари в сторону и сказал очень строго:

— Послушай, Мари, оставь раз навсегда выдумки и глупые шутки! И если ты еще раз скажешь, что уродец Щелкунчик — племянник твоего крестного, я выброшу за окно не только Щелкунчика, но и всех остальных кукол, не исключая и мамзель Клерхен.

Теперь бедняжка Мари, разумеется, не смела и заикнуться о том, что переполняло ей сердце;

ведь вы понимаете, что не так-то легко было Мари забыть все прекрасные чудеса, приключившиеся с ней. Даже, уважаемый читатель или слушатель Фриц, даже твой товарищ Фриц Штальбаум сейчас же поворачивался спиной к сестре, как только она собиралась рассказать о чудесной стране, где ей было так хорошо. Говорят, что порой он даже бормотал сквозь зубы: «Глупая девчонка!» Но, издавна зная его добрый нрав, я никак не могу этому поверить; во всяком случае, доподлинно известно, что, не веря больше ни слову в рассказах Мари, он на публичном параде формально извинился перед своими гусарами за причиненную обиду, приколол им вместо утраченных знаков отличия еще более высокие и пышные султаны из гусиных перьев и снова разрешил трубить лейб-гусарский марш. Ну, а мы-то знаем, какова была отвага гусар, когда отвратительные пули насажали им на красные мундиры пятна.

Говорить о своем приключении Мари больше не смела, но волшебные образы сказочной страны не оставляли ее. Она слышала нежный шелест, ласковые, чарующие звуки; она видела все снова, как только начинала об этом думать, и, вместо того чтобы играть, как бывало раньше,

могла часами сидеть смирно и тихо, уйдя в себя, — вот почему все теперь звали ее маленькой мечтательницей.

Раз как-то случилось, что крестный чинил часы у Штальбаумов. Мари сидела около стеклянного шкафа и, грезя наяву, глядела на Щелкунчика. И вдруг у нее вырвалось:

— Ах, милый господин Дроссельмейер, если бы вы на самом деле жили, я не отвергла бы вас, как принцесса Пирлипат, за то, что из-за меня вы потеряли свою красоту!

Советник суда тут же крикнул:

— Ну, ну, глупые выдумки!

Но в то же мгновение раздался такой грохот и треск, что Мари без чувств свалилась со стула. Когда она очнулась, мать хлопотала около нее и говорила:

— Ну, можно ли падать со стула? Такая большая девочка! Из Нюрнберга сейчас приехал племянник господина старшего советника суда, будь умницей.

Она подняла глаза: крестный снова нацепил свой стеклянный парик, надел желтый сюртучок и довольно улыбался, а за руку он держал, правда, маленького, но очень складного молодого человека, белого и румяного, как кровь с молоком,

в великолепном красном, шитом золотом кафтане, в туфлях и белых шелковых чулках. К его жабо был приколот прелесть какой хорошенький букетик, волосы были тщательно завиты и напудрены, а вдоль спины спускалась превосходная коса. Крошечная шпага у него на боку так и сверкала, словно вся усеянная драгоценными камнями, под мышкой он держал шелковую шляпу.

Молодой человек проявил свой приятный нрав и благовоспитанность, подарив Мари целую кучу чудесных игрушек и прежде всего — вкусный марципан и куколок взамен тех, что погрыз мышиный король, а Фрицу — замечательную саблю. За столом любезный юноша щелкал всей компании орешки. Самые твердые были ему нипочем; правой рукой он совал их в рот, левой дергал себя за косу, и — щелк! — скорлупа разлеталась на мелкие кусочки.

Мари вся зарделась, когда увидела учтивого юношу, а когда после обеда молодой Дроссельмейер предложил ей пройти в гостиную, к стеклянному шкафу, она стала пунцовой.

— Ступайте, ступайте играть, дети, только смотрите не ссорьтесь. Теперь, когда все часы у меня в порядке, я ничего не имею против! Напутствовал

их старший советник суда.

Как только молодой Дроссельмейер очутился наедине с Мари, он опустился на одно колено и повел такую речь:

— О бесценная мадемуазель Штальбаум, взгляните: у ваших ног счастливый Дроссельмейер, которому на этом самом месте вы спасли жизнь. Вы изволили вымолвить, что не отвергли бы меня, как гадкая принцесса Пирлипат, если бы из-за вас я стал уродом. Тотчас же я перестал быть жалким Щелкунчиком и обрел мою былую, не лишенную приятности наружность. О превосходная мадемуазель Штальбаум, осчастливьте меня вашей достойной рукой!

Разделите со мной корону и трон, будем царствовать вместе в Марципановом замке.

Мари подняла юношу с колен и тихо сказала:

— Милый господин Дроссельмейер! Вы кроткий, добросердечный человек, да к тому же еще царствуете в прекрасной стране, населенной прелестным веселым народцем, — ну разве могу я не согласиться, чтобы вы были моим женихом!

И Мари тут же стала невестой Дроссельмейера. Рассказывают, что через год он увез ее в золотой карете, запряженной серебряными лошадьми, что на свадьбе у них плясали двадцать две тыся-

чи нарядных кукол, сверкающих бриллиантами и жемчугом, а Мари, как говорят, еще и поныне королева в стране, где, если только у тебя есть глаза, ты всюду увидишь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки — словом, всякие чудеса и диковинки.

Вот вам сказка про Щелкунчика и мышиного короля.

1816

ТОМАС МАЙН РИД

Рождество в охотничьем домике

Зимой 18.. года, получив короткий отпуск с корабля, я проводил Рождество в отцовском доме на западном берегу Ирландии. Отец уехал на рождественский прием в Дублин, и из всех членов семьи в доме оставалась только моя сестра Кейт. Мне показалось, что в таких условиях рождественский обед предстоит скучный. Отца вызвали неожиданно, и в нашем доме не должно было состояться никакого приема; и поскольку о его отъезде никому из соседней не было известно — ближайший сосед жил в семи милях от нас, — нас никуда не пригласили.

И тут мне пришла в голову мысль, которая позволяла избавить нас от необходимости обедать вдвоем в большом зале. Мы проведем Рождество в нашем охотничьем домике. Во владениях отца был такой.

Я рассказал о своей идее Кейт, и она не только поддержала ее, но и искренне обрадовалась.

Такое редкое развлечение и такое оригинальное! Нечто вроде пикника в середине зимы!

Тем не менее, поразмыслив, я почувствовал некоторые опасения — по причинам, которые

вскоре станут ясны. Охотничий домик, о котором идет речь, расположен в шести милях от нашего дома, далеко от берега, в центре дикой горной местности, части хребта Сливениш. Здесь большая территория принадлежит нашей семье. Домик расположен в таком месте, куда почти невозможно добраться в экипаже на колесах; и если бы не изобилие дичи по соседству, никто, кроме отшельников, не согласился бы там жить. Однако были у него и привлекательные особенности; домик расположен в очень живописном месте, в ущелье, которое тянется между высоких хребтов и заканчивается тупиком, известным среди местных жителей под названием *«пакоун»,* или «козья дыра». В ущелье растет несколько искривленных деревьев, которые называются «сказочными колючками»; деревья окружают зеленый луг — газон перед домиком. Возле домика расположены сад, огород и небольшая конюшня. Все это по контрасту с голыми и мрачными окружающими горами придавало месту вид уюта и комфорта.

Сам домик представлял собой одноэтажное строение с крытой соломой крышей; одна гостиная, кухня и три спальни. Гостиная впереди, кухня сбоку, а спальни между ними. В тылу,

над кухней, нечто вроде чердака, с маленьким окошком, выходящим на конюшенный двор; вообще все окна в доме маленькие и хорошо укрепленные — специально для защиты от сильных ветров, которые по ущелью прорываются прямо с моря с шумом, напоминающим звуки тысячи труб.

Я так подробно описываю домик и его окрестности, потому что это имеет непосредственное отношение к происшествию, о котором собираюсь рассказать. Теперь можно объяснить и причину, по которой мое предложение сестре следует назвать неблагоразумным. Вся страна находилась в возбужденном состоянии, и говорили о предстоящей высадке *фениев;*[33] сообщалось, что фении находятся в пути из Соединенных Штатов. Побережье, самое дикое на западе Ирландии, не охранялось, и такая высадка вполне возможна. Ближайшая воинская часть — пехотный отряд — размещена в небольшом городке, центре графства, в пятнадцати милях отсюда. В пяти милях от домика находится полицейский участок; но, во-первых, там только сержант с

[33] Примечания: 33

Фении — члены тайного общества ирландцев, основанного в Нью-Йорке в 1857 г.; фении боролись за освобождение Ирландии от английского владычества и создание независимой республики.

несколькими полицейскими, а во-вторых, туда ведет почти непроходимая крутая горная дорога.

Объяснив это все сестре и намекнув на возможную опасность, я услышал взрыв смеха и ответ:

— Если есть опасность, тем лучше и забавней. Мне нравится мысль о приключениях в диких горах. Будет о чем рассказать подругам, когда мы в следующий раз приедем в Дублин.

— Но, моя дорогая Кейт…

— Но, мой дорогой Морис, — прервала она меня, — бесполезно теперь возражать. Ты уговорил меня провести Рождество в охотничьем домике, и я проведу его там — в твоем обществе или без него. В чужих странах ты встречаешь множество приключений, и с твоей стороны эгоистично лишать меня маленького развлечения в горах Сливениш.

После выстрела такой батареи — я видел, что она готова к новым залпам, — пришлось сдаться. Тем не менее сестра снова выстрелила, сказав:

— К тому же мне кажется, с нами будет Элен Кросби. Дом Хиллвью недалеко от нашего охотничьего угодья; и если она никуда не приглашена на Рождество, я уверена, она присоединится к нам. Я напишу и приглашу ее.

Аргумент неотразимый: Элен Кросби — извест-

ная на всем побережье красавица. Поэтому я не стал больше сопротивляться желаниям сестры. Договорившись, мы занялись подготовкой к переезду в охотничий домик в сопровождении различных припасов. Не забыли мы и о выпивке.

В конце концов нам нечего особенно опасаться фениев. Они считали, что наше семейство благосклонно относится к их движению; не потому, что мы как-то проявляли это отношение, а просто потому, что мы принадлежим к «доброму старому ирландскому роду», как они выражаются, и потому должны им сочувствовать. Мне кажется, моя сестра им сочувствовала; думаю, что сегодня, если брак ее не изменил, она сочувствует Гомрулю.[34]

— Мой дорогой Морис, нам с тобой грозит не большая опасность от этих людей, чем от стада горных овец — ягнят, если хочешь. А если ты им не доверяешь, есть капитан Уотерсон, командир береговой стражи. Ты ведь говорил, что он твой друг? Почему бы не пригласить его пообедать с нами, прихватив с собой с полдюжины солдат в

[34] Примечания: 34

Гомруль — движение последней трети XIX — начала XX в. за ограниченное самоуправление Ирландии при сохранении верховной власти английской короны.

синих мундирах? Хоть домик маленький, я уверена, старая Пегги сумеет разместить их на кухне.

Совсем неплохая мысль; я велел оседлать лошадь и отправился на станцию береговой стражи.

Капитан Уотерсон, командовавший станцией, был моим старым другом: мы вместе плавали на «Стиксе». Я рассказал ему о нашем предложении и передал приглашение сестры. Он принял приглашение и сказал:

— Если вы намерены провести Рождество в своем охотничьем домике, я считаю разумным принять некоторые предосторожности. Правительство ожидает неприятностей от фениев; броненосец «Уорриор» с двумя пушками направлен сюда из Шеннона. Он только что прибыл.

— «Уорриор»! Рад это слышать. Ведь «Уорриором» командует наш старый друг Кокрейн, не правда ли?

— Да. Командир Кокрейн.

— Это хорошая новость. Надо пригласить его на Рождество в наш охотничий домик. Я напишу ему.

— Ну, я как раз собираюсь отправить ему несколько сообщений; если напишете сейчас, я отправлю и ваше письмо.

— Очень хорошо.

Приглашение Кокрейну было отправлено немедленно; вернувшись домой, я рассказал сестре об этой удаче.

Я радовался предстоящей встрече со своим старым другом Кокрейном. Мы учились в одной школе; потом, много лет назад, были вместе гардемаринами; и тогда дали друг другу слово, что, когда оба окажемся вблизи отцовских домов — мой был расположен в Ирландии, его — в Шотландии, — обязательно познакомимся с семьями друг друга. И вот впервые появилась возможность выполнить обещание; к счастью, я был дома и должен был знакомить его со своей семьей.

В то утро, когда мы с сестрой собирались отправиться в охотничий домик, я получил ответ Кокрейна; он написал, что приедет; но только на один день и на ночь не останется, поскольку никому из офицеров корабля не разрешалось ночевать на берегу. Он добавил, что опасности от фениев не ожидают, но правительство считает нужным подготовиться. Именно поэтому и прислали «Уорриор».

Прочитав письмо Кокрейна, мы с сестрой и

моим слугой Коном, родом из Уайтчепеля,[35] уселись в тележку и в должное время прибыли в охотничий домик; как я уже говорил, он находится в шести милях от дома моего отца — по прямой, но по горным дорогам приходится преодолевать не меньше десяти.

— Добро пожаловать, ваша милость! — встретила нас старая Пегги, хозяйка домика. — Как я рада вас видеть, капитан, дорогой, и красивую леди — вашу сестру — Спасибо, Пег, спасибо! Но я думал, ты меня не узнаешь после долгого отсутствия.

Я только что вернулся из четырехлетнего плавания по Тихому океану.

— Не узнаю вас, мистер Морис? Да я вас и через сто лет узнаю! Разве не старая Пегги держала вас на руках, когда вы были маленьким улыбающимся мальчиком?

— Послушай, Пегги, — вмешалась моя сестра, — я собираюсь тебя сместить. На одни сутки я стану хозяйкой домика. И поскольку мы ожидаем гостей, подготовь свое кухонное оборудование.

— Ну, мисс, не очень удобное место для приема гостей, но я постараюсь; хотя, конечно, мы не

---

[35] Примечания: 35
Уайтчепель — беднейший район Лондона.

сможем сделать все, что можно в большом доме.

Пегги — известная кухарка, и в такой должности много лет провела в «большом доме». Но состарилась, вышла на пенсию, и в качестве постоянного жилища ей отвели охотничий домик; все равно кому-то нужно за ним присматривать.

Кейт и престарелая кухарка занялись приготовлениями по хозяйству, а мы с Коном и Шоном, нашим лесничим, которого в округе прозвали Джеком-собачником, отправились на конюшню, чтобы присмотреть за собаками.

Приведя в порядок свое охотничье снаряжение, я принялся прочесывать окружающие горные склоны, на которых оказалось множество тетеревов и бекасов и изобилие зайцев. Проходил я недолго. Часть рождественского обеда должна была быть охотничьей добычей, и мы с Джеком-собачником быстро ее раздобыли. Принесли с собой много пушистых и пернатых обитателей гор и передали их Пегги и ее помощнице на кухне.

Вскоре появился и Кокрейн; с ним был один из офицеров корабля, молодой шотландец по имени Сеймур; он тоже оказался моим старым знакомым: на фрегате ее величества, на котором я служил лейтенантом, он был гардемарином.

Отличное общество собралось на Рождество; не хватало только одного человека, чтобы я почувствовал себя счастливым; нужно ли говорить, что этим человеком была Элен Кросби; но, как оказалось впоследствии, к счастью, она была занята в другом месте.

Мужчины, служившие вместе и надолго расставшиеся, склонны к общению. Огромное удовольствие — говорить о старых временах; это знают и одноклассники, и солдаты, и моряки.

Хотя, мне кажется, больше всего это свойственно моряку. Мир перед ним и за ним, он бывал во множестве стран и видел самые необычные сцены, и мозг его стал чем-то вроде склада или калейдоскопа; в нем люди и предметы между полюсами и экватором: от холодной Арктики до теплых островов Индийского океана.

Кейт встретила моих друзей с обычным радушием, и я видел, как восхищенно блестели глаза Фрэнка Сеймура, когда он смотрел на нее. Могу добавить, что моя сестра не только энергична и весела, она еще очень красивая девушка; именно такая способна пленить сердце моряка.

Теперь мы ждали только Уотерсона; но прежде чем садиться за стол, я получил записку от капитана береговой стражи; Уотерсон извинялся,

что не сможет пообедать с нами, объяснив это каким-то неотложным делом. Однако пообещал, если появится возможность, приехать позже и выпить с нами стакан вина. Пришлось начинать без него.

Еда оказалась даже лучше, чем я ожидал: Пегги продемонстрировала все свое кулинарное искусство.

Мы уже перешли к вину и каштанам и ожидали, что вот-вот к нашему обществу присоединятся береговые стражники, когда в комнату вошел мой слуга Кон и прошептал мне на ухо, что какой-то человек хочет поговорить со мной по очень важному делу.

Выйдя, я узнал одного из работников отца.

— Что вас привело сюда, Мик? — спросил я.

— Слава Богу, я успел вовремя, — ответил он, с трудом переводя дыхание.

— Вовремя? О чем это вы, Мик?

— Опасность, ваша честь. Фении высадились в Балливурни и идут сюда за английскими офицерами, которые с вами в доме.

— Фении? Это правда?

— Клянусь Святой Девой, хозяин!

Я не сомневался в том, что этот человек говорит правду. Как ни неприятна эта новость, необходи-

мо, чтобы гости ее узнали — и немедленно.

— Что ж, — сказал Кокрейн, услышав мое сообщение, — боюсь, старина, мы принесли вам неприятности.

— Вовсе нет, мой дорогой Кокрейн. Это я принес вам неприятности и сожалею об этом. Как мне ни хотелось с вами увидеться, не следовало приглашать вас сюда.

— Вздор, — ответил он. — Нам следовало лучше вас знать о положении. Если кто-то и допустил ошибку, так это мы.

— Что же нам делать, Морис? — нетерпеливо прошептала сестра. — Не стоит ли капитану Кокрейну и лейтенанту Сеймуру немедленно уйти? Они могут уйти по горной дороге за домом, если ты пойдешь с ними проводником. Нам с Пегги нечего опасаться. Не думаю, чтобы фении причинили нам вред.

— Ни в коем случае, мисс Френч, — вмешался Сеймур, подслушавший ее слова. — Мы и не подумаем так уходить. Кто знает, на что способны эти негодяи?

В это время в комнату вбежал Джек-собачник и принес еще более тревожную новость. Он возвращался к себе домой, но его остановили на дороге какие-то люди — это оказались настоящие фении

— и велели возвращаться в охотничий домик. Они сами идут сюда и посылают его с сообщением, что им нужны два английских офицера. Ни «мастеру Морису», ни «мисс Кейт» они не желают вреда.

— Они рассказали мне, ваша честь, — добавил лесничий, — что несколько их товарищей расстреляли солдаты, и они хотят выместить зло на офицерах.

— Сколько их? — спросил я.

— Человек двадцать; может, две дюжины.

— Вооружены?

— О нет, ваша честь! Откуда им взять оружие?

— Как ты думаешь, поблизости есть еще такие же?

— Я знаю, что есть, потому что еще одна группа отправилась в дом лорда Барнхема, чтобы забрать там оружие.

— Очевидно, они серьезно настроены, — обратился я к друзьям. — Сейчас ночи темные. Не возражаете, если вам придется…

— Уйти тайком, — прервал меня Кокрейн, предвидя мое предложение. — Я отказываюсь по одной причине. На мне мундир ее величества, и я не собираюсь скрываться от этих трусливых негодяев! Но здесь ваша сестра. Мы не должны

служить для нее источником опасности.

— Шон, — сказал я, обратившись к лесничему, — как вы думаете, сумеете вы благополучно доставить мою сестру в большой дом?

— Сумею и сделаю, мастер Морис. Даже если это будет стоить мне всей крови!

— Нет! — воскликнула Кейт, впервые догадавшись о наших намерениях. — Нет, брат. Я тебя не оставлю, никогда! Помни, я умею заряжать и стрелять тоже.

— Нет, нет, мисс Френч, — возразил Кокрейн. — Так не годится. Либо вы, либо мы должны отступить. Для нас это было бы позором; но для вас…

Крик с лужайки перед домом прервал его речь. Он означал появление врага. Фении уже у входа в *пакоун,* и теперь выскользнуть из тупика невозможно: они обязательно заметят.

О бегстве можно не думать. Нужно либо сражаться, либо сдаваться; а по тому, что мне шепотом сказал Шон, сдать наших гостей этой жестокой толпе означает для них верную смерть. Короче говоря, мы решили сопротивляться и принялись торопливо готовиться.

Нас было шестеро мужчин: мои два гостя, я сам, Кон, Шон и кучер англичанин, явившийся с Кокрейном. Было бы семеро, но работник Мик

исчез, и мы его не нашли. Оружия у нас было достаточно: вдобавок к моей двустволке было еще ружье на уток, стрелявшее крупной дробью, еще одна двустволка с коротким стволом, мушкет и еще пара ружей — неплохая батарея для охотничьего домика. Как я уже сказал, окна в домике маленькие, их легко чем-нибудь прикрыть, превратив в отличные бойницы; дверь очень прочная, и, если мы ее забаррикадируем, открыть ее можно только с помощью тарана.

Не откладывая, мы принялись укреплять свои оборонительные сооружения, причем в этом принимали участие моя сестра и старая Пегги. И успели закончить как раз вовремя. Как только мы закончили, голоса снаружи сообщили нам, что толпа показалась на лужайке перед домом и двигается к передним воротам, там, где низкая каменная стена отделяет двор от кустарника.

Мы велели трем слугам защищать кухню, в то время как Кокрейн, Сеймур и я сам оставались впереди, в гостиной. Но прежде чем заходить слишком далеко, я решил, что благоразумнее будет попытаться вступить в переговоры.

— Добрые люди! — крикнул я в бойницу, оставленную в одном окне. — Зачем вы здесь? И что вам нужно?

— Мистер Морис Френч, — отозвался голос, который я сразу узнал, — мы не желаем вам и всем вашим никакого вреда. Нам нужны только английские офицеры, и мы намерены их взять.

Говорил человек по имени Салливан, один из самых больших негодяев, известный в округе под прозвищем *Тигна Доул* — Том Дьявол.

— Салливан, — ответил я, — те офицеры, которые у меня, не англичане; они шотландцы.

— Неважно, они английские офицеры, а двоих наших расстреляли их моряки. Так что вы должны их нам отдать, мистер Морис Френч.

— Никогда! — без колебаний ответил я. — Эти джентльмены мои гости, и мой долг честного человека защищать их. Если ты сможешь их взять, то только через мой труп; и предупреждаю тебя о последствиях, если ты попробуешь это сделать.

— Откажись от них! — воскликнул кто-то другой из отряда. — Мы их все равно заберем, так что тебе лучше отказаться.

— Никогда! — повторил я решительно, как и раньше, в то же время прошептав стоявшим сзади друзьям: — Подготовьте оружие.

— Парни! — услышал я еще чей-то голос. — Я его давно знаю. Он говорит серьезно, этот Морис Френч. Так что нам лучше поискать в другом

месте.

— Тем хуже для него, — вмешался Салливан. — Мы обойдемся с ним также, как с остальными.

— Капитан Френч! — услышал я голос того, кто говорил, что давно меня знает. Этот голос тоже показался мне знакомым. — Капитан Френч, вы должны меня помнить. Меня зовут Диллон. Я служил с вами на «Сьюпербе». Может, вы забыли, как меня выпороли по вашей жалобе. Я не забыл, и теперь моя очередь, так что получайте!

Раздался звук выстрела, и пуля ударилась в подоконник прямо передо мной, бросив мне в лицо крошки штукатурки.

Я ожидал чего-то в этом роде и заранее зарядил дробовик крупной дробью. Еще через мгновение я поднес его к плечу и, руководствуясь вспышкой выстрела Диллона, разрядил оба ствола.

Крик боли свидетельствовал, что я его задел. В тот же момент Кокрейн и Сеймур из второго окна выстрелили в толпу, собравшуюся у ворот.

Ответили ружья врага; в ущелье слышались вопли, словно в нем поселился легион демонов.

Торопливо повернувшись и положив разряженное оружие, мы снова повернулись лицом к нападающим; а моя сестра и старая Пегги приняли хладнокровно перезаряжать наши ружья.

Некоторое время царила тишина, больше не слышалось выстрелов; и нам показалось: негодяи решили, что с них хватит, и разбежались. Ночь была очень темная, и нам ничего снаружи не было видно. В темноте едва виднелась серая каменная стена; и мы знали, что если они остались, то прячутся за ней. Я вглядывался в темноту, и мне показалось, что я различаю тут и там какие-то предметы, напоминающие человеческие головы. Но они поднимались и опускались так быстро и призрачно, что я мог бы и ошибиться.

Вскоре мы услышали шум; некоторое время слышались голоса многих людей; как будто шел ожесточенный спор. Не оставалось сомнений в том, что наши враги не ушли. Они прячутся за стеной и проводят что-то вроде совещания; теперь я был уверен, что темные предметы, показывающиеся над стеной, не галлюцинация, а головы.

В этот момент я отдал бы сто гиней, чтобы узнать, которая из них принадлежит Салливану. Было очевидно, что именно этот тип вместе с моим старым «сослуживцем» Диллоном являются предводителями и движущей силой нападающих. С Диллоном как будто покончено; еще один такой удачный выстрел в Салливана, и, по

всей вероятности, будет кончено и все дело. Но стрелять наудачу не годится; и я держал ружье наготове, попросив Кокрейна и Сеймура делать то же самое.

Мы уже начинали думать, что наши выстрели запугали противника и что он не возобновит нападение; но тут с дальнего конца поляны послышались новые голоса, им ответили крики Салливана и его товарищей, которые продолжали скрываться за стеной. Я догадывался, что это значит. К врагам подошло подкрепление — та часть отряда, которая отправилась отбирать оружие у лорда Бернхема!

То, что им это удалось, доказывал залп, который прозвучал, как только новые враги присоединились к старым. Потом, словно потеряв осторожность от такого количественного перевеса, враги показались над стеной и бросились к дому. Мы втроем одновременно выстрелили в самую гущу; раздались крики и стоны. Еще несколько мгновений слышались проклятия и топот. Теперь мы были окружены, и враг был совсем близко.

Я снова повернулся за заряженными ружьями. Рядом со мной стояла сестра.

— Вот, Морис! — воскликнула она. — Вот это заряжено, оба ствола! Какие трусы, что так на нас

нападают! Пошли в них заряды!

— Сейчас, Кейт, — ответил я, беря у нее ружье.

— Погасите огни. Держись поближе к стене, сестра.

Свечи погасили, и мы оказались в темноте.

Но ненадолго. Не успели мы освоиться, как снаружи что-то вспыхнуло, как будто зажгли спичку, потом огонь снова погас. Я бы не понял, что это, но у моей сестры слух острее, и она услышала слова, объяснившие, что происходит.

— Они собираются поджечь крышу! — прошептала она. — Я слышала, как один из них сказал об этом.

Не успела она это сказать, как снова блеснул свет; но на этот раз не погас, а стал разгораться все ярче. Мгновение спустя в окнах стало красно, как будто на небе взошло солнце. Однако это было не солнце — горела соломенная крыша, насколько можно было судить по треску. Крыша над нами в огне!

— Боже мой! — крикнул я Кокрейну. — Мы поджаримся живьем? Или должны сдаться на милость рассвирепевшей толпы?

— Да, должны! — ответил голос снаружи; это говорил Салливан. — Выбирайте! Отдавайте своих английских гостей или поджаривайтесь

вместе с… ах!

Это «ах», которым окончилась речь Салливана, очень походило на стон, и я удивился: так это было неожиданно и необъяснимо.

Но только на долю секунды; одновременно с этим восклицанием послышался треск флотских ружей, залп за залпом, которые для нашего привычного слуха прозвучали радостно. Мы узнали стрельбу нескольких рядов обученных солдат. Наступила глубокая тишина; все вокруг домика неожиданно стихло. Но вот из глубины ущелья послышался голос, который я узнал. Капитан Уотерсон отдал приказ:

— Вперед! В штыки!

— Клянусь Иисусом, береговая стража! — воскликнул кто-то за окном; последовал торопливый топот, словно от разбегающегося скота; мы видели, как наши трусливые противники разбегаются во всех направлениях.

Но это им не удалось. Люди Уотерсона переловили почти всех пытавшихся выбраться из «козьей дыры». И среди них мастера Салливана, раненного пулей в ногу. В конце концов он оказался изменником и стал доносчиком, выдававшим других фениев.

Пожар погасить не удалось, домик мы не спас-

ли. В огне погибло все мое охотничье снаряжение, хотя мой друг Сеймур потерял гораздо больше: еще до ухода корабля он признался моей воинственной сестре, что потерял свое сердце. А когда он рассказал мне об этом, я ответил, что не имею ни малейших возражений против такого зятя.

1885

АНАТОЛЬ ФРАНС

Валтасар

Виконту Эжену-Мельхиору де Вогюэ[36]
Magos reges fere habuit Oriens.
Tertull[37]

Часть I

В то время Эфиопией правил Валтасар,[38] известный у греков под именем Сарацина. Он был черен кожей, но красив лицом, а сердцем прост и благороден. На третий год своего царствования, который был двадцать вторым в его жизни, он отправился к Балкиде, царице Савской.[39] Его

---

[36] Примечания: 36

Вогюэ Эжен-Мельхиор, виконт де (1848–1910) — французский политический деятель, писатель и критик.

[37] Примечания: 37

Были некогда на Востоке цари-волхвы *(Тертуллиан).*

[38] Примечания: 38

По евангельской легенде, к новорожденному Иисусу явились на поклонение три восточных мудреца (волхва). Позднее о них стали говорить как о царях, которым были даны имена Каспар (Гаспар), Мельхиор и Валтасар.

[39] Примечания: 39

Царица Савская (Балкида) — правительница Южной Аравии; по преданию, она посетила Иерусалим во времена, когда им правил легендарный царь Соломон.

сопровождали маг Самбобит и евнух Менкера. С ним шло семьдесят пять верблюдов, нагруженных киннамоном, смирной, золотым песком и слоновой костью. В пути Самбобит рассказывал ему о влиянии планет и свойствах драгоценных камней, а Менкера пел священные гимны. Но Валтасар не слушал спутников и от скуки разглядывал шакалов, которые вдалеке, где пески сливались с небом, сидели на задних лапах, насторожив уши.

Наконец, на тринадцатый день пути, до Валтасара и его свиты донесся запах роз, и вскоре перед ними потянулись сады, окружавшие город Сабу.

Там они увидали девушек, которые плясали под цветущими гранатовыми деревьями.

— Танец — та же молитва, — сказал маг Самбобит.

— Продав этих женщин, можно взять хорошие деньги, — сказал евнух Менкера.

Проезжая по городу мимо лавок, амбаров и складов, они изумлялись их величине, равно как и множеству товаров, от которых ломились эти здания. Они долго ехали по улицам, полным повозок, носильщиков, ослов и погонщиков ослов, как вдруг перед ними предстали мраморные стены, пурпурные башенки и золотые купола

дворца Балкиды.

Царица Савская приняла их во дворе, где, навевая прохладу и звонко журча, на землю низвергались жемчужные струи благоуханных фонтанов. Царица стояла в одеянии, унизанном драгоценными камнями, и улыбалась.

Завидев ее, Валтасар пришел в смятение, ибо она показалась ему сладостнее мечты и прекраснее желания.

— Повелитель, — шепнул ему Самбобит, — постарайся заключить с царицей выгодный торговый договор.

— Будь осторожен, повелитель, — прибавил евнух Менкера. — Говорят, она прибегает к чародейству, чтобы заставить мужчин влюбляться в себя.

Затем, склонившись до земли, маг и евнух удалились.

Валтасар остался наедине с Балкидой и попытался заговорить; он открыл рот, но не смог вымолвить ни слова. Тогда он подумал: «Мое молчание прогневит царицу».

Но царица по-прежнему улыбалась и не казалась рассерженной.

Наконец она заговорила сама и голосом более нежным, чем самая нежная музыка, сказала:

— Будь желанным гостем и сядь рядом со мной. — И пальцем, походившим на белый луч света, указала ему на пурпурные подушки, разбросанные по земле.

Валтасар сел, глубоко вздохнул и, стиснув в каждой руке по подушке, воскликнул:

— Госпожа, хотел бы я, чтоб эти подушки были двумя великанами, твоими врагами! Тогда б я свернул им шею.

При этих словах он так сильно сжал пальцами эти подушки, что их парча лопнула и оттуда вылетело целое облачко белого пуха. Одна из пушинок закружилась в воздухе и медленно опустилась на грудь царицы.

— Царь, — краснея, сказала Балкида, — почему тебе хочется убивать великанов?

— Потому что я тебя люблю, — ответил Валтасар.

— Скажи мне, — спросила Балкида, — вкусна ли колодезная вода у тебя в столице?

— Да, — с недоумением ответил Валтасар.

— Мне также хотелось бы знать, — прибавила Балкида, — как в Эфиопии делают засахаренные фрукты.

Царь в растерянности молчал. Она же настаивала:

— Скажи, скажи, если хочешь доставить мне радость.

Тогда он напряг память и рассказал ей, каким образом эфиопские повара варят айву в меду. Но царица уже не слушала его и неожиданно спросила:

— Царь, говорят, что ты любишь царицу Кандакию, твою соседку. Скажи мне правду: она красивее меня?

— Красивее тебя, госпожа? — воскликнул Валтасар, падая к ногам Балкиды. — Разве это возможно?

Царица продолжала:

— Скажи, какие у нее глаза? Какой рот? Кожа? Грудь?

Валтасар протянул к ней руки и вскричал:

— Позволь мне снять пушинку с твоей груди, и я отдам тебе половину моего царства с мудрым Самбобитом и евнухом Менкерой в придачу!

Но она поднялась и, звонко рассмеявшись, исчезла. Когда маг и евнух вернулись, они застали своего господина в необычной для него задумчивости.

— Повелитель, разве тебе не удалось заключить выгодный торговый договор? — спросил Самбобит.

Вечером Валтасар ужинал у царицы Савской и пил пальмовое вино.

— Так это правда, — сказала ему Балкида за ужином, — что царица Кандакия не так красива, как я?

— Царица Кандакия — черная, — ответил Валтасар.

Балкида взглянула на него и промолвила:

— Не всякий, кто черен, безобразен.

— Балкида! — воскликнул царь.

Больше он ничего не сказал. Он обнял царицу, и губы его прижались к ее запрокинутому лицу. И тут он увидел, что она плачет. Тогда он заговорил с ней тихо, нежно и слегка напевая, словно кормилица с ребенком. Он называл ее своим цветком, своей звездочкой.

— Почему ты плачешь? — спросил он ее. — И что я должен сделать, чтобы ты больше не плакала? Если ты чего-нибудь хочешь, открой мне свое желание, и я исполню его.

Она перестала плакать и задумалась. Он долго просил ее признаться ему, чего она желает.

Наконец она сказала:

— Мне хочется испытать страх.

И так как Валтасар ее не понял, Балкида объяснила ему, что она давно уже мечтает под-

вергнуться неизведанной опасности, но это ей не удается, потому что боги и мужи сабейские охраняют ее.

— А мне так хочется ощутить ночью сладостный холод ужаса, который пронизывает все тело, — прибавила она, вздыхая. — Почувствовать, как встают волосы на голове. О, как хорошо испытывать страх!

Она обвила руками шею черного царя и умоляющим голосом, как ребенок, попросила:

— Наступает ночь. Переоденемся бедняками и побродим вдвоем по городу. Ты согласен?

Конечно, Валтасар согласился. Тогда Балкида подбежала к окну и через решетку взглянула на площадь.

— Смотри, — сказала она, — у стен двора лежит нищий. Отдай ему свои одежды и возьми у него взамен тюрбан из верблюжьей шерсти и передник из грубой ткани. Поторопись. Я тоже буду сейчас готова.

И она выбежала из пиршественного зала, радостно хлопая в ладоши.

Валтасар сбросил свой хитон из шитого золотом полотна и надел передник нищего. Теперь он выглядел настоящим невольником. Вскоре вернулась царица в синем платье, сделанном

из одного куска ткани, как у женщин, которые работают на полях.

— Пойдем, — сказала она Валтасару. И узкими переходами вывела его к маленькой двери, выходившей в поле.

Часть II

Ночь была темная. В темноте Балкида казалась совсем маленькой.

Она повела Валтасара в одну из харчевен, куда из города сходились носильщики, крючники и блудницы. Там они сели за стол под светильником, чадившим в спертом воздухе, и стали смотреть на вонючих оборванцев, одни из которых, пуская в ход кулаки и ножи, дрались из-за женщин или кружки прокисшего вина, меж тем как другие мертвецки храпели под столами. Трактирщик, лежа на груде мешков, украдкой, но зорко наблюдал за буйными пьяницами.

Заметив, что к одной из потолочин подвешена связка соленой рыбы, Балкида сказала своему спутнику:

— Я поела бы этой рыбы с толченым луком. Валтасар велел подать рыбу. Когда Балкида кончила есть, он вспомнил, что не взял с собой денег.

Это его нисколько не обеспокоило, и он решил уйти, не заплатив за еду. Но трактирщик, загородив им дорогу, обозвал его грязным рабом, а ее — дрянной ослицей, за что Валтасар ударом кулака сбил его с ног. Тогда несколько гуляк, размахивая ножами, кинулись на двух неизвестных. Но, вооружившись огромным пестом, которым здесь толкли египетский лук, эфиоп уложил на месте двух первых нападавших, а остальных принудил отступить. Он чувствовал теплоту прижавшейся к нему Балкиды — и был непобедим. Друзья трактирщика, не отваживаясь более приблизиться, принялись швырять в него издали кувшины с маслом, оловянные кружки и горящие светильники; они бросили даже огромный бронзовый котел, в котором целиком варился баран. Этот котел со страшным грохотом обрушился на Валтасара и рассек ему голову. На мгновение удар ошеломил царя, но тут же, собрав все свое мужество, он послал котел обратно, с силой, удесятерившей его тяжесть. Звон металла смешался с воплями и предсмертным хрипом. Те, кто уцелел, пришли в ужас; воспользовавшись этим и опасаясь, что в свалке могут поранить Балкиду, Валтасар подхватил ее на руки и побежал по глухим безлюдным улочкам. Земля была оку-

тана безмолвием ночи, и беглецы слышали, как позади них постепенно затихают крики пьяниц и женщин, которые наудачу гнались за ними во мраке. Скоро все смолкло, и слышался только еле уловимый звук капель крови, падавших со лба Валтасара на грудь Балкиды.

— Я люблю тебя, — прошептала царица. И в сиянье луны, проглянувшей из-за туч, царь увидел влажный блеск в полузакрытых глазах Балкиды.

Они шли по руслу пересохшего ручья. Вдруг Валтасар ступил ногой в мох и поскользнулся. Они оба упали, обнявшись. Им показалось, что они летят в бездонную пропасть, и мир перестал для них существовать. Когда на заре к ручью пришли газели, чтобы попить воды, скопившейся в углублениях камней, любовники все еще предавались на мшистом ложе восхитительным усладам, потеряв счет, забыв о времени и месте.

В это время мимо проходили разбойники; они заметили Валтасара и Балкиду.

— Они бедняки, но молоды и красивы, — решили разбойники, — и мы выручим за них большие деньги.

Они подкрались к влюбленным, скрутили их и, привязав к хвосту осла, увели с собой. Эфиоп пытался разорвать путы и угрожал разбойникам

смертью; Балкида же, вздрагивая от утреннего холодка, чему-то улыбалась.

Так шли они по мертвой пустыне, пока не ударил полдневный зной. Солнце стояло уже высоко, когда разбойники развязали пленников, позволили им сесть рядом с собой в тени скалы и швырнули по куску заплесневелого хлеба. Валтасар побрезговал даже поднять предназначенную ему долю, но Балкида съела свою с жадностью.

Она смеялась. И предводитель разбойников спросил ее, чему она смеется.

— Мне смешно, — ответила она, — при мысли, что я прикажу всех вас повесить.

Предводитель воскликнул:

— Вот поистине странная речь в устах такой грязной судомойки, как ты, красотка! Уж не твой ли черномазый дружок поможет тебе нас повесить?

Услыхав эти оскорбительные слова, Валтасар пришел в ярость: он бросился на злодея и так сдавил ему глотку, что чуть было не задушил.

Но предводитель всадил ему в живот нож по самую рукоятку, и бедный царь рухнул на землю, устремив на Балкиду угасающий взгляд, который почти тотчас же померк.

Часть III

В эту минуту раздались громкие голоса, ржание коней, лязг оружия, и Балкида увидела верного Абнера, подоспевшего с воинами на выручку к своей царице, о таинственном исчезновении которой его известили еще ночью.

Он троекратно простерся перед Балкидой и приказал подать приготовленные для нее носилки. Тем временем его люди вязали разбойникам руки. Царица повернулась к их предводителю и кротко сказала:

— Друг мой, тебе не придется упрекнуть меня в напрасно данном обещании: ты будешь повешен.

Евнух Менкера и маг Самбобит, сопровождавшие Абнера, разразились воплями, увидев, что их царь безжизненно распростерт на земле. Они слегка приподняли его. Самбобит, который был сведущ в искусстве врачевания, увидел, что Валтасар еще дышит. Он наскоро перевязал его, а Менкера отер пену, запекшуюся на устах царя. Затем они положили его на лошадь и осторожно отвезли во дворец Балкиды.

Две недели Валтасар беспрерывно бредил. Он

вспоминал о дымящемся котле, о мшистом русле и громко звал Балкиду. Наконец, на шестнадцатый день, он очнулся и увидел у изголовья Самбобита и Менкеру, но не увидел царицы.

— Где она? Что она делает?

— Повелитель, — ответил Менкера, — она заперлась с царем Комагенским.

— Они, без сомнения, обсуждают договор об обмене товарами, — прибавил мудрый Самбобит. — Но не волнуйся так, повелитель: от этого может возобновиться лихорадка.

— Я хочу ее видеть! — вскричал Валтасар. И, прежде чем старец и евнух смогли его удержать, он бросился к покоям царицы. У дверей спальни он увидел царя Комагенского, который, сияя как солнце, выходил оттуда в своем раззолоченном одеянии.

Балкида, раскинувшаяся на пурпурном ложе, улыбалась, полузакрыв глаза.

— Моя Балкида, моя Балкида! — воскликнул Валтасар.

Но она не повернула головы, словно все еще была во власти сновидения.

Валтасар подошел к ней и взял ее за руку, но она нетерпеливо отдернула ее.

— Что тебе надо? — спросила она.

— И ты еще спрашиваешь! — сказал царь, заплакав.

Она окинула его бесстрастным и холодным взглядом. Он понял, что она все забыла, и напомнил ей о ночи у ручья. Но она отвечала:

— Поистине я не понимаю, о чем ты говоришь, царь. Пальмовое вино не идет тебе на пользу. Ты, наверно, все еще видишь сон.

— Как! — вскричал несчастный Валтасар, заломив руки. — Значит, твои объятья, твои поцелуи и нож, след которого я еще храню, — все это только сон?

Балкида встала; драгоценные камни на ее одеждах застучали, как град, и заблистали, как молнии.

— Царь, — сказала она, — в этот час собирается мой совет. Мне некогда толковать сны, которые рождаются в твоей больной голове. Ступай, отдохни. Прощай!

Валтасар, чувствуя, что лишается сил, напряг волю, чтобы не показать свою слабость перед этой злой женщиной; он бегом вернулся в свои покои и упал без сознания, ибо рана его открылась снова.

Часть IV

Он пролежал три недели в беспамятстве, как мертвый; на двадцать второй день он пришел в себя, взял за руку Самбобита, который вместе с Менкерой ни на минуту не покидал его, и, обливаясь слезами, воскликнул:

— О друзья мои, как счастливы вы оба! Ведь один из вас старик, а другой подобен старику… Но нет, что я говорю! На свете нет счастья, нет даже ничего хорошего, потому что любовь — это мука, а Балкида — зла.

— Только мудрость дает человеку счастье, — ответил Самбобит.

— Я попробую убедиться в этом, — сказал Валтасар. — А пока что вернемся поскорей в Эфиопию.

Он утратил то, что любил; поэтому он решил посвятить свою жизнь мудрости и сделаться магом. Это решение не вернуло ему радости, но по крайней мере немного успокоило его. Вечерами, сидя на террасе своего дворца в обществе мага Самбобита и евнуха Менкеры, он смотрел на неподвижные пальмы, высившиеся у самого горизонта, или наблюдал, как по Нилу, озаренному луной, плавают крокодилы, похожие на стволы

деревьев.

— Созерцая природу, не устаешь восхищаться ею, — говорил Самбобит.

— Без сомнения, — отвечал Валтасар. — Но в природе есть вещи более прекрасные, чем пальмы и крокодилы.

Он говорил так, потому что вспоминал Балкиду. А Самбобит, который был стар, продолжал:

— Есть в ней и такое чудесное явление, как разливы Нила. Я объяснил их причину. Человек рожден, чтобы познавать.

— Он рожден, чтобы любить, — отвечал Валтасар со вздохом. — Бывают вещи необъяснимые.

— Какие же? — спросил Самбобит.

— Измена женщины, — ответил царь.

Решив стать магом, Валтасар приказал возвести башню, с высоты которой он мог бы видеть многие царства и весь простор небес. Эта башня, сложенная из кирпича, превосходила высотой все остальные башни. Постройка длилась более двух лет, и Валтасар истратил на нее все сокровища, оставленные ему отцом. Каждую ночь он поднимался на верхнюю площадку башни и оттуда наблюдал небо под руководством мудрого Самбобита.

— Сочетания светил небесных предвещают

нашу судьбу, — говорил Самбобит царю. И тот отвечал:

— Должен сознаться, что эти предвещания очень не ясны. Но, изучая их, я не думаю о Балкиде, и это уже благо.

Наряду с другими полезными истинами маг поведал ему, что звезды вбиты в небосвод, как гвозди, и что существует пять планет, из коих три — Бел, Меродах и Нево — мужские, а две — Син и Милитта — женские.

— Серебро, — прибавлял он, — соответствует Син-Луне, железо — Меродаху, олово — Белу.

И добрый Валтасар говорил:

— Вот познания, которые я хочу приобрести. Изучая астрономию, я не думаю о Балкиде, я забываю обо всем на свете. Наука — благодетельница человека: она не дает ему думать. Самбобит, открой мне знания, которые мешают людям чувствовать, и я возвеличу тебя перед моим народом.

Вот почему Самбобит поучал Валтасара мудрости.

Он обучил его апотелесматике[40] по трактатам

---

[40] Примечания: 40

Апотелесматика — учение о якобы существующей связи между расположением небесных светил и историческими событиями, судьбами людей и народов.

Астрампсиха, Гобрида и Пасата. Чем дольше наблюдал Валтасар двенадцать домов Солнца,[41] тем меньше он думал о Балкиде.

Заметив это, Менкера возликовал.

— Скажи, повелитель, — сказал он однажды, — вправду ли у царицы Балкиды под ее златотканой одеждой козлиные ноги?

— От кого ты слышал такую нелепую басню? — спросил царь.

— Так утверждает молва и в стране Сабейской, и у нас в Эфиопии, повелитель, — ответил евнух. — Всякий скажет тебе, что у царицы Балкиды ноги поросли шерстью и кончаются раздвоенными копытцами.

Валтасар пожал плечами. Он-то знал, что ноги у Балкиды такие же, как у всех женщин, и притом безупречной формы. Но слова евнуха омрачили ему воспоминание о той, кого он так любил. Он как бы досадовал на Балкиду за то, что другие, не знавшие ее, находят изъяны в ее красоте. При мысли, что он обладал женщиной, в действительности прекрасной, но слывшей уродом, он испытывал подлинное раздражение и у него пропало желание видеть Балкиду. Валтасар

---

[41] Примечания: 41

Двенадцать домов Солнца — двенадцать знаков зодиака.

был простодушен, а любовь ведь очень сложное чувство.

С этого дня царь стал делать большие успехи в магии и астрологии. Он особенно прилежно следил за сочетаниями небесных тел и составлял теперь гороскопы не менее точно, чем сам мудрый Самбобит.

— Самбобит, — спрашивал царь, — готов ли ты поручиться головой за верность моих гороскопов?

И мудрый Самбобит отвечал:

— Повелитель, наука всегда достоверна, но ученые постоянно ошибаются.

Валтасар от природы был одарен светлым разумом. Он говорил:

— Истинно лишь то, что Божественно, а Божественное скрыто от нас. Поэтому напрасно мы ищем истину. И все-таки я открыл на небе новую звезду. Она прекрасна, она словно живая. Когда она мерцает, мне кажется, что это ласково мигает некое небесное око, которое зовет меня. Счастлив, счастлив, счастлив, кто родится под этой звездой! Самбобит, видишь ли ты, как смотрит на нас это дивное, великолепное светило?

Но Самбобит не видел звезды, ибо не хотел ее видеть. Как все ученые и старики, он не любил

ничего нового.

И Валтасар повторял один в безмолвии ночи:

— Счастлив, счастлив, счастлив, кто родится под этой звездой!

И вот по всей Эфиопии и соседним с нею царствам разнесся слух, что царь Валтасар разлюбил Балкиду.

Когда весть об этом достигла страны Сабейской, Балкида вознегодовала так, как если бы ей изменил возлюбленный. Она поспешила к царю Комагенскому, который давно позабыл свои владения ради города Сабы, и воскликнула:

— Друг мой, знаешь ли, что мне сообщили? Валтасар разлюбил меня.

— Что нам в том, — ответил с улыбкой царь Комагенский, — раз мы любим друг друга?

— Неужели ты не понимаешь, какое оскорбление наносит мне этот чернокожий?

— Нет, не понимаю, — ответил царь Комагенский.

Она с позором изгнала его и приказала своему великому визирю приготовить все необходимое для путешествия в Эфиопию.

— Мы едем сегодня же ночью, — сказала Балкида. — И если до захода солнца сборы не будут закончены, я прикажу отрубить тебе голову.

Оставшись одна, Балкида разразилась рыданиями.

— Я люблю его! Он разлюбил меня, а я его люблю, — твердила она со всей искренностью, присущей ее сердцу.

И вот однажды ночью, когда Валтасар наблюдал со своей башни за чудесной звездой, он случайно взглянул на землю и увидел вдали длинную черную ленту, которая, извиваясь, ползла по пескам пустыни и походила на вереницу идущих в поход муравьев. Мало-помалу то, что казалось муравьями, увеличивалось в размерах, и теперь уже царь ясно различал лошадей, верблюдов и слонов. Когда караван подошел к самому городу, Валтасар подлинным сверкающим саблям и вороным коням узнал телохранителей царицы Савской. Он узнал и ее самое, и смятение охватило его. Он понял, что все еще любит ее. В зените стояла звезда и дивно блистала. Внизу, лежа в раззолоченных пурпурных носилках, ехала Балкида. Она казалась маленькой и сверкающей, как звезда. Валтасар почувствовал, что его неодолимо влечет к ней. Однако, сделав над собой отчаянное усилие, он отвернулся, поднял голову и вновь увидел звезду. Тогда звезда заговорила и сказала ему:

— Слава в вышних Богу, и на земле мир, в чело-

веках благоволение! Возьми одну меру смирны, о кроткий царь Валтасар, и ступай за мной. Я приведу тебя к ногам Младенца, лежащего в яслях между ослом и быком. И этот Младенец есть царь царей. Он утешит всех, кто алчет утешения. Он зовет тебя, Валтасар, чья душа столь же темна, сколь и лицо, а сердце чисто, как у ребенка. Он избрал тебя, потому что ты страдал, и он даст тебе богатство, радость и любовь. Он скажет тебе: «Будь радостен в нищете, ибо истинное богатство — в ней». И еще он скажет тебе: «Истинная радость — в отречении от радости. Возлюби меня и возлюби во мне всю тварь живую, ибо лишь во мне любовь».

При этих словах божественный покой, словно луч света, озарил грустное лицо царя.

Валтасар восторженно внимал звезде, чувствуя, что в нем рождается новый человек. Вместе с Самбобитом и Менкерой он простерся на камнях и поклонился ей.

Царица Балкида взглянула на Валтасара и поняла, что в сердце его, исполненном Божественной любви, никогда уже не будет места для любви к ней. Побледнев от досады, она тут же приказала каравану повернуть и идти обратно в страну Сабейскую.

Когда звезда умолкла, царь и оба его приближенных спустились с башни. Затем, взяв меру смирны, они снарядили караван и двинулись вслед за звездой. Они долго ехали по незнакомым странам, и звезда предшествовала им.

Однажды, достигнув места, где сходились три дороги, они встретили двух царей, ехавших с многочисленной свитой. Один был молод годами и бел лицом. Он поклонился Валтасару и молвил:

— Имя мое Гаспар, я царь и несу золото в дар Младенцу, рожденному в Вифлееме иудейском.

Второй царь тоже приблизился. Это был старец, и седая борода ниспадала ему на грудь.

— Имя мое Мельхиор, — сказал он. — Я царь и несу ладан Божественному Младенцу, который пришел возвестить людям истину.

— Я, как и вы, иду к Нему, — ответил Валтасар. — Я победил свое любострастие, и потому звезда говорила со мной.

— Я, — сказал Мельхиор, — победил свою гордыню и потому был призван.

— Я, — сказал Гаспар, — победил свое жестокосердие и потому иду с вами.

И три волхва вместе двинулись снова в путь.

И звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, пока наконец не пришла и не оста-

новилась над местом, где был Младенец.

Увидев, что звезда остановилась, они возрадовались великой радостью. И, вошедши в дом, увидели Младенца с Марией, Матерью его, и, пав ниц, поклонились Ему. И, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну, как о том сказано в Евангелии.

1886

Новогодний подарок мадемуазель де Дусин

Утром 1 января добрый г-н Шантерель вышел пешком из своего особняка в предместье Сен-Марсель. Кровь плохо согревала его, двигался он с трудом, и ему стоило немалых усилий идти в такую холодную погоду по улицам, покрытым скользким талым снегом. В порыве самоуничижения он уже давно отказался от кареты, так как после болезни стал серьезно беспокоиться о спасении своей души. Он жил уединенно, вдали от общества и друзей, и бывал только у племянницы, семилетней мадемуазель де Дусин.

Опираясь на палку, он не без труда добрался до улицы Сент-Оноре и вошел в лавку г-жи Пенсон, известную под названием «Корзина цветов». Там было выставлено такое множество детских игрушек — подарков к наступающему 1696 году, что посетители с трудом пробирались среди всех этих танцующих и пьющих вино человечков-автоматов, поющих на ветвях птичек, домиков с восковыми фигурками внутри, солдатиков в белых и голубых мундирах, выстроенных в боевом

порядке, и кукол, одни из которых были в нарядах знатных дам, а другие в платье служанок, ибо неравенство, установленное на земле самим Господом Богом, царило и в этом игрушечном мирке.

Господин Шантерель остановил свой выбор на кукле, одетой, как принцесса Савойская в день ее прибытия во Францию 4 ноября. Пышно причесанная и украшенная лентами, она была наряжена в плотно облегающий, шитый золотом корсаж, парчовую юбку и накидку с жемчужными застежками.

Господин Шантерель улыбнулся при мысли о том, в какой восторг эта красавица кукла приведет мадемуазель де Дусин, и когда г-жа Пенсон подала ему принцессу Савойскую, завернутую в шелковую бумагу, его лицо, побледневшее от постов, изможденное болезнью и удрученное постоянным страхом перед загробной карой, на мгновение озарилось чисто земной радостью.

Он учтиво поблагодарил г-жу Пенсон, взял принцессу под мышку и, волоча ногу, направился туда, где, как он знал, мадемуазель де Дусин уже проснулась, но не встает, ожидая его прихода. На углу улицы Сухого Дерева он встретил г-на Спона, огромный нос которого свешивался чуть ли не до

самого кружевного жабо.

— Добрый день, господин Спои, — приветствовал его г-н Шантерель. — Поздравляю вас с Новым годом и молю Бога, чтобы все ваши желания исполнились.

— О сударь, подумайте, что вы говорите! — воскликнул г-н Спон. — Ведь нередко Господь внимает нашим желаниям лишь для того, чтобы покарать нас. Et tribuit eis petitionem eorum.

— Совершенно справедливо, — ответил г-н Шантерель. — Мы не всегда умеем распознать, что для нас благо. Я сам тому живой пример. Сперва я счел болезнь, которой страдаю вот уже два года, большим злом; впоследствии же я понял, что это — великое благо, ибо она побудила меня отказаться от той греховной жизни, которую я вел, растрачивая время на всевозможные развлечения. Эта болезнь, повредившая мне ноги и помутившая голову, была на самом деле знаком великой милости, которую мне ниспослал Господь. Но не соблаговолите ли вы, сударь, проводить меня до квартала Руль, куда я спешу с новогодним подарком для моей племянницы, мадемуазель де Дусин.

При этих словах г-н Спон воздел руки к небу и вскричал:

— Как! Вас ли я слышу, господин Шантерель? Нет, это скорее слова вольнодумца! Возможно ли, сударь: вы вели такую праведную и уединенную жизнь и вдруг предались мирским порокам?

— Что вы! Я и не думал этого делать, — задрожав, ответил г-н Шантерель. — Но прошу вас, объяснитесь. Неужели подарить куклу мадемуазель де Дусин такой уж большой грех?

— Тягчайший, — сказал г-н Спон. — Ведь то, что вы собираетесь подарить сегодня этому невинному ребенку, должно скорее именоваться сатанинским идолом, нежели куклой. Неужели вам неизвестно, что обычай делать новогодние подарки есть омерзительное и преступное суеверие, унаследованное от язычников?

— Я этого не знал, — возразил г-н Шантерель.

— Так знайте же, — продолжал г-н Спон, — что этот обычай ведется от римлян, которые видели во всяком начале нечто божественное, а потому обожествляли и начало года. Так что тот, кто поступает как они, превращается в идолопоклонника. Вы, сударь мой, делаете новогодние подарки подобно почитателям бога Януса. Тогда уж заодно посвящайте, как они, первый день каждого месяца Юноне.

Господин Шантерель, который едва держался

на ногах, попросил г-на Спона дать ему руку. Дорогой г-н Спон снова заговорил:

— Неужели из-за того только, что астрологи положили считать первое января началом года, вы должны в этот день делать подарки? И что вас заставляет именно сегодня воскрешать в душе друзей нежное чувство к вам? Разве эта нежность угасла к концу года? Да и может ли быть вам дорого чувство такой нежности, которую надо оживлять льстивыми словами и подарками?

— Сударь, — ответил добрый г-н Шантерель, опираясь на руку г-на Спона и силясь приспособить свои нетвердые шаги к стремительной походке спутника, — сударь, до болезни я был жалким грешником и думал лишь о том, чтобы учтиво обходиться с друзьями и вести себя как подобает человеку чести. Провидению угодно было извлечь меня из этой бездны; с тех пор как я обратился на путь истины, я во всем руководствуюсь советами моего духовника. Но я поступил легкомысленно, не спросив его мнения о новогодних подарках. И то, что говорите мне вы, сударь, человек столь сведущий в делах добронравия и веры, повергает меня в совершенное смущение.

— Сейчас я действительно приведу вас в смущение, — подхватил г-н Спон, — но при этом и

просвещу вас, — не своим слабым разумением, конечно, а словами великого ученого и светоча знания. Присядьте на эту тумбу.

И подтолкнув г-на Шантереля к каким-то воротам, в углу которых тот кое-как устроился, г-н Спон достал из кармана книжечку в пергаментном переплете, раскрыл ее, полистал и, отыскав нужное место, стал громко читать, окруженный сбежавшимися трубочистами, горничными и поварятами, которых привлекли раскаты его голоса:

— «Все мы, ужасающиеся еврейским обрядам и находящие странными и нелепыми их субботы, новолуния и другие празднества, некогда угодные Богу, — все мы тем не менее свыклись с сатурналиями и январскими календами, с матроналиями и торжествами в день солнцеворота. Со всех сторон сыплются новогодние подарки, летят поздравления; повсюду стоит шум игрищ и пиров. Язычники — и те ревностнее блюдут свою веру, ибо они остерегаются участвовать в наших празднествах из боязни прослыть христианами; мы же не страшимся прослыть язычниками, сохраняя их праздники».

Слышите? — добавил г-н Спон. — Так говорит сам Тертуллиан, указуя из недр Африки, насколь-

ко не подобают вам эдакие поступки. Он вопиет: «Со всех сторон сыплются новогодние подарки, летят поздравления! Вы справляете языческие праздники!» Я не имею чести знать вашего духовника, сударь мой, но я содрогаюсь при мысли о том одиночестве, в котором он вас оставил. Уверены ли вы хоть в том, что в смертный час, когда вы предстанете перед Господом, ваш духовник будет рядом с вами, чтобы принять на себя грехи, в которые вы впали по его небрежению?

Сказав все это, г-н Спон спрятал книжку в карман и с разгневанным видом удалился в сопровождении изумленных трубочистов и поварят, державшихся на некотором расстоянии от него.

Добрый г-н Шантерель остался у ворот наедине с принцессой Савойской и, нарисовав себе картину вечных адских мук, на которые его обрекло намерение подарить куклу мадемуазель де Дусин, своей племяннице, принялся размышлять о неисповедимых тайнах веры. Ноги, которыми он уже давно владел с трудом, теперь совсем отказывались ему повиноваться, и он чувствовал себя настолько несчастным, насколько может им быть в нашем мире человек, исполненный самых благих намерений.

Он уже несколько минут в полном отчаянии сидел на тумбе, как вдруг какой-то капуцин подошел к нему и сказал:

— Сударь, не подадите ли вы сколько-нибудь во имя Божие на новогодние подарки меньшой братии?

— Как! Отец мой, что вы говорите? — воскликнул г-н Шантерель. — Вы, монах, просите подаяния на новогодние подарки?

— Сударь, — возразил ему капуцин, — святой Франциск по доброте своей пожелал, чтобы и его дети радовались в простоте сердечной. Пожертвуйте сегодня что-нибудь на добрый ужин капуцинам, чтобы они потом бодро и радостно переносили пост и воздержание в течение всего года, исключая, разумеется, воскресные дни и праздники.

Господин Шантерель изумленно посмотрел на монаха:

— Да разве вы не боитесь, отец мой, что новогодним подарком можно погубить душу?

— Конечно нет.

— Но ведь этот обычай идет от язычников!

— И у язычников бывали хорошие обычаи. Господь иногда озарял светом своим мрак язычества. Но, сударь, если вы отказываете в новогодних

подарках вам, то не откажите в них бедным детям. Мы ведь воспитываем подкидышей. На ваше пожертвование я куплю им всем по бумажной мельнице и прянику. Быть может, они будут вам обязаны единственной счастливой минутой во всей своей жизни, потому что на земле им уготовано не много радости. Их смех донесется до неба. А когда дети смеются, они славят Господа.

Господин Шантерель положил свой довольно увесистый кошелек в руку минорита и поднялся с тумбы, шепча слова, которые только что услышал: «Когда дети смеются, они славят Господа».

А затем, с просветленной душой, он окрепшим шагом направился с принцессой Савойской под мышкой к мадемуазель де Дусин, своей племяннице.

1908

ГИ ДЕ МОПАССАН

Рождественское чудо

Доктор Бонанфан стал рыться в своей памяти, повторяя вполголоса:

— Рождественский рассказ?.. Рождественский рассказ?..

И вдруг воскликнул:

— Ну да! У меня есть одно воспоминание и даже очень необыкновенное. Это фантастическая история. Я видел чудо. Да, сударыни, чудо в рождественскую ночь.

Вас удивляет, что вы слышите это от меня, человека, ни во что не верующего? И тем не менее я видел чудо! Говорю вам, я его видел, видел собственными глазами, именно видел.

Удивило ли оно меня? Отнюдь нет: если я не верю в ваши догматы, то верю в существование веры и знаю, что она движет горами. Я мог бы привести много примеров. Но я боюсь возбудить в вас негодование и ослабить эффект моего рассказа.

Прежде всего признаюсь, что если я и не был переубежден всем виденным, то, во всяком случае, был очень взволнован, и я постараюсь бесхитростно передать вам все это с наивной

доверчивостью овернца.

Я был тогда деревенским врачом и жил в местечке Рольвиль, в глуши Нормандии.

Зима в том году была лютая. С конца ноября после недели морозов выпал снег. Уже издалека виднелись тяжелые тучи, надвигавшиеся с севера, затем начали падать густые белые хлопья.

За одну ночь вся долина покрылась белым саваном.

Одинокие фермы, стоявшие среди квадратных дворов, за завесой больших деревьев, опушенных инеем, казалось, уснули под этим плотным и легким покрывалом.

Ни один звук не нарушал тишины деревни. Только вороньи стаи чертили длинные узоры по небу в напрасных поисках корма и, опускаясь тучей на мертвые поля, клевали снег своими большими клювами.

Ничего не было слышно, кроме мягкого и непрерывного шороха мерзлой пыли, продолжавшей сыпаться без конца.

Так длилось всю неделю, потом снегопад прекратился. Землю окутывал покров в пять футов толщиною.

В последующие три недели небо, днем ясное, как голубой хрусталь, а ночью все усыпанное

звездами, словно инеем на холодной суровой глади, простиралось над ровной пеленой твердого и блестящего снега.

Долина, изгороди, вязы за оградой — все, казалось, было мертво, убито стужей. Ни люди, ни животные не показывались на улицу; одни только трубы, торчащие из хижин в белых сугробах, свидетельствовали о скрытой жизни тоненькими, прямыми струйками дыма, поднимавшегося в ледяном воздухе.

Время от времени слышался треск деревьев, как будто их деревянные руки ломались под корою: толстая ветка отделялась иногда и падала, потому что холод замораживал древесные соки и разрывал заледеневшие волокна.

Жилища, разбросанные там и сям среди полей, казались отделенными друг от друга на сто лье. Жили как придется. Один только я пытался навещать моих ближайших больных, беспрестанно рискуя быть погребенным в какой-нибудь яме.

Вскоре я заметил, что вся округа охвачена таинственным страхом. Толковали, что такое бедствие не может быть явлением естественным. Уверяли, что по ночам слышатся голоса, резкий свист, чьи-то крики.

Эти крики и свист, несомненно, издавали стаи

птиц, перелетавшие в сумерки на юг. Но попробуйте переубедить обезумевших людей. Ужас охватил души, и все ждали какого-то необыкновенного события.

Кузница дядюшки Ватинеля стояла в конце деревушки Эпиван, на большой дороге, в те дни заметенной снегом и пустынной. И вот когда у рабочих вышел весь хлеб, кузнец решил сходить в деревню. Несколько часов он провел в разговорах, навестив с полдюжины домов, составлявших местный центр, достал хлеба, наслушался новостей и заразился страхом, царившим в деревне.

Еще до наступления темноты он отправился домой.

Проходя вдоль какого-то забора, он вдруг заметил на снегу яйцо, да, несомненно, яйцо, белое, как все кругом. Он наклонился: действительно, яйцо. Откуда оно? Какая курица могла выйти из курятника и снестись в этом месте? Удивленный кузнец ничего не понимал. Однако он взял яйцо и принес его жене.

— Эй, хозяйка, я принес тебе яйцо. Нашел его на дороге.

Жена покачала головой…

— Яйцо на дороге? В этакую погоду! Да ты, видно, пьян.

— Да нет же, хозяйка, оно лежало у забора и было еще теплое, не замерзло. Вот оно, я положил его за пазуху, чтоб оно не стыло. Съешь его за обедом.

Яйцо опустили в котел, где варился суп, а кузнец принялся пересказывать то, о чем толковали в деревне. Жена слушала, побледнев.

— Ей-богу, прошлой ночью я слышала свист: мне даже казалось, что он шел из трубы.

Сели за стол. Сначала поели супу, потом, в то время как муж намазывал на хлеб масло, жена взяла яйцо и подозрительно осмотрела его.

— А если в этом яйце что-нибудь есть?

— Что же, по-твоему, может там быть?

— Почем я знаю!

— Будет тебе… Ешь и не дури.

Она разбила яйцо. Оно было самое обыкновенное и очень свежее.

Она стала нерешительно есть его, то откусывая кусочек, то оставляя, то опять принимаясь за него. Муж спросил:

— Ну, что, каково оно на вкус?

Она не ответила и, проглотив остатки яйца, вдруг уставилась на мужа пристальным, угрюмым и безумным взглядом: закинув руки, она сжала их в кулаки и упала наземь, извиваясь в

конвульсиях и испуская страшные крики.

Всю ночь она билась в страшном припадке, сотрясаемая смертельной дрожью, обезображенная отвратительными судорогами. Кузнец, не в силах справиться с ней, принужден был ее связать.

Ни на минуту не умолкая, она вопила диким голосом:

— Он у меня в животе!.. Он у меня в животе!..

Меня позвали на следующий день. Я перепробовал без всякого результата все успокаивающие средства. Женщина потеряла рассудок.

С невероятной быстротой, несмотря на непроходимые сугробы, по всем фермам разнеслась новость, удивительная новость:

— В жену кузнеца вселился бес!

Отовсюду приходили любопытные, не решаясь, однако, войти в дом. Они слушали издали ее ужасные крики: трудно было поверить, что этот громкий вой принадлежит человеческому существу.

Дали знать деревенскому священнику. Это был старый, простодушный аббат. Он прибежал в стихаре, как для напутствия умирающему, и, протянув руки, произнес заклинательную молитву, пока четверо мужчин держали корчившуюся на кровати и брызгавшую пеной женщину.

Но беса так и не изгнали.

Наступило Рождество, а погода стояла все такая же.

Накануне утром ко мне явился кюре.

— Я хочу, — сказал он, — чтоб эта несчастная присутствовала сегодня на вечернем богослужении. Быть может, Господь сотворит для нее чудо в тот самый час, когда сам родился от женщины.

Я ответил ему:

— Вполне вас одобряю, господин аббат. Если на нее подействует богослужение — а это лучшее средство растрогать ее, — она может исцелиться и без лекарств.

Старый священник пробормотал:

— Вы, доктор, человек неверующий, но вы поможете мне, не правда ли? Вы возьметесь доставить ее?

Я обещал ему свою помощь.

Наступил вечер, затем ночь. Зазвонил церковный колокол, роняя грустный звон в мертвое пространство, на белую и мерзлую снежную гладь.

Послушные медному зову, медленно потянулись группы черных фигур. Полная луна озарила ярким и бледным светом горизонт, еще больше подчеркивая унылую белизну полей.

Я взял четырех сильных мужчин и отправился к кузнецу.

Одержимая по-прежнему выла, привязанная к кровати. Несмотря на дикое сопротивление, ее тщательно одели и понесли.

Церковь, холодная, но освещенная, была теперь полна народу; певчие тянули однообразный мотив; орган хрипел; маленький колокольчик в руках служки позванивал, управляя движениями верующих.

Женщину с ее сторожами я запер в кухне церковного дома и стал выжидать благоприятной, по моему мнению, минуты.

Я выбрал момент вслед за причастием. Все крестьяне, мужчины и женщины, причастившись, приобщились к своему Богу, чтобы смягчить его суровость. Пока священник совершал таинство, в церкви царила глубокая тишина.

По моему приказанию дверь отворилась, и мои четыре помощника внесли сумасшедшую.

Как только она увидела свет, коленопреклоненную толпу, освещенные хоры и золотой ковчег, она забилась с такой силой, что чуть не вырвалась из наших рук, и стала так пронзительно кричать, что трепет ужаса пронесся по церкви. Все головы поднялись, многие из молящихся убежали.

Она потеряла человеческий облик, корчилась и извивалась в наших руках, с искаженным лицом и безумными глазами.

Ее протащили до ступенек клироса и с силой пригнули к полу.

Священник стоял и ждал. Когда ее усадили, он взял дароносицу, на дне которой лежала белая облатка, и, сделав несколько шагов, поднял ее обеими руками над головой бесноватой, так, чтобы она могла видеть ее…

Она все еще выла, устремив пристальный взгляд на блестящий предмет.

Аббат продолжал стоять так неподвижно, что его можно было принять за статую.

Это тянулось долго-долго.

Женщину, казалось, охватил страх: она, как завороженная, не отрываясь, смотрела на чашу, все еще временами сотрясаясь страшной дрожью, и продолжала кричать, но уже не таким душераздирающим голосом.

И это тоже тянулось долго.

Казалось, она не могла отвести взгляд от дароносицы и уже только стонала, ее напряженное тело ослабело и поникло.

Вся толпа пала ниц.

Теперь одержимая то быстро опускала веки,

то снова поднимала их, точно не в силах была вынести зрелища своего Бога. Она уже не кричала. Вскоре я заметил, что она закрыла глаза. Она спала сном сомнамбулы, загипнотизированная — простите, умиротворенная — пристальным созерцанием блестевшей золотом чаши, сраженная Христом-победителем.

Ее унесли, обессилевшую, и священник вернулся в алтарь.

Потрясенные свидетели грянули «Te deum» во славу милости Господней.

Жена кузнеца проспала сорок часов подряд, потом проснулась, ничего не помня ни о болезни, ни об исцелении.

Вот, сударыни, виденное мною чудо.

Доктор Бонанфан умолк, потом с досадой прибавил:

— Я принужден был засвидетельствовать чудо в письменной форме.

1882

ДЖОРДЖ МАКДОНАЛЬД

Портвейн в бурю

Папа, — промолвила моя сестрица Эффи однажды вечером, когда все мы собрались в гостиной у очага. Поскольку продолжения не последовало, мало-помалу все взгляды обратились в ее сторону. Эффи сидела молча, вышивая уголок батистового платочка; похоже, словечко вырвалось у нее неосознанно.

Для начала зимы ночь выдалась весьма холодная. Отец рано вернулся домой, и мы отужинали пораньше, чтобы насладиться долгим вечером в кругу семьи: то была годовщина родительской свадьбы, а для нас — самый домашний из праздников. Отец восседал в кресле у дымохода, с кувшином бургундского, а матушка устроилась рядом с ним, и изредка отпивала из его бокала.

Эффи шел девятнадцатый год; остальные были моложе. О чем она думала, в ту пору мы понятия не имели, хотя сейчас догадались бы без труда. Но вдруг она подняла голову и, заметив, что все глаза устремлены на нее, опомнилась или заподозрила неладное — и зарумянилась, словно роза.

— Ты ко мне обратилась, Эффи. Что такое, родная?

— Ах да, папочка! Я хотела спросить, не расскажешь ли ты нам сегодня… историю о том, как ты…

— Да, милая?

— О том, как ты…

— Я слушаю, милая.

— Ну, про вас с мамочкой.

— Да, понимаю! Про то, как я заполучил вашу мамочку вам в матери. Да. Я заплатил за нее дюжину портвейна.

Мы хором воскликнули: «Папа!» — а матушка рассмеялась.

— Расскажи, расскажи! — раздался всеобщий крик.

— Хорошо, расскажу, — отозвался отец. — Однако следует начать с самого начала. — И, наполнив бокал бургундским, он повел рассказ: — В раннем детстве, насколько я себя помню, я жил с отцом в старинном загородном поместье. Усадьба принадлежала не отцу, но его старшему брату, который в ту пору плавал капитаном на корабле с семьюдесятью четырьмя пушками. Он любил море больше жизни, и, судя по всему, до поры до времени ни одна дама не могла выдержать соперничества с его кораблем. Во всяком случае, дядюшка оставался холостяком.

Моей матушки вот уже несколько лет как не было в живых, а здоровье отца оставляло желать лучшего. Отец никогда не отличался избытком силы, а после смерти матери стал таять и чахнуть от горя (хотя в ту пору я был слишком мал, чтобы это заметить). Сейчас я вам об отце рассказывать не стану, поскольку к моей истории все это отношения не имеет.

Когда мне исполнилось пять, доктора посоветовали ему покинуть Англию. Усадьба перешла в распоряжение доверенного лица для сдачи внаем — по крайней мере, так мне кажется, — а отец увез меня на Мадейру, где вскорости умер. Слуга доставил меня домой; дядя меня отправил в пансион, оттуда — в Итон, а затем — в Оксфорд.

Я еще не успел закончить курса наук, а дядя мой уже дослужился до адмирала. За год до того, как я закончил Оксфорд, он женился на леди Джорджиане Торнбери, овдовевшей даме с единственной дочерью от первого брака. Так что дядюшка распрощался с морем, хотя, смею заметить, крайне неохотно, и поселился с женой в родной усадьбе — в том самом доме, где родился и я и который принадлежал нашему семейству на протяжении многих поколений и где сейчас живет наш кузен.

Новобрачные прибыли в Кулвервуд поздней осенью, и не успели толком обосноваться, как дядюшка уже написал мне письмо, приглашая меня отпраздновать Рождество в фамильном гнезде. Здесь-то и начинается мой рассказ.

Странные чувства владели мною, когда я переступил порог дома. Взгляду, привыкшему к современной безликой заурядности, старинный особняк казался исполненным горделивого величия. Однако смутные воспоминания, витавшие в воздухе, создавали ощущение домашнего уюта, что, наряду с великолепием, пробуждало в душе ни с чем не сравнимый восторг. Ибо что может быть лучше, чем ощущать себя как дома в обществе царственных особ? Я и по сей день признателен за урок, усвоенный благодаря этому чувству — сочетанию благоговения и нежности, всколыхнувшемуся в душе при виде родового поместья, когда в первый раз спустя пятнадцать лет я вступил в дом, покинутый в далеком детстве.

Старый дядюшка и новообретенная тетушка оказали мне радушный прием. Но стоило войти Кейт Торнбери, и я лишился сердца — и до сего дня так не обрел его снова. Однако я прекрасно обхожусь и без него, ибо получил в залог сердце куда более ценное — до тех пор, пока не отыщу

своего, чего, от души надеюсь, никогда не произойдет.

При этих словах отец переглянулся с матушкой: в ее лице отражалась спокойная, безмятежная убежденность. У Эффи на глаза навернулись слезы. Бедняжка: очень скоро и ее сердечку предстояло утратить покой! Но рассказ мой не о ней. Отец тем временем продолжал:

— Ваша матушка была прелестнее, чем сейчас, хотя и не столь красива; и все же красива настолько, что я тут же понял: в целом свете еще не бывало, да и не будет, создания столь прекрасного! Она встретила меня приветливо, а я ее — неловко.

— Мне казалось, ты даешь мне понять, что мне в доме не место, — отозвалась матушка, в первый раз нарушив молчание.

— Вот видите, девочки! — подхватил отец. — А вы всегда так полагаетесь на первые впечатления и голос сердца! Я испытывал неловкость, потому что, как я уже сказал, полюбил вашу матушку с первого взгляда; а она решила, будто я воспринимаю ее как самозванку, вторгшуюся в родовое гнездо!

Я не стану в подробностях описывать историю тех дней. Я был безмерно счастлив — кроме тех

моментов, когда остро чувствовал, что недостоин Кейт Торнбери; не то чтобы она намеренно давала мне это понять, ибо всегда держалась с неизменной приветливостью, однако такова уж она была, что я не мог не ощущать собственного несовершенства. Однако я набрался-таки храбрости, и не прошло и трех дней, как я уже вовсю пересказывал ей медленно оживающие воспоминания, относящиеся к усадьбе, а также и детские приключения, связанные с той или иной комнатой, или флигелем, или уголком в парке; ибо чем дольше жил я в поместье, тем скорее пробуждались старые ассоциации, и я сам дивился, обнаружив, сколько событий моей биографии, связанных с Кулвервудом, запечатлелись в памяти. Кейт никогда не давала понять, что мои рассказы ей скучны; а ведь, занимательные для меня, они бы непременно утомили любого, кто бы не разделял моих чувств в отношении родового гнезда. Мы бродили из комнаты в комнату, переговариваясь или молча; надо полагать, лучшей возможности мне и представиться не могло, в отношении такого сердца, как у вашей матушки. Мне думается, мало-помалу я ей понравился, а привязанность легко могла перерасти в нечто более сильное, если бы только и Кейт не пришла

к выводу, что я ее недостоин.

Мой дядюшка, славный морской волк, принял меня с распростертыми объятиями — дескать, добро пожаловать на старую посудину; даст Бог, мы вместе еще немало поплаваем; суденышко в полном моем распоряжении — во всем, кроме одного. «Видишь ли, мальчик мой, — сообщил дядя, — я женился на знатной леди и не хочу, чтобы друзья моей жены поговаривали, будто я пришвартовался с ней рядышком, чтобы прибрать к рукам денежки ее дочки. Нет, нет, мальчик мой; твой дядюшка достаточно нахлебался соленой водицы, чтобы выкинуть такую подлость. Так что ты поберегись — вот и все. Она способна вскружить голову и такому разумнику, каких в нашей семье отродясь не водилось!»

Я не стал сообщать дядюшке, что совет запоздал; ибо, хотя с нашей первой встречи не прошло и часу, голова у меня уже настолько шла кругом, что восстановить нужное положение возможно было, разве что продолжая вращать голову в том же направлении; впрочем, существовала опасность сорвать резьбу. Славный джентльмен более не возвращался к этому разговору и не обращал внимания на нашу растущую близость; так что порою я склонен усомниться, а следовало

ли воспринимать это простое и недвусмысленное предостережение всерьез. По счастью, леди Джорджиане я пришелся по душе — во всяком случае, так мне казалось, и это придавало мне храбрости.

— Чепуха, дорогой, — отозвалась матушка. — Мама души в тебе не чаяла, почти так же, как и я; но в храбрости ты никогда недостатка не испытывал.

— Ну, не настолько уж я был глуп, чтобы открыто демонстрировать малодушие! — возразил отец. — Но, — продолжал он, — положение дел становилось все серьезнее, и, наконец, я уже не сомневался, что застрелюсь или сойду с ума, если ваша матушка мне откажет. Так продолжалось несколько дней; до Рождества оставалось всего ничего. На рождественские праздники адмирал пригласил нескольких старых друзей. И, учтите, хотя я кажусь вам старомодным чудаком…

— О папа! — хором возразили мы, но он продолжал:

— Однако тут дядюшка далеко меня превзошел, а друзья его были во всем ему под стать. Сам я люблю пропустить стаканчик портвейна, хотя и воздерживаюсь от него по возможности, и вынужден утешаться бургундским. Дядя Боб обозвал

бы бургундское помоями. Он-то не мыслил себе жизни без портвейна, хотя в невоздержанности старика никто бы не упрекнул. Так вообразите же его смятение, когда, допросив дворецкого (своего бывшего рулевого) и спустившись в винный погребок, дабы удостовериться своими глазами, дядюшка обнаружил, что в запасах его не наберется и дюжины бутылок портвейна! Бедняга побелел от ужаса (надо сказать, что в тусклом свете сальной свечи, зажатой в татуированном кулаке старого Джейкоба, дядя являл собою жуткое зрелище!), а затем принялся браниться на чем свет стоит, благодаря чему цвет лица его отчасти восстановился. Эту речь я воспроизводить не стану; среди джентльменов, по счастью, подобные слова вышли из моды, хотя леди, насколько я знаю, пытаются возродить обычай, устаревший ныне и гадкий во все времена. Джейкоб напомнил его чести, что запасов не собирались пополнять до тех пор, пока погребок не отстроят заново, ибо в этот, по словам его чести, годится только трупы складывать. Так что, разбранив Джейкоба за то, что тот вовремя не напомнил о приближении праздника, дядюшка обернулся ко мне и начал — разумеется, не ругаться на собственного отца, но изъявлять некоторое неодобрение по поводу того,

что покойный не отстроил приличного погребка, прежде чем навсегда покинуть сей мир обедов и вин, и прозрачно намекнул, что подобная забывчивость весьма отдает эгоизмом и небрежением к благополучию потомков. Дав таким образом выход своему негодованию, дядя поднялся наверх и написал весьма категорическое, не допускающее возражений письмо своему ливерпульскому виноторговцу, требуя доставить в усадьбу до Рождества тридцать дюжин портвейна — любой ценой, хоть в дилижансе. Я лично отнес послание на почту, ибо столь ответственную миссию старик мог доверить только мне; собственно, он предпочел бы сходить сам, да зимой всегда прихрамывал: сказывались последствия ушиба от упавшего бруса в битве при Абукире.

Эту ночь я помню превосходно. Я лежал в постели, гадая, посмею ли сказать хоть слово или хотя бы намекнуть вашей матушке, что некое слово так и просится с языка, дожидаясь позволения! Вдруг я услышал, как ветер завывает в дымоходе. Как хорошо я помнил этот гул! Ибо добрая моя тетушка взяла на себя труд выяснить, какую спальню я занимал в детстве, и подготовила для меня комнату уже к третьей ночи. Я спрыгнул с кровати и обнаружил, что снег валит валом. Я

снова забрался под одеяло и стал размышлять, что будет делать дядя, если портвейн так и не доставят. А затем мне пришло в голову, что, ежели снег не прекратится, а ветер разгуляется еще сильнее, дороги через холмистую часть Йоркшира, где располагается Кулвервуд, того и гляди, занесет.

Вьюга метет
Всю ночь напролет:
Что дяде сулит непогода,
бедняге?
Иссяк в горький час
Портвейна запас,
И будет он пить только воду,
бедняга!

В детской спаленке воспоминания прошлого подчиняли меня себе, и я повторял про себя переиначенный стишок до тех пор, пока не уснул.

Так вот, мальчики и девочки, если бы я писал роман, я призвал бы вас так или иначе сопоставить все факты: что я находился в вышеописанной комнате; что в тот вечер я впервые спустился с дядей в винный погребок; что я наблюдал отчаяние моего дяди и слышал его сетование по поводу отцовского небрежения. Могу добавить,

что в ту пору и я сам не был столь безразличен к достоинствам стаканчика хорошего портвейна, чтобы не посочувствовать горю дядюшки, а со временем и его гостей, ежели они обнаружат, что снежная буря преградила путь долгожданному напитку. Если меня лично проблема оставила глубоко равнодушным, боюсь, что заслуга в том — вашей матушки, а не моя.

— Чепуха! — снова вмешалась матушка. — Вечно ты себя принижаешь, а других расхваливаешь — в жизни своей не встречала человека настолько скромного! Да говоря о портвейне, ты в жизни своей не выпил лишнего!

— Вот поэтому я его так и люблю, дорогая, — ответствовал отец. — Благодаря тебе, эти «помои» меня уже не радуют!

В ту ночь мне приснился сон.

На следующий день стали прибывать гости. К вечеру собрались все. Гостей приехало пятеро — три «морских волка» и две «сухопутные крысы», как они сами называли друг друга под веселую руку: по чести говоря, недолго продлилось бы их веселье, кабы не я!

Тревога дядюшки заметно усилилась. По утрам он все более сдержанно приветствовал каждого нового гостя, спустившегося к завтраку. Прошу

прощения, леди, я забыл упомянуть, что к тетушке, разумеется, съехались дамы. Однако для моего рассказа важны только гости, претендующие на портвейн, разумеется не считая вашей матушки. Помянутых дам дядя-адмирал привечал едва ли не подобострастно. Я отлично его понимал. Старик инстинктивно пытался заручиться поддержкой незаинтересованных лиц на тот случай, если откроется страшная тайна его погребка. На два дня или около того запасов хватало, ибо у дядюшки было в избытке превосходного кларета и мадеры — об этих винах я мало знаю; и дядя с Джейкобом до поры ловко обходили подводные камни.

Портвейна мы так и не дождались — в отличие от рокового дня. Наступило утро кануна Рождества. Я сидел у себя в комнате, пытаясь сочинить песенку для Кейт — это ваша матушка, дорогие мои…

— Я знаю, папа, — отозвалась Эффи, явно гордясь своей осведомленностью.

— …когда в комнату вошел мой дядюшка — ну ни дать ни взять Синтрам, которого по пятам преследуют Смерть и Тот, Другой. Кажется, именно эту чепуху ты читала мне на днях, верно, Эффи?

— Это не чепуха, милый папа, — горячо возра-

зила Эффи, и я готов был расцеловать сестренку за заступничество, потому что это и впрямь не чепуха.

— Беру свои слова назад, — улыбнулся отец и добавил, оборачиваясь к матушке: — Твое влияние, дорогая; мои дети настолько серьезны, что даже шутку принимают за чистую монету. Как бы то ни было, для дяди время шуток миновало. Если он походил не на Синтрама, так на Того, Другого. «Дороги обледенели — то есть завалены снегом, — сообщил бедняга. — Осталась последняя бутылка портвейна, и что скажет капитан Кокер… боюсь, я и сам знаю, что он скажет, да только лучше бы мне не знать! Проклятая погода! Прости меня Господи — да, я понимаю, что ругаться грешно, но тут и святой из себя выйдет — верно, мальчик мой?»

«Что вы мне дадите за дюжину бутылок портвейна, дядя?» — ответствовал я. «Что я тебе дам? Да забирай хоть Кулвервуд, мошенник!» — «Идет!» — воскликнул я. «Ну, то есть, — пролепетал дядя, — то есть… — и он побагровел, словно труба одного из ненавистных ему пароходов, — то есть, знаешь ли, при условии… Оно несправедливо было бы по отношению к леди Джорджиане, верно? Сам посуди — если она возьмет на себя

труд, знаешь ли… Ты меня понимаешь, мальчик мой?» — «Вы абсолютно правы, дядя», — заверил я. «Ага! Я вижу, ты — прирожденный джентльмен, так же как и твой отец; уж ты-то не станешь ставить человеку подножку, ежели он оступился», — вздохнул дядя. Ибо милейший старик отличался такой щепетильностью в вопросах чести, что сквозь землю готов был провалиться: дал опрометчивое обещание, не оговорив сперва исключения! Исключение, сами знаете, ныне владеет Кулвервудом, и дай ему Боже!

«Разумеется, дядя, — отозвался я, — как водится между джентльменами! Однако хотелось бы мне довести шутку до конца. Что вы мне дадите за дюжину бутылок портвейна, что помогли бы помочь вам перебиться в день Рождества?»

«Что я дам? Я дам тебе, мальчик мой… — Тут дядюшка вовремя прикусил язык, как человек, один раз уже обжегшийся. — Ба! — фыркнул он, разворачиваясь спиной и направляясь к двери, — что пользы шутить о серьезных вещах?»

Дядя удалился. И я его не задержал. Ибо я уже слышал, что сообщение с Ливерпулем прервано из-за снежных заносов: ветер и буря не прекращались с той самой ночи, о которой я вам рассказал. Тем временем я так и не набрался храбрости

сказать одно-единственное словечко вашей матушке — прошу прощения, я имел в виду мисс Торнбери.

Настал день Рождества. На дядю было страшно смотреть. Друзья не на шутку встревожились, опасаясь, не захворал ли старик. Бедняга передвигался отрешенно и неуверенно, словно акула, заглотившая наживку, а то вдруг начинал метаться, словно загарпуненный кит. Кошмарный секрет не давал ему покоя: сознаться старик не смел, однако роковой час, когда тайное станет явным, неумолимо приближался.

Внизу, в кухне, ростбифу и индейке воздавали по заслугам. Наверху, в кладовой — ибо леди Джорджиана не гнушалась домашним хозяйством, ровно так же как и ее дочь, — дамы трудились не покладая рук; а я бегал от дяди к племяннице и от племянницы к дяде, чудом успевая услужить обоим. Индейку и мясо подали на стол и порядком объели, прежде чем я счел, что настал мой звездный час. Снаружи завывал ветер, с легким шорохом снежные хлопья ударялись в стекла. Я жадно наблюдал за генералом Фортескью, который презирал и херес, и мадеру даже за ужином, и на шампанское покусился бы не больше, чем на подслащенную воду, но

запивал портвейном и рыбу, и сыр — без разбора; жадно наблюдал я, как содержимое последней бутылки, переместившись в прозрачный графин, неумолимо убывало. Бесстрашный рулевой подавал генералу Фортескью стакан за стаканом; хотя, ежели бы выбор предоставили ему, бедняга охотнее пошел бы на абордаж французского судна, нежели стал бы дожидаться последствий. Дядюшке кусок в горло не шел, и физиономия его не вытягивалась с переменой каждого блюда только потому, что вытянуть ее еще хоть на дюйм смогла бы разве что смерть. В моих интересах было довести дело до определенной черты, дальше которой идти уже не стоило. В то же время мне ужасно хотелось поглядеть, как мой дядя сообщит о случившемся, нет, откроет позорную тайну: в его доме, в день Рождества, для старейших друзей, приглашенных разделить праздничные увеселения, не осталось ни бутылки портвейна!

Я дотерпел до последнего — и вот мне померещилось, что адмирал уже открыл рот, словно вытащенная из воды рыба, дабы во всем признаться. В горести столь ужасной он даже не посмел довериться жене. Тут я притворился, что уронил салфетку, поднялся поискать ее, подкрался к дядюшке сзади и шепнул ему на ухо: «А

сейчас что вы мне дадите за дюжину портвейна, дядя?» — «Ба! — воскликнул он. — Я словно на раскаленных угольях; не мучай меня!» — «Я серьезно, дядя».

Адмирал резко обернулся, в глазах его внезапно вспыхнула безумная надежда. Осушив чашу страданий до дна, бедняга готов был поверить в чудо. Но он не проронил ни слова — только глядел во все глаза.

«Вы отдадите мне Кейт? Мне нужна Кейт», — прошептал я.

«Отдам, мальчик мой. То есть если она сама возражать не станет. Я имею в виду, при условии, если ты добудешь самый настоящий светлый портвейн!»

«Разумеется, дядя, честью клянусь! В бурю хорош любой порт… и портвейн тоже», — отозвался я, дрожа всем телом, от каблуков до прочих деталей туалета, ибо в результате я был уверен только на треть.

Джентльмены, сидящие рядом с Кейт, в тот момент отвлеклись, каждый — на соседку по другую руку. Я подошел к ней сзади и зашептал ей на ушко, в точности как дяде, вот только слова я выбрал другие. Может быть, выпитое шампанское придало мне храбрости; может быть, авантюра

меня раззадорила; может быть, сама Кейт вдохновила меня на подвиги, словно богиня древности, неким непостижимым для меня образом. Как бы то ни было, я сказал ей: «Кейт (а мы уже тогда называли друг друга по имени), в погребке у дяди не осталось ни бутылки портвейна. Вообразите себе, в каком состоянии окажется генерал Фортескью! Бедняга, чего доброго, захмелеет от жажды! Вы не поможете мне отыскать бутылку-другую?»

Кейт тотчас же поднялась с места, зарумянившись, словно белая роза — нежно-нежно, едва уловимо! Наверное, никто этого не заметил, кроме меня. Но от моего взгляда не ускользало ничто — даже тень локона на щечке.

Мы вышли в холл; громко завывал ветер, тут и там подрагивало и вспыхивало пламя свечей; свет и тень попеременно ложились на старинные портреты, памятные мне с детства — ибо ребенком я, бывало, придумывал, с какими словами обратились бы ко мне эти дамы и джентльмены, если бы кому-то пришло в голову выйти из рамы.

Я остановился, и, взяв Кейт за руку, проговорил: «Я не смею вести вас за собою дальше, Кейт, пока не признаюсь вот в чем: мой дядя пообещал, ежели я отыщу ему дюжину бутылок портвейна

— вы же видели, в каком бедняга состоянии! — разрешить мне кое-что вам сказать… полагаю, он имел в виду вашу матушку, но я предпочитаю сказать вам, если только вы мне позволите. Так вы поможете мне отыскать портвейн?»

Кейт не произнесла ни слова, но взяла со стола свечу и остановилась, не трогаясь с места. Я осмелился поднять взгляд. Личико ее зарделось небесным, розово-алым румянцем, и я не сомневался: она меня поняла. Кейт была так прекрасна, что я застыл, не сводя с нее глаз. В толк не могу взять, куда подевались слуги — сквозь землю провалились, не иначе!

Наконец Кейт рассмеялась и сказала: «Пойдемте?» Я вздрогнул и, смею заметить, в свою очередь покраснел до корней волос. Я понятия не имел, что сказать; о гостях я напрочь позабыл. «Так где же портвейн?» — проговорила Кейт. Я снова завладел ее ручкой и поднес ее к губам.

— Совсем незачем вдаваться в подробности, дорогой, — улыбнулась матушка.

— В будущем я поостерегусь, милая, — отозвался отец. — «Что потребуется от меня?» — спросила Кейт. «Всего лишь посветить мне», — отвечал я, ибо все семь чувств разом возвратились ко мне, и, взяв у нее из рук свечу, я пошел вперед, а Кейт

— следом. Мы миновали кухню и оказались у погребка. Вниз уводила крутая, неудобная лестница, и Кейт приняла мою помощь.

— Право же, Эдвард! — упрекнула мать.

— Да, да, дорогая, не буду, — отвечал отец. — До сего времени ваша матушка воздерживалась от вопросов, но когда мы, миновав несколько поворотов, оказались в просторном погребе с низкими потолками и я вручил ей свечу, а сам подобрал с полу увесистый лом, Кейт спросила: «Эдвард, вы задумали похоронить меня заживо? Что вы затеяли?» — «Напротив, хочу вывести вас на свет Божий!» И, вне себя от радости, я ударил ломом в стену, точно тараном. Можешь мне поверить, Джон: оттого, что Кейт держала для меня свечу, сил у меня только прибавилось! Очень скоро, хотя и с превеликим трудом, я выбил из стены кирпич, и следующий удар пробудил к жизни глухое эхо. Я был прав!

Я заработал ломом, словно одержимый, и спустя несколько минут сокрушил всю кирпичную стенку, перегородившую сводчатый проход. За нею обнаружилась дверца. Ключ торчал в замке и легко повернулся под моей рукой: механизм некогда отлично промаслили. Я принял свечу из рук Кейт и ввел мою спутницу в обширное

царство опилок, паутины и плесени.

«Вот, Кейт!» — ликующе воскликнул я. «Но не испортилось ли вино?» — усомнилась она. «На этот вопрос ответит генерал Фортескью, — весело отозвался я. — А теперь пойдемте: вы мне снова посветите, а я попытаюсь отыскать клетку для портвейна».

Вскорости я отыскал не одну, но несколько клеток, наполненных бутылками портвейна. Какую выбрать, я не знал. Мы положились на случай. Я с превеликой осторожностью понес наверх две бутылки, а Кейт — бутыль и свечу. Мы оставили добычу в кухне, распорядившись, чтобы портвейн никто не трогал, и отправились за новой порцией. Вскорости на столе в холле, у дверей в столовую, выстроилась целая дюжина бутылок.

Наконец мы вступили в столовую, Кейт и я (ибо Кейт ни за что не отказалась бы от участия в благой миссии), держа в каждой руке по бутылке, и осторожно расставили их на серванте. Джейкоб хихикал и потирал руки у нас за спиной. Судя по изумленным взглядам гостей, мы являли собою примечательное зрелище — Кейт в белом муслиновом платьице и я в парадном облачении, с ног до головы перепачканные в паутине, кирпичной крошке и известке. Гости забавлялись, глядя на

нас, а мы со смеху умирали, глядя на них. Десерт уже подали — но кувшинов с вином не предвиделось. Как долго сотрапезники так просидели, я понятия не имею. Хотите — спросите у вашей мамочки, может быть, она знает лучше. Капитан Кокер и генерал Фортескью просто-таки места себе не находили! Дядя, отчаянно уповая на чудо, словно прирос к месту и словно воды в рот набрал, а гости взять не могли в толк, в чем причина зловещей задержки. Даже леди Джорджиана начала уже всерьез опасаться, что в кухне назревает бунт или произошло нечто столь же ужасное. Но видели бы вы, как просияло лицо дяди, когда явились мы, изрядно «нагрузившись» портвейном! Старик тут же сделал вид, что все идет по плану. «Ну и где тебя носило, Нед, мальчик мой? — осведомился он. — О прекрасная Геба!.. — продолжал он. — Прошу прощения: Джейкоб, продолжай разливать. Подобная забывчивость тебе чести не делает. А вы, Геба, передайте эту бутылку генералу Юпитеру. В складках его тоги непременно найдется штопор, или я очень ошибаюсь».

Штопор генерала Фортескью не замедлил явиться. Я снова похолодел от тревоги. Пробка вылетела с легким хлопком; бутыль наклонилась; «буль-буль-буль» — донеслось из благословенного

горлышка, и в стакан полилось нечто золотистое, словно львиная грива. Генерал неспешно поднес стакан к губам, по дороге поприветствовав и нос. «Пятнадцать лет выдержки! Клянусь Юпитером! — воскликнул он. — Ну, адмирал, ради этого стоило подождать! Разливай осторожнее, Джейкоб, собственной жизнью мне ответишь!»

Дядя торжествовал. Он усиленно подмигивал мне, давая понять: молчи! Кейт и я удалились, она — переодеться, я — вычистить платье и помыть руки. К тому времени, как я вернулся в столовую, вопросов уже никто не задавал. Что до Кейт, дамы перебрались в гостиную еще до ее возвращения, и я полагаю, что исполнить дядюшкин наказ для нее оказалось непросто. Но она не подвела. Нужно ли говорить, что это было счастливейшее Рождество в моей жизни?

— Но как же ты отыскал погребок, папа? — спросила Эффи.

— Где твоя сообразительность, дочка? Ты разве не помнишь: я сказал вам, что мне приснился сон!

— Да, верно. Но быть того не может, чтобы существование погреба открылось тебе во сне!

— Именно так. Я своими глазами видел, как погребок перестраивали как раз перед нашим

отъездом на Мадейру. Сдавая дом, папа решил обезопасить запасы вина. Вину это пошло только на пользу, да и мне тоже. О погребке я напрочь позабыл. Все обстоятельства должны были воскресить в памяти эту подробность — казалось, еще немного, и я вспомню. Помните, я заснул под наплывом ассоциаций — ассоциаций, пришедших из далекого детства? Они воздействовали на меня и во сне, и, когда все отвлекающие факторы исчезли, в моем сонном сознании со временем воскресло воспоминание о том, что я видел. Утром я вспомнил не только сон, но и само событие, в нем отраженное. Однако я изрядно сомневался насчет точного места, и только в этом следовал сну как можно ближе.

Адмирал сдержал слово и не стал чинить препятствий нам с Кейт. По чести говоря, этого подводного камня я никогда особо не страшился; но вполне могло случиться, что щепетильность старика в вопросах чести либо гордость на какое-то время стали бы существенной помехой нашему счастью. Впоследствии дело обернулось так, что дядя не смог оставить мне Кулвервуд, и я сожалел об этом столь же мало, как и он сам. Впрочем, его благодарность ко мне переходила все границы, то и дело находя выход в бурных

изъявлениях признательности. Полагаю, спаси я его корабль вместе со всей командой, дядюшка и тогда не почитал бы себя настолько мне обязанным. Ведь на карту было поставлено его гостеприимство! Старый добряк!

На этом отец закончил рассказ, чуть слышно вздохнул, поглядел на раскаленные угли, поцеловал матушке руку и осушил очередной бокал бургундского.

1889

МОРИС МЕТЕРЛИНК

Избиение младенцев

В тот день, в пятницу, 26 декабря, в час ужина, прибежал в Назарет мальчик, подпасок, дико крича.

Крестьяне, пившие пиво в трактире Синего Льва, открыли окна и, взглянув в деревенский плодовый сад, увидали подбегавшего по снегу мальчика. Они узнали в нем сына Корнелица и закричали ему в окно: «Что там? Ступай спать!»

Но он отвечал с ужасом, что явились испанцы, сожгли ферму, повесили его мать в орешнике и привязали девять его сестренок к стволу большого дерева.

Крестьяне тотчас вышли из трактира, окружили мальчика и стали его расспрашивать. Он сказал еще, что солдаты были верхом и закованы в железо, что они захватили скот его дяди Петрюса Крайера и затем, с коровами и с овцами, ушли в лес.

Все бросились к трактиру Золотого Солнца, где Корнелиц тоже пил пиво со своим шурином, а трактирщик побежал по деревне, крича, что идут испанцы.

Тогда в Назарете началось смятение. Женщины

открыли окна, а крестьяне вышли из домов с фонарями; впрочем, они погасили фонари в плодовом саду, так как там было светло, как днем, от снега и полной луны.

Все столпились вокруг Корнелица и Крайера на площади перед гостиницей. Некоторые принесли с собой вилы и грабли и переговаривались в страхе под деревьями.

Но так как никто не знал, что делать, то побежали за кюре, которому принадлежала ферма Корнелица. Кюре вышел из дому вместе с ризничим, несшим ключи от церкви. Пошли на кладбище, и кюре с колокольни крикнул им, что ни в поле, ни в лесу не видать ничего, но что в той стороне, где его ферма, есть багровые облака, хотя надо всей окрестностью небо голубое и звездное.

Посовещавшись на кладбище, крестьяне порешили спрятаться в лесу, через который должны будут пройти испанцы, напасть на них, если их окажется не слишком много, и отбить у них скот Петрюса Крайера и добычу, взятую ими на ферме.

Мужчины вооружились заступами и вилами, а женщины остались у церкви с кюре.

Отыскивая место, где было бы удобно устроить засаду, крестьяне пришли к мельнице, на гра-

нице леса, откуда видно было, как пылала, при ярком свете звезд, ферма. Они расположились там, перед болотом, подернутым льдом, под громадным дубом.

Пастух, по прозвищу Рыжий Карла, пошел на холм, чтобы предупредить мельника, остановившего свою мельницу при виде зарева. Мельник впустил Рыжего Карлу, и оба поместились у окна, осматривая даль.

Прямо перед ними над пожаром блистала луна, и скоро они заметили большую толпу, шедшую по снегу. Рассмотрев ее хорошенько, Рыжий вернулся к тем, кто был в лесу; понемногу им стало видно, что это — четыре всадника и с ними стадо, которое выщипывает траву из-под снега.

Так как всадники, одетые в красные мантии с синими перевязями, всматривались в берега замерзшего болота и под ветви деревьев, где было светло от снега, ризничий посоветовал крестьянам спрятаться за буксовой изгородью, что они и сделали.

Скот и испанцы пошли по льду, и бараны, добравшись до букса, уже обгладывали зелень, когда Корнелиц вдруг выскочил из кустарника, а за ним бросились и другие с вилами. На пруду вышло большое побоище, среди целой кучи овец

и среди коров, смотревших на битву и на луну.

Когда четыре испанца и их лошади были убиты, Корнелиц кинулся в поле к пожару, а другие обобрали мертвых. Потом они направились со стадом в деревню. Женщины, вглядывавшиеся в лес из-за кладбищенского забора, увидали, что они приближаются между деревьями, и побежали им навстречу с кюре. Возвращаясь, все плясали большими хороводами, посреди детей и собак.

Ликуя под грушевыми деревьями в плодовом саду, где Рыжий развешивал фонарики в знак храмового праздника, крестьяне спрашивали кюре, что теперь делать.

Порешили заложить телегу, чтобы перевезти в деревню тело жены Корнелица и девяти ее дочерей. В телегу сели сестры убитой и кое-кто еще из ее родственников, а также кюре, который пешком ходил с трудом, так как был стар и очень толст.

Они вернулись в лес и в молчании добрались до сияющего простора равнин, где на льду, под деревьями, валялись голые человеческие тела и поваленные навзничь лошади. Отсюда они направились к ферме, пылавшей посреди поля.

Подойдя к саду и к дому, красному от пламени, крестьяне остановились у забора и смотрели на беду, постигшую их земляка. Жена Корнелица,

совершенно голая, висела на ветке огромного орешника, а сам он взбирался по лестнице на дерево, вокруг которого на земле лежали девять его дочерей, ожидая мать.

Он был уже среди густых ветвей дерева, когда вдруг заметил на яркости снега толпу, глядевшую на него. Корнелиц, плача, сделал знак помочь ему, и крестьяне вошли в сад. Ризничий, Рыжий Карла, трактирщики Синего Льва и Золотого Солнца, кюре с фонарем и еще несколько человек вскарабкались на обындевевший орешник, при свете луны, и сняли повешенную. Деревенские женщины у подножия дерева приняли ее на руки, как тело Господа нашего Иисуса Христа при снятии со Креста.

На другой день ее похоронили, и на той неделе в Назарете не случилось больше ничего необыкновенного. Но в следующее воскресенье, после обедни, через деревню пробежали голодные волки и до полудня шел снег, потом неожиданно на небе заблистало солнце. Крестьяне, как обыкновенно, вернулись домой и стали одеваться к вечерне.

В то время на площади никого не было, так как стояла жестокая стужа. Только собаки да куры бродили под деревьями, и овцы щипали малень-

кий уцелевший треугольник травы, да служанка кюре выметала снег из своего палисадника.

Тогда отряд вооруженных людей перешел по каменному мосту на конце деревни и остановился в плодовом саду. Крестьяне вышли было из домов, но тотчас в ужасе вернулись назад, узнав испанцев, и расположились у окон, наблюдая, что будет.

Всего было около тридцати всадников, вооруженных с ног до головы, начальствовал старик с седой бородою. На крупах лошадей сидели ландскнехты, в желтом и красном, которые, спрыгнув на землю, побежали по снегу, чтобы размять ноги. Многие из закованных в латы солдат тоже спешились и мочились у деревьев, к которым привязали лошадей.

Потом часть приехавших направились к трактиру Золотого Солнца и постучались в дверь. Им отперли со страхом; они вошли, чтобы погреться у огня, и приказали подать себе пива.

Скоро они вышли из трактира, неся горшки, кувшины и пшеничный хлеб для своих сотоварищей, оставшихся на улице около человека с седой бородою, который ждал среди копий.

Так как улица оставалась пустынной, начальник отряда послал несколько всадников охранять

деревню со стороны поля, за дома, а ландскнехтам приказал привести к себе детей от двух лет и ниже, чтобы избивать их, как написано в Евангелии от Матфея.

Прежде всего отправились они в маленький трактирчик Зеленой Капусты и в соседний с ним домишко цирюльника, на середине улицы.

Один из ландскнехтов растворил хлев, и, вырвавшись оттуда, свиньи разбежались по всей деревне. Трактирщик и цирюльник вышли на улицу и смиренно спросили у солдат, что им угодно: но те не понимали по-фламандски и вошли в дом, ища детей.

У трактирщика был ребенок: мальчик, в рубашечке, сидевший за столом, за которым обедали. Ландскнехт взял его на руки и унес в сад, а отец и мать шли за ним, крича.

Ландскнехты растворили еще хлевы у бочара, у кузнеца, у башмачника, и телята, коровы, ослы, свиньи, козы и бараны прогуливались по площади. Когда же солдаты выбили окно у плотника, несколько крестьян, из числа стариков и местных богатеев, собрались на улице и подступили к испанцам. Сняв почтительно шапки и шляпы перед начальником в бархатной мантии, они спросили, что он хочет делать. Но и начальник не понимал

их языка, и кто-то из них пошел за кюре.

Кюре облачался к вечерне и надевал в ризнице свою золотую ризу. Крестьянин закричал ему: «Испанцы у нас в саду!» В смятении кюре бросился к двери, а за ним мальчики хора, неся восковые свечи и кадило. Выйдя, он увидел домашних животных, бродящих по снегу и по обрывкам травы, всадников посреди деревни, солдат у дверей домов, лошадей, привязанных к деревьям вдоль улицы, и толпу мужчин и женщин, умоляющих того человека, в руках которого был ребенок в рубашечке.

Кюре устремился к этому человеку, и крестьяне беспокойно обернулись к своему священнику, явившемуся как Господь Бог, в золоте, среди стволов деревьев, и окружили его перед человеком с седой бородою.

Кюре говорил по-фламандски и по-латыни, но начальник пожимал плечами, показывая, что он не понимает.

Прихожане спрашивали вполголоса у кюре: «Что он говорит? Что будет делать?» Другие, видя, что кюре в саду, робко выходили из домов, торопливо прибегали женщины и шептались, собираясь кучками, между тем как солдаты, осаждавшие трактир, поспешили назад, заметив

сборище, какое образовывалось на площади.

Тогда тот, кто держал за ногу сынишку трактирщика Зеленой Капусты, саблей своей отсек ребенку голову.

Видно было, как упала сначала голова, а потом и остальное тело, заливая траву кровью. Мать подняла тело и унесла, забыв голову. Она побежала было домой, но наткнулась на дерево и упала прямо животом в снег. Она осталась лежать без чувств, а отец отбивался от двух солдат.

Парни стали бросать в испанцев камнями и деревянными чурками, но солдаты опустили все сразу копья, женщины побежали прочь, а кюре и его прихожане завыли от страха среди баранов, гусей и собак.

Но потом, так как ландскнехты снова пошли на улицу, они смолкли, чтобы посмотреть, что будет.

Солдаты вошли к сестре ризничего, в лавку, но мирно вышли оттуда, не сделав никакого зла семерым женщинам, которые у порога молились, стоя на коленях.

Далее они пошли в трактир Горбуна, чтоу Святого Николая. Там тоже впустили их тотчас же, чтобы задобрить, но скоро, среди всеобщего смятения, они опять показались на улице; в руках

у них было три ребенка, и их окружало все семейство Горбуна, он сам, жена, старшие дочери, умолявшие солдат со сложенными руками.

Вернувшись к старику, солдаты опустили детей на землю у корней вяза, и они сели там на снег в своих воскресных платьях. Но один из троих, одетый в желтое, вскочил и, заплетаясь ногами, побежал к овцам. Солдат погнался за ним с обнаженной шпагой, и ребенок умер, упав ничком, тогда как двух других убивали около вяза.

Все крестьяне и дочери Горбуна ударились бежать, испуская громкие крики, и опять попрятались по домам. Оставшись один, кюре с рыданиями умолял испанцев, переползая от одной лошади к другой, сложив руки крестом; а сам Горбун и его жена, сидя на снегу, жалостно оплакивали своих детей, простертых у них на коленях.

Обходя деревню, ландскнехты заметили большой синий дом одного фермера. Они хотели выбить двери, но двери были дубовые с железною обивкой. Тогда они взяли бочки, лежавшие перед входом в большой замерзшей луже, устроили из них лестницу и проникли в дом через окно.

На ферме был семейный праздник, и сошлись все родственники со своими семьями на вафли,

блины и ветчину. При звуке разбитых стекол они столпились за столом, уставленным блюдами и кувшинами. Солдаты вошли в кухню и после ожесточенной схватки, в которой многие были ранены, завладели всеми маленькими мальчиками и девочками, захватили также слугу, укусившего за палец ландскнехта, и вышли на улицу, заперев за собой двери, чтобы никто из дому не следовал за ними.

Те крестьяне, у кого не было детей, тихонько повыходили из домов и вдалеке шли за солдатами. Придя к старику со своими жертвами, ландскнехты бросили детей наземь и спокойно прикончили их своими копьями и шпагами, тогда как по всему фасаду синей фермы мужчины и женщины, высунувшись из окон и с чердака, кричали проклятия и кидались бессмысленно туда и сюда, видя своих детей в красных, розовых и белых одеждах неподвижными на траве между стволами.

Вслед за тем солдаты повесили слугу с фермы — на вывеске в виде полумесяца, с другой стороны улицы, и в деревне на некоторое время наступила тишина.

Потом избиение распространилось на всю деревню. Матери, выскочив из домов, пытались

через сады и огороды убежать в поле, но всадники догоняли их и пригоняли обратно на улицу. Крестьяне, держа шапки в руках, ползали на коленях за теми, кто уносил их детей, среди весело и беспорядочно лающих собак. Кюре, воздевая руки к небу, бегал вдоль домов и под деревьями, умоляя безнадежно, словно мученик. Солдаты, дрожа от холода, дышали на свои пальцы, бродя по улице или, засунув руки в карманы штанов и взяв шпагу под мышки, поджидали у окон, пока их сотоварищи возьмут дом приступом.

Приметив пугливое отчаянье крестьян, солдаты маленькими кучками тотчас входили в фермы, и на всех улицах происходили одни и те же сцены.

Огородница, жившая в старом домике из красноватого кирпича около церкви, гналась со стулом в руках за двумя ландскнехтами, увозившими ее детей в тачке. При виде как их убивали, она потеряла сознание, и ее посадили на стул, прислонив спиной к дереву на дороге.

Другие солдаты влезли на липу перед фермой, выкрашенной в лиловый цвет, разобрали черепицу на кровле и так пробрались в дом. Когда они вернулись на крышу, отец и мать, простирая руки, тоже показались из отверстия,

и солдатам, прежде чем спуститься на землю, пришлось столкнуть их обратно, ударяя шпагами по голове.

Из погреба большого дома через отдушину слышался плач целой семьи, и отец семейства свирепо угрожал оттуда вилами. Лысый старик одиноко рыдал, сидя на навозной куче. Женщина в желтом упала без чувств на площади, и ее муж, поддерживая ее за подмышки, кричал в тени грушевого дерева. Другая женщина, в красном, целовала свою дочку, у которой были отрублены кисти рук, и поочередно приподымала то ту, то другую ее руку, все ожидая, что она начнет двигаться. Еще одной удалось убежать в поле, и солдаты гнались за ней между скирдами сена на горизонте снежных далей.

На трактир Четырех Сыновей Эмона велась целая осада. Крестьяне забаррикадировались там, а солдаты вертелись кругом и никак не могли ворваться в дом. Они уже пытались вскарабкаться по деревьям к вывеске, когда заметили за садовой дверью лестницу. Приставив ее к стене, они стали взбираться один за другим. Трактирщик и все его семейство бросали в них из окон столы, стулья, тарелки и люльки. Лестница опрокинулась, и солдаты упали.

В деревянном домишке на краю деревни другая кучка солдат нашла крестьянку, мывшую своих детей в чане перед огнем. Она была стара и почти глуха и не слыхала, как солдаты вошли. Двое из них взяли чан и унесли его, а ошеломленная женщина бросилась за ними, с платьем малышей в руках, так как хотела их одеть. Но на пороге, увидав везде в деревне пятна крови, обнаженные шпаги в плодовом саду, опрокинутые колыбели на улице, женщин на коленях и других, ломающих руки над маленькими трупами, — она начала дико кричать и бить солдат, которые должны были поставить чан на землю, чтобы обороняться. Туда же прибежал кюре и, сложив руки на своей ризе, умолял испанцев за голых детей, хныкавших в воде. Подошли еще солдаты, которые его отстранили и привязали обезумевшую старуху к дереву.

Мясник, спрятав свою девочку, стоял, прислонившись к дому, и равнодушно смотрел на все происходившее. Ландскнехт и латник вошли к нему в дом и разыскали ребенка в медном котле, мясник, в отчаянье, схватил нож и устремился за ними, но проходившая мимо кучка солдат обезоружила его и повесила за руки на стенных крюках, между ободранными тушами, где он до

вечера и дергался ногами и головой, произнося ругательства.

В стороне кладбища много народу толпилось у длинного зеленого дома. На его пороге горючими слезами плакал мужчина; он был человек видный и очень толстый, и солдаты, сидя на солнышке, у стены, слушали его с сочувствием, лаская собаку. Солдат, уводивший за руку ребенка, делал жест, как бы говоря: «Как быть? Это не моя вина!»

Крестьянин, за которым гнались, прыгнул с женой и детьми в лодку, причаленную у каменного моста, и уплыл на середину пруда. Солдаты не решались гнаться за ним по льду и злобно бродили по тропинке. Они влезали на прибрежные ивы, стараясь оттуда достать убежавших копьями, но это им не удавалось, и они долго грозили всей семье, дрожавшей от ужаса посредине воды.

Плодовый сад между тем постоянно был полон народа, так как большую частью детей убивали именно там, перед человеком с седой бородой, заведовавшим избиением. Деревенские мальчики и девочки, уже ходившие одни по улицам, собирались там и, с любопытством глядя, как убивали других, ели свои обеденные тартинки с маслом или толпились вокруг приходского

дурачка, игравшего, сидя на земле, на флейте.

Вдруг в деревне произошло большое движение. Крестьяне бросились к замку, стоящему на возвышенности из желтой земли, на самом конце улицы. Они заметили, что сеньор стоит, облокотясь на зубец башни, и смотрит на убийства. Мужчины, женщины, старики, простирая руки, умоляли, словно небесного царя, этого человека в бархатной мантии и в золотом токе. Но он подымал руки и пожимал плечами, выражая свое бессилие, а так как крестьяне умоляли его все более и более отчаянно, обнажив головы, становясь на колени в снег, испуская громкие крики, — он медленно вернулся во внутренность башни, и у просивших не осталось больше надежды.

Когда все младенцы были перебиты, утомленные солдаты вытерли свои шпаги о траву и поужинали под деревьями. Вслед за тем ландскнехты сели опять на крупы лошадей, и испанцы удалились из Назарета по каменному мосту, тем же путем, как приехали.

Потом солнце зашло за красным лесом, изменявшим окраску деревни.

Устав бегать и умолять, кюре сидел на снегу перед церковью, а рядом стояла его служанка. Перед ними улица и плодовый сад были наполнены кре-

стьянами в праздничных одеждах, бродивших по площади и вдоль домов. Члены семей, держа мертвых детей на коленях или на руках, у дверей домов с удивлением рассказывали о своем несчастье. Другие еще оплакивали убитых там, где они лежали, около бочки, под тачкой, у лужи, или молча уносили их. Некоторые уже мыли скамьи, стулья, столы, окровавленные рубашки и подымали раскиданные по улице колыбели. Впрочем, почти все матери плакали под деревьями над трупами, простертыми на земле, которые они признавали по их шерстяным платьицам. У кого не было детей, прогуливались по площади, останавливаясь перед сокрушающимися кучками. Те из мужчин, которые не плакали, гонялись за собаками, ловили свой разбежавшийся скот или исправляли разбитые окна и раскрытые крыши. И мало-помалу деревня становилась неподвижной под сиянием всходившей на небо луны.

1895

ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН

Бог в пещере

Да, в Вифлееме поистине сошлись противоположности.

В пещере было положено начало тому, что придает христианству такую человечность. Если бы людям понадобился образец бесспорного, неиспорченного христианства, они бы, наверное, выбрали Рождество. Но Рождество очевиднейшим образом связано с тем, что считают (никак не пойму почему) спорным и надуманным, — с поклонением Пречистой Деве. Взрослые моего детства требовали убрать из церквей Ее статуи с Младенцем.

После долгих препирательств примирились на том, что отняли у Нее Младенца, — хотя, если рассуждать логически, с их собственной точки зрения, это должно быть еще хуже. Может быть, Мать не так опасна, если Ее обезоружить? Во всяком случае, все это похоже на притчу. Нельзя отделить статую матери от новорожденного ребенка, младенец не может висеть в воздухе, собственно говоря, вообще не может быть статуи младенца.

Точно так же не можем мы подумать о Нем, не

думая о Матери. В обыкновенной, человеческой жизни мы не можем прийти к новорожденному, не придя тем самым к его матери; мы можем общаться с ним только через мать. Отнимите Христа у Рождества или Рождество у Христа, иначе вам придется смириться с тем, что святые головы — рядом и сияния их почти сливаются, как на старых картинах.

Можно сказать, как ни грубо это звучит, что в тот час, в той складке или трещине серой горы мир был вывернут наизнанку. Раньше благоговейные и удивленные взоры обращались как бы наружу, с этих пор обратились внутрь, к самому маленькому. Бог был вовне, оказался в центре, а центр — бесконечно мал. С этих пор спираль духа центростремительна, а не центробежна.

Во многих смыслах наша вера — религия маленьких вещей. Я уже говорил, что предание — и в книгах, и в картинах, и в легендах — отдало дань парадоксу о Боге в яслях. Наверное, меньше говорилось о Боге в пещере. Как ни странно, о пещере вообще говорили мало. Рождество Христово переносили в любую страну, в любую эпоху, в любой ландшафт и город, подгоняли к самым разным обычаям и вкусам, — и это очень хорошо.

Всюду мы видим хлев, но далеко не всюду —

пещеру. Некоторые ученые по глупости нашли противоречие между преданием о яслях и преданием о пещере, чем доказали, что не были в Палестине. Им мерещится различие там, где его нет, но они не видят его там, где оно есть.

Когда я читаю, например, что Христос вышел из пещеры, как Митра из скалы, мне кажется, что это пародия на сравнительное изучение религий. В каждом предании, даже ложном, есть суть, есть самое главное. Предание о божестве, появляющемся, как Паллада, в расцвете сил, без матери, без детства, по сути своей не похоже на рассказ о Боге, родившемся как самый простой ребенок и совершенно зависевшем от Матери.

Мы можем отдать предпочтение любому из этих преданий, но не можем отрицать, что они — разные. Отождествлять их из-за того, что в обоих есть скала, так же нелепо, как приравнивать потоп к Крещению, потому что и там и здесь есть вода. Миф Рождество или тайна, пещера играет в нем совсем особую роль — она говорит о том, что Бог наш был бездомным изгоем. Однако о пещере вспоминают реже, чем о других атрибутах Рождества.

Причина проста и связана с самой природой возникшего тогда мира. Нелегко увидеть и опи-

сать новое измерение. Христос не только родился на земле — Он родился под землей. Первое действие Божественной трагедии развертывалось не выше зрителя, а ниже, на темной потаенной сцене. Почти невозможно выразить средствами искусства одновременные действия на разных уровнях бытия.

Что-то подобное могли изобразить в Средние века; но чем больше узнавали художники о реализме и перспективе, тем труднее им становилось изобразить ангелов в небе, пастухов на холмах, сияние в самом холме. Может быть, к этому ближе всего подошли средневековые гильдии, которые возили по улицам вертеп в три этажа, где наверху было небо, внизу ад, а посредине — земля. Но в Вифлеемском парадоксе внизу было небо.

В этом одном — дух мятежа, дух перевернутого мира. Трудно выразить или описать заново, как изменила саму идею закона и отношение к отверженным мысль о Боге, рожденном вне общества. Поистине после этого не могло быть рабов. Могли быть и были люди, носящие этот ярлык, пока Церковь не окрепла настолько, чтобы его снять, но уже не могло быть язычески спокойного отношения к рабству.

Личность стала ценной в том особом смысле, в каком не может быть ценным орудие, и человек не мог более быть орудием, во всяком случае — для человека. Эту народную, демократическую сторону Рождества предание справедливо связывает с пастухами — крестьянами, которые запросто беседовали с Владычицей небес. Но с пастухами связано не только это, с ними связано и другое — то самое, о чем я говорил раньше и что замечали нечасто.

Люди из народа — такие, как пастухи, — везде и повсюду создавали мифы. Это они испытывали прежде всех не тягу к философии или сатанизму, а ту потребность, о которой мы говорили, — потребность в образах, приключениях, фантазии, в сказках, подобных поискам, в соблазнительном, даже мучительном сходстве природы с человеком, в таинственной значимости времен года и определенных мест. Они прекрасно поняли, что луг или лес мертвы без повести, а повесть — без героя. Но сухая разумность уже покушалась на неразумные сокровища крестьян, точно так же как рабовладение покушалось на их дома и земли.

Крестьянские сообщества заволакивал сумрак скорби, когда несколько пастухов нашли то, что

искали. Повсюду, кроме этого места, Аркадия увядала. Умер великий Пан, и пастухи разбрелись, как овцы. Но, хотя никто об этом не ведал, близился час свершения. Хотя никто об этом не слышал, далеко, в диких горах, кто-то закричал от радости на неведомом языке. Пастухи обрели Пастыря.

То, что они нашли, было очень похоже на то, что они искали. Народ ошибался во многом, но он не ошибался, когда верил, что у святыни есть дом, а божеству ведомы границы пространства и времени. Дикарь, создавший нелепейшие мифы о спрятанном в коробочке солнце или о спасенном боге, которого подменили камнем, ближе к тайне пещеры, чем города Средиземноморья, примирившиеся с холодными отвлеченностями.

Он понял бы лучше, что случилось в мире, чем те, в чьих руках становилась все тоньше и тоньше нить Платонова идеализма или Пифагоровой мистики. Пастухи нашли не Академию и не совершенную республику. Они нашли наяву свой сон. С этого часа в мире не может быть мифов; ведь мифотворчество — это поиски.

Все мы знаем, что народ в рождественских мираклях и песнях одевал пастухов в костюмы своей страны и представлял Вифлеем своей род-

ной деревней. Большинство из нас понимает, как это точно, мудро и тонко, как много здесь христианского, кафолического чутья. Многие видели грубый деревенский Вифлеем, но мало кто помнит, каким он был у тех, чье искусство кажется нам искусственным. Боюсь, в наше время не всем понравится, что во времена классицизма актеры и поэты одевали пастухов пастушками Вергилия. Но и они были правы. Превращая Рождество в эклогу, они нащупали одну из самых важных связей человеческой истории.

Мы уже говорили, что Вергилий воплотил дух здорового язычества, победившего нездоровое язычество человеческих жертв. Но даже его здравая добродетель заболела тяжелой болезнью, и спасти ее могла только находка пастухов. Если мир устал от безумия, его может спасти лишь здравомыслие. Но он устал от здравомыслия; что же могло излечить его, если не то, что излечило? Не так уж нелепо представлять себе рождественскую радость аркадских пастушков.

В одной из эклог Вергилия принято видеть пророчество о Рождестве. Но и по другим эклогам, по самой интонации великого поэта мы чувствуем: его бы обрадовало то, что случилось в Вифлееме. В строке «Incipe, parve puer, risu congnoscere

matrem» звучит что-то большее, чем нежность Италии. Аркадские пастушки нашли бы в этой пещере все то, что было хорошего в последних преданиях латинян; только вместо куклы, сторожащей и скрепляющей семью, они обрели бы родившегося в семье Бога.

И они, и все мифотворцы смело могли радоваться: здесь сбылось не только все мистическое, но и все вещественное в мифах. У мифологии много грехов, но она весома и телесна, как Воплощение. Теперь она могла бы воскликнуть: «Мы видели Бога, и Бог нас видел!» Античные пастушки могли плясать на холмах, посмеиваясь над философами. Однако и философы слышали.

Я не перестану удивляться старой повести о том, как, увенчанные величием царей, облаченные тайной магов, они пришли сюда из восточных стран. Истина, называемая преданием, мудро подарила им безвестность, и они остались для нас таинственными, как их прекрасные имена — Мельхиор, Каспар, Балтазар.

С ними пришел весь мир учености, считавшей звезды в Халдее, созерцавшей солнце в Персии; и мы не ошибемся, приписав им любопытство — перводвигатель ученых. Они могли бы воплощать тот же идеал, если бы звались Конфуцием,

Пифагором, Платоном; они были из тех, кто ищет не сказки, но истины. Их жажда истины была жаждой Бога, и они тоже получили свое. Для философов, как и для мифотворцев, Вифлеем восполнил неполное.

Самые мудрые могли бы прийти туда, как и пришли волхвы, и подтвердить то, что было истинного в их учениях, правильного — в их раздумьях. Конфуций нашел бы здесь новые основания семьи, Будда увидел бы отречение от звезд, а не от алмазов — от Божеского, а не от царского сана. Мудрецы имели бы или обрели бы право сказать, что в их учениях есть истина. Но они пришли бы сюда учиться.

Они пришли бы пополнить свои учения тем, о чем и не думали; уравновесить свой несовершенный мир тем, против чего, быть может, возражали. Будда явился бы из безличного рая поклониться Личности. Конфуций оставил бы поклонение предкам, чтобы поклониться Младенцу.

Мы должны понять, что новая Вселенная оказалась вместительнее старой. В этом смысле возникновение христианства шире Сотворения мира — того мира, что был до Христа. Христианский мир включает и то, что уже было, и то, чего

не было раньше. Хороший пример — китайское почитание старших.

Никто не усомнится, что разумное почтение к родителям входит в Завет, по которому Сам Бог подчинялся в детстве родителям, «был в повиновении у них». Но и они подчинялись Ему, этого не найдешь у китайцев. Младенец Христос не похож на младенца Конфуция — в нашем мистическом чувстве Он останется Младенцем навсегда. И я не знаю, что бы делал Конфуций с деревянным младенцем, если бы он ожил в его руках, как ожил он в руках святого Франциска.

В Церкви есть то, чего нет в мире. Мир сам по себе не может обеспечить нас всем. Любая другая система узка и ущербна по сравнению с Церковью; это не пустая похвальба, это — реальность. Найдем ли мы поклонение Младенцу у стоиков или сторонников Конфуция? Найдем ли у мусульман Марию — Мать, не знавшую мужа и славнейшую серафим? Найдем ли у тибетских монахов архистратига Михаила, воплотившего для каждого воина честь меча?

Святой Фома Аквинат привел в систему всю ученость и разумность и даже рациональность христианства. Аристотель тоже достиг вершин разума, однако Аквинат мог понять самые слож-

ные доводы Аристотеля, но Аристотель вряд ли бы понял мистические отступления Фомы. Даже если вы не сочтете христианского философа более великим, чем языческий, вам придется признать его более широким. То же самое относится и к любой философии, ереси, движению. Что бы делал трубадур Франциск среди кальвинистов или утилитаристов Манчестерской школы? Но Боссюэ и Паскаль не уступали в строгой рассудительности ни кальвинистам, ни утилитаристам.

Что делала бы Жанна д'Арк среди квакеров, духоборов, толстовцев? Но многие наши святые отдали жизнь, проповедуя мир и предотвращая брань. Как ни бьются над этим современные синкретисты, им не удается создать ничего, что было бы шире Церкви. Всякий раз они просто выбрасывают что-нибудь не из Церкви, а из жизни: знамя, или харчевню, или детскую книжку про рыцарей, или плетень в конце поля.

Теософы строят пантеон — но это пантеон для пантеистов. Они созывают парламент вер, думая объединить всех людей, — и объединяют всех умников. Такой самый пантеон был построен у Средиземного моря почти две тысячи лет тому назад, и христианам предложили поставить Христа бок о бок с Юпитером, Митрой, Озирисом,

Аттисом, Аммоном. Они отказались, и переломилась история.

Если бы они согласились, и они, и весь мир попали бы в ту тепло-холодную мутную жидкость, в которой уже растворялись мифы и мистерии. Но они отказались — и мир спасся. Мы не поймем, что такое Церковь и почему с давних пор так звенит ее голос, если не поймем, что однажды мир чуть не погиб от широты взглядов и братства всех вер.

Для нас очень важно, что волхвы — мудрецы и мистики — искали нового и нашли то, чего не искали. Ощущение неожиданности живет до сих пор в предании о Рождестве и даже в каждом рождественском празднике. Находка волхвов — как научное открытие. Для других участников этого действа — для ангелов, для Матери, для пастухов и для воинов Ирода — все было, наверное, проще и сверхъестественнее, трогательней и грубее.

Но что искали мудрецы, как не мудрость? Мудрецам нужен свет разума, и они увидели свет. Они увидели, что мудрость церкви объемлет все, а мудрость мудрецов — не все. Если бы Платон, Пифагор и Аристотель постояли хоть минуту в свете, который шел из маленькой пещеры, они бы поняли, что свет их собственных учений —

полумрак. Я далеко не уверен, что они об этом не догадывались. Философия, как и мифология, была похожа на поиски.

Именно потому волхвы так таинственны и величавы. Они нашли и открыли, что религия — шире философии и что в маленькой пещере уместилась вся широта религии. Вот почему нас так поражает все, что случилось в пещере. Когда мы читаем или думаем об этом, наши чувства по-детски просты, наши мысли — бесконечно сложны, и мудрость не поможет нам свести концы с концами, если Младенец — Отец, а Мать — Ребенок.

Мифология пришла с пастухами, философия — с волхвами. Но нельзя забывать о третьей стихии — о ней никогда не забывает наша вера и никогда не примиряется с ней. В первых сценах присутствовал враг, испоганивший мифы развратом и обративший мудрость в неверие. Сейчас он отвечал на прямой вызов и сам действовал прямо, а как он действует, мы уже видели. Говоря о сознательном бесопоклонстве, я рассказывал, как ненавидели детей, как приносили людей в жертву, и меньше сказал о том, как культ зла подтачивал исподволь здоровое язычество, отравлял непристойностью поэзию и обращал в безумие

царственную спесь.

В Вифлеемском действе проявились и прямое, и косвенное его влияние. Правитель, подчиняющийся Риму, возможно, одетый, как римлянин, и живущий по римскому обычаю, почувствовал в этот час, что из глубин его души поднимаются странные страсти. Все мы знаем о том, как Ирод, встревоженный слухами о сопернике, припомнил жестокости азиатских деспотов и приказал перебить всех детей. Каждый знает об этом; но не каждый заметил, как тесно связано это с историей удивительных человеческих верований.

Не каждый заметил, как знаменательна эта бойня рядом с коринфскими колоннами и римскими плитами порабощенного мира, покрытого лоском цивилизации. Когда темная страсть обуяла Ирода, провидец узрел бы за его плечом огромный мрачный призрак, страшную морду Молоха, ожидающего последней жертвы от правителя из Симова рода. На первом пиру христианства на свой собственный лад пировали и бесы.

Если мы забудем об этом, мы не поймем не только сути христианства, но и сути Рождества. Для нас Рождество едино и по-детски просто. Однако, как и все в христианстве, оно и очень сложно. В нем есть и смирение, и веселье, и благодарность,

и мистический трепет, и, кроме всего этого, бдение и беда. Это не только праздник миротворцев, как не только праздник весельчаков. Рождество не больше похоже на индийскую мирную конференцию, чем на скандинавский зимний пир.

В нем есть вызов, тот самый, из-за которого звон колоколов так похож на залп победы. Неописуемый дух, который мы зовем рождественским, — словно дым взрыва, прогремевшего в холмах Иудеи почти две тысячи лет назад. Мы и сейчас узнаем его безошибочно, и он слишком неповторим, чтобы определить его словом «мир». По самой своей природе радость в пещере подобна ликованию в крепости или в тайном пристанище изгоя.

Здесь прятались от врага, а враг уже ступал по каменным складкам, нависшим над ними, как небо; копыта Иродовых коней уже гремели над головой Спасителя. Скажу больше: ясли подобны передовому посту лазутчика, который смотрит, притаившись, на вражескую землю. Под башни и дворцы подведен подкоп. Недаром чувствовал царь Ирод, что под ним разверзлась земля.

Наверное, это самая тайная из тайн рождественской пещеры. Люди ищут под землею ад, здесь под землею — небо. Мир перевернулся; с

этих пор все великое может действовать только снизу. Король может вернуть корону только мятежом. Церковь, особенно вначале, была не столько властью, сколько мятежом против князя мира сего.

Оптимистов, отождествляющих усовершенствование с удобством, немало раздражает мысль о том, что мы в свое время попали под власть узурпатора. Но именно из-за того, что опасность вполне реальна, Благая Весть стала поистине благой и новой. Олимп неподвижным облаком стоял в небе, мудрость восседала на престоле, когда Христос родился в пещере, а христианство — в катакомбах.

Они прятались под землей — вот он снова, странный и мятежный дух: нашу веру и презирают, и боятся. Пещера — только нора, в которую может забиться всякий сброд; но в ней — сокровище, которое не могут отыскать тираны. Святое семейство укрылось здесь, потому что хозяин постоялого двора о нем не вспомнил и потому что о нем не забыл царь. То же самое мы вправе сказать и о первых христианах. Их боялись, когда они еще ничего не значили, во всяком случае — ничего не могли.

Тихо, почти тайно они бросили вызов; они

вышли из-под земли, чтобы сокрушить землю и небо. Они не собирались разрушать громады из мрамора и золота — они смотрели сквозь них, как сквозь стекло. Христиан обвиняли в том, что они подожгли Рим; но клеветники ближе к сути христианства, чем те, кто считает его каким-то этическим обществом, которое немножко мучили за прописные истины или недолюбливали за безответность.

Ирод играет немалую роль в Вифлеемском действе: из-за его угрозы мы узнаем, что Церковь гонима с самого начала и борется за свою жизнь. Многим покажется, что это как-то несозвучно Рождеству, — но именно так звучат рождественские колокола. Многие считают, что самая мысль о Крестовом походе позорит крест — что ж, значит, он опозорен с колыбели. Сейчас я не собираюсь вести отвлеченные споры о том, нравственно ли бороться. Я просто хочу показать, какие понятия входят в нашу веру, и заметить, что все они приняли четкую форму уже в рождественском действе.

Их три, в обычной жизни они глубоко различны, только христианство может их связать. Во-первых, человеку нужно, чтобы небо было определенным и даже уютным, как дом. Поэты

и язычники, творя свои мифы, пытались рассказать нам, что бог может обитать в этом, вот этом мифе, что волшебное царство — реальная страна, а возвращение призрака может воскресить тело. Сейчас я говорю не о том, что рационалисты не желали считаться с этой жаждой; я говорю лишь о том, что язычники не могли жить, пока ее не удовлетворят. В истории Вифлеема и позже Иерусалима этого духа не меньше, чем в истории Делоса и Дельфов, но им и не пахнет во Вселенной Лукреция и Герберта Спенсера.

Во-вторых, наша философия шире всех других философий, бесконечно шире учения Спенсера и даже Лукреция. Христианство смотрит на мир через тысячу окон, а древние стоики или наши агностики — через одно. Оно смотрит на жизнь глазами самых разных людей. У него найдется ключ для всех настроений, для всех человеческих типов, ему ведомы тайны психики, бездны зла, оно умеет отличать ложное чудо от истинного, а его тонкость, такт, воображение — многообразны, как реальная жизнь, которую не охватишь заунывными или бодрыми трюизмами древней и новой этики. Многое накопилось в нем со времен Аквината, но и святому Фоме было бы тесно в мире Конфуция или Конта.

И наконец, в-третьих, наша вера не только вещественней поэзии и вместительней философии — в ней есть еще и вызов, есть борьба. Она достаточно широка, чтобы принять любую истину, но не примет заблуждения. Любой человек любым оружием может бороться с нею и за нее; она старается как можно лучше узнать и понять то, против чего борется: но никогда не забывает, что ведет борьбу. Она возвещает мир на земле, но всегда помнит, что была война в небесах.

Эту троицу истин воплотили в рождественском действе пастухи, волхвы и царь, воевавший против младенцев. Просто неверно, что в других религиях и философиях есть это все; нельзя даже сказать, что они на это претендуют. Буддизм, может быть, не менее мистичен, но он и не хочет стать таким же воинственным. Ислам воинствен, но он и не думает стать таким же тонким и возвышенным. Конфуцианство удовлетворяет потребность мудрых в разумности и порядке, но оно и не собиралось удовлетворять тоску по чуду и тайне, по святости конкретных вещей.

Ни один языческий миф или философская притча не трогают нас так сильно, как само слово «Вифлеем». Ни один рассказ о рождении бога или детских годах мудреца не стал Рождеством

и даже не похож на него. Он всегда или слишком холоден, или слишком фриволен, или слишком разумен, или груб, или утончен. Слушая его или читая, никто из нас, что бы он ни думал, не ощущает, что пришел домой. Мы можем восхищаться его красотой, или глубиной, или чем-нибудь еще, но не всем сразу.

В том-то и дело, что предание о Рождестве, в отличие от всех преданий, не обращает наши мысли и чувства к величию — к тем исключительным, особенным созданиям, которые зовутся богами и героями, пусть даже самого возвышенного и здравого толка. Оно не гонит нас куда-то вдаль, на край света. Скорее можно сказать, что оно возникает изнутри, встает из тайников сознания; так трогают нас маленькие вещи или тихие добродетели бедных.

Мы находим забытую комнату в глубине нашего дома, открываем дверь — и видим свет; откапываем что-то в глубине сердца — и попадаем в край добра. Сложено это не из того, что мир назвал бы крепким; вернее, крепость в легкости, в невесомости, все это было в нас, но вдруг мимолетное чувство стало вечным.

Это было минутной слабостью, а стало силой и спасением. Несмелая речь и забытое слово окреп-

ли навек, когда волхвы вернулись в дальние страны и умолкли шаги пастухов, а под слоями тьмы и камня осталось то, что человечней человечности.

1925